This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

POLNOE SOBRANIE

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

SOCHINENII

СОЧИНЕНІЙ

GENRIHA GEJNE

ГЕНРИХА ГЕЙНЕ.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ.

Подъ редакціею и съ біографическимъ очеркомъ

Петра Вейнберга.

Съ приложеніемъ двухъ портретовъ Гейне.

V. 2.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1904 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1904.

Артистич. заведеніе А. Ф. МАРКСА. Измайл. пр., № 29.

PT2320
R6A1
1904
v. 2

СТАТЬИ

СМѢШАННАГО СОДЕРЖАНІЯ.

(Vermischte Schriften).

480

ЛЮТЕЦІЯ.

Часть первая.

ПРЕДИСЛОВІЕ

къ французскому изданію «Лютеціи».

Эта книга содержитъ въ себѣ рядъ писемъ, которыя я писалъ въ 1840—43 г. для газеты «Augsburger Zeitung». По важнымъ причинамъ, нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, я издалъ ее особенною книгою подъ заглавіемъ «Лютеція», и не менѣе существенныя причины побуждаютъ меня теперь издать это собраніе и на французскомъ языкѣ. Причины эти слѣдующія.

Такъ какъ означенныя письма появились въ «Augsburger Allgemeine Zeitung» безъ имени автора и съ значительными сокращеніями и измѣненіями, то я боялся, чтобы послѣ моей смерти ихъ не издали въ этомъ неудовлетворительномъ видѣ, а можетъ-быть, и съ добавленіемъ писемъ, совершенно чуждыхъ моему перу. Чтобы избѣжать такой посмертной непріятности, я предпочелъ самъ издать при жизни эти письма. Но спасши такимъ образомъ при жизни по крайней мѣрѣ, добрую славу моего слога, я къ несчастью далъ въ руки злобѣ оружіе для нанесенія вреда доброй славѣ моей мысли. Лингвистическіе пробѣлы въ знаніи нѣмецкаго языка, встрѣчающіеся иногда даже у самыхъ образованныхъ французовъ, дали нѣкоторымъ изъ моихъ земляковъ обоего пола возможность увѣрить многихъ людей, что въ моемъ сочиненіи «Лютеція» я клевещу на весь Парижъ и злыми насмѣшками унижаю почтеннѣйшія вещи Франціи. Поэтому для меня было нравственною по-

требностью—какъ можно скорѣе выпустить въ свѣтъ французскій переводъ моихъ писемъ и тѣмъ дать моей прелестнѣйшей и драгоцѣннѣйшей подругѣ Лютеціи средство самой судить, какъ я отнесся къ ней въ книгѣ, носящей ея имя. Если я и вызову иногда совершенно невольно ея неудовольствіе какимъ-нибудь слишкомъ рѣзкимъ выраженіемъ или ошибочнымъ замѣчаніемъ, то пусть она обвиняетъ меня въ недостаткѣ не симпатіи, а только культурности и такта. Прекрасная моя Лютеція, не забывай моей національности; если я и одинъ изъ самыхъ полированныхъ между моими земляками, то все-таки не могу совершено отречься отъ своей природы; ласки моихъ нѣмецкихъ медвѣжьихъ лапъ, можетъ-быть, иногда и царапали тебя, и не одинъ камень бросилъ я, можетъ-быть, тебѣ въ голову, съ единственною цѣлью отогнать отъ тебя мухъ! Сверхъ того, пусть сообразятъ, что въ настоящее время, когда я необыкновенно боленъ, мнѣ было невозможно ни съ особенною заботливостью, ни съ большою ясностью ума заниматься причесываніемъ моихъ фразъ; сказать правду, самый нѣмецкій текстъ моей книги гораздо менѣе взъерошенъ и неполированъ, чѣмъ французскій. Въ первомъ изящество слога смягчало шероховатости содержанія. Тяжело, очень тяжело видѣть себя принужденнымъ являться на поклоненіе къ изящной богинѣ береговъ Сены въ такомъ не совсѣмъ приличномъ костюмѣ, между тѣмъ, какъ знаешь, что тамъ, дома, въ твоемъ нѣмецкомъ комодѣ, лежатъ превосходныя платья и не одинъ великолѣпно вышитый камзолъ.

Нѣтъ, милая Лютеція, я никогда не хотѣлъ оскорблять тебя, и когда злые языки дѣлаютъ все возможное, чтобы увѣрить тебя въ противномъ, не вѣрь подобнымъ клеветамъ. Не сомнѣвайся никогда, о, моя красавица, въ искренности моей нѣжности, рѣшительно безкорыстной. Ты еще, конечно, слишкомъ красива для того, чтобы бояться, что кто-нибудь полюбитъ тебя изъ-за чего-нибудь другого, кромѣ твоихъ прекрасныхъ глазъ.

Я только-что сказалъ, что письма, составляющія мою книгу «Лютеція», появились въ газетѣ безъ имени автора. Подъ ними, правда, ставилась одна буква, но она никакимъ образомъ не могла служить положительнымъ доказательствомъ, что авторъ ихъ былъ я. Объ этомъ обстоятельствѣ я подробно говорилъ въ замѣткѣ, прибавленной въ нѣмецкомъ изданіи моей книги, и здѣсь привожу главное мѣсто изъ нея:

«Редакція «Augsburger Zeitung» имѣла обыкновеніе подписывать статьи какъ мои, такъ и другихъ анонимныхъ сотрудниковъ, какою-нибудь буквою, съ цѣлью удовлетворить административнымъ потребностямъ, напр., облегчить свое счетоводство, но отнюдь не для того, чтобы имя автора шептать на ухо почтенной публикѣ полуконфиденціально, какъ отгадку шарады. А такъ какъ только редакція, а не авторъ, отвѣчаетъ за всякую анонимную статью, и такъ какъ она принуждена быть представителемъ своего изданія не только предъ тысячеголовою публикой, но и передъ многими совсѣмъ безголовыми властями, то эта бѣдная редакція, которой приходилось бороться съ несчетными препятствіями, матеріальными и моральными, имѣла, конечно, право всякую статью обработывать сообразно со своими потребностями въ данную минуту и дѣлать въ ней по своему усмотрѣнію исключенія, сокращенія, однимъ словомъ, измѣненія всякаго рода; это право надо было ей предоставить, хотя бы этимъ наносился большой ущербъ личнымъ мнѣніямъ автора, и увы! иногда также его стилю. Понимающій дѣло публицистъ долженъ ради дѣла, за которое онъ ратуетъ, дѣлать многія горькія уступки горькой необходимости. Есть довольно много темныхъ газетокъ, въ которыхъ мы могли бы изливать все наше сердце со всѣми потоками его энтузіазма и негодованія, но у нихъ весьма небольшой и лишенный всякаго вліянія кругъ читателей, и писать въ этихъ газетахъ все равно, что ораторствовать въ кабачкѣ, передъ его обычными посѣтителями, какъ поступаетъ большинство нашихъ великихъ политиковъ и великихъ патріотовъ. Гораздо полезнѣе умѣрять нашъ пылъ, и говорить съ благоразумною сдержанностью, даже подъ какою-нибудь маскою, въ газетѣ, справедливо называемой «Всеобщею Газетой» и имѣющей сотни тысячъ читателей во всѣхъ странахъ. Здѣсь слово можетъ спасительно дѣйствовать даже въ самомъ печальномъ обезображеніи; самый легкій намекъ дѣлается иногда плодотворнымъ сѣменемъ на незнакомой намъ самимъ почвѣ. Если бы меня не одушевляла эта мысль, я конечно не обрекъ бы себя на страшную пытку — писать для «Всеобщей Аугсбургской Газеты». Такъ какъ я всегда былъ глубоко убѣжденъ въ вѣрности и честности того благороднаго и любимѣйшаго друга моей юности, соратника въ теченіе слишкомъ двадцати восьми лѣтъ, который редактируетъ эту газету, то и былъ въ состояніи выносить съ его стороны муки всѣхъ

этихъ измѣненій и передѣлокъ, которымъ подвергались мои статьи; вѣдь на меня постоянно смотрѣли честные глаза друга, который какъ будто говорилъ своему раненому товарищу: «да развѣ я-то лежу на розахъ?»

Теперь, когда я издаю подъ собственнымъ именемъ письма, появлявшіяся уже задолго до этого безъ всякой подписи, то имѣю, конечно, право требовать себѣ при этомъ случаѣ beneficium inventarii, что обыкновенно дѣлается при полученіи сомнительнаго наслѣдства. Я ожидаю отъ справедливости читателя, что онъ приметъ во вниманіе всѣ тѣ затрудненія какъ мѣстныя, такъ и временныя, съ которыми приходилось бороться автору, когда онъ въ первый разъ печаталъ эти письма. Я принимаю на себя полную отвѣтственность за достовѣрность всего, сказаннаго мною, но отнюдь не за тонъ, въ которомъ это сказано. Кто привязывается только къ словамъ, легко откопаетъ въ моихъ письмахъ много противорѣчій, сказаннаго наобумъ и даже видимое отсутствіе серьезнаго убѣжденія. Но кто понимаетъ духъ моихъ словъ, всегда будетъ видѣть въ нихъ самое строгое единство мысли и несокрушимую привязанность къ дѣлу человѣчества, къ демократическимъ идеямъ революціи. Мѣстныя затрудненія, о которыхъ я упомянулъ, состояли въ цензурѣ, и притомъ цензурѣ двойной, потому что та, которую держала сама редакція газеты, была еще стѣснительнѣе офиціальной цензуры баварскаго правительства. Я бывалъ часто принужденъ вывѣшивать на ладьѣ моей мысли флаги, эмблемы которыхъ весьма мало соотвѣтствовали дѣйствительному выраженію моихъ политическихъ или соціальныхъ воззрѣній. Но журнальный контрабандистъ мало заботился о цвѣтѣ лоскутка матеріи, висѣвшаго на мачтѣ его судна, и которымъ игралъ рѣзвый вѣтеръ; я думалъ только о хорошемъ грузѣ, который везъ съ собою и желалъ довезти благополучно въ пристань общественнаго мнѣнія. Могу похвалиться, что такія предпріятія очень часто удавались мнѣ, и меня не слѣдуетъ бранить за средства, которыя я употреблялъ иногда для достиженія цѣли. Будучи знакомъ съ традиціями «Augsburger Zeitung», я зналъ, напримѣръ, что она всегда ставила себѣ задачею—всѣ современныя событія не только доводить съ величайшею быстротою до свѣдѣнія міра, но и въ самой большей подробности заносить ихъ на свои страницы, какъ въ космополитическіе архивы. Поэтому я долженъ былъ постоянно заботиться о томъ, чтобы обле-

кать въ форму факта все, что̀ мнѣ хотѣлось сообщить публикѣ, какъ самое событіе, такъ и мое мнѣніе о немъ, однимъ словомъ, все, что̀ я думалъ и чувствовалъ. И съ этой цѣлью я не колебался часто влагать мои собственныя мнѣнія въ уста другихъ лицъ, или даже придавалъ моимъ идеямъ форму параболъ. Вотъ почему въ моихъ письмахъ много исторіекъ и арабесокъ, символическое значеніе которыхъ понятно не для всякаго и которыя поверхностному читателю могутъ казаться смѣсью жалкой болтовни и мелочныхъ выдумокъ. При моихъ стараніяхъ всегда отдавать господство формѣ факта, для меня было также важно выбирать тонъ, который позволялъ бы мнѣ говорить и о самыхъ щекотливыхъ вещахъ. Самый благопріятный тонъ въ этомъ отношеніи былъ индиферентный, и я, не стѣсняясь, употреблялъ его. Въ этомъ заключалось также косвенное средство давать не одинъ полезный совѣтъ и дѣлать многія спасительныя указанія. Республиканцы, обвиняющіе меня въ отсутствіи желанія служить имъ, не подумали, что я въ продолженіе двадцати лѣтъ довольно серьезно защищалъ ихъ во всѣхъ моихъ письмахъ, и въ моей книгѣ «Лютеція» достаточно ясно выставлялъ на видъ ихъ нравственное превосходство постояннымъ обнаженіемъ неблагороднаго и смѣшного высокомѣрія и полнѣйшей ничтожности господствующей буржуазіи. Туговаты немного на понятливость эти славные республиканцы, о которыхъ, впрочемъ, прежде я былъ лучшаго мнѣнія. Что касается ихъ понятливости, то я думаю, что ихъ умственная ограниченность только притворство, что республика играетъ роль Юнія Брута для того, чтобы этою мнимою недальновидностью сдѣлать монархію болѣе безпечною, болѣе непредусмотрительною, и такимъ образомъ впослѣдствіи завлечь ее въ западню. Но послѣ февральской революціи я понялъ свою ошибку, я увидѣлъ, что республиканцы, дѣйствительно, очень честные люди, не умѣвшіе притворяться, и что они на самомъ дѣлѣ такіе, какими казались.

Если уже республиканцы представляли собою для корреспондента «Augsburger Zeitung» весьма щекотливый матеріалъ, то затрудненіе увеличивалось гораздо болѣе, когда дѣло шло о соціалистахъ, или, чтобъ назвать это чудовище его настоящимъ именемъ, о коммунистахъ. И, однако, мнѣ все-таки удалось поговорить на эту тему въ газетѣ. Многія письма были зачеркнуты редакціею, которая не забывала старой пословицы: «не слѣдуетъ рисовать чорта на

стѣнкѣ». Но она не могла уничтожать все, что я присылалъ ей, и, какъ я только-что сказалъ, я находилъ средства говорить на ея осторожныхъ столбцахъ о предметѣ, страшное значеніе котораго было совершенно неизвѣстно въ то время. Я рисовалъ чорта на стѣнѣ моей газеты, или, какъ выражался одинъ очень остроумный человѣкъ, писалъ въ пользу чорта рекламу. Коммунисты, разсѣянные по одиночкѣ по всѣмъ странамъ и не имѣвшіе яснаго сознанія своихъ общихъ стремленій, узнали изъ аугсбургской газеты, что они, дѣйствительно, существуютъ; при этомъ же случаѣ они узнали свое дѣйствительное имя, которое было совершенно неизвѣстно многимъ изъ этихъ бѣдныхъ дѣтей-найденышей стараго общества. Чрезъ посредство аугсбургской газеты получали разсѣянныя по свѣту общины коммунистовъ достовѣрныя свѣдѣнія о безпрерывныхъ успѣхахъ ихъ дѣла; они узнали, къ своему величайшему изумленію, что они далеко не слабое, маленькое общество, а самая сильная изъ всѣхъ партій, что ихъ время, правда, еще не наступило, но что спокойное выжиданіе не есть потеря времени для людей, которымъ принадлежитъ будущее. Это признаніе, что будущее принадлежитъ коммунистамъ, было сдѣлано мною самымъ осторожнымъ и боязливымъ тономъ,—и увы!—этотъ тонъ отнюдь не былъ притворный. Дѣйствительно, только съ ужасомъ и трепетомъ думаю я о времени, когда эти мрачные иконоборцы достигнутъ господства; своими грубыми руками они безпощадно разобьютъ всѣ мраморныя статуи красоты, столь дорогія моему сердцу; они разрушатъ всѣ тѣ фантастическія игрушки искусства, которыя такъ любилъ поэтъ; они вырубятъ мои олеандровыя рощи и станутъ сажать въ нихъ картофель; лиліи, которыя не занимались никакой пряжей и никакой работой и, однакоже, были одѣты такъ великолѣпно, какъ царь Соломонъ во всемъ своемъ блескѣ, будутъ вырваны изъ почвы общества, развѣ только онѣ захотятъ взять въ руки веретено; розъ, этихъ праздныхъ невѣстъ соловьевъ, постигнетъ такая же участь; соловьи, эти безполезные пѣвцы, будутъ прогнаны,—и увы!—изъ моей «Книги Пѣсенъ» бакалейный торговецъ будетъ дѣлать пакеты и всыпать въ нихъ кофе или нюхательный табакъ для старыхъ бабъ будущаго. Увы! я предвижу все это, и несказанная скорбь охватываетъ меня, когда я думаю о погибели, которою побѣдоносный пролетаріатъ угрожаетъ моимъ стихамъ, которые сойдутъ въ могилу вмѣстѣ со всѣмъ старымъ романтиче-

скимъ міромъ. И несмотря на это—сознаюсь откровенно—этотъ самый коммунизмъ, до такой степени враждебный моимъ склонностямъ и интересамъ, производитъ на мою душу чарующее впечатлѣніе, отъ котораго я не могу освободиться; два голоса говорятъ въ его пользу въ моей груди, два голоса, которые не хотятъ замолчать, которые, можетъ-быть, въ сущности суть ничто иное, какъ подстрекательства дьявола... но какъ бы то ни было, они овладѣли мною, и никакія заклинанія не могутъ одолѣть ихъ.

По тому что первый изъ этихъ голосовъ—голосъ логики. «Дьяволъ—логикъ» говоритъ Дантъ. Страшный силлогизмъ держитъ меня въ своихъ волшебныхъ цѣпяхъ, и не будучи въ состояніи опровергнуть положенія, что «всѣ люди имѣютъ право ѣсть», я принужденъ покориться и всѣмъ выводамъ изъ него. Думая объ этомъ, я рискую сойти съ ума, я вижу, какъ всѣ демоны истины съ тріумфомъ пляшутъ вокругъ меня, и наконецъ, великодушное отчаяніе овладѣваетъ моимъ сердцемъ, и я восклицаю: Обвинительный приговоръ давно уже произнесенъ надъ этимъ старымъ обществомъ. Да свершится правосудіе! Да разобьется этотъ старый міръ, въ которомъ невинность погибла, эгоизмъ благоденствовалъ, человѣка эксплуатировалъ человѣкъ! Да будутъ разрушены до основанія эти мавзолеи, въ которыхъ господствовали ложь и неправда, и да благословенъ будетъ торговецъ, который станетъ нѣкогда изготовлять изъ моихъ стиховъ пакеты, и всыпать въ нихъ кофе и табакъ для бѣдныхъ честныхъ старухъ, которыя въ нашемъ теперешнемъ, неправедномъ мірѣ, можетъ-быть, должны были отказывать себѣ въ такихъ удовольствіяхъ... Fiat justitia, pereat mundus!

Второй изъ этихъ повелительныхъ голосовъ, которыми я заколдованъ, еще могущественнѣе и демоничнѣе перваго, потому что это голосъ ненависти, ненависти, питаемой мною къ партіи, страшнѣйшій противникъ которой—коммунизмъ и которая поэтому есть также нашъ общій врагъ. Я говорю о партіи такъ-называемыхъ представителей національности въ Германіи, объ этихъ фальшивыхъ патріотахъ, патріотизмъ которыхъ состоитъ только въ идіотской непріязни къ чужеземнымъ и сосѣднимъ народамъ и которые ежедневно изрыгаютъ свою желчь преимущественно на Францію. Да, эти остатки или этихъ потомковъ тевтомановъ 1815 г., которые только передѣлали на новый ладъ свой старый костюмъ ультра-нѣмецкихъ болвановъ и немного

подрѣзали свои уши, я всю жизнь ненавидѣлъ и сражался съ ними; и теперь, когда мечъ выпадаетъ изъ рукъ умирающаго, я утѣшенъ убѣжденіемъ, что коммунизмъ, которому они первые попадутся на дорогѣ, нанесетъ имъ послѣдній ударъ; и конечно, не палицей пришибетъ ихъ гигантъ, а раздавитъ ногой, какъ давятъ гадину. Это будетъ его дебютомъ. Изъ ненависти къ защитникамъ узкаго націонализма я могъ бы почти полюбить коммунистовъ. Они, по крайней мѣрѣ, не лицемѣры, у которыхъ на языкѣ постоянно религія и христіанство; коммунисты, правда, не имѣютъ религіи (полнаго совершенства нѣтъ ни въ одномъ человѣкѣ), они даже атеисты (что несомнѣнно, большой грѣхъ), но главнымъ догматомъ своимъ они признаютъ самый неограниченный космополитизмъ, всемірную любовь ко всѣмъ народамъ, братскія отношенія между всѣми людьми, свободными гражданами земли... Такимъ образомъ, эти коммунисты гораздо больше христіане, чѣмъ наши такъ-называемые германскіе патріоты, эти тупоумные поборники исключительно націонализма.

Я говорю слишкомъ много, во всякомъ случаѣ больше, чѣмъ позволяютъ мнѣ благоразуміе и головная боль, которая мучитъ меня въ настоящую минуту. Поэтому прибавлю только нѣсколько словъ, чтобъ кончить. Сколько мнѣ кажется, я достаточно выяснилъ неблагопріятныя обстоятельства, при которыхъ писались мои письма о Лютеціи. Кромѣ мѣстныхъ препятствій, мнѣ, какъ я сказалъ выше, приходилось бороться съ препятствіями времени. Что касается до этихъ послѣднихъ, то умный читатель легко составитъ себѣ понятіе о нихъ; ему стоитъ только взглянуть на числа, въ которыя писались эти письма, и вспомнить, что въ то время въ Германіи господствовала именно національная, или такъ-называемая патріотическая партія. Іюльская революція немного оттѣснила ихъ на задній планъ политической сцены, но воинственные трубные звуки французской прессы въ 1840 г. дали этимъ галлофобамъ лучшій случай снова выступить впередъ; въ то время они запѣли пѣсню о «свободномъ Рейнѣ». Въ эпоху февральской революціи это оранье заглушилось болѣе разумными кликами, но этимъ послѣднимъ скоро пришлось умолкнуть въ свою очередь, когда началась великая европейская реакція. Въ настоящее время въ Германіи снова господствуютъ націоналисты и весь скверный хвостъ 1815 г., и они воютъ съ дозволенія г. бургомистра и другихъ высокихъ властей.

Войте на здоровье! Настанетъ день, и роковая пята раздавитъ васъ. Съ этой увѣренностью я могу спокойно оставить здѣшній міръ.

А теперь, любезный читатель, я далъ тебѣ наибольшую возможность судить о единствѣ идеи и дѣйствительномъ духѣ этой книги, которую я съ довѣріемъ предлагаю всѣмъ честнымъ людямъ.

Генрихъ Гейне.

Парижъ, 30 марта 1855 г.

ПОСВЯЩЕНІЕ.

Его Сіятельству князю Пюклеръ-Мюскау.

Путешественники, пріѣзжающіе въ какое-нибудь мѣсто, замѣчательное по художественнымъ произведеніямъ или историческимъ воспоминаніямъ, обыкновенно пишутъ тамъ на стѣнахъ домовъ и комнатъ свои имена, болѣе или менѣе четко, смотря по тому, какой письменный матеріалъ былъ у нихъ подъ рукой. Сентиментальныя души примазываютъ еще къ этимъ подписямъ нѣсколько патетическихъ строкъ риѳмованныхъ или нериѳмованныхъ чувствъ. Въ этой кучѣ надписей наше вниманіе внезапно поражается какими-нибудь двумя именами, вырѣзанными одно подлѣ другого; число и годъ подписаны внизу, а имена красуются въ овальномъ кружкѣ, долженствующемъ изображать вѣнокъ изъ дубовыхъ или лавровыхъ листьевъ. Если лица, которымъ принадлежатъ эти имена, знакомы позднѣйшимъ посѣтителямъ этой мѣстности, то они радостно вскрикиваютъ: «смотри-ка!» и при этомъ дѣлаютъ глубокомысленное замѣчаніе, что, значитъ, тѣ оба были не чужды другъ другу, что они, по крайней мѣрѣ, разъ въ жизни стояли одинъ подлѣ другого на одномъ и томъ же мѣстѣ, что вотъ сошлись во времени и пространствѣ эти люди, такъ родственные между собою — и тутъ насчетъ обоихъ ихъ дѣлаются комментаріи, которые мы легко отгадываемъ, но не хотимъ приводить здѣсь.

Посвящая эту книгу вамъ, мой высокопрославленный и родственный по духу современникъ, и этимъ какъ будто вписывая на фасадѣ ея оба нашихъ имени, я слѣдую только весело-шаловливой прихоти моего духа, а если есть у меня при этомъ какая-нибудь опредѣленная побудительная причина, то во всякомъ случаѣ она—вышеупомянутый обычай

путешественниковъ.—Да, путешественниками были мы оба на этомъ земномъ шарѣ, это была наша земная спеціальность, и тѣ, которые пріѣдутъ послѣ насъ и увидятъ въ этой книгѣ гирлянду, которою я окружилъ мое и ваше имя, по крайней мѣрѣ, узнаютъ достовѣрно день нашей земной встрѣчи, и пусть потомъ сколько угодно разсуждаютъ о томъ, насколько авторъ «Писемъ Умершаго» и корреспондентъ «Лютеціи» подходили другъ къ другу.

Мастеръ, которому я посвящаю эту книгу, знаетъ свое ремесло и знакомъ съ неблагопріятными обстоятельствами, при которыхъ писалъ авторъ. Онъ знаетъ постель, въ которой дѣти моего ума увидѣли свѣтъ, знаетъ это аугсбургское Прокрустово ложе, на которомъ имъ иногда урѣзывали слишкомъ длинныя ноги, а нерѣдко даже отрубали голову. Говоря не фигурально, эта книга состоитъ большею частью изъ корреспонденцій, которыя я, за нѣсколько времени до этого, печаталъ въ «Augsburger Allgemeine Zeitung». Многія изъ нихъ остались у меня въ черновыхъ спискахъ, по которымъ я теперь, при новомъ изданіи, реставрировалъ вычеркнутыя или измѣненныя мѣста. Къ сожалѣнію, болѣзнь глазъ не позволяетъ мнѣ много заниматься этими реставраціями... Я не могъ, какъ слѣдуетъ, разобраться въ старой бумажной ветоши. Такимъ образомъ здѣсь, какъ и въ письмахъ, которыя я отправлялъ въ газету, не оставляя у себя черновыхъ, я пополнялъ пробѣлы и исправлялъ измѣненія, насколько это было возможно, на память, а въ тѣхъ мѣстахъ, которыя по стилю, а еще болѣе по смыслу, казались мнѣ вышедшими совсѣмъ не изъ-подъ моего пера, я старался спасти, по крайней мѣрѣ, артистическую честь, художественную форму, и для этого совсѣмъ уничтожалъ эти подозрительныя мѣста. Но это вычеркиваніе мѣстъ, въ которыхъ свирѣпый красный карандашъ, повидимому, разгулялся ужъ черезчуръ сильно, касалось только несущественнаго, и ни въ какомъ случаѣ не мнѣній о людяхъ и вещахъ, которыя часто могли быть ошибочны, но всегда должны были передаваться съ полной вѣрностью, для того, чтобы не утрачивать первоначальнаго современнаго колорита. Включивъ въ мою книгу, безъ малѣйшаго измѣненія, довольно большое число писемъ, не появившихся въ печати и не прошедшихъ чрезъ цензуру, я, искусственнымъ сопоставленіемъ всѣхъ этихъ монографій, образовалъ цѣлое, дающее вѣрную картину періода, столько же важнаго, сколько и интереснаго.

Я говорю о томъ періодѣ, который въ царствованіе Людовика Филиппа называли «парламентскимъ» — названіе, бывшее очень характеристическимъ и значительность котораго поразила меня въ самомъ началѣ, Въ 1-й части этой книги, 9 апрѣля 1840 г. я писалъ: «Весьма характеристично, что съ нѣкотораго времени французское правительство называется не конституціоннымъ, но парламентскимъ. Министерство 1-го марта получило это названіе при самомъ крещеніи своемъ».—Парламентъ, то-есть палата, уже въ то время присвоилъ значительнѣйшія прерогативы короны, и вся государственная власть мало-по-малу перешла въ его руки. Нельзя отрицать, что и король, съ своей стороны, ощущалъ такія же узурпаторскія вожделѣнія, онъ хотѣлъ управлять самъ, независимо отъ прихоти палаты и министерствъ, и въ этомъ стремленіи къ неограниченной власти всегда старался сохранить легальную форму. Людовикъ Филиппъ можетъ поэтому справедливо утверждать, что онъ никогда не нарушалъ легальности, и присяжный судъ исторіи, конечно, совершенно сниметъ съ него всякое обвиненіе въ незаконномъ образѣ дѣйствій и признаетъ его виновнымъ развѣ только въ слишкомъ большой хитрости. Палата, которая, по крайней мѣрѣ, ловко прикрывала легальною формою свои покушенія на королевскія права, конечно, навлекла бы на себя гораздо болѣе строгій обвинительный приговоръ, если бъ смягчающимъ обстоятельствомъ не являлось тутъ то, что ее вызывалъ на это своимъ образомъ дѣйствій самъ король своими абсолютными притязаніями; она можетъ сказать, что сражалась съ нимъ, чтобы обезоружить его и самой взять себѣ диктатуру, которая въ его рукахъ могла сдѣлаться опасной для государства и свободы. Поединокъ между королемъ и палатой составляетъ содержаніе парламентскаго періода, и къ концу его обѣ партіи такъ устали и ослабѣли, что безсильно упали на землю, когда на сцену выступилъ новый претендентъ. 24 февраля 1848 г. упали онѣ почти одновременно: королевская власть въ Тюильри, а парламентъ, нѣсколькими часами позже, въ сосѣднемъ Palais Bourbon. Побѣдителямъ, доблестной черни этихъ февральскихъ дней не зачѣмъ было тратить много своего геройства, и они даже не могутъ похвалиться тѣмъ, что стояли лицомъ къ лицу со своими врагами. Они стараго порядка не умертвили, но только положили конецъ его мнимой жизни; король и палата умерли, потому что давно уже были мертвы. Эти оба бойца парламент-

скаго періода напоминаютъ мнѣ статуи, которыя я когда-то видѣлъ въ Мюнстерѣ, въ большой залѣ ратуши, гдѣ былъ заключенъ вестфальскій миръ. Тамъ, вдоль стѣнъ, стоятъ деревянныя сѣдалища, на спинкахъ которыхъ находятся всевозможныя юмористическія изваянія. На одномъ изъ этихъ деревянныхъ стульевъ изображены двѣ фигуры, вступившія въ поединокъ; онѣ въ рыцарскомъ вооруженіи, и оба подняли уже свои громадные мечи, чтобы разсѣчь другъ друга,—но странно! у каждаго изъ нихъ не достаетъ главной вещи, именно головы, и кажется, какъ будто онѣ, въ жару битвы, отрубили другъ другу голову и теперь, не замѣчая своего взаимнаго безголовья, продолжаютъ сражаться.

Временемъ расцвѣта парламентскаго періода были министерство 1 марта 1840 г. и первые годы министерства 29 ноября 1840 г. Первое должно представлять для нѣмцевъ особенный интересъ, потому что въ то время Тьеръ барабаннымъ боемъ привелъ наше отечество въ великое движеніе, пробудившее политическую жизнь Германіи; Тьеръ снова поставилъ насъ, какъ народъ, на ноги, и это вмѣнится ему нѣмецкою исторіею въ высокую заслугу. Въ это же министерство обнаружился уже и зародышъ восточнаго вопроса, и мы видимъ въ самомъ рѣзкомъ свѣтѣ эгоизмъ той британской олигархіи, которая въ то время натравляла насъ на французовъ. Ея агенты пролѣзали въ за-рейнскую прессу, чтобы эксплуатировать политическую неопытность моихъ нѣмцевъ, которые весьма серьезно вообразили себѣ, что французы посягали не только на короны нѣмецкихъ властителей, но и на картофельныя гряды ихъ подданныхъ, и что имъ хотѣлось завладѣть рейнскими провинціями, чтобъ пить нашъ добрый рейнвейнъ. О, Боже мой, какая это неправда! Французы, владѣющіе перигорскими трюфлями, охотно оставятъ намъ нашъ картофель, и безъ нашего рейнвейна они тоже могутъ обойтись, потому что вѣдь у нихъ есть шампанское. Франціи не въ чемъ завидовать намъ, и воинственныя притязанія ихъ, которыя, какъ намъ казалось, угрожали намъ, были изобрѣтеніе англійской фабрики. Что чистосердечная и великодушная, до фанфаронства великодушная Франція—наша естественная и дѣйствительно надежнѣйшая союзница, это было убѣжденіемъ всей моей жизни, и патріотическая потребность разъяснить моимъ ослѣпленнымъ соотечественникамъ коварное тупоуміе французоѣдовъ и рейнскихъ бардовъ, при-

давала, можетъ-быть, иногда слишкомъ страстный колоритъ моимъ статьямъ о министерствѣ Тьера, особенно, когда дѣло въ нихъ шло объ англичанахъ; но то время было въ высшей степени опасное, и молчаніе было равносильно полуизмѣнѣ. Моя непріязнь къ «коварному Альбіону», какъ выражались нѣкогда, уже не существуетъ теперь, когда столь многое измѣнилось. Я отнюдь не врагъ того великаго англійскаго народа, который сумѣлъ съ тѣхъ поръ пріобрѣсть мою сердечнѣйшую симпатію, если не довѣріе. Но насколько англичане надежные друзья, какъ отдѣльныя личности, настолько же нельзя довѣрять имъ, какъ націи, или, лучше сказать, какъ правительству. Я вполнѣ готовъ здѣсь написать «апологію» въ англійскомъ смыслѣ этого слова и, такъ сказать, принесть честное покаяніе во всѣхъ жесткихъ нападкахъ, которыми я угощалъ британскій народъ въ то время, какъ писалъ эти письма; но я не смѣю вычеркнуть ихъ теперь, потому что страстныя страницы, снова перепечатываемыя мною въ ихъ первобытной необузданности, служатъ къ тому, чтобы вызвать передъ глазами читателя страсти, о которыхъ онъ не могъ бы безъ этого составить себѣ понятіе послѣ великихъ переворотовъ, загасившихъ и поглотившихъ даже воспоминанія.

Мои парижскія письма не простираются до катастрофы 24 февраля, но на каждой страницѣ ихъ видна уже ея необходимость, и я постоянно предсказываю ее съ тою пророческою скорбью, которую мы находимъ въ древней героической эпопеѣ, гдѣ пожаръ Трои не заканчиваетъ произведенія, но уже таинственно потрескиваетъ въ каждомъ стихѣ. Я описалъ не самую бурю, но тучи, носившія ее въ своемъ лонѣ и ужасающе мрачно проходившія по небу. Я часто и опредѣлительно говорилъ о демонахъ, подстерегавшихъ въ низшихъ слояхъ общества, и предсказывалъ, что они выпрыгнутъ изъ своего темнаго пріюта, какъ только настанетъ пора. На этихъ чудовищъ, которымъ принадлежитъ будущее, въ то время смотрѣли только въ уменьшительное стекло, и тутъ они были, дѣйствительно, похожи на какихъ-то сумасшедшихъ блохъ... Но я показалъ ихъ въ настоящую величину, и тутъ они явились похожими скорѣе на страшнѣйшихъ крокодиловъ, какіе когда-нибудь выходили изъ Нила.

Для того, чтобы придать печальнымъ разсказамъ болѣе веселый характеръ, я перемѣшивалъ ихъ съ картинами изъ области искусства и науки, изъ танцовальныхъ залъ

хорошаго и дурного общества, и если между такими арабесками я рисовалъ многія черезчуръ карикатурныя рожи виртуозовъ, то дѣлалъ это не для того, чтобы причинить сердечное огорченіе какому-нибудь давно забытому честному рыцарю фортепіяно или барабана, но для того, чтобы представить картину того времени въ ея малѣйшихъ оттѣнкахъ. Честный дагеротипъ долженъ передавать одинаково вѣрно изображенія мухи и самаго гордаго коня, а мои письма—дагеротипическая книга исторіи, гдѣ каждый день отражался самъ собою, и сопоставленіемъ такихъ картинъ упорядочивающій духъ художника создалъ произведеніе, въ которомъ все изображенное само собой свидѣтельствуетъ свою достовѣрность. Моя книга, поэтому, есть въ одно и то же время продуктъ натуры и искусства, и если теперь она, можетъ-быть, удовлетворяетъ популярнымъ потребностямъ читающаго міра, то позднѣйшимъ исторіографамъ послужитъ, во всякомъ случаѣ, историческимъ источникомъ, который, какъ я только-что сказалъ, носитъ въ самомъ себѣ ручательство за свою современную достовѣрность. Въ этомъ отношеніи уже мои «Французскія Дѣла», имѣющія тотъ же характеръ, нашли самую высокую оцѣнку, и французскимъ переводомъ ихъ неоднократно пользовались французскіе историки. Я упоминаю обо всемъ этомъ для того, чтобы упрочить за моимъ сочиненіемъ солидную заслугу и чтобы читатель отнесся ко мнѣ тѣмъ снисходительнѣе, встрѣчая въ этой книгѣ тотъ фривольный esprit, въ которомъ наши ядрено нѣмецкіе, я скажу даже—желудево нѣмецкіе соотечественники упрекали и автора «Писемъ Умершаго». Посвящая ему мою книгу, я, относительно заключающагося въ ней esprit, смѣло могу сказать о себѣ, что приношу совъ въ Аѳины.

Но гдѣ находится въ настоящую минуту этотъ многоуважаемый и достолюбезный «Умершій»? Куда послать мою книгу? Гдѣ онъ? Гдѣ пребываетъ онъ, или, вѣрнѣе, гдѣ галопируетъ, гдѣ скачетъ онъ, этотъ романтическій Анахарзисъ, фешіонебельнѣйшій изъ всѣхъ чудаковъ, Діогенъ на лошади, предъ которымъ изящный грумъ несетъ фонарь, съ помощью котораго онъ ищетъ человѣка? Гдѣ же онъ ищетъ его? Въ Сандомирѣ или Сандомихѣ, гдѣ сильный вѣтеръ, дующій въ Бранденбургскихъ воротахъ, задуваетъ ему фонарь? Или трусѣтъ онъ рысью на горбатой спинѣ верблюда по арабскимъ песчанымъ степямъ, гдѣ длинноногій гуть-гуть, котораго нѣмецкіе драгоманы называютъ секре-

таремъ посольства фонъ-удодомъ, бѣжитъ впереди его, чтобъ возвѣстить своей повелительницѣ, царицѣ Сабы, прибытіе высокаго гостя? Ибо эта старая баснословная особа ожидаетъ всемірно знаменитаго туриста въ одномъ изъ прекрасныхъ оазисовъ Эѳіопіи, гдѣ она желаетъ завтракать и кокетничать съ нимъ подъ развѣвающимися пальмами и плещущими фонтанами, какъ нѣкогда поступала и покойная лэди Эсѳирь Стенгопъ, которая тоже знала много умныхъ загадокъ. A propos. Въ мемуарахъ, которые одинъ англичанинъ издалъ послѣ смерти этой знаменитой султанши пустынь, я не безъ удивленія прочелъ, что знатная дама, когда ваше сіятельство посѣтили ее на Ливанѣ, говорила также обо мнѣ и высказала мнѣніе, будто я основатель новой религіи. Ахъ, Господи! какія, однако, невѣрныя свѣдѣнія существуютъ въ Азіи обо мнѣ!

Да, гдѣ этотъ неутомимо путешествующій Вездѣ и Нигдѣ? Корреспонденты одной монгольской газеты увѣряютъ, что онъ ѣдетъ теперь въ Китай, чтобы успѣть увидѣть китайцевъ, пока еще не поздно, и этотъ фарфоровый народъ не разбитъ еще окончательно грубыми руками рыжихъ варваровъ;—ахъ, у его бѣднаго, фарфороваго императора съ качающеюся головой уже разбилось отъ скорби сердце!— Газета «Calcutta Advertiser», повидимому, не вѣритъ этому извѣстію монгольской газеты и, напротивъ, утверждаетъ, что англичане, недавно всходившіе на Гималай, видѣли, какъ князь Пюклеръ-Мюскау несся по воздуху на крыльяхъ дракона. Эта же газета замѣчаетъ, что сіятельный путешественникъ, вѣроятно, отправлялся на гору Кафъ, чтобы отдать визитъ живущей тамъ птицѣ Симургу, и потолковать съ нею о допотопной политикѣ. Но старый Симургъ, деканъ дипломатовъ, эксъ-визирь столькихъ доадамовскихъ султановъ, которые всѣ носили бѣлые кафтаны и красные штаны, не живетъ ли въ лѣтніе мѣсяцы въ своемъ замкѣ Іоганисбергъ на Рейнѣ? Я всегда признавалъ растущій тамъ виноградъ самымъ лучшимъ и всегда считалъ владѣтеля Іоганисберга очень умною птицей; но мое уваженіе къ нему еще усилилось съ тѣхъ поръ, какъ я узналъ, что онъ очень любитъ мои стихотворенія и разъ разсказывалъ вашему сіятельству, какъ онъ иногда плакалъ при чтеніи ихъ. Мнѣ хотѣлось бы, чтобы онъ хоть разъ прочелъ для перемѣны стихи моихъ парнасскихъ коллегъ, теперешнихъ поэтовъ чувства; несомнѣнно, что при этомъ чтеніи онъ не будетъ плакать, но тѣмъ сердечнѣе будетъ смѣяться.

Но я все-таки не знаю вполнѣ опредѣлительно, гдѣ въ настоящее время живетъ мой Умершій, самый живой изъ всѣхъ умершихъ, пережившій столькихъ живыхъ по названію. Гдѣ онъ теперь? На западѣ или на востокѣ? Въ Китаѣ или Англіи? Въ штанахъ нанкинскихъ или манчестерскихъ? Въ передней Азіи или въ задней Помераніи? Куда послать мою книгу: въ Кирицъ или въ Томбукту, poste restante?—Но все равно, гдѣ бы онъ ни былъ, вездѣ преслѣдуютъ его весело искреннѣйшія и тоскливо безумнѣйшія привѣтствія преданнаго ему

Генриха Гейне.

Парижъ, 23 августа 1854 года.

I.

Парижъ, 25 февраля 1840.

Чѣмъ ближе стоишь къ королю и смотришь собственными глазами на его дѣйствія, тѣмъ легче обманываешься въ побудительныхъ причинахъ этихъ дѣйствій, въ его тайныхъ планахъ, его желаніяхъ и стремленіяхъ. Въ школѣ революціонныхъ людей онъ научился той новой хитрости, тому политическому іезуитизму, которыми якобинцы иногда превосходили воспитанниковъ Лойолы. Къ этимъ пріобрѣтеніямъ присоединяется у него еще унаслѣдованное имъ искусство притворяться, традиція его предковъ, французскихъ королей, тѣхъ старѣйшихъ сыновъ церкви, которые всегда были больше лисицами, чѣмъ львами, и выказывали болѣе или менѣе жреческій характеръ. Къ выученнымъ и унаслѣдованнымъ simulatio и dissimulatio въ Людовикѣ Филиппѣ присоединяется еще естественная склонность его къ этимъ свойствамъ, такъ что почти невозможно, сквозь благожелательную толстую оболочку, сквозь улыбающееся мясо, увидѣть его тайныя мысли. Но если бы даже намъ и удалось бросить взглядъ въ глубину этого королевскаго сердца, то это не особенно много уяснило бы намъ, потому что вѣдь въ сущности антипатія или симпатія къ людямъ никогда не обусловливается и не руководитъ дѣйствіями Людовика Филиппа, онъ повинуется только силѣ вещей (la force des choses), необходимости. Всякое субъективное побужденіе онъ отталкиваетъ отъ себя почти съ жестокостью, онъ жестокъ въ отношеніи къ самому себѣ, и если онъ не самодержецъ, то онъ все-таки владыка самого себя; онъ очень объективный король. Поэтому не слѣдуетъ придавать особенно важное значеніе тому, любитъ ли онъ Гизо больше или меньше Тьера; онъ употребитъ въ дѣло того или другого, когда тотъ

или другой ему понадобятся, не раньше и не позже. Поэтому я право никакъ не могу съ достовѣрностью сказать, какой изъ этихъ двухъ людей наиболѣе пріятенъ или наименѣе пріятенъ для короля. По моему мнѣнію, они оба ему не нравятся, и это изъ rivalité de métier, потому что онъ тоже министръ, видитъ въ нихъ своихъ постоянныхъ соперниковъ и, въ концѣ-концовъ, боится, чтобъ за ними не признали большаго политическаго таланта, чѣмъ за нимъ самимъ. Говорятъ, что Гизо по сердцу ему больше, чѣмъ Тьеръ, потому что пользуется нѣкоторою непопулярностью, а это нравится королю. Но пуританскій пошибъ Гизо, его подстерегающее высокомѣріе, доктринерный тонъ поученія, угловато кальвинистскій характеръ—все это не можетъ привлекательно дѣйствовать на короля. Въ Тьерѣ онъ наталкивается на противоположныя свойства — на необузданное легкомысліе, смѣлую прихоть, искренность, почти оскорбительно противоположную его собственному скрытному, криволинейному, осторожному характеру, и потому также не нравящуюся ему. Къ этому присоединяется еще то, что король любитъ говорить, даже иногда охотно пускается въ безконечную болтовню, что очень удивительно, такъ какъ скрытныя натуры вообще скупы на слова. Поэтому ему долженъ особенно сильно не нравиться Гизо, который никогда не разговариваетъ, но всегда поучаетъ и, наконецъ, доказавъ свой тезисъ, начинаетъ строго выслушивать возраженія короля и по временамъ одобрительно киваетъ головою, точно передъ нимъ стоитъ ученикъ, хорошо говорящій свой урокъ. Съ Тьеромъ королю еще хуже, тотъ не даетъ ему сказать ни слова, увлеченный потокомъ своей собственной рѣчи. Эта рѣчь течетъ, не останавливаясь, точно изъ бочки, у которой вынутъ кранъ; но вино всегда превосходное. Въ это время всѣ должны молчать, и только, когда г. Тьеръ бреется, есть возможность заставить его спокойно слушать. Только до тѣхъ поръ, пока бритва работаетъ около его шеи, онъ молчитъ и выслушиваетъ чужія слова.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что король, уступая желанію палаты, рѣшится, наконецъ, поручить г. Тьеру составить новое министерство и отдастъ ему, какъ президенту совѣта, также портфель министра иностранныхъ дѣлъ. Это легко предугадать. Но можно также съ достовѣрностью предсказать, что это новое министерство продержится недолго, и что въ одно прекрасное утро г. Тьеръ самъ дастъ королю хорошій поводъ снова удалить его и призвать на его мѣсто

г. Гизо. Г. Тьеръ, при своей расторопности и ловкости, обнаруживаетъ большое дарованіе каждый разъ, какъ ему приходится взлѣзать на mât de cocagne владычества; но еще талантливѣе умѣетъ онъ спускаться съ этой мачты, и въ то время, когда намъ кажется, что онъ сидитъ на верхушкѣ своей власти, онъ вдругъ неожиданно соскальзываетъ внизъ, такъ искусно, такъ граціозно, такъ весело, такъ геніально, что мы почти готовы аплодировать этой новой штукѣ. Г. Гизо не такъ искусно взлѣзаетъ на гладкую мачту. Съ тяжеловѣснымъ трудомъ взбирается онъ на нее, но разъ взобравшись, крѣпко цѣпляется за верхушку своею сильною лапой; на вершинѣ власти онъ будетъ всегда держаться дольше своего ловкаго соперника; я готовъ даже сказать, что по своей безпомощности онъ не сумѣетъ самъ слѣзть оттуда и что для того, чтобы облегчить ему этотъ спускъ, нужно будетъ сильно пошатнуть мачту. Можетъ-быть, въ настоящую минуту по Европѣ мчатся депеши, въ которыхъ Людовикъ Филиппъ объясняетъ иностраннымъ кабинетамъ, что сила обстоятельствъ принудила его отдать мѣсто министра фатальному для него Тьеру, вмѣсто Гизо, который былъ бы ему несравненно пріятнѣе.

Королю будетъ теперь очень трудно ослабить антипатію иноземныхъ державъ къ Тьеру. Эта погоня за ихъ одобреніемъ—безумная идіосинкразія. Людовикъ Филиппъ думаетъ, что отъ внѣшняго мира зависитъ также спокойствіе его государства внутри, и обращаетъ на это послѣднее мало вниманія. Онъ, передъ взглядомъ котораго должны бы дрожать всѣ Траяны, Титы, Марки Авреліи и Антонины этой земли, включая въ число ихъ и Великаго Могола, онъ смиренно преклоняется предъ ними, точно школьникъ, и жалобно проситъ: «Пощадите меня! простите мнѣ за то, что я, такъ сказать, вступилъ на французскій тронъ, за то, что храбрѣйшій и умнѣйшій народъ—я хочу сказать, 36 милліоновъ мятежниковъ и безбожниковъ—выбрали меня своимъ королемъ. Простите меня за то, что я поддался искушенію, принявъ изъ нечестивыхъ рукъ бунтовщиковъ корону и принадлежащіе къ ней коронные брильянты; но я былъ неопытенъ, я получилъ дурное воспитаніе еще въ дѣтствѣ, когда мадамъ Жанлисъ учила меня по складамъ человѣческимъ правамъ; у якобинцевъ, я тоже не могъ выучиться особенно хорошимъ вещамъ, меня соблазнило дурное общество, особенно маркизъ Лафайетъ, хотѣвшій сдѣлать изъ меня лучшую республику,—но съ тѣхъ поръ я исправился,

я каюсь въ моихъ юношескихъ заблужденіяхъ, и прошу, простите меня ради Христа — и подарите мнѣ миръ!» — Нѣтъ, такъ не выражался Людовикъ Филиппъ, потому что онъ гордъ, и благороденъ, и уменъ, но таковъ былъ тѣмъ, не менѣе, всегда краткій смыслъ его длинныхъ рѣчей и еще болѣе длинныхъ писемъ, почеркъ которыхъ, когда я недавно увидѣлъ его, показался мнѣ крайне оригинальнымъ. Подобно тому, какъ нѣкоторые почерки называютъ «мушиными лапками» (pattes de mouche), почеркъ Людовика Филиппа можно бы назвать «пауковыми ножками»; дѣйствительно, онъ похожъ на тощія и тѣнеобразно длинныя ноги такъ-называемыхъ портныхъ-пауковъ, и эти вытянутыя и въ то же время крайне тощія буквы производятъ какое-то сказочно смѣшное впечатлѣніе.

Даже самые приближенные короля порицаютъ его за уступчивость иноземнымъ державамъ; но ни одинъ изъ нихъ не смѣетъ произнести ни малѣйшаго звука хулы. Этотъ кроткій, добродушный, и играющій роль отца семейства Людовикъ Филиппъ требуетъ отъ своихъ близкихъ такого же слѣпого повиновенія, какого самый бѣшеный тиранъ могъ бы добиться только страшнѣйшими жестокостями. Почтеніе и любовь сковываютъ языкъ его семьи и друзей, это—неблагопріятное обстоятельство, и можетъ произойти много случаевъ, когда какое-нибудь возраженіе или даже открытое сопротивленіе оказало бы благодѣтельное вліяніе на единичную волю короля. Даже наслѣдный принцъ, умный герцогъ Орлеанскій безмолвно преклоняется передъ своимъ отцомъ, хотя видитъ его промахи и, повидимому, предчувствуетъ печальныя столкновенія, даже страшную катастрофу. Говорятъ, онъ разъ сказалъ одному изъ своихъ приближенныхъ, что жаждетъ войны, потому что лучше хочетъ лишиться жизни въ волнахъ Рейна, чѣмъ въ грязной канавѣ Парижа. На благороднаго рыцаря-героя находятъ меланхолическія минуты, и тогда онъ разсказываетъ, какъ его тетка, герцогиня Ангулемская, оставшаяся негильотинированною дочь Людовика XVI, предсказала ему своимъ хриплымъ вороньимъ голосомъ раннюю погибель, когда, во время своего послѣдняго бѣгства, послѣ іюльскихъ дней, встрѣтила возвращавшагося домой принца вблизи Парижа. Странно, что нѣсколько часовъ спустя его взяли въ плѣнъ республиканцы и чуть-чуть не разстрѣляли, такъ что онъ только чудомъ избѣжалъ этой участи. Наслѣдный принцъ пользуется общею любовью, онъ привлекъ къ себѣ всѣ серд-

ца, и смерть его была бы болѣе чѣмъ пагубна для нынѣшней династіи. Его популярность служитъ ей, можетъ-быть, единственною гарантіей. Но и то правда, что онъ одинъ изъ благороднѣйшихъ и драгоцѣннѣйшихъ цвѣтковъ, возросшихъ на почвѣ Франціи, этого «прекраснаго человѣческаго сада»

II.

Парижъ, 1 марта 1840 г.

Тьеръ находится нынче въ полномъ блескѣ своего могущества. Я говорю «нынче», потому что не ручаюсь за завтра.—Что Тьеръ въ настоящую минуту министръ, единовластный, дѣйствительный министръ это не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, хотя многіе, больше изъ лукавства, чѣмъ изъ убѣжденія, не хотятъ этому повѣрить до тѣхъ поръ, пока не увидятъ приказы, подписанные его рукою, въ «Монитерѣ». Они говорятъ, что при медлительности Фабія Кунктатора монархіи все возможно, что въ маѣ прошедшаго года сдѣлка разрушилась въ ту самую минуту, когда Тьеръ взялъ уже въ руку перо для подписи. Но на этотъ разъ, я убѣжденъ въ томъ, Тьеръ — министръ, «поклясться въ этомъ я готовъ, но держать пари не хочу», сказалъ однажды, въ подобномъ же случаѣ, Фоксъ. Теперь мнѣ любопытно знать, черезъ сколько времени его популярность будетъ снова разрушена. Республиканцы видятъ теперь въ немъ новый оплотъ монархической власти, и конечно не пощадятъ его. Великодушіе не ихъ свойство, и республиканская добродѣтель не брезгаетъ союзомъ съ ложью. Уже завтра старыя клеветы начнутъ высовывать свои змѣиныя головы изъ самыхъ болотистыхъ норъ и дружески пощелкивать языкомъ. Бѣднымъ его товарищамъ тоже придется сильно поплатиться. «Масляничное министерство!» кричали парижане уже вчера вечеромъ, когда было объявлено, кто назначенъ министромъ народнаго просвѣщенія. Слова эти, однако, отчасти справедливы. Если бъ правительство не боялось трехъ дней масляницы, оно, можетъ-быть, не поторопилось бы такъ составленіемъ министерства. Но сегодня уже воскресенье, по улицамъ Парижа въ эту минуту уже движется процессія boeuf gras, и завтра и послѣ-завтра— опаснѣйшіе дни для общественнаго спокойствія. Въ эти дни народъ предается безумному, почти отчаянному веселью, безуміе страшнѣйшимъ образомъ выходитъ изъ границъ, и опьянѣніе свободой легко пьетъ брудершафтъ съ опьянѣ-

ніемъ отъ обыкновеннаго вина. Маскарадъ противъ маскарада, и новое министерство есть, можетъ-быть, маска, надѣтая королемъ на масляницу.

III.

Парижъ, 9 апрѣля 1840 г.

Теперь, когда страсти немного поохладились, и мыслящее благоразуміе мало-по-малу вступаетъ въ свои права, каждый сознается, что спокойствію Франціи грозила бы большая опасность, если бы такъ-называемымъ консерваторамъ удалось свергнуть нынѣшнее министерство. Несомнѣнно, что въ настоящую минуту члены его способнѣе другихъ управлять государственнымъ экипажемъ. Король и Тьеръ, изъ которыхъ одинъ сидитъ внутри экипажа, а другой на козлахъ, должны теперь дѣйствовать единодушно, потому что, несмотря на разницу въ своемъ положеніи, они подвержены одинаковой опасности слетѣть. Король и Тьеръ отнюдь не питаютъ другъ къ другу тайной вражды, какъ всѣ думаютъ. Лично они примирились уже давно. Различіе остается только политическое. Но при всемъ теперешнемъ единодушіи этихъ двоихъ людей, при искреннѣйшемъ желаніи короля удержать нынѣшнее министерство, онъ все-таки не можетъ вполнѣ забыть это политическое различіе; потому что король есть вѣдь представитель верховной власти, интересы и права которой находятся въ постоянномъ столкновеніи съ узурпаціонными вожделѣніями палаты. Дѣйствительно, если говорить правду, то все стремленіе палаты слѣдуетъ обозначить, какъ узурпаціонное; она и всегда была нападающею стороной, она старалась при всякомъ удобномъ случаѣ уменьшить права верховной власти, повредить ея интересамъ, и королю приходилось естественно только обороняться. Напр., хартія предоставила королю право выбирать своихъ министровъ, а теперь эта прерогатива ничто иное, какъ пустой обрядъ, ироническая, издѣвающаяся надъ королевскою властью форма, потому что на самомъ дѣлѣ выборомъ и отставкою министровъ распоряжается палата. Очень характеристично также то, что съ нѣкотораго времени французское правительство называется уже не конституціоннымъ а парламентскимъ. Министерство 1-го марта получило это названіе при самомъ крещеніи, и на дѣлѣ, точно такъ же какъ и на словахъ, отнятіе у короны ея правъ въ пользу палаты было явно провозглашено и утверждено.

Тьеръ — представитель палаты, онъ — выбранный ею ми-

нистръ, и въ этомъ отношеніи не можетъ вполнѣ быть по сердцу королю. Такимъ образомъ, какъ я уже сказалъ, королевская неблагосклонность обрушивается не на личность министра, а на принципъ, который получилъ силу вслѣдствіе этого выбора. Мы полагаемъ, что палата не будетъ продолжать побѣду этого принципа, потому что въ сущности онъ тотъ же избирательный принципъ, послѣднимъ слѣдствіемъ котораго является республика. Куда ведутъ эти, выигранныя палатою, сраженія это династическіе герои оппозиціи видятъ теперь такъ же хорошо, какъ тѣ консерваторы, которые, изъ-за личныхъ страстей, провинились самыми смѣшными промахами при рѣшеніи дотаціоннаго вопроса.

Отказъ въ дотаціи, или, вѣрнѣе, та молчаливая иронія, съ которою палата отказала въ ней, была не только оскорбленіемъ королевской власти, но и несправедливою глупостью: если у короны отымали мало-по-малу всю дѣйствительную власть, то слѣдовало вознаградить ее, по крайней мѣрѣ, внѣшнимъ блескомъ и скорѣе возвысить, чѣмъ унизить въ глазахъ народа ея нравственное значеніе. Какая непослѣдовательность! Вы хотите имѣть монарха, и скаредничаете въ расходахъ на горностай и золото для украшеній! Вы ужасаетесь республики, и публично оскорбляете короля, какъ сдѣлали при рѣшеніи вопроса о его доходахъ! А они, дѣйствительно, не хотятъ республики, они, эти благородные рыцари денегъ, эти бароны промышленности, эти избранники права собственности, эти энтузіасты права спокойнаго владѣнія, составляющіе большинство во французской палатѣ. Они страшатся республики еще гораздо больше, чѣмъ самъ король, они дрожатъ передъ нею гораздо сильнѣе, чѣмъ Людовикъ Филиппъ, который привыкъ къ ней уже съ юности, когда былъ маленькимъ якобинцемъ.

Долго ли продержится министерство Тьера? Теперь это вопросъ. Этотъ человѣкъ играетъ страшную роль. Онъ распоряжается не только всѣми боевыми силами могущественнѣйшаго государства, но и всею арміею революціи, всѣмъ огнемъ и всѣмъ безуміемъ своего времени. Не подстрекайте его кинуться изъ его мудрой веселости въ фаталистическій лабиринтъ страсти, не кладите ему поперекъ дороги ничего, ни золотыхъ яблокъ, ни грубыхъ камней!.. Вся партія короны должна считать себя счастливою, что палата выбрала именно Тьера, государственнаго человѣка, который въ послѣднихъ дебатахъ обнаружилъ все свое политическое ве-

личіе. Да, между тѣмъ какъ другіе только администраторы, или ораторы, или ученые, или дипломаты, или герои добродѣтели, Тьеръ является всѣмъ этимъ вмѣстѣ, даже героемъ добродѣтели, съ тою только разницею, что всѣ эти способности не обнаруживаются въ немъ въ видѣ рѣзкихъ спеціальностей, а поглощаются превосходящею ихъ геніальностью государственнаго человѣка. Тьеръ—государственный человѣкъ, онъ одинъ изъ тѣхъ умовъ, въ которыхъ способность управлять есть способность врожденная. Природа создаетъ государственныхъ людей, какъ создаетъ поэтовъ—два совершенно различныхъ между собою рода твореній, но одинаково необходимые, потому что человѣчество не можетъ обойтись безъ того, чтобъ имъ не управляли и не воодушевляли его. Люди, въ которыхъ поэтическая способность или искусство управленія государствомъ врождены, побуждаются и природою примѣнять къ дѣлу свои дарованія, и это побужденіе мы ни въ какомъ случаѣ не должны смѣшивать съ тѣмъ мелочнымъ тщеславіемъ, которое подстрекаетъ менѣе даровитыхъ людей надоѣдать міру своимъ элегическимъ риѳмоплетствомъ или своими прозаическими декламаціями. Тьеръ не честолюбецъ, точно такъ же, какъ и Викторъ Гюго; напротивъ того, де-Ламартинъ—честолюбецъ какъ въ политическомъ, такъ и въ поэтическомъ отношеніи.

Выше я замѣтилъ, что Тьеръ именно своею послѣднею рѣчью обнаружилъ свое политическое величіе. Берье своими звучными фразами произвелъ, можетъ-быть, на массу болѣе эффектное дѣйствіе; но этотъ ораторъ относится къ этому государственному человѣку, какъ Цицеронъ къ Демосѳену. Когда Цицеронъ ораторствовалъ на форумѣ, слушатели утверждали, что никто не умѣетъ говорить лучше Марка Тулія; но чуть выступалъ съ рѣчью Демосѳенъ, аѳиняне кричали: «Война съ Филиппомъ!» Когда Тьеръ окончилъ говорить, депутаты, вмѣсто всякихъ похвалъ, раскрыли свои сундуки и дали ему то золото, котораго онъ требовалъ.

Кульминаціоннымъ въ этой рѣчи Тьера было слово «transaction»—слово, которое наши современные политики понимаютъ весьма мало, но въ которомъ, по моему мнѣнію, заключается глубочайшій смыслъ. Дѣйствительно, развѣ задачею великихъ государственныхъ людей было искони что-нибудь, кромѣ этой «transaction», т. е. сдѣлки между принципами и партіями? Когда приходится управлять и въ то же время находиться между двумя, борющимися между собою партіями, тогда поневолѣ дѣлаешь попытку этого посредни-

чества. Могъ ли бы міръ идти впередъ, могъ ли бы онъ даже спокойно оставаться на своемъ мѣстѣ, если бы послѣ дикихъ переворотовъ не приходили люди, одаренные способностью повелѣвать, и не возстановляли блаженнаго мира между усталыми и страждущими бойцами, какъ въ области духа, такъ и въ области внѣшнихъ явленій? Да и въ области духа «трансакціи» необходимы. То, что за три столѣтія до насъ совершилось въ Германіи въ видѣ реформаціи и протестантизма, было развѣ что-нибудь иное, какъ такая же сдѣлка между римско-католическимъ преданіемъ и человѣческо-божественнымъ разумомъ. То, что пытался сдѣлать во Франціи Наполеонъ, когда онъ старался примирять людей и интересы стараго порядка съ новыми людьми и новыми интересами революціи, развѣ было что-нибудь иное, какъ сдѣлка? Наполеонъ назвалъ эту сдѣлку «fusion»—тоже весьма знаменательное названіе, обнаруживающее цѣлую систему. За два тысячелѣтія до Наполеона, другой великій человѣкъ, именно Александръ Македонскій, придумалъ такую же «фузіонную» систему, захотѣвъ соединить западъ съ востокомъ посредствомъ взаимныхъ браковъ между побѣдителями и побѣжденными, обмѣны нравовъ и обычаевъ, слитія идей. Но до такой высоты этой системы Наполеонъ не могъ подняться, онъ умѣлъ примирять между собою только лица и интересы, а не идеи, и въ этомъ заключалась его большая ошибка, а также и причина его паденія. Сдѣлаетъ ли Тьеръ такой же промахъ? Мы почти боимся, что сдѣлаетъ. Г. Тьеръ можетъ говорить съ утра до полночи, неутомимо, безпрерывно сверкая новыми мыслями, новыми молніями ума, забавляя, поучая, ослѣпляя слушателей—точно фейерверкъ изъ словъ. И, однакоже, онъ понимаетъ больше матеріальныя, чѣмъ идеальныя потребности человѣчества, ему незнакомо то послѣднее звено, которымъ земныя явленія прикованы къ небу; у него нѣтъ чутья къ великимъ соціальнымъ учрежденіямъ.

IV.

Парижъ, 30 апрѣля 1840 г.

«Разскажи мнѣ, что ты посѣялъ сегодня—и я предскажу тебѣ, что ты пожнешь завтра». Объ этой пословицѣ трезваго Санчо я думалъ на этихъ дняхъ, когда посѣтилъ нѣсколько мастерскихъ въ предмѣстьи Сен-Марсо и увидѣлъ, что читали рабочіе, самая здоровая часть низшаго класса. Именно,

я нашелъ тамъ нѣсколько новыхъ изданій рѣчей старика Робеспьера, а также памфлетовъ Марата, изданныхъ выпусками по 2 су, «Исторію революціи» Кабе, ядовитые пасквили Корменена, сочиненіе Буанаротти «Ученіе и Заговоръ Бабефа» — все произведенія, пахнущія кровью, и тутъ же я слышалъ пѣсни, сочиненныя какъ будто въ аду, и припѣвы которыхъ свидѣтельствовали о самомъ дикомъ волненіи умовъ. Нѣтъ, о демоническихъ звукахъ, которыми полны эти пѣсни, составить себѣ понятіе въ нашей нѣжной сферѣ, невозможно; надо ихъ слышать собственными ушами, напримѣръ, въ тѣхъ громадныхъ мастерскихъ, гдѣ занимаются обработкою металловъ и гдѣ полунагіе, суровые люди во время пѣнія бьютъ въ тактъ большими желѣзными молотами по вздрагивающимъ наковальнямъ. Такой аккомпанементъ въ высшей степени эффектенъ, точно такъ же, какъ и освѣщеніе въ то время, когда гнѣвныя искры вылетаютъ изъ печки. Все — только страсть и пламя!

Какъ одинъ изъ плодовъ этого сѣмени, грозитъ на почвѣ Франціи, рано или поздно, вырости республика. Мы, дѣйствительно, должны опасаться этого; но въ то же время мы убѣждены, что это республиканское правленіе ни въ какомъ случаѣ не можетъ продержаться долго въ родинѣ кокетства и суетности. И предположивъ даже, что національный характеръ французовъ совершенно совмѣстимъ съ республиканскимъ, все-таки такая республика, о какой мечтаютъ наши радикалы, не могла бы долго продержаться. Въ жизненномъ принципѣ такой республики лежитъ уже зародышъ ея ранней смерти; она должна умереть въ своемъ расцвѣтѣ. Какова бы ни была форма правленія въ государствѣ, оно держится не только единодушіемъ и патріотизмомъ народной массы, какъ обыкновенно думаютъ, но духовною силою великихъ индивидуальностей, руководящихъ этою массою. Но мы знаемъ, что въ республикѣ вышеупомянутаго рода господствуетъ ревнивое чувство равенства, всегда отталкивающее всѣ, выходящія изъ ряда индивидуальности, и дѣлающее даже невозможнымъ ихъ существованіе, и что, такимъ образомъ, въ критическое время во главѣ народнаго правленія станутъ кумъ-кожевникъ и колбасникъ. Вслѣдствіе такого радикальнаго порока въ своемъ организмѣ эти республики должны непремѣнно погибать при первомъ же вступленіи въ рѣшительную борьбу съ энергическими олигархіями и автократіями, руководимыми великими личностями. А что это случится, какъ только во

Франціи будетъ провозглашена республика — не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію.

Значительнѣйшимъ органомъ республиканцевъ служитъ газета «Revue du Progrès». Луи Бланъ, главный редакторъ ея, безспорно отличнѣйшая голова. Ростомъ онъ очень малъ, похожъ почти на школьника, имѣетъ красныя щечки и почти ни одного волоса на лицѣ; но умомъ онъ превосходитъ почти всю свою партію, и глазъ его глубоко проникаетъ въ тѣ бездны, гдѣ гнѣздятся и стоятъ на сторожѣ соціальные вопросы. Это человѣкъ, которому предстоитъ великая будущность, потому что онъ понимаетъ прошедшее. Онъ, какъ я только-что сказалъ, лучшая голова своей партіи, и я не особенно удивился, когда на этой недѣлѣ узналъ, что между нимъ и его соредакторами-республиканцами началось несогласіе. Случилось это именно потому, что Луи Бланъ, говоря о «Вотренѣ» Бальзака, прямо объявилъ, что театральная цензура необходима. Возмущенные такимъ преступнымъ мнѣніемъ, такою антиякобинской ересью, Феликсъ Піа и Огюстъ Люше отказались отъ сотрудничества въ «Revue du Progrès». Оба они не только весьма почтенные люди, но и очень талантливые писатели; нѣсколько лѣтъ тому назадъ, они сообща написали драму, которую театральная цензура запретила.

Между тѣмъ какъ спокойствіе, которымъ мы теперь наслаждаемся, весьма благопріятствуетъ распространенію республиканскихъ принциповъ, между самими республиканцами оно разрываетъ всѣ узы единодушія; подозрительный духъ этихъ людей долженъ быть постоянно занятъ дѣломъ, иначе онъ впадаетъ въ софистическіе споры и полемики, переходящіе потомъ въ озлобленную вражду. Они питаютъ мало любви къ своимъ друзьямъ и весьма много ненависти къ тѣмъ, которые силою прогрессивнаго мышленія увлекаются къ противоположнымъ воззрѣніямъ. Въ этомъ случаѣ они весьма щедры на обвиненіе въ честолюбіи, а иногда даже и въ продажности. Въ своей ограниченности они обыкновенно никогда не понимаютъ, что ихъ прежніе союзники часто бывали принуждены отдаляться отъ нихъ вслѣдствіе различія убѣжденій. Лишенные способности понимать раціональныя причины такого отдаленія, они сейчасъ же начинаютъ кричать о денежныхъ побужденіяхъ. Эти крики характеристичны. Республиканцы разъ навсегда стали въ самыя враждебныя отношенія къ деньгамъ, все, что случается съ ними худого, приписывается ими вліянію денегъ,

и дѣйствительно, деньги служатъ ихъ противникамъ баррикадами, оплотами; можетъ-быть даже, деньги—ихъ главный противникъ, нынѣшній Питтъ, нынѣшній Кобургъ, и они ругаютъ ихъ на древне-санкюлотскій ладъ. Въ сущности ими руководитъ правильный инстинктъ. Той новой доктрины, которая разсматриваетъ всѣ соціальные вопросы съ высшей точки зрѣнія и отъ банальнаго республиканства отличается также блестяще, какъ цезарская пурпурная одежда отъ сѣрой куртки равенства, нашимъ республиканцамъ нечего бояться, потому что какъ они сами, такъ и масса еще далеки отъ этой доктрины. Масса, высшая и низшая чернь, благородное сословіе гражданъ, буржуазное дворянство, всѣ чины милой посредственности — очень хорошо понимаютъ республиканство, ученіе, для усвоенія котораго не нужно имѣть много предварительныхъ знаній, которое въ то же время удовлетворяетъ всѣмъ маленькимъ чувствамъ ихъ и мыслямъ объ уравненіи всѣхъ людей, и которое они, пожалуй, признали бы гласно, если бы черезъ это не должны были войти въ столкновеніе—съ деньгами. Каждый талеръ есть храбрый боецъ противъ республиканства и каждый червонецъ — Ахиллесъ, поэтому каждый республиканецъ совершенно основательно ненавидитъ деньги, и чуть только этотъ врагъ попадетъ ему въ руки, — ахъ, тогда побѣда становится еще хуже пораженія: республиканецъ, завладѣвшій деньгами, тотчасъ же перестаетъ быть республиканцемъ!

Какъ симпатія, возбуждаемая республиканствомъ, постоянно подавляется, однако, денежными интересами, это я замѣтилъ на-дняхъ, разговаривая съ однимъ очень просвѣщеннымъ банкиромъ. «Да кто же — сказалъ онъ мнѣ съ большою горячностью: — оспариваетъ преимущества республиканскаго правленія? Я самъ бываю по временамъ полнѣйшимъ республиканцемъ. Видите ли, когда я опускаю руку въ правый карманъ, въ которомъ лежатъ мои деньги, тогда прикосновеніе къ холодному металлу заставляетъ меня дрожать, я начинаю бояться за мою собственность и чувствую себя настроеннымъ совершенно монархически; но опущу я руку въ лѣвый, пустой карманъ, и всякая боязнь сейчасъ же исчезаетъ, и я весело свищу Марсельезу, и подаю голосъ въ пользу республики!» — Просвѣщенный банкиръ, говорившій это, ни великій баронъ фонъ-Ротшильдъ, ни маленькій г. Кенигсвартеръ; впрочемъ, это замѣчаніе почти излишне, такъ какъ первый изъ нихъ, что̀ извѣстно всякому, имѣетъ

столько денегъ, что у него оба кармана полны, а второй слишкомъ мало уменъ для того, чтобы умѣть объяснить, почему онъ двадцать разъ въ день является поочередно то роялистомъ, то республиканцемъ.

Подобно республиканцамъ, и легитимисты заботятся о томъ, чтобы воспользоваться нынѣшнимъ мирнымъ временемъ для посѣва и, главнымъ образомъ, на тихой почвѣ провинціи сѣютъ они тѣ сѣмена, изъ которыхъ должно вырости ихъ спасеніе. Больше всего ожидаютъ они отъ пропаганды, которая, посредствомъ учебныхъ заведеній для сельскаго населенія, старается возстановить авторитетъ католической церкви. Имъ кажется, что съ вѣрою отцовъ возвратятъ себѣ силу, и почетъ также права отцовъ. Вслѣдствіе этого знатнѣйшія барыни, публично выказывающія, какъ бы въ качествѣ ladies patronesses религіи, свою набожность, повсюду вербуютъ души для вѣчнаго спасенія и своимъ изящнымъ примѣромъ увлекаютъ за собою всю знать. Оттого-то церкви никогда не были наполнены такъ, какъ въ послѣднюю Пасху. Особенно въ церкви С. Рокъ и Notre Dame de Lorette толпилось расфранченное ханжество; тутъ блистали самые изящные туалеты, тутъ набожный деньди подавалъ дамамъ освященную воду рукою, одѣтую въ бѣлую лайковую перчатку, тутъ молились граціи. Долго ли это продолжится? Эта религіозность, вошедшая въ моду, не пройдетъ ли такъ же скоро, какъ и всякая мода? Признакъ ли здоровья этотъ румянецъ?..—«Церкви теперь полны посѣтителей», сказалъ я въ прошедшее воскресенье одному пріятелю, замѣтивъ, какъ толпы стремились туда. «Это прощальные визиты» отвѣчалъ невѣрующій.

Драконовы зубы, которые сѣются республиканцами и легитимистами, теперь намъ извѣстны, и мы не удивимся, когда эти сѣмена вдругъ выйдутъ изъ земли вооруженными бойцами и начнутъ или душить другъ друга, или брататься. Да, это послѣднее возможно; вѣдь есть же здѣсь одинъ страшный священникъ, который надѣется своими кровожадными словами вѣры соединить людей костра съ людьми гильотины.

Между тѣмъ, всѣ глаза устремлены на пьесу, разыгрываемую на поверхности Франціи болѣе или менѣе поверхностными актерами. Я говорю о палатѣ и министерствѣ. Образъ мыслей первой и нераспаданіе второго — предметы безспорно большой важности, потому что раздоры въ палатѣ могутъ ускорить катастрофу, которая кажется то близкою, то

отдаленною. Отклонять эту катастрофу сколь возможно дольше — задача нашихъ правительственныхъ вождей. Что они только этого хотятъ, только на это надѣятся, что они предвидятъ долженствующія наступить, въ концѣ концовъ, «сумерки боговъ», это обнаруживается во всѣхъ ихъ дѣйствіяхъ, во всѣхъ ихъ рѣчахъ. Тьеръ, въ одной изъ своихъ послѣднихъ рѣчей, сознался съ почти наивной честностью, что онъ весьма мало довѣряетъ ближайшему будущему; у него чуткое ухо, и онъ слышитъ уже вой волка Фенриса, возвѣщающаго царство Гелы. Не придетъ ли онъ въ отчаяніе, увидя неотвратимое, и не подвинетъ ли это его на какой-нибудь внезапный, слишкомъ рѣзкій поступокъ? Его противники уже нашептываютъ это другъ другу. Напротивъ того, его друзья замѣчаютъ въ немъ ежедневно увеличивающуюся кротость. Человѣкъ этотъ живетъ въ сознаніи своего серьезнаго долга, своей отвѣтственности передъ современниками и потомствомъ и волненію страстей дня будетъ всегда противупоставлять мудрое спокойствіе государственнаго человѣка

V.

Парижъ, 30 апрѣля 1840 г.

Вчера вечеромъ, послѣ долгаго ожиданія со дня на день, послѣ почти двухмѣсячныхъ откладываній, до крайности раздражавшихъ любопытство, но вмѣстѣ съ тѣмъ и нетерпѣніе публики, на сценѣ Théatre Francais, наконецъ, давали «Козиму», драму Жоржъ Санда. Тѣснота и жаръ въ театрѣ были невыносимы. Невозможно себѣ представить, какъ усердно всѣ высшіе сановники столицы, все, что выходитъ изъ ряда рожденіемъ, званіемъ, талантомъ, порокомъ, богатствомъ, однимъ словомъ, отличіями всѣхъ родовъ, нѣсколько недѣль сряду хлопотали о билетахъ на это представленіе. Слава автора такъ велика, что жажда зрѣлищъ была возбуждена въ высшей степени; но не одна жажда зрѣлищъ; кромѣ нея здѣсь играли роль и совершенно иные интересы и страсти. Всѣ знали заранѣе, какія интриги, козни и злобныя намѣренія составили заговоръ противъ новой пьесы и вступили въ союзъ съ самою мелкою завистью собратьевъ автора по ремеслу. Смѣлый авторъ, одинаково возстановившій противъ себя своими романами какъ аристократію, такъ и среднее сословіе, долженъ былъ, при своемъ первомъ драматическомъ дебютѣ, понести публичное наказаніе за свои «безбожные и безнравственные принципы»· потому что,

какъ я вамъ писалъ на этихъ дняхъ, французское дворянство смотритъ на католицизмъ, какъ на защиту отъ грозящихъ ужасовъ республиканства, и покровительствуетъ ему, чтобы поддержать свое значеніе и охранить свои головы; между тѣмъ какъ буржуазія тоже думаетъ, что ея головамъ грозитъ опасность отъ антиматримоніальныхъ доктринъ Жоржъ Занда, грозитъ именно извѣстнымъ роговымъ украшеніемъ, отъ котораго женатый буржуа, служащій въ національной гвардіи,отказывается такъ же охотно, какъ сильно желаетъ быть украшеннымъ орденомъ Почетнаго Легіона.

Авторъ очень хорошо понялъ свое неблагопріятное положеніе и избѣжалъ въ своей пьесѣ всего, что̀ могло возбудить тревогу въ аристократическихъ рыцаряхъ католицизма и буржуазныхъ оруженосцахъ морали, въ легитимистахъ политики и брака; и передовой боецъ соціальной революціи, отваживавшійся въ своихъ романахъ на самыя отчаянныя вещи, предписалъ себѣ на сценѣ самыя кроткія границы, и главною цѣлью его было не провозгласить на театрѣ свои принципы, но завладѣть театромъ. Опасеніе, что это послѣднее можетъ удасться ему, сильно напугало, однако, тѣхъ мелкихъ людишекъ, которымъ совершенно чужды вышеупомянутыя религіозныя, политическія и нравственныя различія и которые поклоняются только самымъ пошлымъ интересамъ своего ремесла. Это такъ-называемые сценическіе писатели, которые во Франціи, точно такъ же, какъ у насъ въ Германіи, составляютъ совершенно отдѣльный классъ, и какъ съ дѣйствительною литературой, такъ и съ извѣстными писателями, которыми славится нація, не имѣютъ ничего общаго. Эти послѣдніе, за немногими исключеніями, совершенно чужды театру; только у насъ крупные писатели сами съ гордымъ презрѣніемъ отворачиваются отъ міра подмостковъ, между тѣмъ какъ во Франціи они очень бы желали ставить на театры свои произведенія, но махинаціями вышеупомянутыхъ сценическихъ писателей устраняются съ этой почвы. И въ сущности, этихъ мелкихъ людишекъ нельзя обвинять, что они противятся, сколько возможно, нашествію великихъ. «Чего вы хотите отъ насъ!— кричатъ они:—оставайтесь въ своей литературѣ и не тѣснигесь къ нашимъ суповымъ мискамъ. Вамъ слава, намъ деньги! Вамъ длинныя восхваляющія статьи, уваженіе высшихъ умовъ, высшая критика, совершенно игнорирующая нашу бѣдную братію! Вамъ лавры, намъ жаркое! Вамъ упоеніе поэзіею, намъ пѣна шампанскаго, которую мы съ

удовольствіемъ прихлебываемъ въ компаніи шефа клакеровъ и самыхъ приличныхъ дамъ. Мы ѣдимъ, пьемъ, намъ аплодируютъ, насъ освистываютъ и забываютъ, а васъ прославляютъ въ журналахъ «обоихъ свѣтовъ» и вы голодаете въ виду самаго величаваго безсмертія!»

Дѣйствительно, театръ доставляетъ этимъ сценическимъ писателямъ самое блистательное благосостояніе; большая часть изъ нихъ живутъ въ полномъ довольствѣ, между тѣмъ какъ величайшіе писатели Франціи, разоряемые бельгійскими перепечатками и банкротскимъ состояніемъ книжной торговли, прозябаютъ въ безотрадной бѣдности. Не вполнѣ ли естественно послѣ этого, что они по временамъ томятся по золотымъ плодамъ, созрѣвающимъ за лампами міра подмостковъ, и протягиваютъ къ нимъ руку, какъ сдѣлалъ недавно Бальзакъ, для котораго это вожделѣніе окончилось такъ неудачно? Если уже въ Германіи существуетъ тайный оборонительный и наступательный союзъ между посредственностями, эксплуатирующими театръ, то это дѣлается въ еще болѣе постыдной формѣ въ Парижѣ, гдѣ вся эта сволочь сосредоточена. И притомъ, здѣсь эти мелкіе люди такъ дѣятельны, такъ искусны, такъ неутомимы въ своей борьбѣ съ великими, и въ особенности въ борьбѣ съ геніемъ, который всегда стоитъ уединенно, довольно неловокъ и, говоря по секрету, черезчуръ мечтательно лѣнивъ!

Какой же пріемъ встрѣтила драма Жоржъ Занда, величайшаго писателя, какого только произвела новая Франція, зловѣще одинокаго генія, котораго оцѣнили и у насъ въ Германіи? Рѣшительно худой или двусмысленно хорошій былъ этотъ пріемъ? Говоря по совѣсти, я не могу отвѣтить на этотъ вопросъ. Уваженіе къ великому имени, можетъ-быть, ослабило многія злыя намѣренія. Я ожидалъ самаго худшаго. Всѣ противники автора назначили себѣ свиданіе въ громадной залѣ Théatre Français, вмѣщающей въ себѣ болѣе двухъ тысячъ человѣкъ. Дирекція отдала въ распоряженіе автора, для раздачи его друзьямъ, около ста сорока билетовъ; но я полагаю, что розданные женскою прихотью, они попали большею частью не въ надлежащія, аплодирующія руки. Объ организованной клакѣ здѣсь не было и рѣчи; обыкновенный шефъ ея предложилъ свои услуги, но былъ отвергнутъ гордымъ авторомъ «Леліи». Такъ-называемыхъ римлянъ, которые, при представленіи пьесы Скриба или Ансело, такъ храбро аплодируютъ въ серединѣ партера подъ большою люстрой, вчера вечеромъ въ театрѣ не было

видно. Тѣмъ почетнѣе были аплодисменты, которые, несмотря на все это, раздавались часто и довольно шумно. Во время пятаго акта послышалось нѣсколько злобныхъ звуковъ, а между тѣмъ въ этомъ актѣ гораздо больше драматическихъ и поэтическихъ красотъ, чѣмъ въ предыдущихъ, въ которыхъ стремленіе избѣгать всего шокирующаго перешло въ почти плачевную боязливость.

О достоинствѣ пьесы вообще, я не хочу позволить себѣ никакого сужденія. Довольно того, что авторъ ея Жоржъ Зандъ, и напечатанное произведеніе будетъ черезъ нѣсколько дней въ рукахъ критики всей Европы. Это выгода, которою пользуются великія репутаціи: ихъ судятъ присяжные, не сбиваемые съ толку нѣсколькими литературными евнухами, которые, сидя въ уголкѣ какого-нибудь партера или журнала, подаютъ оттуда свои свистящіе голосишки.

О сценическомъ же исполненіи новой драмы я, къ сожалѣнію, могу сказать только самое дурное. За исключеніемъ знаменитой Дорваль, которая вчера играла не хуже, но и не лучше обыкновеннаго, всѣ остальные актеры выказали свою монотонную посредственность. Главный герой пьесы, нѣкій monsieur Бовалле, игралъ, говоря библейскимъ языкомъ, «какъ свинья съ золотымъ кольцомъ въ носу». Жоржъ Зандъ, несмотря на всѣ уступки, которыя она сдѣлала прихотямъ актеровъ, повидимому предвидѣла, какъ мало могла ожидать ея драма отъ ихъ мимическихъ упражненій, и сказала, шутя, одному нѣмцу, своему пріятелю: «Видите ли, всѣ французы рождены актерами, и каждый изъ нихъ играетъ въ свѣтѣ свою роль болѣе или менѣе блистательно; но тѣ изъ моихъ соотечественниковъ, которые меньше, чѣмъ кто-либо, одарены способностями къ благородному сценическому искусству, посвящаютъ себя театру и дѣлаются актерами».

Я самъ выше замѣтилъ, что общественная жизнь Франціи, система представительнаго правленія и политическая дѣятельность поглощаютъ лучшіе сценическіе таланты французовъ и что поэтому на настоящемъ театрѣ дѣйствуютъ только посредственности. Но это примѣняется только къ мужчинамъ, а отнюдь, не къ женщинамъ; французская сцена богата высоко талантливыми актрисами, и нынѣшнее поколѣніе стоитъ въ этомъ отношеніи, можетъ-быть, выше прежняго. Мы удивляемся великимъ, необыкновеннымъ талантамъ, которые могутъ развиваться здѣсь въ тѣмъ болѣе

значительномъ числѣ, что несправедливое законодательство, узурпація мужчинъ сдѣлали для женщинъ недоступными всѣ политическія должности и не дозволяютъ имъ примѣнять къ дѣлу ихъ способности на подмосткахъ Palais-Bourbon и Люксанбурга. Своему стремленію къ общественности онѣ могутъ удовлетворять только въ общественныхъ домахъ искусства и разврата и потому дѣлаются или актрисами, или лоретками, или же тѣмъ и другимъ вмѣстѣ, такъ какъ здѣсь во Франціи эти два ремесла не раздѣлены такъ строго, какъ у насъ въ Германіи, гдѣ актеры часто принадлежатъ къ самымъ уважаемымъ личностямъ и нерѣдко отличаются граждански хорошимъ поведеніемъ; у насъ общественное мнѣніе не выталкиваетъ ихъ изъ общества, какъ паріевъ, и они, напротивъ того, встрѣчаютъ въ домахъ дворянства, на вечерахъ толерантныхъ еврейскихъ банкировъ и даже въ нѣкоторыхъ честныхъ семействахъ простыхъ гражданъ радушный пріемъ. Напротивъ того, здѣсь во Франціи, гдѣ искоренено столько предразсудковъ, анаѳема католической церкви до сихъ поръ еще имѣетъ силу по отношенію къ актерамъ; на нихъ все еще смотрятъ, какъ на отверженныхъ, и такъ какъ люди всегда становятся дурными, когда съ ними дурно обращаются, то здѣшніе актеры, за немногими исключеніями, остаются въ прежнемъ положеніи блестяще грязнаго цыганства, Талія и добродѣтель рѣдко спятъ здѣсь на одной и той же постели, и даже наша знаменитѣйшая Мельпомена сходитъ иногда съ своего котурна и смѣняетъ его на распутныя туфельки какой-нибудь Филины.

Всѣ красивыя актрисы имѣютъ здѣсь свою опредѣленную цѣну, а тѣ, у которыхъ нѣтъ опредѣленной цѣны, конечно, самыя дорогія. Большая часть изъ молодыхъ актрисъ живутъ на содержаніи у мотовъ или богатыхъ parvenus. Напротивъ того, собственно содержанки, такъ-называемыя femmes entretenues, одолѣваются сильнѣйшимъ желаніемъ показать себя на театрѣ, желаніемъ, въ которомъ тщеславіе соединяется съ расчетомъ, такъ какъ на сценѣ онѣ могутъ выказать лучше, чѣмъ гдѣ-нибудь, свою тѣлесность, обратить на себя вниманіе знатныхъ развратниковъ и въ то же время заставить восхищаться собою массу публики. Эти женщины, играющія преимущественно на маленькихъ театрахъ, обыкновенно не получаютъ никакого жалованья и напротивъ того, еще платятъ директорамъ извѣстную сумму за дозволеніе играть на ихъ сценѣ. Поэтому здѣсь рѣдко

можно знать, гдѣ актриса и куртизанка обмѣниваются ролями, гдѣ прекращается комедія и начинается натура, гдѣ пятистопный ямбъ переходитъ въ четырехстопный развратъ. Эти амфибіи искусства и порока, эти Мелузины береговъ Сены составляютъ, конечно, опаснѣйшую часть развратнаго Парижа, въ которомъ движется и работаетъ столько прелестныхъ чудовищъ. Горе неопытному, попадающему въ ихъ сѣти! Горе и опытному, который хорошо знаетъ, что тѣло красиваго чудовища оканчивается гадкимъ рыбьимъ хвостомъ, но, несмотря на это, все-таки не можетъ противустоять чарамъ и, можетъ-быть, побѣждается именно сладострастіемъ внутренняго ужаса, роковою прелестью пріятной гибели, сладкой бездны!

Женщины, о которыхъ идетъ здѣсь рѣчь, не злы и не фальшивы, онѣ даже большею частью необыкновенно добры, онѣ не такъ коварны и корыстолюбивы, какъ о нихъ думаютъ, между ними встрѣчаются даже самыя вѣрныя и великодушныя созданія; всѣ ихъ нечистыя дѣйствія имѣютъ источникомъ минутную потребность, нужду и тщеславіе; онѣ вообще не хуже остальныхъ дочерей Евы, которыя съ дѣтства охраняются отъ паденія матеріальнымъ довольствомъ и бдительной роднею, или благосклонностью судьбы. Характеристическую особенность этихъ женщинъ составляетъ извѣстная жажда разрушенія, которою онѣ одержимы не только ко вреду любовника, но ко вреду того человѣка, котораго онѣ дѣйствительно любятъ, и большею частью— къ своему собственному. Эта жажда разрушенія тѣсно сплетена съ бѣшенымъ, безумнымъ стремленіемъ къ наслажденію, наслажденію минутному, которое не допускаетъ ни минуты отсрочки, не думаетъ о завтрашнемъ днѣ и вообще издѣвается надъ всѣми опасеніями. Онѣ выжимаютъ у возлюбленнаго его послѣдній грошъ, доводятъ его до того, что онъ закладываетъ даже свою будущность, лишь бы только воспользоваться наслажденіемъ даннаго часа; онѣ заставляютъ его истрачивать даже тѣ рессурсы, которые могли бы имъ самимъ принести пользу, онѣ виноваты иногда даже въ томъ, что онъ учитываетъ свою честь; однимъ словомъ, онѣ разоряютъ любовниковъ съ самою ужасною поспѣшностью и страшною основательностью. Монтескье, въ своемъ «Духѣ Законовъ», гдѣ-то старался охарактеризовать сущность деспотизма тѣмъ, что сравнивалъ деспотовъ съ тѣми дикарями, которые, когда желаютъ насладиться плодами какого-нибудь дерева, сейчасъ же хватаются за топоръ и,

срубливаютъ самое дерево и потомъ комфортно усаживаются вокругъ него и съ обжорливою поспѣшностью уничтожаютъ плоды. Это сравненіе я готовъ бы примѣнить къ вышеупомянутымъ дамамъ. Послѣ Шекспира, нарисовавшаго намъ глубокомысленный образецъ такихъ женщинъ въ Клеопатрѣ, которую я когда-то назвалъ reine entretenue, съ самою большою вѣрностью обрисовалъ ихъ нашъ другъ Гоноре де-Бальзакъ. Онъ описываетъ ихъ такъ, какъ описываетъ естествоиспытатель какую-нибудь породу звѣрей, или патологъ—какую-нибудь болѣзнь, безъ моралистической цѣли, безъ любви и отвращенія. Ему, конечно, никогда на умъ не приходило скрашивать такіе феномены, а ужъ подавно реабилитировать ихъ, чего не могутъ дозволить ни искусство, ни нравственность.

ПОЗДНѢЙШАЯ ЗАМѢТКА.

(1854).

Отчеты о нервомъ представленіи драмы, въ которой общее любопытство возбуждено уже знаменитымъ именемъ автора, должны сочиняться и отправляться въ газету съ самою большою поспѣшностью для того, чтобы не дать времени высказаться злобному осужденію или дрянной сплетнѣ. Вслѣдствіе этого, въ предыдущемъ письмѣ не было сообщено подробное свѣдѣніе о личности писателя, или, вѣрнѣе, писательницы, дѣлавшей тутъ первую драматическую попытку, попытку, окончившуюся полной неудачей, такъ что чело, привыкшее къ лавровымъ вѣнкамъ, на этотъ разъ увѣнчалось только роковыми терніями. Въ необходимое пополненіе вышеупомянутаго пробѣла въ предыдущемъ отчетѣ, мы приводимъ здѣсь изъ написанной нѣсколько лѣтъ тому назадъ монографіи нѣсколько замѣчаній о личности Ж. Занда.

«Какъ извѣстно, Жоржъ Зандъ — псевдонимъ, mon de guerre одной прекрасной амазонки. При выборѣ этого имени ею руководило отнюдь не воспоминаніе о несчастномъ Зандѣ, убійцѣ Коцебу, единственнаго сочинителя комедій въ Германіи. Наша героиня выбрала это имя, потому что оно составляетъ первый слогъ имени Сандо; а такъ назывался ея возлюбленный, почтенный писатель, который, однако, со своимъ цѣлымъ именемъ не могъ достичь такой знаменитости, какой достигла его подруга съ половиною имени, которую она приняла шутя, когда разсталась съ этимъ человѣкомъ. Настоящее имя Жоржъ Зандъ—Аврора Дюдеванъ;

это фамилія ея законнаго супруга, который совсѣмъ не миѳъ, какъ думаютъ многіе, но живой дворянинъ изъ провинціи Берри, и котораго я разъ имѣлъ удовольствіе видѣть своими собственными глазами. Я видѣлъ его даже у его супруги, въ то время уже de facto разведенной съ нимъ, въ ихъ маленькой квартирѣ на Вольтеровской набережной, и то обстоятельство, что я видѣлъ его именно тамъ, было само по себѣ достопримѣчательность, вслѣдствіе которой я, какъ сказалъ бы Шамиссо, могъ бы потомъ себя показывать за деньги. У этого супруга было ничего не выражающее филистерское лицо, и онъ не казался ни злымъ, ни грубымъ; но я сейчасъ же понялъ, что эта влажно-холодная будничность, этотъ фарфоровый взглядъ, эти монотонныя движенія на манеръ китайскихъ цагодъ, могли быть очень забавны для дюжинной женщины, но въ женщину съ глубокимъ умомъ и чувствомъ должны были вселить, въ концѣ концовъ, ужасъ и довести до необходимости бѣжать.

«Фамилія родителей Зандъ—Дюпенъ. Она дочь человѣка незнатнаго сословія, мать котораго была нѣкогда знаменитая, но теперь позабытая танцовщица Дюпенъ. Эта Дюпенъ, говорятъ, была побочная дочь маршала Морица Саксонскаго, который самъ принадлежалъ къ сотнямъ незаконнорожденныхъ дѣтей, оставленныхъ курфирстомъ Августомъ Сильнымъ. Мать Морица Саксонскаго была Аврора фонъ-Кенигсмаркъ, и Аврора Дюдеванъ, названная по имени своей прародительницы, дала своему сыну тоже имя Морица. Этотъ послѣдній и ея дочь, Соланжъ, вышедшая замужъ за скульптора Клезингера—единственныя дѣти Жоржъ Зандъ. Она всегда была превосходная мать, и я часто по цѣлымъ часамъ присутствовалъ на урокахъ французскаго языка, которые она давала своимъ дѣтямъ, и жаль, что при этомъ не присутствовала вся Académie Française, потому что эти уроки могли бы принести ей большую пользу.

«Жоржъ Зандъ, величайшая писательница, вмѣстѣ съ тѣмъ весьма красивая женщина. Она даже необыкновенно красива. Какъ геній, проявляющійся въ ея произведеніяхъ, такъ и лицо ея, скорѣе, прекрасно, чѣмъ интересно; интересность есть всегда граціозное или умное отклоненіе отъ типа красоты, а черты Жоржъ Зандъ носятъ на себѣ печать именно греческой правильности. Но онѣ не рѣзки и смягчаются сентиментальностью, разлитою на нихъ точно болѣзненный саванъ. Лобъ ея не высокъ, и превосходные, темно-каштановые локоны падаютъ до плечъ. Глаза отчасти

тусклы, по крайней мѣрѣ не блестящи и, можетъ-быть, ихъ огонь померкнулъ отъ множества слезъ, или перешелъ въ ея произведенія, которыя распространили свое яркое пламя пожара по всему міру, освѣтили не одну безотрадную тюрьму, но въ то же время, быть-можетъ, разрушительно зажгли не одинъ безмолвный храмъ невинности. У автора «Леліи» тихіе, кроткіе глаза, не напоминающіе ни о Содомѣ, ни о Гоморрѣ. Носъ ея не эмансипированный, орлиный носъ и не остроумный, вздернутый носикъ; онъ просто обыкновенный, прямой носъ. На губахъ ея обыкновенно играетъ добродушная улыбка, но эти губы не особенно привлекательны; отчасти отвисшая нижняя губа обличаетъ утомленную чувственность. Подбородокъ мясистъ, но прекрасно пропорціоналенъ. Плечи тоже красивы, даже великолѣпны. Точно также руки и ноги, очень маленькія. Прелесть груди пусть описываютъ другіе современники; я сознаюсь въ моей некомпетентности. Остальная часть тѣла, повидимому, нѣсколько толста, по крайней мѣрѣ слишкомъ коротка. Только голова носитъ на себѣ печать идеальности, напоминаетъ благороднѣйшіе остатки греческаго искусства, и въ этомъ отношеніи одинъ изъ нашихъ друзей справедливо сравнивалъ эту прекрасную женщину съ мраморной статуей Венеры Милосской, выставленной въ нижнихъ залахъ Лувра. Да, Жоржъ Зандъ прекрасна, какъ Венера Милосская; она даже превосходитъ ее многими свойствами; такъ, напримѣръ, она гораздо моложе. Физіономисты, утверждающіе, что голосъ человѣка служитъ самымъ вѣрнымъ выраженіемъ его характера, были бы въ большомъ затрудненіи, если бы захотѣли найти въ голосѣ Жоржъ-Зандъ выраженіе ея необыкновенной задушевности. Этотъ голосъ вялъ и безцвѣтенъ, лишенъ металличности, но кротокъ и пріятенъ. Естественность ея разговора придаетъ ему нѣкоторую прелесть. Способности къ пѣнію въ ней нѣтъ и слѣда. Жоржъ Зандъ поетъ въ крайнемъ случаѣ, съ бравурностью милой грисетки, которая еще не позавтракала, или не въ голосѣ. Органъ Жоржъ Зандъ также не блестящъ, какъ и то, что она говоритъ. У нея нѣтъ и тѣни кипучаго остроумія ея соотечественницъ, но нѣтъ и тѣни ихъ болтливости. Причина этой молчаливости не заключается, однако, ни въ скромности, ни въ симпатическомъ погруженіи въ рѣчь другого. Она немногосложна, скорѣе, изъ высокомѣрія, потому что не считаетъ васъ достойнымъ того, чтобы расточать передъ вами свой умъ, или, пожалуй, изъ эгоизма, потому что ста-

рается воспринять все лучшее въ вашихъ рѣчахъ, чтобы впослѣдствіи переработать это въ своихъ сочиненіяхъ. Что Жоржъ Зандъ, вслѣдствіе скупости, имѣетъ въ разговорѣ ничего не давать и постоянно что-нибудь брать, это черта, на которую разъ обратилъ мое вниманіе Альфредъ де-Мюссе. «Это составляетъ большое преимущество ея передъ нами», сказалъ Мюссе, который, какъ бывшій въ теченіе долгаго времени cavaliere servente этой женщины, имѣлъ лучшій случай узнать ее основательно.

«Жоржъ Зандъ никогда не говоритъ ни одной остроты, да и вообще она одна изъ самыхъ неостроумныхъ француженокъ, какихъ я знаю. Съ милою, часто странною улыбкою выслушиваетъ она рѣчи другихъ, и чужія мысли, воспринимаемыя и перерабатываемыя ею, выходятъ изъ горнила ея ума гораздо болѣе драгоцѣнными. Она слушаетъ удивительно чутко. Она слѣдуетъ также охотно совѣтамъ своихъ друзей. При ея неканоническомъ направленіи ума, у ней, понятно, нѣтъ духовнаго отца, но такъ какъ женщины, даже самыя эмансипированныя, нуждаются въ авторитетѣ мужчины, то Жоржъ Зандъ имѣетъ, такъ сказать, литературнаго directeur de conscience въ лицѣ философа, капуцина Пьера Леру. Къ сожалѣнію, этотъ послѣдній дѣйствуетъ очень пагубно на ея дарованіе, потому что побуждаетъ ее вдаваться въ неясныя фантазіи и полувыношенныя идеи, вмѣсто того, чтобы жить въ свѣтломъ воздухѣ яркихъ и опредѣленныхъ образовъ, занимаясь искусствомъ для искусства. Гораздо болѣе свѣтскія функціи возложила Жоржъ Зандъ на нашего многолюбимаго Фридриха Шопена. Этотъ великій композиторъ и піанистъ былъ долго ея cavaliere servente; за нѣсколько времени до его смерти, она выпустила его въ отставку; правда, что въ послѣдніе годы его должность при ней была синекурой.

«Не знаю, какъ мой другъ Генрихъ Лаубе могъ нѣкогда, въ газетѣ «Allgemeine Zeitung», вложить мнѣ въ уста сообщеніе, будто тогдашнимъ любовникомъ Жоржъ Зандъ былъ геніальный Францъ Листъ. Ошибка Лаубе произошла, безъ сомнѣнія, вслѣдствіе ассоціаціи идей, по которой онъ смѣшалъ именно двухъ одинаково знаменитыхъ піанистовъ. Пользуюсь этимъ случаемъ, чтобы оказать доброй или, скорѣе, эстетической репутаціи этой женщины истинную услугу. завѣряя моихъ соотечественниковъ въ Вѣнѣ и въ Прагѣ, что если одинъ изъ самыхъ жалкихъ сочинителей романсовъ на самомъ гниломъ діалектѣ, пресмыкающееся безымян-

пое насѣкомое хвастается, будто онъ находился въ тѣсныхъ связяхъ съ Жоржъ Зандъ, то это одна изъ гнуснѣйшихъ клеветъ. У женщинъ бываютъ всевозможныя идіосинкразіи, между ними есть даже такія, которыя ѣдятъ пауковъ; но я еще не встрѣчалъ ни одной женщины, которая бы могла проглотить клопа. Нѣтъ, этотъ хвастливый клопъ никогда не нравился Леліи, и она только иногда терпѣла его подлѣ себя, потому что онъ слишкомъ приставалъ къ ней.

«Выше я замѣтилъ, что другомъ сердца Жоржъ Зандъ долго былъ Альфредъ де-Мюссе. Странное совпаденіе! Величайшій прозаикъ, какого только имѣютъ французы, и величайшій изъ нынѣшнихъ поэтовъ Франціи (во всякомъ случаѣ, величайшій послѣ Беранже), воспламененные страстною любовью другъ къ другу, долго составляли увѣнчанную лаврами чету. Жоржъ Зандъ въ прозѣ и Альфредъ де-Мюссе въ стихахъ, дѣйствительно, превосходятъ столь прославленнаго Виктора Гюго, который, со своею ужасающе упорною, почти сумасшедшею настойчивостью, убѣдилъ французовъ, а наконецъ, и самого себя, что онъ величайшій поэтъ Франціи. Дѣйствительно ли это его собственная idèe fixe? Во всякомъ случаѣ, она не наша. Странно! Свойство, котораго больше всего не достаетъ Виктору Гюго, есть именно то свойство, которому французы придаютъ самую большую цѣну и которое принадлежитъ къ ихъ прекраснѣйшимъ особенностямъ. Это—вкусъ. Такъ какъ они находятъ вкусъ у всѣхъ французскихъ писателей, то, быть-можетъ, полное отсутствіе его у Виктора Гюго именно и кажется имъ оригинальностью. Самое нестерпимое для насъ въ немъ—отсутствіе того, что мы, нѣмцы, называемъ натурою; у него все сдѣлано, все фальшиво, и часто въ одномъ и томъ же стихѣ одна половина старается обмануть другую; онъ до чрезвычайности холоденъ, какъ холоденъ, по показаніямъ вѣдьмъ, чортъ, ледяни́сто холоденъ даже въ своихъ самыхъ страстныхъ изліяніяхъ; его одушевленіе только фантасмагорія, расчетъ безъ любви, или, вѣрнѣе, онъ любитъ только самого себя; онъ эгоистъ и, скажу еще худшее, онъ гюгоистъ. Мы видимъ у него больше жесткости, чѣмъ силы, дерзкій желѣзный лобъ, и, при всемъ богатствѣ фантазіи и остроумія, однако, безпомощность выскочки или дикаря, который наваливаніемъ на себя черезъ мѣру и не у мѣста золота и драгоцѣнныхъ камней дѣлаетъ себя смѣшнымъ; словомъ, карикатурное варварство, рѣзкая дисгармонія и самое ужасающее безобразіе! Кто-то сказалъ о талантѣ

Виктора Гюго: «C'est un beau bossu!» Эти слова глубокомысленнѣе, чѣмъ думаютъ тѣ, которые прославляютъ превосходство Гюго.

«Вышесказаннымъ я хочу указать не только на то, что главные герои его романовъ и драмъ снабжены горбами; но что и его собственный умъ горбатъ. Наше новое ученіе о тождествѣ признаетъ закономъ природы, что внутреннему умственному строю человѣка соотвѣтствуетъ и его внѣшній, тѣлесный строй. Эта мысль была у меня въ головѣ еще тогда, когда я пріѣхалъ во Францію, и я сознался разъ моему издателю, Евгенію Рандюэлю, бывшему также издателемъ сочиненій Гюго, что, судя по понятію, которое я составилъ себѣ объ этомъ послѣднемъ, я не мало удивился, найдя въ Викторѣ Гюго человѣка, не снабженнаго горбомъ. «Да, его уродливость не замѣтна»,—сказалъ разсѣянно Рандюэль. «Какъ?—вскричалъ я:—такъ онъ, дѣйствительно, не лишенъ ея?»—«Не совсѣмъ»,—въ смущеніи отвѣчалъ Рандюэль, и послѣ многихъ настояній съ моей стороны, сознался мнѣ, что разъ утромъ онъ засталъ Гюго въ ту минуту, когда онъ перемѣнялъ рубашку; и тутъ замѣтилъ, что одинъ изъ боковъ поэта, кажется правый, выступилъ впередъ такъ неправильно, какъ бываетъ у людей, о которыхъ народъ говоритъ, что у нихъ есть горбъ, только неизвѣстно, гдѣ онъ помѣщается. Народъ, въ своей проницательной наивности, называетъ такихъ людей фальшивыми горбунами, точно такъ же, какъ альбиносовъ онъ называетъ бѣлыми маврами. Замѣчательно, что именно отъ издателя не ускользнула эта уродливость поэта. Пословица говоритъ, что «никто не герой въ присутствіи своего камердинера;» и точно такъ же величайшій писатель не всегда является героемъ передъ своимъ издателемъ, этимъ стерегущимъ камердинеромъ его ума; издатели видятъ насъ слишкомъ часто въ нашемъ человѣческомъ неглиже. Во всякомъ случаѣ, открытіе Рандюэля очень позабавило меня, ибо оно спасаетъ идею моей нѣмецкой философіи, что тѣло есть видимый духъ и что духовные пороки обнаруживаются въ тѣлѣ. Я долженъ положительно опровергнуть ложное мнѣніе, что всегда бываетъ и наоборотъ, что и тѣло человѣка есть всегда видимый духъ и что по внѣшней уродливости слѣдуетъ заключать о внутренней. Нѣтъ, мы очень часто находили въ самыхъ изувѣченныхъ оболочкахъ прямыя, прекраснѣйшія души, и это тѣмъ понятнѣе, что тѣлесное безобразіе обыкновенно имѣетъ физическую причину, а не-

рѣдко бываетъ слѣдствіемъ небрежности или болѣзни послѣ рожденія. Напротивъ того, безобразіе души родится на свѣтъ вмѣстѣ съ человѣкомъ, и такимъ образомъ у французскаго поэта, въ которомъ все фальшиво, есть также фальшивый горбъ.

«Мы облегчимъ себѣ произнесеніе мнѣнія о сочиненіяхъ Жоржъ Занда, сказавъ, что они составляютъ положительную противоположность съ произведеніями Виктора Гюго. У первой есть все то, чего недостаетъ второму; у Жоржъ Зандъ, правда, естественность, вкусъ, красота и воодушевленіе, и всѣ эти свойства соединены между собою самою строгою гармоніею. У генія Жоржъ Зандъ, прекрасно округленныя, красивѣйшія бедра, и все, что она чувствуетъ и думаетъ, дышитъ глубокомысліемъ и граціозностію. Ея слогъ есть откровеніе гармоніи и чистота формъ. Что же касается до матеріала ея произведеній, до ея сюжетовъ, которые нерѣдко можно назвать mauvais sujets, то о нихъ я воздерживаюсь здѣсь отъ всякаго замѣчанія и предоставляю обсужденіе этого предмета ея врагамъ...

VI.

Парижъ, 7 мая 1840.

Въ сегодняшнихъ парижскихъ газетахъ напечатано донесеніе австрійскаго консула въ Дамаскѣ австрійскому генеральному консулу въ Александріи о дамасскихъ евреяхъ, мученичество которыхъ напоминаетъ самую мрачную пору среднихъ вѣковъ. Между тѣмъ, какъ мы въ Европѣ обработываемъ средневѣковыя сказки какъ поэтическій матеріалъ и забавляемся тѣми ужасающе наивными легендами, которыя нашихъ предковъ повергали въ немалый ужасъ; между тѣмъ, какъ у насъ только въ стихотвореніяхъ и романахъ говорится о тѣхъ вѣдьмахъ, оборотняхъ и евреяхъ, которые для своего служенія сатанѣ употребляли кровь дѣтей набожныхъ христіанъ; между тѣмъ, какъ мы смѣемся и забываемъ,—на востокѣ начинаютъ весьма печально вспоминать о старомъ суевѣріи и строить совершенно серьезныя физіономіи, физіономіи, выражающія самую мрачную злобу и отчаянныя муки смерти! А въ это время палачъ дѣлаетъ свое дѣло, и еврей сознается подъ пыткою, что по случаю приближавшейся Пасхи ему нужна была христіанская кровь для печенія пасхальнаго хлѣба, и что съ этой цѣлью онъ убилъ одного стараго капуцина! Турокъ глупъ и гнусенъ, и охотно отдаетъ свои палки и орудія пытки въ распоря-

женіе христіанъ, для употребленія ихъ противъ обвиненныхъ евреевъ, потому что обѣ секты равно ненавистны ему, онъ смотритъ на тѣхъ и другихъ, какъ на собакъ, онъ и называетъ ихъ этимъ почетнымъ именемъ и, конечно, радуется, когда христіанинъ-гяуръ даетъ ему случай наругаться съ нѣкоторымъ видомъ законности надъ гяуромъ-жидомъ. Подождите, пусть только пашѣ покажется выгоднымъ, и пусть въ это время онъ уже не будетъ бояться вооруженнаго вліянія европейцевъ—онъ отдастъ предпочтеніе и обрѣзанной собакѣ, и тогда она станетъ обвинять нашихъ христіанскихъ братьевъ Богъ вѣсть въ чемъ... Сегодня наковальня, завтра молотъ!

Но друга человѣчества такія вещи всегда будутъ огорчать до глубины души. Явленія подобнаго рода—несчастіе, послѣдствія котораго неисчислимы. Фанатизмъ—прилипчивая болѣзнь, которая распространяется въ самыхъ разнообразныхъ формахъ и, наконецъ, начнетъ неистовствовать противъ всѣхъ насъ. Французскій консулъ въ Дамаскѣ, графъ Ратти-Мантонъ, сдѣлалъ вещи, вызвавшія здѣсь общій крикъ ужаса. Это онъ привилъ къ востоку суевѣріе запада и распространилъ между чернью Дамаска сочиненіе, въ которомъ евреи обвинялись въ убіеніи христіанъ. Это, дышащее ненавистью, сочиненіе, которое графъ Мантонъ получилъ, съ цѣлью распространенія, отъ своихъ друзей изъ среды духовенства, заимствовано изъ «Bibliotheca prompta a Lucio Ferrario», и въ немъ совершенно опредѣлительно утверждается, что евреи употребляли христіанскую кровь для празднованія своей Пасхи. Благородный графъ поостерегся повторить соединенную съ этимъ средневѣковую легенду, будто евреи, для той же цѣли, крали и освященныя просфоры и кололи ихъ булавками до тѣхъ поръ, пока изъ нихъ начинала идти кровь — злодѣяніе, обнаруженное въ средніе вѣка не только клятвенными показаніями очевидцевъ, но и тѣмъ обстоятельствомъ, что надъ еврейскимъ домомъ, въ которомъ было произведено такое поруганіе надъ одною изъ этихъ украденныхъ просфоръ распространилось яркое сіяніе. Нѣтъ, невѣрные, магометане, никогда не повѣрили бы этому, и графъ Мантонъ долженъ былъ, въ интересѣ своей миссіи, прибѣгнуть къ менѣе баснословнымъ разсказамъ. Я говорю, въ интересѣ своей миссіи, и представляю эти слова на самое широкое обдумываніе. Г. графъ только недавно въ Дамаскѣ; еще шесть мѣсяцевъ тому назадъ его видѣли здѣсь въ Парижѣ, мастерской всѣхъ про-

грессивныхъ, но также и всѣхъ ретроградныхъ союзовъ. Здѣшній министръ иностранныхъ дѣлъ, г. Тьеръ, еще недавно старавшійся выказать себя не только человѣкомъ гуманнымъ, но и сыномъ революціи, въ дѣлѣ дамасскихъ происшествій обнаруживаетъ странную вялость. По словамъ сегодняшняго «Монитера», въ Дамаскъ отправленъ уже вице-консулъ для производства слѣдствія надъ тамошнимъ французскимъ консуломъ. Вице-консулъ! Конечно, какое-нибудь подчиненное лицо изъ сосѣдней мѣстности, лицо безъ имени и безъ ручательства за свою безпристрастную независимость!

VII.

Парижъ, 14 мая 1840.

Офиціальное объявленіе о перенесеніи смертныхъ останковъ Наполеона произвело здѣсь дѣйствіе, превзошедшее всѣ ожиданія министерства. Національное чувство возбуждено до самой бездонной глубины его, и великій актъ справедливости, удовлетвореніе, дающееся исполину нашего вѣка и долженствующее порадовать всѣ благородныя сердца земного шара, кажется французамъ началомъ возстановленія ихъ оскорбленной народной чести. Наполеонъ—ихъ point d'honneur.

Вы ошибаетесь. Въ лицѣ умершаго на св. Еленѣ была оскорблена не Франція, а человѣчество; точно также похоронная церемонія, которая теперь совершится, должна считаться отнюдь не пораженіемъ иностранныхъ державъ, а побѣдою человѣчества. Борьба касалась живого, а не мертваго, и если французамъ уже давно не выдали этого мертвеца, то это была вина не европейскихъ государствъ, а маленькой партіи великобританскихъ егерей и конюховъ, которые въ это время успѣли сломить себѣ шею, или перерѣзать свое горло, какъ сдѣлалъ, напр., благородный Лондондерри, или погибли другимъ образомъ вслѣдствіе силы времени и портвейна. Мы въ Германіи уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ заплатили великому императору дань уваженія, и поэтому теперь имѣемъ, конечно, право смотрѣть съ нѣкоторымъ спокойствіемъ на восторженность нынѣшняго поклоненія ему. Сказать правду, французы ведутъ себя въ этомъ случаѣ какъ дѣти, у которыхъ отняли игрушку и снова возвращаютъ имъ ее; чуть только она очутится въ ихъ рукахъ, они со смѣхомъ сломаютъ ее и растопчутъ ногами, и я уже заранѣе вижу, сколько плохихъ остротъ бу-

детъ отпущено, когда въ городъ войдетъ великая процессія съ святынею св. Елены. Теперь они, эти добродушно легкомысленные французы, витаютъ въ мечтаніяхъ. Они такъ недовольны живыми, что Богъ вѣсть чего ожидаютъ отъ мертваго. Вы ошибаетесь. Вы найдете въ немъ совершенно безмолвнаго человѣка.

Но между тѣмъ, какъ умный президентъ совѣта умѣетъ успѣшно щекотать и эксплуатировать національное тщеславіе нашихъ милыхъ кехенеянъ, зѣвакъ на берегахъ Сены, онъ выказываетъ полное равнодушіе, въ дѣлѣ, гдѣ замѣшаны интересы не одной страны или одного народа, но цѣлаго человѣчества. Отсутствіе либеральнаго чувства или проницательности побудило его открыто вступиться за французскаго консула, которому въ дамасской трагедіи приписывается постыднѣйшая роль. Нѣтъ, г. Тьеръ человѣкъ очень проницательный и гуманный, но въ то же время онъ государственный человѣкъ, ему нужны не только революціонныя симпатіи, но и всевозможные помощники; онъ долженъ входить въ компромиссы, ему необходимо большинство въ палатѣ перовъ, онъ можетъ пользоваться духовенствомъ, какъ правительственнымъ средствомъ, и именно тою частью духовенства, которая, ничего больше не ожидая отъ старшей бурбонской линіи, примкнула къ нынѣшнему правительству. Къ этой части духовенства, прозванной clergé rallié, принадлежитъ весьма много ультрамонтановъ, органомъ которыхъ служитъ журналъ «Univers», они ожидаютъ спасенія церкви отъ г. Тьера, а онъ, съ своей стороны, ищетъ опоры въ нихъ. Графъ Монталамберъ, самый дѣятельный членъ этой набожной компаніи, а съ перваго марта и сеидъ г. Тьера, есть видимый посредникъ между сыномъ революціи и отцами католической вѣры, между бывшимъ редакторомъ газеты «National» и теперешними редакторами «Univers», которые на столбцахъ своего журнала всѣми силами стараются увѣрить міръ, что евреи пожираютъ старыхъ капуциновъ и что графъ Ратти-Мантонъ честный человѣкъ. Графъ Ратти-Мантонъ, другъ, а можетъ-быть, только орудіе друзей графа Монталамбера, былъ прежде французскимъ консуломъ въ Сициліи, гдѣ онъ два раза дѣлался банкротомъ и откуда былъ выгнанъ. Послѣ того онъ былъ консуломъ въ Тифлисѣ, откуда тоже долженъ былъ выѣхать и притомъ по причинамъ, не особенно почтеннымъ; здѣсь замѣчу только, что тогдашній русскій посланникъ въ Парижѣ, графъ Паленъ, положительно объ-

явилъ нынѣшнему министру иностранныхъ дѣлъ, графу Моле, что если г. Ратти-Мантонъ не будетъ отозванъ изъ Тифлиса, то русское правительство удалитъ его съ позоромъ. Дрова, которыми хотятъ раздувать огонь, не слѣдовало бы вырубать изъ такого гнилого дерева.

По поводу происшествій въ Дамаскѣ, между «Univers» и «Quotidienne», которая отличается отъ перваго журнала отчасти рыцарскимъ характеромъ, завязалась полемика весьма странная, почти забавная; «Quotidienne», органъ чистыхъ легитимистовъ, приверженцевъ старшей линіи, ведетъ естественную войну съ той частью духовенства, которая примкнула къ младшей линіи бурбоновъ, къ царствующей династіи.

VIII.

Парижъ, 20 мая 1840.

Г. Тьеръ стяжалъ себѣ новые лавры убѣдительною ясностью, съ которою онъ обсуждалъ въ палатѣ самые сухіе и самые запутанные предметы. Банковыя дѣла, равно какъ дѣла алжирскія и сахарный вопросъ, были совершенно наглядно представлены намъ въ его рѣчи. Этотъ человѣкъ понимаетъ все; жаль, что онъ не принялся за нѣмецкую философію, онъ и ее сумѣлъ бы сдѣлать для всѣхъ понятною. Но какъ знать? если обстоятельства побудятъ его заняться также Германіею, онъ будетъ говорить о Гегелѣ и Шеллингѣ такъ же поучительно, какъ о сахарномъ тростникѣ и рѣпѣ.

Но для интересовъ Европы торжественное возвращеніе земныхъ останковъ Наполеона важнѣе коммерческихъ, финансовыхъ и колоніальныхъ вопросовъ, обсуждаемыхъ въ палатѣ. Это событіе занимаетъ здѣсь до сихъ поръ всѣ умы, какъ самые высшіе, такъ и самые низшіе. Между тѣмъ какъ внизу, въ народѣ, все веселится, ликуетъ, пылаетъ, вверху, въ болѣе холодныхъ слояхъ общества, разсуждаютъ объ опасностяхъ, ежедневно все болѣе и болѣе приближающихся изъ св. Елены и угрожающихъ Парижу весьма опаснымъ похороннымъ торжествомъ. Да, если бы не далѣе, какъ завтра утромъ, можно было уже уложить прахъ императора подъ куполомъ Отеля Инвалидовъ, въ нынѣшнемъ министерствѣ можно бы предположить достаточно силы для того, чтобы предотвратить всякій неумѣстный взрывъ страстей при этой церемоніи. Но хватитъ ли у него этой силы на шесть мѣсяцевъ, до того дня, въ ко-

торый тріумфальный гробъ войдетъ въ Сену? Во Франціи, шумной странѣ движенія, въ теченіе шести мѣсяцевъ могутъ произойти самыя удивительныя вещи; Тьеръ можетъ къ тому времени сдѣлаться опять частнымъ человѣкомъ (чего мы очень желаемъ), или утратить всю свою министерскую популярность (чего мы очень боимся), Франція можетъ впутаться въ войну, и тогда изъ праха Наполеона вылетитъ, пожалуй, нѣсколько искръ, въ самомъ близкомъ сосѣдствѣ отъ кресла, покрытаго краснымъ бархатомъ!

Создалъ ли г. Тьеръ эту опасность, чтобъ сдѣлать себя необходимымъ, такъ какъ всѣ вѣрятъ также въ его искусство успѣшно устранять всѣ, имъ самимъ созданныя, опасности, или же ищетъ онъ въ бонапартизмѣ блистательное убѣжище на тотъ случай, если ему придется разорвать всѣ связи съ орлеанизмомъ? Г. Тьеръ знаетъ очень хорошо, что если онъ, вернувшись въ оппозицію, поможетъ ниспроверженію нынѣшняго трона, то республиканцы станутъ во главѣ правленія и за лучшую услугу отплатятъ ему худшею благодарностью; а въ самомъ благопріятномъ случаѣ они незамѣтно оттолкнутъ его въ сторону. Спотыкаясь объ эти грубые булыжники добродѣтели, онъ можетъ легко свернуть себѣ шею и въ добавокъ подвергнуться посмѣянію. Но отъ бонапартизма ему не зачѣмъ было бы бояться такихъ вещей, если бъ онъ содѣйствовалъ его возстановленію. И во Франціи легче было бы снова основать бонапартистское правленіе, чѣмъ республику.

Французы, имѣющіе всѣ республиканскія свойства, по своей натурѣ вполнѣ бонапартисты. У нихъ нѣтъ простоты, довольства малымъ, внутренняго и внѣшняго спокойствія; они любятъ войну ради войны, даже во время мира вся ихъ жизнь—шумъ и война; старики и молодые любятъ забавляться барабаннымъ боемъ и запахомъ пороха, трескучими эффектами всевозможныхъ родовъ.

Лестью врожденному бонапартизму французовъ г. Тьеръ пріобрѣлъ себѣ между ними необыкновеннѣйшую популярность. Или, можетъ-быть, онъ сдѣлался популяренъ потому, что онъ самъ маленькій Наполеонъ, какъ назвалъ его недавно одинъ нѣмецкій корреспондентъ? Маленькій Наполеонъ! Маленькій готическій соборъ! Готическій соборъ тѣмъ именно и повергаетъ насъ въ изумленіе, что онъ такъ колоссаленъ, такъ великъ. Въ масштабѣ новаго времени онъ теряетъ всякое значеніе. Тьеръ, конечно, больше, чѣмъ такой крошечный соборикъ. Своимъ умомъ онъ превосходитъ всѣ

окружающія его интеллигенціи, несмотря на то, что многія изъ нихъ значительнаго роста. Никто не можетъ помѣряться съ нимъ, и въ борьбѣ съ нимъ даже хитрость должна отступить. Онъ умнѣйшая голова Франціи, хотя, какъ многіе утверждаютъ, онъ самъ сознается въ томъ. Именно разсказываютъ, что въ прошедшемъ году, во время министерскаго кризиса, онъ, со своею обычною быстротою языка, сказалъ королю: «Ваше величество думаете, что вы умнѣйшій человѣкъ въ этой странѣ; но я знаю здѣсь одного человѣка, который еще умнѣе васъ, и этотъ человѣкъ я!» Говорятъ, хитрый Филиппъ отвѣчалъ ему на это: «Вы ошибаетесь, г. Тьеръ, потому что будь эта правда, вы не сказали бы этого». Какъ бы то ни было, а въ настоящую минуту г. Тьеръ прохаживается по тюильрійскимъ апартаментамъ съ сознаніемъ своего величія, какъ палатный меръ орлеанской династіи.

Долго ли удержитъ онъ за собой это единодержавіе? Не надломанъ ли онъ уже теперь вслѣдствіе невѣроятныхъ усилій? Голова его прежде времени посѣдѣла, на ней не отыщется, конечно, ни одного чернаго волоса; и чѣмъ дольше онъ царствуетъ, тѣмъ больше исчезаетъ смѣлое здоровье его натуры. Въ легкости, съ которою онъ двигается, есть теперь даже что-то зловѣщее. Но эта легкость все-таки необыкновенна и достойна удивленія, и какъ ни легки и подвижны остальные французы, въ сравненіи съ Тьеромъ они окажутся неповоротливыми нѣмцами.

IX.

Парижъ, 27-го мая 1840.

О злодѣяніяхъ въ Дамаскѣ сѣверо-нѣмецкія газеты сообщили много извѣстій; одни изъ нихъ помѣчены Парижемъ, другія Лейпцигомъ, но они писались, конечно, однимъ и тѣмъ же перомъ и, въ интересахъ извѣстной клики, имѣютъ цѣлью ввести въ заблужденіе нѣмецкую публику. Личность и побужденія этого корреспондента мы оставляемъ неосвѣщенными и воздерживаемся также отъ всякаго изслѣдованія дамасскихъ происшествій; позволяемъ себѣ сдѣлать только два-три исправительныхъ замѣчанія по поводу того, что было сказано объ этихъ происшествіяхъ здѣшними евреями и здѣшнею прессою. Но и тутъ руководитъ нами интересъ больше правды, чѣмъ личности, а что касается здѣшнихъ евреевъ, то возможно, что наше свидѣтельство будетъ скорѣе противъ нихъ, чѣмъ въ ихъ

пользу.—Дѣйствительно, я скорѣе похвалилъ бы, чѣмъ похулилъ парижскихъ евреевъ, если бъ они, какъ сообщаютъ вышеупомянутыя сѣверо-нѣмецкія газеты, выказали такую горячую симпатію къ своимъ несчастнымъ единовѣрцамъ въ Дамаскѣ и не побоялись никакихъ денежныхъ жертвъ для спасенія чести своей оклеветанной религіи. Но этого не было. Евреи во Франціи уже слишкомъ давно эмансипированы, чтобы племенныя связи не ослабѣли у нихъ въ очень сильной степени, они почти совсѣмъ расплылись во французской національности; они вполнѣ такіе же французы, какъ и всѣ другіе, и потому также подвержены припадкамъ энтузіазма, продолжающимся двадцать четыре часа, а когда солнце печетъ, даже и три дня—и это у лучшихъ изъ нихъ. Многіе изъ нихъ отправляютъ еще еврейское богослуженіе, исполняютъ внѣшніе обряды механически, сами не зная для чего, по старой привычкѣ; внутренней вѣры нѣтъ и слѣда, потому что остроумная кислота Вольтеровской критики разрушительно подѣйствовала и въ синагогѣ. У французскихъ евреевъ, какъ и у остальныхъ французовъ, золото—кумиръ дня, и промышленность—господствующая религія. Въ этомъ отношеніи, здѣшнихъ евреевъ можно бы раздѣлить на двѣ секты: секту rive droite и секту rive gauche; эти названія имѣютъ отношеніе къ двумъ желѣзнымъ дорогамъ, которыя ведутъ въ Версаль, проходя—одна по правому берегу Сены, а другая—по лѣвому, и управляются двумя знаменитыми финансовыми раввинами, враждующими между собою точно такъ же, какъ враждовали нѣкогда въ древнемъ Вавилонѣ рабби Самаи и рабби Гиллель.

Великому раввину rive droite, барону Ротшильду, мы должны отдать справедливость въ томъ отношеніи, что онъ выказалъ къ дому Израилеву болѣе благородную симпатію, чѣмъ его ученый антагонистъ, великій раввинъ rive gauche, г. Бенуа Фульдъ, который въ то время, какъ въ Сиріи, по подстрекательству французскаго консула, его единовѣрцевъ пытали и душили, съ невозмутимымъ душевнымъ спокойствіемъ рабби Гиллеля произносилъ въ палатѣ французскихъ депутатовъ красивыя рѣчи о конверсіи рентъ и банковомъ дисконтѣ.

Участіе, принимавшееся здѣшними евреями въ дамасской трагедіи, сводится къ самымъ мизернымъ манифестаціямъ. Израилитская консисторія, по вялой манерѣ всѣхъ коллегіальныхъ учрежденій, собиралась и совѣщалась; единствен-

нымъ результатомъ этихъ совѣщаній было мнѣніе, что документамъ процесса надо придать гласность. Кремье, знаменитый адвокатъ, всегда посвящавшій свое великодушное краснорѣчіе не только евреямъ, но и угнетеннымъ всѣхъ вѣроисповѣданій и всѣхъ доктринъ, принялъ на себя вышеупомянутое обнародованіе, и теперь, за исключеніемъ одной прелестной женщины и нѣсколькихъ молодыхъ ученыхъ, г. Кремье, конечно, единственный человѣкъ въ Парижѣ, дѣятельно вступившійся за дѣло Израиля. Съ величайшимъ самопожертвованіемъ своихъ личныхъ интересовъ, съ презрѣніемъ всякаго подстрекающаго коварства, онъ безстрашно выступилъ противъ самыхъ гнусныхъ обвиненій и вызвался даже ѣхать въ Египетъ, въ случаѣ, если бы процессъ дамасскихъ евреевъ былъ отданъ на судъ паши Мехмета Али. Невѣрный корреспондентъ вышеупомянутыхъ сѣверо-нѣмецкихъ газетъ дѣлаетъ инсинуаціи насчетъ «Leipziger Allgemeine Zeitung», коварно замѣчая, что возраженіе, которымъ Кремье сумѣлъ въ здѣшнихъ газетахъ разрушить фальшивыя извѣстія миссіи, онъ напечаталъ какъ объявленіе, за обыкновенную въ этихъ случаяхъ плату. Мы знаемъ изъ вѣрнаго источника, что редакціи газетъ выразили готовность напечатать это выраженіе совершенно безплатно, если приславшіе его согласятся подождать нѣсколько дней, и только вслѣдствіе просьбы о скорѣйшемъ напечатаніи, нѣкоторыя редакціи взяли деньги по расчету за одинъ добавочный листъ въ газетѣ, что составляетъ весьма незначительную сумму, если принять въ соображеніе денежныя средства еврейской консисторіи. Денежныя средства евреевъ дѣйствительно велики, но опытъ учитъ, что скупость ихъ еще больше. Одинъ изъ самыхъ высокоцѣнимыхъ членовъ здѣшней консисторіи—его цѣнятъ именно въ тридцать милліоновъ фр.—г. В. де-Ромильи, не далъ бы, можетъ-быть, и ста франковъ, если бъ къ нему пришли съ подпискою для спасенія всего племени! Что каждому, подымающему голосъ въ защиту евреевъ, приписываются самыя нечистыя денежныя побужденія, это старая, жалкая, но все еще не вышедшая изъ употребленія выдумка; я убѣжденъ, что ни одинъ еврей не отдавалъ добровольно денегъ до тѣхъ поръ, пока у него не вырывали насильно зубовъ, какъ было во время Валуа. Перелистывая недавно «Histoire des juifs» Баснажа, я отъ души смѣялся надъ наивностью, съ которою авторъ, обвиненный своими врагами въ томъ, что его подкупили евреи, защищается про-

тивъ этого обвиненія; я вѣрю на слово его меланхолическому увѣренію: «le peuple juif est le peuple le plus ingrat qu'il y ait au monde!» Правда, онъ представляетъ нѣсколько примѣровъ того, что тщеславіе умѣло раскрывать закоренѣлые карманы евреевъ; но въ этихъ случахъ ихъ щедрость бывала еще отвратительнѣе ихъ скаредничества. Одинъ бывшій прусскій подрядчикъ, принявшій титулъ барона Дельмара, соотвѣтствующій его еврейскому имени Моисей (такъ какъ Моисей по-нѣмецки «вытащенъ изъ воды», по-итальянски—del mare), основалъ здѣсь нѣсколько времени тому назадъ воспитательное заведеніе для дѣтей обѣднѣвшихъ дворянъ и пожертвовалъ на это больше полутора милліона франковъ—благородный подвигъ, поставившій его въ мнѣніи сенъ-жерменскаго предмѣстья такъ высоко, что даже самыя гордыя старухи-douairières и самыя молодыя насмѣшливыя барышни перестали издѣваться надъ нимъ вслухъ. Но пожертвовалъ ли этотъ дворянинъ изъ племени Давида хоть одинъ грошъ при подпискѣ въ пользу евреевъ? Я могу поручиться, что и другой вытащенный изъ воды баронъ, играющій въ благородномъ предмѣстьи роль «gentilhomme catholique» и великаго писателя, не помогалъ своимъ соплеменникамъ ни перомъ, ни деньгами. Здѣсь я долженъ высказать замѣчаніе, можетъ-быть, самое горькое. Въ числѣ крещенныхъ евреевъ есть много такихъ, которые, изъ малодушнаго лицемѣрія, клевещутъ на Израиля еще больше, чѣмъ его природные враги. Точно также нѣкоторые писатели, чтобы не напоминать публикѣ о своемъ происхожденіи, или очень дурно отзываются о евреяхъ, или совсѣмъ не говорятъ о нихъ. Это давно извѣстное, печально смѣшное явленіе. Но полезно особенно въ настоящее время обратить на него вниманіе публики, такъ какъ не только вышеупомянутыя сѣверо-нѣмецкія газеты но и другая, еще болѣе значительная газета, пускали инсинуаціи, что все, писавшееся въ пользу дамасскихъ евреевъ, исходило изъ еврейскихъ источниковъ, что австрійскій консулъ въ Дамаскѣ—еврей, что и всѣ остальные тамошніе консулы, за исключеніемъ французскаго, тоже евреи. Мы знаемъ эту тактику, мы испытали ее, когда дѣло шло о «Молодой Германіи». Нѣтъ, всѣ консулы въ Дамаскѣ—христіане, а что тамошній австрійскій консулъ даже еврейскаго происхожденія, въ этомъ порукою именно то обстоятельство, что онъ такъ рѣзко и открыто возсталъ за евреевъ противъ французскаго консула; а что такое этотъ послѣдній, покажетъ время.

X.

Парижъ, 30 мая 1840.

Toujours lui! Наполеонъ, и снова Наполеонъ! Онъ неистощимая тема разговоровъ, съ тѣхъ поръ, какъ возвѣщено его посмертное прибытіе, и особенно съ тѣхъ поръ, какъ палата постановила такое жалкое рѣшеніе по вопросу о необходимыхъ издержкахъ. Это рѣшеніе было новымъ промахомъ, который можетъ стать на ряду съ отказомъ въ дотаціи герцога Немурскаго. Благодаря ему, палата стала въ опасную оппозицію съ симпатіями французскаго народа. Сказать правду, она поступила такъ больше изъ малодушія, чѣмъ изъ злобы. Большинство въ палатѣ отнеслось сначала къ перенесенію праха Наполеона съ такимъ же энтузіазмомъ, какъ и масса народа; но, мало-по-малу, она пришла къ противоположному настроенію, когда возвѣсила вѣроятную опасность и когда услышала то грозное ликованіе бонапартистовъ, которое, дѣйствительно, не звучало особенно успокоительно. Теперь палата стала слушать съ большею благосклонностью и враговъ императора, и какъ собственно легитимисты, такъ и подогрѣтые роялисты воспользовались этимъ неблагопріятнымъ настроеніемъ и болѣе или менѣе искусно выступили противъ Наполеона со своимъ старымъ, закоренѣлымъ озлобленіемъ. Такъ «Gazette de France», поднесла намъ букетъ изъ нападеній на Наполеона, именно извлеченія изъ сочиненій Шатобріана, г-жи Сталь, Бенжамена Констана и другихъ... У нашего брата, привыкшаго въ Германіи къ болѣе грубой пищѣ, это вызывало улыбку. Было бы забавно, если бы порадируя тонкое тяжеловѣснымъ, рядомъ съ этими французскими цитатами поставили столько же параллельныхъ мѣстъ изъ нѣмецкихъ писателей грубьянскаго періода. «Батюшка Янъ» работалъ навозными вилами, которыми онъ тыкалъ въ корсиканца гораздо неистовѣе, чѣмъ какой-нибудь Шатобріанъ своимъ легкимъ и сверкающимъ мечомъ галантерейности. Шатобріанъ и батюшка Янъ! Какіе контрасты, и вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, какое сходство!

Но если Шатобріанъ былъ очень пристрастенъ въ сужденіи объ императорѣ, то этотъ послѣдній былъ еще пристрастнѣе, когда на св. Еланѣ такъ презрительно отзывался о іерусалимскомъ пилигримѣ. Именно, онъ говорилъ: «C'est une âme rampante qui a la manie d'écrire des livres». Нѣтъ, Шатобріанъ не низкая душа, онъ только шутъ, и

притомъ шутъ печальный, между тѣмъ, какъ другіе веселы и забавны. Онъ всегда напоминаетъ мнѣ о меланхолическомъ шутѣ Людовика XIII. Кажется, онъ звался Анжели, носилъ черную куртку, также черный колпакъ съ черными погремушками, и отпускалъ плачевныя шутки. Паѳосъ Шатобріана всегда имѣетъ для меня нѣчто комическое; среди его мнѣ постоянно слышится звонъ черныхъ бубенчиковъ. Но, въ концѣ концовъ, искусственная тоска, аффектированныя похоронныя мысли становятся столько же противными, сколько однообразными. Говорятъ, онъ пишетъ теперь статью по поводу перенесенія праха Наполеона. Дѣйствительно, это событіе было бы для него отличнымъ случаемъ выказать свои ораторскія флёры и иммортели, всѣ сокровища своей похоронной фантазіи; его памфлетъ будетъ написанный катафалкъ, и тутъ не будетъ недостатка въ серебряныхъ блесткахъ и траурныхъ свѣчахъ; потому что онъ чтитъ императора съ тѣхъ поръ, какъ императоръ умеръ.

И г-жа Сталь также прославила бы теперь Наполеона, появляйся она еще теперь въ салонахъ живыхъ людей. Уже по возвращеніи императора съ острова Эльбы, во время Ста Дней, она была не прочь пѣть хвалу тирану и ставила для этого только одно условіе, чтобы ей прежде выплатили два милліона, которые государство, будто бы, было должно ея покойному отцу. Когда же императоръ не далъ ей этихъ денегъ, у ней не оказалось необходимаго вдохновенія для предложенныхъ ею хвалебныхъ пѣсенъ, и Коринна импровизировала тѣ тирады, которыя на этихъ дняхъ такъ благосклонно повторила «Gazette de France». Point d'argent, point de suisses! Что эти слова можно примѣнить также къ ея соотечественнику, Бенжамену Констану, это, къ сожалѣнію, намъ слишкомъ хорошо извѣстно. (И этотъ республиканецъ изъ Швейцаріи бралъ деньги у Людовика Филиппа, нѣсколько времени спустя послѣ іюльской революціи). Но не будемъ яснѣе освѣщать личности, поносившія императора. Г-жа Сталь умерла, и Бенжаменъ Констанъ умеръ, и Штобріанъ, такъ сказать, тоже умеръ; по крайней мѣрѣ, онъ уже нѣсколько лѣтъ увѣряетъ насъ, что занимается исключительно своимъ погребеніемъ, и его «Mémoires d'outre-tombe», издаваемыя имъ отрывками, ничто иное, какъ похороны, которыя онъ, какъ нѣкогда императоръ Карлъ V, самъ приготовляетъ себѣ передъ своей окончательной смертью. Однимъ словомъ, на него надо смотрѣть, какъ на мертвеца, и въ своей новой

статьѣ онъ имѣетъ право обращаться съ Наполеономъ, какъ съ равнымъ себѣ.

Но не только упомянутыя извлеченія изъ старыхъ авторовъ произвели на меня скверное впечатлѣніе; точно также подѣйствовала рѣчь, которую г. де-Ламартинъ произнесъ въ палатѣ депутатовъ о Наполеонѣ, или, скорѣе, противъ Наполеона, несмотря на то, что въ этой рѣчи все правда. Заднія мысли нечестны, и ораторъ говорилъ правду въ интересѣ лжи. Правда, тысячу разъ правда, что Наполеонъ былъ врагъ свободы, деспотъ, вѣнчанный эгоизмъ, и что его прославленіе есть дурной, опасный примѣръ. Правда, онъ не имѣлъ гражданскихъ доблестей какого-нибудь Бальи, какого-нибудь Лафайетта, и попиралъ ногами законы и даже законодателей, чему еще теперь находятся нѣкоторыя живыя доказательства въ люксамбургскомъ госпиталѣ. Но не этому Наполеону, убійцѣ свободы, не герою 18 брюмера, не громовержцу-богу честолюбія должны вы посвятить блестящія погребальныя игры и памятники! Нѣтъ, теперь дѣло идетъ о прославленіи человѣка, который былъ представителемъ молодой Франціи передъ старою Европою; въ его лицѣ французскій народъ побѣдилъ, въ его лицѣ онъ былъ униженъ, въ его лицѣ онъ чтитъ и прославляетъ самого себя—и это чувствуетъ каждый французъ, и оттого-то забываютъ всѣ темныя стороны умершаго, и прославляютъ его quand même, и палата сдѣлала большой промахъ своимъ несвоевременнымъ скаредничествомъ.—Рѣчь г. де-Ламартина была образцовымъ произведеніемъ, полнымъ коварныхъ цвѣтовъ, тонкій ядъ которыхъ ошеломилъ не одну слабую голову; но отсутствіе честности скудно прикрывается красивыми словами, и министерство должно скорѣе радоваться, чѣмъ огорчаться, что его враги такъ неловко обнаружили свои антинаціональныя чувства.

XI.

Парижъ, 13 іюня 1840 г.

Парижскія газеты читаются, какъ вообще во всемъ мірѣ, также и по ту сторону Рейна, и тамъ у отечественной прессы, по сравненію ея съ французской и преувеличивая достоинство этой послѣдней, обыкновенно отымаютъ всякое достоинство. Правда, что здѣшнія газеты кишатъ мѣстами, которыя у насъ въ Германіи были бы вымараны даже самымъ снисходительнымъ цензоромъ; правда, что во французскихъ газетахъ статьи пишутся лучше и логичнѣе, чѣмъ

въ нѣмецкихъ, гдѣ авторъ долженъ еще создавать свой политическій языкъ и съ трудомъ пробиваться сквозь первобытные лѣса своихъ идей; правда, что французъ лучше умѣетъ редактировать свои мысли и разоблачаетъ ихъ передъ публикой до самой явственной наготы, между тѣмъ, какъ нѣмецкій журналистъ, гораздо больше изъ внутренняго цѣломудрія, чѣмъ изъ боязни краснаго карандаша, старается прятать свои мысли подъ всевозможными покровами. И однакожъ, если не судить о французской прессѣ по ея внѣшнему проявленію, а подсмотрѣть ее въ ея внутренней жизни, въ конторахъ ея редакцій, то должно сознаться, что она страдаетъ особеннымъ родомъ отсутствія свободы, которая совершенно чужда нѣмецкой прессѣ и, можетъ-быть, еще пагубнѣе нашей зарейнской цензуры. Затѣмъ надо сознаться также и въ томъ, что ясность и легкость, съ которыми французъ приводитъ въ порядокъ и излагаетъ свои мысли, исходятъ изъ сухой односторонности и механическаго ограниченія, гораздо болѣе вредныхъ, чѣмъ цвѣтущее смущеніе и безпомощное изобиліе нѣмецкаго журналиста. Здѣсь считаю нужнымъ сдѣлать маленькое замѣчаніе.

Французская газетная пресса есть въ извѣстной мѣрѣ олигархія, отнюдь не демократія, потому что основаніе французскаго журнала сопряжено съ столькими издержками и затрудненіями, что приниматься за изданіе журнала могутъ только лица, имѣющія возможность рисковать очень большими деньгами. Вслѣдствіе этого вклады на основаніе журнала дѣлаются обыкновенно капиталистами или другими промышленниками; при этомъ они спекулируютъ на сбытъ газеты въ томъ случаѣ, если она сумѣетъ пріобрѣсть значеніе, какъ органъ опредѣленной партіи, или же у нихъ задняя мысль — впослѣдствіи, когда газета пріобрѣтетъ достаточное количество подписчиковъ, съ хорошимъ барышомъ продать ее правительству. Такимъ образомъ, газеты, назначенныя на эксплуатацію существующихъ партій или министерства, впадаютъ въ ограниченную зависимость и, что еще хуже, въ исключительность при всякихъ сообщеніяхъ, исключительность, въ сравненіи съ которой преграды, поставляемыя нѣмецкою цензурой, являются только легкими цѣпями изъ розъ. Главный редакторъ французской газеты— кондотьеръ, защищающій на своихъ столбцахъ интересы и страсти партіи, которая наняла его и платитъ за наемъ или доставленіемъ подписчиковъ, или субсидіей. Его младшіе ре-

дакторы, его офицеры и солдаты, повинуются съ военной субординаціей и даютъ своимъ статьямъ требуемое направленіе и требуемый цвѣтъ, и вслѣдствіе этого газета пріобрѣтаетъ то единство и ту точность, которымъ мы не можемъ достаточно надивиться издалека. Тутъ господствуетъ самая строгая дисциплина мысли и даже выраженія. Если случится какому-нибудь неосторожному сотруднику не дослышать команду, если написалъ онъ не совсѣмъ такъ, какъ было приказано, главный редакторъ рѣжетъ статью съ военной безпощадностью, какой нельзя найти ни у одного нѣмецкаго цензора. Вѣдь нѣмецкій цензоръ все-таки нѣмецъ, и при своей добродушной многосторонности онъ охотно выслушиваетъ разумные доводы; главный же редакторъ французской газеты—практически односторонній французъ, имѣющій свое опредѣленное мнѣніе, которое онъ разъ навсегда формулировалъ себѣ опредѣленными словами, или которое передано ему его патронами уже совершенно формулированное. Вслѣдствіе этого, принеси кто-нибудь къ нему статью, неблагопріятствующую вышеупомянутымъ цѣлямъ его газеты, трактующую о предметѣ, не имѣющемъ непосредственнаго интереса для публики, которой эта газета служитъ органомъ, редакторъ строго возвратитъ эту статью съ сакраментальными словами: «cela n'entre pas dans l'idée de notre journal!» Такимъ образомъ, такъ какъ каждая изъ здѣшнихъ газетъ имѣетъ свой особый политическій цвѣтъ и свой опредѣленный кругъ идей, то понятно, что всякій, имѣющій сказать что-либо, переступающее за предѣлы этого круга и не носящее на себѣ окраски той или другой партіи, не находитъ органа для выраженія своихъ мыслей. Да, чуть только вы удалитесь отъ обсужденія интересовъ, для такъ-называемыхъ дѣйствительностей, чуть только вы захотите развить идеи, чуждыя банальнымъ вопросамъ партій, чуть только вы захотите говорить объ интересахъ человѣчества, редакторы здѣшнихъ газетъ съ ироническою вѣжливостью возвратятъ вамъ вашу статью, а такъ какъ здѣсь можно говорить съ публикой только черезъ посредство газетъ, то хартія, которая позволяетъ каждому французу обнародовать свои мысли посредствомъ печати, является горькою насмѣшкой для геніальныхъ мыслителей и космополитовъ, и фактически для этихъ людей свобода печати рѣшительно не существуетъ: cela n'entre pas dans l'idée de notre journal.

Предшествующія замѣчанія, можетъ-быть, уяснятъ отчасти многія непонятныя явленія, и я предоставляю нѣмецкому

читателю черпать изъ нихъ всевозможныя полезныя поученія. Но, главнымъ образомъ, они должны уяснить, почему въ вопросѣ о дамасскихъ евреяхъ французская пресса не высказалась въ ихъ пользу такъ безусловно, какъ этого, конечно, ожидали въ Германіи. Да, корреспондентъ «Лейпцигской Газеты» и маленькихъ сѣверо-нѣмецкихъ газетъ не сказалъ положительную неправду, когда радостно доносилъ, что французская пресса въ этомъ случаѣ не выказала особенной симпатіи къ Израилю. Но эта честная душа мудро умолчала о причинѣ этого явленія, состоящей очень просто въ томъ, что президентъ совѣта министровъ, г. Тьеръ, съ самаго начала взялъ подъ свою защиту графа Ратти-Мантона, французскаго консула въ Дамаскѣ, и сообщилъ свое мнѣніе по этому дѣлу редакторамъ всѣхъ газетъ, находящихся въ настоящее время въ его распоряженіи. Между этими журналистами есть, конечно, много честныхъ и очень честныхъ людей, но теперь они повинуются съ военною дисциплиной командѣ того генералиссимуса общественнаго мнѣнія, въ пріемной котораго они собираются каждое утро для полученія ordre de jour и, само собой разумѣется, не могутъ безъ смѣха смотрѣть другъ на друга; французскіе гаруспиціи не умѣютъ управлять своими смѣхотворными мускулами такъ хорошо, какъ управляли ими гаруспиціи римскіе, о которыхъ говоритъ Цицеронъ. На своихъ утреннихъ аудіенціяхъ г. Тьеръ съ видомъ полнѣйшаго убѣжденія увѣряетъ, что дѣло рѣшенное, что евреи въ праздникъ Пасхи пьютъ христіанскую кровь, chacun à son goût, что по удостовѣренію очевидцевъ, дамасскій раввинъ убилъ патера Ѳому и выпилъ его кровь, а мясо, вѣроятно, съѣли младшіе чиновники синагоги; и вотъ въ этомъ слѣдуетъ видѣть печальное суевѣріе, религіозный фанатизмъ, который еще господствуетъ на востокѣ, между тѣмъ какъ евреи запада сдѣлались гораздо гуманнѣе и просвѣщеннѣе, такъ что многіе изъ нихъ отличаются отсутствіемъ всякихъ предразсудковъ и образованнымъ вкусомъ—напримѣръ, г. фонъ-Ротшильдъ, который, правда, не обратился въ христіанство, но тѣмъ ревностнѣе перешелъ къ христіанской кухнѣ, взявъ къ себѣ въ услуженіе величайшаго повара католическаго міра, любимца Талейрана, бывшаго епископа отенскаго. Приблизительно такъ выражается сынъ революціи, къ величайшему негодованію своей матери, которая иногда багровѣетъ отъ гнѣва, слушая такія рѣчи своего отступника-сына, или даже видя, какъ онъ водитъ знакомство съ ея злѣйшими врагами, на-

примѣръ, съ графомъ Монталамберомъ, «дѣятелемъ молодаго іезуитства», извѣстнымъ за самое усердное орудіе ультрамонтанской шайки. Этотъ предводитель такъ-называемыхъ неокатоликовъ редактируетъ зелотскую газету «Univers», которая составляется съ такимъ же умомъ, какъ и коварствомъ; графъ тоже обладаетъ умомъ и дарованіемъ, но представляетъ собою странную смѣсь дворянскаго высокомѣрія и романтическаго ханжества, и эта смѣсь самымъ наивнымъ образомъ обнаруживается въ его легендѣ о святой Елисаветѣ, венгерской принцессѣ, которую онъ en parenthèse объявляетъ за свою кузину и которая, по его словамъ, обладала такимъ страшнымъ смиреніемъ, что своимъ набожнымъ языкомъ лизала у самыхъ паршивыхъ нищихъ ихъ чирья и коросту...

Все вышеизложенное дѣлаетъ легко понятнымъ антилиберальный языкъ тѣхъ оппозиціонныхъ газетъ, которыя въ другое время яростно возстали бы противъ вновь раздутаго на востокѣ фанатизма и противъ того негодяя, который, въ качествѣ французскаго консула, позоритъ тамъ имя Франціи.

Нѣсколько дней тому назадъ, г. Бенуа Фульдъ поднялъ и въ палатѣ депутатовъ вопросъ о поведеніи французскаго консула въ Дамаскѣ. Поэтому я долженъ прежде всего снять съ этого депутата укоръ, который былъ сдѣланъ ему мною въ одномъ изъ послѣднихъ моихъ писемъ. Я никогда не сомнѣвался въ умѣ, въ умственныхъ силахъ Фульда; я, какъ и другой, считаю его однимъ изъ даровитѣйшихъ людей французскихъ палатъ; но я сомнѣвался въ его сердцѣ. Какъ охотно краснѣю я отъ стыда, когда несправедливо обвиню человѣка, и онъ фактами опровергаетъ мои обвиненія! Рѣчь г. Фульда доказала большой умъ и большія достоинства. Весьма немногія газеты напечатали отрывки изъ этой рѣчи; министерскія газеты не помѣстили и этихъ отрывковъ, но тѣмъ подробнѣе сообщили возраженія г. Тьера. Въ «Монитерѣ» я прочелъ ихъ цѣликомъ. Выраженіе: «la religion à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir», должно было очень поразить всякаго нѣмца. Отвѣтъ Тьера былъ шедевромъ коварства; избѣжаніемъ, умолчаніемъ того, что онъ зналъ, притворною, боязливою сдержанностью онъ сумѣлъ съ неподражаемымъ искусствомъ заподозрить своихъ противниковъ. Слушая его, можно было, въ концѣ-концовъ, дѣйствительно повѣрить, что любимое кушанье евреевъ — мясо капуциновъ. Но нѣтъ, о, великій историкъ и весьма маленькій

теологъ, нѣтъ, на востокѣ, точно такъ же какъ на западѣ, ветхій завѣтъ не позволяетъ евреямъ употреблять такую дрянную пищу, отвращеніе ихъ отъ употребленія всякой крови составляетъ присущую имъ особенность, оно высказывается въ первыхъ догматахъ ихъ религіи, во всѣхъ ихъ санитарныхъ законахъ, въ ихъ очистительныхъ обрядахъ, въ ихъ основномъ ученіи о чистомъ и нечистомъ, въ этомъ глубокомысленно-космогоническомъ откровеніи о матеріальной чистотѣ въ царствѣ животныхъ, откровеніи, образующемъ какъ бы физическую этику и которое совсѣмъ не было понято отвергнувшимъ его, какъ басню, Павломъ. Нѣтъ, потомки Израиля, чистаго, избраннаго народа, не ѣдятъ ни свиного мяса; ни старыхъ францисканцевъ, не пьютъ ничьей крови и не дѣлаютъ другихъ вещей, подобно блаженной Елисаветѣ, прабабушкѣ графа Монталамбера.

Самымъ печальнымъ фактомъ, обнаружившимся въ этомъ кровавомъ дамасскомъ вопросѣ, было незнаніе восточныхъ дѣлъ, замѣчаемое нами у нынѣшняго президента совѣта, блестящее невѣжество, которое можетъ вовлечь г. Тьера въ самые опасные промахи, когда потребуетъ разрѣшенія уже не этотъ мелкій, сирійскій кровавый вопросъ, а міровой вопросъ, тотъ роковой пагубный вопросъ, который мы называемъ восточнымъ. Сужденія г. Тьера обыкновенно правильны, но ихъ посылки часто совершенно ложны, взяты Богъ вѣсть откуда; это призраки, высиженные подъ фанатическимъ солнечнымъ зноемъ келій ливанскихъ монастырей и другихъ пріютовъ суевѣрія. Ультрамонтанская партія посылаетъ къ нему своихъ эмиссаровъ, и они разсказываютъ ему чудеса о могуществѣ римско-католическихъ христіанъ на востокѣ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ поголовное возстаніе этихъ жалкихъ латинянъ не заставило бы ни одну турецкую собаку выйти изъ ея фаталистической конуры. Г. Тьеръ думаетъ, что Франція, традиціонный старшина латинянъ въ дѣлахъ вѣры, когда-нибудь съ помощью ихъ получитъ на востокѣ перевѣсъ. Въ этомъ отношеніи англичане имѣютъ болѣе вѣрныя свѣдѣнія; они знаютъ, что эти жалкіе обломки среднихъ вѣковъ, отставшіе въ цивилизаціи отъ другихъ народовъ на нѣсколько столѣтій, пали еще ниже, чѣмъ ихъ властители турки, и что при паденіи османскаго царства, а можетъ-быть, еще раньше, этотъ вопросъ рѣшатъ исповѣдующіе греческую религію. Верховный глава этихъ греческихъ христіанъ не бѣднякъ, носящій титулъ константинопольскаго патріарха и предокъ котораго былъ въ Кон-

стантинополѣ позорно повѣшенъ между двумя собаками; нѣтъ, ихъ верховный глава — всемогущій царь Россіи, императоръ и папа всѣхъ исповѣдующихъ православную греческую вѣру; онъ—тотъ Мессія, которому предстоитъ освободить ихъ отъ ига невѣрныхъ, тотъ герой, который нѣкогда водрузитъ свое побѣдное знамя на башнѣ византійской мечети. Да, это ихъ политическое, равно какъ и ихъ религіозное убѣжденіе, и они мечтаютъ о русско-греческо-православномъ всемірномъ господствѣ, которое простретъ свои руки съ Босфора на Европу, Азію и Африку. И, что всего страшнѣе для ихъ враговъ, эта мечта не мыльный пузырь, который разлетается отъ дуновенія вѣтра, въ ней скрывается возможность осуществленія, которая грозно смотритъ на насъ и превращаетъ насъ въ камень, какъ голова Медузы!

Слова, сказанныя на св. Еленѣ Наполеономъ, что въ недалекомъ будущемъ міръ сдѣлается американскою республикою или русскою всемірною монархіею—предсказаніе очень неутѣшительное для многихъ. Какая перспектива! Въ самомъ благопріятномъ случаѣ—республиканцамъ умереть отъ однообразной скуки! Бѣдные потомки!

Выше я упомянулъ, что англичане знакомы съ восточными дѣлами гораздо лучше, чѣмъ французы. Теперь, болѣе чѣмъ когда-нибудь, Левантъ кишитъ британскими агентами, которые собираютъ свѣдѣнія о каждомъ бедуинѣ, даже о каждомъ верблюдѣ, проходящемъ чрезъ пустыню. Сколько въ карманѣ Мегмета-Али цехиновъ, сколько въ желудкѣ этого вице-короля Египта кишекъ, все это извѣстно въ совершенной точности въ канцеляріяхъ Доунинъ-стрита. Тутъ не вѣрятъ чудеснымъ исторійкамъ набожныхъ ханжей; тутъ вѣрятъ только въ факты и числа. Но не только на востокѣ, Англія и на западѣ имѣетъ надежнѣйшихъ агентовъ, и въ числѣ ихъ мы встрѣчаемъ нерѣдко людей, которые съ своими тайными порученіями соединяютъ обязанности корреспондента аристократическихъ или министерскихъ газетъ Лондона; потому-то эти послѣднія имѣютъ не менѣе вѣрныя свѣдѣнія. При молчаливости англичанъ, публика рѣдко знаетъ о профессіи этихъ тайныхъ корреспондентовъ, которые остаются неизвѣстными даже высшимъ сановникамъ Англіи; только министръ иностранныхъ дѣлъ знаетъ ихъ и передаетъ это свѣдѣніе своему преемнику. Заграничный банкиръ, дѣлающій платежъ англійскому агенту, никогда не знаетъ его имени; онъ получаетъ только ордеръ выплатить

такую-то сумму лицу, которое предъявитъ ему карточку съ обозначеніемъ на ней только извѣстнаго номера.

ПОЗДНѢЙШАЯ ЗАМѢТКА.

(Май, 1854).

Предшествующее письмо не было принято редакціею «Allgemeine Zeitung», и мы печатаемъ его здѣсь по старой черновой, случайно сохранившейся у насъ. Такъ какъ изъ этого письма видна вся незаслуженность упрека, обращеннаго нами въ одномъ изъ предшествовавшихъ писемъ къ депутату Бенуа Фульду, то мы показываемъ здѣсь, какъ мало хотѣлось намъ въ то время сдѣлать какую-нибудь несправедливость. Точно также въ то время мы и не думали бросить какую-либо тѣнь на личность этого депутата и для этой цѣли цитировать насмѣшливыя слова газеты «National». Мечтательные друзья г. Бенуа Фульда (а у какого богатаго человѣка нѣтъ роя друзей, мечтательно относящихся къ нему?) утверждали, правда, въ то время, что въ концѣ одной статьи «Allgemeine Zeitung», подписанной извѣстною буквой и потому приписывавшейся мнѣ, они прочли злонамѣренную цитату изъ «National», которая касалась генералъ-прокурора Гебера и г. Бенуа Фульда и въ которой говорилось, «что послѣдній былъ единственный человѣкъ въ палатѣ, протянувшій генералъ-прокурору руку и что онъ самъ похожъ на рѣчь какого-нибудь accusateur public». Плохое же понятіе о моемъ умѣ и моемъ разсудкѣ имѣютъ эти добрые люди, если они могутъ повѣрить, что я отказался бы сдѣлать нападеніе на такого человѣка, какъ Бенуа Фульдъ, если бы стрѣлы для этого нападенія мнѣ пришлось заимствовать изъ нелѣпаго колчана газеты «National»! Такое предположеніе въ самомъ дѣлѣ оскорбительно для автора «Путевыхъ Картинъ!» Нѣтъ, эта цитата, эта пошлость вышла не изъ-подъ моего пера, и даже въ отношеніи къ г. Геберу я не позволилъ бы себѣ въ то время никакого неприличія, по весьма понятной причинѣ. Я не хотѣлъ имѣть никакого дѣла съ страшною личностью генералъ-прокурора, дискреціонныя полномочія котораго шире полномочій самого министра; есть люди, о которыхъ совсѣмъ не слѣдуетъ упоминать, когда не занимаешься спеціально ремесломъ демагога и не жаждешь славы быть арестованнымъ. Я говорю это теперь, когда такое объясненіе не можетъ быть истолковано въ другую сторону моими отваж-

ными и жаждущими битвы противниками. Въ то время, когда появилась статья съ жалкою цитатою изъ «National», я воздержался отъ всякаго объясненія; я не могъ никому предоставить право потребовать меня къ отвѣту за статью анонимную и подписанную только буквою, каковая подпись дѣлалась подъ моими статьями не мною, а редакціею, съ цѣлью удовлетворить административнымъ потребностямъ, напр., облегчить свое счетоводство, но отнюдь не для того, чтобы имя автора шептать почтенной публикѣ sub rosa какъ легко отгадываемую шараду. Такъ какъ только редакція, а не авторъ, отвѣчаетъ за всякую анонимную статью, такъ какъ редакція должна быть представителемъ своего изданія какъ предъ тысячеголовымъ міромъ читателей, такъ и предъ многими совсѣмъ безголовыми властями, такъ какъ ей приходится каждый день бороться съ несчастными препятствіями, матеріальными и моральными, то ей нельзя, конечно, не давать позволенія—всякую, принимаемую ею статью, обработывать сообразно съ своими потребностями въ данную минуту и дѣлать статью, по своему усмотрѣнію, удобопечатаемою посредствомъ вырѣзокъ, сокращеній, добавленій и измѣненій всякаго рода, хотя бы отъ этого предстояла большая опасность хорошему образу мыслей и еще лучшему стилю автора. Политическій во всѣхъ отношеніяхъ писатель долженъ дѣлать грубой необходимости многія горькія уступки ради дѣла, за которое онъ ратуетъ. Есть довольно много темныхъ газетокъ, въ которыхъ мы могли бы изливать все наше сердце со всѣми его потоками негодованія, но у нихъ весьма небольшой и лишенный вліянія кругъ читателей, и говорить въ этихъ органахъ все равно, что хвастливо ораторствовать въ цырюльнѣ или кофейнѣ предъ обычными посѣтителями, какъ поступаютъ другіе великіе патріоты. Мы поступаемъ гораздо умнѣе, когда умѣряемъ нашъ пылъ, и трезвыми словами, а иногда и подъ маской, говоримъ въ газетѣ, справедливо называемой «Всеобщей Газетой» и имѣющей сотни тысячъ поучающихся въ ней читателей во всѣхъ странахъ. Здѣсь слово можетъ спасительно дѣйствовать даже въ своемъ безотрадномъ искаженіи; самый скудный намекъ дѣлается иногда плодотворнымъ сѣменемъ на незнакомой почвѣ. Если бъ меня не одушевляла эта мысль, я, конечно, не обрекъ бы себя на самоистязаніе—писать для «Allgemeine Zeitung». Такъ какъ я всегда былъ безусловно убѣжденъ въ вѣрности и честности того любимѣйшаго друга моей юности

и соратника, который редактируетъ эту газету, то и могъ соглашаться подвергать себя не разъ страшнымъ мученіямъ видѣть мои статьи переработанными и изувѣченными; вѣдь на меня постоянно смотрѣли честные глаза друга, который какъ будто говорилъ раненому: «да развѣ я лежу на розахъ?» Этотъ отважный боецъ нѣмецкой прессы, который уже въ юныхъ годахъ перенесъ тюрьму и другія лишенія изъ-за своихъ либеральныхъ убѣжденій, этотъ человѣкъ, который для распространенія общеполезныхъ знаній, т. е. лучшаго средства эманципаціи, и вообще для политическаго блага своихъ согражданъ сдѣлалъ такъ много, гораздо больше, чѣмъ тысячи хвастливыхъ крикуновъ—онъ былъ объявленъ этими крикунами за гнуснаго раба, и ругательное названіе «аугсбургская публичная женщина» съ этихъ поръ постоянно придавалось чернью радикаловъ газетѣ «Allgemeine Zeitung».

Но я впадаю здѣсь въ теченіе, которое можетъ унести меня слишкомъ далеко. Ограничиваюсь сдѣланнымъ здѣсь бѣглымъ указаніемъ на то, какого рода неволю я сносилъ ради болѣе высокихъ патріотическихъ цѣлей въ то время, когда писалъ для «Allgemeine Zeitung». Въ этомъ отношеніи меня очень часто не понимали, и это случалось даже въ тѣхъ сферахъ, гдѣ понятливость обыкновенно господствовала. Такъ было, напримѣръ, въ вопросѣ о вышеупомянутой цитатѣ изъ «National», несправедливо приписанной мнѣ. Такъ какъ я не люблю страдать невинно, то, наконецъ, мнѣ пришла несчастная мысль на самомъ дѣлѣ совершить то преступленіе, въ которомъ обвиняли меня, и по случаю выборовъ въ Тарбъ, депутату Верхнихъ Пиреней пришлось поплатиться за мое неудовольствіе. Такъ какъ я, въ концѣ концовъ, всегда сознаюсь въ каждой своей несправедливости, то къ собственному моему стыду упоминаю здѣсь, что человѣкъ, котораго я объявилъ лишеннымъ всякихъ способностей, скоро выказалъ себя государственнымъ человѣкомъ самаго высшаго полета. Это порадовало меня.

XII.

Парижъ, 12 іюня 1840 г.

Какъ редакція, такъ и изданіе газеты «Commerce» перешли двѣ недѣли тому назадъ въ другія руки. Извѣстіе объ этомъ само по себѣ, конечно, не важно, но мы присоединимъ къ нему нѣсколько разныхъ замѣчаній. Во-первыхъ, замѣчу, что эта обновленная газета напечатала на

этихъ дняхъ столько же неловкое, сколько нелѣпое нападеніе на мою корреспонденцію въ «Allgemeine Zeitung». Противъ заподозрѣнія, которое имѣлось тутъ въ виду, я выступилъ съ поднятымъ забраломъ въ Constitutionel. Другое замѣчаніе, имѣющее, однако, общій характеръ, напрашивается намъ при вопросѣ: какой цвѣтъ приметъ теперь «Commerce»? Дѣло въ томъ, что мнѣ отвѣчали: «Эта газета не будетъ высказываться ни въ пользу нынѣшней монархіи, ни въ пользу республиканской партіи, и покамѣстъ будетъ оставаться бонапартистской». Въ этомъ, повидимому, уклончивомъ, неопредѣленномъ отвѣтѣ мы открываемъ признаніе, заключающее въ себѣ много поучительнаго и разъясняющаго насчетъ всей политической дѣятельности французовъ. Въ настоящее время колебаній, когда никто не знаетъ, что̀ принесетъ ему съ собой самое близкое будущее, когда многіе, недовольные настоящимъ, не отваживаются, однако, положительно порвать связь съ властителями дня, когда большинство хочетъ занять въ оппозиціи такое мѣсто, которое не было бы обязательно на вѣчныя времена и отнюдь не компрометировало бы это большинство, но позволило бы ему перейти безъ особенно рѣзкихъ отступленій, смотря по тому, какъ рѣшитъ военное счастье, или въ лагерь побѣдившей республики, или подъ знамя непобѣдимой монархіи—въ это-то время бонапартизмъ есть удобная переходная партія. Этимъ обстоятельствомъ объясняю я себѣ, почему каждый, не знающій въ точности, чего онъ хочетъ, или на что онъ имѣетъ право, или что̀ онъ можетъ сдѣлать, становится подъ знамя старой имперіи. Тутъ не нужно присягать въ вѣрности какой-нибудь идеѣ, и клятвопреступленіе не считается здѣсь грѣхомъ противъ Святого Духа. Совѣсть, лучшая честь, позволяетъ здѣсь и въ позднѣйшее время всякое отпаденіе и всякую перемѣну знамени. И дѣйствительно, наполеоновская имперія была сама ничто иное, какъ нейтральная почва для людей съ самымъ различнымъ образомъ мыслей, она была полезный мостъ для людей, которые спасались на немъ отъ волнъ революціи и двадцать лѣтъ бѣгали по немъ взадъ и впередъ, не рѣшаясь, куда имъ отправиться, на правый или на лѣвый берегъ современнаго общественнаго мнѣнія. Наполеоновская имперія была почти не иное что, какъ причудливое междуцарствіе безъ умственныхъ сановниковъ, и весь ея идеальный цвѣтъ резюмируется въ одномъ только человѣкѣ, который и самъ, въ сущности, ничто иное, какъ блестящій

фактъ, значеніе котораго, по крайней мѣрѣ до сего времени, остается полутайной. Это матеріальное междуцарствіе вполнѣ соотвѣтствовало тогдашнимъ потребностямъ. Съ какою легкостію могли французскіе санкюлоты впрыгивать въ нарядные расшитые штаны имперіи! Съ какою легкостію впослѣдствіи они снова повѣсили на вѣшалку шляпы съ перьями и золотые камзолы славы и опять ухватились за красные колпаки и права человѣчества! А проголодавшимся эмигрантамъ, гордымъ своею родовитостью роялистамъ, не зачѣмъ было отрекаться отъ своего врожденнаго придворнаго духа, когда имъ пришлось служить Наполеону I вмѣсто Людовика XVI, и когда потомъ, снова повернувшись спиною къ первому, они начали покланяться законному властителю, Людовику XVIII!

Несмотря на то, что бонапартизмъ находитъ глубокія симпатіи въ народѣ и что на его сторонѣ также множество честолюбцевъ, не желающихъ рѣшительно примкнуть къ той или другой идеѣ, я, однако, не думаю, чтобы онъ такъ скоро одержалъ побѣду; но если онъ и достигнетъ господства, то оно не будетъ продолжительно, и онъ, совершенно такъ же, какъ прежнее Наполеоновское правленіе, образуетъ только короткій переходный періодъ. Покамѣстъ, однако, вокругъ мертваго орла собираются всевозможныя хищныя птицы, и это немало пугаетъ всѣхъ благоразумныхъ и проницательныхъ людей Франціи. Большинство въ палатѣ, можетъ-быть, было не совсѣмъ неправо, когда отказало во второмъ похоронномъ милліонѣ и этимъ отчасти погасило вспыхнувшій пламень жажды завоеваній. Палата обладаетъ инстинктомъ національнаго самосохраненія, и, можетъ-быть, у нея было темное предчувствіе, что этотъ бонапартизмъ безъ Бонапарта, этотъ воинственный духъ безъ величайшаго полководца, поведетъ французскій народъ къ погибели.

«А кто сказалъ вамъ, что мы не были увѣрены въ этомъ, когда вотировали въ палатѣ два милліона на это погребеніе?» Эти слова вырвались вчера у одного изъ моихъ друзей, депутата, съ которымъ я, гуляя по галлереѣ Пале-Рояля, говорилъ объ этомъ вотированіи. Важное и утѣшительное признаніе! Тѣмъ болѣе, что оно сдѣлано человѣкомъ, не принадлежащимъ къ числу малодушныхъ трусовъ, можетъ-быть, даже, его имя имѣетъ въ этомъ случаѣ нѣкоторое значеніе вслѣдствіе связанныхъ съ нимъ славныхъ воспоминаній: онъ сынъ того доблестнаго воина, который засѣдалъ въ комитетѣ общественнаго спасенія и организовалъ побѣду, —

это Ипполитъ Карно. Комитетъ общественнаго спасенія! Comité du salut public! Эти слова потрясаютъ еще больше, чѣмъ имя Наполеона Бонапарте. Вѣдь этотъ послѣдній — кроткій богъ Олимпа въ сравненіи съ тѣмъ дикимъ собраніемъ титановъ.

Du sublime au ridicule il n'y a qu'un seul pas. Отъ Наполеона и комитета общественнаго спасенія я долженъ внезапно перейти къ кавалеру Спонтини, который въ настоящую минуту бомбардируетъ бѣдныхъ парижанъ литографированными письмами, желая во что бы то ни стало напомнить публикѣ о своей забытой особѣ. У меня въ эту минуту передъ глазами циркуляръ, который онъ разсылаетъ во всѣ редакціи газетъ, но ни одинъ изъ редакторовъ не хочетъ печатать его изъ уваженія къ здравому смыслу и къ бывшей славѣ самого Спонтини. «Смѣшное» граничитъ здѣсь съ «высокимъ». Безсиліе, которое выражается въ этихъ посланіяхъ, или, вѣрнѣе сказать, изливаетъ въ нихъ свою желчь самымъ уморительнымъ слогомъ—вещь курьезная столько же для врачей, какъ для филологовъ. Врачъ найдетъ здѣсь печальный феноменъ тщеславія, которое съ бо́льшей и бо́льшей яростью разгорается въ сердцѣ, по мѣрѣ того, какъ потухаютъ болѣе благородныя силы мозга; филологъ же полюбуется тутъ презабавнымъ жаргономъ, являющимся на свѣтъ, когда чистокровный итальянецъ, съ большимъ трудомъ выучившійся во Франціи кое-какъ по-французски, примется впослѣдствіи усовершенствовать этотъ такъ-называемый французско-итальянскій языкъ во время двадцатипятилѣтняго пребыванія въ Берлинѣ, гдѣ старый жаргонъ шпигуется еще сарматскими варваризмами.

Циркуляръ Спонтини начинается такъ: C'est très probablement une bénévole supposition ou un souhait amical jeté á loisir dans le camp des nouvellistes de Paris, que l'annonce que je viens de lire dans la «Gazette d'État» de Berlin et dans les «Débats» du 16 courant, que l'administration de l'académie royale de musique a arrêté de remettre en scène la Vestale! ce dont aucuns désirs ni soucis ne m'ont un seul instant occupé après mon dernier départ de Paris! «Какъ будто бы въ «Staats Zeitung» или въ «Débats» кто-нибудь самъ отъ себя заговорилъ о Спонтини, безъ докучныхъ напоминаній самого маэстро всѣмъ и каждому о себѣ и своей оперѣ! Циркуляръ помѣченъ февралемъ, но былъ присланъ въ Парижъ еще разъ на-

дняхъ, благодаря тому, что синьоръ Спонтини узналъ, что въ Парижѣ готовятся возобновить самое знаменитое изъ его твореній, въ чемъ онъ видитъ только западню противъ себя, западню, которою желаетъ воспользоваться съ тѣмъ, чтобы его вызвали сюда. Послѣ патетической декламаціи противъ враговъ своихъ, онъ прибавляетъ: «Et voila justement le nouveau piège que je crois avoir deviné, et ce qui me fait un impérieux devoir de m'opposer, me trouvant absent, á la remise en scène de mes opéras sur le théatre de l'académie royale de musique, á moins que je ne sois officiellement engagé moi-même par l'administration, sous la garantie du Ministère de l'Intérieur, á me rendre á Paris, pour aider de mes conseils créateurs les artistes (la tradition de mes opéras étant perdue), pour assister aux répétitions et contribuer au succés de la Vestale, puisque c'est d'elle qu'il s'agit...» Приведенныя строки —единственное мѣсто въ этихъ Спонтинскихъ болотахъ, гдѣ еще есть твердая почва, и лукавство выказываетъ тутъ свои продолговатыя уши. Этотъ человѣкъ непремѣнно хочетъ разстаться съ Берлиномъ, гдѣ ему не житье съ того времени, какъ тамъ даются Мейерберовскія оперы, и годъ назадъ, онъ пріѣзжалъ сюда на нѣсколько недѣль и съ утра до поздней ночи бѣгалъ ко всѣмъ вліятельнымъ особамъ, чтобы уладить свое возвращеніе въ Парижъ. Такъ какъ очень многіе здѣсь считали его давно умершимъ, то немало испугались при внезапномъ его появленіи, какъ выходца съ того свѣта. Интрижная подвижность этого мертваго скелета имѣла въ себѣ, дѣйствительно, что-то зловѣщее. Дюпоншель, директоръ Большой Оперы, просто не допустилъ его къ себѣ, въ ужасѣ воскликнувъ: «нѣтъ, пусть эта интригующая мумія будетъ подальше отъ меня! мнѣ довольно возни съ интригами и живыхъ людей!» А между тѣмъ, г. Морицъ Шлезингеръ, издатель Мейерберовскихъ оперъ (ибо черезъ посредство этого добраго, честнаго человѣка кавалеръ возвѣстилъ заранѣе свой визитъ къ г. Дюпоншелю), употребилъ все свое вліятельное краснорѣчіе, чтобы зарекомендовать кавалера передъ m-r Дюпоншелемъ въ лучшемъ свѣтѣ. Въ выборѣ посредникомъ своимъ этого почтеннаго человѣка г. Спонтини выказалъ всю свою проницательность. Онъ выказалъ ее и при другихъ случаяхъ; напримѣръ, если онъ о комъ-нибудь разсуждалъ, то при искреннихъ друзьяхъ того, о комъ шла рѣчь. Французскимъ писателямъ онъ разсказывалъ, какъ онъ засадилъ въ Бер-

линѣ подъ арестъ одного нѣмецкаго писателя, который писалъ противъ него. Передъ французскими пѣвицами жаловался онъ на нѣмецкихъ примадоннъ, которыя не поступаютъ въ берлинскую оперу иначе, какъ подъ контрактнымъ условіемъ—не пѣть ни въ одной спонтиніевской оперѣ.

Однако, несмотря на все это, его такъ и тянетъ въ Парижъ; Берлинъ для него невыносимъ, онъ считаетъ этотъ городъ ссылкой, куда его упрятала ненависть его враговъ, но гдѣ, тѣмъ не менѣе, не даютъ ему покоя. На-дняхъ онъ писалъ въ редакцію «France musicale»: его непріятели не ограничиваются тѣмъ, что стараются переселить его за Рейнъ, за Везеръ, за Эльбу, имъ бы хотѣлось услать его еще подальше за Вислу, за Нѣманъ. Въ судьбѣ своей онъ видитъ много общаго съ Наполеоновской. Онъ мнитъ себя геніемъ, противъ котораго ополчаются всѣ музыкальныя силы. Берлинъ—его святая Елена и Рельштабъ—его Гудсонъ Лоу. Но теперь настало время перевезти его останки въ Парижъ и торжественно похоронить въ инвалидномъ домѣ музыки, въ Académie royale de musique.

Альфа и омега всѣхъ Спонтиніевскихъ іереміадъ—Мейерберъ. Когда здѣсь въ Парижѣ кавалеръ удостоилъ меня своимъ визитомъ, онъ былъ неистощимъ въ разсказываньѣ разныхъ маленькихъ исторій, преисполненныхъ желчи и яда. Онъ не можетъ отрицать фактъ, что король прусскій осыпаетъ нашего великаго Джіакомо почестями и намѣренъ дать ему самое высокое служебное положеніе. Но этой королевской благосклонности онъ приписываетъ самые гнусные мотивы. Въ концѣ-концовъ, онъ самъ получилъ вѣру въ собственныя изобрѣтенія и съ видомъ глубочайшаго убѣжденія увѣрилъ меня, что когда онъ обѣдалъ однажды у короля прусскаго, его величество изволилъ высказать послѣ стола въ откровенной веселой бесѣдѣ, что онъ старается всѣми силами удержать Мейербера въ Берлинѣ, съ тѣмъ, чтобъ этотъ милліонеръ не растратилъ своего состоянія за границей; а такъ какъ музыка, желаніе блеснуть на поприщѣ опернаго композиторства составляетъ извѣстную слабость богача Мейербера, то король и старается подѣйствовать въ свою пользу на эту слабую струну, чтобы заманить честолюбца всяческими отличіями. «Очень печально,—будто бы добавилъ король:—что отечественный талантъ, обладающій такимъ огромнымъ, почти геніальнымъ состояніемъ, тратитъ свои добрые прусскіе

прочные талеры въ Италіи и Парижѣ, чтобъ получить славу композитора. Что можно добыть за деньги, найдешь и у насъ въ Берлинѣ; и въ нашихъ теплицахъ растутъ лавровыя деревья для дураковъ, которые хотятъ платить за нихъ, и наши журналисты не глупы, тоже не откажутся отъ вкуснаго завтрака или хорошаго обѣда, и у нашихъ уличныхъ шалопаевъ и торгашей солеными огурцами руки для аплодированія такія же крѣпкія, какъ у парижской клаки, даже наши воры, если бы вмѣсто того, чтобы таскаться по трактирамъ, они сидѣли бы по вечерамъ въ театрѣ и аплодировали бы «Гугенотамъ», ихъ образованность непремѣнно бы выиграла, и низшіе классы общества должно развивать морально и эстетически; но, главное дѣло, чтобы деньги остались у насъ, особенно въ нашей столицѣ». Такъ, по увѣренію Спонтини, выразился прусскій король, какъ будто бы въ извиненіе себя, что пожертвовалъ Мейерберу авторомъ «Весталки». Когда же я замѣтилъ, что вѣдь это очень похвально въ сущности, если монархи приносятъ такого рода жертвы для благосостоянія своей столицы, Спонтини возразилъ мнѣ: «О, нѣтъ, вы ошибаетесь! король прусскій протежируетъ дурную музыку вовсе не изъ политико-экономическихъ цѣлей. а скорѣе потому, что терпѣть не можетъ музыку и очень хорошо знаетъ, до какой степени губительны для нея примѣръ и управленіе человѣка, который, не имѣя въ себѣ чувства правды и красоты, старается только угождать грубому вкусу толпы».

Я не могъ удержаться, чтобъ не замѣтить озлобленному итальянцу, что съ его стороны неполитично отнимать у соперника рѣшительно всякое достоинство. «У соперника!» воскликнулъ Спонтини въ бѣшенствѣ, и краска на его лицѣ десять разъ перемѣнялась, пока, наконецъ, желтизна опять вошла въ свою силу, и тогда, нѣсколько придя въ себя, онъ спросилъ, язвительно процѣживая слова сквозь зубы: «А вы, навѣрное, знаете, что Мейерберъ, дѣйствительно авторъ той музыки, которая вездѣ исполняется подъ его именемъ?» Я немало изумился этому сумасшедшему вопросу, и съ удивленіемъ услышалъ, что Мейерберъ въ Италіи скупалъ у разныхъ бѣдныхъ композиторовъ ихъ произведенія и изъ этого изготовлялъ свои оперы, которыя, однако, всѣ провалились, потому, что проданъ ему былъ товаръ, никуда негодный. Позже, у одного даровитаго венеціанскаго аббата купилъ онъ кое-что получше, изъ

чего и явился на свѣтъ Crociato. У Мейербера во владѣніи находятся и Веберовы рукописи, выманенныя имъ у вдовы, и это все когда-нибудь пойдетъ въ дѣло. Что касается «Роберта Дьявола» и «Гугенотовъ», то это большею частію произведеніе одного француза, именемъ Гуэна, который очень радъ выпускать въ свѣтъ свои оперы подъ именемъ Мейербера, изъ опасенія не потерять своего мѣста «chef du bureau» при почтамтѣ, такъ какъ его начальство очень бы косо посмотрѣло на его административное рвеніе, узнавъ, что онъ мечтательный композиторъ; у филистеровъ практическія функціи считаются несовмѣстимыми съ артистическимъ дарованіемъ, и почтовый чиновникъ Гуэнъ очень благоразумно скрываетъ свое авторство и предоставляетъ всю всемірную славу честолюбивому пріятелю своему Мейерберу. Отсюда искренняя связь между этими двумя людьми, интересы которыхъ дополняютъ также искренно одинъ другого. Но родительское сердце остается родительскимъ сердцемъ, оттого Гуэнъ постоянно заботится о судьбѣ своихъ чадъ; подробности исполненія и успѣховъ «Роберта» и «Гугенотовъ» поглощаютъ всю его дѣятельность, онъ присутствуетъ на каждой пробѣ, онъ входитъ въ разговоръ съ директоромъ театра, съ пѣвцами, танцовщиками, начальникомъ клакеровъ, журналистами; въ своихъ смазныхъ сапогахъ и панталонахъ безъ штрипокъ бѣгаетъ онъ съ утра до вечера по всѣмъ редакціямъ, хлопоча о рекламахъ въ пользу такъ-называемыхъ Мейерберовскихъ оперъ, и неутомимость его должна повергать каждаго въ изумленіе.

Когда Спонтини сообщилъ мнѣ эту гипотезу, я признался ему, что она не совершенно лишена правдоподобія, и что хотя неуклюжая наружность вышеупомянутаго г. Гуэна, кирпично-красный цвѣтъ его лица, низкій лобъ, прилизанные черные волосы, скорѣе заставляютъ предполагать въ немъ скотовода или мясника, нежели музыканта, однако, есть въ его поведеніи кое-что, наводящее на него подозрѣніе, что онъ, дѣйствительно, авторъ Мейерберовскихъ оперъ. Часто съ нимъ случается, что онъ «Роберта» или «Гугенотовъ» называетъ «наша опера». Вырываются у него такія фразы: «у насъ сегодня репетиція», «намъ надобно сократить одну арію». Замѣчательно тоже, что г. Гуэнъ не пропускаетъ ни одного представленія этихъ оперъ, и если публика хлопаетъ какой-нибудь бравурной аріи, онъ совсѣмъ забывается и кланяется во всѣ стороны, будто

хочетъ отблагодарить публику. Во всемъ этомъ я признался ожесточенному итальянцу, «но,—добавилъ я:—несмотря на все это, видѣнное моими собственными глазами, я все-таки не могу считать г. Гуэна авторомъ Мейерберовскихъ оперъ, не могу убѣдиться, что г. Гуэнъ написалъ «Роберта» и «Гугенотовъ»; если же это въ самомъ дѣлѣ такъ, то когда-нибудь артистическое тщеславіе одержитъ верхъ, и г. Гуэнъ публично объявитъ себя авторомъ этихъ знаменитыхъ оперъ.

— Нѣтъ, — возразилъ итальянецъ, бросивъ на меня взглядъ, убійственный, какъ сверкающій кинжалъ—этотъ Гуэнъ отлично знаетъ своего Мейербера, знаетъ, какими средствами располагаетъ этотъ ужасный другъ его, когда встрѣчается надобность удалить какого нибудь опаснаго человѣчка. Мейерберъ былъ бы способенъ подъ тѣмъ предлогомъ, что бѣдный Гуэнъ сошелъ съ ума, засадить его навѣки въ Шарантонъ, и бѣдному слѣдовало бы еще радоваться, что онъ такъ дешево отдѣлался! Всѣ, кто стоялъ поперегъ дороги этому честолюбцу, всѣ должны уступать. Гдѣ Веберъ? Гдѣ Беллини? Гм! гм!»

Это «гм! гм!» итальянца, несмотря на всю безсовѣстность его злобы, вышло такъ забавно, что я не могъ не замѣтить со смѣхомъ: «Однако вы сами, маэстро, еще не спихнуты съ дороги, также и Доницетти, или Мендельсонъ, или Россини, или Галеви».—«Гм! гм!—отвѣтилъ Спонтини,—гм, что! Галеви вовсе не женируетъ своего собрата, и Мейерберъ даже готовъ платить ему, лишь бы онъ продолжалъ существовать въ качествѣ неопаснаго мнимаго соперника; а насчетъ Россини онъ знаетъ отъ своихъ шпіоновъ, что Россини не пишетъ больше ни одной нотки; притомъ, желудокъ Россини уже достаточно пострадалъ, и онъ не дотрогивается до клавишъ фортепіано, чтобъ не возбуждать подозрѣнія Мейербера. Гм! гм! Впрочемъ, слава Богу, только тѣла наши могутъ быть умерщвлены, а не созданія духа нашего; эти созданія будутъ себѣ цвѣсти вѣчною свѣжестью, тогда какъ со смертью того Картуша музыки кончится и его безсмертіе, и оперы его послѣдуютъ за нимъ въ безмолвное царство забвенія!»

Мнѣ трудно было пересиливать свое негодованіе, когда я слышалъ, съ какою наглою презрительностью этотъ завистливый итальянецъ говорилъ о великомъ, знаменитомъ художникѣ, гордости Германіи и славѣ востока, и котораго конечно никто не перестанетъ считать и прославлять, какъ истиннаго творца «Роберта» и «Гугенотовъ». Нѣтъ, такія

великолѣпныя вещи не могъ написать какой нибудь Гуэнъ! При всемъ уваженіи къ великой геніальности Мейербера, во мнѣ, правда, поднимаются частенько сомнѣнія касательно безсмертія этихъ образцовыхъ произведеній по смерти автора, но въ разговорѣ со Спонтини я дѣлалъ видъ, что вполнѣ убѣжденъ въ такомъ безсмертіи, и чтобъ разсердить злого итальянца, сообщилъ ему по секрету одно замѣчаніе о томъ, какъ Мейерберъ самъ ретиво заботится о посмерной судьбѣ своихъ произведеній. «Эти заботы—сказалъ я—психологическое доказательство, что не Гуэнъ, а великій Джіакомо — дѣйствительный отецъ. А именно, Мейерберъ въ своемъ духовномъ завѣщаніи отписалъ на долю каждаго изъ дѣтей своего духа капиталъ, проценты съ котораго обезпечатъ существованіе бѣдныхъ сиротокъ, такъ что и по смерти папеньки будутъ легко покрываться обычныя издержки на популярность, т. е. расходы по постановкѣ, наемъ хлопальщиковъ, газетныхъ рекламистовъ и т. д. Даже на долю еще не родившагося «Пророка» нѣжный родитель отписалъ сумму въ 150 т. прусскихъ талеровъ. Несомнѣнно, что до нашихъ временъ ни одинъ пророкъ не являлся въ свѣтъ съ такимъ состояньемъ . . . . . На долю «Роберта» и «Гугенотовъ» завѣщано меньше, они нѣкоторое время могутъ продержаться на собственныхъ ногахъ, по крайней мѣрѣ, пока обезпечены будутъ въ нихъ роскошныя балетныя ноги и пышность декорацій; впослѣдствіи и имъ надо будетъ назначить прибавку. «Крестоносецъ» получитъ не такое блистательное наслѣдство; здѣсь отецъ имѣлъ основаніе поступить довольно скаредно; онъ жалуется, что этотъ франтъ много стоилъ ему еще въ Италіи; онъ—мотъ. Тѣмъ великодушнѣе отнесся Мейерберъ къ своей несчастной, провалившейся «Эмма ди Росбургъ»; для нея назначены ежегодныя рекламы во всѣхъ газетахъ, назначены издержки на новую постановку и для роскошнаго изданія ея на веленевой бумагѣ: родительское сердце бьется особенно нѣжно для уродца въ семьѣ. Такимъ образомъ судьба всѣхъ духовныхъ дѣтей Мейербера на всѣ времена застрахована».

Ненависть ослѣпляетъ самаго разумнаго человѣка, и не мудрено, что такой страстный сумасбродъ, какъ Спонтини, не совсѣмъ усомнился въ моихъ словахъ. Онъ воскликнулъ: «О, онъ на все способенъ! Несчастныя времена! несчастный свѣтъ!»

Здѣсь я оканчиваю, такъ какъ сегодня я и безъ того

очень трагически настроенъ, и мрачныя мысли о смерти набрасываютъ свою тѣнь на мою душу. Сегодня схоронили моего бѣднаго Сакоскаго, знаменитаго артиста кожаной обуви, ибо названіе «сапожника» для Сакоскаго слишкомъ ничтожно. Всѣ «marchands bottiers» и «fabricants de chaussures» Парижа шли за его гробомъ. Ему минуло восемьдесятъ восемь лѣтъ, и онъ умеръ отъ разстройства желудка. Жилъ онъ мудро и счастливо. Мало заботился о головахъ, но тѣмъ болѣе о ногахъ своихъ современниковъ. Да не давитъ тебя земля также, какъ не жмутъ меня твои сапоги!

XIII.

Парижъ, 3 іюля 1840.

На нѣсколько времени мы отдыхаемъ, по крайней мѣрѣ отъ депутатовъ и пьянистовъ—двухъ страшныхъ язвъ, отъ которыхъ мы столько терпимъ съ самаго начала зимы до конца весны. Palais Bourbon и салоны Эрара и Герца заперты на три замка. Слава Богу, политическіе и музыкальные виртуозы замолчали! Два-три старика, сидящіе въ Люксамбургѣ, бормочутъ все тише и тише, или соннымъ киваніемъ головы изъявляютъ согласіе на постановленія младшей палаты. Нѣсколько недѣль тому назадъ, эти старые господа покачали два-три раза головой отрицательно, и это качаніе нѣкоторые приняли за опасную угрозу министерству; но старички совсѣмъ не смотрѣли на дѣло такъ серьезно. Г. Тьеру отнюдь не слѣдуетъ ожидать сильнаго сопротивленія со стороны палаты перовъ. На эту послѣднюю онъ можетъ разсчитывать еще вѣрнѣе, чѣмъ на своихъ оруженосцевъ въ палатѣ депутатовъ, хотя и ихъ онъ приковалъ къ себѣ крѣпкими лентами и ленточками, риторическими цвѣточными цѣпочками и полновѣсными золотыми цѣпями!

Великая борьба должна, однако, начаться будущею зимою, именно, когда Одильонъ-Барро вступитъ въ министерство, и Гизо, сдавъ другому свой посольскій постъ, вернется изъ Лондона и снова вступитъ въ открытую оппозицію противъ Тьера. Эти два соперника уже съ самаго начала поняли, что они, хотя и заключаютъ короткое перемиріе, но никогда не будутъ въ состояніи навѣки отказаться отъ своего поединка. Съ окончаніемъ его, можетъ-быть, закончится и все парламентское правленіе Франціи.

Гизо сдѣлалъ большую ошибку, принявъ участіе въ коа-

лиціи. Впослѣдствіи онъ самъ сознавался, что это была ошибка, и отчасти для того, чтобы возстановить свою репутацію, поѣхалъ въ Лондонъ; въ дипломатической карьерѣ онъ хотѣлъ возвратить себѣ довѣріе иноземныхъ державъ, утраченное имъ въ качествѣ человѣка оппозиціи; ибо онъ разсчитываетъ, что рано или поздно иностранное вліяніе будетъ снова преобладать во Франціи, при выборѣ президента въ совѣтѣ министровъ. Можетъ-быть, онъ разсчитываетъ въ то же время на нѣкоторыя туземныя симпатіи, полагая, что г. Тьеръ мало-по-малу утратитъ ихъ и что онѣ перейдутъ къ нему, любимому всѣми Гизо. Злые языки увѣряютъ меня, будто доктринеры воображаютъ себѣ, что они уже теперь пользуются общею любовью. Такъ далеко можетъ простираться самоослѣпленіе даже у самыхъ умныхъ людей! Нѣтъ, г. Гизо, мы еще не дошли до того, чтобы любить васъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ мы не перестали еще уважать васъ. Несмотря на всю нашу влюбленность въ блестящаго подвижного соперника, мы никогда не отказывали въ должномъ уваженіи тяжелому на подъемъ, мрачному Гизо; въ этомъ человѣкѣ есть что-то надежное, прочное, основательное, и я полагаю, что интересы человѣчества онъ принимаетъ близко къ сердцу.

О Наполеонѣ въ настоящую минуту уже не говорятъ, никто уже не думаетъ о его прахѣ, и именно это весьма неутѣшительно. Потому что одушевленіе, которое вслѣдствіе безпрерывной болтовни перешло, наконецъ, въ самую умѣренную теплоту, вспыхнетъ новымъ, болѣе сильнымъ огнемъ, черезъ пять мѣсяцевъ, когда трупъ императора прибудетъ во Францію. Надѣлаютъ ли много вреда искры, которыя полетятъ изъ этого пламени? Все будетъ зависѣть отъ погоды. Можетъ-быть, если зима установится рано, и снѣга выпадетъ много, то похороны выйдутъ очень холодныя.

XIV.

Парижъ, 25 іюля 1840.

На здѣшнихъ бульварныхъ театрахъ представляютъ теперь исторію Бюргера, нѣмецкаго поэта; тутъ мы видимъ, какъ онъ, сочиняя «Леонору», сидитъ при лунномъ свѣтѣ и поетъ: «Hurrah! les morts vont vite mon amour, crains tu les morts?» Это, въ самомъ дѣлѣ, хорошій припѣвъ, и мы предпосылаемъ его нашему сегодняшнему письму, и притомъ ближайшимъ образомъ относя его къ французскому министерству. Трупъ исполина св. Елены приближается

издалека все грознѣе и грознѣе, а черезъ нѣсколько дней откроются могилы также здѣсь въ Парижѣ, и недовольныя кости іюльскихъ героевъ выйдутъ изъ нихъ и перейдутъ на площадь Бастиліи, страшное мѣсто, гдѣ до сихъ поръ еще бродятъ привидѣнія 89 года... Les morts vont vite, mon amour, crains tu les morts?

Дѣйствительно, насъ весьма безпокоятъ предстоящіе іюльскіе дни, которые въ нынѣшнемъ году будутъ праздноваться съ особенною торжественностью, но, какъ полагаютъ, въ послѣдній разъ; не всякій годъ правительство можетъ налагать на себя бремя такого страха. Возбужденіе будетъ въ эти дни тѣмъ сильнѣе, чѣмъ родственнѣе звуки, доносящіеся къ намъ изъ Испаніи, и чѣмъ рѣзче подробности возстанія въ Барселонѣ, гдѣ такъ-называемые ниціе забылись до грубѣйшаго оскорбленія величества.

Между тѣмъ, какъ на западѣ война за наслѣдство окончилась, и начинается настоящая революціонная война, восточныя дѣла запутываются въ неразрѣшимый узелъ. Возмущеніе въ Сиріи повергаетъ французское министерство въ величайшее затрудненіе. Съ одной стороны, оно хочетъ всѣмъ своимъ вліяніемъ поддержать власть египетскаго паши, съ другой стороны, не смѣетъ отвернуться отъ маронитовъ, христіанъ ливанской горы, поднявшихъ знамя возмущенія, потому что это знамя есть вѣдь французское трехцвѣтное знамя; поднятіемъ его мятежники хотятъ доказать свою солидарность съ Франціей и думаютъ, что она только, повидимому, поддерживаетъ Мегмета Али, но втайнѣ возбуждаетъ сирійскихъ христіанъ противъ египетскаго господства. Насколько они правы въ такомъ предположеніи? Дѣйствительно ли справедливо увѣреніе, что нѣкоторые руководители католической партіи, безъ вѣдома французскаго правительства, устроили возстаніе маронитовъ противъ паши, въ надеждѣ, что при слабости турокъ можно, изгнавъ изъ Сиріи египтянъ, основать въ ней христіанское царство? Эта столько же несвоевременная, сколько благочестивая попытка повлечетъ за собою такъ много несчастныхъ послѣдствій. Взрывъ сирійскаго возмущенія привелъ Мегмета Али въ такое негодованіе, что онъ сталъ бѣсноваться, какъ дикій звѣрь, и намѣревался не больше, не меньше, какъ истребить всѣхъ христіанъ на горѣ ливанской. Только убѣжденія австрійскаго генеральнаго консула могли отклонить его отъ этого нечеловѣческаго намѣренія, и этому великодушному человѣку обязаны жизнію

многія тысячи христіанъ; паша, впрочемъ, долженъ благодарить его еще больше, потому что онъ спасъ его имя отъ вѣчнаго позора. Мегметъ Али не равнодушенъ къ значенію, которымъ онъ пользуется въ образованномъ мірѣ, и г. Лоренъ особенно обезоружилъ его гнѣвъ тѣмъ, что представилъ ему антипатію, которую онъ возбудилъ бы противъ себя во всей Европѣ, къ величайшему ущербу своей власти и своей славы, избіеніемъ маронитовъ.

Такимъ образомъ, старая система истребленія народовъ мало-по-малу вытѣсняется на востокѣ европейскимъ вліяніемъ. Права существованія индивидуума также признаются тамъ больше и больше, и именно ужасы пытки уступаютъ мѣсто болѣе кроткому уголовному судопроизводству. Этотъ послѣдній результатъ будетъ произведенъ кровавыми событіями въ Дамаскѣ, и въ этомъ отношеніи путешествіе Кремье въ Александрію должно быть занесено въ лѣтописи человѣчества, какъ событіе большой важности. Этотъ знаменитый юристъ, принадлежащій къ самымъ уважаемымъ людямъ Франціи и о которомъ я уже говорилъ въ моихъ письмахъ, пустился уже въ свое благочестивое странствованіе, въ сопрожденіи своей жены, пожелавшей раздѣлить всѣ опасности, которыми угрожаютъ ея мужу. Дай Богъ, чтобъ эти опасности, выдуманныя, можетъ-быть, только для того, чтобы отклонить этого человѣка отъ его благороднаго намѣренія, были также ничтожны, какъ люди, подготовляющіе ихъ! Въ самомъ дѣлѣ, этотъ адвокатъ евреевъ защищаетъ въ то же время дѣло всего человѣчества. Тутъ рѣчь идетъ не больше, не меньше, какъ о томъ, чтобы ввести и на востокѣ европейское уголовное судопроизводство. Процессъ противъ дамасскихъ евреевъ начался пытками; онъ не окончился только потому, что обвиненіе пало на одного австрійскаго подданнаго, и австрійскій консулъ воспротивился пытанію своего соотечественника. Теперь процессъ снова начнется, но безъ обязательной пытки, безъ тѣхъ страшныхъ орудій ея, которыя вырывали у обвиненныхъ самыя безсмысленныя признанія и нагоняли страхъ на свидѣтелей. Французскій генеральный консулъ въ Александріи дѣлаетъ всевозможныя усилія, чтобы отклонить это возобновленіе процесса, потому что поведеніе французскаго консула въ Дамаскѣ можетъ при этомъ случаѣ обнаружиться въ слишкомъ ясномъ свѣтѣ, и позоръ представителя Франціи долженъ потрясти въ Сиріи авторитетъ этого государства. А Франція имѣетъ на

Сирію широкіе виды, начавшіеся еще во время крестовыхъ походовъ, не оставлявшіеся даже революціоннымъ правительствомъ, впослѣдствіи занимавшіе Наполеона и въ настоящее время составляющіе предметъ заботъ Тьера, на случай, если Франція потеряетъ Алжиръ, и французскому честолюбію придется искать себѣ пищу въ другой мѣстности востока! Сирійскіе христіане ожидаютъ своего освобожденія отъ французовъ, и эти послѣдніе какъ ни свободомыслящи они у себя дома любятъ, однако, слыть набожными защитниками католической вѣры на востокѣ и льстятъ тамъ фанатизму католическихъ монаховъ. Этимъ объясняемъ мы себѣ, почему не только г. Кошле въ Александріи, но и нашъ президентъ совѣта, сынъ революціи въ Парижѣ, берутъ подъ свою защиту дамасскскаго консула. Дѣйствительно, теперь дѣло идетъ не о высокой добродѣтели какого-нибудь Ратти-Мантона или о порочности дамасскскихъ евреевъ,—можетъ-быть, между первымъ и послѣдними не особенно большая разница, и какъ первый слишкомъ ничтоженъ для того, чтобъ мы его ненавидѣли, такъ и послѣдніе слишкомъ ничтожны для того, чтобъ мы ихъ любили,—но теперь дѣло идетъ о томъ, чтобы санкціонировать уничтоженіе пытки на востокѣ громкимъ примѣромъ. Поэтому консулы европейскихъ великихъ державъ, именно Австріи и Англіи, предложили египетскому пашѣ возобновить процессъ дамасскскихъ евреевъ безъ допущенія пытки, и можетъ-быть, они испытываютъ нѣкоторое злорадство, видя, что именно г. Кошле, французскій консулъ, представитель революціи и ея сына, противится этому возобновленію процесса и становится на сторону пытки.

XV.

Парижъ, 27 іюля 1840.

Печальныя извѣстія слѣдуютъ здѣсь непрерывно одно за другимъ; но послѣднее, самое неутѣшительное — извѣстія о конвенціи между Англіею, Россіею, Австріею и Пруссіею противъ египетскаго паши, возбудило какъ въ правительствѣ, такъ и въ народѣ, гораздо болѣе ликующаго воинственнаго духа, чѣмъ испуга. Вчерашній «Constitutionnel» безъ обиняковъ объявилъ, что Франція обманута самымъ позорнымъ образомъ и оскорблена, оскорблена до того, что въ ней могли предположить малодушное рабство; и это министерское объявленіе о высиженной въ Лондонѣ измѣнѣ подѣйствовало здѣсь, какъ звукъ громкой трубы; францу-

замъ показалось, что они услышали гнѣвный крикъ Ахиллеса, и оскорбленіе національныхъ чувствъ и національныхъ интересовъ повлекло за собою перемиріе враждующихъ партій. За исключеніемъ легитимистовъ, ожидающихъ своего спасенія только отъ иноземцевъ, всѣ французы собираются вокругъ трехцвѣтнаго знамени, и война съ «коварнымъ Альбіономъ» сдѣлалась теперь ихъ общимъ паролемъ.

Замѣтивъ выше, что воинственный духъ пробудился и въ правительствѣ, я подъ правительствомъ подразумѣваю нынѣшнее министерство, и прежде всего — нашего отважнаго президента совѣта, который довелъ біографію Наполеона уже до конца консульства, и съ южно пламенною фантазіею, слѣдовалъ за своимъ героемъ въ столь многихъ побѣдоносныхъ странствіяхъ и на столь многія ратныя поля. Можетъ-быть, надо считать несчастіемъ, что онъ не совершалъ также воображеніемъ русскаго похода и великаго отступленія. Дойди г. Тьеръ въ своемъ сочиненіи до Ватерлоо, его воинственность, можетъ-быть, отчасти охладилась бы. Но гораздо важнѣе и гораздо знаменательнѣе воинственныхъ наклонностей перваго министра то неограниченное довѣріе, которое онъ питаетъ къ своимъ собственнымъ военнымъ дарованіямъ. Да, это фактъ, за достовѣрность котораго я могу поручиться, вслѣдствіе многолѣтняго наблюденія: г. Тьеръ твердо и непоколебимо убѣжденъ, что не парламентская борьба, а дѣйствительная война, война съ оружіемъ въ рукахъ—его врожденное призваніе. Здѣсь не мѣсто изслѣдовать, правду ли говоритъ этотъ внутренній голосъ, или только льститъ тщеславному самообольщенію. Мы хотимъ обратить вниманіе только на то обстоятельство, что это воображаемое военачальническое призваніе имѣетъ, по крайней мѣрѣ, то слѣдствіе, что г. Тьеръ не особенно пугается пушекъ новаго союза государей, что онъ втайнѣ радуется настоятельной необходимости быть принужденнымъ выказать предъ изумленнымъ міромъ свое военачальническое дарованіе и что, безъ всякаго сомнѣнія, въ настоящую минуту французскіе адмиралы получили уже самыя положительныя приказанія защищать египетскій флотъ отъ всякихъ нападеній.

Я не сомнѣваюсь въ результатѣ этой защиты, какъ ни ужасна морская сила англичанъ. Еще недавно я былъ въ Тулонѣ, и питаю большое уваженіе къ французскому флоту. Онъ значительнѣе, чѣмъ думаютъ въ Европѣ; кромѣ военныхъ кораблей, число которыхъ извѣстно и которыми Фран-

ція владѣетъ, такъ сказать, офиціально, съ 1814 года въ тулонскомъ арсеналѣ выстроено мало-по-малу почти столько же судовъ, которые могутъ быть совершенно снаряжены въ дѣло въ теченіе шести недѣль. Но нарушится ли миръ Европы и начнется ли всеобщая война вслѣдствіе сопровождаемой бомбардировкою схватки между англійскимъ и французскимъ флотомъ въ Средиземномъ морѣ? Ни въ какомъ случаѣ. Я этого не думаю. Континентальныя державы долго подумаютъ, прежде чѣмъ рѣшатся снова затѣять смертельную игру съ Франціей. А что касается Джонъ-Булля, то этотъ толстякъ знаетъ очень хорошо, какихъ денегъ будетъ стоить его казнѣ война съ Франціей, даже въ томъ случаѣ, если эта послѣдняя останется безъ всякихъ союзниковъ; однимъ словомъ, англійскій нижній парламентъ ни въ какомъ случаѣ не дастъ денегъ на военныя издержки; а это — главное дѣло. Но если бы война все-таки возгорѣлась между этими двумя народами, то это, говоря миѳологически, было бы злобною штукою древнихъ боговъ, которые, чтобы отмстить за своего теперешняго коллегу, Наполеона, можетъ-быть, имѣютъ намѣреніе снова выслать на поле битвы Веллингтона и заставить его претерпѣть пораженіе отъ генералъ-фельдмаршала Тьера!

XVI.

Парижъ, 29 іюля 1840.

Г. Гизо доказалъ, что онъ честный человѣкъ; онъ не сумѣлъ ни прозрѣть тайное измѣнничество англичанъ, ни уничтожить ихъ планы коварствомъ съ своей стороны. Онъ возвращается изъ Англіи честнымъ человѣкомъ, и никто не оспоритъ у него преміи за добродѣтель, prix Monthyon, нынѣшняго года. Успокойся, пуританская стриженная голова, вѣроломные «кавалеры» одурачили тебя, но при тебѣ осталось твое гордое чувство собственнаго достоинства, сознаніе, что ты продолжаешь оставаться самимъ собою. Какъ христіанинъ и доктринеръ, ты терпѣливо перенесешь свое несчастіе, и съ тѣхъ поръ, какъ мы можемъ отъ всего сердца смѣяться надъ тобой, наше сердце также открывается для тебя. Ты снова нашъ старый, милый школьный учитель, и мы радуемся, что свѣтскій блескъ не похитилъ у тебя твоей набожной магистерской наивности, что ты былъ осмѣянъ и одураченъ, но все-таки остался честнымъ человѣкомъ! Мы начинаемъ любить тебя. Только посольскаго поста въ Лондонѣ мы не желаемъ больше довѣрить тебѣ;

для этой должности нуженъ соколиный взглядъ, умѣющій во-время высмотрѣть всѣ происки коварнаго Альбіона, или совершенно неученый, грубый парень, не питающій никакой ученой симпатіи къ великобританской формѣ правленія, не умѣющій произносить никакихъ вѣжливыхъ спичей на англійскомъ языкѣ, но отвѣчающій по-французски въ тѣхъ случаяхъ, когда его хотятъ обойти двусмысленными рѣчами. Я совѣтую французамъ отправить посланникомъ въ Лондонъ любого гренадера старой гвардіи и во всякомъ случаѣ присоединить къ нему Видока, въ качествѣ дѣйствительнаго тайнаго секретаря посольства.

Но дѣйствительно ли англичане въ политикѣ такія отличныя головы? Въ чемъ состоитъ ихъ превосходство въ этой сферѣ? По моему мнѣнію, оно состоитъ въ томъ, что они, архипрозаическія созданія, что они не увлекаются никакими поэтическими иллюзіями, что ихъ не ослѣпляетъ никакое пламенное мечтаніе, что они видятъ всегда вещи въ самомъ трезвомъ свѣтѣ, постоянно имѣютъ въ виду голые факты, точно разсчитываютъ условія времени и мѣста и въ этомъ расчетѣ не смущаются ни біеніемъ сердца, ни полетомъ великодушныхъ мыслей. Да, ихъ превосходство состоитъ въ томъ, что у нихъ нѣтъ никакой силы фантазіи. Въ этомъ отсутствіи фантазіи заключается вся сила англичанъ и послѣдняя причина ихъ удачъ въ политикѣ, какъ и во всѣхъ реалистическихъ предпріятіяхъ, въ промышленности, сооруженіи машинъ и т. п. У нихъ нѣтъ фантазіи; въ этомъ состоитъ весь секретъ. Ихъ поэты—только блестящія исключенія, потому-то они находятся въ оппозиціи со своимъ народомъ, курносымъ, приплюснутымъ и беззатылочнымъ народомъ, избраннымъ народомъ прозы, который въ Италіи и Индіи остается такимъ же прозаическимъ, холоднымъ и разсчетливымъ, какъ и въ улицѣ Thredneedle. Запахъ цвѣтовъ лотоса настолько же не приводитъ ихъ въ опьяненіе, насколько пламя Везувія не согрѣваетъ ихъ. Къ самому жерлу этой горы они притаскиваютъ свой чайный приборъ и пьютъ тамъ чай, приправленный ихъ «кантомъ».

Говорятъ, что въ прошломъ году Тальони не имѣла въ Лондонѣ никакого успѣха; въ этомъ ея величайшая слава. Понравься она англичанамъ, я началъ бы сомнѣваться въ поэзіи ея ногъ. Сами они, сыны Альбіона—отвратительнѣйшіе танцоры, и Штраусъ увѣряетъ, что ни одинъ изъ нихъ не можетъ танцовать въ тактъ. Потому-то онъ очень опасно заболѣлъ въ графствѣ Миддлесексъ, когда увидѣлъ, какъ

танцуетъ старая Англія. У этихъ людей нѣтъ уха ни для такта, ни вообще для музыки, и ихъ неестественная страсть къ фортепіанной игрѣ и къ пѣнію тѣмъ болѣе отвратительна. На свѣтѣ право нѣтъ ничего ужаснѣе англійской музыки, развѣ только англійская живопись. У нихъ нѣтъ ни слуха, ни пониманія красокъ, и иногда я подозрѣваю даже, что, пожалуй, и самое обоняніе не существуетъ у нихъ; очень можетъ быть, что они не могутъ отличить по запаху картофеля отъ апельсина.

Но храбры ли они? Это теперь самое важное. Такіе ли англичане храбрые люди, какими ихъ выставляли на материкѣ? Многопрославленное мужество милордовъ существуетъ теперь только на нашемъ театрѣ, и очень можетъ быть, что вѣра въ хладнокровную отвагу англичанъ также исчезнетъ со временемъ. Странное сомнѣніе охватываетъ насъ, когда мы видимъ, что нѣсколькихъ гусаръ достаточно для того, чтобы разогнать бурный митингъ изъ ста тысячъ англичанъ. Да если англичане и очень мужественны, какъ отдѣльныя личности, то масса доведена до вялости привычками и комфортомъ мира, продолжающагося болѣе ста лѣтъ; уже очень долго они не знаютъ войны внутри государства, а что касается тѣхъ войнъ, которыя имъ приходилось вести внѣ его, то они вели ихъ не собственноручно, а черезъ посредство навербованныхъ наемниковъ, купленныхъ за деньги народовъ и хищныхъ искателей приключеній. Ни одному гражданину Сити, даже самому лордъ-меру, никогда не придетъ въ голову дать стрѣлять въ себя ради защиты національныхъ интересовъ; для этого вѣдь существуютъ наемные люди. Этотъ слишкомъ долгій миръ, слишкомъ большое богатство и слишкомъ большая нищета, политическая испорченность, какъ слѣдствіе представительнаго правленія, разслабляющая фабричная жизнь, сильно развившійся торговый духъ, религіозное ханжество, піетизмъ, этотъ вреднѣйшій опіумъ — все это причиною того, что англичане сдѣлались такимъ же невоинственнымъ народомъ, какъ китайцы, и очень можетъ быть, что прежде, чѣмъ они побѣдятъ этихъ послѣднихъ, французы, если имъ удастся высадка, завоюютъ всю Англію, съ помощью меньше чѣмъ статысячнаго войска. Во время Наполеона англичане постоянно находились въ такой опасности, и только море, а не жители, охраняло эту страну. Будь въ то время у Франціи такой флотъ, какимъ она владѣетъ теперь, или будь изобрѣтеніе пароходства уже тогда эксплуатировано такъ страшно, какъ теперь, Напо-

лсонъ, конечно, высадился бы на англійскій берегъ, какъ нѣкогда Вильгельмъ Завоеватель — и онъ не встрѣтилъ бы особенно большого сопротивленія, именно потому, что уничтожилъ бы завоевательныя права норманскаго дворянства, взялъ бы подъ свою защиту гражданскую собственность и сочеталъ бы бракомъ англійскую свободу съ французскимъ равенствомъ!

Всѣ эти мысли гораздо рѣзче, чѣмъ я высказалъ ихъ здѣсь, говорили во мнѣ вчера, когда я смотрѣлъ на процессію; слѣдовавшую за похоронною колесницею іюльскихъ героевъ. Громадная масса народа гордо и серьезно присутствовала при этомъ погребальномъ торжествѣ. Зрѣлище величественное, и въ настоящую минуту весьма знаменательное. Боятся ли французы новыхъ союзниковъ? По крайней мѣрѣ въ три іюльскіе дня они не чувствовали ни малѣйшаго страха, и я могу даже увѣрить, что около полутораста депутатовъ, находящихся еще теперь въ Парижѣ, высказались самымъ положительнѣйшимъ образомъ въ пользу войны, въ случаѣ, если бы оскорбленная національная честь потребовала этой жертвы. Но важнѣе всего то, что Людовикъ Филиппъ, повидимому, сказалъ прости спокойному перенесенію всякой несправедливости и рѣшился, въ случаѣ нужды, принять самыя рѣзкія мѣры. По крайней мѣрѣ, таковы его слова, и Тьеръ увѣряетъ, что иногда онъ только съ трудомъ сдерживаетъ бурное негодованіе короля. Или, можетъ-быть, такая воинственность ничто иное, какъ военная хитрость божественнаго долготерпѣливца Одиссея?

XVII.

Парижъ, 30-го іюля 1840 г.

Вчера и третьяго дня биржа была закрыта, и курсы имѣли досугъ отдохнуть отъ великаго волненія умовъ. Парижъ, какъ Спарта, имѣетъ свой храмъ страха, и это биржа, подъ сводами которой люди дрожатъ тѣмъ боязливѣе, чѣмъ бурнѣе храбрость, шумящая за стѣнами этого зданія.

Во вчерашнемъ письмѣ я съ большимъ озлобленіемъ отозвался объ англичанахъ. При ближайшемъ ознакомленіи съ дѣломъ, вина ихъ оказывается не такъ велика, какъ я полагалъ сначала. По крайней мѣрѣ, англійскій народъ порицалъ дѣйствія своего уполномоченнаго. Одинъ толстый британецъ, пріѣзжающій сюда каждый годъ на двадцать девятое іюля, чтобы показывать своимъ дочерямъ фейерверкъ на мосту de la Concorde, увѣряетъ меня, что въ Англіи

господствуетъ сильнѣйшее негодованіе противъ «кокскомба» Пальмерстона, который могъ предвидѣть, что конвенція по поводу Египта должна была до крайности оскорбить французовъ. Англичане сознаются, что это, дѣйствительно, оскорбленіе со стороны Англіи, но не измѣна, ибо—говорятъ они—Франція уже давно знала, что Мегмета Али хотѣли силою прогнать изъ Сиріи, и французское министерство было совершенно согласно съ этимъ планомъ; оно само играло относительно этой провинціи очень двусмысленную роль, тайные руководители сирійскаго возстанія были французы, католическій фанатизмъ которыхъ встрѣчалъ всевозможную поддержку и симпатію не только въ Доунинъ Стритѣ, но и на бульварѣ des Capucins; уже въ дѣлѣ пострадавшихъ въ Дамаскѣ евреевъ французское министерство сильно скомпрометировало себя благорасположеніемъ къ католической партіи, уже при этомъ случаѣ лордъ Пальмерстонъ достаточно доказалъ свое презрѣніе къ французскому первому министру, гласно опровергая доводы этого послѣдняго,—и т. д. Какъ бы то ни было, лордъ Пальмерстонъ могъ бы предвидѣть, что эта конвенція неисполнима и что, слѣдовательно, французы будутъ совершенно безполезно возстановлены, изъ чего во всякомъ случаѣ, могутъ произойти опасныя послѣдствія. Чѣмъ болѣе мы думаемъ обо всемъ этомъ дѣлѣ, тѣмъ болѣе оно удивляетъ насъ. Тутъ дѣйствуютъ побужденія, которыя до сихъ поръ скрыты отъ насъ, побужденія, можетъ-быть, очень тонкія, дипломатическія, а можетъ-быть, и очень немудреныя.

Выше я упомянулъ о дамасской исторіи. О ней до сихъ поръ много говорятъ, она составляетъ постоянный отдѣлъ въ журналѣ «Univers», органѣ ультрамонтанской партіи духовенства. Въ продолженіе нѣсколькихъ недѣль эта газета каждый день печатала у себя письма съ востока. Такъ какъ пароходъ изъ Леванта приходитъ только разъ въ недѣлю, то мы въ этомъ случаѣ тѣмъ болѣе склонны вѣрить въ какое-нибудь чудо, что событія въ Дамаскѣ и безъ того переносятъ насъ въ эпоху средневѣковыхъ чудесъ. Вѣдь уже и то чудо, что взятыя Богъ вѣсть откуда извѣстія «Univers» находятъ отголосокъ во Франціи! Да, нельзя отрицать, что большая часть французовъ не прочь вѣрить кровавой небылицѣ и что самыя обскурантныя выдумки священническаго коварства встрѣчаютъ здѣсь весьма вялое возраженіе. Съ удивленіемъ спрашиваемъ мы себя: неужели это Франція, отчизна просвѣщенія, страна, въ которой

смѣялся Вольтеръ и плакалъ Руссо? Неужели это тѣ самые французы, которые нѣкогда поклонялись богинѣ разума, возстали противъ всѣхъ злоупотребленій своего духовенства и провозгласили себя національными врагами фанатизма въ цѣломъ мірѣ? Не будемъ несправедливы къ нимъ: именно потому, что они до сихъ поръ полны слѣпого гнѣва противъ всякаго суевѣрія, именно потому, что они какъ дѣти XVIII вѣка, готовы были находить дурное во всѣхъ религіяхъ, имъ кажется, что и послѣдователи іудейской религіи способны на всякія гнусности, и легкомысліе, съ которымъ они отнеслись къ событіямъ въ Дамаскѣ, произошло не изъ фанатическаго негодованія противъ евреевъ, но изъ ненависти противъ самого фанатизма. Что эти событія не вызвали въ Германіи такихъ ограниченныхъ мнѣній, это доказываетъ только, что мы ученѣе французовъ; историческія свѣдѣнія такъ распространены въ нѣмецкомъ народѣ, что даже самое озлобленное негодованіе не позволяетъ себѣ пускать въ ходъ кровавыя сказки стараго времени.

Какъ странно, въ простомъ народѣ во Франціи легковѣріе соединено съ величайшимъ скептицизмомъ, это я замѣтилъ нѣсколько вечеровъ тому назадъ на площади de la Bourse, гдѣ какой-то шарлатанъ установилъ подзорную трубу и показывалъ за два су луну. При этомъ онъ разсказывалъ окружавшимъ его зѣвакамъ, какъ велика эта луна, сколько въ ней тысячъ квадратныхъ миль, какія на ней горы и рѣки, на сколько тысячъ миль она отдалена отъ земли, и разныя другія чудеса, вселившія въ одного стараго портье, проходившаго мимо со своей супругой, непреодолимое желаніе вынуть два су, чтобы посмотрѣть на луну. Но его дорогая половина воспротивилась этому съ раціоналистическимъ рвеніемъ и совѣтовала ему лучше употребить эти два су на табакъ: всѣ эти разсказы о лунѣ, о ея горахъ и рѣкахъ и сверхъ-естественной величинѣ—одно суевѣріе, и все это придумано только для того, чтобъ выманивать у людей деньги.

XVIII.

Гранвиль (департаментъ Ламаншъ), 25-го августа 1840 г.

Уже три недѣли, какъ я искрещиваю вдоль и поперекъ Нормандію, и могу, какъ очевидецъ, сообщить вамъ о настроеніи, господствующемъ здѣсь по поводу послѣднихъ событій. Умы были уже достаточно взволнованы воинственными трубными звуками французской прессы. когда вы-

садка принца Людовика дала мѣсто всевозможнымъ опасеніямъ. Народъ пугалъ себя самыми отчаянными гипотезами. До настоящей минуты здѣшніе жители вѣрятъ, что принцъ разсчитывалъ на обширный заговоръ и что его долгая стоянка у Булони была доказательствомъ назначеннаго свиданія, которое не состоялось вслѣдствіе или измѣны, или случайности. Двѣ трети многочисленныхъ англійскихъ семействъ, живущихъ въ Булони, бѣжали въ паническомъ страхѣ, услышавъ въ спокойномъ городкѣ нѣсколько опасныхъ ружейныхъ выстрѣловъ и увидѣвъ передъ собственными своими воротами войну. Для оправданія своего испуга, эти бѣглецы принесли на англійскій берегъ самыя страшныя извѣстія, и известковые утесы Англіи еще болѣе побѣлѣли отъ ужаса. По взаимодѣйствію, англичане, живущіе въ Нормандіи, приглашаются теперь своими земляками возвратиться на счастливый островъ, который еще долго будетъ обезпеченъ отъ опустошенія войны, именно до тѣхъ поръ, пока французы не снарядятъ достаточнаго количества пароходовъ для того, чтобы имѣть возможность сдѣлать высадку въ Англію.

Въ Булони такой паровой флотъ былъ бы защищенъ до самаго дня отъѣзда безчисленнымъ множествомъ фортовъ. Эти послѣдніе, окружающіе весь берегъ департаментовъ Сѣвернаго и Ламаншскаго, построены на утесахъ, которые выходятъ изъ моря и похожи на стоящія на якорѣ каменныя военныя суда. Во время долгаго мира эти крѣпости пришли въ нѣкоторый упадокъ, но теперь ихъ вооружаютъ очень усердно. Со всѣхъ сторонъ везутъ для этого множество пушекъ; проѣзжая мимо меня, онѣ дружески улыбались мнѣ, потому что эти умныя созданія раздѣляютъ мою антипатію къ англичанамъ и, конечно, выскажутъ ее гораздо громогласнѣе меня и съ гораздо большею мѣткостью. Замѣчу кстати, что пушки французскихъ береговыхъ крѣпостей стрѣляютъ гораздо дальше, чѣмъ англійскія корабельныя пушки, которыя, правда, равняются съ ними калиберомъ, но короче ихъ.

Здѣсь, въ Нормандіи, слухи о войнѣ взволновали всѣ національныя чувства и національныя воспоминанія, и дѣло показалось мнѣ совсѣмъ несмѣшнымъ, когда въ гостиницѣ въ Сенъ-Валери я услышалъ за столомъ обсужденіе плана высадки въ Англію; вѣдь на этомъ самомъ мѣстѣ нѣкогда сѣлъ на корабль Вильгельмъ Завоеватель, и тогдашніе товарищи его были именно такіе же норманы, какъ тѣ добрые

люди, которые теперь обсуждали при мнѣ подобное же предпріятіе. Пусть гордое англійское дворянство никогда не забываетъ, что въ Нормандіи живутъ граждане и крестьяне, которые могутъ документами доказать свое кровное родство съ знатнѣйшими домами Англіи и были бы очень не прочь сдѣлать визитъ своимъ милымъ дядюшкамъ и тетушкамъ.

Англійское дворянство, въ сущности, самое молодое дворянство Европы, несмотря на громкія имена, которыя рѣдко служатъ признакомъ происхожденія, но обыкновенно суть ничто иное, какъ перешедшій по наслѣдству титулъ. Чрезмѣрное высокомѣріе этихъ лордовъ и леди есть, можетъ-быть, доказательство молодости ихъ рода, такъ какъ всегда, чѣмъ моложе дерево, тѣмъ зеленѣе и горше его плоды. Это высокомѣріе вовлекло нѣкогда англійское рыцарство въ пагубную борьбу съ демократическими стремленіями и притязаніями Франціи, и очень можетъ быть, что надменность ихъ въ послѣднее время произошла изъ того же самаго источника, потому что, къ величайшему нашему удивленію, мы нашли, что въ этомъ случаѣ тори и виги дѣйствовали согласно.

Но отчего происходитъ, что такое возмущеніе всѣхъ аристократическихъ интересовъ всегда находило такой сильный отголосокъ въ англійскомъ народѣ? Причина этого заключается въ томъ, что, во-первыхъ, весь англійскій народъ, gentry точно такъ же, какъ high nobility, и mob точно такъ же, какъ gentry, имѣютъ самый аристократическій образъ мыслей, а во-вторыхъ, въ томъ, что отъ тайной ревности, точно отъ зловреднаго нарыва, сердца англичанъ чешутся и гноятся каждый разъ, какъ во Франціи начинаетъ процвѣтать благосостояніе, каждый разъ, какъ французская промышленность развивается вслѣдствіе мира, и французскій флотъ принимаетъ значительные размѣры.

Особенно въ отношеніи къ флоту приписывается англичанамъ самая гнусная ревность, и дѣйствительно, во французскихъ гаваняхъ обнаруживается работа силъ, легко позволяющая вѣрить, что черезъ нѣсколько времени французскій флотъ превзойдетъ англійскій. Этотъ послѣдній уже двадцать лѣтъ находится въ одинаковомъ положеніи, между тѣмъ какъ первый съ каждымъ днемъ весьма дѣятельно идетъ впередъ. Въ одномъ изъ прежнихъ писемъ я уже замѣтилъ, что въ тулонскомъ арсеналѣ постройка судовъ производится такъ неутомимо, что, въ случаѣ войны, Франція можетъ въ короткое время выпустить въ море почти вдвое

больше кораблей, чѣмъ то число ихъ, которымъ она владѣла въ 1814 году. Одна лейпцигская газета опровергнула это сообщеніе довольно рѣзко; мнѣ только остается пожать плечами, потому что подобныя свѣдѣнія я не почерпаю изъ слуховъ, а говорю о нихъ, какъ непосредственный очевидецъ. Въ Шербургѣ, гдѣ я былъ дней восемь тому назадъ (тамъ въ гавани плещется довольно много французскихъ кораблей), меня увѣрили, что въ Брестѣ тоже находится вдвое больше военныхъ судовъ, чѣмъ прежде, именно свыше пятнадцати линейныхъ кораблей, фрегатовъ и бриговъ, съ самымъ приличнымъ числомъ пушекъ, и что эти суда частью совсѣмъ отстроены и вооружены, а частью не готовы только на какую-нибудь одну двадцатыхъ долю. Черезъ четыре недѣли я буду имѣть случай лично познакомиться съ ними. Покамѣстъ ограничусь сообщеніемъ, что и въ нижней Нормандіи, и на бретонскомъ берегу, точно такъ же, какъ здѣсь между моряками, господствуетъ самое воинственное возбужденіе, и что къ войнѣ дѣлаются серьезнѣйшія приготовленія.

Что касается меня, то я не вѣрю, что будетъ война, и, какъ вамъ извѣстно, никогда не сомнѣвался въ продолженіи мира. Но всегда важно узнать, съ какимъ настроеніемъ встрѣтитъ народъ взрывъ враждебныхъ дѣйствій. А въ этомъ отношеніи я замѣтилъ въ массѣ достойную удивленія проницательность. Французы не обманываютъ себя насчетъ опасности, грозящей имъ какъ внутри государства, такъ и извнѣ. Но такъ какъ они хорошо знаютъ свое положеніе и то, чего имъ хочется, то они будутъ дѣйствовать съ величайшею поспѣшностью. Я убѣжденъ, что прежде всего они отдѣлятся отъ той партіи прошедшаго, которая, будучи непримиримымъ врагомъ новой Франціи, не могла быть обезоружена ни великодушіемъ, ни здравымъ смысломъ, и при малѣйшей надеждѣ на чужеземное нашествіе пускаетъ въ ходъ свои старыя козни и, какъ увѣряютъ многіе, снова возбуждаетъ шуановъ въ Вандеѣ къ междоусобной войнѣ. Люди, ѣздившіе туда, увѣряютъ меня, что тамъ произошло уже нѣсколько стычекъ, но что эти несозрѣвшія попытки были скоро подавлены. Для меня было важно развѣдать, какихъ здѣсь мнѣній о королѣ, и я съ радостью замѣтилъ, что его считаютъ вполнѣ преданнымъ своему народу и что не существуетъ ни малѣйшаго заподозрѣванія его въ антинаціональныхъ симпатіяхъ. Правда, знаютъ, что онъ любитъ миръ (а какой честный человѣкъ не любитъ его?), но въ то же время знаютъ, что онъ не боится войны до трусости.

Дѣйствительно, Людовикъ Филиппъ герой, но въ такомъ родѣ герой, какъ Одиссей, который не любилъ драться оружіемъ въ тѣхъ случаяхъ, когда могъ помогать себѣ дипломатіею рѣчи, но который сражался такъ же храбро, какъ какой-нибудь Аяксъ или Ахиллесъ, когда слова оказывались недостаточны, и приходилось прибѣгать къ мечу или луку. Многіе держатся даже того мнѣнія, что въ худшемъ случаѣ онъ прибѣгнетъ къ весьма террористической оборонѣ.

Ахъ, Господи! только бы не война! Я боюсь, что французскій народъ, если его прижмутъ черезчуръ сильно, снова вытащитъ тотъ красный колпакъ, который разогрѣвалъ его голову еще гораздо сильнѣе, чѣмъ треугольная бонапартская шляпа! Здѣсь мнѣ хотѣлось бы поставить вопросъ, насколько демоническія силы разрушенія, повинующіяся этому старому талисману во Франціи, могутъ быть дѣйствительны и за границею? Было бы важно изслѣдовать, какое значеніе имѣетъ сила, приписываемая тому волшебному средству, о которомъ французская пресса такъ таинственно и грозно шептала и шипѣла въ послѣднее время, называя его «пропагандой». По легко понятнымъ причинамъ, я долженъ воздержаться отъ всякихъ такихъ изслѣдованій, а относительно предмета столькихъ толковъ, пропаганды, позволю себѣ сдѣлать только параболистическій намекъ. Вамъ извѣстно, что въ Лапландіи язычество до сихъ поръ господствуетъ, и что лапландцы, отправляясь въ море, идутъ передъ самымъ отъѣздомъ къ колдуну для покупки у него попутнаго вѣтра. Колдунъ даетъ имъ платокъ, завязанный на три узла. Какъ только выѣдутъ въ море и развяжутъ первый узелъ, подымается хорошій попутный вѣтеръ. Если развязать второй узелъ, вѣтеръ усиливается и скоро начинаетъ бѣшено выть. Но развяжите третій узелъ—тотчасъ же подымется самая дикая буря, она хлещетъ по бѣшеному морю, корабль трещитъ и погибаетъ вмѣстѣ со своимъ хозяиномъ. Когда бѣдный лапландецъ приходитъ къ колдуну, онъ, конечно, увѣряетъ, что съ него довольно одного узла, довольно хорошаго попутнаго вѣтра, что ему совсѣмъ не нужно болѣе сильнаго вѣтра, а опасной бури и подавно; но всѣ его увѣренія не ведутъ ни къ чему, вѣтеръ продаютъ ему только en gros, онъ долженъ платить за всѣ три сорта, и горе ему, если онъ впослѣдствіи въ морѣ выпьетъ слишкомъ много водки и въ опьянѣніи развяжетъ болѣе опасные узлы!—Французы не такъ тупы,

какъ лапландцы, хотя они достаточно легкомысленны, чтобы давать волю бурямъ, которыя должны погубить ихъ самихъ. Покамѣстъ они еще очень далеки отъ этого. Многіе съ прискорбіемъ увѣряютъ меня, что французское министерство выказало не особенно большую наклонность къ покупкѣ, когда нѣкоторые прусскіе и польскіе продавцы вѣтра (которые, однако, совсѣмъ не колдуны!) предложили ему свой вѣтеръ.

XIX.

Парижъ, 21-го сентября 1840 г.

Безъ особенно богатой добычи вернулся я на этихъ дняхъ изъ поѣздки въ Бретань. Это бѣдная, пустынная страна, и люди въ ней глупы и грязны. Я надѣялся собрать тамъ прекрасныя народныя пѣсни и не услышалъ ни единаго звука ихъ. Такія пѣсни существуютъ теперь только въ старыхъ пѣсенникахъ; я купилъ нѣсколько такихъ книжекъ, но такъ какъ онѣ писаны на бретонскомъ діалектѣ, то, чтобы ознакомить васъ съ ними, я долженъ прежде дать перевести ихъ на французскій языкъ. Единственная пѣсня, которую я слышалъ во время этой поѣздки, была нѣмецкая; между тѣмъ, какъ я брился въ городѣ Реннъ, кто-то козлинымъ голосомъ пѣлъ на улицѣ арію изъ «Фрейшюца» на нѣмецкомъ языкѣ. Самаго пѣвца я не видѣлъ, но его пѣніе цѣлый день не выходило у меня изъ головы. Теперь во Франціи множество нѣмецкихъ нищихъ, которые прокармливаются пѣніемъ и не особенно содѣйствуютъ славѣ нѣмецкаго музыкальнаго искусства.

О политическомъ настроеніи бретонцевъ я не могу сообщить много, люди высказываются здѣсь не такъ легко, какъ въ Нормандіи; страсти здѣсь такъ же молчаливы, какъ глубоки, и какъ враги, такъ и друзья теперешняго правительства таятъ въ себѣ нѣмое озлобленіе. Теперь, какъ и въ началѣ революціи, въ Бретани можно найти много пламеннѣйшихъ энтузіастовъ революціи, и ихъ пылъ обратился въ кровожаднѣйшую ярость вслѣдствіе ужасовъ, которыми угрожаетъ имъ противная партія. Заблуждаются тѣ, которые думаютъ, что крестьяне въ Бретани, изъ любви къ прежнему господству дворянства, берутся за оружіе при каждомъ легитимистскомъ призывѣ. Напротивъ того, злодѣянія стараго режима еще очень ярки въ народной памяти, и благородные дворяне достаточно ужасно похозяйничали въ Бретани. Вы помните, можетъ-быть, то мѣсто въ письмахъ

г-жи Севинье, гдѣ она разсказываетъ, какъ недовольные vilains и roturiers выбили окна въ домѣ генералъ-губернатора и какое жестокое наказаніе постигло виновныхъ. Число погибшихъ отъ колесованія было, вѣроятно, очень велико, потому что г-жа Севинье, говоря о томъ, что послѣ этой пытки начали вѣшать, совершенно наивно замѣчаетъ: «послѣ многихъ колесованій, вѣшанье было истиннымъ отдохновеніемъ для этихъ людей». Отсутствіе любви замѣняется обѣщаніями, и одинъ бѣдный бретонецъ, участвовавшій въ каждомъ возстаніи лигитимистовъ и добывавшій себѣ при этомъ только раны и нищету, сознался мнѣ, что на этотъ разъ онъ увѣренъ въ полученіи награды, потому что Генрихъ V назначилъ, по возвращеніи на родину, пенсіонъ въ пятьсотъ франковъ каждому, сражавшемуся за него.

Но если народъ въ Бретани относится весьма равнодушно и эгоистично къ старому дворянству, то тѣмъ безусловнѣе онъ слѣдуетъ всѣмъ внушеніямъ духовенства, подъ умственною и физическою опекою котораго онъ рождается, живетъ и умираетъ. Какъ въ древнее кельтическое время бретонецъ повиновался друиду, такъ теперь онъ слушается своего пастыря и только чрезъ его посредство служитъ дворянину. Жоржъ Кадудаль, конечно, никогда не былъ холопомъ дворянства, точно такъ же, какъ Шареттъ, отзывавшійся объ этомъ сословіи съ самымъ озлобленнымъ презрѣніемъ и безъ обиняковъ писавшій Людовику XVIII: «La lâcheté de vos gentilshommes a perdu votre cause»; но передъ своими духовными отцами эти люди смиренно преклоняли колѣни. Даже бретонскіе якобинцы не могли вполнѣ освободиться отъ этой зависимости, и въ ихъ душѣ всегда происходилъ внутренній разладъ, когда свобода приходила въ столкновеніе съ ихъ вѣрою.

Теперь многое измѣнилось и въ этомъ отношеніи. Самъ Ламнэ бретонецъ, и его ученіе есть, можетъ-быть, произведеніе родной почвы. Духовенство должно было примириться съ династіею новыхъ мыслей, когда отказалось отъ надежды возстановить династію мыслей старыхъ. Не будемъ несправедливы къ нимъ; чтобы надѣлять людей счастіемъ, надо имѣть возможность руководить ими, а средства для этой серьезной цѣли пріобрѣтаются только союзомъ съ господствующими силами. Но ученіе Ламнэ имѣетъ страшнѣйшее значеніе не только для Франціи, но и для всей Европы; особенно важную роль будетъ оно играть въ случаѣ войны съ четвернымъ союзомъ. Я давно уже обратилъ

ваше вниманіе на то обстоятельство, что французское министерство всячески старается привязать къ себѣ эту партію, и не только щадитъ ее, но по временамъ и льститъ ей. Что̀ бы ни говорили, а г. Тьеръ великій государственный человѣкъ, и при его религіозномъ равнодушіи ему легко можетъ придти мысль употреблять и религію, эту вѣстницу спасительнаго мира, средствомъ для разрушенія. Вообще эта война должна вызвать на свѣтъ разныя явленія, о которыхъ теперь не имѣютъ еще понятія, и страшна настоящая минута, когда миръ вселенной зависитъ отъ самыхъ мелкихъ промаховъ.

Но дойдетъ ли дѣло до войны? Теперь нѣтъ; однакожъ, злой демонъ снова разорвалъ свои цѣпи и тревожитъ умы. Кто разбудилъ этого демона? По моему мнѣнію, это вина столько же эгоизма англичанъ, сколько легкомыслія французовъ. Дѣйствительно, одинъ изъ значительнѣйшихъ государственныхъ людей увѣрялъ меня недѣль шесть тому назадъ, что хитрый Брунновъ поймалъ на удочку англичанъ тѣмъ, что показалъ имъ въ перспективѣ погибель французскаго флота, какъ естественный результатъ имѣющихъ возникнуть запутанностей и столкновеній. И странное дѣло! какъ во всей Нормандіи, о чемъ я уже писалъ вамъ изъ Гранвиля, такъ и въ Бретани, повсюду распространено, точно народная легенда, мнѣніе, что Англія соединилась съ интересами Россіи изъ коварной зависти къ цвѣтущему развитію французскаго флота. Что̀ пронюхиваетъ тончайшій дипломатическій носъ, то угадываетъ народъ въ своемъ удивительномъ ясновидѣніи. Французское министерство поступило очень неосторожно тѣмъ, что тотчасъ же начало дуть изо всѣхъ силъ въ военныя трубы и барабанить на всю Европу. Подобно рыбаку въ арабской сказкѣ, Тьеръ откупорилъ бутылку, изъ которой выскочилъ страшный демонъ... Онъ немало испугался этой колоссальной фигуры и былъ бы очень радъ, если бъ могъ хитрыми словами уговорить его вернуться назадъ. «Неужели ты, въ самомъ дѣлѣ, вышелъ изъ такой маленькой бутылки?» спросилъ рыбакъ великана, и въ доказательство потребовалъ, чтобы тотъ снова влѣзъ въ эту бутылку; когда же дуракъ-великанъ послушался, рыбакъ закупорилъ бутылку хорошею пробкою... Почта отходитъ, и мы, подобно султаншѣ Шехерезадѣ, прерываемъ нашъ разсказъ, откладывая его на завтра, хотя и тогда не окончимъ по причинѣ множества вставныхъ эпизодовъ.

XX.

Парижъ, 1-го октября 1840 г.

«Читали ли вы книгу Барухъ?» Съ такимъ вопросомъ бѣгалъ нѣкогда Лафонтенъ по всѣмъ улицамъ Парижа, останавливая каждаго знакомаго, чтобъ сообщить ему великую новость, что книга Барухъ чудно прекрасное произведеніе, одно изъ лучшихъ, какія-когда либо были написаны. Люди смотрѣли на него съ изумленіемъ и улыбались, можетъ-быть, точно такъ же, какъ улыбаетесь вы тому, что съ нынѣшнею почтой я сообщаю вамъ самую важную новость, что «Тысяча и одна ночь»—одна изъ лучшихъ книгъ, и особенно полезная и поучительная въ наше время... Потому что эта книга знакомитъ съ востокомъ лучше, чѣмъ статьи Ламартина, Пужула и компаніи; и если свѣдѣнія, заключающіяся въ ней, тоже недостаточны для разрѣшенія восточнаго вопроса, то, по крайней мѣрѣ, они немного развеселяютъ насъ въ нашихъ западныхъ бѣдствіяхъ! При чтеніи этой книги чувствуешь себя такъ счастливымъ! Тутъ уже одна рамка драгоцѣннѣе лучшихъ картинъ запада! Какой великолѣпный молодецъ этотъ султанъ Шаріаръ, который непремѣнно умерщвляетъ своихъ женъ на другой день послѣ брачной ночи! Какая глубина чувства, какое ужасающее цѣломудріе души, какая нѣжность понятій о бракѣ проявляются въ этомъ наивномъ подвигѣ любви, который до сихъ поръ всѣ признавали жестокимъ, варварскимъ, деспотическимъ! Этотъ человѣкъ боялся всякаго загрязненія своихъ чувствъ, а загрязненными онъ считалъ ихъ отъ одной мысли, что жена, лежавшая сегодня на его мощной груди, завтра могла перейти въ объятія другого, какого-нибудь грязнаго бездѣльника—и онъ спѣшилъ убивать ее послѣ первой брачной ночи! Такъ какъ въ настоящее время снова отдается почетъ многимъ изъ тѣхъ благородныхъ лицъ, которыхъ тупая масса долго не признавала и позорила, то слѣдовало бы возстановить въ общественномъ мнѣніи и доблестнаго султана Шаріара. Самъ я не могу въ настоящую минуту взять на себя это похвальное дѣло, потому что уже занятъ возстановленіемъ чести покойнаго царя Прокруста; именно я хочу доказать, что объ этомъ Прокрустѣ имѣли до сихъ поръ такое фальшивое мнѣніе потому, что онъ шелъ впереди своего времени и, живя въ героически аристократическомъ періодѣ, старался осуществить плебейскія идеи нашихъ дней. Никто не понималъ, для чего онъ укорачи-

валъ большихъ людей и вытягивалъ маленькихъ до тѣхъ поръ, пока они не приходились по мѣркѣ его желѣзной кровати равенства.

Республиканство идетъ во Франціи съ каждымъ днемъ все значительнѣе впередъ, и честь Робеспьера и Марата вполнѣ возстановлена. О, благородный Шаріаръ и истинно демократическій Прокрустъ! и вамъ скоро воздастся по заслугамъ. Только теперь начинаютъ понимать васъ. Истина, въ концѣ-концовъ, побѣждаетъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ надъ г-жею Лафаржъ произнесенъ обвинительный приговоръ, о ней спорятъ еще страстнѣе, чѣмъ прежде. Общественное мнѣніе повернулось совершенно въ ея пользу съ тѣхъ поръ, какъ Распаль, самый неподкупный человѣкъ Франціи, бросилъ на вѣсы свой взглядъ. Если сообразить, съ одной стороны, что здѣсь строгій республиканецъ выступилъ противъ интересовъ своей собственной партіи и своими доводами непосредственно конрометировалъ жюри, одно изъ популярнѣйшихъ учрежденій новой Франціи, и сообразить, съ другой стороны, что человѣкъ, на мнѣніи котораго присяжные основали свой обвинительный приговоръ, извѣстный интригантъ и шарлатанъ, репейникъ на одеждѣ вельможъ, терновая игла въ мясѣ угнетеннаго, льстящій высшимъ, позорящій низшихъ, фальшивый какъ въ рѣчахъ, такъ и въ пѣніи—если сообразить это, то, о небо! нельзя долѣе сомнѣваться, что Марія Капелль невинна и что вмѣсто ея слѣдуетъ привязать къ позорному столбу на площади въ Тюллѣ знаменитаго токсиколога, декана парижскаго медицинскаго факультета, г. Орфилу! Всякій, кто по болѣе близкому наблюденію хоть отчасти знакомъ съ происками этого тщеславнаго эгоиста, убѣжденъ въ душѣ, что для него никакія средства не кажутся гадкими, когда ему представляется случай выказать важность своей научной спеціальности и вообще усилить блескъ своей славы! Дѣйствительно, этотъ скверный пѣвецъ, который своими скверными романсами, распѣваемыми его козлинымъ голосомъ въ парижскихъ гостиныхъ, не щадитъ человѣческихъ ушей и способенъ убить всякаго насмѣхающагося надъ нимъ, онъ не задумался бы принести въ жертву человѣческую жизнь въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ дѣло шло бы о томъ, чтобы увѣрить публику, что никто не превосходитъ его въ искусствѣ обнаружить какой бы то ни было скрытый ядъ! Общественное мнѣніе настаиваетъ на томъ, что въ трупѣ Лафаржа не оказалось никакого яда, но что его

тѣмъ болѣе въ сердцѣ г. Орфилы. Тѣ, которые одобряютъ приговоръ тюлльскихъ присяжныхъ, составляютъ весьма незначительное меньшинство и уже не выказываютъ прежней увѣренности. Между ними есть люди, которые, хотя и не сомнѣваются въ отравленіи, но смотрятъ на это преступленіе, какъ на родъ самосохраненія, и въ извѣстной мѣрѣ оправдываютъ его. По ихъ словамъ, самъ Лафаржъ виновенъ въ большемъ злодѣяніи: для того, чтобы спастись выгодною женитьбою отъ банкротства, онъ, фальшивыми обѣщаніями и приманками, такъ сказать, укралъ благородную женщину и потащилъ ее въ свою мрачную воровскую берлогу, гдѣ бѣдная, изнѣженная, привыкшая къ тысячѣ духовныхъ потребностей парижанка увидѣла себя окруженною грубою роднею, нравственными мученіями и смертельными лишеніями, и точно рыба, вынутая изъ воды, точно птица между летучими мышами, точно цвѣтокъ между лимузинскими животными, должна была погибнуть, сгнить самымъ жалкимъ образомъ! Развѣ это не убійство, и развѣ оборона не должна быть оправдана? Такъ говорятъ защитники, и при этомъ прибавляютъ: когда несчастная женщина увидѣла, что она поймана, заточена въ дикой берлогѣ, называющейся Гландье, отдана подъ надзоръ старой воровки-матери, лишена всякой законной помощи, даже скована самимъ закономъ — тогда она потеряла голову, и къ безумнымъ попыткамъ, которыя она дѣлала сначала для своего освобожденія, принадлежитъ то знаменитое письмо, въ которомъ она лгала своему грубому мужу, что любитъ другого, что не можетъ любить его, что проситъ поэтому отпустить ее, что она уйдетъ въ Азію и отдастъ въ его полную собственность свое приданое. Милая дурочка! Въ своемъ безуміи она думала, что человѣкъ не можетъ жить съ женщиной, которая не любитъ его, что отъ этого онъ долженъ умереть, что это смерть... Но когда она увидѣла, что этотъ человѣкъ можетъ жить и безъ любви, что отсутствіе любви не убивало его, тогда она прибѣгнула къ мышьяку... Крысій ядъ для крысы! Тюлльскіе присяжные, повидимому, были въ душѣ такого же мнѣнія, потому что иначе было бы непонятно, къ чему въ своемъ приговорѣ они упомянули о смягчающихъ обстоятельствахъ. Несомнѣнно, однако, то, что процессъ г-жи Лафаржъ составляетъ важный документъ для всякаго, занимающагося великимъ женскимъ вопросомъ, отъ рѣшенія котораго зависитъ вся общественная жизнь Франціи. Необыкновенное участіе, возбуждаемое этимъ процессомъ,

происходитъ отъ сознанія собственныхъ страданій. Бѣдныя женщины, ваше положеніе, дѣйствительно, жалкое. Евреи въ своихъ молитвахъ каждый день благодарятъ Бога за то, что Онъ создалъ ихъ не женщинами. Наивная молитва людей, которые несчастны именно вслѣдствіе своего рожденія, но принадлежность къ женскому полу считаютъ величайшимъ несчастіемъ! Они правы—даже во Франціи, гдѣ бѣдственная участь женщинъ закрыта столькими розами...

XXI.

Парижъ, 3-го октября 1840.

Со вчерашняго вечера здѣсь господствуетъ волненіе, превосходящее всякое описаніе. Громъ бейрутскихъ пушекъ находитъ отголосокъ въ груди всѣхъ французовъ. Я самъ точно ошеломленъ: страшныя опасенія проникаютъ въ мою душу. Война—еще самое меньшее изъ бѣдствій, которыхъ я боюсь. Въ Парижѣ могутъ случиться вещи, въ сравненіи съ которыми всѣ сцены прошедшей революціи должны казаться веселыми снами въ лѣтнюю ночь! Прошедшая революція! Нѣтъ, революція до сихъ поръ все одна и та же, мы видѣли только начало ея, и многіе изъ насъ не доживутъ до середины! Французы будутъ въ скверномъ положеніи, если рѣшеніе дѣла будетъ зависѣть отъ количества штыковъ. Но убиваетъ не желѣзо, а рука, а она повинуется душѣ. Теперь дѣло только въ томъ, сколько душъ будетъ лежать на каждой чашечкѣ вѣсовъ. Передъ bureaux de recrutement теперь такой «хвостъ», какъ передъ театрами въ день представленія хорошей пьесы; безсчисленное множество молодыхъ людей записывается волонтерами въ военную службу. Пале Рояль кишитъ ремесленниками, читающими газеты и при этомъ имѣющими весьма серьезный видъ. Серьезность, выражающаяся въ настоящую минуту почти безсловесно, безконечно опаснѣе болтливаго гнѣва, господствовавшаго здѣсь два мѣсяца тому назадъ. Говорятъ, что будутъ созваны палаты, и это, можетъ-быть, составитъ новое несчастіе. Обсуждающія корпораціи ослабляютъ всякую дѣйствующую силу правительства, если правительственная власть не вся находится въ ихъ рукахъ; примѣромъ этому можетъ служить Конвентъ 1792 года. Въ то время французы были въ гораздо худшемъ положеніи, чѣмъ теперь.

XXII.

Парижъ, 7-го октября 1840.

Съ каждымъ часомъ возрастаетъ волненіе умовъ. При го-

рячечной нетерпѣливости французовъ едва понятно, какъ они могутъ выносить эту неизвѣстность. Рѣшенія, рѣшенія во что бы то ни стало! кричитъ весь народъ, считающій свою честь оскорбленною. Дѣйствительное ли это оскорбленіе, или только мнимое, я не могу рѣшить; во всякомъ случаѣ, заявленія англичанъ и русскихъ, что они заботятся только о сохраненіи мира, отзываются большою ироніею, потому что въ то же самое время громъ пушекъ въ Бейрутѣ утверждаетъ противное. Больше всего негодуетъ народъ на то, что въ Бейрутѣ, главнымъ образомъ, стрѣляли въ трехцвѣтное знамя французскаго консула. Но третьяго дня въ Большой Оперѣ партеръ сталъ требовать, чтобы оркестръ заигралъ Марсельезу; когда же одинъ полицейскій комиссаръ воспротивился этому требованію, публика запѣла безъ аккомпанемента, но съ такимъ бурнымъ негодованіемъ, что слова останавливались въ горлѣ поющихъ и съ ревомъ вырывались оттуда совершенно непонятными. Или, можетъ-быть, французы забыли слова этой страшной пѣсни и помнятъ только старую мелодію? Полицейскій комиссаръ, вышедшій на сцену для увѣщанія публики, пробормоталъ съ многочисленными поклонами, что оркестръ не можетъ играть Марсельезу, ибо этой пьесы нѣтъ на афишѣ. Голосъ изъ партера возразилъ ему: «это ничего не значитъ; вѣдь и васъ тоже нѣтъ на афишѣ». На сегодня полицейскій префектъ позволилъ всѣмъ театрамъ играть марсельскій гимнъ, и я считаю это обстоятельство не лишеннымъ важности. Въ немъ я вижу симптомъ, которому вѣрю больше, чѣмъ всѣмъ воинственнымъ декламаціямъ министерскихъ газетъ. Дѣйствительно, эти послѣднія уже нѣсколько дней такъ сильно дуютъ въ трубы Беллоны, что на войну всѣ, повидимому, смотрятъ, какъ на нѣчто неизбѣжное. Самыми миролюбивыми изъ министровъ оказались военный и морской; самымъ воинственнымъ былъ министръ народнаго просвѣщенія, энергическій человѣкъ, который со времени своего вступленія въ должность пріобрѣлъ уваженіе даже своихъ враговъ и теперь выказываетъ столько же дѣятельности, сколько воодушевленія, но, конечно, о военныхъ силахъ Франціи не можетъ судить такъ хорошо, какъ министры военный и морской. Тьеръ руководитъ всѣми, и дѣйствительно, онъ человѣкъ національности. Эта послѣдняя—большой рычагъ въ его рукахъ, и у Наполеона научился онъ, что ею можно возбуждать французовъ еще гораздо сильнѣе, чѣмъ идеями. Но несмотря на свой націонализмъ, Франція все-таки

остается представителемъ революціи, и только за нее сражаются французы, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда они бьются изъ тщеславія, корыстолюбія и глупости. У Тьера наполеоновскія наклонности и, какъ я уже писалъ вамъ въ концѣ іюля, война составляетъ радость его сердца. Въ настоящую минуту полъ его кабинета весь закрытъ ландкартами, и онъ лежитъ надъ ними на животѣ и втыкаетъ въ бумагу черныя и зеленыя иголки, совсѣмъ какъ Наполеонъ. Что онъ спекулировалъ на биржѣ—гнусная клевета; человѣкъ можетъ повиноваться только одной страсти, и честолюбецъ рѣдко думаетъ о деньгахъ. Всѣ недоброжелательные слухи, терзающіе репутацію Тьера, онъ самъ навлекъ на себя своею фамильярностью съ безсовѣстными искателями приключеній. Эти люди, видя, что теперь онъ поворачивается къ нимъ спиною, ругаютъ его еще сильнѣе, чѣмъ его политическіе враги. Для чего же онъ водится съ такою сволочью? Кто ложится спать съ собаками, тотъ встаетъ съ блохами.

Я удивляюсь мужеству короля; съ каждымъ часомъ, въ который онъ все еще колеблется дать удовлетвореніе оскорбленному чувству національности, возрастаетъ опасность, угрожающая престолу еще страшнѣе, чѣмъ всѣ пушки союзниковъ. Говорятъ, что завтра будетъ обнародованъ указъ о созваніи палатъ и объ объявленіи Франціи на военномъ положеніи (état de guerre). Но вчера вечеромъ на биржѣ Тортони говорили, что Лаландъ получилъ приказаніе поспѣшить къ Гибралтарскому проливу и въ случаѣ, если русскій флотъ захочетъ соединиться съ англійскимъ, преградить ему входъ въ Средиземное море. Рента, которая уже днемъ упала на два процента, въ этотъ вечеръ понизилась еще на два. У Ротшильда, какъ увѣряютъ, вчера была зубная боль; другіе утверждаютъ, что колотье въ животѣ. Что изъ всего этого выйдетъ? Гроза подходитъ все ближе и ближе. Въ воздухѣ слышенъ уже шумъ крыльевъ валькирій. Право, дрожать въ настоящую минуту совсѣмъ не стыдно.

XXIII.

Парижъ, 29-го октября 1840.

Тьеръ сходитъ со сцены, а Гизо снова выходитъ на нее. Впрочемъ, пьеса остается та же самая, только актеры мѣняются. Эта перемѣна ролей совершилась по требованію многихъ высокихъ и высочайшихъ особъ, а не обыкновенной публики, которая была очень довольна игрою своего

перваго героя. Этотъ послѣдній, можетъ-быть, слишкомъ снискивалъ одобреніе партера; его преемникъ обращаетъ больше вниманія на высшіе ярусы—ложи посланниковъ.

Въ этихъ письмахъ мы всегда искренно высказывали нашу любовь къ Тьеру, никогда не скрывали нашего нерасположенія къ Гизо; только честный характеръ Гизо мы хвалили безусловно и охотно воздавали уваженіе человѣку, карая государственнаго сановника. Будемъ ли мы въ состояніи отнестись съ полнѣйшимъ безпристрастіемъ къ этому послѣднему? Мы попытаемся сдѣлать это добросовѣстно. Въ настоящую минуту это нашъ важнѣйшій долгъ. Въ настоящую минуту мы не отказываемъ въ состраданіи человѣку, который при теперешнихъ обстоятельствахъ въѣзжаетъ въ Hôtel des Capucins; о немъ слѣдуетъ сожалѣть гораздо больше, чѣмъ о томъ, кто выѣзжаетъ изъ этого дома пытки. Онъ достоинъ сожалѣнія почти столько же, сколько самъ король; въ короля стрѣляютъ, на министра клевещутъ. Сколько грязи кидали на Тьера въ то время, когда онъ былъ министромъ! Сегодня онъ снова переселяется въ свой маленькій домикъ на площади Сенъ-Жоржъ, и я совѣтую ему сейчасъ же взять ванну. Здѣсь онъ снова явился своимъ друзьямъ въ незапятнанномъ величіи, и какъ было четыре года назадъ, когда онъ также внезапно оставилъ министерство, такъ и теперь каждый увидитъ, что его руки и сердце остались чисты. Онъ сдѣлался только нѣсколько серьезнѣе, чѣмъ прежде, хотя истинная серьезность всегда была въ немъ и скрывалась, какъ у Цезаря, подъ формами легкаго отношенія къ жизни. Обвиненіе въ хвастовствѣ, которому онъ въ послѣднее время подвергался чаще, чѣмъ всѣмъ другимъ, онъ опровергаетъ именно своимъ выходомъ изъ министерства; именно потому, что онъ не былъ простымъ картоннымъ героемъ, а дѣйствительно принималъ самыя крупныя мѣры на случай войны, именно потому долженъ онъ былъ оставить свою должность. Теперь каждый видитъ, что призывъ къ оружію не былъ хвастливой штукой. Сумма, истраченная на армію, флотъ и сооруженіе укрѣпленій, составляетъ уже теперь болѣе четырехсотъ милліоновъ, и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ шестьсотъ тысячъ солдатъ будутъ стоять подъ ружьемъ. Еще болѣе значительныя приготовленія къ войнѣ имѣлись въ виду, и въ этомъ-то заключается причина, что король еще до начала засѣданій палатъ долженъ былъ во что бы то ни стало освободиться отъ великаго вооружителя. Теперь нѣкоторыя ограниченныя

депутатскія головы будутъ, конечно, возставать противъ безполезныхъ издержекъ и не сообразятъ того, что именно эти приготовленія къ войнѣ будутъ, можетъ-быть, причиною сохраненія мира. Одинъ мечъ удерживаетъ другой въ ножнахъ. Великій вопросъ—оскорблена или нѣтъ Франція лондонскими поступками въ дѣлѣ трактата, будетъ теперь обсуждаться въ палатѣ. Это запутанный вопросъ, при отвѣтѣ на который надо принимать въ соображеніе различіе національностей. Покамѣстъ, однако, у насъ миръ, и за королемъ Людовикомъ Филиппомъ надо признать ту заслугу, что при охраненіи мира онъ выказалъ столько же мужества, сколько проявилъ его Наполеонъ во время войны. Да, не смѣйтесь, онъ Наполеонъ мира!

XXIV.

Парижъ 4-го ноября 1840.

Маршалъ Сультъ, человѣкъ меча, охраняетъ внутреннее спокойствіе Франціи, и это его исключительная задача. Между тѣмъ, за внѣшнее спокойствіе ручается Людовикъ Филиппъ, умный король, который старается распустить гордіевъ узелъ, запутанности дипломатіи, терпѣливыми руками, а не мечомъ. Удастся ли это ему? Мы желаемъ этого, и желаемъ въ интересѣ какъ государей, такъ и народовъ Европы. Этимъ послѣднимъ война можетъ принести только смерть и бѣдствіе. Первые, государи, даже при самомъ благопріятномъ исходѣ, одержавъ побѣду надъ Франціею, сдѣлаютъ чрезъ это дѣйствительными тѣ опасности, которыя теперь, можетъ-быть, существуютъ только въ воображеніи нѣкоторыхъ государственныхъ людей, какъ тревожныя мысли. Великій переворотъ, совершившійся во Франціи пятьсотъ лѣтъ тому назадъ, если не оконченъ, то несомнѣнно сдержанъ, и останется въ этомъ положеніи, коли внѣшняя сила снова не пуститъ въ ходъ страшнаго колеса. Угроза войны съ новою коалиціею подвергнетъ опасности не только тронъ короля, но и господство той буржуазіи, которой законнымъ, во всякомъ случаѣ, фактическимъ представителемъ служитъ Людовикъ Филиппъ. Не народъ, а буржуазія начала революцію въ 1789 г. и довершила ее въ 1830 г.; это она правитъ теперь, несмотря на то, что многіе изъ ея уполномоченныхъ—люди знатной крови; это она держитъ до сихъ поръ въ уздѣ волнующійся народъ, требующій не только равенства законовъ, но и равенства наслажденій. Буржуазія, которой приходится защищать свое трудное дѣло.

новое государственное устройство, отъ напора народа, требующаго радикальнаго преобразованія общества, конечно, окажется слишкомъ слабою, если на нее нападутъ и иноземныя державы со своими, вчетверо сильнѣйшими силами, и прежде чѣмъ дѣло дойдетъ до иноземнаго нашествія, буржуазіи придется отречься отъ власти, низшіе классы снова заступятъ ея мѣсто, какъ было въ ужасныхъ девятидесятыхъ годахъ, но въ лучше организованномъ видѣ, съ болѣе яснымъ сознаніемъ, съ новыми доктринами, новыми богами, новыми земными и небесными силами; иноземнымъ державамъ пришлось бы вступить въ борьбу съ революціею не политическою, а соціальною. Поэтому союзнымъ державамъ благоразуміе должно бы посовѣтовать поддерживать нынѣшнее правленіе Франціи; этимъ онѣ сдержали бы взрывъ гораздо болѣе опасныхъ и заразительныхъ элементовъ. Самъ Промыслъ даетъ своимъ намѣстникамъ на землѣ поучительный примѣръ; послѣднее покушеніе доказало, что Промыслъ особеннымъ образомъ охраняетъ голову Людовика Филиппа. Онъ охраняетъ великаго брантмейстера, гасящаго огонь и не допускающаго всемірнаго пожара.

Я не сомнѣваюсь, что маршалу Сульту удастся обезпечить внутреннее спокойствіе. Тьеръ, своими приготовленіями къ войнѣ, оставилъ ему достаточное количество солдатъ, которые, конечно, очень недовольны измѣнившимся рѣшеніемъ. Можетъ ли онъ разсчитывать на этихъ солдатъ въ случаѣ, если народъ бурно, съ оружіемъ въ рукахъ, потребуетъ войны? Будутъ ли они въ состояніи устоять противъ воинственныхъ стремленій своихъ собственныхъ сердецъ и рѣшатся ли вступить въ битву скорѣе съ своими братьями, чѣмъ съ чужеземцами? Будутъ ли они въ состояніи спокойно выслушивать упреки въ малодушествѣ? Не потеряютъ ли они голову, когда вдругъ умершій полководецъ прибудетъ со св. Елены? Я хотѣлъ бы, чтобъ онъ уже теперь спокойно лежалъ подъ куполомъ Отеля Инвалидовъ, и похороны произошли бы благополучно.

Объ отношеніяхъ Гизо къ двумъ вышеупомянутымъ сановникамъ я буду говорить впослѣдствіи. Притомъ, теперь еще нельзя съ точностью опредѣлить, насколько онъ думаетъ прикрывать ихъ обоихъ эгидою своего слова. Чрезъ нѣсколько недѣль ему придется прибѣгнуть ко всей силѣ своего ораторскаго краснорѣчія, и если палата, какъ говорятъ, подыметъ вопросъ о casus belli, то ученому мужу можно будетъ выказать свои познанія самымъ блестящимъ

образомъ. Именно, говорятъ, что палата обратитъ особое вниманіе на заявленіе союзныхъ державъ, что онѣ, стремясь къ замиренію востока, не имѣютъ въ виду никакого увеличенія своихъ территорій и никакихъ другихъ частныхъ выгодъ,—и всякое фактическое противорѣчіе съ этимъ заявленіемъ приметъ за casus belli. О роли, которую при этомъ случаѣ будетъ играть Тьеръ, и о томъ, думаетъ ли онъ снова выступить противъ своего стараго соперника, Гизо, со всею силою своей рѣчи, я также могу сообщить вамъ только впослѣдствіи.

Гизо приходится трудно, и я уже не разъ говорилъ вамъ, что очень жалѣю его. Онъ энергическій, твердый человѣкъ, и Каламатта на превосходномъ портретѣ весьма вѣрно изобразилъ его благородную наружность. Это здоровая пуританская голова, прислонившаяся къ каменной стѣнѣ; при сильномъ движеніи головы назадъ, она можетъ причинить себѣ большой вредъ. Портретъ выставленъ въ окошкахъ магазиновъ Гупиля и Ритнера. На него много смотрятъ, и Гизо приходится уже en effigie переносить много отъ злыхъ языковъ.

XXV.

Парижъ, 6-го ноября 1840.

Объ іюльской революціи и объ участіи, принимавшемся въ ней Людовикомъ Филиппомъ, появилось теперь сочиненіе, которое возбуждаетъ всеобщее вниманіе и составляетъ предметъ общихъ толковъ. Это первая часть «Histoire de dix ans» Луи Блана. Я еще не видалъ этого сочиненія; какъ скоро прочту его, попытаюсь высказать самостоятельное сужденіе о томъ. Сегодня сообщу вамъ только то, что могу уже теперь сказать объ авторѣ и его положеніи; дѣлаю это для того, чтобы дать вамъ настоящую точку зрѣнія, съ которой вы можете правильно обсудить, насколько въ этомъ сочиненіи участвуетъ духъ партіи и насколько вы можете вѣрить или не вѣрить тому, что сказано въ ней.

Авторъ, г. Луи Бланъ, еще молодой человѣкъ, лѣтъ никакъ не больше тридцати съ лишнимъ, хотя по наружности онъ похожъ на тринадцатилѣтняго мальчика. Дѣйствительно, его чрезмѣрно крошечный ростъ, краснощекое безбородое личико и женственно нѣжный, его не сформировавшійся голосъ придаютъ ему видъ милѣйшаго мальчика, который только-что выскочилъ изъ третьяго класса училища и въ первый разъ надѣлъ черный фракъ. А между тѣмъ, это

одна изъ знаменитостей республиканской партіи, и въ его сужденіяхъ господствуетъ такая умѣренность, какую можно встрѣтить только у стариковъ. Его физіономія, и особенно рѣзвые глазенки, обличаютъ южно-французское происхожденіе. Луи Бланъ родился въ Мадридѣ отъ французскихъ родителей. Его мать—корсиканка, и притомъ изъ фамиліи Поццо ди-Борго. Воспитывался онъ въ Родецѣ. Не знаю, какъ давно онъ живетъ въ Парижѣ, но уже шесть лѣтъ тому назадъ я засталъ его здѣсь редакторомъ республиканскаго журнала «Le Monde»; послѣ того, онъ основалъ также «Revue de Progrés», значительнѣйшій органъ республиканства. Его дядя, Поццо ди-Борго, бывшій русскій посланникъ, былъ, говорятъ, очень недоволенъ направленіемъ молодого человѣка и нерѣдко жаловался на него. (Замѣчу кстати, что объ этомъ знаменитомъ дипломатѣ получены здѣсь весьма печальныя извѣстія; его умственное разстройство, кажется, неизлѣчимо, по временамъ онъ впадаетъ въ бѣшенство и въ это время думаетъ, что императоръ Наполеонъ хочетъ его разстрѣлять). Мать Луи Блана и вся ея родня съ материнской стороны живетъ до сихъ поръ въ Корсикѣ. Но это только тѣлесное, кровное родство. По духу Луи Бланъ ближе всѣхъ родственъ съ Жанъ-Жакомъ Руссо, сочиненія котораго составляютъ исходный пунктъ всего образа его мыслей и ихъ выраженія. Его теплая, чистая, правдивая проза напоминаетъ этого перваго отца церкви французской революціи. Сочиненіе Луи Блана «L'organisation du travail» уже нѣсколько лѣтъ назадъ обратило на себя общее вниманіе. Въ каждой строкѣ этого сочиненія проглядываетъ если не основательное знаніе, то пламенное сочувствіе къ страданіямъ человѣка, и въ то же время въ немъ обнаруживается та склонность къ неограниченному господству, то основательное отвращеніе отъ геніальной индивидуальности, которыми Луи Бланъ поразительно отличается отъ нѣкоторыхъ изъ своихъ республиканскихъ товарищей, напримѣръ, отъ умнаго Піа. Это различіе почти поссорило ихъ между собою нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда Луи Бланъ не хотѣлъ признать неограниченную свободу печати, которую требовали эти республиканцы. Тутъ совершенно ясно обнаружилось, что эти послѣдніе любятъ свободу только ради свободы, тогда какъ Луи Бланъ смотритъ на нее скорѣе, какъ на средство къ достиженію филантропическихъ цѣлей, такъ что съ этой точки зрѣнія правительственная власть, безъ которой никакое правитель-

ство не можетъ содѣйствовать благу народа, для него гораздо важнѣе, чѣмъ всѣ права и привилегіи индивидуальной силы и индивидуальнаго величія. Да, можетъ-быть, уже вслѣдствіе своего маленькаго роста, онъ не терпитъ ни одной большой личности и косится на нихъ съ тѣмъ недовѣріемъ, которое обще и другому ученику Руссо, покойному Максимиліану Робеспьеру. Я полагаю, что этотъ карликъ готовъ бы срѣзать каждую голову, превосходящую установленную рекрутскую мѣрку, само собою разумѣется, въ видахъ общественнаго блага, общаго равенства, соціальнаго счастія народа. Самъ онъ ведетъ жизнь умѣренную, повидимому, не доставляетъ своему маленькому тѣлу никакихъ удовольствій и вслѣдствіе этого хочетъ ввести въ государство всеобщее кухонное равенство, при которомъ для всѣхъ насъ должна вариться одна и та же спартанская похлебка и, что̀ еще ужаснѣе, гдѣ великанъ долженъ получать ту же порцію, что̀ и братъ его карликъ. Нѣтъ, за это благодарю тебя, новый Ликургъ! Правда, что мы всѣ братья, но я большой братъ, а вы маленькіе братья, и мнѣ слѣдуетъ получить бо̀льшую порцію. Луи Бланъ забавная смѣсь спартанца съ лилипутомъ. Во всякомъ случаѣ, я увѣренъ, что ему предстоитъ большая будущность и что онъ будетъ играть значительную роль, хотя и недолго. Онъ созданъ на то, чтобы быть великимъ человѣкомъ маленькихъ людей, которые легко могутъ носить на плечахъ такое созданіе, между тѣмъ какъ люди колоссальнаго размѣра, скажу даже— умы сильной корпуленціи, для нихъ слишкомъ тяжелы.

Говорятъ, что новая книга Луи Блана написана превосходно, и такъ какъ въ ней есть много неизвѣстныхъ и злыхъ анекдотовъ, то уже самый сюжетъ представляетъ большой интересъ для злорадной массы. Республиканцы блаженствуютъ, читая эту книгу; мелочность, ничтожество той правящей буржуазіи, которую они хотятъ ниспровергнуть, раскрыта здѣсь весьма забавно. Но для легитимистовъ эта книга сущая пытка, потому что авторъ, щадя ихъ самихъ, издѣвается надъ ихъ мѣщанскими побѣдителями и бросаетъ ядовитую грязь на королевскую мантію Людовика Филиппа. Справедливо или ложно то, что̀ разсказываетъ Луи Бланъ о королѣ? Если справедливо, то великая французская нація, такъ много толкующая о своемъ point d'honneur, уже десять лѣтъ позволяетъ управлять ею и быть ея представителемъ обыкновенному фокуснику, коронованному Боско. Именно, въ этой книгѣ разсказывается слѣдующее.

Перваго августа, когда Карлъ X сдѣлалъ герцога Орлеанскаго намѣстникомъ, Дюпенъ отправился къ этому послѣднему въ Нельи и сказалъ ему, что для избѣжанія опаснаго подозрѣнія въ двуличности, онъ долженъ рѣшительно разорвать связь съ Карломъ X и выразить это положительнымъ образомъ въ письмѣ. Людовикъ Филиппъ вполнѣ одобрилъ совѣтъ Дюпена и даже просилъ его сочинить ему такое письмо; Дюпенъ написалъ, и притомъ въ самыхъ жесткихъ выраженіяхъ, и Людовикъ Филиппъ намѣревался уже запечатать его и уже поднесъ сургучъ къ свѣчкѣ, но вдругъ повернулся къ Дюпену со словами: «Въ важныхъ случаяхъ я всегда совѣтуюсь съ моей женой; я прочту ей это письмо, и если она одобритъ его, то мы сейчасъ же пошлемъ». Затѣмъ онъ вышелъ изъ комнаты и чрезъ нѣсколько времени вернулся съ письмомъ, быстро запечаталъ его и немедленно отправилъ къ Карлу X. Но только кувертъ остался прежній, а рѣзкое письмо Дюпена ловкій фокусникъ подмѣнилъ другимъ, очень униженнымъ, въ которомъ онъ увѣрялъ короля въ своей вѣрноподданической вѣрности, принималъ назначеніе и умолялъ Карла X отречься въ пользу своего внука. Тутъ прежде всего возникаетъ вопросъ, какимъ образомъ открылся этотъ подлогъ? На это Луи Бланъ далъ одному моему знакомому слѣдующій устный отвѣтъ. Когда г. Беррье былъ въ Прагѣ у Карла X, то онъ почтительно замѣтилъ ему, что его величество слишкомъ поторопился отречься отъ престола, и его величество, въ свое оправданіе, показалъ ему письмо, полученное имъ въ то время отъ герцога Орлеанскаго и сказалъ, что онъ тѣмъ скорѣе послѣдовалъ совѣту его, что призналъ въ немъ намѣстника королевства. Такимъ образомъ, это письмо видѣлъ только г. Беррье, и весь анекдотъ основанъ только на его авторитетѣ. Для легитимистовъ этотъ авторитетъ, конечно, достаточенъ, точно также достаточенъ онъ для республиканцевъ, которые вѣрятъ всему, что легитимистская ненависть изобрѣтаетъ противъ Людовика Филиппа. Это мы видѣли еще недавно, когда одинъ мерзавецъ составилъ извѣстныя подложныя письма, причемъ г. Беррье явился въ своемъ полномъ блескѣ адвокатомъ поддѣлывателя. Мы, не принадлежащіе ни къ республиканской, ни къ легитимистской партіи, мы вѣримъ только въ талантъ г. Беррье, въ его звучный органъ, въ его способность къ музыкѣ и къ карточной игрѣ, а особенно вѣримъ въ громадныя суммы, которыми легитимистская партія награждаетъ своего великаго дѣлопроизводителя.

Что касается Людовика Филиппа, то мы уже не разъ высказывали въ этихъ письмахъ наше мнѣніе о немъ. Онъ великій король, хотя похожій болѣе на Одиссея, чѣмъ на Аякса, бѣшенаго деспота, который самымъ жалкимъ образомъ погибъ въ борьбѣ съ изобрѣтательнымъ Улиссомъ. Но онъ не укралъ короны Франціи, какъ безчестный фокусникъ; самая горькая необходимость, скажу даже, немилость Божія надѣла ему на голову корону въ роковой часъ террора. Правда, что при этомъ случаѣ онъ немного поигралъ комедію и не имѣлъ вполнѣ честныхъ намѣреній относительно своихъ защитниковъ, іюльскихъ героевъ, поднявшихъ его на щитъ; но вполнѣ ли честно относились и они къ нему, Орлеанскому принцу? Они считали его простою куклой, они весело посадили его на красное кресло, въ твердой увѣренности, что легко сбросить его оттуда, если онъ не позволитъ вертѣть собою на проволокѣ, или если имъ вздумается снова поставить на сцену старую пьесу — республику. Но на этотъ разъ, какъ я уже говорилъ, роль Юнія Брута, чтобы обмануть республиканцевъ, играла сама монархія, и Людовикъ Филиппъ былъ достаточно уменъ для того, чтобы надѣть на себя маску самой овечьей простоты, ходить, какъ Штаберле, по парижскимъ улицамъ съ большимъ сентиментальнымъ зонтикомъ, пожимать неумытыя руки бюргера Крети и бюргера Плети, и улыбаться, и казаться очень растроганнымъ. Онъ, дѣйствительно, игралъ въ то время курьезную роль, и когда я пріѣхалъ сюда вскорѣ послѣ іюльской революціи, то имѣлъ не одинъ случай смѣяться надъ этимъ поведеніемъ. Я помню еще очень хорошо, что пріѣхавъ въ Парижъ, тотчасъ же отправился въ Пале-Рояль посмотрѣть на Людовика Филиппа. Пріятель, сопровождавшій меня, разсказалъ мнѣ, что король показывается теперь на террасѣ только въ опредѣленные часы, но что прежде, еще нѣсколько недѣль тому назадъ, его можно было видѣть во всякое время, и притомъ за пять франковъ: «За пять франковъ!—вскричалъ я съ удивленіемъ:—развѣ онъ показываетъ себя за деньги?»—«Нѣтъ, но его показываютъ за деньги, и это дѣлается такимъ такимъ образомъ: здѣсь есть компанія клакеровъ, продавцевъ контръ-марокъ и другой сволочи, которая предлагаетъ каждому иностранцу показать ему короля за пять франковъ; дайте имъ десять франковъ, они покажутъ короля воздымающимъ глаза къ небу и прижимающимъ руку къ сердцу; а за двадцать франковъ сдѣлаютъ такъ, что онъ будетъ пѣть Марсельезу. И вотъ, коли

вы давали этимъ молодцамъ пять франковъ, они начинали кричать восторженное ура подъ окошками короля, и его величество показывался на террасѣ, и кланялся, и снова уходилъ. Дадите десять франковъ—они орутъ еще сильнѣе, и когда король появляется, начинаютъ метаться во всѣ стороны, точно бѣшеные, послѣ чего король, въ знакъ своего нѣмого умиленія, подымаетъ глаза къ небу и прикладываетъ руку къ сердцу. Но англичане платятъ иногда двадцать франковъ, и уже въ этихъ случаяхъ энтузіазмъ доходитъ до высшей степени: какъ только король появляется на террасѣ, молодцы начинаютъ пѣть Марсельезу и орутъ такъ неистово, что Людовикъ Филиппъ, можетъ-быть только для того, чтобы прекратить это пѣніе, кланяется, подымаетъ глаза къ небу, прижимаетъ руку къ сердцу и подпѣваетъ Марсельезу». Правда ли, какъ утверждаютъ, что при этомъ онъ также бьетъ ногою тактъ, я не знаю. Вообще я не могу ручаться за справедливость этого анекдота. Пріятель разсказавшій мнѣ его, умеръ семь лѣтъ тому назадъ; уже семь лѣтъ онъ не лжетъ. Такимъ образомъ я ссылаюсь на авторитетъ не г. Беррье.

XXVI.

Парижъ, 7 ноября 1840 г.

Король плакалъ. Онъ плакалъ публично, на тронѣ, окруженный всѣми сановниками государства, въ виду всего своего народа, избранные представители котораго стояли передъ нимъ, и свидѣтелями этого печальнаго зрѣлища были всѣ иноземные государи, присутствовавшіе здѣсь въ лицѣ своихъ посланниковъ и уполномоченныхъ. Король плакалъ! Это—печальное событіе. Многіе сомнѣваются въ искренности этихъ слезъ короля и сравниваютъ ихъ со слезами лисицы Рейнеке. Но развѣ недостаточно трагично уже то, что король доведенъ до необходимости прибѣгать къ влажному вспомогательному средству плача? Нѣтъ, Людовикъ Филиппъ, царственный страстотерпецъ, не имѣетъ надобности насиловать теченіе своихъ слезныхъ потоковъ, когда думаетъ объ ужасахъ, угрожающихъ ему, его народу и всему міру. Какъ всѣ значительные люди, онъ охотно старался согласить свои частные интересы съ благомъ своихъ современниковъ, и такимъ образомъ составилось въ немъ убѣжденіе, что война—несчастіе не только для него лично, но и для всего человѣчества, и на всю свою борьбу ради сохраненія мира, на всѣ опасности, въ которыя вовлекаетъ

его она, на всѣ огорченія, которымъ она подвергаетъ его, онъ смотритъ какъ на мученичество. Можетъ-быть, онъ правъ, можетъ-быть, онъ страдаетъ за всѣхъ насъ—не клевещите, по крайней, мѣрѣ на его слезы! Онѣ были печальный фактъ, которому даютъ самыя плачевныя толкованія.

О настроеніи палаты до сихъ поръ нѣтъ никакихъ опредѣлительныхъ извѣстій. А между тѣмъ, отъ этого зависитъ все, зависитъ внутреннее и внѣшнее спокойствіе Франціи и цѣлаго міра. Если возникнетъ значительный раздоръ между знатнѣйшими буржуа палаты и короною, то предводители партіи радикализма не будутъ долѣе медлить возстаніемъ, которое втайнѣ уже организовано, и ждутъ только часа, когда король не будетъ болѣе въ состояніи разсчитывать на помощь палаты депутатовъ. Пока обѣ стороны только дуются другъ на друга, но не нарушаютъ своего брачнаго контракта, ниспроверженіе нынѣшняго правительства не можетъ удасться, и предводители движенія очень хорошо знаютъ это, и потому покамѣстъ глотаютъ всю свою злобу и остерегаются всякаго несвоевременнаго возстанія. Исторія Франціи показываетъ, что всякій значительный фазисъ революціи всегда имѣлъ парламентское начало и что люди, возстававшіе законно, всегда подавали болѣе или менѣе явственно страшный сигналъ народу. Вслѣдствіе этого участія—мы могли бы даже сказать, участія въ заговорѣ—парламента междуцарствіе грубой силы никогда не держится долго, и французы ограждены отъ анархіи гораздо больше, чѣмъ другіе народы, находящіеся въ революціонномъ положеніи, напр., испанцы. Это мы видѣли въ іюльскіе дни, это мы видѣли въ дни первой революціи, когда парламентъ, законодательное собраніе, превратился въ исполнительный конвентъ. Теперь снова ожидаютъ въ худшемъ случаѣ такого превращенія.

Побѣда, которую министерство одержало вчера въ палатѣ, не такъ важна, какъ слѣдовало бы заключить по тріумфальнымъ кликамъ министерскихъ газетъ. Правда, что выборъ президента и вице-президента доказалъ нѣкоторую апатичность, но въ сущности онъ не имѣетъ никакого значенія. Французскіе депутаты вѣдь такіе же французы, какъ и всѣ остальные, и точно такъ же, какъ они, приводятся въ страстное движеніе событіями. Сообщите имъ только какое-нибудь извѣстіе, оскорбляющее чувство національности—и умѣренность самыхъ умѣренныхъ исчезнетъ безъ слѣда. Люди, на которыхъ разсчитываетъ министерство принадлежатъ боль-

шею частію къ тому кварталу Маре, характеристическая добродѣтель котораго состоитъ въ томъ, что онъ поддерживаетъ правительство до тѣхъ поръ, пока оно не подвергается нападенію значительной силы. Сегодня Маре противъ Тьера, завтра за него... Но не станемъ забѣгать съ нашимъ мнѣніемъ впередъ событій.

XXVII.

Парижъ, 12 ноября 1840 г.

Рожденіе герцога Шартрскаго составляетъ послѣсловіе къ тронной рѣчи. «Состраданіе, голый ребенокъ», говоритъ Шекспиръ. А тутъ еще ребенокъ — кровный принцъ, слѣдовательно, созданіе, которому суждено перенести самыя тяжкія испытанія, а можетъ-быть, даже носить на головѣ терновую корону французскаго короля! Дайте ему нѣмецкую кормилицу, чтобы онъ всосалъ въ себя молоко терпѣнія. Покамѣстъ онъ свѣжъ и здоровъ. Умный ребенокъ сразу понялъ свое положеніе и тотчасъ же началъ плакать. Говорятъ, впрочемъ, что онъ очень похожъ на своего дѣдушку. Этотъ послѣдній ликуетъ. Мы отъ души радуемся, что онъ получилъ это утѣшеніе, этотъ бальзамъ; вѣдь онъ такъ много страдалъ въ послѣдніе годы! Людовикъ Филиппъ превосходнѣйшій семьянинъ, и именно эта преувеличенная заботливость о счастіи его семейства приводила его въ такія частыя столкновенія съ національными интересами французовъ. Именно потому, что онъ имѣетъ и любитъ дѣтей, питаетъ онъ также самую рѣшительную нѣжность къ миру. Воинственные государи обыкновенно бездѣтны. Эта любовь къ домашней жизни и къ домашнему счастью, господствующая въ Людовикѣ Филиппѣ, конечно, почтенна, и во всякомъ случаѣ, высочайшій примѣръ имѣетъ самое благодѣтельное вліяніе на нравы. Король добродѣтеленъ въ самомъ буржуазномъ вкусѣ, его домъ — самый скромный во всей Франціи, и буржуазія, избравшая его своимъ намѣстникомъ, имѣетъ до сихъ поръ достаточное основаніе быть довольнымъ его поведеніемъ.

До тѣхъ поръ, пока буржуазія будетъ стоять у кормила правленія, нынѣшней династіи не грозитъ ни малѣйшая опасность. Но что будетъ, когда начнутся бури, когда кормило схватятъ болѣе сильныя руки и когда руки буржуазіи, болѣе способныя считать деньги и вести торговыя книги, боязливо опустятся? Буржуазія будетъ сопротивляться еще гораздо меньше, чѣмъ сопротивлялась прежняя аристократія,

потому что старое дворянство, несмотря даже на свою жалкую слабость, на свою вялость вслѣдствіе безнравственности, на свою испорченность вслѣдствіе куртизанства, все-таки было воодушевлено извѣстнымъ point d'honneur, котораго нѣтъ у нашей буржуазіи, процвѣтающей, благодаря духу промышленности, но и долженствующей погибнуть вслѣдствіе его. Ламартинъ предсказываетъ ей повтореніе 10-го августа, но я сомнѣваюсь, чтобы буржуазные рыцари іюльскаго трона выказали такое же геройство, какимъ отличались напудренные маркизы стараго времени, которые въ своихъ шелковыхъ кафтанахъ и съ тоненькими салонными шпагами, противились вторженію народа въ Тюильри. Я упомянулъ о Ламартинѣ, великомъ поэтѣ; этому человѣку и въ области политики предстоитъ великая будущность. Я не люблю его, но отнесусь къ нему съ полнымъ безпристрастіемъ, если въ будущемъ засѣданіи палаты онъ возвыситъ свой благородный голосъ при обсужденіи восточнаго вопроса.

Извѣстія, получаемыя нами съ востока, для французовъ весьма неблагопріятныя. Авторитетъ Франціи на востокѣ безвозвратно потерянъ и сдѣлался добычей англичанъ и русскихъ. Англичане добились всего, что хотѣли—фактическаго преобладанія въ Сиріи, обезпеченія своего торговаго пути въ Индію; Евфратъ, одна изъ четырехъ райскихъ рѣкъ, сдѣлалась англійскою рѣкою, по которой плаваютъ пароходы, точно въ Рамзгетъ или Маргетъ; на Товерстритѣ помѣщается пароходная контора, гдѣ берутъ билеты; въ Багдадѣ, древнемъ Вавилонѣ, высаживаются и пьютъ портеръ или чай. — Англичане ежедневно клянутся въ своихъ газетахъ, что они отнюдь не хотѣли войны и что знаменитый трактатъ замиренія нимало не клонился къ нарушенію интересовъ Франціи и къ тому, чтобы кинуть въ міръ факелъ войны. А между тѣмъ, это именно и вышло: англичане нанесли французамъ самую горькую обиду и зажгли всемірный пожаръ для того, чтобы добиться нѣсколькихъ барышническихъ выгодъ! Но эгоизмъ заботился только о настоящей минутѣ, и будущность подготовляетъ ему наказаніе. Выгоды, доставленныя этимъ трактатомъ Россіи, правда, не такая наличная монета, ихъ нельзя съ такою скоростью вычислить и внести въ кассу, но онѣ имѣютъ для будущности этого государства неоцѣнимѣйшую цѣну. Во-первыхъ, этимъ разрушается союзъ между Франціей и Англіей — важная выгода для Россіи, которая рано или

поздно должна вступить въ войну съ одною изъ этихъ державъ. Во-вторыхъ, уничтожена сила того египтянина, который, если бы сталъ во главѣ мусульманъ, былъ бы въ состояніи оградить турецкую имперію отъ русскихъ, которые уже смотрятъ на нее, какъ на свою собственность. И много еще выгодъ такого рода пріобрѣли русскіе, и притомъ не особенно подвергаясь опасностямъ, такъ какъ, въ случаѣ войны, французы не могли бы проникнуть къ нимъ, точно такъ же, какъ и добраться до англичанъ. Между Англіею и гнѣвомъ французовъ лежитъ море, между французами и русскими лежитъ Германія, — и намъ, бѣднымъ нѣмцамъ, вслѣдствіе случайнаго положенія мѣстности, пришлось бы драться за вещи, насъ нисколько не касающіяся за ничто и снова ничто...

XXVIII.

Парижъ, 6 января 1841 г.

Новый годъ, какъ и старый, начался музыкой и танцами. Въ Большой Оперѣ звучатъ мелодіи Доницетти, которыми по необходимости пробавляются въ ожиданіи Пророка, т. е. оперы Мейербера подъ этимъ названіемъ. Третьяго дня дебютировала съ большимъ, блестящимъ успѣхомъ мадмуазель Гейнефеттеръ. Въ Одеонѣ, итальянскомъ соловьиномъ гнѣздѣ, заливаются упоительнѣе, чѣмъ когда-нибудь, старѣющій Рубини и вѣчно молодая Гризи, поющій цвѣтокъ красоты. Концерты тоже начались въ соперничающихъ залахъ Герца и Эрара. Кто не находитъ случая скучать въ этихъ публичныхъ заведеніяхъ Полимніи, тотъ можетъ вволю назѣваться на частныхъ вечерахъ; цѣлый рой молодыхъ дилетантовъ, дающихъ право возлагать на нихъ самыя странныя надежды, выказываютъ здѣсь свое искусство всевозможными звуками и на всевозможныхъ инструментахъ; г. Орфила снова блѣетъ свои безчеловѣчнѣйшіе романсы, положенный на музыку ядъ для крысъ. Послѣ скверной музыки разносятъ тошнотворно теплую сахарную воду или соленое мороженое, и танцуютъ. Начинаются, при звукахъ трубъ и литавръ, также маскарадные балы, и парижане, точно въ порывѣ отчаянья, бросаются въ шумный водоворотъ удовольствій. Нѣмецъ, для избавленія себя отъ гнетущей заботы, пьетъ; французъ несется въ ошеломляющемъ, опьяняющемъ галопѣ. Богиня легкомыслія очень бы желала выгнать изъ головы своего любимаго народа всякія печальныя мысли, но это не удается ей: въ паузахъ кадриля Арле-

кинъ шепчетъ на ухо своему сосѣду Пьеро: «Какъ вы думаете, будемъ мы драться нынѣшнею весною?» Даже шампанское безсильно и можетъ отуманивать только голову, сердца остаются трезвыми, и иногда, за веселымъ ужиномъ, гости блѣднѣютъ, остроты замираютъ на ихъ губахъ, они бросаютъ другъ на друга испуганные взгляды — на стѣнѣ они читаютъ слова: Манэ, Текелъ, Фаресъ!

Французы не скрываютъ отъ себя опасности своего положенія, но мужество — ихъ національная добродѣтель. И притомъ они знаютъ очень хорошо, что политическая собственность, пріобрѣтенная ихъ отцами съ самою воинственною храбростью, можетъ быть сохранена не терпѣливою снисходительностью и смиреннымъ бездѣйствіемъ. Даже Гизо, столь недостойно поруганный и оклеветанный Гизо, отнюдь не намѣренъ держаться мира во что бы ни стало. Правда, этотъ человѣкъ неустрашимо сопротивляется нападающему радикализму, но я убѣжденъ, что онъ также рѣшительно возстанетъ противъ напора абсолютическихъ и іерархическихъ стремленій. Не знаю, какъ велико было число національныхъ гвардейцевъ, которые на похоронахъ императора кричали: à bas Guizot! но знаю, что если бы національная гвардія понимала свои собственные интересы, то явный протестъ противъ этихъ гнусныхъ криковъ былъ бы съ ея стороны столько же разумнымъ, сколько благороднымъ дѣломъ. Потому что вѣдь, въ сущности, національная гвардія ничто иное, какъ вооруженная буржуазія, а именно, эта последняя, въ одно и то же время угрожаемая и интригующею партіею стараго порядка, и проповѣдниками Бабефской республики, нашла въ Гизо естественнаго защитника, охраняющаго ее со всѣхъ сторонъ. Гизо никогда не хотѣлъ ничего иного, какъ господства среднихъ классовъ, думая, что обладая образованіемъ и богатствомъ, они способны вести государственныя дѣла и быть ихъ представителями. Я убѣжденъ, что найди Гизо во французской аристократіи хоть одинъ жизненный элементъ, который дѣлалъ бы ее способною управлять Франціею къ благу народа и человѣчества, онъ сдѣлался бы ея защитникомъ и боролся бы за нее съ такимъ же рвеніемъ и, конечно, съ большимъ безкорыстіемъ, чѣмъ Беррье и подобные ему паладины прошедшаго; точно также я убѣжденъ, что онъ сражался бы за господство пролетаріевъ, и притомъ честнѣе, чѣмъ Ламнэ и его собратія, если бы считалъ низшіе классы чрезъ образованіе и благоразуміе достаточно созрѣвшими для управле-

нія государствомъ, и если бы не понималъ, что несвоевременная побѣда пролетаріевъ не можетъ быть продолжительна и должна составить несчастіе человѣчества, потому что эти люди, въ своемъ безумномъ упоеніи равенствомъ, разрушили бы все, что прекрасно и возвышенно на этой землѣ, и воздвигли бы особенно бѣшеное гоненіе на науку и искусство.

Но Гизо—человѣкъ не упрямаго застоя, а правильнаго и своевременнаго прогресса. Враги революціи оцѣниваютъ его въ этомъ отношеніи гораздо лучше, чѣмъ наши радикалы; они хорошо поняли, что, защищая правленіе среднихъ классовъ отъ напора пролетаріевъ, онъ, однако, своими реформами въ народномъ образованіи подготовляетъ низшіе классы къ тому, чтобы они со временемъ, вслѣдствіе постепеннаго развитія, безъ насильственной внезапности, приняли выгодное и благодѣтельное участіе въ этомъ правленіи. Будущее время воздастъ этому человѣку самую достославную справедливость. Можетъ-быть, это случится и въ ближайшемъ настоящемъ; ему стоитъ для этого только выѣхать изъ Hôtel des Capucins. Приметъ ли онъ въ этомъ случаѣ снова мѣсто посланника въ Лондонѣ? Будетъ ли онъ, несмотря на свою симпатію къ Англіи, поддерживать то новое министерство, которое мечтаетъ о союзѣ съ Россіею? Это возможно, потому что если Францію принудятъ къ войнѣ, то Гизо пренебрежетъ всѣми революціонными средствами и станетъ стремиться только къ политическимъ союзамъ. «Если,—такъ выразился Гизо въ интимномъ салонѣ:—несмотря на всѣ жертвы и умѣренность, намъ не удастся сохранить миръ, то мы будемъ вести войну, какъ держава, (puissance), а не какъ горланящая толпа (cohue)». Но тутъ заключается главная причина того, что онъ не терпитъ всѣхъ тѣхъ, которые ожидаютъ побѣды только отъ пропаганды и хотятъ сдѣлать себя важными, какъ необходимыя орудія ея. Это именно журналисты, думающіе, что въ ихъ перьяхъ заключается громаднѣйшая вспомогательная сила. «Самая лучшая вещь въ мірѣ—шерстяной колпакъ», говоритъ шапочникъ, а журналисты говорятъ: «лучшая вещь въ мірѣ — газетная статья.» Насколько они ошибаются, это мы узнали недавно, когда пропагадныя фразы газетъ «National», «Courrier Francais» и «Constitutionnel», возбудили столько неудовольствія въ Германіи. Отцы были въ этомъ отношеніи гораздо практичнѣе; когда они видѣли, что космополитическимъ идеямъ революціи грозитъ опасность, то искали помощи въ чувствѣ національности. Сы-

новья, видя свою національность въ опасности, ищутъ спасенія въ космополитическихъ идеяхъ; но эти послѣднія не подвигаютъ на дѣло такъ мощно, какъ тѣ воодушевляющія испаренія земли, которыя мы называемъ любовью къ отечеству.

Будетъ ли, въ случаѣ войны, союзъ съ Россіею для французовъ благодѣтельнѣе пропаганды, въ этомъ я сомнѣваюсь. Пропаганда угрожаетъ опасностью только ихъ временной формѣ общественнаго устройства, союзъ же съ Россіею опасенъ для самой сущности общества, для главнѣйшаго жизненнаго принципа его, для души французскаго народа.

XXIX.

Парижъ, 11 января 1841.

Все болѣе и болѣе распространяется между французами мнѣніе, что нынѣшней весной трубы Беллоны заглушатъ пѣніе соловьевъ, и бѣдныя фіалки, растоптанныя копытами лошадей, испарятъ свое благоуханіе въ дыму пороха. Я отнюдь не могу согласиться съ этимъ мнѣніемъ, и сладчайшая надежда на миръ упорно гнѣздится въ моей груди. Однако, все-таки возможно, что прорицатели несчастья правы, и смѣлая весна неосторожно приближается съ фитилемъ къ заряженнымъ пушкамъ. Но если эта опасность минуетъ, если даже случится такъ, что и жаркое лѣто пройдетъ безъ бури, то я полагаю, что Европа можетъ считать себя на долгое время охраненной отъ ужасовъ войны, и мы будемъ имѣть право быть увѣренными въ долгомъ, прочномъ мирѣ. Запутанности, пришедшія свыше, будутъ спокойно распутаны также свыше, и національная ненависть, это скверное животное, выросшее въ низшихъ слояхъ общества, будетъ снова прогнано на дно своей грязи просвѣтившимися народами. Но это хорошо знаютъ демоны разрушенія, живущіе по ту и по сю сторону Рейна, и какъ здѣсь, во Франціи, радикальная партія, боясь окончательнаго утвержденія Орлеанской династіи и обезпеченнаго на долгое время существованія ея, желаетъ войны только для того, чтобы имѣть какой-нибудь шансъ на перемѣну правительства, точно также по ту сторону Рейна радикальная партія проповѣдуетъ крестовый походъ противъ французовъ, въ надеждѣ, что разнузданныя страсти породятъ дикое положеніе вещей, при которомъ идеи движенія могутъ быть осуществлены гораздо легче, чѣмъ въ періодъ кротости и сдержанности. Да, боязнь усыпляющей и ско-

вывающей силы мира привела этихъ людей къ отчаянному рѣшенію *принести въ жертву французскій народъ* (какъ они выражаются въ своей невинности). Мы говоримъ это открыто, потому, что этотъ героизмъ кажется намъ столько же неразумнымъ, сколько и неблагодарнымъ, и потому что мы чувствуемъ несказанное состраданіе къ этой медвѣжьей безпомощности, которая воображаетъ себѣ, что она умнѣе всѣхъ лисицъ хитрости! О, глупцы, я совѣтую вамъ—не ложитесь на опасный ящикъ политическаго плутовства, будьте нѣмецки честны и человѣчески благодарны, и не воображайте себѣ, что вы твердо станете на собственныя ноги, когда падетъ Франція—единственная опора, которую вы имѣете на землѣ!

Но не раздуваются ли также искры раздора свыше? Не знаю и не думаю, и мнѣ кажется, что дипломатическая запутанность есть результатъ скорѣе неловкости, чѣмъ злого умысла. Но кто хочетъ войны? Англія и Россія уже теперь могутъ быть довольны, онѣ выудили себѣ въ мутной водѣ достаточно выгодъ. А для Франціи и Германіи война столько же не нужна, сколько опасна; правда, французы охотно бы удержали за собой рейнскую границу, но это только потому, что безъ нея они слишкомъ мало защищены отъ разныхъ нападеній; а нѣмцамъ нечего бояться потерять рейнскую границу, пока они сами не нарушатъ мира. Ни нѣмецкій народъ, ни французскій не желаютъ войны. Мнѣ не зачѣмъ, конечно, доказывать, что хвастливыя выходки нашихъ нѣмечниковъ, требующихъ съ громкими криками обладанія Эльзасомъ и Лотарингіею, не суть выраженіе мнѣній нѣмецкаго поселянина и нѣмецкаго гражданина. Но точно также французскій гражданинъ и французскій поселянинъ, зерно и масса великаго народа, не желаютъ войны, такъ какъ буржуазія стремится только къ промышленнымъ добычамъ, къ завоеваніямъ мира, и земледѣлецъ вынесъ еще изъ времени имперіи убѣжденіе, что очень дорого, цѣною своей крови, приходится ему платить за побѣды національнаго тщеславія.

Воинственныя наклонности, такъ бурно кипѣвшія и бродившія въ сердцахъ французовъ еще во время галловъ, мало-по-малу значительно охладѣли, и какъ мало преобладаетъ теперь въ нихъ военный furor francese, это обнаружилось при похоронахъ императора Наполеона Бонапарте. Я не могу согласиться съ тѣми журналистами, которые въ зрѣлищѣ этого удивительнаго погребенія видѣли только

пышность и великолѣпіе. Имъ не были видны чувства, потрясавшія французскій народъ до самой сокровенной глубины его сердца. Но это не были чувства солдатскаго честолюбія и солдатской гордости; побѣдоноснаго императора сопровождали не то ликованіе преторіанцевъ, не та шумная жажда славы и грабежа, о которыхъ еще помнитъ Германія, бывшая свидѣтельницей всего этого во время имперіи. Съ тѣхъ поръ старые завоеватели умерли, и теперь на погребеніе сошлось совершенно новое поколѣніе, и если не съ жгучимъ гнѣвомъ, то, конечно, съ благочестивою тоскою смотрѣло оно на этотъ золотой катафалкъ, подъ которымъ какъ бы лежали въ гробу всѣ радости, страданія, славныя ошибки, разбитыя надежды ихъ отцовъ, вся настоящая душа ихъ отцовъ! Тутъ было больше нѣмыхъ слезъ, чѣмъ громкихъ воплей. И притомъ, все это зрѣлище было такъ баснословно, такъ сказачно, что люди едва вѣрили своимъ глазамъ, думали, что грезятъ. Потому что этомъ Наполеонъ Бонапарте, котораго теперь опускали въ землю, для нынѣшняго поколѣнія уже давно перешелъ въ область преданія, къ тѣнямъ Александра Македонскаго и Карла Великаго—и вотъ теперь вдругъ, въ холодное зимнее утро, онъ снова появляется между нами, живыми, въ золотой побѣдоносной колесницѣ, призрачно двигающейся въ сѣдомъ утреннемъ туманѣ.

Но этотъ туманъ чудесно разсѣялся, какъ только похоронное шествіе достигло Елисейскихъ Полей. Тутъ солнце вдругъ выглянуло изъ мрачныхъ облаковъ, и въ послѣдній разъ поцѣловало своего любимца, и пролило розовые лучи на императорскихъ орловъ, несомыхъ впереди гроба, и какъ будто съ кроткимъ состраданіемъ озарило бѣдные, жалкіе остатки тѣхъ легіоновъ, которые нѣкогда скорымъ шагомъ завоевали міръ, а теперь ковыляли за похоронной колесницей въ изношенныхъ мундирахъ, съ разслабленными членами и съ устарѣлыми движеніями. Между нами будь сказано, эти инвалиды великой арміи имѣли видъ карикатуръ, сатиры на славу, римской насмѣшливой пѣсни на умершаго тріумфатора!

Муза исторіи занесла это погребеніе въ свои лѣтописи, какъ особенную достопримѣчательность; но для настоящаго времени это событіе менѣе важно и доказываетъ только, что духъ солдатчины во французскихъ сердцахъ совсѣмъ не такъ процвѣтаетъ, какъ доказываютъ это разные крикуны по сю сторону Рейна и какъ болтаетъ въ подражаніе

имъ не одинъ по ту сторону. Императоръ умеръ и похороненъ. Мы будемъ чествовать и воспѣвать его, но въ то же время благодарить Бога, что онъ умеръ. Съ нимъ скончался послѣдній герой въ старомъ вкусѣ, и новый филистерскій міръ свободно дышитъ, точно освободясь отъ блестящаго кошмара. На его могилѣ возвышается промышленное буржуазное время, поклоняющееся совсѣмъ инымъ героямъ, напримѣръ, добродѣтельному Лафайету или хлопчатобумажнику Джемсу Уатту.

XXX.

Парижъ, 31 января 1841.

Между народами, обладающими свободою печати, независимыми парламентами и вообще учрежденіями съ гласнымъ характеромъ, недоразумѣнія, возникающія вслѣдствіе интригъ придворныхъ дворянчиковъ и вражды партій, не могутъ долго продолжаться. Мрачное сѣмя можетъ только во мракѣ разростись въ неисцѣлимый раздоръ. Какъ по сю, такъ и по ту сторону канала, благороднѣйшіе голоса высказались, что только преступное безразсудство, или покусившаяся на свободу злоба, нарушили миръ Европы; и въ то самое время, какъ англійское правительство, умалчиваніемъ въ тронной рѣчи, какъ бы офиціально продолжаетъ свой дурной образъ дѣйствій относительно Франціи, англійскій народъ, напротивъ того, протестуетъ черезъ посредство своихъ достойнѣйшихъ представителей и отдаетъ французамъ самую открытую справедливость. Рѣчь лорда Брума въ только-что открывшемся парламентѣ произвела здѣсь примирительное дѣйствіе, и онъ можетъ справедливо похваляться, что оказалъ всей Европѣ большую услугу. Другіе лорды, даже Веллингтонъ, также произнесли достойныя похвалы рѣчи, и Веллингтонъ былъ на этотъ разъ органомъ дѣйствительныхъ желаній и мыслей своего народа. Грозящій союзъ французовъ съ Россіею открылъ глаза его свѣтлости, и благородный лордъ не единственный человѣкъ, съ которымъ совершилось такое просвѣтленіе. И въ нашихъ нѣмецкихъ округахъ умѣренные тори тоже стремятся къ лучшему пониманію своихъ собственныхъ политическихъ интересовъ, и ихъ кусающіеся соперники, старонѣмецкіе псы, уже поднявшіе-было самый радостный охотничій вой, снова связаны въ спокойную свору; наши христіанско-германскіе націоналы получили высочайшій приказъ перестать лаять на Францію. Но что касается до ужаснаго союза, то

до осуществленія его, конечно, еще далеко, и неудовольствіе противъ англичанъ, даже возросши до самой крайней ненависти, все-таки не могло бы вызвать во Франціи любовь къ русскимъ.

Въ скорое разрѣшеніе восточной путаницы я вѣрю также мало, какъ въ союзъ съ Россіею. Напротивъ того, обстоятельства все больше запутываются въ Сиріи, и Мегеметъ Али играетъ со своими врагами не одну опасную штуку. Здѣсь ходятъ странные, но по большей части противорѣчащіе одинъ другому слухи о хитростяхъ, посредствомъ которыхъ старикъ хочетъ снова возстановить свое утраченное значеніе. Его несчастіе составляетъ чрезмѣрная хитрость, которая постоянно мѣшаетъ ему видѣть вещи въ ихъ самомъ натуральномъ свѣтѣ. Онъ запутывается въ сѣтяхъ своихъ собственныхъ интригъ. Такъ, напримѣръ, сумѣвъ приманить на свою сторону прессу и трубить посредствомъ ея въ Европѣ всевозможныя ложныя извѣстія насчетъ его могущества, онъ, правда, пріобрѣлъ себѣ симпатію французовъ, оцѣнившихъ выше, чѣмъ слѣдовало, значеніе союза съ нимъ, но въ то же время онъ самъ былъ виною того, что французы сочли его достаточно сильнымъ для сопротивленія, безъ ихъ помощи, до весны. И онъ погибъ именно вслѣдствіе этого, а не по причинѣ своей жестокости, которую «Allgemeine Zeitung» рисовала ужъ черезчуръ рѣзкими красками. Теперь каждый даетъ больному льву самые жалкіе ослиные пинки. Чудовище, можетъ-быть, не совсѣмъ такое ужасное, какъ утверждаютъ тѣ, которыхъ онъ не подкупилъ, или не хотѣлъ подкупить. Очевидцы его великодушныхъ дѣйствій увѣряютъ, что Мегеметъ Али лично добръ и милосердъ, что онъ любитъ цивилизацію и что только крайняя необходимость, военное положеніе его страны, вынуждаетъ его къ той системѣ гнета и поборовъ, которою онъ мучитъ своихъ феллаховъ. Дѣйствительно, эти несчастные нильскіе поселяне—стадо страдальцевъ, которыхъ гонятъ на работу палками и изъ которыхъ высасываютъ все, до послѣдней капли крови. Но все это, говорятъ, старая египетская метода, употреблявшаяся всѣми фараонами и которую нельзя мѣрить европейскимъ масштабомъ. Обвиненія филантроповъ бѣдный паша могъ бы опровергнуть тѣми же самыми словами, которыми наша кухарка оправдывалась, когда мы обвиняли ее въ томъ, что она варила раковъ живыми, въ постепенно кипяченой водѣ. Она удивлялась, что мы называли это безчеловѣчною жестокостью и увѣряла

насъ, что бѣдныя животныя давно привыкли къ этому. Когда г. Кремье заговорилъ съ Мегеметомъ Али объ ужасахъ юстиціи, имѣвшихъ мѣсто въ Дамаскѣ, то нашелъ пашу склоннымъ къ самымъ благодѣтельнымъ реформамъ, и не разразись въ это время чрезмѣрно бурно политическія событія, знаменитый адвокатъ, несомнѣнно, успѣлъ бы склонить пашу къ введенію въ его владѣніяхъ европейскаго уголовнаго законодательства.

Съ паденіемъ Мегемета Али нисходятъ въ могилу и тѣ гордыя надежды, которыми мусульманская фантазія такъ мечтательно убаюкивала себя, особенно подъ шатрами пустыни. Здѣсь Али считался героемъ, которому было суждено положить разъ навсегда конецъ слабому турецкому правительству въ Стамбулѣ и, взойдя тамъ самому на престолъ калифовъ, взять подъ свою защиту знамя пророка. И надо сказать правду, въ его сильномъ кулакѣ оно держалось бы лучше, чѣмъ въ слабыхъ рукахъ нынѣшняго гонфалоньера магометанской вѣры, который рано или поздно долженъ будетъ пасть предъ легіонами и еще болѣе опасными дипломатическими соображеніями русскаго царя. Политическому и религіозному одушевленію, которымъ можетъ располагать русскій императоръ, будучи, вмѣстѣ съ тѣмъ, верховнымъ главой греческой церкви, могло бы противостать возрожденное царство мусульманъ подъ управленіемъ Мегемета Али или другого новаго династа съ такою же силою, ибо для сохраненія его выступилъ бы точно такой же необузданно восторженный элементъ. Я говорю о геніи арабовъ, который никогда не вымиралъ вполнѣ, но только засыпалъ въ тихой бедуинской жизни и часто, точно въ грёзахъ, хватался за мечъ, когда до него долеталъ воинственный вой какого-нибудь рыкающаго льва. Но ихъ намъ уже нечего бояться, какъ прежде, когда мы дрожали предъ полумѣсячными штандартами, и для насъ, быть-можетъ, было бы скорѣе счастьемъ, если бы Константинополь сдѣлался теперь средоточіемъ ихъ религіознаго рвенія. Это было бы лучшимъ оплотомъ противъ русскихъ стремленій, цѣль которыхъ не болѣе, не менѣе, какъ завоеваніе на берегахъ Босфора ключа къ всемірному господству . . . . . .

Ахъ, какъ ужасенъ этотъ восточный вопросъ, который такъ язвительно смѣется надъ нами при каждой новой запутанности! Отклонить уже теперь опасность, грозящую намъ оттуда, значитъ начать войну. Смотрѣть терпѣливо на безостановочный ходъ зла, значитъ обречь себя на несо-

мнѣнное рабство. Дилемма скверная. Но во всякомъ случаѣ бѣдной дѣвственницѣ-Европѣ,—будетъ ли она благоразумно бодрствовать при лампѣ, или уснетъ, какъ очень неблагоразумная дѣвушка, когда лампа погаснетъ,—нечего ожидать радостнаго дня.

XXXI.

Парижъ, 13-го февраля 1841 г.

Французы до тѣхъ поръ терзаютъ какой бы то ни было вопросъ, попадающій въ ихъ руки, пока или разрѣшатъ его, или, найдя неразрѣшимымъ, отложатъ въ сторону. Это—характеристическое свойство французовъ, и вслѣдствіе этого ихъ исторія развивается, какъ судебный процессъ. Какую логическую, систематическую послѣдовательность представляютъ всѣ событія французской революціи! Въ этомъ безуміи была, несомнѣнно, метода, и исторіографы, которые, по образцу Минье, придавая мало значенія случаю и человѣческимъ страстямъ, выставляютъ безумнѣйшіе факты, совершавшіеся съ 1789 года, результатомъ самой строгой необходимости, — эта, такъ-называемая фаталистическая школа совершенно на своемъ мѣстѣ во Франціи, и ея сочиненія столько же согласны съ истиной, сколько и легко понятны. Но примѣненіе образа мыслей и способа изложенія этихъ писателей къ Германіи породило бы весьма невѣрныя и негодныя историческія сочиненія. Потому что нѣмецъ, боясь всякаго нововведенія, послѣдствія котораго нельзя предвидѣть ясно, избѣгаетъ какъ можно дольше всякаго значительнаго политическаго вопроса, или старается кое-какъ рѣшить его окольнымъ путемъ,—а вопросы, между тѣмъ, скопляются и запутываются въ узелъ, который, подобно гордіеву, въ концѣ концовъ, нельзя будетъ разрѣшить, быть-можетъ, иначе, какъ мечомъ. Боже меня сохрани дѣлать этимъ замѣчаніемъ упрекъ великому нѣмецкому народу! Я вѣдь знаю хорошо, что это неблагопріятное положеніе имѣетъ своимъ источникомъ ту добродѣтель, которой недостаетъ французамъ. Чѣмъ невѣжественнѣе народъ, тѣмъ легче онъ бросается въ потокъ фактовъ; чѣмъ народъ ученѣе и глубокомысленнѣе, тѣмъ дольше онъ измѣряетъ глубину потока и переходитъ черезъ него осторожными шагами, если не совсѣмъ останавливается въ нерѣшительности предъ нимъ, изъ боязни скрытыхъ ямъ или холодной влажности, могущей причинить опасный національный насморкъ. Притомъ, совсѣмъ не такъ важно, что мы такими медлен-

ными шагами идемъ впередъ, или, стоя на одномъ мѣстѣ, теряемъ нѣсколько столѣтій; ибо нѣмецкому народу принадлежитъ будущность, и притомъ весьма долгая, знаменательная будущность. Французы дѣйствуютъ такъ быстро и распоряжаются настоящимъ съ такою поспѣшностью, можетъ-быть потому, что предчувствуютъ уже наступленіе сумерекъ; спѣшно кончаютъ они свою дневную работу. Но ихъ роль, все-таки, довольно хороша и остальные народы, все-таки, остаются почтенной публикой, смотрящею на государственную и народную комедію французовъ. Конечно, этой публикѣ приходитъ иногда желаніе довольно громко высказать свое одобреніе или порицаніе, а порой даже взлѣзть на сцену и принять участіе въ представленіи; но французы попрежнему остаются главными актерами въ великой всемірной драмѣ, что̀ бы имъ ни бросали въ голову—лавровые вѣнки или гнилыя яблоки. «Пѣсня Франціи спѣта»—съ такими словами снуютъ здѣсь многіе нѣмецкіе корреспонденты и предсказываютъ погибель нынѣшняго Іерусалима; но вѣдь сами они поддерживаютъ жалкое свое существованіе только сообщеніемъ извѣстій о томъ, что̀ каждый день дѣлаютъ эти, столь глубоко падшіе французы, и ихъ патроны, редакторы нѣмецкихъ газетъ, не могли бы безъ извѣстій изъ Парижа наполнять столбцы своихъ изданій даже въ теченіе трехъ недѣль. Нѣтъ, Франція еще не умерла, но какъ всѣ народы, какъ самъ родъ человѣческій, она не вѣчна, она, можетъ-быть, пережила уже свой блестящій періодъ, и теперь съ ней происходитъ переворотъ, отрицать который нельзя; на ея гладкомъ лбу прорѣзываются уже различныя морщины, легкомысленная голова уже покрывается сѣдинами, заботливо поникаетъ и уже не занимается исключительно настоящимъ днемъ; она думаетъ и о завтрашнемъ.

Постановленіе палаты объ укрѣпленіи Парижа свидѣтельствуетъ о такомъ переходномъ періодѣ въ народномъ духѣ французовъ. Въ послѣднее время французы очень многому выучились и поэтому потеряли всякую охоту слѣпо бросаться въ опасную чужбину. Теперь они хотятъ защитить себя дома отъ случайныхъ нападеній сосѣдей. На могилѣ императорскаго орла имъ пришла мысль, что буржуазно царственный пѣтухъ не безсмертенъ. Франція уже не живетъ въ смѣломъ упоеніи своею непобѣдимою силою; ее отрезвило великопостное сознаніе ея побѣдимости, а увы! тотъ, кто думаетъ о смерти, уже въ половину мертвецъ! Сооруженія по укрѣпленію Парижа — можетъ-быть. испо-

линскій гробъ, который исполинъ самъ заказалъ себѣ, въ мрачномъ предчувствіи. Но можетъ еще пройти много времени, прежде чѣмъ пробьетъ его смертный часъ, и до тѣхъ поръ онъ, пожалуй, нанесетъ не одинъ смертельный ударъ многимъ неисполинамъ. Во всякомъ случаѣ, шумною тяжестью своего паденія онъ потрясетъ земной шаръ, и еще страшнѣе, чѣмъ при жизни, будетъ, какъ блуждающее по ночамъ привидѣніе, пугать своихъ враговъ своими посмертными произведеніями. Я убѣжденъ, что, въ случаѣ разрушенія Парижа, его жители, какъ нѣкогда евреи, разсѣялись бы по всему міру и этимъ путемъ еще успѣшнѣе разсѣяли бы повсюду сѣмена общественнаго переворота.

Укрѣпленіе Парижа есть важнѣйшее событіе нашего времени, и люди, которые въ палатѣ депутатовъ подавали голосъ за или противъ его, оказали величайшее вліяніе на будущее. Съ этою enceinte continue, съ этими forts détaches связана теперь судьба французскаго народа. Будутъ ли эти сооруженія охранять отъ грозы, или еще страшнѣе притягивать молнію? Свободѣ или рабству будутъ они содѣйствовать? Спасутъ ли они Парижъ отъ нападенія, или безжалостно подвергнутъ его разрушительнымъ правамъ войны? Не знаю, потому что не засѣдаю и не имѣю голоса въ совѣтѣ боговъ. Но знаю одно, что французы будутъ отлично драться, если имъ придется защищать Парижъ отъ третьяго нашествія. Два первыхъ нашествія послужили бы только къ усиленію ярости обороны. Въ палатѣ утверждали, что будь Парижъ прежде укрѣпленъ, онъ устоялъ бы противъ первыхъ двухъ нашествій; но въ этомъ я имѣю полное основаніе сомнѣваться. Наполеонъ, ослабленный всевозможными побѣдами и пораженіями, не былъ въ состояніи противупоставить напору Европы волшебныя средства, заключавшіяся въ той идеѣ, которая «топотомъ ноги выводитъ войска изъ-подъ земли»; у него уже не было достаточно силы для того, чтобы разорвать цѣпи, которыми онъ самъ сковалъ эту идею; свободу этой скованной идеѣ возвратили союзники при взятіи Парижа. Французскіе либералы и идеологи поступали совсѣмъ не такъ глупо, не такъ безумно, когда отказали во всякой помощи для защиты стѣсненному императору: для нихъ онъ былъ гораздо опаснѣе всѣхъ этихъ иноземныхъ героевъ, которымъ, наконецъ, все-таки пришлось удалиться, оставивъ только безцвѣтнаго намѣстника, отъ котораго также можно было со временемъ избавиться, что, дѣйствительно, случилось въ іюлѣ 1830 года

послѣ чего идеи революціи снова утвердились въ Парижѣ. Сила этихъ-то идей возстала бы противъ третьяго нашествія, и она-то теперь, обостренная горькимъ опытомъ, уже не разсчитываетъ на всемогущество народнаго одушевленія, а не пренебрегаетъ матеріальными укрѣпленіями.

Здѣсь наталкиваемся мы на раздоръ, господствующій въ настоящую минуту по поводу укрѣпленія Парижа между людьми радикальной партіи, и вызывающій самыя страстныя пренія. Извѣстно, что фракція республиканцевъ, имѣющая своимъ представителемъ газету «National», вліятельнѣе всѣхъ прочихъ защищала проектъ укрѣпленія Парижа. Другая фракція, которую я назвалъ бы лѣвою стороною республиканцевъ, возстаетъ противъ этого съ самымъ дикимъ гнѣвомъ, и такъ какъ въ прессѣ у нея мало органовъ, то «Revue du Progrès» покамѣстъ единственная газета, въ которой она можетъ высказываться. Относящіяся къ этому предмету статьи вышли изъ-подъ пера Луи Блана и въ высшей степени замѣчательны. Какъ я слышалъ, и Араго пишетъ статью объ этомъ предметѣ. Эти республиканцы возстаютъ противъ мысли, что революція должна прибѣгать къ матеріальнымъ оплотамъ, они видятъ въ этомъ ослабленіе нравственныхъ средствъ обороны, усыпленіе прежней демонической энергіи, и имъ хотѣлось бы лучше, какъ нѣкогда Конвентъ, декретировать побѣду, чѣмъ принимать мѣры безопасности на случай пораженія. Дѣйствительно, передъ этими людьми постоянно носятся традиціи Комитета Общественнаго Спасенія, тогда какъ у messieurs газеты «National» больше въ умѣ традиціи императорскаго времени. Я назвалъ ихъ «messieurs», именно потому, что это— насмѣшливое прозвище, которымъ первые, называющіе себя «citoyens», титулуютъ своихъ противниковъ. Въ сущности, обѣ фракціи террористичны, съ тою только разницей, что «messieurs» изъ «National» предпочитаютъ дѣйствовать пушками, а citoyens, напротивъ того, хотѣли бы пустить въ дѣло гильотину. Очень понятно, что первые должны были отнестись весьма сочувственно къ закону, вслѣдствіе котораго революція, въ случаѣ нужды, могла бы появиться въ чисто военной одеждѣ, и пушки имѣли бы возможность держать въ уздѣ гильотину! Этимъ, и ничѣмъ инымъ, я объясняю себѣ рвеніе, съ которымъ «National» высказался въ пользу укрѣпленія Парижа.

Странно! На этотъ разъ «National», король и Тьеръ съ одинаковою горячностью желали успѣха одному и тому же

дѣлу. И между тѣмъ, это совпаденіе очень естественно. Не будемъ клеветать ни на одного изъ этихъ трехъ приписываніемъ имъ коварныхъ заднихъ мыслей. Какъ ни велика роль, которую играли здѣсь личные интересы, но все-таки всѣ трое—Людовикъ Филиппъ, и Тьеръ, и «господа» National дѣйствовали прежде всего въ интересахъ Франціи. Однакоже, какъ я только-что сказалъ, личныя цѣли были здѣсь въ ходу. Людовикъ Филиппъ, этотъ отъявленный врагъ войны, разрушенія, такой же страстный другъ созиданія, онъ любитъ все, приводящее въ движеніе молотокъ и лопату, и планъ укрѣпленія Парижа льстилъ этой врожденной страсти. Но Людовикъ Филиппъ въ то же время, хочетъ онъ или не хочетъ этого, представитель революціи, и когда ей грозитъ опасность, тогда и его собственное существованіе становится сомнительнымъ. Въ Парижѣ онъ долженъ держаться во что бы то ни стало. Потому что, если бы чужеземные государи овладѣли его столицей, то его законная власть не охранила бы его такъ ненарушимо, какъ охраняетъ эта власть тѣхъ государей Божьею милостію, которые повсюду составляютъ средоточіе своихъ государствъ. Если бы даже Парижъ попалъ вслѣдствіе возмущенія въ руки республиканцевъ, то иноземныя державы, можетъ-быть, пришли бы со своими войсками, но врядъ ли для того, чтобы произвести реставрацію въ пользу Людовика Филиппа, который въ іюлѣ 1830 г. сдѣлался королемъ французовъ не parceque Bourbon, но quoique Bourbon! Умный король понимаетъ это, и укрѣпляется въ своемъ Малапартусѣ. Что укрѣпленіе Парижа необходимо и спасительно, какъ для него самого, такъ, и для Франціи, въ это онъ твердо вѣритъ, и рядомъ съ личными прихотями и стремленіемъ къ самосохраненію, имъ руководилъ въ этомъ дѣлѣ чистый и истинный патріотизмъ. Каждый король вѣдь естественный патріотъ и любитъ свою страну, въ исторіи которой коренится его жизнь, и съ судьбами которой она срослась. Людовикъ Филиппъ—патріотъ, и притомъ въ буржуазномъ, семейномъ, новофранкскомъ духѣ, какъ и вообще въ орлеанской фамиліи развился патріотизмъ совсѣмъ иного рода, чѣмъ въ Бурбонахъ старшей линіи, которые были одушевлены больше историческою родовою гордостью, средневѣковымъ аристократизмомъ, чѣмъ дѣйствительною любовью къ Франціи.

Такъ какъ этотъ патріотизмъ считается у французовъ величайшею добродѣтелью, то враги короля сплутовали очень

ловко, бросивъ подложными письмами тѣнь на его патріотическое настроеніе. Да, эти знаменитыя письма отчасти фальсифицированы, отчасти совсѣмъ подложны, и я не понимаю, какъ многіе честные республиканцы могли хотя одну минуту вѣрить въ ихъ подлинность. Но этихъ людей всегда надуваютъ легитимисты, кующіе оружіе, съ помощью котораго первые покушаются на жизнь или добрую славу короля. Республиканецъ всегда готовъ рискнуть своею жизнью для отмщенія за всякій опасный проступокъ, но онъ все-таки ничто иное, какъ наивное орудіе чужой изобрѣтательности, думающей и разсчитывающей за него; о республиканцахъ можно буквально сказать, что не ими изобрѣтенъ порохъ, которымъ они стрѣляютъ въ короля.

Да, тотъ, кто во Франціи обладаетъ національнымъ чувствомъ и понимаетъ его, тотъ имѣетъ непреодолимо чарующее вліяніе на массу и можетъ руководить ею, какъ ему угодно, брать у нея деньги или кровь и облекать ее во всевозможные мундиры — въ рыцарскую одежду славы, или въ ливрею рабства. Это былъ секретъ Наполеона, и его исторіографъ Тьеръ подслушалъ у него этотъ секретъ, подслушалъ не только разсудкомъ, но и сердцемъ, потому что только чувство понимаетъ чувство. Тьеръ, дѣйствительно, весь пламенно пропитанъ французскимъ національнымъ чувствомъ, и кто замѣтитъ это, тотъ понимаетъ его силу и безсиліе, его заблужденія и превосходство, его величіе и малость, и его право на будущность. Этимъ національнымъ чувствомъ объясняются всѣ дѣйствія его министерства; тутъ мы видимъ перенесеніе императорскаго праха; этотъ славнѣйшій праздникъ героизма рядомъ съ жалкою поддержкою того жалкаго дамасскаго консула, который защищалъ средневѣковые ужасы юстиціи, но былъ представителемъ Франціи; тутъ мы видимъ самыя легкомысленныя волненія и удары въ набатъ по поводу оскорбленія Франціи лондонскимъ трактатомъ, и рядомъ съ нимъ — разсудительную дѣятельность по вооруженію и колоссальное рѣшеніе укрѣпить Парижъ. Да, это вооруженіе началъ Тьеръ, и впослѣдствіи это онъ заставилъ палату дать ему силу закона. Никогда не говорилъ онъ краснорѣчивѣе, никогда не одерживалъ парламентскую побѣду съ болѣе тонкою тактикой. Это была битва и въ послѣднюю минуту ея исходъ былъ очень сомнителенъ; но военачальническій глазъ Тьера быстро открылъ опасность, угрожавшую закону, и импровизированная поправка устранила ее. Ему принадлежитъ честь побѣды.

Не было недостатка въ людяхъ, которые видѣли въ рвеніи Тьера по этому вопросу только эгоистическія побужденія. Но здѣсь, дѣйствительно, преобладаетъ только патріотизмъ, и я повторяю, Тьеръ пропитанъ этимъ чувствомъ. Онъ вполнѣ человѣкъ національности, а не революціи, сыномъ которой онъ любитъ выставлять себя. Конечно, указаніе на это родство правильно, революція — его мать, но изъ этого не слѣдуетъ выводить заключеніе о чрезмѣрныхъ симпатіяхъ къ ней. Тьеръ прежде всего любитъ отечество, и я думаю, что этому чувству онъ пожертвовалъ бы всѣми интересами своей матери. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ сдѣлался гораздо холоднѣе ко всему зрѣлищу свободы, которое теперь отдается въ его душѣ только какъ отдаленное эхо. Вѣдь онъ, какъ историкъ, самъ пережилъ въ душѣ всѣ фазисы этого зрѣлища; какъ государственный человѣкъ, онъ долженъ былъ ежедневно бороться съ непрерывнымъ движеніемъ, и очень можетъ быть, что этому сыну революціи его мать нерѣдко очень надоѣдала, становилась очень фатальна; ибо онъ очень хорошо знаетъ, что эта старая женщина была бы способна ему самому отрубить голову. Дѣйствительно, у нея не совсѣмъ кроткій характеръ, берлинецъ сказалъ бы: «у нея нѣтъ чувства». Если господа сыновья иногда дурно обращаются съ ней, то не надо забывать, что она сама, эта старуха, никогда не относилась съ постоянною нѣжностью къ своимъ дѣтямъ и лучшихъ изъ нихъ умертвила.

Мы склонны каждому воздавать должную справедливость и отъ Тьера не требовать вещей, не лежащихъ въ его характерѣ и не совмѣстимыхъ съ его исторіею. Мы прославили его патріотизмъ и хотимъ также признать его геніальность. Довольно удивительно, что эти разнородныя качества совмѣстились въ этомъ человѣкѣ. Да, онъ не только патріотическій французъ, но и геніальный человѣкъ, и по временамъ, когда въ немъ является сознаніе этого, онъ забываетъ свое ограниченно мѣстное чувство національности, имъ овладѣваетъ предчувствіе, такъ сказать, временного космополитизма, и въ одну изъ такихъ минутъ онъ сказалъ замѣчательныя слова: «Я люблю мое столѣтіе, потому что оно — отечество, которымъ я обладаю во времени».

XXXII.

Парижъ, 31 марта 1841 г.

Пренія въ палатѣ депутатовъ о литературной собственности очень неутѣшительны. Во всякомъ случаѣ, однако

характеристическимъ признакомъ времени служитъ то, что нынѣшнее общество, основанное на правѣ собственности, хочетъ, по чувству справедливости, а можетъ-быть, и въ видѣ подкупа, дать участіе въ этомъ правѣ и умственной дѣятельности! Можетъ ли мысль быть собственностью? Есть ли свѣтъ собственность пламени, если даже не фитиля свѣчи? Я воздерживаюсь отъ всякаго мнѣнія о такомъ вопросѣ и радуюсь только тому, что бѣдному фитилю, истребляющему себя въ горѣніи, вы хотите дать небольшое вознагражденіе за его великую общеполезную заслугу освѣщенія!

О судьбѣ Мегемета Али здѣсь говорятъ меньше, чѣмъ можно бы ожидать; но мнѣ кажется, что въ сердцахъ господствуетъ тѣмъ болѣе глубокое состраданіе къ человѣку, такъ много довѣрявшему звѣздѣ Франціи. Значеніе французовъ на востокѣ потеряно, и эта утрата дѣйствуетъ неблагопріятно и на ихъ западныя отношенія; звѣзды, въ которыя нельзя больше вѣрить, блѣднѣютъ. Когда американскія дѣла приняли такой опасный оборотъ, то съ англійской стороны стали принимать самыя усердныя мѣры къ улаженію вопроса о египетскомъ наслѣдствѣ. Франціи тутъ было легко дѣйствовать въ пользу паши; но министерство, повидимому, не сдѣлало ничего для спасенія своего вѣрнѣйшаго союзника.

Не одни американскія дѣла побудили, однако, англичанъ какъ можно скорѣе покончить съ египетскимъ вопросомъ и такимъ образомъ дать снова французской дипломатіи возможность принимать участіе въ совѣщаніяхъ и постановленіяхъ европейскихъ великихъ державъ. Дарданельскій вопросъ грозно стоитъ у дверей, требуетъ скораго рѣшенія, и тутъ англичане разсчитываютъ на конференціональную поддержку французскаго кабинета, интересы котораго въ этомъ случаѣ требуютъ совмѣстнаго дѣйствія его съ Англіею противъ Россіи.

Да, такъ-называемый дарданельскій вопросъ въ высшей степени важенъ, и не только для вышеупомянутыхъ европейскихъ державъ, но и для всѣхъ насъ, какъ для самыхъ малыхъ, такъ и для самыхъ большихъ, для Рейсъ-Шлейсъ-Грейца и задней Помераніи, точно такъ же, какъ для всемогущей Австріи, для ничтожнѣйшаго сапожника точно такъ же, какъ для богатѣйшаго кожевеннаго фабриканта; потому что здѣсь идетъ вопросъ о судьбѣ міра, и этотъ вопросъ, какимъ бы то ни было образомъ, долженъ быть разрѣшенъ

у Дарданелъ. До тѣхъ поръ, пока это не послѣдуетъ, Европа будетъ хворать тайнымъ недугомъ, который не оставитъ ее ни на минуту въ покоѣ, и чѣмъ позднѣе наступитъ обнаруженіе, тѣмъ страшнѣе будетъ оно. Дарданельскій вопросъ есть только симптомъ восточнаго вопроса, вопроса о турецкомъ наслѣдствѣ, главной болѣзни, которою мы страдаемъ, болѣзненнаго начала, гнѣздящагося въ государственномъ тѣлѣ Европы, и которое, къ сожалѣнію, можно вырвать только насильственнымъ образомъ, можетъ-быть даже, вырѣзать только мечомъ. О какихъ бы другихъ вещахъ ни говорили наши властители, они все-таки косятся на Дарданелы, на Высокую Порту, на древнюю Византію, на Стамбулъ, на Константинополь — у этой болѣзни много названій. Будь европейскимъ государственнымъ правомъ санкціонированъ принципъ народной власти, паденіе османской имперіи не было бы такъ опасно для остального міра, потому что въ этомъ случаѣ отдѣльные народы сами выбрали бы себѣ правителей въ распавшемся государствѣ. Но въ большей части Европы господствуетъ еще начало абсолютизма, по которому страна — собственность государя, и эта собственность пріобрѣтается правомъ сильнаго, ultima ratio regis, правомъ пушечнымъ. Что же удивительнаго, если ни одинъ изъ монарховъ не согласится уступить крупное наслѣдство русскимъ, и всѣ захотятъ получить хоть кусокъ изъ восточнаго пирога; у каждаго явится особый аппетитъ, и самый мелкій нѣмецкій князекъ пожелаетъ получить оттуда деньги хоть на бутылку пива. Это побужденія человѣческія, вслѣдствіе чего паденіе Турціи должно быть пагубно для міра. Политическія причины, по которымъ, главнымъ образомъ, Англія, Франція и Австрія не могутъ допустить водворенія Россіи въ Константинополѣ, извѣстны каждому школьнику.

Но взрывъ войны, неизбѣжной по самой природѣ вещей, покамѣстъ отложенъ на время. Близорукіе политики, прибѣгающіе только къ пальятивнымъ средствамъ, успокоились и надѣются на безмятежный миръ. Особенно наши финансисты снова видятъ все въ отраднѣйшемъ свѣтѣ надежды. Даже величайшій изъ нихъ, повидимому, предается этой иллюзіи—но не постоянно. Г. фонъ-Ротшильдъ, который нѣсколько времени казался не совсѣмъ въ своей тарелкѣ, теперь снова совершенно здоровъ и веселъ. Сигналисты биржи такъ хорошо умѣющіе читать на лицѣ великаго барона, увѣряютъ насъ, что въ его улыбкѣ гнѣздятся ласточки мира, что въ его лицѣ изгладилось всякое опасеніе войны,

что въ его глазахъ не видно ни одной электрической искры грозы, и что, слѣдовательно, страшный пушечный грохотъ, угрожавшій всей вселенной, совсѣмъ прошелъ мимо. Они говорятъ, что баронъ даже чихаетъ миромъ. Правда, что въ послѣдній разъ, какъ я имѣлъ честь представляться г. фонъ-Ротшильду, онъ сіялъ самымъ утѣшительнымъ довольствомъ, и его розовое настроеніе переходило даже въ поэзію, потому что, какъ я уже разъ сообщилъ, г. баронъ въ такія свѣтлыя минуты обыкновенно изливаетъ потокъ своего юмора въ риѳмахъ. Я нашелъ, что на этотъ разъ риѳмы особенно хорошо удавались ему; только на слово Константинополь онъ никакъ не могъ найти риѳму и почесывалъ у себя въ головѣ, какъ дѣлаютъ всѣ стихотворцы, когда у нихъ нѣтъ риѳмъ. Такъ какъ я тоже немножко поэтъ, то позволилъ себѣ замѣтить г. барону, что съ словомъ Константинополь можетъ, кажется, риѳмовать русское слово соболь, но эта риѳма, повидимому, очень не понравилась ему, онъ началъ доказывать, что Англія никогда не согласится на нее и что отъ нея можетъ произойти европейская война, которая будетъ стоить міру много слезъ и крови, а ему самому—много денегъ.

Г. фонъ-Ротшильдъ, дѣйствительно, лучшій политическій термометръ; я не хочу назвать его предвѣщающею погоду лягушкой, потому что эти слова недостаточно почтительны. А этого человѣка вѣдь нельзя не почитать, хоть бы ужъ вслѣдствіе почтенья, которое питаетъ къ нему большинство людей. Я всего охотнѣе посѣщаю его въ его конторѣ, гдѣ, какъ философъ, могу наблюдать, какъ народъ, и не только народъ Божій, но и всѣ остальные народы, изгибаются и преклоняются предъ нимъ. Тутъ происходятъ такія сгибанья и извиванья спинного хребта, какія могутъ затруднить даже самаго лучшаго акробата. Я видѣлъ людей, которые, при приближеніи къ великому барону, вздрагивали, точно они прикоснулись къ Вольтову столбу. Уже передъ дверью его кабинета многихъ охватываетъ почтительный трепетъ, и не одинъ маклеръ или agent de change, осмѣливающійся вступать въ частный кабинетъ г. барона, снималъ бы прежде свою обувь, если бъ не боялся, что въ этомъ случаѣ ноги его будутъ вонять еще больше, и вонь обезпокоитъ г. барона. Этотъ частный кабинетъ въ самомъ дѣлѣ удивительное мѣсто, возбуждающее такія же возвышенныя чувства и мысли, какія поселяетъ въ насъ видъ океана или усѣяннаго звѣздами неба... тутъ мы видимъ,

не ждутъ отъ меня слишкомъ свѣтлой хвалебной пѣсни во славу человѣка, котораго весь здѣшній изящный свѣтъ, особенно истерическій дамскій свѣтъ, окружаетъ въ бѣшеномъ восторгѣ, и который, на самомъ, дѣлѣ есть одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ представителей движенія въ музыкѣ. Я говорю о Францѣ Листѣ, геніальномъ піанистѣ. Да, этотъ геніальный человѣкъ опять здѣсь и даетъ концерты, производящіе очарованіе, почти баснословное. Передъ нимъ исчезаютъ всѣ фортепіанные виртуозы, исключая одного Шопена, этого Рафаэля фортепіано. Въ самомъ дѣлѣ, за исключеніемъ этого, всѣ другіе піанисты, которыхъ мы слышали этотъ годъ въ безчисленныхъ концертахъ, ничего болѣе, какъ именно піанисты, они блистаютъ умѣньемъ играть на этомъ деревянномъ ящикѣ съ натянутыми на немъ струнами; когда же дѣло идетъ о Листѣ, невозможно думать о преодолѣнныхъ трудностяхъ; фортепіано исчезаетъ, и является музыка. Въ этомъ отношеніи Листъ, съ тѣхъ поръ, какъ мы слышали его въ послѣдній разъ, сдѣлалъ неимовѣрные успѣхи. Къ этимъ качествамъ онъ присоединилъ еще спокойствіе, котораго ему прежде не доставало. Когда, напримѣръ, онъ прежде исполнялъ на фортепіано бурю, мы видѣли сверканье молніи на его собственномъ лицѣ, онъ весь дрожалъ, точно въ бурномъ вихрѣ, и длинныя космы его волосъ будто струились каплями отъ только что сыгранного проливного дождя. Теперь, когда онъ играетъ самую бѣшеную грозу, то самъ стоитъ, однако, выше ея, какъ путникъ на вершинѣ Альповъ во время грозы въ долинѣ; тучи собираются глубоко подъ нимъ, молніи, какъ змѣи, извиваются у его ногъ, а голову онъ съ улыбкою воздымаетъ въ чистый эфиръ.

Несмотря на свою геніальность, Листъ встрѣтилъ здѣсь въ Парижѣ оппозицію, которая состоитъ преимущественно изъ серьезныхъ музыкантовъ и подноситъ пальму первенства сопернику Листа, императорскому піанисту Тальбергу. До сихъ поръ Листъ далъ два концерта, гдѣ, противъ всѣхъ обыкновеній, игралъ совершенно одинъ, безъ всякаго участія другихъ музыкантовъ. Теперь онъ приготовляетъ третій концертъ въ пользу сооруженія памятника Бетховену. Этотъ композиторъ, дѣйствительно, долженъ подходить ближе всѣхъ другихъ ко вкусу такой натуры, какъ Листъ. Именно Бетховенъ проводитъ спиритуальное искусство до той звучащей агоніи всѣхъ явленій міра чувственнаго, до того уничтоженія натуры, которыя наполняютъ меня нескрыва-

мымъ ужасомъ, хотя мои пріятели обыкновенно покачиваютъ головою, когда я имъ дѣлаю такое признаніе. Для меня многознаменательно то обстоятельство, что Бетховенъ подъ конецъ жизни былъ глухой, и даже невидимый міръ звуковъ не имѣлъ для него никакой звучащей реальности. Его звуки были только воспоминаніемъ звука, привидѣніями исчезнувшихъ мелодій, и на его послѣднихъ твореніяхъ какъ будто лежитъ зловѣщая печать смерти.

Менѣе страшнымъ для меня, чѣмъ Бетховенская музыка, былъ другъ Бетховена, l'ami de Beethoven, какъ онъ себя постоянно величалъ, кажется, даже и на визитныхъ карточкахъ. Черная жердь, съ страшно бѣлымъ галстукомъ и похоронною физіономіею. Былъ этотъ другъ Бетховена дѣйствительно, его Пиладомъ? Или принадлежалъ онъ къ тѣмъ безразличнымъ знакомымъ, съ которыми геніальный человѣкъ иногда тѣмъ охотнѣе водитъ компанію, чѣмъ незначительнѣе они и чѣмъ прозаичнѣе ихъ болтовня, доставляющая ему отдохновеніе отъ утомительно поэтическихъ взлетовъ духа? Во всякомъ случаѣ, передъ нами здѣсь новый родъ эксплоатаціи генія, и мелкія газеты вдоволь посмѣялись надъ ami de Beethoven. «Какъ могъ великій музыкантъ выносить такого плачевнаго, скудоумнаго друга!» восклицали французы, теряя всякое терпѣніе отъ монотонной болтовни этого скучнаго гостя. Они забыли, что Бетховенъ былъ глухъ.

Всѣхъ концертистовъ въ этомъ сезонѣ былъ легіонъ, и не было недостатка въ посредственныхъ піанистахъ, провозглашенныхъ въ газетахъ чудодѣями. Большая часть изъ нихъ — молодые люди, которые или собственною скромною особою, или черезъ какого-нибудь скромненькаго братца, содѣйствуютъ этимъ журнальнымъ восхваленіямъ. Такого рода самообоготворенія, такъ-называемыя рекламы, читать весьма забавно. Одна реклама, помѣщенная недавно въ «Gazette musicale», сообщила изъ Марсели, что знаменитый Дёлеръ обворожилъ тамъ также всѣ сердца, и это въ особенности — своею интересною блѣдностью, которая, будучи слѣдствіемъ только-что пережитой болѣзни, обратила на себя вниманіе всего изящнаго свѣта. Съ тѣхъ поръ знаменитый Дёлеръ вернулся въ Парижъ и далъ здѣсь нѣсколько концертовъ; между прочимъ, игралъ въ концертѣ у редактора «Gazette musicale», г. Шлезингера, надѣляющаго г. Дёлера лавровыми вѣнками. «France musicale» превозноситъ его также, и съ такою же безпри-

страстностью. Эта газета питаетъ слѣпую злобу противъ Листа, и чтобы косвенно уязвить этого льва, восхваляетъ маленькаго кролика. Но какое же настоящее значеніе знаменитаго Дёлера? Одни говорятъ, что онъ послѣдній между піанистами второго разбора; другіе утверждаютъ, что онъ первый между піанистами третьяго ранга! Онъ играетъ, въ самомъ дѣлѣ, опрятно и мило. Его жантильная виртуозность свидѣтельствуетъ о изумительной бѣглости пальцевъ, но не свидѣтельствуетъ ни о силѣ, ни объ умѣ. Граціозная слабость, изящное безсиліе, интересная блѣдность.

Къ числу концертовъ этого сезона, оставившихъ по себѣ нѣкоторое впечатлѣніе въ памяти любителей музыки принадлежатъ matinées, данныя издателями музыкальныхъ газетъ для своихъ абонентовъ. «France musicale», редактируемая братьями Эскюдье, двумя милыми, знающими толкъ въ искусствѣ молодыми людьми, блистала въ своемъ концертѣ участіемъ итальянскихъ пѣвцовъ и скрипача Вьетана, на котораго смотрятъ, какъ на одного изъ львовъ сезона. Что̀ заключается подъ шерстью этого льва, въ самомъ ли дѣлѣ царь звѣрей, или убогій сѣрякъ—вопросъ для меня нерѣшенный. По совѣсти сказать, я не могу довѣриться панегирикамъ, произносимымъ въ честь его. Сколько кажется, онъ на лѣстницѣ искусства еще не добрался до значительно высокой ступеньки. Мѣсто Вьетана, приблизительно, посрединѣ той лѣстницы на вершинѣ которой мы нѣкогда поставили Паганини, а на самой низшей ступенькѣ — нашего милаго Сина̀, владѣльца одного Бетховеновскаго автографа, и къ г. Сина̀ Вьетанъ стоитъ, можетъ-быть, еще гораздо ближе, чѣмъ къ Николо Паганини.

Вьетанъ—сынъ Бельгіи, какъ и вообще замѣчательнѣйшіе скрипачи родомъ изъ Нидерландовъ. Скрипка вѣдь тамошній національный инструментъ, на которомъ большіе и маленькіе, мужчины и женщины, играютъ съ незапамятныхъ временъ, какъ мы видимъ на картинахъ фламандской школы. Отличнѣйшій скрипачъ изъ этого племени — безспорно Беріо, мужъ Малибранъ; иногда я не могу отогнать отъ себя мысль, что въ скрипкѣ его живетъ и поетъ душа умершей его жены. Только Эрнстъ, поэтическій богемецъ, еще умѣетъ извлекать изъ скрипки такіе же тающіе, истекающіе кровью, сладкіе звуки.—Землякъ Беріо, Арто, тоже отличный скрипачъ, но при его игрѣ о душѣ никогда не вспоминается: ато выглаженный, выточенный господинъ, игра котораго гладкая и блестящая, какъ клеенка. Гауманъ, сынъ брюс-

сельскаго контрфактора книгъ, на скрипкѣ продолжаетъ ремесло своего родителя: онъ играетъ все опрятненькія перепечатки знаменитыхъ скрипачей, кое-гдѣ пріукрашивая ихъ лишними оригинальными примѣчаніями и дополняя блестящими опечатками.—Братья Франко-Мендезъ, давшіе концерты и въ этомъ году и доказавшіе теперь свои таланты, какъ хорошихъ скрипачей, истые уроженцы родины трешкоутовъ и квиспельдорхеновъ. То же самое надо сказать и о Батта, віолончелистѣ; онъ по рожденію голландецъ, но въ раннемъ возрастѣ поселился въ Парижѣ, гдѣ особенно веселилъ дамъ своею ребяческою юностью. Это былъ милый ребенокъ и, какъ дитя, плакалъ на своемъ альтѣ. Теперь онъ уже развился въ большого молодца, но милой привычки хныкать все не можетъ покинуть, и когда недавно, по случаю нездоровья, онъ не могъ явиться передъ публикой, всѣ заговорили, что чрезъ постоянный дѣтскій плачъ на віолончели онъ наигралъ себѣ настоящую дѣтскую болѣзнь—кажется, корь. Но теперь, кажется, онъ выздоровѣлъ, и газеты сообщаютъ, что знаменитый Батта намѣревается дать въ ближайшій четвергъ matinée, которое вознаградитъ публику за долгую разлуку съ ея любимцемъ.

Послѣдній концертъ, данный г. Морицомъ Шлезингеромъ подписчикамъ его «Gazette musicale», и бывшій, какъ я уже замѣтилъ, однимъ изъ самыхъ блестящихъ въ цѣломъ сезонѣ, былъ особенно интересенъ для насъ, нѣмцевъ. Тутъ собрались всѣ наши земляки послушать m-lle Леве, знаменитую пѣвицу, въ прекрасной пѣснѣ Бетховена «Аделаида», исполненной на нѣмецкомъ языкѣ. Итальянцы и г. Вьетанъ, обѣщавшіе свое участіе, отказались во время самаго концерта, къ величайшему смущенію Шлезингера, который, съ свойственною ему важностью, вышелъ передъ публикой и объявилъ, что m-r Вьетанъ не желаетъ играть, находя залу и публику несоотвѣтствующими его игрѣ! Дерзость этого скрипача заслуживаетъ строжайшаго порицанія. Мѣстомъ концерта была зала Мюзара въ улицѣ Vivienne, гдѣ только во время карнавала немножко канканируютъ, а во все остальное время въ году исполняютъ самую благоприличную музыку Моцарта, Джіакомо Мейербера и Бетховена. Итальянскимъ пѣвцамъ, какому-нибудь синьору Рубини или синьору Лаблашу, можно простить капризы, соловьямъ позволительно имѣть претензію не пѣть иначе, какъ передъ публикою изъ орловъ и золотыхъ фазановъ. Но мингеръ, фламандскій аистъ, могъ бы откинуть въ сторону такую

разборчивость и не брезгать обществомъ, гдѣ сошлось самое честное птичье царство, много павлиновъ и песарокъ, на ряду съ отличнѣйшими нѣмецками индюками и зябликами. Но каковъ же былъ успѣхъ дебюта m-lle Леве? Скажу всю правду въ двухъ словахъ: она спѣла отлично, понравилась всѣмъ нѣмцамъ, а у французовъ потерпѣла фіаско. Что касается этой послѣдней неудачи, то могу почтенную пѣвицу завѣрить, къ ея утѣшенію, что именно ея достоинства помѣшали ея успѣху у французовъ. Въ голосѣ г-жи Леве нѣмецкая душа, тихая вещь, которая до сихъ поръ дала себя понять только немногимъ французамъ и только постепенно находитъ доступъ во Францію. Если бы г-жа Леве пріѣхала сюда нѣсколькими десятилѣтіями позже, быть-можетъ, сочувствіе къ ней во Франціи было бы больше. Но до сихъ поръ масса публики въ Парижѣ остается все тою же. У французовъ есть умъ и страстность, и тѣмъ и другимъ они особенно любятъ наслаждаться въ формѣ чего-то безпокойнаго, бурнаго, порывистаго, возбуждающаго. Всего этого не было и слѣда въ нѣмецкой пѣвицѣ, которая еще, вдобавокъ, исполняла Бетховеновскую «Аделаиду». Эти спокойные вздохи сердца, эти голубоокіе, томные звуки лѣсного уединенія, эти поющіе цвѣты липы съ обязательнымъ луннымъ свѣтомъ, это замиранье въ надземномъ томленіи, эта архинѣмецкая пѣсня не нашла себѣ отголоска во французской груди и была даже осмѣяна, какъ зарейнская сантиментальность. Во всякомъ случаѣ, однако, выборъ пьесъ, исполненныхъ г-жею Леве, былъ изъ самыхъ неудачныхъ. А затѣмъ, странно! есть какая-то несчастная звѣзда надъ дебютами въ Шлезингеровскихъ концертахъ. Многіе молодые артисты испытали это на себѣ. Всего печальнѣе дѣло вышло для бѣднаго Игнатія Мошелеса, за годъ назадъ пріѣзжавшаго въ Парижъ изъ Лондона, чтобы поосвѣжить немножко свою славу, очень поблекшую отъ меркантильной эксплоатаціи ея. Онъ сыгралъ въ концертѣ Шлезингера, и плачевнѣйшимъ образомъ провалился.

Хотя г-жа Леве не имѣла здѣсь успѣха, но было сдѣлано все возможное, чтобы доставить ей ангажементъ въ Académie royale de musique. Имя Мейербера упоминалось тутъ настоятельнѣе, чѣмъ хотѣлось бы почтенному маэстро. Правда ли, что, будто, бы Мейерберъ не хочетъ ставить свою новую оперу, если Леве не будетъ ангажирована? Неужели, въ самомъ дѣлѣ, Мейерберъ исполненіе желаній публики пристегнулъ къ такому мелочному условію? Неужели онъ

въ самомъ дѣлѣ, до того черезчуръ скроменъ, что воображаетъ, будто успѣхъ его новаго творенія можетъ зависѣть отъ болѣе или менѣе послушнаго горлышка примадонны?

Многочисленные почитатели и энтузіасты чуднаго маэстро наблюдаютъ не безъ печали, какъ этотъ высокопрославленный, при всякомъ новомъ созданіи своего генія, столь несказанно трудится надъ обезпеченіемъ успѣха и на малѣйшія подробности его тратитъ свои лучшія силы. Его нѣжный, слабосильный организмъ долженъ очень страдать отъ этого. Его нервы болѣзненно напряжены и при хроническомъ разстройствѣ брюшной полости онъ часто подвергается холеринѣ, которая здѣсь господствуетъ. Духовный медъ, истекающій изъ его твореній и услаждающій насъ, стоитъ самому автору жестокихъ страданій тѣлесныхъ. Когда я имѣлъ честь видѣть его въ послѣдній разъ, онъ меня испугалъ своею жалкою внѣшностью. Видъ его напомнилъ мнѣ бога діарреи въ одной татарской легендѣ, гдѣ трагикомически повѣствуется, какимъ образомъ сей животозлобный какодемонъ однажды, на казанской ярмаркѣ, купилъ для собственнаго своего употребленія шесть тысячъ горшковъ, такъ что горшечникъ сразу разбогатѣлъ. Да ниспошлетъ небо нашему высокопочтенному маэстро здоровье лучше нынѣшняго, и да не позабываетъ онъ самъ никогда, что жизнь его виситъ на тонкой ниточкѣ, а ножницы Парки тѣмъ острѣе. Да не позабудетъ онъ никогда, какіе высокіе интересы связаны съ его самосохраненіемъ. Что станется съ его славою, когда онъ самъ, прославленный художникъ, чего Боже сохрани! вдругъ будетъ унесенъ смертью со своего побѣдоноснаго поприща? Семейство его будетъ ли поддерживать эту славу, которою гордится вся Германія? Въ матеріальныхъ средствахъ для такой поддержки семья, конечно, недостатка не потерпитъ, онъ, конечно, окажется въ отношеніи интеллектуальныхъ средствъ. Только самъ великій Джіакомо, который состоитъ не только генералмузикдиректоромъ всѣхъ королевско-прусскихъ музыкальныхъ учрежденій, но и капельмейстеромъ Мейерберовской славы, только онъ одинъ способенъ управлять громаднымъ оркестромъ этой славы. Онъ кивнетъ головою, и тромбоны всѣхъ крупныхъ журналовъ гремятъ unissono; онъ мигнетъ глазомъ, и всѣ хвалебныя скрипки заиграютъ наперерывъ одна передъ другою; онъ чуть-чуть пошевелитъ лѣвою ноздрею, и всѣ фельетонные флажолеты зальются самыми сладостными зву-

ками лести. Тутъ встрѣчаются и неслыханные, допотопные духовые инструменты, іерихонскія трубы и неоткрытыя еще эоловы арфы, струнные инструменты будущности, примѣненіе которыхъ къ дѣлу свидѣтельствуетъ о чрезвычайномъ талантѣ къ инструментовкѣ. Да, до такой степени, какъ нашъ Мейерберъ, еще ни одинъ композиторъ не доводилъ инструментовку, именно искусство превращать всевозможныхъ людей въ инструменты, людей какъ самыхъ крупныхъ, такъ и самыхъ мелкихъ, и изъ комбинаціи ихъ дѣйствій магически устраивать согласный аккордъ общественнаго признанія, баснословно сильнаго. Этого не разумѣлъ ни одинъ изъ художниковъ. Между тѣмъ какъ многія лучшія оперы и Моцарта, и Россини проваливались при первомъ представленіи, и надо было пройти годамъ, пока онѣ были оцѣнены по достоинству, шедевры нашего доблестнаго Мейербера пользуются громаднѣйшимъ успѣхомъ уже съ перваго представленія, и на другое же утро всѣ газеты провозглашаютъ заслуженныя похвалы. Это совершается вслѣдствіе гармоническаго совмѣстнаго дѣйствія инструментовъ; по мелодіи Мейерберъ долженъ уступить двумъ вышепоименованнымъ мастерамъ, но по инструментовкѣ онъ опередилъ ихъ всѣхъ. Одному небу извѣстно, какими часто презрѣннѣйшими инструментами онъ пользуется, но, быть-можетъ, именно черезъ нихъ производитъ онъ величайшіе эффекты на толпу, которая ему удивляется, поклоняется и даже уважаетъ его. Кто можетъ доказать противное? Со всѣхъ сторонъ летятъ къ нему лавровые вѣнки; онъ несетъ на своей головѣ цѣлый лавровый лѣсъ, онъ задыхается подъ этимъ зеленымъ бременемъ. Слѣдовало бы ему завести ослика, который, бѣжа за нимъ рысцей, тащилъ бы на себѣ тяжелую ношу вѣнковъ. Но Гуэнъ ревнивъ, и не допускаетъ, чтобы его сопровождалъ кто-нибудь другой.

Не могу не привести здѣсь остроумнаго словца, которое приписываютъ музыканту Фердинанду Гиллеру. Кто-то спросилъ его мнѣнія о Мейерберовыхъ операхъ и Гиллеръ отвѣтилъ сердито уклончиво: «Ахъ, не будемъ разсуждать о политикѣ!»

XXXIV.

Парижъ, 29-го апрѣля 1841.

Столько же знаменательное, сколько печальное событіе — приговоръ жюри, которымъ редакторъ газеты «La France»

оправданъ по обвиненію въ умышленномъ оскорбленіи короля. Я, право, не знаю, о комъ больше сожалѣть въ этомъ дѣлѣ! Объ этомъ ли королѣ, честь котораго запятнана подложными письмами и который, однако, не можетъ, какъ всякій другой, возстановить себя въ общественномъ мнѣніи? Что въ подобномъ случаѣ дозволено всякому другому, въ томъ ему жестоко отказываютъ. Всякій другой, который точно такъ же подложными письмами былъ бы выставленъ передъ обществомъ, какъ измѣнникъ отечеству, имѣлъ бы право требовать формальнаго слѣдствія и посредствомъ его ясно доказать подложность этихъ писемъ. Но такое удовлетвореніе не дается королю, котораго конституція объявляетъ неприкосновеннымъ и которому она не позволяетъ лично являться предъ лицомъ суда. Еще менѣе дозволена ему дуэль, Божій судъ, который въ дѣлахъ чести все таки имѣетъ извѣстное оправдательное значеніе; Людовикъ Филиппъ долженъ спокойно позволять стрѣлять въ себя, но самъ не смѣетъ взяться за пистолетъ, чтобъ потребовать удовлетворенія у своихъ оскорбителей. Точно также онъ не имѣетъ права печатать въ газетахъ опроверженія взводимой на него клеветы, потому что—увы!—короли, какъ и великіе писатели, не могутъ защищаться такимъ путемъ и съ молчаливымъ терпѣніемъ должны сносить всякую ложь, распускаемую на ихъ счетъ. Да, я питаю самое болѣзненное сочувствіе къ царственному многотерпѣливцу, корона котораго служитъ только мишенью для клеветы и скиптръ котораго въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ дѣло идетъ о самозащищеніи, годенъ меньше обыкновенной палки. Или пожалѣть мнѣ еще больше о васъ, легитимисты, которые провозглашаете себя избранными паладинами роялизма, а между тѣмъ, унизили въ лицѣ Людовика Филиппа сущность монархіи, королевскій авторитетъ. Во всякомъ случаѣ, я сожалѣю о васъ, когда думаю о страшныхъ послѣдствіяхъ, которыя вы такимъ преступленіемъ призываете прежде всего на ваши собственныя безумныя головы! Съ паденіемъ монархіи васъ снова ждетъ на родинѣ топоръ, а на чужбинѣ нищенская сума. Да, теперь ваша судьба была бы еще позорнѣе, чѣмъ прежде; васъ, одураченныхъ компероръ вашихъ палачей, теперь стали бы убивать ужъ не съ дикимъ гнѣвомъ, а съ язвительнымъ смѣхомъ, а на чужбинѣ вамъ протягивали бы милостыню уже не съ тѣмъ почтеніемъ, которое подобаетъ невинному несчастію, но съ презрѣніемъ.

Но, что мнѣ сказать объ этихъ милыхъ присяжныхъ, которые, состязаясь въ ослѣпленіи, сами взломали фундаментъ своего собственнаго дома? Этимъ оскорбительнымъ и позорнымъ приговоромъ они безповоротно расшатали фундаментъ, на которомъ построена вся ихъ буржуазная государственная лавка. Все пагубное значеніе этого приговора теперь мало-по-малу признается всѣми, онъ составляетъ неистощимую тему разговоровъ, и всѣ съ ужасомъ видятъ, какъ вполнѣ систематично старались дать такой роковой исходъ этому процессу. У подложныхъ писемъ есть теперь законная поддержка, и дерзость враговъ существующаго порядка возрастаетъ съ ихъ безотвѣтственностью. Въ настоящую минуту литографированныя копіи мнимыхъ автографовъ распространяются по всей Франціи въ безчисленномъ количествѣ экземпляровъ, и коварство самодовольно потираетъ руки, видя удачу своей мастерской штуки. Легитимисты кричатъ ура, какъ будто они выиграли сраженіе. Славное сраженіе, въ которомъ Contemporaine, вдова великой арміи, пресловутая м-мъ де-Сентъ-Эльмъ, несла знамя! Благородный баронъ Ларошъ-Жакленъ защищалъ своимъ щитомъ эту новую Іоанну д'Аркъ. Онъ ручается за ея правдивость—отчего бы ему не поручиться и за ея дѣвственную чистоту? Но главный виновникъ этой побѣды—великій Беррье, буржуазный посыльный легитимистическаго рыцарства, который всегда говоритъ умно, какое бы скверное дѣло онъ ни защищалъ.

Впрочемъ, здѣсь во Франціи, странѣ партій, гдѣ съ событіями непосредственно связаны всѣ ихъ послѣдствія, злое дѣло всегда идетъ рука объ руку съ болѣе или менѣе спасительнымъ противодѣйствіемъ. И это обнаружилось также по случаю злополучнаго вердикта присяжныхъ. Пагубныя послѣдствія его въ данную минуту отчасти нейтрализированы ликованіемъ и побѣдоносными криками легитимистовъ; народъ такъ сильно ненавидитъ ихъ, что забываетъ все свое неудовольствіе противъ Людовика Филиппа, когда эти наслѣдственные враги новой Франціи съ слишкомъ сильнымъ ликованіемъ провозглашаютъ свою побѣду надъ нимъ. Самое тяжелое обвиненіе, взводившееся на короля въ послѣднее время, состояло именно въ томъ, что онъ будто бы чрезчуръ сильно хлопоталъ о примиреніи съ легитимистами и приносилъ въ жертву имъ демократическіе интересы. Вотъ почему оскорбленіе короля именно этими фрондирующими дворянами вызвало прежде всего злобную ра-

дость въ буржуазіи, которая, будучи натравляема газетами недовольнаго средняго сословія, выдумываетъ самыя скверныя вещи о реакціонерныхъ намѣреніяхъ нынѣшняго министерства.

Но что надо думать о тѣхъ реакціонныхъ планахъ, которые приписываются исключительно Гизо? Я отнюдь не могу вѣрить имъ. Гизо—человѣкъ сопротивленія, но не реакціи. И будьте увѣрены, что вслѣдствіе этого сопротивленія вверху, его давно бы спустили, если бъ въ его сопротивленіи не нуждались внизу. Его дѣятельность состоитъ собственно въ фактическомъ сохраненіи того правленія буржуазіи, которому мародирующій аріергардъ прошедшаго угрожаетъ такъ же злобно, какъ жадный до грабежей авангардъ будущаго. Гизо поставилъ себѣ трудную задачу, и никто не благодаренъ ему за это. Неблагодарнѣе всѣхъ относительно его оказываются именно тѣ добрые граждане, которыхъ его сильная рука охраняетъ и защищаетъ, но которымъ онъ никогда не протягиваетъ довѣрчиво руку, и съ мелочными страстишками которыхъ онъ не имѣетъ ничего общаго. Эти лавочники не любятъ его, потому что онъ не смѣется съ ними вольтеровскимъ остротамъ, онъ не занимается торговлею и не танцуетъ съ ними вокругъ майскаго дерева славы! Онъ держитъ голову очень высоко, и меланхолическая гордость какъ будто говоритъ во всѣхъ его чертахъ: «Я, можетъ-быть, могъ бы дѣлать что-нибудь лучше, чѣмъ проводить жизнь въ тяжелой ежедневной борьбѣ за эту сволочь!» Дѣйствительно, это человѣкъ, не очень нѣжно ухаживающій за популярностью и провозгласившій даже принципъ, что хорошій министръ долженъ быть непопуляренъ. Онъ никогда не хотѣлъ нравиться массѣ, не хотѣлъ даже въ тѣ дни реставраціи, когда ему оказывался великолѣпный почетъ, какъ ученому народному трибуну. Когда онъ читалъ въ Сорбонѣ свои замѣчательныя лекціи, и молодежь слишкомъ шумно выражала свои одобренія, онъ самъ смирялъ этотъ восторженный шумъ строгими словами: «Господа, и въ энтузіазмѣ долженъ существовать порядокъ!» Любовь къ порядку, вообще, есть преобладающая черта въ характерѣ Гизо, и уже поэтому его управленіе министерствомъ дѣйствовало очень благодѣтельно въ путаницѣ настоящаго времени. Эта любовь къ порядку нерѣдко навлекала на него обвиненіе въ педантизмѣ, и я сознаюсь, что строгая серьезность его внѣшности смягчается какимъ-то ученымъ магистерствомъ, напоминающимъ о нашей нѣ-

мецкой родинѣ, особенно о Геттингенѣ. Онъ столь же мало реакціонеръ, сколько не были ими гофратъ Геренъ, Тикзенъ или Эйхгорнъ, но онъ никогда не позволитъ бить университетскихъ педелей или разбивать фонари и дѣлать другія безчинства на Вендской улицѣ.

XXXV.

Парижъ, 19-го мая 1841.

Въ прошедшее воскресенье, тотъ отдѣлъ Institut Royal, который называетъ себя Académie des sciences morales et politiques, имѣлъ одно изъ своихъ удивительнѣйшихъ засѣданій. Сценою его была, какъ обыкновенно, та зала въ Palais Mazarini, которая какъ своими высокими сводами, такъ и лицами, иногда засѣдающими въ ней, такъ часто напоминаетъ куполъ Отеля Инвалидовъ. Дѣйствительно, остальныя отдѣленія Института, собирающіяся тутъ, обнаруживаютъ только старческое безсиліе, но вышеупомянутая Académie des sciences morales et politiques составляетъ исключеніе и носитъ на себѣ печать свѣжести и силы. Въ этомъ отдѣленіи господствуетъ величавость образа мысли, между тѣмъ какъ Institut Royal, по своему устройству и общему духу, очень мелоченъ. Одинъ острякъ замѣтилъ очень правильно: «Въ этомъ случаѣ часть больше цѣлаго». Собраніе прошедшаго воскресенья дышало совершенно особенною юношескою жизнью; Кузенъ, предсѣдательствовавшій въ немъ, говорилъ съ тѣмъ энергическимъ огнемъ, который не всегда очень согрѣваетъ, но постоянно освѣщаетъ; и даже Минье, которому пришлось славить умершаго Мерлена де-Дуэ, знаменитаго юриста и члена Конвента, говорилъ рѣчь, которая была такъ же цвѣтуща и прекрасна, какъ его наружность. Дамы, собирающіяся въ засѣданія section des sciences morales et politiques въ большомъ числѣ каждый разъ, когда говоритъ красавецъ secrétaire perpétuel, пріѣзжаютъ, можетъ-быть, больше для того, чтобъ видѣть, чѣмъ слышать, а такъ какъ многія изъ нихъ очень красивы, то присутствіе ихъ иногда нарушаетъ вниманіе слушателей. Что касается меня, то на этотъ разъ предметъ рѣчи Минье совершенно исключительно приковалъ мое вниманіе, потому что знаменитый исторіографъ революціи снова говорилъ объ одномъ изъ важнѣйшихъ предводителей великаго движенія, преобразовавшаго гражданскую жизнь французовъ, и каждое слово было здѣсь результатомъ интересныхъ изслѣдованій. Да, это былъ голосъ историка, дѣйствительнаго начальника

архивовъ Кліо, и казалось, что онъ держитъ въ рукахъ тѣ вѣчныя таблички, на которыхъ строгая богиня уже начертала свой приговоръ. Только въ выборѣ выраженій и въ смягчающемъ тонѣ рѣчи проявлялась по временамъ традиціонная обязанность академика хвалить своихъ товарищей. И притомъ Минье въ то же время государственный человѣкъ, и при обсужденіи недавняго прошедшаго ему слѣдовало съ мудрой осмотрительностью имѣть въ виду современныя обстоятельства. Описывать прекратившуюся бурю въ то время, когда мы еще не въ гавани—задача опасная. Французскій государственный корабль, можетъ-быть, еще совсѣмъ не такъ внѣ опасности, какъ думаетъ добрый Минье. Недалеко отъ оратора, на скамейкѣ противъ меня, сидѣлъ Тьеръ, и для меня была очень знаменательна его улыбка въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ Минье съ слишкомъ большимъ удовольствіемъ говорилъ объ окончательномъ установленіи новаго порядка; такъ улыбается Эолъ, когда Дафнисъ, сидя на тихомъ берегу моря, наигрываетъ на мирной флейтѣ!

Всю рѣчь Минье вы скоро прочтете въ печати, и полнота содержанія, безъ сомнѣнія, порадуетъ васъ; но никогда простое чтеніе не замѣнитъ устнаго изложенія, которое, какъ глубокомысленная музыка, вызываетъ въ слушателѣ цѣлый рядъ идей. Такъ, напримѣръ, у меня до сихъ поръ постоянно звучитъ въ памяти одно замѣчаніе, которое ораторъ сдѣлалъ въ нѣсколькихъ словахъ и которое, однако, рождаетъ важныя мысли. Именно онъ обратилъ вниманіе на благопріятность того обстоятельства, что новый сводъ французскихъ законовъ составленъ людьми, только-что вышедшими изъ дикихъ треволненій великаго государственнаго переворота и, слѣдовательно, основательнѣйшимъ образомъ изучившими человѣческія страсти и потребности времени. Да, если мы примемъ во вниманіе это обстоятельство, то придемъ къ мысли, что оно особенно благопріятствуетъ нынѣшнему французскому законодательству, что оно придаетъ необыкновенное достоинство тому Code Napoléon съ его комментаріями, который, въ противоположность другимъ юридическимъ книгамъ, составленъ не праздными и холодными казуистами, но пламенными освободителями человѣчества, видѣвшими всѣ страсти въ ихъ полной наготѣ и фактически посвященными въ скорби всѣхъ новыхъ вопросовъ жизни. О призваніи нашего времени къ законодательству философская школа Германіи судитъ такъ же неправильно,

какъ и историческая; первая уже умерла, а вторая еще не жила.

Рѣчь, которою Викторъ Кузенъ открылъ засѣданіе академіи въ прошедшее воскресенье, дышала чувствомъ свободы, которое мы всегда будемъ съ радостью признавать въ немъ. Впрочемъ, одинъ изъ нашихъ коллегъ такъ щедро восхвалилъ его на этихъ страницахъ, что покамѣстъ съ него достаточно. Упомянемъ только, что къ человѣку, котораго мы прежде не особенно любили, мы и въ послѣднее время не чувствовали сильной привязанности, но цѣнили его выше, чѣмъ прежде. Бѣдный Кузенъ, въ былое время мы слишкомъ дурно обращались съ тобой, тобой, который къ намъ, нѣмцамъ, всегда относился такъ благосклонно и дружески! Странно! Именно въ то время, когда вѣрный воспитанникъ нѣмецкой школы, другъ Гегеля, нашъ Викторъ Кузенъ былъ во Франціи министромъ, въ Германіи вспыхнуло противъ французовъ то слѣпое озлобленіе, которое теперь, мало-по-малу, исчезаетъ и со временемъ сдѣлается, можетъ-быть, непонятнымъ явленіемъ. Я помню, что въ то время, прошедшею осенью, я встрѣтилъ Кузена на бульварѣ des Italiens, гдѣ онъ стоялъ предъ магазиномъ гравюръ и восхищался выставленными въ окнахъ картинами Овербека. Въ это время міръ сорвался съ своихъ петель, громъ бейрутскихъ пушекъ, точно набатъ, будилъ на востокѣ и западѣ весь воинственный духъ, египетскія пирамиды дрожали, по сю и ту сторону Рейна заострились сабли—а Викторъ Кузенъ, тогдашній министръ Франціи, спокойно стоялъ передъ магазиномъ гравюръ на бульварѣ des Italiens, и восхищался мирными, набожными головами святыхъ Овербека, и съ восторгомъ говорилъ о превосходствѣ нѣмецкаго искусства и нѣмецкой науки, о нашемъ чувствѣ и глубокомысліи, о нашей любви къ справедливости и человѣчности.—«Но, ради Бога,—вдругъ перебилъ онъ себя, точно очнувшись отъ сна:—что же значитъ бѣшенство, съ которымъ вы въ Германіи теперь внезапно начали шумѣть и вопить противъ насъ?» Онъ не могъ понять эту ярость, я тоже ничего не понималъ въ ней, и идя рука объ руку по бульвару, мы истощали свой умъ въ предположеніяхъ о существенныхъ причинахъ этой враждебности, и такимъ образомъ дошли до Passage des Panorames, гдѣ Кузенъ оставилъ меня и зашелъ въ кондитерскую Маркиза купить себѣ фунтъ шоколада.

Я съ особеннымъ удовольствіемъ заявляю о самыхъ мел-

кихъ обстоятельствахъ, свидѣтельствующихъ о симпатіи, которую я по отношенію къ Германіи нахожу во французскихъ государственныхъ людяхъ. Что мы видимъ ее у Гизо, это весьма понятно, такъ какъ его образъ воззрѣнія на вещи родственеенъ съ нашимъ, и онъ очень основательно понимаетъ потребности и законныя права нѣмецкаго народа. Это пониманіе, можетъ-быть, примиряетъ его съ нашими временными нелѣпостями: «tout comprendre, c'est tout pardonner» прочелъ я на этихъ дняхъ на печати одной милой женщины. Очень можетъ быть, что Гизо, какъ многіе утверждаютъ, имѣетъ пуританскій характеръ; но онъ понимаетъ также мысли и чувства другихъ. При этомъ его умъ не враждебенъ поэзіи, не узокъ и не сухъ; вѣдь именно пуританинъ далъ французамъ переводъ Шекспира, и когда я, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, писалъ о царѣ британскихъ поэтовъ, то для истолкованія чаръ его фантастическихъ комедій не нашелъ ничего лучше, какъ буквально привести комментарій этого пуританина Гизо.

Странно! Воинственное министерство 1 марта, противъ котораго такъ сильно возставали по ту сторону Рейна, состояло большею частью изъ людей, относившихся къ Германіи съ самымъ бо́льшимъ почтеніемъ и съ самою искреннею любовью. Рядомъ съ Викторомъ Кузеномъ, который понималъ, что у Эммануила Канта можно найти самую лучшую критику чистаго разума, а въ кондитерской Маркиза—самый лучшій шоколадъ, сидѣлъ въ ту пору въ совѣтѣ министровъ Ремюза, который также высоко чтилъ нѣмецкій геній и особенно занимался изученіемъ его. Уже въ юности онъ перевелъ много нѣмецкихъ драматическихъ произведеній, которыя потомъ напечатаны имъ въ «Théatre Etranger». Этотъ человѣкъ столько же уменъ, сколько честенъ, ему знакомы верхушки и сокровенныя глубины нѣмецкаго народа, и я убѣжденъ, что величіе этого послѣдняго онъ понималъ лучше, чѣмъ всѣ композиторы пѣсни Беккера, если даже не лучше, чѣмъ самъ великій Николай Беккеръ!—Въ послѣднее время въ Ремюза намъ особенно понравилась открытая энергичность, съ которою онъ защищалъ добрую славу одного изъ своихъ благородныхъ сподвижниковъ противъ клеветническихъ инсинуацій.

XXXVI.

Парижъ, 22 мая 1841.

Англичане корчатъ здѣсь весьма безпокойныя рожи.

«Дѣло идетъ плохо, очень плохо»—таковы боязливые шипящіе звуки, которые они нашептываютъ другъ другу, встрѣчаясь у Галиньяни. Дѣйствительно, кажется, что все великобританское государство шатается и близко къ окончательному паденію; но это только кажется. Это государство похоже на колокольню въ Пизѣ; ея наклонное положеніе пугаетъ насъ, когда мы смотримъ на нее, и путешественникъ старается скорѣе пройти мимо, боясь, чтобы башня нечаянно не обрушилась на его голову. Когда я, во время Каннинга, былъ въ Лондонѣ и присутствовалъ на дикомъ митингѣ радикализма, то мнѣ казалось, что все государственное зданіе вотъ-вотъ обрушится. Мои друзья, бывшіе въ Англіи во время волненія, вызваннаго reform-bill, были охвачены чувствомъ такой же боязни. Такое же чувство испытывали тѣ, которые присутствовали на зрѣлищѣ происковъ О'Коннеля и шума эмансипаціи католиковъ. Теперь причиною бури, будто бы предвѣщающей погибель государству—хлѣбные законы. Но не бойся, сынъ Альбіона:

«Kracht's auch, bricht's doch nicht
Bricht's auch, bricht's nicht mit dir!»

Въ Парижѣ въ настоящую минуту царствуетъ глубокая тишина. Всѣ устали постоянно разговаривать о подложныхъ письмахъ короля и нашли пріятное развлеченіе въ похищеніи испанской инфанты Игнатомъ Гуровскимъ, братомъ того знаменитаго Адама Гуровскаго, котораго вы еще, можетъ-быть, помните. Прошедшимъ лѣтомъ другъ Игнатъ былъ влюбленъ въ Рашель; но такъ какъ ея отецъ, принадлежащій къ очень хорошему еврейскому семейству, отказалъ ему въ рукѣ своей дочери, то онъ обратился къ принцессѣ Изабеллѣ Фернандѣ испанской. Всѣ гофъ-дамы обѣихъ Кастилій, даже всего міра, съ ужасомъ всплеснутъ руками, теперь, наконецъ, онѣ поймутъ, что старый міръ традиціоннаго почтенія покончилъ свое существованіе!

Это давно понялъ Людовикъ Филиппъ, и потому-то онъ основалъ свою власть не на идеальномъ чувствѣ почтенія, но на дѣйствительныхъ потребностяхъ и голой необходимости. Французы не могутъ обойтись безъ него, и съ его существованіемъ связано ихъ собственное. Тотъ самый лавочникъ, который считаетъ не стоящимъ труда защищеніе чести короля отъ клеветъ и который самъ за жаркимъ и стаканомъ вина ругаетъ этого короля, все-таки при первомъ ударѣ барабана выйдетъ съ саблею и ружьемъ для защиты Людовика, поручителя за его собственное полити-

ческое благосостояніе и за его угрожаемую собственность. По этому случаю мы не можемъ не упомянуть, что одна легитимистская газета, «La France», напала на насъ съ страшнымъ озлобленіемъ за то, что мы позволили себѣ, въ газетѣ «Allgemeine Zeitung», подать голосъ въ защиту короля. На это нападеніе мы только кратко возразимъ, что не принимаемъ никакого участія во внутреннихъ битвахъ партій Франціи. Цѣль настоящихъ писемъ заключается прежде всего въ надлежащемъ уясненіи дѣлъ и людей, событій и отношеній, при чемъ мы должны руководствоваться полнѣйшимъ безпристрастіемъ—до тѣхъ поръ, пока наши отечественные интересы не будутъ также пущены въ ходъ и не окажутъ вліянія на наше настроеніе. Кто можетъ остаться совершенно свободнымъ отъ вліянія такого рода? Такъ, очень можетъ быть, что наша симпатія къ французскимъ государственнымъ людямъ, а также и къ Людовику Филиппу, иногда усиливается оттого, что мы признаемъ въ нихъ спасительный для Франціи образъ мыслей. Я, пожалуй, еще не разъ буду поддаваться искушенію говорить съ сочувствіемъ о государѣ, который избавилъ насъ отъ ужасовъ войны и которому мы обязаны тѣмъ, что можемъ, пользуясь миромъ, основать союзъ между Франціею и Германіею. Этотъ союзъ, во всякомъ случаѣ, естественнѣе союза съ Англіею, а подавно съ Россіею—двухъ крайностей, отъ которыхъ здѣсь, мало-по-малу, уклоняются. Тайный ужасъ всегда охватываетъ французовъ, когда дѣло идетъ о сближеніи съ Россіею; они страшно боятся объятій того сѣвернаго медвѣдя, съ которымъ лично познакомились на московскихъ ледяныхъ поляхъ. Съ Англіею французы тоже не особенно желаютъ сходиться, получивъ недавно образчикъ альбіонскаго коварства. Притомъ они не вѣрятъ въ прочность тамошняго правительства и думаютъ, что его паденіе послѣдуетъ гораздо скорѣе, чѣмъ это должно быть на самомъ дѣлѣ. Ихъ вводитъ въ заблужденіе наклонное положеніе британскаго государства. Но, наконецъ, эта кривая башня все-таки упадетъ! Туземные кроты безпрерывно подтачиваютъ ея фундаментъ, а затѣмъ придутъ сѣверные медвѣди и сильными лапами совсѣмъ расшатаютъ ее. Французъ, вѣроятно, желаетъ въ душѣ: пусть бы кривая башня, наконецъ, повалилась и подъ своими развалинами похоронила побѣдоносныхъ медвѣдей!

XXXVII.

Парижъ, 11 декабря 1841.

Теперь, съ приближеніемъ Новаго года, дня подарковъ, магазины стараются превзойти другъ друга разнообразнѣйшими выставками. Видъ этихъ послѣднихъ можетъ доставить самое пріятное развлеченіе праздному фланеру; если его мозгъ не совсѣмъ пустъ, то въ немъ могутъ рождаться и мысли въ то время, когда онъ смотритъ на великолѣпные и изящные товары, выставленные за зеркальными стеклами, и при этомъ бросаетъ также взглядъ на публику, стоящую подлѣ него. Лица этой публики такъ отвратительно серьезны и болѣзненны, такъ нетерпѣливы и угрожающи, что составляютъ непріятно тяжелый контрастъ съ предметами, на которые эти люди зѣваютъ, и на насъ нападаетъ страхъ, что они, пожалуй, вдругъ треснутъ въ эти зеркальныя стекла кулаками и разобьютъ всѣ пестрыя игрушки знатнаго свѣта вмѣстѣ съ этимъ самимъ знатнымъ свѣтомъ! Кто не большой политикъ, а обыкновенный фланеръ, котораго интересуютъ не оттѣнки Дюфора и Пасси, а выраженіе лицъ народа на улицахъ, тотъ глубоко убѣжденъ, что рано или поздно вся гражданская комедія во Франціи, вмѣстѣ со всѣми ея парламентскими актерами въ роляхъ героевъ и компарсами, будетъ освистана самымъ ужаснымъ образомъ и что за нею послѣдуетъ другая пьеса, называющаяся правленіе коммунистовъ! Конечно, долго продолжаться эта послѣдняя пьеса не можетъ; но она тѣмъ сильнѣе потрясетъ и очиститъ сердца, она будетъ истинная трагедія.

Послѣдніе политическіе процессы должны были открыть глаза многимъ, но слѣпота слишкомъ пріятна для человѣка. Притомъ, никто не хочетъ напоминанія объ опасностяхъ, могущихъ отравить ему сладкое настоящее. Поэтому всѣ они сердятся на того человѣка, строгій глазъ котораго видитъ сокровеннѣйшую глубину страшной тьмы будущаго, и жесткое слово котораго напоминаетъ объ общей опасности иногда, быть-можетъ, не во-время, какъ разъ когда мы сидимъ за самымъ веселымъ обѣдомъ. Они всѣ сердятся на бѣднаго школьнаго учителя Гизо. Даже такъ-называемые консерваторы въ большинствѣ непріязненно смотрятъ на него и въ своемъ ослѣпленіи думаютъ, что его можно замѣнить человѣкомъ, котораго веселое лицо и ласковый тонъ менѣе пугаютъ и тревожатъ ихъ. О, глупые консерваторы, которые не въ состояніи консервировать ничего, кромѣ

именно вашей глупости, вамъ слѣдовало бы беречь этого Гизо, какъ зеницу ока; вамъ слѣдовало бы отгонять отъ него своимъ хвостомъ комаровъ, какъ радикальныхъ, такъ легитимистскихъ, чтобы постоянно поддерживать въ немъ хорошее расположеніе духа; вамъ слѣдовало бы посылать къ нему иногда въ Hôtel des Capucins цвѣты, цвѣты развеселяющіе, розы и фіалки, и вмѣсто того, чтобы ежедневнымъ раздраженіемъ отравлять ему пребываніе въ этой квартирѣ или даже интригами выманивать его оттуда, вы должны были бы скорѣе приковать его тамъ желѣзной цѣпью! На вашемъ мѣстѣ, я всегда страшился бы, что онъ вдругъ убѣжитъ отъ блистательныхъ мукъ своей министерской должности и снова укроется въ свою тихую рабочую комнатку въ улицѣ Levêque, гдѣ онъ нѣкогда жилъ такъ идиллически счастливо между своими, переплетенными въ овечью кожу и телячью кожу, книгами.

Но дѣйствительно ли Гизо тотъ человѣкъ, который былъ бы въ состояніи отвратить грозящую гибель? Въ немъ, дѣйствительно соединяются обыкновенно несовмѣстимыя свойства, глубочайшая проницательность и твердая воля; онъ сопротивлялся бы всѣмъ бурямъ съ непоколебимостью древняго человѣка и избѣгалъ бы пагубныхъ подводныхъ утесовъ съ осторожностью человѣка новѣйшаго; но неслышные зубы мышей надѣлали слишкомъ много отверстій въ днѣ французскаго государственнаго корабля, и противъ этого внутренняго зла, гораздо болѣе опаснаго, чѣмъ зло внѣшнее, Гизо, какъ онъ самъ очень хорошо понимаетъ, безсиленъ. Въ этомъ заключается опасность. Разрушительныя доктрины слишкомъ сильно овладѣли низшими классами Франціи; теперь дѣло идетъ уже не о равенствѣ правъ, но о равенствѣ наслажденій на этой землѣ, и теперь въ Парижѣ есть около четырехсотъ тысячъ грубыхъ кулаковъ, ожидающихъ только лозунга, чтобы осуществить идею абсолютнаго равенства, которая гнѣздится въ ихъ грубыхъ головахъ. Со многихъ сторонъ слышно, что война была бы хорошимъ отводомъ для этого разрушительнаго матеріала. Но развѣ это не значитъ заклинать сатану Вельзевуломъ? Война только ускорила бы катастрофу и распространила бы по всему земному шару тотъ недугъ, который теперь подтачиваетъ одну Францію; пропаганда коммунизма обладаетъ языкомъ, понятнымъ для каждаго народа; элементы этого всемірнаго языка такъ просты, какъ голодъ, какъ зависть, какъ смерть. Выучиться этому такъ легко!

Но оставимъ эту мрачную тему и вернемся снова къ веселымъ предметамъ, выставленнымъ за зеркальными стеклами въ rue Vivienne или на бульварахъ. Все это блеститъ, это смѣется и манитъ къ себѣ! Смѣлая жизнь, высказавшаяся въ золотѣ, серебрѣ, бронзѣ, драгоцѣнныхъ камняхъ, во всевозможныхъ формахъ, особенно въ формахъ изъ времени Возрожденія, подражаніе которому въ настоящую минуту—господствующая мода. Откуда произошла теперь любовь къ этому времени Возрожденія, или, вѣрнѣе, воскресенія, времени, когда древній міръ какъ бы вышелъ изъ могилы, чтобы скрасить умирающимъ среднимъ вѣкамъ ихъ послѣдніе часы? Не чувствуетъ ли въ себѣ наше время избирательнаго сродства съ тѣмъ періодомъ, который, точно такъ же, какъ и мы, жаждалъ свѣжаго жизненнаго напитка и поэтому искалъ въ прошедшемъ возвращающаго молодость источника? Не знаю, но то время Франциска I и людей, раздѣлявшихъ его вкусы, производитъ на наше чувство почти ужасающее чарующее вліяніе, какъ воспоминаніе о томъ, что мы пережили во снѣ; и потомъ, необыкновенно оригинальная прелесть заключается въ способѣ, которымъ то время умѣло переработать въ себѣ вновь отысканную древность. Тутъ мы не видимъ, какъ въ школѣ Давида, академически сухого подражанія греческой пластикѣ, а эта греческая пластика плавно сливается съ христіанскимъ спиритуализмомъ. Въ формахъ искусства и жизни, обязанныхъ своимъ причудливымъ существованіемъ сочетанію этихъ разнороднѣйшихъ элементовъ, лежитъ такое сладостное меланхолическое остроуміе, такой ироническій поцѣлуй примиренія, цвѣтущее высокомѣріе, изящный ужасъ, непріятно покоряющій насъ непонятнымъ для насъ образомъ.

Но какъ политику мы сегодня предоставляемъ профессіональнымъ политиканамъ, такъ предоставляемъ патентованнымъ историкамъ точное изслѣдованіе вопроса, въ какой степени наше время родственно съ эпохою Возрожденія; а сами, какъ истые фланеры, остановимся на Монмартрскомъ бульварѣ передъ одною гравюрою, выставленною въ магазинѣ Гупиля и Ритнера и которая, какъ бы левъ сезона въ области гравюры, обращаетъ на себя всѣ взоры. И она, дѣйствительно, заслуживаетъ это общее вниманіе; гравюра изображаетъ «Рыбаковъ» Робера. Уже давно публика ожидала этого произведенія, и оно, конечно, драгоцѣнный подарокъ на Рождество для массы, незнакомой съ оригиналомъ. Я воздерживаюсь отъ всякаго подробнаго описанія этой

картины, такъ какъ она скоро сдѣлается столько же извѣстною, сколько «Жнецы» того же самаго художника, къ которымъ она составляетъ умный и граціозный pendant. Между тѣмъ какъ на этой знаменитой картинѣ изображена деревня, въ которой римскіе поселяне ѣдутъ со своею богатою жатвою точно на тріумфальной колесницѣ, въ «Рыбакахъ» передъ нами, какъ самый рѣзкій контрастъ, маленькая гавань въ Чіогіи, въ зимнюю пору, въ ту минуту, когда бѣдные рыбаки, чтобы заработать свой жалкій насущный хлѣбъ, отплываютъ въ Адріатическое море, несмотря на непогоду. Жены, дѣти и старая бабушка смотрятъ имъ вслѣдъ съ болѣзненною покорностью судьбѣ — трогательныя фигуры, глядя на которыхъ мы слышимъ, какъ въ нашемъ сердцѣ начинаютъ волноваться противуполицейскія мысли. Эти несчастные люди, крѣпостные нищеты, осуждены на пожизненные бѣдствія и труды и сохнутъ въ страшной нуждѣ и скорби. Меланхолическое проклятіе нарисовано здѣсь, и живописецъ, чуть только окончилъ эту картину, сейчасъ же перерѣзалъ себѣ горло. Бѣдный народъ! Бѣдный Роберъ! Да, какъ «Жнецы» этого живописца—произведеніе радости, которое онъ зачалъ и исполнилъ въ римскомъ сіяніи любви, такъ въ его «Рыбакахъ» отражаются всѣ мысли о самоубійствѣ и всѣ осенніе туманы, лежавшіе на его душѣ въ то время, когда онъ жилъ въ разрушенной Венеціи. Какъ первая картина восхищаетъ и умиляетъ насъ, такъ вторая наполняетъ нашу душу жаждущимъ возмущенія негодованіемъ; тамъ Роберъ изображалъ счастье человѣчества, здѣсь онъ нарисовалъ страданіе народа.

Никогда я не забуду дня, въ который увидѣлъ въ первый разъ оригиналъ картины «Рыбаки» Робера. Подобно молніи на безоблачномъ небѣ, поразила насъ вѣсть о его смерти, а такъ какъ эта картина, прибывшая въ Парижъ въ то же самое время, не могла быть помѣщена на уже открывшейся выставкѣ, то собственникъ ея, г. Патюрль, возымѣлъ похвальную мысль выставить ее особо въ пользу бѣдныхъ. Меръ второго округа далъ для этой выставки свою квартиру, и если я не ошибаюсь, было собрано болѣе шестнадцати тысячъ франковъ. (Дай Богъ, чтобъ произведенія всѣхъ друзей народа приносили такую же практическую пользу послѣ ихъ смерти!). Помню, что когда я шелъ по лѣстницѣ меріи къ комнатѣ, гдѣ была выставлена картина, то на одной изъ дверей прочелъ надпись: Bureau des décès. Въ залѣ передъ картиной стояло очень много народу; всѣ мол-

чали, царствовала тревожная, глухая тишина, точно за этимъ холстомъ лежалъ окровавленный трупъ умершаго художника. Въ чемъ заключалась причина его самоубійства, поступка, противорѣчащаго законамъ религіи, нравственности и природы, священнымъ законамъ, которымъ Роберъ въ продолженіе всей своей жизни оказывалъ такое дѣтское послушаніе? Да, онъ былъ воспитанъ въ строгомъ швейцарскомъ протестантствѣ, онъ съ ненарушимою вѣрностью былъ преданъ вѣрѣ своихъ отцовъ, и религіознаго скептицизма, или даже индиферентизма, въ немъ не было ни малѣйшаго слѣда. Точно такъ же добросовѣстно исполнялъ онъ всегда свои гражданскія обязанности, былъ хорошій сынъ, хорошій хозяинъ, платилъ свои долги, не нарушалъ ни одного правила общественнаго приличія, старательно чистилъ свое платье, и о безнравственности въ немъ также не могло быть и рѣчи. Природѣ онъ былъ преданъ всею душою, какъ дитя—груди своей матери; она вскармливала его дарованіе и открывала передъ нимъ все свое великолѣпіе, и сказать мимоходомъ, онъ любилъ ее больше, чѣмъ преданія художниковъ; значитъ, ни чрезмѣрное погруженіе въ сладкое безуміе искусства, ни мрачное стремленіе къ наслажденіямъ міра грёзъ, ни отпаденіе отъ природы не могли заманивать этого превосходнаго человѣка въ смерть. Финансы его были тоже въ хорошемъ положеніи, всѣ почитали его, удивлялись ему, и онъ былъ даже здоровъ. Въ чемъ же заключалась причина? Въ Парижѣ нѣкоторое время ходила молва, что на это подвинула его несчастная страсть къ одной знатной дамѣ въ Римѣ. Я не могу вѣрить этому. Роберу было въ то время тридцать восемь лѣтъ, а въ этомъ возрастѣ страсти, хотя и бушуютъ ужасно, но не доводятъ человѣка до самоубійства, какъ въ ранней молодости, въ немужественный Вертеровскій періодъ.

Уйти изъ жизни побуждало Робера, можетъ-быть, то страшнѣйшее изъ всѣхъ чувствъ, которое ощущаетъ художникъ, когда видитъ, что между его жаждою творчества и способностью удовлетворить ей прекратилось равновѣсіе; это сознаніе безсилія уже само по себѣ полусмерть, и рука помогаетъ здѣсь только сокращенію агоніи. Какъ ни превосходны были созданія Робера, они все-таки оставались только блѣдными тѣнями тѣхъ цвѣтущихъ красокъ природы, которыя парили передъ его душою, и опытный глазъ легко открывалъ трудную борьбу съ сюжетомъ, которую художникъ преодолѣвалъ только послѣ отчаяннѣйшихъ усилій.

Прекрасны и тверды всѣ эти произведенія Робера, но въ большей части изъ нихъ видно отсутствіе свободы и нѣтъ вѣянія непосредственнаго духа; они сочинены. Роберъ имѣлъ нѣкоторое представленіе о геніальномъ величіи, но духъ его былъ поставленъ въ тѣсныя рамки. Судя по характеру его произведеній, можно подумать, что онъ восторженно относился къ Рафаэлю Санціо ди-Урбино, идеальному ангелу красоты; но нѣтъ, по увѣренію его приближенныхъ, онъ поклонялся Микель-Анжело Буонаротти, бурному титану, дикому громовержцу страшнаго суда. Истинная причина его смерти была горькая досада жанриста, жаждавшаго грандіозной исторической живописи; онъ умеръ отъ пробѣла въ своей способности изображенія.

Гравюра «Рыбаковъ», выставленная теперь у Гупиля и Ритнера, превосходна въ техническомъ отношеніи. Это истинный шедевръ, стоящій гораздо выше, чѣмъ гравюра «Жнецовъ», исполненная, можетъ-быть, слишкомъ поспѣшно. Но въ ней недостаетъ характера первобытности, такъ блаженно восхищающей насъ въ «Жнецахъ» и происшедшаго, можетъ-быть, оттого, что эта послѣдняя картина одолжена своимъ созданіемъ одному единственному міровоззрѣнію, внѣшнему или внутреннему, все равно, и скопирована съ него съ большою вѣрностью. Напротивъ того, «Рыбаки» слишкомъ сочинены; фигуры въ нихъ съ трудомъ выисканы, съ трудомъ сгруппированы, болѣе стѣсняютъ одна другую, чѣмъ дополняютъ, и только одинаковость краски скрадываетъ разнообразности въ оригинальной картинѣ и придаетъ произведенію видъ единства. На гравюрѣ, гдѣ нѣтъ краски, этой пестрой посредницы, наружно связанныя части естественно снова распадаются, затруднительность работы выступаетъ наружу, и цѣлое перестаетъ быть цѣлымъ. Доказательствомъ величія Рафаэля, говорилъ мнѣ недавно одинъ живописецъ, служитъ то, что гармонія его картинъ не теряется даже и на гравюрахъ съ нихъ. Да, даже въ самыхъ дрянныхъ копіяхъ, лишенныя всякаго колорита, если даже не всякихъ тѣней, являясь въ голыхъ контурахъ, произведенія Рафаэля сохраняютъ ту гармоническую силу, которая потрясаетъ нашу душу. Это происходитъ оттого, что онѣ— истинныя откровенія, откровенія генія, который точно такъ же, какъ природа, даетъ законченное уже въ простыхъ очеркахъ.

Мое мнѣніе о «Рыбакахъ» Робера я резюмирую такъ: этой картинѣ не достаетъ единства, и только подробности,

особенно молодая женщина съ больнымъ ребенкомъ, заслуживаютъ величайшей похвалы. Въ подкрѣпленіе моего мнѣнія я ссылаюсь на эскизъ, въ которомъ Роберъ какъ бы высказалъ свои первыя мысли; здѣсь, въ первобытной концепціи, господствуетъ та гармонія, которой нѣтъ на оконченной картинѣ, и когда сравниваешь съ нею эскизъ, то ясно видишь, какъ художникъ, прежде, чѣмъ дать картинѣ ея теперешній видъ, долго истощалъ и утомлялъ свой духъ.

XXXVIII.

Парижъ, 19 декабря 1841.

Удержится ли Гизо? Господи Боже мой, въ этой странѣ никто не можетъ долго удержаться; все шатается, даже луксорскій обелискъ! Это не гипербола, но буквальная правда; уже нѣсколько мѣсяцевъ здѣсь говорятъ, что обелискъ стоитъ нетвердо на своемъ фундаментѣ, что онъ по временамъ покачивается, и въ одно прекрасное утро обрушится на голову тѣхъ, которые будутъ проходить мимо него въ эту минуту. Боязливые стараются уже теперь, когда ихъ путь лежитъ черезъ площадь Louis Quinze, идти подальше отъ готоваго рушиться величія. Храбрые, конечно, идутъ обыкновенною дорогой, не сторонятся ни на палецъ, но все-таки, проходя мимо, не могутъ не взглянуть искоса, дѣйствительно ли огромный камень сталъ шататься. Какъ бы то ни было, но всегда дурно, когда публика сомнѣвается въ прочности вещей; съ вѣрою въ ихъ прочность исчезаетъ лучшая опора ихъ. Удержится ли онъ? Во всякомъ случаѣ, я думаю, что, по крайней мѣрѣ, слѣдующее засѣданіе палаты переживутъ какъ обелискъ, такъ и Гизо, который имѣетъ съ первымъ нѣкоторое сходство, напримѣръ то, что онъ такъ же не стоитъ на своемъ надлежащемъ мѣстѣ. Да, они оба стоятъ не на своихъ надлежащихъ мѣстахъ, они насильственно пересажены въ непригодное для нихъ сосѣдство. Обелискъ стоялъ нѣкогда передъ исполинскими колоннами, украшающими входъ въ луксорскій храмъ, который похожъ на колоссальный гробъ и заключаетъ въ себѣ вымершую мудрость первобытнаго міра, высохшіе трупы царей, набальзамированную смерть. Подлѣ него стоялъ его близнецъ изъ такого же краснаго гранита и такой же пирамидальной наружности, и путь къ этимъ двумъ памятникамъ шелъ между двумя рядами сфинксовъ, нѣмыхъ загадочныхъ звѣрей, животныхъ съ человѣческими головами египетскихъ доктринеровъ. Конечно такая обстановка была для обелиска гораздо болѣе подхо-

дяща, чѣмъ та, которая выпала ему на долю на площади Louis Quinze, самой новой площади во всемъ мірѣ, площади, на которой собственно началось новое время и гдѣ преступный топоръ насильственно отсѣкъ его отъ прошедшаго. Великій обелискъ, можетъ-быть, дѣйствительно дрожитъ и шатается, потому что ему страшно стоять на такой безбожной почвѣ, ему, который, точно каменный швейцаръ въ гіероглифической ливреѣ, стоялъ въ продолженіи цѣлыхъ тысячелѣтій передъ священными дверями фараоновыхъ гробницъ и абсолютнаго царства мумій? Во всякомъ случаѣ, онъ здѣсь очень изолированъ, почти комически изолированъ, стоя между театральными постройками новаго времени, изваяніями во вкусѣ рококо, фонтанами съ раззолоченными наядами, аллегорическими статуями французскихъ рѣкъ, въ пьедесталѣ которыхъ помѣщается комната привратника, окруженный Arc de Triomphe, тюильрійскимъ дворцомъ и палатою депутатовъ,—почти точно такъже, какъ стоитъ жречески глубокомысленный, египитски неповоротливый и молчаливый Гизо между имперіалистически грубымъ Сультомъ, меркантильно плоскоголовымъ Гюманомъ и пустымъ болтуномъ Вильменомъ, выкрашеннымъ полувольтерьянской и полукатолической краской и у котораго во всякомъ случаѣ одною полосою больше, чѣмъ нужно.

Но оставимъ Гизо, и будемъ говорить только объ обелискѣ; совершенно вѣрно, что говорятъ о его скоромъ паденіи. Толкуютъ, что подъ тихими лучами нильскаго солнца, въ своемъ родномъ спокойствіи и уединеніи, онъ могъ бы простоять еще цѣлыя тысячелѣтія; но что здѣсь, въ Парижѣ, его волнуетъ постоянная перемѣна погоды, лихорадочно истощающая анархическая атмосфера, безпрестанно вѣющій влажно холодный вѣтерокъ, дѣйствующій на здоровье гораздо вреднѣе, чѣмъ палящій самумъ пустыни; однимъ словомъ, что парижскій воздухъ очень нездоровъ для него. Истиннымъ соперникомъ луксорскаго обелиска все еще остается Вандомская колонна. Прочно ли стоитъ она? Не знаю, но она стоитъ на своемъ надлежащемъ мѣстѣ и гармонируетъ съ тѣмъ что окружаетъ ее. Она крѣпко пустила корни въ національной почвѣ, а это прочная опора. Совершенно прочная? Нѣтъ, здѣсь во Франціи ничто не стоитъ совершенно прочно. Буря уже однажды свергнула съ вершины Вандомской колонны капиталъ, желѣзнаго человѣка капитала, и станъ коммунисты во главѣ правленія, это, конечно, повторилось бы еще разъ, если еще не слу-

чится такъ, что радикальное бѣшеное стремленіе къ равенству ниспровергнетъ и самую колонну, для того, чтобы истребить также этотъ памятникъ и символъ жажды славы: ни одинъ человѣкъ и ни одно человѣческое произведеніе не должны выходить изъ общаго комунистическаго уровня, и строительному искусству, точно такъ же, какъ эпической поэзіи, грозитъ погибель. «Къ чему еще строить памятники честолюбивымъ убійцамъ народа? — сказалъ недавно одинъ республиканецъ, по случаю объявленія конкурса на проектъ мавзолея Наполеона—на это будутъ истрачены деньги нуждающагося народа, а мы вѣдь, все-таки, разобьемъ его, когда придетъ время!» Да, умершему герою слѣдовало бы остаться на островѣ св. Елены, и я не ручаюсь ему за то, что когда-нибудь не разобьютъ его гробницу и не бросятъ его трупъ въ прекрасную рѣку, на берегахъ которой онъ долженъ былъ такъ сентиментально покоиться, именно въ Сену! Тьеръ, какъ министръ, оказалъ ему, можетъ-быть, не совсѣмъ хорошую услугу.

Большую услугу оказываетъ онъ императору, какъ историкъ, и великою исторической книгой, надъ которой онъ постоянно работаетъ, несмотря на всѣ свои политическія треволненія, онъ воздвигаетъ Наполеону памятникъ, болѣе прочный, чѣмъ Вандомская колонна и проэктированная гробница. Эта книга, какъ увѣряетъ меня издатель ея, имѣющій уже въ своихъ рукахъ бо̀льшую часть сочиненія, въ послѣднее время очень подвинулась впередъ. Этотъ издатель—г. Дюбоше, одинъ изъ благороднѣйшихъ и правдивѣйшихъ людей, какихъ я только знаю; злонамѣренность должна поэтому, признать, что я сообщаю не изъ нечистаго источника. Другіе, достойные вѣроятія и приближенные къ Тьеру люди увѣряли меня, что онъ день и ночь занятъ своею книгой. Его самого я не видѣлъ со времени его возвращенія изъ Германіи, но съ радостью также слышу, что своимъ тамошнимъ пребываніемъ онъ не только достигъ своихъ исторіографическихъ цѣлей, но и познакомился съ нѣмецкими дѣлами гораздо лучше, чѣмъ зналъ ихъ, когда былъ министромъ. О нѣмецкомъ народѣ онъ отзывается съ большою любовью и полнымъ уваженіемъ, и взглядъ на наше отечество, вынесенный имъ оттуда, будетъ имѣть благодѣтельное вліяніе, во всякомъ случаѣ, станетъ ли снова Тьеръ во главѣ правленія, или удержитъ въ рукѣ только грифель исторіи. Только Тьеръ имѣетъ въ себѣ всѣ данныя для того, чтобы писать великую исторію Наполеона Бонапарте,

и онъ напишетъ ее лучше, чѣмъ тѣ, которые считаютъ себя особенно призванными къ этому дѣлу на томъ основаніи, что они были вѣрными сопутниками императора и даже постоянно находились въ соприкосновеніи съ его особой. Личные знакомые великаго героя, его сподвижники, его камердинеры, его камергеры, секретари, адъютанты, можетъ-быть, вообще его современники, менѣе всякаго другого способны писать его исторію; иногда они мнѣ кажутся маленькимъ насѣкомымъ, которое ползаетъ по головѣ человѣка, находится собственно въ самой непосредственной близости отъ его мыслей, повсюду сопровождаетъ его, и при этомъ, однако, не имѣетъ ни малѣйшаго понятія о его жизни и значеніи его дѣйствій. Не могу при этомъ случаѣ не обратить вашего вниманія на гравюру, выставленную въ настоящую минуту во всѣхъ магазинахъ и изображающую императора; это копія съ картины Деларошa, нарисованной имъ для леди Сандвичъ. Здѣсь (какъ и во всѣхъ своихъ произведеніяхъ) живописецъ дѣйствовалъ, какъ эклектикъ, и пользовался многими, неизвѣстными публикѣ, портретами находящимися во владѣніи семейства Бонапарте, кромѣ того, маскою покойнаго императора, затѣмъ подробностями о характеристическихъ чертахъ лица Наполеона, сообщенными ему нѣкоторыми дамами, и наконецъ, собственными своими воспоминаніями, такъ какъ въ юности онъ часто видѣлъ императора. Моего мнѣнія объ этой картинѣ я не могу сообщить здѣсь, потому что въ этомъ случаѣ мнѣ пришлось бы въ то же время подробно говорить о всей манерѣ Деларошa. Но самое главное я уже указалъ: это—эклектическій пріемъ работы, который способствуетъ нѣкоторой внѣшней правдѣ, но препятствуетъ обнаруженію какой бы то ни было глубокой основной мысли.—Этотъ новый портретъ императора появился у Ритнера и Гупиля, которые издаютъ гравюры почти со всѣхъ извѣстныхъ картинъ Деларошa. Недавно они издали его Карла I, надъ которымъ въ тюрьмѣ издѣваются солдаты и палачи, а въ pendant къ этой картинѣ напечатанъ въ томъ же самомъ форматѣ графъ Стаффордъ, который, идя на казнь, проходитъ мимо темницы, гдѣ сидитъ въ заточеніи и посылаетъ графу свое благословеніе епископъ Лау; видны только протянутыя сквозь рѣшетку окошка руки его, похожія на двѣ деревянныя палки — очень прозаическая безвкусица. Въ томъ же самомъ магазинѣ появилась и большая картина Деларошa «Умирающій Ришелье», на которой кардиналъ изображенъ

генералъ-прокурору Габеру; «m-r Fould (прибавляетъ газета) ressemble beaucoup à un discours d'accusateur public».

XL.

Парижъ, 12 января 1842.

Мы смѣемся надъ бѣдными лапландцами, которые, когда у нихъ болитъ грудь, оставляютъ свою родину и ѣдутъ въ Петербургъ, чтобы пользоваться тамъ мягкимъ воздухомъ южнаго климата. Алжирскіе бедуины, находящіеся здѣсь, могутъ также основательно смѣяться надъ многими изъ нашихъ соотечественниковъ, которые, ради своего здоровья, охотнѣе проводятъ зиму въ Парижѣ, чѣмъ въ Германіи, и воображаютъ себѣ, что Франція теплая страна. Увѣряю васъ, что у насъ въ Люнебургской степи не можетъ быть холоднѣе, чѣмъ здѣсь въ настоящую минуту, когда я пишу вамъ окоченѣвшими пальцами. Въ провинціи тоже стоятъ жестокіе холода. Депутаты, прибывающіе сюда въ настоящее время, разсказываютъ только о снѣгѣ, льдѣ и опрокинутыхъ дилижансахъ. Ихъ лица еще красны, ихъ мозгъ замерзъ, ихъ мысли стоятъ на девяти градусахъ ниже нуля. При составленіи адреса они оттаютъ. Все имѣетъ теперь замороженный и мрачный видъ. Ни малѣйшаго единодушія въ важнѣйшихъ вопросахъ и постоянная перемѣнчивость. Чего хотѣли вчера, того уже не хотятъ сегодня, и Богъ вѣсть, чего захотятъ завтра. Кромѣ вражды и недовѣрія, колебанія и разъединенія, нѣтъ ничего. Король Филиппъ примѣнилъ до самой крайней и вредной мѣры правило своего македонскаго тезки: «разъединяй и властвуй». Слишкомъ большое разъединеніе затрудняетъ, въ свою очередь, правительственную власть, особенно конституціонную, и Гизо придется очень тяжело съ раздорами и спорами членовъ палаты. Гизо до сихъ поръ остается защитникомъ и хранителемъ существующаго порядка. Но такъ-называемые друзья существующаго порядка, консерваторы, мало помнятъ о немъ, и уже позабыли, что еще въ прошедшую пятницу, въ одинъ и тотъ же часъ, раздавались крики: «á bas Guizot!» и «vive Lamennais!» Для человѣка порядка, для великаго основателя спокойствія, дѣйствительно, было косвеннымъ тріумфомъ, что его унижали для прославленія этого страшнаго священника, который соединяетъ политическій фанатизмъ съ религіознымъ и совершаетъ послѣднее помазаніе надъ хаосомъ міра. Бѣдный Гизо, бѣдный школьный учитель, бѣдный ректоръ-магнификусъ Франціи! Тебѣ

поэтъ регентъ, или студенты, которые поступили бы гораздо лучше, если бы изучали твои книги, заключающія въ себѣ столько поученій, столько глубокомыслія, столько указаній относительно счастія человѣчества! «Берегись, — говорилъ одинъ демагогъ одному великому патріоту — когда народъ обезумѣетъ, онъ разорветъ тебя». А патріотъ отвѣчалъ: «Берегись ты, потому что тебя разорветъ народъ, когда снова вернется къ разсудку». То же самое могли бы сказать въ прошедшую пятницу другъ другу Ламнэ и Гизо. Вышеупомянутая шумная сцена имѣла характеръ болѣе серьезный чѣмъ тотъ, который приписали ей газеты. Эти послѣднія, какъ министерскія, такъ и оппозиціонныя, имѣли свой интересъ нѣсколько ступевать это происшествіе; оппозиціонныя газеты поступили такъ потому, что эта манифестація не нашла почти никакого отголоска въ народѣ. Народъ смотрѣлъ на нее спокойно и зябнулъ. При девяти градусахъ холода въ Парижѣ нечего бояться ниспроверженія правительства. Зимой здѣсь еще никогда не было возмущеній. Со времени штурма Бастиліи до возстанія Барбеса, народъ всегда откладывалъ обнаруженіе своего неудовольствія до болѣе теплыхъ мѣсяцевъ, когда погода хороша и драться можно съ удовольствіемъ.

XLI.

Парижъ, 24 января 1842.

Въ парламентской аренѣ на этихъ дняхъ снова происходилъ блистательный поединокъ между Гизо и Тьеромъ, этими двумя людьми, имена которыхъ въ устахъ каждаго и постоянные толки о которыхъ должны, въ концѣ-концовъ, прискучить. Я удивляюсь, какъ французовъ до сихъ поръ не вывело изъ терпѣнія, что уже столько лѣтъ, съ утра до вечера, постоянно болтаютъ объ этихъ двухъ личностяхъ. Но въ сущности, вѣдь не о личностяхъ, а о системахъ здѣсь идетъ рѣчь, системахъ, о которыхъ невозможно не говорить тамъ, гдѣ существованію государства грозятъ опасности извнѣ, будь это въ Китаѣ или во Франціи, съ тою только разницею, что то, чему во Франціи даютъ названіе Гизо и Тьера, въ Китаѣ называется Линъ и Кишанъ. Линъ — китайскій Тьеръ и служитъ представителемъ той системы войны, которая хотѣла отклонить грозившую опасность силою оружія, а можетъ-быть, только устрашающимъ шумомъ его. Напротивъ того, Кишанъ — китайскій Гизо; онъ представитель системы мира, и не останься перевѣсъ на сто-

ронѣ партіи Тьера въ Пекинѣ, ему, можетъ-быть, удалось бы посредствомъ умной уступчивости снова вѣжливо выпроводить изъ Китая красноволосыхъ варваровъ. Бѣдный Кишанъ! Именно потому, что мы находимся такъ далеко отъ мѣста дѣйствія, могли мы увидѣть съ полною ясностью, что ты былъ совершенно правъ въ своемъ недовѣріи къ военнымъ силамъ Серединной имперіи и поступалъ совершенно честно относительно твоего императора, который не такъ разсудителенъ, какъ Людовикъ Филиппъ! Меня искренно порадовало, когда я на этихъ дняхъ прочелъ въ «Allgemeine Zeitung», что достойнѣйшаго Кишана не распилили пополамъ, какъ это писали прежде, но только конфисковали его громадное состояніе. Этого послѣдняго наказанія нечего бояться здѣшнему представителю системы мира; если онъ падетъ, то богатство его нельзя будетъ конфисковать—Гизо бѣденъ, какъ церковная мышь. И нашъ Линъ тоже бѣденъ, какъ я уже не разъ говорилъ; я убѣжденъ, что свою исторію имперіи онъ пишетъ, главнымъ образомъ, изъ-за денегъ. Какая слава для Франціи, что оба человѣка, управляющіе всею ея силою — два бѣдные мандарина, которые свои сокровища носятъ только въ своихъ головахъ.

Послѣднія рѣчи ихъ вы читали и нашли, можетъ-быть, въ нихъ много поучительнаго насчетъ путаницы, являющейся непосредственнымъ послѣдствіемъ восточнаго вопроса.

Особенно поразительна въ настоящую минуту кротость русскихъ, когда рѣчь идетъ о неприкосновенности турецкой имперіи. Но истинная причина здѣсь въ томъ, что фактически они владѣютъ уже самою большою частью этого государства. Турція, мало-по-малу, сдѣлается русскою собственностью безъ насильственной оккупаціи. Русскіе слѣдуютъ тутъ методѣ, которую я скоро постараюсь освѣтить надлежащимъ образомъ. Для нихъ нужна дѣйствительная власть, а не видимая только, не византійская титулатура. Константинополю не уйти отъ нихъ, они возьмутъ его, какъ только найдутъ это удобнымъ. Въ настоящую минуту это для нихъ еще неудобно, и о Турціи они говорятъ съ мягкимъ, почти гернгутерскимъ миролюбіемъ.

. . . . . .

XLII.

Парижъ, 7 февраля 1842.

«Мы пляшемъ здѣсь на вулканѣ»—но мы пляшемъ. Что бродитъ, кипитъ и шумитъ въ вулканѣ, до этого намъ се-

годня дѣла не будетъ, и мы посмотримъ только на то, какъ на вулканѣ танцуется. Для этого обратимся прежде всего къ «Académie royale de musique», гдѣ все еще существуетъ почтенный «corps de ballet», честно сохраняющій хореграфическія преданія и на который должно смотрѣть, какъ на перство танцовальнаго искусства. Точно какъ другое перство, засѣдающее въ Люксамбургѣ, это перство считаетъ также въ своемъ числѣ множество париковъ и мумій, о которыхъ я и говорить не стану изъ легко понятной боязни. Мнѣ памятна участь г. Перре, редактора «Siècle», котораго недавно присудили къ шестимѣсячному заключенію въ тюрьмѣ и къ 10.000 франковъ пени. Буду говорить только о Карлотѣ Гризи, которая въ почтенной компаніи улицы Лепельтье блистаетъ какъ апельсинъ между картофелемъ. Кромѣ счастливаго сюжета, заимствованнаго изъ писаній одного нѣмецкаго автора, Карлота Гризи наиболѣе содѣйствовала неслыханному успѣху балета «Вилисы». Но какъ прелестно танцуетъ она! Когда на нее смотришь, забываешь, что Тальони въ Россіи, а Эльслеръ въ Америкѣ, забываешь даже вовсе объ Америкѣ и о Россіи, да и обо всемъ земномъ шарѣ, и съ нею вмѣстѣ витаешь въ висячихъ волшебныхъ садахъ того царства духовъ, гдѣ она царицей. Да, въ ней весь характеръ стихійныхъ духовъ, которыхъ мы себѣ представляемъ вѣчно танцующими и о чарующихъ пляскахъ которыхъ народъ разсказываетъ такія чудеса. Въ легендѣ о виллисахъ то таинственное, бѣшеное, подчасъ гибельное для человѣчества пляскобѣсіе, которое свойственно стихійнымъ духамъ, было перенесено и на умершихъ невѣстъ, къ древнеязычески своенравному веселью русалокъ и эльфовъ присоединились еще меланхолически сладострастные мрачно сладостные ужасы средневѣковой вѣры въ привидѣнія.

Отвѣчаетъ ли музыка фантастическому сюжету этого балета? Адольфъ Адамъ, написавшій для него музыку, могъ ли изобрѣсти плясовыя мелодіи, которыя, какъ говоритъ народная легенда, заставляли бы деревья лѣса танцовать, а водопадъ остановиться? Г. Адамъ былъ, сколько мнѣ извѣстно, въ Норвегіи, но сомнѣваюсь, чтобы его тамъ какой-нибудь кудесникъ, знатокъ рунной грамоты, выучилъ той мелодіи «стрёмкарла», которой никто не смѣетъ играть больше десяти варіацій; а есть еще одиннадцатая, причиняющая большія бѣды: когда ее играютъ, вся природа приходитъ въ смятеніе, горы и скалы пускаются въ плясъ, и дома въ

плясъ, и въ домахъ пляшутъ столы и стулья, дѣдушка беретъ бабушку, собака беретъ кошку, даже дѣти выпрыгиваютъ изъ колыбелей и пляшутъ. Нѣтъ, такихъ опасныхъ мелодій г. Адамъ, навѣрное, не привезъ изъ своего сѣвернаго путешествія, но то, что онъ намъ далъ, весьма почтеннаго свойства, и онъ занимаетъ весьма замѣтное мѣсто между композиторами французской школы.

Не могу не упомянуть здѣсь, что христіанская церковь, принявшая въ свое лоно всѣ изящныя искусства и заставившая ихъ служить себѣ, съ однимъ только танцовальнымъ искусствомъ не знала, что начать, и отбросила его и проклала. Быть-можетъ, пляска слишкомъ напоминала древнее богослуженіе язычниковъ, какъ римскихъ, такъ и германскихъ и кельтскихъ, боги которыхъ понемногу превратились въ тѣ эльфоподобныя существа, которымъ, какъ я выше замѣтилъ, народное вѣрованіе приписывало чудесную страсть къ пляскѣ. Вообще врага человѣческаго рода начали, наконецъ считать главою и покровителемъ пляски, и въ его преступномъ сообществѣ вели вѣдьмы и колдуны свои ночные хороводы. Пляска—гласитъ одна благочестивая бретонская народная пѣсня—пляска проклята съ тѣхъ поръ, какъ Иродіада плясала передъ злымъ царемъ, который, въ угоду ей, казнилъ Іоанна Крестителя. «Когда ты видишь пляску,—прибавляетъ пѣсня: — вспомни объ окровавленной головѣ Крестителя на блюдѣ—и бѣсовскія вожделѣнія не возымѣютъ власти надъ душой твоей». Танцы въ Académie royale de musique, если объ нихъ подумать посерьезнѣе, покажутся опытомъ отчасти охристіанить это архіязыческое искусство, и французскій балетъ отзывается почти галликанскою церковью, если даже не янсенизмомъ, какъ и всѣ проявленія изящныхъ искусствъ въ великомъ вѣкѣ Людовика XIV. Французскій балетъ въ этомъ отношеніи—родственный pendant къ Расиновской трагедіи и къ Ленотровскимъ садамъ. Тутъ господствуетъ таже симетричность плана, тотъ же этикетъ, та же придворная холодность, та же жеманность, та же цѣломудренность. Дѣйствительно, форма и сущность французскаго балета цѣломудренны, но глаза танцовщицъ прибавляютъ къ самымъ скромнымъ на очень порочный комментарій, а ихъ расчетная улыбка въ постоянномъ противорѣчіи съ ихъ ногами. Въ такъ-называемыхъ національныхъ пляскахъ мы замѣчаемъ совсѣмъ противоположное, отчего онѣ для меня въ тысячу разъ привлекательнѣе балетовъ Большой Оперы. Народныя пляски часто чересчуръ чув-

ственны, почти неприличны въ ихъ формахъ, напримѣръ, пляски индійскія; но священная серьезность на лицахъ плящущихъ сообщаетъ нравственность этому танцу и возвышаетъ его даже на степень культа. Великій Вестрисъ сказалъ однажды словечко, надъ которымъ довольно посмѣялись. Въ своемъ обычномъ патетическомъ тонѣ сказалъ онъ именно одному изъ своихъ учениковъ: «Великій танцоръ долженъ быть добродѣтеленъ». Странно! Вотъ ужъ сорокъ лѣтъ, что великій Вестрисъ въ могилѣ (онъ не могъ пережить паденія дома Бурбоновъ, съ которымъ фамилія Вестрисъ всегда была дружна), и только въ прошломъ декабрѣ, когда я присутствовалъ при открытіи палатъ и предавался своимъ мечтамъ, вспомнился мнѣ покойный Вестрисъ, и будто по вдохновенію вдругъ понялъ я значеніе его глубокомысленнаго изрѣченія: «великій танцоръ долженъ быть добродѣтеленъ».

О балахъ нынѣшняго года я могу сказать немного, такъ какъ покамѣстъ очень немногіе вечера удостоилъ своимъ присутствіемъ. Это вѣчное однообразіе начинаетъ мнѣ страшно надоѣдать, и я не понимаю, какъ мужчина можетъ это долго выдерживать. Дамъ я очень хорошо понимаю. Для нихъ нарядъ, которымъ онѣ пощеголять могутъ, самое существенное. Приготовленія къ балу, выборъ платья, процессъ одѣванья, прически, пробы улыбочекъ передъ зеркаломъ, словомъ, мишура и страсть нравиться — для нихъ главное дѣло и доставляютъ усладительнѣйшее развлеченіе. Но для насъ, мужчинъ, которые надѣваютъ только демократическіе фраки и и башмаки (ужасные башмаки!) — для насъ балъ есть неистощимый источникъ скуки, перемѣшанной съ нѣсколькими стаканами оршада и лимонада. О милой музыкѣ на балахъ ужъ и говорить не стану. Что балы большого свѣта дѣлаетъ еще скучнѣе, чѣмъ они должны быть по Божьимъ и человѣческимъ законамъ, — это господствующая на нихъ мода танцовать только для вида, предписываемыя танцомъ фигуры исполнять шажкомъ, передвигать ноги совсѣмъ равнодушно, почти сердито. Никто нынче не хочетъ увеселять другихъ, и этотъ эгоизмъ отражается и въ танцахъ нынѣшняго общества.

Низшіе классы, хотя они такъ охотно подражаютъ во всемъ большому свѣту, еще не дошли, однако, до такихъ эгоистическихъ танцевъ для виду; ихъ танцы еще реальность, но достойная большого сожалѣнія. Не знаю, какъ бы выразить странное чувство печали, которое меня охватываетъ

каждый разъ, какъ я въ общественныхъ увеселительныхъ мѣстахъ, и именно въ карнавалъ, смотрю на танцующій народъ. Визгливая, рѣзкая, преувеличенная музыка сопровождаетъ танцы, ближе или дальше граничащіе съ канканомъ. Здѣсь слышу я вопросъ: «что такое канканъ?» Господи! для «Allgemeine Zeitung» я долженъ написать опредѣленіе канкана! Ну, да будетъ такъ! Канканъ есть танецъ, который никогда не танцуется въ порядочномъ обществѣ, а только въ простыхъ танцовальныхъ заведеніяхъ, откуда тотъ или та, кто его танцуетъ, неминуемо попадаетъ въ руки городского сержанта и выводится за дверь. Не знаю, удовлетворительно ли мое опредѣленіе, но полагаю, что Германіи и знать не зачѣмъ въ точности, что̀ такое французскій канканъ. На столько-то изъ моего опредѣленія ужъ поймутъ, что въ этомъ танцѣ восхваляемая покойнымъ Вестрисомъ добродѣтель не составляетъ необходимой принадлежности и что французскій народъ даже въ танцахъ можетъ быть обезпокоиваемъ полиціей. Да, это вмѣшательство есть очень странное зло, и всякій мыслящій иностранецъ надивиться не можетъ, видя за спиной каждаго кадриля на публичномъ балу нѣсколькихъ агентовъ полицейскихъ или солдатъ муниципальной гвардіи, съ мрачною, катоновскою физіономіею охраняющихъ танцующую мораль. Дѣлается почти не понятно, какъ подъ такимъ постыднымъ контролемъ народъ можетъ еще сохранять свою смѣющуюся веселость и увлеченіе пляскою. Но галльское легкомысліе тутъ-то и дѣлаетъ свои самые веселые прыжки, когда на него надѣваютъ тюремный камзолъ, и хотя строгое око полиціи никакъ не допускаетъ канкана въ его цинической опредѣленности, танцующіе умѣютъ, однако, разными ироническими антрша и шаржированными жестами приличія выражать свои затаенныя мысли, и такого рода покрывало̀ оказывается еще безнравственнѣе, чѣмъ нагота. На мой взглядъ нравственность ничего не выигрываетъ отъ такого особеннаго вмѣшательства правительства въ танцы; вѣдь запрещенное имѣетъ въ себѣ самую соблазнительную силу, а утонченный, нерѣдко остроумный обходъ цензуры дѣйствуетъ здѣсь еще вреднѣе, нежели позволенный цинизмъ. Этотъ надзоръ надъ общественными увеселеніями характеризуетъ, впрочемъ, господствующій здѣсь порядокъ вещей и показываетъ, какъ далеко ушли французы въ дѣлѣ своей свободы.

Не одни только половыя отношенія служатъ, однако, предметомъ циническихъ танцевъ въ парижскихъ кабачкахъ.

Мнѣ иногда кажется, что тамъ танцуются насмѣшки надъ всѣмъ благороднымъ и святымъ въ жизни, но хитрецами представленнымъ въ такомъ опошленномъ видѣ, что народъ во все это давно уже не можетъ вѣрить. Да, онъ потерялъ вѣру въ тѣ высокія мысли, о которыхъ такъ много говорятъ и поютъ наши политическіе и литературные тартюфы, а фанфаронады безсилія до того опоганили передъ нимъ всѣ идеальныя вещи, что онъ видитъ въ этомъ только пустыя, безсмысленныя фразы, только такъ-называемую blague, и какъ это безотрадное міровоззрѣніе нашло себѣ представителя въ Роберъ Макерѣ, такъ выражается оно и въ танцахъ народа, на которые должно смотрѣть, собственно, какъ на пантомиму роберъ-макерства. Кто имѣетъ приблизительное понятіе объ этомъ послѣднемъ, понимаетъ теперь эти невыразимые танцы, которые осмѣиваютъ не только половыя, но и гражданскія отношенія, но и все, что хорошо и изящно, но и всякаго рода энтузіазмъ, патріотизмъ, вѣрность, вѣру, семейныя чувства, героизмъ, божество. Повторяю, меня наполняетъ несказанное чувство грусти, когда я смотрю на пляшущій народъ въ увеселительныхъ заведеніяхъ Парижа; и это особенно во время карнавала, когда безумные маскарады доводятъ демоническое веселье до невѣроятной степени. Почти ужасъ овладѣлъ мною во время одного изъ такихъ ночныхъ празднествъ въ зданіи Opéra comique, гдѣ, кстати сказать, опьянѣвшій шабашъ совершается гораздо великолѣпнѣе, чѣмъ на балахъ Большой Оперы. Здѣсь самъ Вельзевулъ управляетъ оркестромъ, и дерзкій адскій огонь газоваго освѣщенія страшно рѣжетъ глаза. Здѣсь та долина погибели, о которой разсказываютъ няньки; здѣсь пляшутъ чудовища, какъ у насъ въ Вальпургіеву ночь, и есть между ними очень красивыя, не теряющія при своей нравственной испорченности ту грацію, которая врождена дьявольскимъ француженкамъ. Когда же загремитъ общій галопадъ, сатанинскій спектакль достигаетъ своего безсмысленнѣйшаго апогея; кажется, будто вотъ-вотъ потолокъ залы треснетъ и вся компанія вдругъ понесется вверхъ, кто на метлѣ, кто на ухватѣ, кто на кочергѣ—«oben hinaus, nirgends an!»—опасная минута для многихъ изъ нашихъ земляковъ, которые, къ сожалѣнію, не волшебники и часто не знаютъ молитвы, которую надо произнести, чтобъ не быть унесенными вслѣдъ за бѣшенымъ войскомъ.

Часть вторая.

I.

Парижъ, средина апрѣля 1842.

Прошлымъ лѣтомъ, пріѣхавъ при отличной погодѣ въ Сетть, я увидѣлъ процессію, шедшую по набережной, передъ которою разстилается Средиземное море, и этого зрѣлища никогда не забуду. Впереди шли братства въ своихъ красныхъ, бѣлыхъ или черныхъ рясахъ, кающіеся, опустивъ на лицо капюшоны съ двумя дырками, откуда выглядывали глаза, какъ у привидѣній; въ рукахъ зажженныя восковыя свѣчи или хоругви. Потомъ шествовали монахи разныхъ орденовъ. За ними толпа всякаго народа, мужчины и женщины, блѣдныя, сосбенныя фигуры, шли набожно, съ трогательно печальнымъ пѣніемъ. Такихъ процессій я множество встрѣчалъ въ дѣтствѣ по Рейну, и не могу отрицать, что эти звуки пробудили во мнѣ какую-то грусть, родъ тоски по родинѣ. Но чего я прежде никогда не встрѣчалъ, и что здѣсь, вѣроятно, заимствовано по сосѣдству изъ Испаніи, была труппа дѣтей, представлявшихъ страсти Господни. Маленькій мальчикъ, въ такомъ костюмѣ, какъ обыкновенно изображаютъ Спасителя, съ терновымъ вѣнцомъ на головѣ, золотистыя кудри которой печально падали до плечъ, шелъ, согнувшись подъ тяжестью огромнаго деревяннаго креста; на лбу ярко намалеваны были капли крови, а на рукахъ и босыхъ ногахъ—знаки ранъ. Рядомъ съ нимъ шла маленькая дѣвочка, вся въ черномъ, какъ многоскорбящая Матерь; она несла на груди нѣсколько мечей съ позолоченными рукоятками и почти заливалась слезами — образъ глубочайшей скорби. Другіе маленькіе мальчики, шедшіе позади, представляли апостоловъ,

между ними и Іуда, съ рыжими волосами и съ кошелькомъ въ рукѣ. Два мальчугана были наряжены римскими воинами въ шлемахъ и махали своими саблями. Другіе дѣти представляли монаховъ во всемъ облаченіи; маленькіе капуцины, маленькіе іезуитики, маленькіе епископы въ митрѣ и съ посохомъ, прелестныя маленькія монашенки, никакъ не старше лѣтъ шести. И странно, тутъ же нѣкоторые изъ ребятишекъ были одѣты купидонами, съ шелковыми крылышками и золотыми колчанами, а совсѣмъ подлѣ маленькаго Спасителя кое-какъ двигались малютки едва ли четырехъ лѣтъ, въ древне-франкскомъ пастушьемъ нарядѣ, съ лентами на шляпахъ и посохахъ, до того милыя, что хотѣлось бы расцѣловать ихъ, похожія на марципанныя куколки; онѣ, вѣроятно, изображали пастуховъ, которые пришли поклониться Младенцу въ ясляхъ. Трудно повѣрить, но это зрѣлище, дѣйствительно, вызывало въ душѣ зрителя чувства самыя благоговѣйныя, и оттого, что невинныя дѣти лицедѣйствовали для изображенія величайшаго, колоссальнѣйшаго мученичества, впечатлѣніе было еще трогательнѣе! Это не было обезьянствомъ въ серьезномъ историческомъ стилѣ, не было гримасой лицемѣрія, не было лже-благочестіемъ въ берлинскомъ вкусѣ; это было наивнѣйшее выраженіе глубочайшей мысли, а дѣтски простая форма именно препятствовала, чтобы содержаніе дѣйствовало на нашу душу сокрушительно, или уничтожало само себя. Это содержаніе вѣдь полно такой громадной силы скорби и такой возвышенности, что превышаетъ и разрушаетъ самый героически грандіознѣйшій и патетически пирочайшій способъ изображенія. Вотъ почему величайшіе художники какъ въ живописи, такъ и въ музыкѣ, скрашивали безпредѣльные ужасы страстей Господнихъ сколь возможно большимъ количествомъ цвѣтовъ, и смягчали кровавую серьезность дѣтски играющею нѣжностью; такъ сдѣлалъ и Россини, когда написалъ «Stabat Mater». Этотъ «Stabat» Россини былъ замѣчательнѣйшимъ событіемъ только-что минувшаго сезона, толки объ этомъ произведеніи — все еще самый современный вопросъ, и именно оппозиція великому маэстро съ сѣверно-германской точки зрѣнія очень рельефно выставляетъ всю оригинальность и глубину его генія. Говорятъ, что концепція слишкомъ мірская, слишкомъ чувственная, слишкомъ игривая для духовнаго сюжета, что музыка слишкомъ легка, слишкомъ пріятна, слишкомъ занимательна — вотъ жалобы и стоны нѣ-

сколькихъ тяжеловѣсныхъ, скучныхъ критикановъ, которые, если не умышленно прикидываются крайними спиритуалистами, то, во всякомъ случаѣ, о духовной музыкѣ имѣютъ очень ограниченныя, очень превратныя понятія. Какъ между живописцами, такъ и у музыкантовъ господствуетъ совсѣмъ ложный взглядъ на обработку христіанскихъ предметовъ. Живописцы думаютъ, что истинно христіанское должно быть изображаемо тонкими и тощими контурами, и до послѣдней возможности безцвѣтно; произведенія Овербека составляютъ въ этомъ отношеніи ихъ идеалъ. Чтобы это ослѣпленіе опровергнуть фактомъ, стоитъ только указать на изображенія святыхъ въ испанской школѣ; полнота контуровъ и яркость красокъ здѣсь господствуютъ, а между тѣмъ, никто вѣдь спорить не станетъ, что эти испанскія картины дышатъ самымъ неослабленнымъ христіанствомъ и что художники, ихъ создавшіе, были упоены религіознымъ рвеніемъ не менѣе тѣхъ знаменитыхъ мастеровъ, которые приняли въ Римѣ католичество, чтобы имѣть возможность писать съ непосредственною искренностью вѣры. Не во внѣшней сухости и блѣдности отличительные признаки истинно-христіанскаго въ искусствѣ, а въ извѣстномъ внутреннемъ перенапряженіи, которое и въ музыкѣ, и въ живописи не дается ни изученіемъ, ни перемѣною исповѣданія. И вотъ почему я считаю «Stabat» Россини болѣе истинно христіанскимъ, нежели ораторію Феликса Мендельсона Бартольди «Paulus», выставленную противниками Россини, какъ образецъ христіанской музыки.

Да сохранитъ меня небо отъ порицанія такого заслуженнаго мастера, какъ авторъ «Павла», и всего менѣе пишущему эти строки придетъ въ голову издѣваться надъ христіанскимъ характеромъ этой ораторіи вслѣдствіе того, что Феликсъ Мендельсонъ Бартольди по происхожденью еврей. Не могу, однако, не замѣтить, что въ томъ возрастѣ, когда г. Мендельсонъ вошелъ въ христіанство (онъ окрещенъ тринадцати лѣтъ отъ роду), Россини уже покинулъ его и совершенно погрузился въ мірскую область оперной музыки. Теперь, когда онъ снова покинулъ ее и возвратился мечтами къ католическимъ воспоминаніямъ своей юности, къ тѣмъ временамъ, когда онъ пѣлъ въ хорѣ въ цезарскомъ соборѣ или аколитомъ участвовалъ въ служеніи обѣдни, теперь, когда прежніе звуки органа снова зашумѣли въ его памяти и онъ схватился за перо, чтобы написать свой «Stabat» — ему вовсе не было надобности сперва создать

въ себѣ научнымъ путемъ духъ христіанства, а тѣмъ менѣе—рабски копировать Генделя или Себастіана Баха; ему стоило только вызвать изъ сердца самые ранніе звуки дѣтства, и чудное дѣло! какъ ни серьезны, какъ ни глубоко скорбны эти звуки, какъ ни потрясающе выражаютъ они въ стонахъ, въ кровавыхъ вопляхъ самое потрясающее, но на нихъ все-таки лежитъ печать чего-то младенческаго, и мнѣ они напоминали то представленіе страстей Господнихъ дѣтьми, которое я видѣлъ въ Сеттѣ. Да, объ этомъ набожномъ маскарадѣ невольно вспомнилъ я, когда въ первый разъ слушалъ «Stabat» Россини; тутъ представлено безконечное, возвышенное мученичество Искупителя, но въ наивнѣйшихъ звукахъ юности; тутъ раздавались страшныя сѣтованья Mater dolorosa, но они вылетали какъ будто изъ невинно дѣтскаго горлышка; посреди флера глубочайшаго траура шумѣли крылышки всѣхъ граціозныхъ купидончиковъ, ужасы смерти на крестѣ были смягчены какъ будто шаловливою пасторалью, а чувство безконечности охватываетъ все кругомъ, какъ то синее небо надъ процессіею въ Сеттѣ, какъ то синее море, по берегу котораго съ пѣньемъ шла она! Вотъ въ чемъ вѣчная прелесть Россини, его несокрушимая кротость, которую не могли не только окончательно возмутить, но даже омрачить никакіе импресаріи, никакіе marchands de musique! Сколько злобы, сколько зависти и хитрости ни ополчалось противъ него въ жизни, но въ его музыкальныхъ твореніяхъ не отыскать ни одной капли желчи! Подобно источнику Аретузы, сохранившему свою коренную сладость, даже несмотря на протекавшія сквозь него горькія воды океана, сердце Россини сберегло свою мелодическую грацію и сладость, несмотря на то, что оно достаточно напилось изо всѣхъ чашъ житейской полыни.

Какъ я сказалъ, «Stabat» великаго маэстро былъ въ этомъ году главнымъ музыкальнымъ событіемъ. О первомъ, тонъ задающемъ, исполненіи мнѣ распространяться нечего; довольно, что пѣли итальянцы. Залъ Итальянской оперы казался преддверіемъ небесъ; тамъ рыдали священные соловьи и проливались самыя фешенебельныя слезы. И газета «France musicale» дала въ своихъ концертахъ большую часть «Stabat», и разумѣется, съ громаднѣйшимъ успѣхомъ. Въ этихъ концертахъ слышали мы также «Павла» г. Феликса Мендельсона Бартольди, который вслѣдствіе такого сосѣдства обращалъ на себя наше вниманіе и вызы-

валъ на сравненіе съ Россини. Въ большинствѣ публики эта параллель была никакъ не въ пользу нашего молодого земляка; впрочемъ, это все равно, что сравнивать Апеннины Италіи съ Темпловеръ-бергъ близъ Берлина. Безъ сомнѣнія, и Темпловеръ-бергъ изъ-за этого не теряетъ своихъ достоинствъ, и надлежащее почтеніе толпѣ онъ внушаетъ уже тѣмъ, что на вершинѣ его стоитъ крестъ «Симъ побѣдиши». Только это, разумѣется, не во Франціи, землѣ невѣрія, гдѣ г. Мендельсонъ постоянно терпѣлъ фіаско. Онъ былъ закланнымъ агнцомъ нынѣшняго сезона, тогда какъ Россини былъ музыкальнымъ львомъ, сладкій ревъ котораго еще продолжаетъ звучать въ ушахъ нашихъ. Здѣсь поговариваютъ, что г. Феликсъ Мендельсонъ на-дняхъ лично прибудетъ въ Парижъ. Достовѣрно то, что, благодаря высокимъ ходатайствамъ и дипломатическимъ стараніямъ, г. Леонъ Пилье былъ вынужденъ заказать г. Скрибу либретто, на которое музыку напишетъ Мендельсонъ для Большой Оперы. Удастся ли это дѣло юному земляку нашему? Не знаю. Артистическая способность его велика, замѣчательна; но въ ней очень неблагопріятные предѣлы и недочеты. Въ отношеніи таланта я нахожу большое сходство между г. Феликсомъ Мендельсономъ и mademoiselle Рашель Феликсъ, трагической актрисой. Обоимъ свойственна значительная, строгая, очень серьезная серьезность, рѣшительная, почти назойливая склонность опираться о классическіе образцы, тончайшій умнѣйшій расчетъ во всемъ, острота соображенія и наконецъ — полное отсутствіе наивности. А бываетъ ли въ искусствѣ геніальная оригинальность безъ наивности? До сихъ поръ такихъ примѣровъ не встрѣчалось.

II.

Парижъ, 2 іюня 1842.

Académie des sciences morales et politiques не захотѣла подвергнуть себя порицанію и въ засѣданіи 28 мая отложила до 1844 г. присужденіе преміи за лучшій «Examen critique de la philosophie allemande». На сочиненіе подъ этимъ заглавіемъ она назначила конкурсъ, съ цѣлью получить, немного немало, критическое изложеніе нѣмецкой философіи отъ Канта до нынѣшнихъ дней, съ особеннымъ обращеніемъ вниманія на перваго,—на великаго Эммануила Канта, о которомъ французы слышали такъ много, что, наконецъ, ощутили почти любопытство. Нѣкогда самъ Напо-

леонъ желалъ узнать философію Канта и поручилъ какому-то французскому ученому составить для него résumé ея, но не пространнѣе, какъ на нѣсколькихъ страницахъ. Государямъ стоитъ только приказать. Résumé былъ составленъ немедленно и въ указанной формѣ. Какая это вышла работа,—извѣстно только Господу Богу; я знаю только, что императоръ, внимательно прочитавъ эти нѣсколько страницъ, сказалъ: «Все это лишено практическаго достоинства, и міру приносятъ мало пользы такіе люди, какъ Кантъ, Каліостро, Сведенборгъ и Филадельфія». — Большинство французовъ продолжаетъ считать Канта туманнымъ, если еще не отуманеннымъ мечтателемъ, и еще недавно, въ одномъ французскомъ романѣ, я встрѣтилъ фразу: «le vague mystique de Kant». Одинъ изъ величайшихъ философовъ Франціи безспорно Пьеръ Леру, а между тѣмъ, шесть лѣтъ тому назадъ, онъ сознался мнѣ, что только изъ книги «Allemagne» Генриха Гейне онъ узналъ, что нѣмецкая философія совсѣмъ не такъ мистична и религіозна, какъ увѣряли до сихъ поръ французскую публику, а напротивъ того, очень холодна, почти ледянисто отвлеченна и атеистична до отрицанья Всевысочайшаго.

Въ вышеупомянутомъ засѣданіи академіи Минье, secretaire perpétuel, прочелъ notice historique о жизни и дѣятельности умершаго Дестю де-Траси. Здѣсь, какъ и во всѣхъ остальныхъ произведеніяхъ своихъ, Минье выказалъ свой великій, прекрасный талантъ изложенія, удивительную способность пониманія всѣхъ характеристическихъ моментовъ времени и обстоятельствъ жизни, свой ясный, свѣтлый умъ, свое богатство чувства и непоколебимое, юношески цвѣтущее сочувствіе къ благу человѣчества. Рѣчь его о Дестю де-Траси уже появилась въ печати, и потому въ подробномъ рефератѣ о ней не предстоитъ надобности. Выскажу здѣсь только нѣкоторыя замѣчанія, особенно сильно тѣснившіяся въ мою голову въ то время, когда Минье разсказывалъ прекрасную жизнь дворянина, который вышелъ изъ самаго гордаго феодальнаго дворянства и въ юности былъ храбрымъ солдатомъ, но потомъ, съ великодушнѣйшимъ самоотреченіемъ и самопожертвованіемъ, перешелъ на сторону партіи прогресса и оставался вѣренъ ей до послѣдней минуты. Тотъ самый человѣкъ, который въ осьмидесятыхъ годахъ жертвовалъ, вмѣстѣ съ Лафайетомъ, имуществомъ и кровью за дѣло свободы, 29 іюля 1830 г. снова встрѣтился со своимъ старымъ другомъ на париж-

скихъ баррикадахъ, образъ мыслей его былъ тотъ же, что и прежде, только блескъ глазъ потухъ, сердце же осталось свѣтлымъ и молодымъ. Во французскомъ дворянствѣ очень много, поразительно много подобныхъ явленій, и народъ знаетъ это, и этихъ дворянъ, выказывающихъ такую преданность его интересамъ, называетъ, «Les bons nobles». Недовѣріе къ дворянству вообще можетъ быть въ революціонное время полезно, но тѣмъ не менѣе оно всегда останется несправедливостью. Въ этомъ отношеніи великій урокъ черпаемъ мы въ жизни Траси, Рошфуко, д'Аржансона, Лафайета и тому подобныхъ рыцарей—защитниковъ народныхъ правъ.

Какъ въ былое время мечъ Дестю де-Траси, такъ потомъ духъ его оказался прямымъ, непреклоннымъ и рѣзкимъ, когда онъ бросился въ ту матеріалистическую философію, которой далъ во Франціи право господства Кондильякъ. Кондильякъ не смѣлъ высказывать послѣдніе выводы этой философіи и, подобно большей части воспитанниковъ своей школы, продолжалъ отводить духу хотя скромный уголокъ во всемірномъ царствѣ матеріи. Но Дестю де-Траси лишилъ духъ и этого послѣдняго прибѣжища, и странное дѣло! въ то самое время, когда у насъ въ Германіи идеализмъ довели до послѣдней крайности, а матерію стали отрицать, во Франціи матеріалистическій принципъ взобрался на высшую точку, и тутъ началось отрицаніе духа. Дестю де-Траси былъ, такъ сказать, Фихте матеріализма.

Удивительное дѣло, что Наполеонъ относился къ философскому кружку, считавшему въ числѣ своихъ членовъ Траси, Кабаниса и ихъ послѣдователей, съ такою боязливою непріязнью, и обращался съ нимъ весьма строго. Онъ называлъ ихъ идеологами и питалъ смутную, почти суевѣрную боязнь къ этой идеологіи, которая, однако, была ничто иное, какъ пѣнистая накипь матеріалистической философіи; эта послѣдняя, конечно, содѣйствовала величайшему перевороту и обнажила страшнѣйшую силу разрушенія, но ея призваніе было окончено, а слѣдовательно, и вліяніе прекратилось. Съ болѣе угрожающимъ и опаснымъ характеромъ явилась противуположная ей доктрина, незамѣтно выплывшая наружу въ Германіи и впослѣдствіи столь сильно способствовавшая ниспроверженію французскаго насильственнаго господства. Удивительно, что Наполеонъ и въ этомъ случаѣ понималъ только прошедшее, а будущаго не видѣлъ и не слышалъ. Онъ чуялъ гибельнаго врага въ

царствѣ мысли, но искалъ этого врага между старыми париками, еще пылившимися пудрою XVIII столѣтія; онъ искалъ его между французскими старцами, вмѣсто того, чтобы обратиться къ бѣлокурой молодежи нѣмецкихъ университетовъ. Въ этомъ отношеніи нашъ Иродъ поступалъ гораздо смѣтливѣе, когда преслѣдовалъ опасное племя въ колыбели и приказалъ совершить избіеніе младенцевъ. Но и ему немного пользы принесла эта смѣтливость, которую посрамила воля Провидѣнія: палачи его пришли слишкомъ поздно, страшный для него ребенокъ былъ уже не въ Виѳлеемѣ, вѣрный осленокъ уносилъ Его, спасая, въ Египетъ. Да, Наполеонъ обладалъ проницательностью для пониманія настоящаго или оцѣнки прошедшаго, и былъ совершенно слѣпъ, когда дѣло шло о какомъ-нибудь явленіи, въ которомъ возвѣщало себя будущее. Онъ стоялъ на балконѣ своего замка въ С.-Клу, когда мимо этого мѣста плылъ по Сенѣ первый пароходъ, — и ни на волосъ не понялъ преобразовательно мірового значенія этого феномена!

III.

Парижъ, 20 іюня 1842.

Въ странѣ, гдѣ тщеславіе имѣетъ такъ много ревностныхъ служителей, время выборовъ въ палату депутатовъ всегда должно быть очень тревожное. Но такъ какъ депутатство не только щекочетъ самолюбіе, но и ведетъ къ жирнѣйшимъ должностямъ и доходнѣйшимъ вліяніямъ, такъ какъ, слѣдовательно, здѣсь пускается въ ходъ не только честолюбіе, но и корыстолюбіе, такъ какъ здѣсь дѣло идетъ и о тѣхъ матеріальныхъ интересахъ, которымъ нашъ вѣкъ такъ искренно поклоняется, то выборы въ депутаты — настоящая скачка, зрѣлище которой для посторонняго наблюдателя скорѣе курьезно, чѣмъ увеселительно. Дѣло въ томъ, что на такой скачкѣ подвизаются не красивѣйшія и не лучшія лошади, тутъ принимаются въ расчетъ не врожденныя достоинства крѣпости, породистости, выносливости, а только легконогое проворство. Не одинъ благородный конь, изъ ноздрей котораго пышетъ самая пламенная боевая отвага, а въ глазахъ сверкаетъ умъ, долженъ уступить здѣсь тощему скакуну, который, однако, совершенно особенно выдрессированъ для побѣдъ на этой аренѣ. Высокомѣрныя упрямыя лошади здѣсь съ перваго шага становятся несвоевременно на дыбы или заскакиваютъ слишкомъ далеко впередъ. Только дрессированная посредственность достигаетъ

цѣли. Что на парламентскія скачки Пегаса почти не допускаютъ и дѣлаютъ ему тысячи непріятностей, это понятно само собою, потому что у несчастнаго есть крылья, и онъ можетъ съ помощью ихъ подняться выше, чѣмъ позволяетъ плафонъ Palais Bourbon. Удивительное явленіе, что въ числѣ состязающихся находится почти дюжина коней арабской, или, чтобы выразиться яснѣе, семитической породы. Но что намъ за дѣло до этого? Насъ не интересуетъ этотъ шумъ, этотъ топотъ и ржаніе эгоизма, этотъ сбродъ гнуснѣйшихъ цѣлей, прикрывшихъ себя самыми блистательными красками, крики конюховъ и пылящій навозъ; у насъ одна только забота — узнать, какъ окончатся выборы, къ пользѣ или во вредъ министерства? До сихъ поръ на этотъ счетъ нельзя еще сказать ничего опредѣленнаго. А между тѣмъ, судьба Франціи и, можетъ-быть, цѣлаго міра зависитъ отъ вопроса — удержитъ ли Гизо за собою въ новой палатѣ большинство, или нѣтъ. Этимъ я отнюдь не хочу дать мѣсто предположенію, что между новыми депутатами могутъ найтись отчаянные бахвалы, которые доведутъ движеніе до крайней степени. Нѣтъ, эти пришельцы заявятъ себя только звучными словами, а передъ дѣломъ отступятъ такъ же скромно и боязливо, какъ ихъ предшественники; самый рѣшительный нововводитель въ палатѣ не хочетъ насильственно ниспровергнуть существующій порядокъ, но желаетъ только эксплуатировать для самого себя опасенія высшихъ силъ и надежды низшихъ. Но неурядицы, запутанности и временныя затрудненія, въ которыя правительство можетъ впасть, вслѣдствіе этого образа дѣйствій, подаютъ темнымъ силамъ, выжидающимъ въ скрытомъ мѣстѣ, сигналъ къ взрыву, и теперь, какъ всегда, революція ожидаетъ парламентской иниціативы. Тогда страшное колесо снова придетъ въ движеніе, и на этотъ разъ выступитъ страшнѣйшій антагонистъ, какой только до сихъ поръ возставалъ противъ существующаго порядка. Этотъ антагонистъ сохраняетъ еще свое страшное инкогнито и живетъ, какъ нищій претендентъ, въ томъ подземельѣ офиціальнаго общества, въ тѣхъ катакомбахъ, гдѣ среди смерти и тлѣнія зарождается и расцвѣтаетъ новая жизнь. Коммунизмъ—тайное имя этого страшнаго антагониста, противупоставляющаго нынѣшнему господству буржуазіи господство пролетаріата со всѣми его послѣдствіями. Это будетъ ужасный поединокъ. Какъ онъ окончится? То знаютъ боги и богини, которымъ извѣстно будущее. Мы

же знаемъ только одно: что коммунизмъ, несмотря на то, что теперь онъ служитъ предметомъ небольшихъ разговоровъ и валяется на своемъ жалкомъ соломенномъ ложѣ — все-таки мрачный герой, которому суждено играть великую, если даже и временную роль въ новой трагедіи и который ждетъ только сигнала, чтобъ выступить на сцену. Поэтому мы не должны никогда терять изъ виду этого актера, и я буду иногда сообщать о тайныхъ репетиціяхъ, которыми онъ готовится къ своему дебюту. Такія указанія, можетъ-быть, важнѣе всѣхъ извѣстій о проискахъ избирателей, враждѣ партій и интригахъ кабинетовъ.

IV.

Парижъ, 12 іюля 1842.

О результатѣ выборовъ вы узнаете изъ газетъ. Здѣсь въ Парижѣ не зачѣмъ справляться объ этомъ съ газетами, дѣло написано на всѣхъ лицахъ. Вчера здѣсь было очень душно, и всѣ умы обнаруживали такое волненіе, какое я замѣчалъ только при большихъ кризисахъ. Старыя, давно знакомыя птицы, возвѣщающія бурю, снова невидимо шумѣли въ воздухѣ, и самыя сонливыя головы вдругъ пробудились отъ двухлѣтняго спокойствія. Сознаюсь, что я самъ, заслышавъ страшное біеніе этихъ крыльевъ, ощутилъ сильный сердечный трепетъ. Когда я вижу демоновъ переворота разнузданными, на меня въ первое время всегда нападаетъ страхъ; потомъ присутствіе духа вполнѣ возвращается ко мнѣ, и самыя безумныя явленія не могутъ ни обезпокоить, ни поразить меня, именно потому, что я заранѣе предвидѣлъ ихъ. Чѣмъ можетъ окончиться это движеніе, сигналъ котораго теперь, какъ и всегда, поданъ Парижемъ? Оно можетъ окончиться войною, страшнѣйшею разрушительною войною, которая, къ сожалѣнію, выведетъ на поле битвы, ко взаимной погибели ихъ, два благороднѣйшіе народа—нѣмцевъ и французовъ; Англія, эта водяная змѣя, которая всегда можетъ уползти въ свое громадное гнѣздо, и Россія, тоже надежно защищенная своими необъятными степями, болотами и льдами, не могутъ быть въ обыкновенной политической войнѣ уничтожены до основанія даже самыми рѣшительными пораженіями; но Германіи въ такихъ случаяхъ грозитъ гораздо бо́льшая опасность, и даже Франція можетъ самымъ жалкимъ образомъ поплатиться своимъ политическимъ существованіемъ. Но это было бы только первымъ дѣйствіемъ великой пьесы,

какъ бы прологомъ ея. Второе дѣйствіе будетъ европейская, всемірная революція, великій поединокъ неимущихъ съ аристократіею собственности, и тутъ не будетъ рѣчи ни о національности, ни о религіи; тутъ будетъ только одно отечество — земля, и только одна вѣра — счастіе на землѣ. Возстанутъ ли для отчаяннаго сопротивленія религіозныя доктрины прошедшаго во всѣхъ странахъ и составитъ ли эта попытка третій актъ трагедіи? Выступитъ ли снова на сцену старая традиція абсолютизма, только въ новомъ костюмѣ и съ новыми паролями и лозунгами? Чѣмъ окончится эта пьеса? Не знаю, но думаю, что, въ концѣ концовъ, у громадной водяной змѣи растопчутъ голову, а съ сѣвернаго медвѣдя сдерутъ кожу. Можетъ-быть, тогда составится только одно стадо и одинъ пастухъ—стадо одинаково обстриженное и одинаково блеющее, и пастухъ свободный, съ желѣзнымъ посохомъ. Дикія мрачныя времена приближаются, и пророкъ, который пожелаетъ написать новый Апокалипсисъ, долженъ будетъ изобрѣсть совсѣмъ новыхъ звѣрей, и притомъ такихъ страшныхъ, что прежніе звѣри Іоанна покажутся, въ сравненіи съ ними, смиренными голубками и купидонами. Боги закрываютъ лицо, изъ состраданія къ людямъ, своимъ питомцамъ въ продолженіе многихъ лѣтъ, а можетъ-быть, также изъ опасенія за свою собственную участь. Будущее пахнетъ кровью, атеизмомъ и множествомъ побоевъ. Я совѣтую нашимъ потомкамъ появляться на свѣтъ съ очень толстой кожей на спинѣ.

Сегодня настроеніе умовъ уже немного спокойнѣе, чѣмъ вчера. Консерваторы оправились отъ перваго страха, и оппозиція видитъ, что она пріобрѣла только надежды, но что до побѣды ей еще очень далеко. Министерство можетъ все еще держаться, хотя съ весьма малымъ, опасно ничтожнымъ меньшинствомъ. Въ началѣ слѣдующаго мѣсяца, при выборѣ президента, все это обозначится самымъ опредѣленнымъ образомъ. Что на этотъ разъ въ депутаты выбрано такъ много рѣшительныхъ легитимистовъ, послужитъ, можетъ-быть, къ выгодѣ правительства. Радикалы будутъ нравственно ослаблены этими новыми союзниками, а министерство укрѣпится въ общественномъ мнѣніи, если для борьбы съ этою легитимистскою оппозиціею будутъ по необходимости брать оружіе изъ стараго арсенала революціи. Но пламя снова раздуто, раздуто въ Парижѣ, средоточіи цивилизаціи, очагѣ, искры котораго разлетаются по

всему свѣту. Сегодня еще Парижъ радуется своимъ дѣяніямъ, но, можетъ-быть, завтра они напугаютъ его, и за высокомѣріемъ тотчасъ же послѣдуетъ уныніе.

V.

Парижъ, 15 іюля 1842.

Мое смутное предчувствіе, къ сожалѣнію, не обмануло меня; мрачное настроеніе, которое нѣсколько дней сряду почти давило меня и застилало свѣтъ въ глазахъ, было предвѣстникомъ несчастія. Третьяго дня Парижъ гордо ликовалъ; вчера здѣсь уже господствовали ужасъ, неописанное смятеніе, и непредвидѣнный смертный случай показалъ парижанамъ всю ненадежность ихъ положенія и всю опасность каждаго толчка. А между тѣмъ, вѣдь они хотѣли дать только нѣсколько легкихъ толчковъ и отнюдь не были намѣрены потрясти государственное зданіе слишкомъ сильными ударами. Умри герцогъ Орлеанскій нѣсколькими днями раньше, Парижъ не избралъ бы и двѣнадцати депутатовъ оппозиціи, въ противоположность двумъ консерваторамъ, и этимъ невѣроятнымъ поступкомъ не привелъ бы движеніе въ новое движеніе. Этотъ смертный случай поколебалъ весь существующій порядокъ, и для Франціи будетъ счастіемъ, если установленіе регентства на случай смерти теперешняго короля будетъ какъ можно скорѣе и безпрепятственно обсуждено и окончено палатами. Я говорю палатами, потому что королевскій домашній законъ здѣсь недостаточенъ, какъ въ другихъ странахъ. Преніями о регентствѣ палаты займутся поэтому прежде всего, и они подадутъ поводъ къ игрѣ страстей. Да если даже все окончится спокойно, то намъ все-таки предстоитъ временное междуцарствіе, которое всегда есть бѣдствіе, а особенно тяжелое бѣдствіе оно въ той странѣ, положеніе которой все еще такъ шатко и болѣе всего нуждается именно въ прочности. Король, говорятъ, выказалъ въ этомъ несчастіи величайшую силу характера и разсудительность, несмотря на то, что онъ уже нѣсколько недѣль сряду былъ въ очень подавленномъ настроеніи. Въ послѣднее время его духъ омрачали странныя предчувствія. Говорятъ, что онъ недавно, передъ отъѣздомъ Тьера, написалъ ему письмо, въ которомъ очень много говорилъ о смерти; но, конечно, онъ думалъ при этомъ только о своей собственной кончинѣ. Умершаго герцога Орлеанскаго всѣ любили, даже обожали. Вѣсть о его смерти поразила, какъ молнія на безоблачномъ небѣ, и скорбь го-

сподствуетъ во всѣхъ классахъ народа. Вчера въ два часа слухъ о несчастіи распространился на биржѣ, гдѣ фонды тотчасъ же упали на три франка. Но никто не хотѣлъ вѣрить этому. Принцъ умеръ только въ четыре часа, и до этой минуты извѣстіе о смерти опровергалось съ разныхъ сторонъ. Еще въ пять часовъ его встрѣчали съ сомнѣніемъ. Когда же въ шесть часовъ на театральныхъ афишахъ приклеили бѣлую бумажку съ объявленіемъ объ отмѣнѣ спектакля, тогда каждый убѣдился въ ужасной истинѣ. Когда разряженныя француженки пришли къ театрамъ и вмѣсто желаннаго представленія нашли только закрытыя двери и услышали о несчастіи, случившемся около Нельи на большой дорогѣ, называющейся le chemin de la révolte, тогда слезы полились изъ многихъ прекрасныхъ глазъ, и ничего не было слышно, кромѣ сѣтованій и рыданій о прекрасномъ принцѣ, погибшемъ такимъ красивымъ и молодымъ, дорогой рыцарственной личности, французѣ въ самомъ миломъ значеніи этого слова, во всѣхъ отношеніяхъ достойномъ народнаго сожалѣнія. Да, свѣтлый, геройскій юноша погибъ въ цвѣтѣ жизни, и онъ истекъ кровью такъ чисто, такъ незапятнанно, такъ счастливо, какъ бы на цвѣтахъ, какъ нѣкогда Адонисъ! Жаль только, что тотчасъ послѣ смерти его стали прославлять скверными стихами и еще болѣе скверною, лакейскою прозой! Но таковъ удѣлъ прекраснаго на землѣ. Можетъ-быть, въ то время, когда французскій народъ исполненъ самой искренней и самой гордой скорби, и когда о покойномъ плачутъ не только прекрасныя женщины, но и свободные мужчины чтутъ слезами его память—офиціальная печаль третъ себѣ лукомъ носъ, чтобы начать притворно хныкать, и даже глупость обвиваетъ чернымъ флеромъ погремушки своихъ колпаковъ, такъ что мы скоро услышимъ трагикомическое бренчанье. Особенно заявятъ себя по этому случаю слезливое пустословіе, тошнотворные помои сентиментальности. Можетъ-быть, въ этотъ часъ Лафиттъ уже спѣшитъ, пыхтя, въ Нельи и обнимаетъ короля съ самымъ нѣмецкимъ умиленіемъ, и вся оппозиція вытираетъ воду на своихъ глазахъ. Можетъ-быть, въ этотъ самый часъ Шатобріанъ взлѣзаетъ на своего меланхолическаго крылатаго коня, своего Россинанта съ перьями, и пишетъ пустозвонное выраженіе соболѣзнованія королевѣ. Отвратительное нытье, гримасничанье, и очень невелико пространство, отдѣляющее здѣсь возвышенное отъ смѣшного. Какъ я уже сказалъ, въ истинѣ печальнаго событія убѣ-

дились вчера передъ театрами на бульварахъ, и многочисленныя группы тотчасъ же начали составляться здѣсь вокругъ людей, разсказывавшихъ подробности съ бо́льшимъ или меньшимъ прибавленіемъ выдумокъ и прикрасъ. Многіе старые болтуны, не находящіе въ другихъ случаяхъ слушателей, пользовались настоящимъ случаемъ, чтобы собирать вокругъ себя внимательную публику и эксплуатировать общественное любопытство въ интересѣ своей реторики. Передъ театромъ Varietés какой-то господинъ декламировалъ съ особеннымъ паѳосомъ, какъ Тераменъ въ «Федрѣ»: «Il était sur son char» и т. д. Всѣ разсказывали, что въ то время, когда принцъ выскочилъ изъ экипажа, его шпага сломалась, и верхній конецъ ея попалъ ему въ грудь. Одинъ очевидецъ увѣряетъ, что принцъ передъ смертью произнесъ еще нѣсколько словъ, но на нѣмецкомъ языкѣ. Впрочемъ, вчера повсюду господствовала мучительная тишина, и сегодня въ Парижѣ также не видно и тѣни безпорядковъ.

VI.

Парижъ, 19-го іюля 1842.

Смерть герцога Орлеанскаго продолжаетъ быть предметомъ общихъ толковъ. Никогда еще кончина человѣка не возбуждала такой повсемѣстной скорби. Замѣчательно, что во Франціи, гдѣ революція еще не совсѣмъ перебродила, любовь къ члену королевскаго дома могла пустить такіе глубокіе корни и выразилась въ такой грандіозной формѣ. Не только буржуазія, возлагавшая всѣ свои надежды на молодого принца, но и низшее сословіе оплакиваютъ его смерть. Когда отмѣнили іюльское празднество, и на площади de la Concorde сломали большіе подмостки, построенные для иллюминаціи, то сердце надрывалось при видѣ того, какъ народъ садился на сорванныя бревна и доски и горевалъ о смерти дорогого принца. Мрачная печаль лежала на всѣхъ лицахъ, и скорбь тѣхъ, которые не говорили ни слова, была самая краснорѣчивая. Тутъ текли честнѣйшія слезы, и между плачущими былъ, конечно, не одинъ изъ тѣхъ, которые въ кофейнѣ чванятся своимъ республиканствомъ. Да, монархизмъ торжествовалъ здѣсь великую побѣду, и притомъ на той самой площади de la Concorde, гдѣ нѣкогда онъ потерпѣлъ свое постыднѣйшее пораженіе.

Но для Франціи смерть молодого принца—дѣйствительное несчастіе, и будь у него даже меньше добродѣтелей, чѣмъ

сколько приписываютъ ему послѣ смерти, французы все-таки имѣли бы достаточный поводъ плакать при мысли о будущемъ. Вопросъ о регентствѣ занимаетъ уже всѣ головы и, къ сожалѣнію, не только умныя. Глупостей высказывается уже теперь очень много. Духъ интриги тоже старается вызвать путаницу въ мысляхъ, которою она надѣется воспользоваться для своихъ частныхъ цѣлей и которая во всякомъ случаѣ можетъ имѣть весьма опасныя послѣдствія. Дѣйствительно ли герцогъ Немурскій находится въ высочайшей немилости у самодержавнаго народа, какъ намекаютъ нѣкоторыя газеты и съ преувеличеннымъ усердіемъ утверждаютъ многіе? На этотъ счетъ я не стану высказывать никакого мнѣнія. Еще менѣе стану я пускаться въ изслѣдованіе причинъ этой немилости. Главный пунктъ обвиненія составляетъ аристократическое, тонкое, несообщительное, патриціанское въ наружности принца. Внѣшній видъ принца Орлеанскаго былъ благороденъ, внѣшній видъ Немурскаго аристократиченъ. И если бы даже внѣшность соотвѣтствовала внутреннимъ свойствамъ, то этотъ принцъ, тѣмъ не менѣе, могъ бы оказывать демократіи, въ качествѣ гонфалоньера ея, самыя лучшія услуги, такъ какъ это званіе, вслѣдствіе силы обстоятельствъ, обязывало бы его къ полнѣйшему отреченію отъ личныхъ чувствъ, ибо его ненавистная голова постоянно бы подвергалась здѣсь опасности. Я даже убѣжденъ, что регентъ, которому мало вѣрятъ и котораго постоянно контролируютъ, опасенъ для интересовъ демократіи гораздо менѣе, чѣмъ одинъ изъ тѣхъ любимцевъ народа, которымъ отдаются съ слѣпой любовью и которые, однако, все-таки, ничто иное, какъ люди, непостоянныя созданія, подчиненныя измѣнчивымъ законамъ времени и собственной натурѣ. Сколько популярныхъ наслѣдныхъ принцевъ кончали тѣмъ, что становились нелюбимыми! Какую страшную перемѣнчивость выказывалъ народъ въ отношеніи къ своимъ прежнимъ любимцамъ! Французская исторія особенно богата печальными примѣрами. Съ какимъ восторгомъ встрѣчалъ народъ молодого Людовика XIV — и съ какимъ безслезнымъ равнодушіемъ смотрѣлъ онъ на погребеніе старика! Людовика XV справедливо называли «le bien-aimé», и съ совершенно слѣпою любовью французы поклонялись ему вначалѣ; когда же онъ умеръ, народъ смѣялся и пѣлъ насмѣшливыя пѣсни; его смерти радовались. Его преемнику, Людовику XVI, пришлось еще хуже; народъ, обожавшій его въ то время,

когда онъ былъ наслѣднымъ принцемъ, и считавшій его въ началѣ царствованія образцомъ всѣхъ совершенствъ, потомъ наносилъ ему личныя оскорбленія и даже преступно лишилъ жизни на площади de la Concorde. Послѣдній изъ этой линіи, Карлъ X, былъ очень популяренъ, когда вступилъ на престолъ, и народъ привѣтствовалъ его тогда съ неописаннымъ воодушевленіемъ, а черезъ нѣсколько лѣтъ его выпроводили изъ Франціи и онъ умеръ суровою смертью изгнанія. Изрѣченіе Солона, что до смерти никто не можетъ назваться счастливымъ, особенно примѣняется къ французскимъ королямъ. Итакъ, будемъ оплакивать смерть герцога Орлеанскаго не потому, что онъ былъ такъ сильно любимъ народомъ и обѣщалъ ему такую прекрасную будущность, но потому, что онъ, какъ человѣкъ, заслужилъ наши слезы. Не будемъ также очень горевать о такъ-называемой безславности, о банальной случайности его смерти. Вѣдь голова его разбилась о безвредный камень; хуже было бы, если бы его убила пуля какого-нибудь француза или нѣмца. Принцъ имѣлъ предчувствіе своей ранней смерти, но думалъ, что онъ падетъ въ сраженіи или во время бунта. При его рыцарственной отвагѣ, пренебрегавшей всякою опасностью, такое предположеніе было очень правдоподобно. Но добрые боги рѣшили иначе. Они хотѣли, чтобъ будущій король могъ относиться къ своему народу съ чистой любовью, а также не имѣлъ бы основанія ненавидѣть соотечественниковъ своей метери: крови его отца не пролила рука ни француза, ни нѣмца. Кроткое утѣшеніе лежитъ въ этой мысли. Царственный страдалецъ Людовикъ Филиппъ выказываетъ присутствіе духа, вселяющее въ каждаго глубокое уваженіе къ нему. Въ несчастіи онъ обнаруживаетъ истинное величіе. Сердце его обливается кровью въ неописанной скорби, но умъ его остается непоколебимъ, и онъ работаетъ день и ночь. Никогда еще цѣнность его существованія не чувствовалась такъ глубоко, какъ именно теперь, когда спокойствіе міра зависитъ отъ его жизни. Ратуй, храбрый, раненый герой мира!

VII.

Парижъ, 26 іюля 1842.

Тронная рѣчь коротка и проста. Важнѣйшее высказано въ ней самымъ достойнымъ образомъ. Король самъ написалъ ее. Его скорбь высказывается въ пуританской, я сказалъ бы даже—республиканской простотѣ. Онъ, обыкновенно

столь краснорѣчивый, теперь сдѣлался очень скупъ на слова. Молчаливый пріемъ, происходившій нѣсколько дней тому назадъ въ Тюильри, имѣлъ въ себѣ нѣчто необыкновенно мрачное, почти призрачное; не говоря ни слова, проходили нѣсколько тысячъ человѣкъ мимо короля, смотрѣвшаго на нихъ безмолвно и страдальчески. Говорятъ, что реквіемъ, который было назначено исполнить въ церкви Notre-Dame, отмѣненъ; король не хочетъ никакой музыки при погребеніи своего сына, музыка слишкомъ напоминаетъ веселье и празднества. Желаніе короля, чтобы регентство было передано его сыну, а не невѣсткѣ, высказано въ тронной рѣчи съ достаточною ясностью. Это желаніе встрѣтитъ мало возраженій, и герцогъ Немурскій будетъ регентомъ, несмотря на то, что это званіе принадлежитъ по праву прекрасной и умной герцогинѣ, которая, какъ образецъ женскаго совершенства, была такъ достойна своего умершаго супруга. Вчера разсказывали, что король приведетъ въ палату депутатовъ своего внука, графа Парижскаго. Многіе желали этого, и, конечно, эта сцена была бы очень трогательна. Но, какъ я уже сказалъ, король избѣгаетъ теперь всего, напоминающаго собою паѳосъ феодальной монархіи. Въ публику проникло много сообщеній о томъ, что Людовикъ Филиппъ противъ женскихъ регентствъ, и она вполнѣ согласна съ нимъ. Уже въ цвѣтущее время Христины испанской, онъ увѣрялъ, что это регентство окончится плохо. Говорятъ, онъ сказалъ, что глупѣйшій мужчина всегда будетъ лучшимъ регентомъ, чѣмъ умнѣйшая женщина. Не потому ли онъ отдалъ герцогу Немурскому предпочтеніе предъ умною Еленою?

VIII.

Парижъ, 29 іюля 1842.

Муниципальный совѣтъ Парижа рѣшилъ не разрушать модель слона, стоящую на Бастильской площади, какъ это было предположено сначала, а воспользоваться ею для отливки такой же фигуры изъ желѣза и поставить этотъ памятникъ при въѣздѣ въ barrière du Trône. Объ этомъ постановленіи совѣта населеніе предмѣстьевъ Сентъ-Антуанъ и Сенъ-Марсо говоритъ почти такъ же много, какъ высшіе классы о вопросѣ регентства. Этотъ колоссальный гипсовый слонъ, поставленный уже во время имперіи, предназначался сперва быть моделью памятника, который намѣревались воздвигнуть на Бастильской площади въ честь іюльской

революціи. Впослѣдствіи стали думать иначе, и для увѣковѣченія достославнаго событія воздвигли іюльскую колонну. Но предполагамое перемѣщеніе слона возбудило большія безпокойства. Въ народѣ именно пронесся зловѣщій слухъ, что внутри слона завелось громадное количество крысъ, и всѣ боятся, что послѣ снятія большого гипсоваго звѣря, по предмѣстіямъ С.-Антуанъ и С.-Марсо распространится цѣлый легіонъ маленькихъ, но весьма опасныхъ чудовищъ. Всѣ юбки задрожали при мысли объ этой опасности, и даже мужчинъ охватывала томительная боязнь нашествія этихъ длиннохвостыхъ гостей. Публика обратилась къ магистрату съ всеподданнѣйшими просьбами, и вслѣдствіе этого перемѣщеніе большого гипсоваго слона было отложено, и съ тѣхъ поръ онъ, въ теченіе многихъ лѣтъ, спокойно стоитъ на Бастильской площади. Странная страна, гдѣ, несмотря на всеобщую жажду разрушенія, сохраняются многія вещи вслѣдствіе боязни, что мѣсто ихъ могутъ заступить вещи, болѣе вредныя! Какъ охотно французы ниспровергнули бы Людовика Филиппа, этого большого умнаго слона! Но они боятся, что тогда правленіе перейдетъ въ руки верховнаго владыки крысъ, тысячеголоваго чудовища, и даже враждебные буржуазіи дворяне и духовенство стараются по этой причинѣ поддерживать іюльскій тронъ; только совершенно ограниченные люди, игроки и шулера между аристократами и клерикалами, оказываются пессимистами и спекулируютъ на республику, или, скорѣе, на хаосъ, долженствующій наступить непосредственно вслѣдъ за установленіемъ республики.

Сама буржуазія также охвачена демономъ разрушенія, и если она собственно не боится республики, то все-таки чувствуетъ инстинктивный страхъ передъ коммунизмомъ, передъ тѣми мрачными личностями, которыя, точно крысы, вылѣзутъ изъ развалинъ нынѣшняго правительства. Да, республики прежняго сорта, даже маленькой доли робеспьеризма, французская буржуазія не испугалась бы, она легко примирилась бы съ этою формою правленія, и спокойно стояла бы на часахъ у Тюильри, и охраняла бы его, не обращая вниманія на то, чья тутъ резиденція—Людовика Филиппа, или какого-нибудь comité du salut public; ибо буржуазія прежде всего желаетъ порядка и защиты существующаго права собственности — желаніе, которому республика можетъ удовлетворять точно такъ же, какъ монархія. Но эти лавочники, какъ выше сказано, инстинктивно чув-

ствуютъ, что въ настоящее время республика не могла бы уже быть представительницей принциповъ девяностыхъ годовъ, но что она сдѣлалась бы только формой, въ которой получило бы силу новое, неслыханное господство пролетаріата, со всѣми догматами общенія имуществъ. Эти лавочники — консерваторы вслѣдствіе внѣшней необходимости, а не внутренняго побужденія, и боязнь служитъ здѣсь опорою всѣхъ вещей.

Долго ли продержится эта боязнь? Не можетъ ли случиться такъ, что въ одно прекрасное утро національное легкомысліе охватитъ всѣ головы и увлечетъ въ вихрь революціи даже боязливыхъ? Не знаю, но это возможно, а судя по результату выборовъ въ Парижѣ, даже вѣроятно. У французовъ короткая память, и они забываютъ даже свои основательнѣйшія опасенія. Потому-то они выступаютъ такъ часто актерами, даже главными актерами, въ громадной трагедіи, разыгрываемой на землѣ волею боговъ. Другіе народы переживаютъ свой великій періодъ движенія, свою исторію только въ юности, именно тогда, когда, будучи лишены опытности, они устремляются въ дѣятельность; потому что впослѣдствіи, въ зрѣлыхъ лѣтахъ, размышленіе и обсужденіе послѣдствій удерживаетъ народы, точно такъ же, какъ индивидуумовъ, отъ быстрыхъ дѣйствій, и только крайняя нужда, а не собственно радостное желаніе, выводитъ эти народы на арену всемірной исторіи. Но въ французахъ постоянно живетъ легкомысліе молодости, и сколько бы они ни сдѣлали и ни выстрадали вчера, все это забывается ими сегодня, прошедшее изглаживается изъ ихъ памяти, и каждый новый день подвигаетъ ихъ на новую дѣятельность и новыя страданія. Они не хотятъ стариться и думаютъ, можетъ-быть, что молодость сохранится въ нихъ, если они не будутъ отрекаться отъ юношескаго бреда, юношеской беззаботности и юношескаго великодушія! Да, великодушіе, почти дѣтская доброта въ прощеніи, составляетъ основную черту характера французовъ; но я не могу не замѣтить, что эта добродѣтель происходитъ изъ одного источника съ ихъ пороками, изъ забывчивости. Понятіе, «прощеніе» дѣйствительно соотвѣтствуетъ у этого народа слову «забвеніе», забвеніе оскорбленія. Не будь этого, въ Парижѣ каждый день совершались бы убійства, потому что здѣсь на каждомъ шагу встрѣчаются люди, виновные въ отношеніи другъ къ другу въ какомъ-нибудь преступленіи. Нѣсколько недѣль тому назадъ, я встрѣтилъ

на бульварѣ старика, беззаботная физіономія котораго бросилась мнѣ въ глаза. «Знаете ли, кто это?—спросилъ меня мой провожатый:—это m-r de Полиньякъ, тотъ самый человѣкъ, который виновенъ въ смерти столькихъ тысячъ парижанъ и которому я тоже поплатился отцомъ и братомъ! Двѣнадцать лѣтъ тому назадъ, народъ, въ первомъ припадкѣ бѣшенства, охотно разорвалъ бы его, а теперь онъ можетъ спокойно гулять по бульвару».

Это характеристическое добродушіе французовъ особенно выражается въ настоящую минуту въ отношеніяхъ къ Людовику Филиппу и злѣйшіе враги его въ народѣ, за исключеніемъ карлистовъ, выказываютъ трогательное сочувствіе къ его семейному несчастію. Отступники снова обратили къ нему свою симпатію, и я могу утвердительно сказать, что король снова пользуется полною популярностью. Вчера, глядя на дѣлавшіяся предъ Notre Dame приготовленія къ похоронамъ, я услышалъ, какъ собравшіеся тамъ блузники, между прочимъ, наивно замѣтили, что король можетъ теперь спокойно ходить по улицамъ Парижа, и никто не выстрѣлитъ въ него. (Какая популярность!). Смерть всѣми любимаго герцога Орлеанскаго обратила къ его отцу самыя враждебныя сердца, и супружество короля съ народомъ какъ бы снова освящено общимъ несчастіемъ. Но сколько времени продолжится этотъ траурный медовый мѣсяцъ?

IX.

Парижъ, 17 сентября 1842.

Послѣ четырехнедѣльной поѣздки, я со вчерашняго дня снова здѣсь, и сознаюсь, что сердце заликовало въ моей груди, когда почтовый экипажъ покатился по милой мостовой бульваровъ, когда я проѣхалъ мимо перваго моднаго магазина съ улыбающимися лицами гризетокъ, когда я услышалъ колокольчики продавцовъ коко, когда на меня снова повѣялъ прелестный цивилизованный воздухъ Парижа. Я чувствовалъ себя почти счастливымъ и готовъ былъ обнять перваго національнаго гвардейца, попавшагося мнѣ навстрѣчу; его кроткое, добродушное лицо такъ остроумно привѣтствовало меня изъ-подъ дикой, грубой медвѣжьей шапки, и въ его штыкѣ было, дѣйствительно, нѣчто разумное, такъ успокоительно отличающее это оружіе отъ штыковъ другихъ корпорацій. Но отчего на этотъ разъ радость моя по возвращеніи въ Парижъ была такъ чрезмѣрна, что мнѣ почти показалось, будто я вступилъ на милую землю

родины, будто я снова слышалъ звуки родины? Отчего Парижъ производитъ такое чарующее вліяніе на чужеземцевъ, прожившихъ въ немъ нѣсколько лѣтъ? Многіе изъ моихъ славныхъ соотечественниковъ, имѣющихъ здѣсь осѣдлость, утверждаютъ, что нигдѣ въ свѣтѣ нѣмецъ не можетъ чувствовать себя такъ дома, какъ именно въ Парижѣ, и что Франція для нашего сердца, въ концѣ концовъ, ничто иное, какъ французская Германія.

На этотъ разъ моя радость по возвращеніи вдвойнѣ велика: я пріѣхалъ изъ Англіи. Да, изъ Англіи, несмотря на то, что не переѣзжалъ черезъ каналъ. Четыре недѣли я прожилъ въ Boulogne sur mer, а это уже англійскій городъ. Тутъ видишь только англичанъ, и слышишь только англійскій языкъ съ утра до вечера, и ахъ! даже ночью, если по несчастью имѣешь квартирныхъ сосѣдей, которые чуть не до свѣта толкуютъ о политикѣ, сидя за чаемъ и грогомъ! Четыре недѣли я не слышалъ ничего, кромѣ этихъ шипящихъ звуковъ эгоизма, который выражается въ каждомъ слогѣ, въ каждомъ удареніи. Конечно, ужасная несправедливость—произносить обвинительный приговоръ цѣлому народу. Но по отношенію къ англичанамъ, негодованіе въ данную минуту можетъ подвинуть меня на такую несправедливость, и при видѣ массы я легко забываю многихъ энергичныхъ и благородныхъ людей, отличавшихся душевными качествами и любовью къ свободѣ. Но эти люди, особенно британскіе поэты, тѣмъ рѣзче отличались всегда отъ остального народа, они были одинокими мучениками своихъ національныхъ отношеній, и притомъ великіе геніи не принадлежатъ своей спеціальной родинѣ, да они почти не принадлежатъ и здѣшней землѣ, толгоѣ своихъ страданій. Масса, дюжинные англичане, прости мнѣ Господи! противна мнѣ до крайней степени, и иногда я смотрю на этихъ вытянутыхъ англичанъ совсѣмъ не какъ на своихъ собратій-людей, но какъ на автоматовъ, какъ на машины, внутреннюю пружину которыхъ составляетъ эгоизмъ. Въ эти минуты мнѣ кажется, что я слышу стукъ машиннаго колеса, посредствомъ котораго они думаютъ, чувствуютъ, считаютъ, совершаютъ пищевареніе и молятся; ихъ способъ молитвы, ихъ механически англиканское хожденіе въ церковь съ позолоченнымъ молитвеникомъ въ рукѣ, ихъ скучное празднованіе воскресенья—противнѣе для меня, чѣмъ все остальное; и я твердо убѣжденъ, что на проклинающаго француза богамъ гораздо пріятнѣе смотрѣть, чѣмъ на мо-

лящагося англичанина! Въ другое время эти сухіе англичане, кажутся мнѣ выходцами съ того свѣта, и появляющіяся въ полночный часъ блѣдныя тѣни изъ царства духовъ дѣйствуютъ на меня далеко не такъ зловѣще, какъ эти четвероугольныя, краснощекія привидѣнія, потѣющія при яркомъ солнечномъ свѣтѣ. Ко всему этому присоединяется полное отсутствіе вѣжливости. Своими угловатыми членами, своими жесткими локтями они толкаютъ встрѣчнаго и поперечнаго, и не произносятъ ни одного вѣжливаго слова въ извиненіе. До какой степени эти красноволосые варвары, пожирающіе мясо съ кровью, должны быть ненавистны китайцамъ, которымъ вѣжливость врождена и которые, какъ извѣстно, проводятъ двѣ трети дня въ примѣненіи этой національной добродѣтели посредствомъ поклоновъ и присѣданій!

Сознаюсь, я не совсѣмъ безпристрастенъ, когда говорю объ англичанахъ, и мой непріязненный отзывъ, моя антипатія къ нимъ, можетъ-быть, коренятся въ опасеніи за собственное благосостояніе, за счастливое, мирное спокойствіе моей нѣмецкой родины. Да, съ тѣхъ поръ, какъ я глубоко понялъ, какой постыдный эгоизмъ играетъ важную роль и въ политикѣ этихъ англичанъ, они вселяютъ въ меня безграничный, ужасающій страхъ. Я питаю полное уваженіе къ ихъ матеріальному превосходству; въ нихъ есть очень много той грубой энергіи, съ помощью которой римляне подчиняли себѣ міръ, но съ волчьею алчностью Рима они соединяютъ въ себѣ и змѣиное коварство Карѳагена. Для защиты противъ первой мы имѣемъ хорошее и даже испытанное оружіе, но для борьбы съ коварными происками этихъ карѳагенянъ Сѣвернаго моря мы безоружны. И теперь Англія опаснѣе, чѣмъ когда-либо, теперь, когда ея меркантильные интересы страдаютъ: нѣтъ во всемъ твореніи созданія болѣе жестокосердаго, чѣмъ торговецъ, котораго торговля остановилась, покупатели перешли къ другому и товаръ не находитъ никакого сбыта.

Какъ выйдетъ Англія изъ этого матеріальнаго кризиса? Не знаю, какъ будетъ разрѣшенъ вопросъ о фабричныхъ рабочихъ, но знаю, что политика новаго Карѳагена не очень разборчива въ выборѣ средствъ. Можетъ-быть, европейская война покажется, наконецъ, этому эгоизму лучшимъ средствомъ для того, чтобы дать внутреннему недугу спасительный выходъ наружу. Въ этомъ случаѣ англійская олигархія начнетъ прежде всего спекулировать на деньги

средняго сословія, богатство котораго въ самомъ дѣлѣ колоссально и можетъ быть хорошо эксплуатировано для вознагражденія и успокоенія низшихъ классовъ. Какъ ни велики англійскіе расходы на индійскую и китайскую экспедиціи, какъ ни стѣснительно финансовое положеніе Англіи, англійское правительство все-таки увеличитъ свои денежныя издержки, если онѣ будутъ содѣйствовать его цѣлямъ. Чѣмъ значительнѣе будетъ внутренній дефицитъ, тѣмъ щедрѣе англійское золото будетъ раскидываться за границей. Англія—купецъ, близкій къ банкротству и изъ отчаянія становящійся мотомъ, или, вѣрнѣе, не боящійся никакихъ денежныхъ жертвъ, чтобы только удержаться нѣкоторое время. А съ деньгами на землѣ можно сдѣлать немало, особенно съ тѣхъ поръ, какъ каждый ищетъ спасенія и блаженства въ здѣшнемъ земномъ мірѣ. Невозможно представить себѣ, какія громадныя суммы Англія тратитъ ежегодно только на содержаніе своихъ иностранныхъ агентовъ, которыхъ инструкціи всѣ составлены на случай европейской войны, и какъ искусно эти агенты умѣютъ привлекать на свою сторону самыя разнородныя способности, добродѣтели и пороки.

Если подумать объ этомъ, если сообразить, что спокойствію Европы грозитъ страшнѣйшая опасность не на Сенѣ, вслѣдствіе пламеннаго увлеченія идеею, и не на общественной площади, но на Темзѣ, въ безмолвныхъ комнатахъ Foreign-Office, вслѣдствіе грубыхъ криковъ голодныхъ англійскихъ фабричныхъ,—если сообразить это, то нельзя не обращать по временамъ взоровъ къ этой странѣ и не слѣдить какъ за личностью правителей, такъ и за возрастающими лишеніями низшихъ классовъ. Но такое наблюденіе вещь не маловажная, и для него нуженъ взглядъ, который можно пріобрѣсть только по ту сторону канала, на самомъ мѣстѣ дѣйствія. Все, высказываемое здѣсь мною мимоходомъ, ничто иное, какъ бѣглый намекъ, скудное усвоеніе тѣхъ бесѣдъ за обѣденными и чайными столами, которыя мнѣ поневолѣ приходилось выслушивать въ Булони, но которыя, быть-можетъ, не совсѣмъ лишены значенія, такъ какъ каждый англичанинъ знакомъ съ политикою своего отечества и въ цѣлый рой скучныхъ подробностей всегда вноситъ болѣе или менѣе значительныя вещи. Я только-что употребилъ выраженіе «политика своего отечества»; эта политика у англичанъ ничто иное, какъ масса мнѣній о матеріальныхъ интересахъ Англіи и правильное

обсужденіе внѣшнихъ дѣлъ, насколько эти послѣднія могутъ быть полезны или вредны для благосостоянія и торговли Англіи. Удивительно, какъ всѣ англичане, начиная отъ перваго министра и кончая послѣднимъ портнымъ, знаютъ эти внѣшнія дѣла въ малѣйшихъ подробностяхъ и при каждомъ событіи дня сейчасъ же разсчитываютъ, что потеряетъ или выиграетъ отъ него Англія, какую пользу или какой вредъ принесетъ оно милой Англіи. Тутъ инстинктъ ихъ эгоизма, дѣйствительно, заслуживаетъ изумленія. Этимъ они поразительно отличаются отъ французовъ, которые рѣдко согласны между собою въ мнѣніяхъ о матеріальныхъ интересахъ своего отечества, въ области фактовъ выказываютъ блистательное невѣжество, постоянно заняты только идеями и разсуждаютъ только объ идеяхъ. Французскіе политики, которые совмѣщаютъ въ себѣ англійскую положительность съ французскимъ идеализмомъ, очень рѣдки. Въ этомъ отношеніи Гизо выдается славнѣе, чѣмъ кто-либо. Англичане, разсуждавшіе при мнѣ о Гизо, отнюдь не высказывали къ нему такой большой симпатіи, какую обыкновенно приписываютъ имъ въ отношеніи къ этому человѣку; напротивъ того, они были очень непріязненно настроены, они горько сѣтовали, они утверждали, что всякій другой министръ оказывалъ бы имъ меньше почтенія, но доставилъ бы больше матеріальныхъ выгодъ, и только о его величіи, какъ государственнаго человѣка, они отзывались съ безпристрастнымъ уваженіемъ. Они восхваляли его consistency и обыкновенно сравнивали его съ сэромъ Робертомъ Пилемъ, которому, однако, по моему мнѣнію, до Гизо какъ до неба далеко, именно потому, что Гизо не только обладаетъ полнымъ фактическимъ знаніемъ, но и носитъ въ головѣ идеи, идеи, о которыхъ англичанинъ не имѣетъ и понятія. Да, онъ не имѣетъ понятія о нихъ, и въ этомъ несчастіе Англіи, потому что только идеи могли бы спасти ее теперь, какъ спасаютъ онѣ во всѣхъ отчаянныхъ случаяхъ. Какимъ жалкимъ образомъ долженъ былъ Пиль сознаться въ своемъ безсиліи въ замѣчательной рѣчи, произнесенной при закрытіи парламента!

Вышеупомянутая увеличившаяся нужда низшихъ классовъ составляетъ недугъ, который невѣжественные фельдшера надѣются устранить кровопусканіемъ; но такое кровопролитіе только усилитъ болѣзнь. Не снаружи, не ланцетомъ, а только внутренними, нравственными медикаментами можно исцѣлить больное государственное тѣло. Только со-

ціальныя идеи могли бы спасти здѣсь отъ самаго рокового бѣдствія, но, говоря словами Сенъ Симона, ни на одной англійской верфи нѣтъ ни одной великой идеи; всюду только паровыя машины и голодъ. Въ настоящую минуту возстаніе, правда, подавлено, но повтореніе взрывовъ можетъ привести къ тому, что англійскіе фабричные рабочіе, теперь умѣющіе обработывать только шерстяныя и шелковыя матеріи, захотятъ немного поупражняться и на человѣческомъ мясѣ, и усвоятъ необходимые пріемы, и, наконецъ, займутся этимъ кровавымъ ремесломъ такъ же храбро, какъ ихъ коллеги, рабочіе въ Ліонѣ и Парижѣ, а изъ этого можетъ, наконецъ, выйти, что побѣдитель Наполеона, фельдмаршалъ милордъ Веллингтонъ, снова вступившій въ свою должность оберъ-палача, найдетъ въ Лондонѣ свое Ватерлоо. Точно также можетъ легко случиться, что его мирмидоны откажутся отъ повиновенія своему господину. Уже теперь въ англійской арміи обнаруживаются весьма опасные симптомы такого настроенія, и въ настоящую минуту въ лондонскомъ Товерѣ сидятъ въ заточеніи пятьдесятъ солдатъ, отказавшихся стрѣлять въ народъ. Почти невѣроятно, а между тѣмъ достовѣрно, что англійскіе красные мундиры повиновались не приказанію своихъ офицеровъ, а голосу человѣчности, и забыли про ту плеть, которая называется девятихвостой кошкой (the cat of nine tails) и въ гордой столицѣ англійской свободы постоянно угрожаетъ ихъ геройскимъ спинамъ—кнутъ Великобританіи. Сердце разрывается, когда читаешь, какъ женщины со слезами выходили навстрѣчу солдатамъ и кричали имъ: «Намъ не нужны пули, намъ нуженъ хлѣбъ!» Мужчины смиренно скрещивали руки и говорили солдатамъ: «Не насъ и нашихъ дѣтей должны вы убивать, а голодъ». Общимъ крикомъ было: «Не стрѣляйте, вѣдь мы всѣ братья!».

Такая ссылка на братство напоминаетъ мнѣ французскихъ коммунистовъ, у которыхъ я часто слышалъ подобныя фразы. Эти фразы, какъ я особенно замѣтилъ въ Ліонѣ, были отнюдь не велерѣчивы, не съ густыми красками, не пикантны и не оригинальны; напротивъ того, въ устахъ коммунистовъ самые простые, самые дюжинные обороты рѣчи. Но сила ихъ пропаганды состоитъ не столько въ изящно формулированномъ изложеніи опредѣленныхъ жалобъ и требованій, сколько въ глубокоскорбномъ и почти симпатически дѣйствующемъ тонѣ, съ которымъ эти люди произносятъ самыя обыкновенныя слова, напримѣръ, «мы

всѣ братья» и т. п. Тонъ и неизбѣжное тайное пожатіе руки составляютъ комментарій къ этимъ словамъ и придаютъ имъ ихъ міропотрясающее значеніе. Вообще, французскіе коммунисты стоятъ на одинаковой точкѣ зрѣнія съ англійскими рабочими, съ тою только разницею, что французомъ болѣе двигаетъ идея, а англичаниномъ, напротивъ, исключительно голодъ.

Возстаніе въ Англіи покамѣстъ подавлено, но только покамѣстъ; оно только отсрочено и каждый разъ будетъ возобновляться съ новою силой, и тѣмъ опаснѣе, что оно всегда можетъ выжидать надлежащаго часа. Судя по многимъ признакамъ, оппозиція фабричныхъ рабочихъ организована теперь такъ же практически, какъ нѣкогда оппозиція ирландскихъ католиковъ. Чартисты сумѣли привлечь въ свои интересы и въ нѣкоторомъ родѣ дисциплинировать эту угрожающую силу, и ихъ союзъ съ недовольными фабричными рабочими составляетъ, можетъ-быть, важнѣйшее явленіе настоящаго времени. Этотъ союзъ произошелъ весьма простымъ путемъ, онъ былъ естественеенъ, несмотря на то, что чартисты охотно выставляютъ себя чисто политическою партіею, дѣйствующею по опредѣленной программѣ, а фабричные рабочіе, какъ я уже сказалъ, ничто иное, какъ бѣдные поденщики, едва могущіе говорить отъ голода, равнодушные къ всякой формѣ правленія и требующіе только хлѣба. Но слово рѣдко передаетъ задушевную мысль партіи, оно только внѣшній видъ отличія, такъ сказать, выговоренная кокарда; чартистъ притворяется, что онъ ограничивается политическими вопросами, въ душѣ же носитъ желанія, глубоко согласныя съ самыми смутными чувствами этихъ голодныхъ ремесленниковъ, а эти послѣдніе могутъ, въ свою очередь, не измѣняя своимъ цѣлямъ, избирать программу чартистовъ своимъ боевымъ лозунгомъ. Чартисты именно требуютъ, во-первыхъ, чтобы парламентъ состоялъ только изъ одной палаты и возобновлялъ свой личный составъ ежегодными выборами; во-вторыхъ, чтобы независимость была обезпечена негласною баллотировкой; въ-третьихъ, наконецъ, чтобы каждый природный англичанинъ, по достиженіи совершеннолѣтія, имѣлъ право быть избирателемъ и избираемымъ. «Всего этого мы не можемъ употреблять въ пищу,—говорятъ нуждающіеся ремесленники:—книгами законовъ, точно такъ же, какъ поваренными книгами, человѣкъ не можетъ быть сытъ, мы голодны».— «Подождите немного,—возражаютъ чартисты:—до сихъ поръ

въ парламентѣ засѣдали только богачи, а они заботились только объ интересахъ своей собственности; новый избирательный законъ, хартія, откроетъ доступъ въ парламентъ и ремесленникамъ, или ихъ представителямъ, и тогда окажется, что трудъ точно такъ же, какъ и всякое другое имущество, можетъ пользоваться правомъ собственности, и что фабрикантъ точно такъ же не властенъ понижать по своему произволу задѣльную плату рабочимъ, какъ не имѣетъ права завладѣвать движимымъ и недвижимымъ имуществомъ своего сосѣда. Трудъ есть собственность народа, и происходящія изъ него права собственности должны быть освящены и защищаемы возобновленнымъ парламентомъ». Еще шагъ— и эти люди говорятъ, что трудъ есть право народа, а такъ какъ это право повлекло бы за собою и право безусловнаго вознагражденія за трудъ, то чартизмъ ведетъ если не къ общенію имуществъ, то, конечно, къ потрясенію существовавшей до сихъ поръ идеи о собственности, основного столба нынѣшняго общества, и въ этихъ чартистскихъ начинаніяхъ, при ихъ послѣдовательномъ развитіи, лежитъ соціальный переворотъ, въ сравненіи съ которымъ французская революція покажется весьма кроткою и скромною.

Здѣсь снова обнаруживаются лицемѣріе и практическій духъ англичанъ, въ противоположность французамъ: чартисты скрываютъ свой терроризмъ подъ легальными формами, между тѣмъ какъ коммунисты высказываютъ его свободно и ничѣмъ не стѣсняясь. Эти послѣдніе, правда, еще отчасти боятся называть послѣдніе выводы своего принципа ихъ настоящимъ именемъ, и если вы станете разсуждать съ ихъ предводителями, то они будутъ опровергать дѣлаемый имъ упрекъ въ желаніи уничтожить собственность и увѣрять васъ, что они, напротивъ того, хотятъ установить собственность на болѣе широкомъ основаніи, хотятъ придать ему болѣе обширную организацію. Господи Боже мой! я боюсь, что отъ рвенія такихъ организаторовъ придется собственности очень плохо, и отъ нея, наконецъ, не останется ничего, кромѣ широкаго основанія. «Я скажу тебѣ правду,—говорилъ мнѣ недавно одинъ изъ моихъ друзей-коммунистовъ:—собственности мы ни въ какомъ случаѣ не уничтожимъ, но дадимъ ей новое опредѣленіе».

Вотъ это-то новое опредѣленіе сильно пугаетъ господствующую во Франціи буржуазію, и этой боязни Людовикъ Филиппъ обязанъ своими преданнѣйшими приверженцами, надежнѣйшими опорами своего трона. Чѣмъ сильнѣе дро-

жать опоры, тѣмъ меньше шатается тронъ, и королю рѣшительно нечего бояться, именно потому, что боязнь служитъ для него ручательствомъ безопасности. Гизо также держится вслѣдствіе боязни новаго опредѣленія, противъ котораго онъ такъ мастерски сражается своею рѣзкою діалектикой, и я не думаю, чтобъ пораженіе его послѣдовало скоро, несмотря на то, что господствующей партіи буржуазіи, для которой онъ такъ много сдѣлалъ и такъ много дѣлаетъ, онъ совсѣмъ не по сердцу. За что они не любятъ его? Думаю, во-первыхъ, за то, что они не понимаютъ его, а во-вторыхъ, потому, что того, кто защищаетъ нашу собственность, мы всегда любимъ меньше, чѣмъ того, кто обѣщаетъ намъ собственность чужую. Такъ было нѣкогда въ Аѳинахъ, такъ дѣлается теперь во Франціи, и то же самое будетъ въ каждой демократіи, гдѣ слово свободно, а люди легковѣрны!

X.

Парижъ, 4-го декабря 1842.

Удержится ли Гизо? Французское министерство точно то же, что любовь: о его силѣ и продолжительности никогда нельзя высказать вѣрное мнѣніе. Иногда думаешь, что министерство стоитъ незыблемо—вдругъ, на слѣдующій день, дуновеніе вѣтерка опрокидываетъ его. Еще чаще полагаешь, что оно близко къ погибели, что оно едва ли продержится на ногахъ нѣсколько недѣль, а къ общему изумленію оказывается, что оно сдѣлалось еще крѣпче, чѣмъ прежде, и переживаетъ всѣхъ тѣхъ, кто уже читалъ ему надгробныя рѣчи. Четыре недѣли тому назадъ, 29 октября, министерство Гизо праздновало третью годовщину своего рожденія, теперь ему уже больше двухъ лѣтъ отъ роду, и я не вижу причины, почему бы ему не прожить дольше на этой прекрасной землѣ, на бульварѣ des Capucins, гдѣ зеленыя деревья и прекрасный воздухъ. Правда, многія министерства недолго просуществовали на этомъ мѣстѣ, но они были сами виноваты въ своей ранней кончинѣ: они дѣлали слишкомъ большой моціонъ. Да, что у другихъ людей способствуетъ здоровью, т. е. моціонъ, причиняетъ министерству смертельную болѣзнь, и именно министерство 1-го марта умерло отъ этого. Никакъ не могутъ спокойно сидѣть на мѣстѣ эти люди. Частая перемѣна правленія во Франціи есть не только послѣдствіе революціи, но и продуктъ національнаго характера французовъ, для которыхъ дѣятельность, движе-

ніе такъ же необходимы, какъ для насъ, нѣмцевъ, куреніе табаку, безмолвное мышленіе и душевное спокойствіе; именно потому, что французскіе правители государства такъ подвижны и постоянно задаютъ себѣ какую-нибудь новую работу, они попадаютъ въ запутанныя усложненія, въ которыхъ легко сломать себѣ шею. Это замѣчаніе относится не только къ министерствамъ, но и къ династіямъ, которыя всѣ ускоряли свои катастрофы своею дѣятельностью. Да вслѣдствіе одной и той же роковой причины, вслѣдствіе неутомимой дѣятельности, палъ не только Тьеръ, но и болѣе сильный Наполеонъ, который до смерти просидѣлъ бы на тронѣ, если бы обладалъ искусствомъ сидѣть спокойно, которому у насъ обучаютъ дѣтей прежде всего! Но въ этомъ искусствѣ г. Гизо большой мастеръ, онъ держитъ себя съ неподвижностью мраморной статуи, точно луксорскій обелискъ, и поэтому продержится долѣе, чѣмъ предполагаютъ. Онъ не дѣлаетъ ничего, и въ этомъ заключается тайна его прочности. Но почему онъ не дѣлаетъ ничего? Сколько мнѣ кажется, главнымъ образомъ потому, что онъ, дѣйствительно, надѣленъ какимъ-то нѣмецкимъ спокойствіемъ души и меньше своихъ земляковъ мучится жаждой дѣятельности. А можетъ-быть, онъ ничего не дѣлаетъ потому, что такъ много понимаетъ? Чѣмъ больше мы знаемъ, тѣмъ глубже и обширнѣе наше пониманіе, тѣмъ затруднительнѣе становится для насъ дѣйствіе, и тотъ, кто могъ бы предугадывать всѣ послѣдствія каждаго своего шага, конечно, скоро отказался бы отъ всякаго движенія и употреблялъ бы свои руки только на то, чтобы связывать свои собственныя ноги. Обширнѣйшее знаніе осуждаетъ насъ на самую узкую пассивность.

Между тѣмъ, какая бы судьба ни предстояла министерству, будемъ сколь возможно терпѣливо переживать послѣдніе дни года, который, благодаря Бога, приближается къ концу. Когда бы только небо не посѣтило насъ въ заключеніе новымъ несчастіемъ! Истекающій годъ былъ скверный годъ, и будь я тенденціозный поэтъ, я поднесъ бы ему шаривари въ дерущихъ ухо и шероховатѣйшихъ стихахъ. Въ этомъ скверномъ, постыдномъ году человѣчество выстрадало много, и даже банкиры понесли нѣкоторыя потери. Напримѣръ, какое страшное несчастіе—бывшій пожаръ на версальской желѣзной дорогѣ! Я не говорю о пострадавшей воскресной публикѣ, которая при этомъ изжарилась или сварилась, я больше имѣю въ виду оставшуюся въ живыхъ

субботнюю компанію, акціи которой упали на столько процентовъ и которая теперь со страхомъ и трепетомъ ждетъ рѣшенія процесса, возбужденнаго этою катастрофой. Неужели учредителей компаніи заставятъ дать осиротѣлымъ или изувѣченнымъ жертвамъ ихъ корыстолюбія денежное вознагражденіе? Это было бы ужасно! Эти достойные сожалѣнія мильонеры поплатились уже такъ много, и барышей, полученныхъ ими отъ другихъ предпріятій, едва хватитъ на покрытіе дефицита нынѣшняго года. Къ этому присоединяются еще другія фатальныя обстоятельства, отъ которыхъ можно легко сойти съ ума, и вчера на биржѣ меня увѣряли, что полубанкиръ Лайзедорфъ хочетъ перейти въ христіанскую вѣру. Другимъ приходится не такъ плохо, и если бы даже rive gauche совсѣмъ обанкрутилась, то мы можемъ утѣшать себя мыслью, что это повлечетъ за собою тѣмъ болѣе успѣшное процвѣтаніе rive droite. Южно-французскія желѣзныя дороги точно такъ же, какъ недавно получившія концессію, тоже дѣлаютъ хорошія дѣла, и тотъ, кто вчера былъ бѣднымъ негодяйчикомъ, сегодня уже богатый негодяй. Такъ тощій и длинноносый г.*** увѣряетъ, что онъ имѣетъ полное основаніе быть довольнымъ судьбою. Да, между тѣмъ, какъ вы, другіе, тратили время на философскую спекулятивность, этотъ тощій духъ спекулировалъ акціями желѣзныхъ дорогъ, и одинъ изъ его покровителей, крупный банкиръ, сказалъ мнѣ недавно: «Видите, вотъ это дрянцо было ничто, а теперь оно имѣетъ деньги и заработаетъ еще больше денегъ, хотя никогда въ жизни не занималось философіею!» Удивительно, какъ эти грибы во всѣхъ странахъ и во всѣ времена одни и тѣ же! Съ особеннымъ презрѣніемъ всегда смотрѣли они на писателей, занимающихся тою безкорыстною наукой, которую мы называемъ философіей. Уже тысячу восемьсотъ лѣтъ назадъ, какъ разсказываетъ Петроній, одинъ римскій parvenu заказалъ себѣ при жизни слѣдующую эпитафію: «Здѣсь лежитъ Страберіусъ; сначала онъ былъ ничто, но по смерти оставилъ триста милліоновъ сестерцій; онъ никогда не занимался философіей; слѣдуй его примѣру и благо тебѣ будетъ».

Здѣсь во Франціи господствуетъ въ настоящее время величайшее спокойствіе. Безцвѣтный, сонливый, зѣвающій миръ. Все тихо, какъ въ снѣжную зимнюю ночь. Слышится только тихое, однообразное капанье. Это проценты безпрерывно падаютъ каплями въ капиталы, которые постоянно вздуваются; явственно слышишь, какъ растутъ эти богат-

ства богачей. И тутъ же тихое рыданье бѣдности. По временамъ пронесется даже звукъ, похожій на шорохъ оттачиваемаго ножа. Смуты въ сосѣднихъ земляхъ мало безпокоятъ насъ, и даже шумное возстаніе въ Барселонѣ не нарушило нашего спокойствія. Убійство, совершенное въ Брюсселѣ, въ кабинетѣ mademoiselle Гейнефеттеръ, заинтересовало насъ гораздо больше, и особенно дамы возмущаются этою нѣмецкою дурою, которая, несмотря на многолѣтнее пребываніе во Франціи, не выучилась устраивать дѣло такъ, чтобы два одновременныхъ обожателя не встрѣчались на аренѣ своего счастья. Вѣсти съ востока также возбудили въ народѣ недовольный ропотъ, и китайскаго императора порицаютъ такъ же сильно, какъ mademoiselle Гейнефеттеръ. Безполезное кровопролитіе, и цвѣтокъ Срединной имперіи погибъ. Англичане изумляются, что имъ удалось такъ легко справиться съ братомъ солнца, и уже разсчитываютъ, нельзя ли обратить военныя силы, заготовленныя ими въ Индійскомъ морѣ и теперь сдѣлавшіяся безполезными, противъ Японіи, и завладѣть также и этою страною. Въ законномъ предлогѣ къ нападенію у нихъ, конечно, и здѣсь не окажется недостатка. Это будутъ если не бочки съ опіумомъ, то сочиненія общества англійскихъ миссіонеровъ, конфискованныя японскою санитарною комиссіею. Можетъ-быть, въ одномъ изъ слѣдующихъ писемъ, я поговорю о томъ, какъ Англія замаскировываетъ свои воинственные виды. Угроза, что британское великодушіе не прійдетъ къ намъ на помощь, когда Германіи, какъ нѣкогда Польшѣ, будетъ грозить раздѣлъ, нимало не пугаетъ меня. Во-первыхъ, Германію нельзя раздѣлить. Попробуй-ка кто-нибудь раздѣлить княжество Лихтенштейнъ, или Шлейцъ-Грейцъ! А во-вторыхъ, Германія, несмотря на свое раздробленіе, сильнѣйшая держава въ мірѣ, и эта держава растетъ поразительно. Да, Германія становится съ каждымъ днемъ сильнѣе, національное чувство придаетъ ей непоколебимое внутреннее единство, и конечно, признакомъ усиленія значенія нашего народа служитъ то обстоятельство, что англичане, нѣкогда платившіе субсидіи только государямъ, теперь вознаграждаютъ за издержки печатанія и нѣмецкихъ трибуновъ, защищающихъ перомъ Рейнъ.

XI.

Парижъ, 31-го декабря 1842.

Еще одинъ легкій толчокъ, и старый скверный годъ

скатится въ бездну времени. Этотъ годъ былъ сатирой на Людовика Филиппа, на Гизо, на всѣхъ, употреблявшихъ такія усилія для сохраненія мира въ Европѣ. Этотъ годъ— сатира на самый миръ, потому что въ спокойномъ лонѣ этого послѣдняго насъ посѣщали ужасы, страшнѣе которыхъ не могла бы, конечно, произвесть никакая война. Страшный мирный періодъ, въ который самыя кровавыя трагедіи разыгрывались почти одновременно во Франціи, Германіи и Гаити! Какое стеченіе неслыханнѣйшихъ несчастій! Какая злобная острота случая! Какіе адскіе сюрпризы! Могу себѣ представить изумленіе, съ которымъ обитатели міра тѣней смотрѣли на новыхъ гостей 6-го мая, разряженныхъ и веселыхъ, студентовъ, гризетокъ, новобрачныхъ, кутилъ, дрогистовъ, филистеровъ всѣхъ цвѣтовъ, всѣхъ тѣхъ людей, которые ѣздили въ Версаль смотрѣть игру фонтановъ, и вмѣсто Парижа, гдѣ уже ожидалъ ихъ обѣдъ, очутились въ подземномъ царствѣ! И притомъ изувѣченными, сваренными и изжаренными! «Кто это такъ гнусно поступилъ съ вами? война?»—«Ахъ, нѣтъ, мы наслаждаемся миромъ, и только что были на увеселительной прогулкѣ». Не менѣе сильное изумленіе должны были возбудить въ царствѣ Плутона прибывшіе туда нѣсколько дней спустя, изъ Гамбурга изжаренные пожарные и товарные надсмотрщики. «Вы жертвы бога войны?»—конечно, спросили ихъ.—«Нѣтъ, наша республика живетъ въ мирѣ съ цѣлымъ свѣтомъ, храмъ Януса былъ запертъ, только капище Бахуса оставалось открытымъ и мы мирно наслаждались нашею спартанскою похлебкой изъ курицы, когда вдругъ случился огромный пожаръ, истребившій насъ».—«А ваши знаменитые пожарные инструменты?»—«Они спасены, только ихъ слава погибла».— «А старые парики?»—«Эти возродятся изъ пепла, какъ напудренные фениксы». На слѣдующій день, между тѣмъ, какъ Гамбургъ еще горѣлъ, произошло землетрясеніе въ Гаити, и бѣдные черные люди были цѣлыми тысячами сброшены въ царство тѣней. Увидѣвъ ихъ окровавленными, подземные жители, конечно, подумали, что они только-что были на сраженіи съ бѣлыми и что эти послѣдніе изрубили ихъ, или засѣкли на смерть, какъ возмутившихся рабовъ. Нѣтъ, и на этотъ разъ ошиблись добрые люди на Стиксѣ. Не человѣкъ, а природа произвела великое кровопролитіе на этомъ островѣ, гдѣ рабство уничтожено уже давно, гдѣ правленіе республиканское, не заключающее въ себѣ зародышей обновленія, но коренящееся въ вѣчныхъ законахъ

разума; тамъ господствуютъ свобода и равенство, даже черная свобода печати.—Грейцъ-Шлейцъ не такая республика, какъ Гаити, въ ней не такая горячая почва, на которой растутъ сахарный тростникъ, кофе и черная свобода печати, и гдѣ, слѣдовательно, можетъ легко случиться землетрясеніе; но несмотря на кроткій картофельный климатъ, несмотря на цензуру, несмотря на терпѣливые стихи, которые декламировались и пѣлись именно въ это время, потолокъ въ театрѣ обрушился на жителей Грейцъ-Шлейца, услаждавшихъ себя игрою, и часть почтенной публики неожиданно увидѣла себя кинутою въ Оркъ!

Да, среди блаженнѣйшаго спокойствія, ненарушимаго мира, накопилось столько несчастій и бѣдствій, сколько едва ли могъ когда-либо призвать на людей трубный звукъ гнѣвной Беллоны. И не только на сушѣ—на морѣ также перенесли мы въ этомъ году необыкновенныя испытанія. Два большихъ кораблекрушенія на берегахъ южной Африки и Ла-Манша принадлежатъ къ страшнѣйшимъ главамъ въ исторіи мученичества людей. У насъ нѣтъ войны, но миръ наноситъ намъ смертельные удары, и если мы не погибнемъ вдругъ, вслѣдствіе грубаго случая, то умремъ мало-по-малу отъ извѣстнаго медленнаго яда, отъ aqua tofana, которую Богъ вѣсть чья рука вливаетъ въ чашу нашей жизни!

Да, это извѣстно только небу, а не намъ, напрасно отыскивающимъ, въ нетерпѣніи скучнѣйшей скорби, виновниковъ этого отравленія, бродящимъ ощупью въ этихъ поискахъ и нерѣдко оскорбляющимъ невиннѣйшихъ собратій по страданію. Мы совершенно правы по отношенію къ факту, именно къ тому, что отравленіе было и что мы заболѣли отъ него; но что касается личностей, на которыхъ падаетъ наше подозрѣніе, то въ этомъ отношеніи ошибаются всюду, и иногда очень полезно высказываться объ этомъ предметѣ. Иногда это даже долгъ, и въ этомъ отношеніи мнѣ слѣдуетъ сдѣлать пояснительное замѣчаніе насчетъ заключительныхъ словъ моего предыдущаго письма. Дѣло въ томъ, что въ этихъ заключительныхъ словахъ я отнюдь не имѣлъ въ виду набросить тѣнь на честность образа мысли, правдивость и почтенную твердость какого бы то ни было изъ нѣмецкихъ трибуновъ, защищающихъ Рейнъ, я хотѣлъ только указать на развитіе системы, примѣняющейся по ту сторону канала противъ Франціи отъ начала французской революціи: эта система—фактъ, доказанный

исторически. Я имѣлъ въ виду только ту британскую обязательность, которая, если не стрѣляетъ сама, то, по крайней мѣрѣ, снабжаетъ ядрами, какъ было въ Барселонѣ. Сдѣлать это замѣчаніе я считаю своимъ долгомъ; раздоръ между такъ-называемыми націоналами и раціоналами усиливается съ каждымъ днемъ, и раціоналы должны доказывать свое благоразуміе именно тѣмъ, чтобы не вымещать своей непріязни къ идеѣ на служителяхъ ея. Въ противоположность римлянамъ, которые, готовясь къ штурму какого-нибудь города, прежде просили боговъ выйти изъ этого города, потому что боялись въ разгарѣ битвы причинить вредъ какому-нибудь божеству,—мы, ведущіе войну съ божествами, съ идеями, будемъ стараться какъ-нибудь не ранить въ схваткѣ служителей ихъ, людей!

Пишу эти строки въ послѣдніе часы истекающаго скверного года. Новый стоитъ уже предъ дверьми. Дай Богъ, чтобъ онъ былъ не такъ жестокъ, какъ его предшественникъ! Посылаю тоскливѣйшее поздравленіе съ новымъ годомъ за Рейнъ. Желаю дуракамъ немного ума, а умнымъ—немного поэзіи. Женщинамъ желаю самыхъ лучшихъ платьевъ, а мужчинамъ—очень много терпѣнія. Богачамъ желаю имѣть сердце, а бѣднымъ — кусокъ хлѣба. Но главное мое желаніе въ томъ, чтобы въ этомъ новомъ году мы какъ можно меньше клеветали другъ на друга.

XII.

Парижъ, 2 февраля 1843 г.

Ничто не удивляетъ меня такъ, какъ предпріимчивость этихъ французовъ, ихъ ловкій переходъ, или, вѣрнѣе сказать, ловкое перепрыгиванье отъ одного занятія къ другому, совершенно противоположному. Это—не только свойство подвижной натуры, но и историческое пріобрѣтеніе; съ теченіемъ времени французы совершенно отрѣшились отъ гнетущихъ предразсудковъ и педантствъ. Вотъ отчего эмигранты, убѣжавшіе въ Германію во время революціи, такъ легко перенесли перемѣну обстоятельствъ, и многіе изъ нихъ, чтобы добывать кусокъ хлѣба, сумѣли экспромптомъ заняться ремеслами. Моя мать часто разсказывала мнѣ, какъ одинъ французскій маркизъ, поселившійся въ то время въ ихъ городѣ, сдѣлался башмачникомъ и изготовлялъ самые лучшіе дамскіе башмаки; онъ работалъ весело, насвистывалъ забавнѣйшія пѣсни и забылъ все свое прежнее великолѣпіе. Нѣмецкій дворянинъ при такихъ же обстоятельствахъ тоже

прибѣгнулъ бы къ башмачному ремеслу, но, конечно, не подчинился бы такъ весело своей кожаной судьбѣ и во всякомъ случаѣ дѣлалъ бы сапоги для мужчинъ, тяжелые сапоги со шпорами, напоминающіе древнее рыцарство. Когда французы перешли черезъ Рейнъ, нашъ маркизъ былъ принужденъ оставить свою лавку, и онъ бѣжалъ въ другой городъ, кажется, въ Кассель, гдѣ сдѣлался лучшимъ портнымъ; да, никогда не бывши въ ученьѣ, онъ эмигрировалъ, такимъ образомъ, отъ одного ремесла къ другому и сразу доходилъ въ каждомъ до мастерства; нѣмцу это должно казаться непонятнымъ, и притомъ не только дворянину-нѣмцу, но и обыкновенному бюргеру. Послѣ паденія императора, добрый маркизъ, съ посѣдѣлыми волосами, но неизмѣнно молодымъ сердцемъ, вернулся на родину, и тутъ снова принялъ такую гордую осанку и сталъ такъ высоко подымать носъ, какъ будто никогда въ жизни не держалъ въ рукахъ дратвы или иголки. Несправедливо говорятъ объ эмигрантахъ, что они ничему не выучились и ничего не забыли; напротивъ того, они забыли все, чему выучились. Герои Наполеоновскаго времени, когда ихъ уволили въ отставку, или перевели на половинное жалованье, тоже весьма искусно занялись мирными ремеслами, и каждый разъ, какъ мнѣ приходилось бывать въ магазинѣ Деллуа, я ощущалъ пріятное удивленіе, видя, какъ этотъ прежній полковникъ, теперь превратившійся въ книгопродавца, сидѣлъ за своей конторкой, окруженный многими сѣдыми усачами, которые также сражались храбрыми солдатами во время императора, а теперь служили у своего стараго товарища бухгалтерами или счетчиками, словомъ—приказчиками.

Изъ француза можно сдѣлать все, что угодно, и каждый французъ считаетъ себя способнымъ на все. Самый жалкій драматургъ, вдругъ, точно посредствомъ фокуса, превращается въ министра, генерала, свѣтило церкви. Удивительнѣйшій примѣръ представляютъ превращенія нашего милаго Карла Дюверье, бывшаго однимъ изъ знатнѣйшихъ сановниковъ сенъ-симонистской церкви, а по уничтоженіи ея перешедшаго съ духовной сцены на свѣтскую. Этотъ Карлъ Дюверье сидѣлъ въ залѣ Тебу на епископскомъ стулѣ, рядомъ съ отцомъ Анфантеномъ; онъ отличался вдохновеннымъ пророческимъ тономъ, а въ часъ испытанія тоже явился мученикомъ за новую религію. О комедіяхъ Дюверье я сегодня умолчу и поговорю о его политическихъ брошюрахъ, потому что онъ снова оставилъ театральную карьеру и вы-

ступилъ на политическое поприще, и это новое превращеніе, можетъ-быть, удивительно не меньше первыхъ. Его перу принадлежатъ брошюры: «Lettres politiques». Первая обращена къ королю, вторая къ Гизо, третья къ герцогу Немурскому, четвертая къ Тьеру. Всѣ онѣ свидѣтельствуютъ о большомъ умѣ автора. Въ нихъ господствуютъ благородный образъ мыслей, похвальное отвращеніе къ варварской жаждѣ войны, мечтательное сочувствіе къ миру. Отъ развитія промышленности Дюверье ожидаетъ наступленія золотого вѣка; спасеніе совершитъ торжественный въѣздъ въ міръ на паровой машинѣ. Этимъ духомъ особенно проникнута брошюра, обращенная къ Тьеру, или, вѣрнѣе, направленная противъ него. О личности бывшаго президента государственнаго совѣта авторъ говоритъ съ достаточнымъ уваженіемъ. Гизо нравится ему, но Моле нравится больше. Эта задняя мысль сквозитъ у него всюду.

Справедливо или несправедливо онъ отдаетъ предпочтеніе одному изъ этихъ троихъ, рѣшить трудно. Я, съ своей стороны, не думаю, что одинъ изъ нихъ лучше другого, и мое мнѣніе, что каждый изъ нихъ, будучи министромъ, сдѣлалъ бы то же самое, что сдѣлали бы при одинаковыхъ обстоятельствахъ два другіе. Дѣйствительный министръ, мысль котораго всегда становится дѣломъ и который столько же управляетъ, сколько царствуетъ — Людовикъ Филиппъ, и упомянутые государственные люди отличаются между собою только способомъ, какимъ они справляются съ господствомъ королевской мысли.

Тьеръ сначала возстаетъ очень круто, производитъ самую многорѣчивую оппозицію, барабанитъ и трубитъ, и все-таки кончаетъ тѣмъ, что исполняетъ желаніе короля. Не только его революціонныя чувства, но и правительственныя убѣжденія находятся въ постоянномъ противорѣчіи съ королевскою системою; онъ чувствуетъ и знаетъ, что эта система рано ли, поздно ли, должна рушиться, и я могъ бы сообщить вамъ изумительнѣйшія мнѣнія Тьера о непрочности настоящаго порядка вещей. Онъ слишкомъ хорошо знаетъ своихъ французовъ и слишкомъ хорошо исторію французской революціи, чтобъ вполнѣ предаться квіетизму побѣдоносной буржуазіи и положиться на крѣпость намордника, который онъ самъ надѣлъ на тысячеголовое чудовище; его тонкое ухо слышитъ внутреннее ворчанье этого чудовища, онъ даже боится, что оно разорветъ его самого, когда освободится—и все-таки онъ дѣлаетъ то, чего хочетъ король.

Совсѣмъ иное дѣло—Гизо. Для него побѣда буржуазіи—совершившійся фактъ, un fait accompli, и онъ посвятилъ всѣ свои способности служенію этой силѣ, господство которой онъ умѣетъ поддерживать всѣмъ искусствомъ исторической и философской проницательности, какъ разумное, а слѣдовательно имѣющее право существованья. Въ томъ-то и заключается сущность доктринера, что для всего, что онъ хочетъ сдѣлать, онъ находитъ доктрину. Можетъ-быть, по своимъ сокровеннѣйшимъ убѣжденіямъ, онъ стоитъ выше этой доктрины, а можетъ-быть, и ниже ея — какъ знать? Онъ слишкомъ уменъ и имѣетъ слишкомъ разностороннія знанія для того, чтобы въ душѣ не быть скептикомъ, а такой скептицизмъ совмѣстимъ съ служеніемъ той системѣ, на сторону которой онъ перешелъ. Теперь онъ вѣрный слуга господствующей буржуазіи, и жесткій, какъ герцогъ Альба, будетъ защищать ее до послѣдней минуты съ неумолимою послѣдовательностью. У него нѣтъ никакихъ колебаній, никакой нерѣшительности; онъ знаетъ, чего хочетъ, а чего онъ хочетъ, то дѣлаетъ. Если онъ падетъ въ борьбѣ, то и это паденіе не потрясетъ его, а только заставитъ пожать плечами. Вѣдь въ сущности онъ былъ равнодушенъ къ тому, за что сражался. Если когда-нибудь побѣдитъ партія республиканцевъ или даже коммунистовъ, то я совѣтую этимъ добрымъ людямъ сдѣлать своимъ министромъ Гизо, употребляя въ свою пользу его умъ и упрямство, и это поможетъ имъ гораздо больше, чѣмъ отдача правленія въ руки испытаннѣйшихъ дураковъ гражданской добродѣтели. Такой же совѣтъ дамъ я приверженцамъ Генриха V, на тотъ невозможный случай, если они когда-нибудь, вслѣдствіе какого-нибудь національнаго несчастія, по Божьему наказанію, снова получатъ обладаніе офиціальной властью; сдѣлайте своимъ министромъ Гизо, и вы продержитесь тремя сутками больше, чѣмъ продержались бы безъ него, и я не думаю, что оскорбляю Гизо, высказывая мнѣніе, что онъ можетъ унизиться до того, чтобы защищать ваше скверное дѣло своимъ краснорѣчіемъ и правительственными способностями. Вѣдь вы для него такъ же мало интересны, какъ эти буржуа, за которыхъ онъ теперь такъ распинается словомъ и дѣломъ, и какъ система короля, которой онъ служитъ съ стоическимъ равнодушіемъ.

Г. Моле отличается отъ этихъ обоихъ тѣмъ, что, во-первыхъ, онъ собственно тотъ государственный человѣкъ, личность котораго уже обличаетъ патриція и въ которомъ спо-

собность управлять государствомъ или врождена или воспитана посредствомъ фамильныхъ традицій. Въ немъ нѣтъ и слѣда выскочившаго плебейства, какъ въ г. Тьерѣ, а тѣмъ менѣе—той угловатости человѣка науки, которою отличается г. Гизо, и такимъ внѣшнимъ представительствомъ и дипломатическою легкостью онъ можетъ у аристократіи иноземныхъ дворовъ замѣнять геніальность, находимую нами у гг. Тьера и Гизо. Онъ держится исключительно одной системы—системы короля; къ тому же онъ слишкомъ придворный, чтобы желать другой, и король знаетъ это, и онъ министръ совершенно по сердцу Людовику Филиппу. Вы увидите, что каждый разъ, какъ королю будетъ представляться на выборъ — сдѣлать первымъ министромъ г. Гизо или г. Тьера, Людовикъ Филиппъ будетъ тоскливо отвѣчать: «позвольте мнѣ выбрать Моле». Моле — это онъ самъ, а такъ какъ воля его все-таки исполняется, то не было бы несчастьемъ, если бы Моле снова сдѣлался министромъ.

Но счастьемъ это тоже не было бы, потому что королевская система осталась бы попрежнему въ дѣйствіи, а какъ ни высоко цѣнимъ мы благородныя намѣренія короля, какъ ни вѣримъ мы, что онъ искреннѣйше желаетъ блага Франціи, но должны сознаться, что средства, употребляемыя имъ для осуществленія его цѣлей, не тѣ, которыя слѣдуетъ употреблять, что вся система не стоитъ заряда пороха, если еще ей не предстоитъ взлетѣть на воздухъ отъ одного такого заряда. Людовикъ Филиппъ хочетъ управлять Франціею посредствомъ палаты и думаетъ, что выигралъ все, когда услугами ея членамъ ему удается привлечь на свою сторону при всякой правительственной мѣрѣ парламентское большинство. Но его заблужденіе состоитъ въ томъ, что онъ считаетъ палату представительницею Франціи. На самомъ дѣлѣ, однако, это не такъ, и онъ совершенно игнорируетъ интересы народа, крайне отличные отъ интересовъ палаты и не особенно чтимые этою послѣднею. Если случится, что его непопулярность дойдетъ до опасной степени, то палата едва ли будетъ въ состояніи спасти его, да и вопросъ еще, поспѣшитъ ли съ энтузіазмомъ къ нему на помощь въ опасную минуту та самая буржуазія, для которой онъ дѣлаетъ такъ много.

— Наше счастіе,—сказалъ мнѣ недавно одинъ изъ тюильрійскихъ habitués: — что наши противники, считая насъ слабѣе, чѣмъ мы на самомъ дѣлѣ, не боятся насъ, а наши

друзья, иногда дующіеся на насъ, приписываютъ намъ такую силу, какой мы въ дѣйствительности не имѣемъ.

XIII.

Парижъ, 20 марта 1843.

Скуку, которую испускаетъ изъ себя классическая трагедія французовъ, никто не понималъ лучше той добродушной буржуазіи времени Людовика XIV, которая говорила своимъ дѣтямъ: «Не завидуйте дворянству и прощайте ему его высокомѣріе; вѣдь ему приходится, въ видѣ кары небесной, каждый вечеръ скучать до смерти въ Théatre Français». Старый режимъ покончевъ, и скипетръ перешелъ въ руки буржуазіи, но эти новые властители тоже должны искупить очень много грѣховъ, и гнѣвъ боговъ поражаетъ ихъ еще сквернѣе, чѣмъ ихъ предшественниковъ во власти: мало того, что мадмуазель Рашель потчуетъ ихъ каждый вечеръ гнилыми дрождями древняго соннаго напитка, имъ суждено теперь еще глотать отбросы нашей романтической кухни, переложенную въ стихи кислую капусту, «Бургграфовъ» Виктора Гюго! Я не хочу потратить ни одного слова насчетъ достоинства этой неперевариной фабрикаціи, выступающей со всевозможными претензіями, особенно съ историческими, хотя всѣ свѣдѣнія Виктора Гюго о времени и мѣстѣ, когда и гдѣ разыгрывается его драма, почерпнуты исключительно изъ французскаго перевода сочиненія Шрейбера «Handbuch für Rheinreisende». Дѣйствительно ли этотъ человѣкъ, дерзнувшій въ прошломъ году сказать въ публичномъ засѣданіи Академіи, что нѣмецкому генію пришелъ конецъ (la pensée allemande est rentrée dans l'ombre), этотъ величайшій орелъ поэзіи — дѣйствительно ли онъ на этотъ разъ такъ всемогущественно взлетѣлъ выше своихъ современниковъ-писателей? Нисколько. Его произведеніе не свидѣтельствуетъ ни о поэтическомъ богатствѣ, ни о гармоніи, ни о вдохновеніи, ни о свободѣ духа; въ немъ нѣтъ ни одной искры геніальности, а напротивъ того, все ничто иное, какъ напыщенная неестественность и пестрая декламація. Угловатыя деревянныя куклы, на которыхъ нагромождена безвкусная мишура и которыя приводятся въ движеніе замѣтною проволокой, плачевная кукольная комедія, грубое, судорожное обезьяничанье жизни, до послѣдней крайности фальшивая страстность. Нѣтъ для меня ничего фатальнѣе этой Гюговской страстности, которая такъ пламенно мечется во

всѣ стороны, на видъ пылаетъ такъ великолѣпно, а внутри такъ жалко трезва и морозна. Эта холодная страсть, которую намъ преподносятъ въ такихъ пламенныхъ оборотахъ рѣчи, всегда напоминаетъ мнѣ жареное мороженое, такъ искусно приготовляемое китайцами, которые для этого заворачиваютъ въ тонкое тѣсто нѣсколько кусочковъ мороженаго и держатъ его нѣсколько минутъ надъ огнемъ—антитезное лакомство, которое надо проглатывать быстро и причемъ губы и языкъ обжигаешь, а желудокъ охолаживаешь.

Но господствующей буржуазіи приходится за свои грѣхи не только выносить античныя классическія трагедіи и неклассическія трилогіи; небесныя силы дали ей въ удѣлъ еще болѣе ужасное наслажденіе искусствомъ — именно то фортепьяно, отъ котораго теперь уже нигдѣ не увернешься, звуки котораго слышишь теперь во всѣхъ домахъ, въ каждомъ обществѣ, днемъ и ночью. Да, фортепьяно называется орудіе пытки, которымъ теперешнее высшее общество еще особенно сильно истязуется и карается за всѣ свои узурпаторства. Но за что при этомъ страдаетъ и невинный! Эта вѣчная фортепьянная игра становится невыносимою. (Ахъ, въ эту минуту мои сосѣдки по комнатѣ, двѣ юныя дочери Альбіона, исполняютъ блистательный morceau для двухъ лѣвыхъ рукъ). Эти рѣзкіе бренчащіе звуки безъ естественнаго отзвука, это безсердечное битье по клавишамъ, это архипрозаическое бренчанье, это фортепьяно убиваетъ все наше мышленіе и чувство, и мы становимся глупыми, отупѣвшими, безсмысленными. Это установившееся господство фортепьянной игры, а еще болѣе—тріумфальныя шествія виртуозовъ-пьянистовъ характеристичны для нашего времени и несомнѣнно свидѣтельствуютъ о побѣдѣ машинной работы надъ духомъ. Техническая ловкость, точность автомата, отождествленное съ снабженнымъ струнами деревомъ превращеніе человѣка въ звучащій инструментъ—все это теперь цѣнится и восхваляется, какъ высшее въ искусствѣ. Точно саранча, слетаются каждую зиму въ Парижъ пьянисты, не столько для заработка денегъ, сколько для того, чтобы составить себѣ здѣсь имя, которое принесетъ имъ въ другихъ странахъ тѣмъ болѣе обильную денежную жатву. Парижъ служитъ для нихъ чѣмъ-то въ родѣ столба для наклейки афишъ, на которыхъ читается, изображенная колоссальными буквами, ихъ слава. Я говорю — ихъ слава читается, потому что ее возвѣщаетъ довѣрчивому міру парижская пресса, и эти виртуозы умѣютъ

съ величайшею виртуозностью эксплуатировать газеты и газетчиковъ. Они обладаютъ искусствомъ подѣйствовать даже на самаго тугого на ухо, потому что люди всегда люди, они податливы на лесть, имъ пріятно тоже разыгрывать роль покровителя, и рука руку моетъ; но болѣе нечистая изъ нихъ—рѣдко рука журналиста, и даже продажный панегиристъ, вмѣстѣ съ тѣмъ обманутый дуракъ, которому наполовину платятъ любезностями. Говорится о продажности прессы; это очень большая ошибка. Напротивъ того, прессу обыкновенно надуваютъ, и это происходитъ особенно въ отношеніи къ знаменитымъ виртуозамъ. Знамениты они собственно всѣ, именно въ рекламахъ, которыя изготовляются для печати или ихъ собственною высочайшею особой, или братцемъ, или маменькой. Почти невѣроятно, какъ униженно, точно нищіе, молятъ они въ редакціяхъ о ничтожнѣйшей похвалѣ, какъ изгибаются и извиваются. Въ ту пору, когда я пользовался еще большою благосклонностью редактора «Gazette Musicale» — (ахъ, я утратилъ ее по юношескому легкомыслію!)—не разъ видѣлъ я собственными глазами, какъ эти знаменитости вѣрноподданнически лежали у его ногъ, и ползали и виляли хвостомъ передъ нимъ, чтобы добиться небольшой похвалы въ его газетѣ; а о нашихъ высокопрославленныхъ виртуозахъ, которымъ во всѣхъ столицахъ Европы поклоняются, какъ побѣдоноснымъ государямъ, можно сказать, пародируя Беранже, что на ихъ лавровыхъ вѣнкахъ видна еще пыль отъ сапогъ Морица Шлезингера. Какъ эти люди спекулируютъ на наше легковѣріе—объ этомъ нельзя имѣть никакого понятія, если не наблюдать за ихъ дѣятельностью здѣсь на мѣстѣ. Въ редакціи вышеупомянутой музыкальной газеты я встрѣтилъ однажды оборванца-старика, который рекомендовалъ себя, какъ отецъ одного знаменитаго виртуоза, и просилъ редакторовъ напечатать рекламу, въ которой до свѣдѣнія публики доводились нѣсколько благородныхъ чертъ изъ артистической жизни его сына. Именно сообщалось, что гдѣ-то, въ южной Франціи, сей знаменитый далъ концертъ съ колоссальнымъ успѣхомъ и выручкой отъ него предотвратилъ грозившее паденіе старой готической церкви; въ другой разъ онъ игралъ въ пользу пострадавшей отъ наводненія вдовы, или еще въ пользу семидесятилѣтняго школьнаго учителя, потерявшаго свою единственную корову — и т. д. Въ дальнѣйшей бесѣдѣ съ отцомъ этого благодѣтеля человѣчества старикъ совершенно наивно сознался, что его

сынъ, правда, не дѣлаетъ для него столько, сколько могъ бы дѣлать, а по временамъ даже заставляетъ его немного голодать. Я посовѣтовалъ бы знаменитому виртуозу дать тоже концертъ въ пользу развалившихся штановъ его стараго отца.

Когда видишь всю эту мизерность, то, право, перестаешь сердиться на тѣхъ шведскихъ студентовъ, которые ужъ черезчуръ сильно высказались противъ безобразнаго обоготворенія виртуозовъ и знаменитому Оле-Булаю, при его прибытіи въ Упсалу, устроили извѣстную овацію. Прославленный скрипачъ думалъ уже, что изъ его экипажа выпрягутъ лошадей, готовился уже къ факельнымъ шествіямъ и цвѣточнымъ вѣнкамъ—и получилъ неожиданный букетъ почетныхъ палочныхъ ударовъ,—сюрпризъ истинно сѣверный.

Матадорами нынѣшняго сезона были гг. Сивори и Дрейшокъ. Первый скрипачъ, и уже какъ таковаго, ставлю я его выше второго, страшнаго пьяниста. У скрипачей вообще виртуозность не есть результатъ исключительно механической ловкости пальцевъ и простой техники, какъ у пьянистовъ. Скрипка—инструментъ, имѣющій почти человѣческіе капризы и состоящій съ настроеніемъ играющаго, такъ сказать, въ симпатическомъ соотношеніи: малѣйшее недовольство, самое легкое душевное потрясеніе, дуновеніе чувства находитъ здѣсь непосредственный отголосокъ, и это происходитъ, конечно, отъ того, что скрипка, столь близко прижимаемая къ нашей груди, слышитъ и біеніе нашего сердца. Это бываетъ, однако, только съ тѣми артистами, въ груди которыхъ, дѣйствительно, есть бьющееся сердце, которые вообще имѣютъ душу. Чѣмъ суше и безсердечнѣе скрипачъ, тѣмъ однообразнѣе всегда будетъ его исполненіе, и онъ можетъ разсчитывать на послушаніе своей скрипки въ любой часъ, въ любомъ мѣстѣ. Но эта хваленая увѣренность есть только результатъ духовной ограниченности, и именно величайшими мастерами были тѣ, игра которыхъ нерѣдко зависѣла отъ внѣшнихъ и внутреннихъ вліяній. Я не слыхалъ никого, игравшаго лучше, но по временамъ и хуже, чѣмъ Паганини; и то же самое могу сказать объ Эрнстѣ. Эрнстъ, быть можетъ, величайшій скрипачъ нашихъ дней, схожъ съ Паганини столько же въ недостаткахъ, сколько въ геніальности. Объ отсутствіи Эрнста нынѣшнею зимою очень сожалѣли. Синьоръ Сивори былъ очень безцвѣтная замѣна, но мы слушали его съ большимъ удовольствіемъ. Такъ какъ онъ родился въ Генуѣ и, быть можетъ, въ дѣтствѣ встрѣ-

чался въ узкихъ улицахъ этого города, гдѣ двоимъ нельзя не столкнуться, съ Паганини, то его здѣсь провозгласили ученикомъ этого послѣдняго. Нѣтъ, у Паганини никогда не было ученика, никогда и не могло быть, потому что тому лучшему, что онъ зналъ, тому, что есть высшее въ искусствѣ, нельзя ни научить, ни выучиться.

Что въ искусствѣ высшее? То же самое, что есть высшее во всѣхъ проявленіяхъ жизни: сознательная свобода духа. Не только музыкальная пьеса, сочиненная въ полнотѣ этого самосознанія, но и простое исполненіе ея можетъ быть признаваемо за высшее въ искусствѣ, если оттуда вѣетъ на насъ тѣмъ чуднымъ дыханіемъ безконечности, которое непосредственно свидѣтельствуетъ, что исполнитель стоитъ съ композиторомъ на одной тоже свободной высотѣ духа, что онъ тоже свободный. Да, это самосознаніе свободы въ искусствѣ обнаруживается, главнымъ образомъ, въ обработкѣ, формѣ, ни въ какомъ случаѣ—въ матеріалѣ, и мы можемъ, напротивъ того, утверждать, что тѣ художники, которые матеріаломъ себѣ избираютъ и самоё свободу, и ея освобожденіе, обыкновенно люди съ ограниченнымъ, скованнымъ духомъ, дѣйствительно несвободные. Это замѣчаніе особенно подтверждается въ настоящее время въ нѣмецкой поэзіи, гдѣ мы съ ужасомъ видимъ, что необузданно яростнѣйшіе пѣвцы свободы, если ихъ разсмотрѣть при свѣтѣ, большею частью только ограниченныя натуры, филистеры, косичка которыхъ выглядываетъ изъ-подъ краснаго колпака, однодневныя мухи, о которыхъ Гёте сказалъ бы:

Matte Fliegen! Wie sie rasen!
Wie sie sumsen überkeck,
Ihren kleinen Fliegendreck
Träufeln auf Tyrannennasen!

Истинно великіе поэты всегда выражали великіе интересы своего времени иначе, чѣмъ въ риѳмованныхъ газетныхъ статьяхъ, и ихъ нисколько не тревожило, когда рабская масса, грубость которой имъ противна, упрекала ихъ въ аристократизмѣ.

XIV.

Парижъ, 26 марта 1843 г.

Самыми замѣчательными явленіями нынѣшняго сезона я назвалъ гг. Сивори и Дрейшока. На долю послѣдняго достался величайшій успѣхъ, и я сообщаю согласно съ истиной, что общественное мнѣніе провозгласило его однимъ

изъ величайшихъ пьянистовъ-виртуозовъ и поставило на ряду съ знаменитѣйшими. Онъ производитъ адскій шумъ. Кажется, что слышишь не одного пьяниста Дрейшока, а три дюжины пьянистовъ. Такъ какъ въ вечеръ его концерта вѣтеръ былъ юго-западный, то, быть-можетъ, вы могли въ Аугсбургѣ слышать оглушительные звуки; на такомъ разстояніи ихъ дѣйствіе несомнѣнно пріятное. Но здѣсь, въ департаментѣ Сены, нашей барабанной перепонкѣ нетрудно лопнуть, когда этотъ фортепьянный колотильщикъ дастъ себѣ полную волю. Повѣсься, Францъ Листъ, ты дюжинный божокъ въ сравненіи съ этимъ богомъ грома, который связываетъ въ одинъ пукъ бури, какъ березовые прутья, и сѣчетъ ими море. Прежніе пьянисты все больше и больше уходятъ въ тѣнь, и этимъ бѣднымъ, отжившимъ инвалидамъ славы приходится теперь жестоко страдать за то, что въ молодости ихъ превозносили сверхъ мѣры. Только Калькбреннеръ еще кое-какъ держится. Нынѣшнею зимой онъ снова выступилъ публично, въ концертѣ одной изъ своихъ ученицъ; на его губахъ все еще блеститъ та набальзамированная улыбка, которую мы недавно замѣтили у одного египетскаго фараона, когда его мумію развернули въ здѣшнемъ музеѣ. Послѣ болѣе чѣмъ двадцатипятилѣтняго отсутствія г. Калькбреннеръ посѣтилъ также недавно поприще своихъ самыхъ раннихъ успѣховъ, именно Лондонъ, и тамъ стяжалъ очень крупный успѣхъ. Самое лучшее то, что онъ вернулся оттуда здравъ и невредимъ, и намъ не надо больше вѣрить тайному сказанію, будто г. Калькбреннеръ такъ долго избѣгалъ Англію ради ея нездороваго законодательства, которое за галантное преступленіе двоеженства наказываетъ висѣлицей. Мы можемъ поэтому принять, что это сказаніе—вымыселъ, ибо несомнѣнный фактъ, что г. Калькбреннеръ вернулся къ своимъ здѣшнимъ почитателямъ, къ своимъ прекраснымъ роялямъ, которые онъ фабрикуетъ въ компаніи съ г. Плейелемъ, къ своимъ ученицамъ, которыя всѣ вырабатываются въ его учительницъ, во французскомъ значеніи этого слова, къ своей картинной галлереѣ, заплатить за которую, какъ онъ утверждаетъ, не былъ бы въ состояніи ни одинъ государь, къ своему, подающему большія надежды, сыну, который скромностью превосходитъ уже своего отца, и къ славной рыбной торговкѣ, уступившей ему ту камбалу, что̀ уже прежде заказалъ для своего господина главный поваръ князя Беневентскаго, Талейрана-Перигора, бывшаго епи-

скопа Отенскаго. Эта торговка долго не соглашалась уступить вышеупомянутую камбалу знаменитому пьянисту, который пришелъ на рыбный рынокъ инкогнито; но когда онъ вынулъ свою визитную карточку, положилъ ее на рыбу, и бѣдная женщина прочла имя Калькбреннера, она немедленно приказала отнести камбалу къ нему на квартиру, и долго нельзя было уговорить ее принять плату, такъ какъ великая честь, оказанная ей, была достаточнымъ вознагражденіемъ. Нѣмецкія трески раздосадованы этою рыбною исторіею, потому что сами онѣ не въ состояніи проявить свое самосознаніе такимъ блистательнымъ образомъ, и, сверхъ того, еще потому, что онѣ завидуютъ г. Калькбреннеру по поводу его изящной внѣшности, утонченности его манеръ, его гладкости и слащавости, всей марципанности его фигуры, которая, однако, для спокойнаго наблюдателя, благодаря многимъ невольнымъ берлинизмамъ самаго низшаго класса, имѣетъ довольно пакостный привкусъ, такъ что Кореффъ могъ столько же правильно, сколько остроумно, сказать объ этомъ человѣкѣ: «Онъ похожъ на конфетку, упавшую въ дерьмо».

Одинъ изъ современниковъ г. Калькбреннера—г. Пиксисъ, и хотя онъ ниже его рангомъ, но мы все-таки упомянемъ здѣсь о немъ, какъ о курьезной диковинкѣ. Но дѣйствительно ли г. Пиксисъ еще находится въ живыхъ? Онъ самъ утверждаетъ это и ссылается на свидѣтельство г. Сина, знаменитаго посѣтителя морскихъ купаній въ Булони, котораго не слѣдуетъ смѣшивать съ горою Синаемъ. Мы готовы повѣрить этому почтенному укротителю волнъ, хотя нѣкоторые злые языки утверждаютъ даже, что г. Пиксисъ никогда не существовалъ. Нѣтъ, онъ человѣкъ, который живетъ; я говорю—человѣкъ, хотя зоологъ далъ бы ему названіе какого-нибудь хвостатаго существа. Г. Пиксисъ пріѣхалъ въ Парижъ уже во время нашествія, въ ту минуту, когда бельведерскій Аполлонъ былъ снова выданъ римлянамъ и принужденъ оставить Парижъ. Пріобрѣтеніе г. Пиксиса должно было послужить французамъ нѣкоторымъ вознагражденіемъ. Онъ игралъ на фортепьяно, сочинялъ тоже весьма мило, и его музыкальныя штучки особенно цѣнились торговцами птицъ, дрессирующими канареекъ для пѣнія посредствомъ органчиковъ. Стоило одинъ разъ проиграть этимъ желтымъ нѣвуньямъ какую-нибудь композицію г. Пиксиса—и онѣ тотчасъ же понимали ее и щебетали такъ вѣрно, что отрадно было слушать, и всякій аплодировалъ: Pixissime! Съ тѣхъ

поръ, какъ старшіе Бурбоны сошли со сцены, уже нѣтъ восклицанія pixissime; новыя пѣвчія птицы требуютъ новыхъ мелодій. Внѣшность г. Пиксиса, его физическій обликъ, придаетъ ему еще нѣкоторое значеніе; именно, у него самый большой носъ въ музыкальномъ мірѣ, и для того, чтобы сдѣлать эту спеціальность поразительно замѣтною, онъ часто показывается въ компаніи одного композитора романсовъ, у котораго совсѣмъ нѣтъ носа и который недавно получилъ за это орденъ Почетнаго Легіона, ибо, конечно, не за музыку дали г. Пансерону это украшеніе. Говорятъ, что этотъ послѣдній будетъ скоро назначенъ директоромъ Большой Оперы, и это потому, что онъ единственный человѣкъ, за котораго нельзя бояться, что маэстро Джіакомо Мейерберъ будетъ водить его за носъ.

Г. Герцъ принадлежитъ, какъ Калькбреннеръ и Пиксисъ, къ муміямъ; въ настоящее время онъ блещетъ еще только своею прекрасною концертною залою; но онъ давно умеръ, а на-дняхъ тоже женился. Къ поселившимся здѣсь пьянистамъ, которымъ теперь наиболѣе везетъ, принадлежатъ Галле и Эдуардъ Вольфъ; но мы упомянемъ особенно о второмъ, такъ какъ онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, выдается и какъ композиторъ. Эдуардъ Вольфъ много пишетъ и полонъ энергіи. Стефанъ Геллеръ больше композиторъ, чѣмъ виртуозъ, хотя онъ пользуется большимъ уваженіемъ и за свою игру. Его музыкальныя произведенія всѣ носятъ на себѣ печать крупнаго дарованія, и онъ уже теперь принадлежитъ къ большимъ мастерамъ. Это истинный художникъ безъ аффектаціи, безъ преувеличенія, романтическій духъ въ классической формѣ. Тальбергъ уже два мѣсяца въ Парижѣ, но не хочетъ дать свой собственный концертъ; онъ будетъ играть на этой недѣлѣ только въ концертѣ одного изъ своихъ друзей. Этотъ артистъ выгодно отличается отъ своихъ коллегъ-пьянистовъ, отличается, я почти сказалъ бы, своимъ музыкальнымъ поведеніемъ. Какъ въ жизни, такъ и въ своемъ искусствѣ, Тальбергъ обнаруживаетъ врожденный тактъ, его игра такая джентльменская, такая приличная, такъ лишена всякихъ гримасъ, всякаго форсированнаго геніальничанья, всякихъ признаковъ того хвастливаго тупоумія, которое плохо скрываетъ внутреннее убожество. Женщины здоровыя любятъ его. Женщины болѣзненныя не менѣе расположены къ нему, хотя онъ не вызываетъ ихъ состраданія эпилептическими припадками на фортепьяно, хотя онъ не спекулируетъ на ихъ раздражительно-деликатную нервность, хотя

онъ и не электризируетъ, и не гальванизируетъ ихъ—качества отрицательныя, но прекрасныя. Есть только одинъ артистъ, котораго я предпочитаю ему—это Шопенъ; но онъ гораздо болѣе композиторъ, чѣмъ виртуозъ. Слушая Шопена, я совсѣмъ забываю мастерство исполненія и погружаюсь въ сладостныя бездны его музыки, въ скорбную прелесть его столько же глубокихъ, сколько нѣжныхъ созданій. Шопенъ—великій геніальный творецъ звуковъ, котораго, собственно говоря, слѣдовало бы называть въ сообществѣ только Моцарта, или Бетговена, или Россини.

Въ такъ-называемыхъ лирическихъ театрахъ нынѣшнею зимою не было недостатка въ новинкахъ. Въ Bouffes намъ дали «Don Pasquale», новое произведеніе синьора Доницетти. И этотъ итальянецъ тоже имѣетъ успѣхъ, талантъ его крупный, но еще крупнѣе его плодовитость, въ которой онъ уступаетъ только кроликамъ. Въ Opéra Comique мы смотрѣли «La part du diable», текстъ Скриба, музыка Обера; поэтъ и композиторъ хорошо подходятъ здѣсь другъ къ другу, они поразительно схожи между собою и своими достоинствами, и недостатками. У обоихъ много esprit, много граціи, много изобрѣтательности, даже страстности; только у одного отсутствіе поэзіи, какъ у другого отсутствіе музыки. Ихъ опера находитъ слушателей и даетъ всегда полный сборъ.

Въ Académie royale de musique, т. е. въ Большой Оперѣ, дали на этихъ дняхъ «Карла VI», текстъ Казимира Делавиня, музыка Галеви. И здѣсь мы замѣчаемъ между поэтомъ и композиторомъ родственное сходство. Оба они сумѣли, посредствомъ добросовѣстнаго, благороднаго стремленія, возвысить свое прирожденное дарованіе и выработали себя больше внѣшнею дисциплиною школы, чѣмъ внутреннею оригинальностью. Оттого-то они не создавали никогда ничего совсѣмъ плохого, какъ это случается иногда съ самостоятельными геніями; всегда у нихъ выходило нѣчто пріятное, нѣчто прекрасное, нѣчто почтенное, академическое, классическое. При этомъ оба они—благородныя натуры, достойныя личности, и въ теперешнее время, когда золото скупо прячется, не слѣдуетъ намъ пренебрежительно относиться къ имѣющему курсъ серебру. «Летучій Голландецъ» Дица потерпѣлъ печальное крушеніе; оперу эту я не слышалъ, только либретто ея прочелъ, и противно мнѣ было увидѣть, какъ изуродована во французскомъ текстѣ прекрасная легенда, которую одинъ извѣстный нѣмецкій писа-

тель (Г. Гейне) изобразилъ въ совершенно пригодной для сцены формѣ.

«Пророка» Мейербера все еще ожидаютъ, и притомъ съ нетерпѣніемъ, которое, будучи доведено до невыносимости, въ концѣ концовъ можетъ перейти въ фатальное недовольство. И безъ того уже здѣсь образуется странная реакція противъ Мейербера, которому въ Парижѣ не прощаютъ благосклонности, высочайше оказанной ему въ Берлинѣ. Съ достаточной несправедливостью на немъ вымещаютъ разныя политическія непріятности. Убогимъ дарованіямъ, которымъ для поддержки существованія приходится обращаться къ высочайшему покровительству, ихъ прислужничество прощается гораздо легче, чѣмъ великому маэстро, который явился на свѣтъ независимымъ, съ грандіознымъ, почти геніальнымъ состояніемъ. Дѣйствительно, онъ подвергнулъ себя очень непріятнымъ недоразумѣніямъ; къ этому мы, можетъ-быть, еще возвратимся. Отсутствіе Берліоза чувствительно. Надо надѣяться, что, по возвращеніи, онъ привезетъ съ собой много прекраснаго. Германія, несомнѣнно, вдохновитъ его, какъ и онъ, конечно, вдохновляетъ сердца по ту сторону Рейна. Это безспорно величайшій и оригинальнѣйшій художникъ, какого только произвела Франція въ послѣднее время; онъ стоитъ выше всѣхъ своихъ коллегъ французскаго нарѣчія.

Въ качествѣ добросовѣстнаго корреспондента я долженъ упомянуть, что между пребывающими здѣсь нѣмецкими земляками находится и превосходный композиторъ Конрадинъ Крейцеръ. Конрадину Крейцеру доставила здѣсь значительный почетъ его опера «Ночлегъ въ Гренадѣ», которую давала голодной памяти нѣмецкая труппа. Мнѣ этотъ почтенный маэстро знакомъ уже съ моей ранней юности, когда я восхищался его «пѣснями»; еще теперь онѣ звучатъ въ моей душѣ, какъ поющіе лѣса съ рыдающими соловьями и цвѣтущимъ весеннимъ воздухомъ. Г. Крейцеръ говорилъ мнѣ, что онъ напишетъ для Opéra Comique музыку на имѣющееся у него либретто. Желаю, чтобъ ему удалось не поскользнуться на этой опасной дорожкѣ и не быть оставленнымъ въ дуракахъ продувными roués парижскаго комедьянтскаго міра, какъ это бывало до него со многими нѣмцами, которые даже имѣли передъ г. Крейцеромъ то преимущество, что были менѣе талантливы, чѣмъ онъ, и во всякомъ случаѣ умѣли ловчѣе его скользить по гладкому паркету Парижа. Сколько печальнаго пришлось испытать

г. Рихарду Вагнеру, который, наконецъ, покинуясь голосу разсудка и желудка, благоразумно отказался отъ опаснаго проекта поселиться на французской сценѣ и перелетѣлъ обратно въ нѣмецкую страну кортофеля! Болѣе выгодно устроился въ матеріальномъ и рабочемъ отношеніи старый Дессауэръ, который, по его словамъ, пишетъ оперу по порученію Opéra Comique. Текстъ сочиняетъ для него г. Скрибъ, который предварительно получилъ отъ одного изъ здѣшнихъ банкирскихъ домовъ поручительство, что въ случаѣ провала стараго Дессауэра, ему, знаменитому фабриканту либреттъ, будетъ уплачена, въ видѣ отступныхъ или вознагражденія, значительная сумма. И онъ дѣйствительно правъ, принимая такую предосторожность, потому что старый Дессауэръ, судя по его собственному ежедневному хныканью объ этомъ, страдаетъ меланхоликой. Но кто же этотъ старый Дессауэръ? Не можетъ же быть, что это тотъ старый дессауэръ, который въ семилѣтнюю войну стяжалъ столько лавровъ, и маршъ котораго сдѣлался столь знаменитымъ, и статуя котораго стояла въ берлинскомъ дворцовомъ саду и спустя нѣсколько времени повалилась? Нѣтъ, дорогой читатель! Это не прусскій старый дессаэуръ, и это имя есть только nom de guerre или, быть-можетъ, прозвище, которое дали нашему теперешнему Дессауэру ради его старческой, сгорбленной и скрюченной фигуры. Онъ старый юноша, дурно сохранившійся. Онъ не изъ Дессау, напротивъ того—онъ изъ Праги, гдѣ у него въ еврейскомъ кварталѣ два большихъ опрятныхъ дома. Говорятъ, имѣетъ онъ домъ и въ Вѣнѣ, и вообще обладаетъ большимъ состояніемъ. Поэтому ему нѣтъ надобности сочинять, какъ сказала бы старуха Моссонъ. Но изъ любви къ искусству онъ пренебрегъ своими торговыми дѣлами, занялся музыкой и въ ранніе годы написалъ оперу, которая, благодаря его благородной настойчивости, была поставлена на сцену и выдержала полтора представленія. Въ Вѣнѣ старый Дессауэръ поступалъ такъ же, какъ въ Прагѣ—старался извлечь пользу изъ своихъ дарованій; но клика, бредящая Моцартомъ, Бетговеномъ и Шубертомъ, не дала ему ходу; его не поняли, что весьма легко объясняется жаргономъ, на которомъ онъ говоритъ, и какимъ-то носовымъ произношеніемъ нѣмецкихъ словъ, напоминающимъ гнилыя яйца. А можетъ-быть, его и понимали, но именно поэтому и игнорировали его. Въ добавокъ, онъ страдалъ гемороемъ, также болями въ мочевомъ пузырѣ, и получилъ, какъ онъ выражается, меланхолику.

Чтобы развлечься, онъ поѣхалъ въ Парижъ и тутъ пріобрѣлъ благосклонность знаменитаго г. Морица Шлезингера, который началъ издавать его «Lieder»; въ видѣ гонорара композиторъ получилъ отъ него золотые часы. Когда, нѣсколько времени спустя, старый Дессауэръ пошелъ къ своему покровителю и заявилъ ему, что часы не идутъ, тотъ возразилъ: «Не идутъ? А развѣ я говорилъ, что они будутъ идти? Ваши композиціи развѣ идутъ? У меня съ вашими композиціями то же, что у васъ съ моими часами. Не идутъ». Такъ сказалъ властитель музыкантовъ Морицъ Шлезингеръ, вздергивая вверхъ свой галстукъ и теребя его, точно онъ вдругъ сталъ слишкомъ тѣсенъ—какъ обыкновенно дѣлаетъ г. Шлезингеръ, когда приходитъ въ азартъ; ибо, подобно всѣмъ великимъ людямъ, онъ очень раздражителенъ. Это зловѣщее дерганье и верченіе галстука часто предшествуетъ опаснѣйшимъ взрывамъ гнѣва, и бѣдный старикъ Дессауэръ былъ такъ встревоженъ этимъ, что въ тотъ день страдалъ меланхоликой сильнѣе, чѣмъ когда-либо. Благородный покровитель отнесся къ нему несправедливо. Не его вина, что «пѣсни» его не идутъ; онъ сдѣлалъ все возможное для того, чтобы заставить ихъ идти; для этого онъ съ утра до ночи оставался на ногахъ и бѣгаетъ вслѣдъ за всякимъ, кто въ состояніи какой-нибудь газетной рекламой помочь его композиціямъ идти. Онъ приклеивается къ сюртуку каждаго журналиста и постоянно хнычетъ намъ о своей меланхоликѣ и о томъ, что крошечка похвалы могла бы развеселить его больную душу. Менѣе состоятельныхъ фельетонистовъ, работающихъ въ маленькихъ газетахъ, онъ старается поймать на удочку другими способами, напримѣръ разсказывая имъ, что на-дняхъ онъ далъ редактору одного листка въ Café de Paris завтракъ, стоившій ему сорокъ пять франковъ десять су, и онъ, дѣйствительно, для удостовѣренія въ этомъ, постоянно носитъ въ карманѣ брюкъ счетъ, carte payante, того завтрака. Да, гнѣвный Шлезингеръ несправедливъ къ старому Дессауэру, думая, что тотъ не употребляетъ всѣ средства, чтобы заставить свои сочиненія идти. Бѣднякъ старается пускать съ этой цѣлью въ ходъ не только мужскія, но и женскія гусиныя перья. Онъ даже отыскалъ одну старую соотечественницу-гусыню, которая, изъ состраданія къ нему, написала нѣсколько хвалебныхъ рекламъ на сентиментально приторнѣйшемъ французско-нѣмецкомъ нарѣчіи и какъ бы старалась печатнымъ бальзамомъ облегчить его меланхолику. Мы считаемъ дол-

гомъ тѣмъ болѣе похвалить эту почтенную особу, что тутъ играла роль только чистая гуманность, филантропія, и старому Дессауэру врядъ ли возможно подкупать женщинъ красотой своего лица. Насчетъ этого лица мнѣнія различны: одни говорятъ, что оно — рвотное, другіе говорятъ, что оно—слабительное. Вѣрно одно, что, при видѣ его, меня всегда удручаетъ фатальная дилемма, и я не знаю, съ которымъ изъ этихъ мнѣній согласиться. Старый Дессауэръ хотѣлъ показать здѣшней публикѣ, что его лицо не фатальнѣйшее въ мірѣ, какъ утверждаютъ люди. Съ этой цѣлью онъ нарочно выписалъ изъ Праги сюда младшаго брата, и этотъ прекрасный юноша, похожій на Адониса паршей, теперь сопровождаетъ его всюду въ Парижѣ.

Прости, дорогой читатель, что я бесѣдую съ тобой о такихъ навозныхъ мухахъ; но ихъ назойливое жужжаніе можетъ, наконецъ, и самаго терпѣливаго довести до того, что онъ схватитъ хлопушку. А сверхъ того, я хотѣлъ здѣсь показать, какихъ навозныхъ жуковъ наши почтенные музыкальные издатели прославляютъ, какъ нѣмецкихъ соловьевъ, какъ послѣдователей, даже соперниковъ Шуберта. Популярность Шуберта въ Парижѣ очень велика, и его имя эксплуатируется безстыднѣйшимъ образомъ. Самая жалкая сволочь, сочиняющая Lieder, выступаетъ здѣсь подъ вымышленнымъ именемъ и фамиліею Камилла Шуберта, и французы, конечно не знающіе, что имя настоящаго композитора—Францъ, такимъ образомъ вводятся въ обманъ. Бѣдный Шубертъ! И какіе тексты подсовываются подъ его музыку. Самыя любимыя здѣсь произведенія Шуберта—тѣ, что̀ написаны на слова Генриха Гейне, но эти слова переведены такъ ужасно, что авторъ былъ душевно радъ, когда узналъ, до какой степени музыкальные издатели не совѣстятся, умалчивая дѣйствительнаго автора, ставить на заглавномъ листѣ его «пѣсенъ» имя какого-нибудь темнаго французскаго писаки. Дѣлается это, можетъ-быть, изъ хитрости, чтобы не напоминать о droits d'auteur. Здѣсь, во Франціи, издатели всегда уплачиваютъ автору словъ положеннаго на музыку произведенія половину гонорара. Будь эта мода введена въ Германіи, то поэтъ, чья «Книга Пѣсенъ» уже двадцать лѣтъ эксплуатируется всѣми нѣмецкими музыкальными издателями, получилъ бы отъ нихъ когда-нибудь, по крайней мѣрѣ, хоть слово благодарности. На самомъ же дѣлѣ, изъ многихъ сотенъ появившихся въ Германіи композицій на его пѣсни, ему не прислали даже ни одного дарового экземпляра! Дай Богъ,

чтобъ наступилъ когда-нибудь и для Германіи часъ, когда духовная собственность писателя будетъ признаваться такъ же серьезно, какъ хлопчатобумажная собственность фабриканта ночныхъ колпаковъ. Но у насъ на поэтовъ смотрятъ, какъ на соловьевъ, которымъ принадлежитъ только воздухъ; они лишены правъ, совершенно внѣ закона.

Заключу это письмо добрымъ дѣломъ. Какъ я слышалъ, г. Шиндлеръ въ Кельнѣ, гдѣ онъ состоитъ «директоромъ музыки», очень разсерженъ тѣмъ, что я, въ одной изъ моихъ корреспонденцій, отозвался очень пренебрежительно о его бѣломъ галстукѣ, насчетъ же его самого утверждалъ, что онъ на своихъ визитныхъ карточкахъ подъ своимъ именемъ прибавляетъ: ami de Beethoven. Это послѣднее онъ отрицаетъ. Что касается до галстука, то сказанное мною—совершенная правда, и я никогда не видѣлъ болѣе ужасающе бѣлаго и накрахмаленнаго чудовища; относительно же карточки я по человѣколюбію долженъ сознаться, что самъ сомнѣваюсь, дѣйствительно ли на ней стояли тѣ слова. Эту исторію я не выдумалъ, но, можетъ-быть, слишкомъ легко повѣрилъ ей, какъ, впрочемъ, всегда въ свѣтѣ имѣетъ больше силы вѣроятность, чѣмъ правда. Первая доказываетъ, что человѣка считаютъ способнымъ на такую глупость, и даетъ намъ мѣрку его дѣйствительнаго образа мыслей, тогда какъ истинный фактъ самъ по себѣ можетъ быть только простою случайностью безъ характеристическаго значенія. Упомянутой карточки я не видѣлъ; за то на этихъ дняхъ привелось мнѣ видѣть собственными глазами визитную карточку дрянного итальянскаго пѣвца, который подъ своимъ именемъ напечаталъ слова: neveu de m-r Rubini.

XV.

Парижъ, 5 мая 1843.

То, что̀ есть собственно политика, живетъ теперь уединенно въ своемъ отелѣ бульвара des Capucins. Между тѣмъ выступили на очередной порядокъ вопросы промышленные и артистическіе, и теперь спорятъ, чему надо покровительствовать—сахарному тростнику или свекловицѣ; что̀ лучше—отдать сѣверную желѣзную дорогу частной компаніи, или строить ее на счетъ правительства; возстановится ли классическая система въ поэзіи, благодаря успѣху «Лукреціи»; имена, произносящіяся въ настоящую минуту чаще всѣхъ другихъ,—Ротшильдъ и Понсаръ.

Слѣдствіе о выборахъ составляетъ небольшое intermezzo въ палатѣ. Объемистый докладъ объ этомъ печальномъ дѣлѣ заключаетъ въ себѣ очень удивительныя подробности. Авторъ его нѣкто Ланге, котораго я двѣнадцать лѣтъ назадъ встрѣтилъ, какъ крайне неискуснаго врача, у его единственнаго паціента и который съ тѣхъ поръ, къ благу человѣчества, оставилъ посохъ Эскулапа. Какъ только это слѣдствіе окончится, начнутся пренія о сахарномъ вопросѣ, и тутъ г. Ламартинъ выступитъ въ защиту интересовъ колоніальной торговли и французскаго флота противъ духа мелкаго торгашества. Противниками сахарнаго тростника оказываются или заинтересованные промышленники, смотрящіе на благо Франціи только съ точки зрѣнія своей лавки, или старые, отжившіе бонапартисты, придерживающіеся съ какимъ-то благоговѣніемъ рѣпы, любимой идеи императора. Эти старцы, съ 1814 г. находящіеся въ умственномъ застоѣ, составляютъ всегда грустно комическій pendant къ нашимъ зарейнскимъ старымъ нѣмечникамъ, и какъ нѣкогда эти послѣдніе мечтали о нѣмецкомъ дубѣ и кофе изъ желудей, такъ первые мечтаютъ только о gloire и сахарѣ изъ рѣпы. Но время быстро катится впередъ, неудержимо на парахъ, и изношенные герои прошедшаго, старые калѣки замкнутой національности, инвалиды и неизлѣчимые скоро скроются изъ нашихъ глазъ. Открытіе двухъ новыхъ желѣзныхъ дорогъ, изъ которыхъ одна ведетъ въ Орлеанъ, а другая въ Руанъ, производитъ здѣсь потрясеніе, ощущаемое всякимъ, не держащимъ себя въ совершенномъ отдаленіи отъ соціальнаго движенія. Все населеніе Парижа составляетъ въ настоящую минуту какъ бы цѣпь, въ которой одинъ сообщаетъ электрическій ударъ другому. Но между тѣмъ, какъ масса смотритъ въ ошеломленіи на внѣшнее проявленіе великихъ силъ движенія, мыслителя охватываетъ тотъ зловѣщій ужасъ, который мы ощущаемъ всегда, когда передъ нашими глазами совершаются невѣроятнѣйшія, неслыханнѣйшія вещи, послѣдствія которыхъ не могутъ быть ни предвидѣны, ни разсчитаны. Мы замѣчаемъ только, что все наше существованіе увлечено на новый путь, что насъ ожидаютъ новыя отношенія, радости и бѣдствія, и невѣдомое сковываетъ насъ своею ужасающею прелестью, обольщая и въ то же время пугая. Такое ощущеніе, вѣроятно, испытывали наши отцы, когда была открыта Америка, когда изобрѣтеніе пороха было возвѣщено первыми его выстрѣлами, когда книгопечатаніе послало въ міръ

первые оттиски божественнаго слова. Желѣзныя дороги — такое же великое событіе, дающее человѣчеству новый полетъ, измѣняющее цвѣтъ и фигуру жизни; оно начинаетъ собою новый отдѣлъ во всемірной исторіи, и наше поколѣніе можетъ похвалиться тѣмъ, что присутствовало при этомъ. Какія перемѣны должны произойти теперь въ нашемъ образѣ воззрѣнія на вещи и въ нашихъ представленіяхъ! Поколебались даже элементарныя понятія о времени и пространствѣ. Желѣзныя дороги убили пространство, и у насъ осталось только время. Ахъ, если бы мы имѣли достаточно денегъ для того, чтобы имѣть возможность убить и время! Въ четыре съ половиной часа можно теперь проѣхать въ Орлеанъ, въ столько же часовъ въ Руанъ. Что же будетъ, когда окончится постройка линій, ведущихъ въ Бельгію и Германію, и когда эти линіи соединятся съ тамошними дорогами! Мнѣ чудится, что горы и лѣса всѣхъ странъ придвинулись къ Парижу. Я слышу уже запахъ нѣмецкихъ липъ; передъ моими дверьми шумитъ Сѣверное море.

Для сооруженія не только сѣверной желѣзной дороги, но и многихъ другихъ линій, въ Парижѣ образовалось много большихъ компаній, и онѣ печатными циркулярами приглашаютъ публику къ участію въ своемъ предпріятіи. Каждая выпускаетъ въ свѣтъ объявленіе, въ заголовкѣ котораго огромными цифрами парадируетъ капиталъ, долженствующій покрыть расходы по предпріятію. Этотъ капиталъ обыкновенно состоитъ изъ пятидесяти, ста и даже нѣсколькихъ сотенъ милліоновъ франковъ; въ объявленіи говорится, что по истеченіи опредѣленнаго срока подписка на акціи прекратится; тутъ же замѣчается, что если основной капиталъ составится ранѣе опредѣленнаго срока, то подписка будетъ прекращена. Такими же колоссальными буквами напечатаны на объявленіяхъ имена лицъ, составляющихъ comité de surveillance компаній; это имена не только финансистовъ, банкировъ, receveurs généraux, заводчиковъ и фабрикантовъ, но и высшихъ государственныхъ сановниковъ, принцевъ, герцоговъ, маркизовъ, графовъ — имена большею частью правда, неизвѣстныя, но со своими офиціальными и феодальными титулами звучащія такъ великолѣпно, что, перечитывая ихъ, какъ будто слышишь трубные звуки, при которыхъ паяцъ, стоя на балконѣ балагана, приглашаетъ почтеннѣйшую публику войти. On ne paie qu'en entrant. Кто не довѣритъ такому комитету, который, однако, отнюдь не

обѣщаетъ здѣсь, какъ думаютъ многіе, солидарную гарантію и фигурируетъ не какъ надежная опора, а какъ простая каріатида! Я выразилъ одному изъ моихъ друзей удивленіе по поводу того, что между членами комитетовъ находились также флотскіе офицеры, и что даже въ числѣ президентовъ компаніи я находилъ въ циркулярныхъ объявленіяхъ имена адмираловъ. Такъ, напримѣръ, я встрѣтилъ имя адмирала Розамеля, по которому были даже названы самая компанія и ея акціи. Мой другъ, очень любящій посмѣяться, замѣтилъ, что подобное пріобщеніе къ дѣлу флотскихъ офицеровъ есть очень разумная мѣра предосторожности со стороны компаній, на случай, если бы онѣ пришли въ роковое столкновеніе съ юстиціею и судъ присяжныхъ приговорилъ бы ихъ къ ссылкѣ на галеры; тутъ члены компаніи всегда имѣли бы при себѣ адмирала, что̀ было бы имъ полезно въ Тулонѣ или Брестѣ, гдѣ приходится много грести. Мой другъ ошибается. Этимъ людямъ нечего бояться, что ихъ посадятъ за весла въ Тулонѣ или Брестѣ; руль, который перейдетъ, если уже не перешелъ отчасти, въ ихъ руки, принадлежитъ совершенно другой мѣстности; это государственный руль, которымъ господствующая денежная аристократія овладѣваетъ съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе. Эти люди скоро составятъ не столько comité de surveillance компаніи желѣзныхъ дорогъ, сколько comité de surveillance всего нашего гражданскаго общества, и не мы ихъ, а они насъ пошлютъ въ Тулонъ или Брестъ.

Домъ Ротшильда, который испрашиваетъ концессію сѣверной желѣзной дороги и, по всей вѣроятности, получитъ ее, не есть акціонерная компанія въ собственномъ смыслѣ, и участіе, предоставляемое этимъ домомъ въ предпріятіи отдѣльнымъ лицамъ, есть одолженіе, есть даже, чтобы выразиться вполнѣ опредѣлительно, денежный подарокъ, который г. Ротшильдъ дѣлаетъ своимъ друзьямъ. Случайныя акціи, такъ-называемыя промессы дома Ротшильда стоятъ уже на нѣсколько сотъ франковъ выше pari, и поэтому тотъ, кто желаетъ получить у барона Джемса Ротшильда эти акціи al pari, проситъ милостыню въ полномъ смыслѣ этого слова. Но теперь весь міръ проситъ у него милостыню, просительныя письма льются дождемъ, и такъ какъ тутъ примѣръ подаютъ знатнѣйшія лица, то нищенство уже не считается постыднымъ дѣломъ. Такимъ образомъ г. фонъ-Ротшильдъ есть герой дня, да и вообще въ исторіи нашего теперешняго безденежья онъ играетъ такую большую роль,

что я долженъ говорить о немъ часто и со всевозможною серьезностью. Онъ въ самомъ дѣлѣ удивительный человѣкъ. Я не могу судить о его финансовыхъ способностяхъ, но, судя по результатамъ, онѣ очень велики. Характеристическое свойство его состоитъ въ дарѣ наблюдательности или инстинктѣ, съ которымъ онъ умѣетъ если не обсуживать, то выискивать способности другихъ лицъ въ какой бы то ни было сферѣ. Благодаря этому дару, его сравнивали съ Людовикомъ XIV, и дѣйствительно, г. Джемсъ Ротшильдъ, въ противоположность своимъ коллегамъ, любящимъ окружать себя генеральнымъ штабомъ посредственностей, всегда находится въ тѣснѣйшихъ сношеніяхъ съ передовыми людьми во всѣхъ сферахъ; если даже ему какая-нибудь спеціальность совсѣмъ незнакома, онъ всегда знаетъ, кто въ ней самый выдающійся человѣкъ. Онъ не знаетъ, можетъ-быть, ни одной ноты въ музыкѣ, но Россини всегда былъ его домашнимъ другомъ; Арн-Шефферъ его придворный живописецъ; Каремъ былъ его поваромъ. Г. фонъ-Ротшильдъ не знаетъ, конечно, ни одного слова по-гречески, но эллинистъ Летронъ, ученый, пользуется его наибольшимъ расположеніемъ. Лейбъ-медикомъ его былъ геніальный Дюпюитренъ, и между ними существовала самая братская дружба. Достоинство Кремье, великаго юриста, которому предстоитъ великая будущность, Ротшильдомъ было уже давно понято, и онъ нашелъ въ Кремье вѣрнаго приверженца. Точно также, съ самаго начала царствованія Людовика Филиппа, онъ оцѣнилъ его политическія способности и всегда былъ на короткой ногѣ съ этимъ гросмейстеромъ дипломатическаго искусства. Эмиля Перейра, этого pontifex maximus желѣзныхъ дорогъ, открылъ собственно Ротшильдъ; онъ сейчасъ же сдѣлалъ его своимъ первымъ инженеромъ и съ помощью его основалъ версальскую дорогу, и именно правый берегъ ея, на которомъ никогда не случается несчастій. Поэзія, какъ французская, такъ и нѣмецкая, тоже имѣетъ въ распоряженіи г. Ротшильда очень достойныхъ представителей, но мнѣ кажется, что здѣсь играетъ у него роль только милая любезность, и что г. баронъ нашимъ живымъ поэтамъ сочувствуетъ не такъ восторженно, какъ великимъ мертвецамъ, напр. Гомеру, Софоклу, Данте, Сервантесу, Шекспиру, Гёте, все умершимъ поэтамъ, просвѣтленнымъ геніямъ, которые, очистившись отъ всякой земной грязи, не знаютъ уже никакихъ житейскихъ лишеній и не просятъ никакихъ акцій сѣверной желѣзной дороги.

Въ настоящую минуту звѣзда Ротшильда находится въ зенитѣ своего блеска. Не знаю, не провинился ли я въ недостаткѣ благоговѣйнаго уваженія, назвавъ Ротшильда только звѣздой. Но онъ не разсердится на меня за это, какъ сдѣлалъ Людовикъ XIV, который однажды разгнѣвался на одного бѣднаго поэта за то, что тотъ имѣлъ дерзость сравнить его со звѣздою—его, который привыкъ, чтобъ ему давали названіе солнца, и избралъ даже это небесное тѣло своею офиціальною эмблемою.

Однакожъ, чтобы идти совершенно надежнымъ шагомъ, я сравню сегодня г. Ротшильда съ солнцемъ; во-первыхъ, это мнѣ ничего не стоитъ, а во-вторыхъ, такое сравненіе я, право, могу сдѣлать совершенно основательно въ настоящую минуту, когда каждый поклоняется этому свѣтилу, желая согрѣть себя его золотыми лучами. Между нами будь сказано, эта furor поклоненія — немалая мука для бѣднаго солнца; и ему нѣтъ покоя отъ его обожателей, въ числѣ которыхъ находятся многіе, рѣшительно недостойные освѣщаться солнечными лучами; эти фарисеи громче всѣхъ другихъ воспѣваютъ хвалебные гимны и подвергаютъ бѣднаго барона такой страшной нравственной пыткѣ, что о немъ нельзя не жалѣть. Вообще я думаю, что деньги для него—больше несчастье, чѣмъ счастье; будь у него жесткій характеръ, онъ не оставался бы до такой степени терпѣливымъ; но при его добродушіи и кротости, онъ долженъ много страдать отъ напора множества бѣдствій, которыя онъ долженъ облегчать, отъ притязаній, которыя постоянно предъявляются на него, и отъ неблагодарности, которая сопровождаетъ каждое его благодѣяніе. Избытокъ богатства, можетъ-быть, переносить тяжелѣе, чѣмъ бѣдность. Каждому, находящемуся въ очень дурныхъ денежныхъ обстоятельствахъ, я совѣтую отправляться къ г. Ротшильду, не для того, чтобы брать у него взаймы (ибо я сомнѣваюсь, чтобы эта просьба оказалась особенно успѣшною), но чтобы утѣшиться видомъ этого денежнаго страданія. Бѣднякъ, почти ничего не имѣющій и не знающій, какъ себѣ помочь, убѣдится здѣсь, что есть на свѣтѣ человѣкъ, страдающій еще больше оттого, что у него слишкомъ много денегъ, что всѣ деньги міра стеклись въ его космополитическій исполинскій карманъ, и что онъ долженъ повсюду тащить съ собою такое бремя, между тѣмъ какъ толпа голодныхъ и воровъ со всѣхъ сторонъ протягиваетъ къ нему руки. И какія ужасныя и опасныя руки!—«Какъ ваше здоровье?»—

спросилъ однажды одинъ нѣмецкій поэтъ г. барона. — «Я помѣшался»,—отвѣчалъ баронъ.—«Прежде, чѣмъ вы не выбросите денегъ за окошко, я не повѣрю этому», — сказалъ поэтъ.—Но баронъ со вздохомъ перебилъ его:—«Въ томъ-то и состоитъ мое помѣшательство, что я никогда не выбрасываю денегъ за окно».

Но какъ ни несчастливы богачи въ здѣшней жизни, они и послѣ смерти не могутъ попасть на небо! «Скорѣе верблюдъ пройдетъ сквозь ушко иголки, чѣмъ богачъ внидетъ въ царство небесное»; эти слова божественнаго Учителя—страшная анаѳема, свидѣтельствующая о горькой ненависти произнесшаго ихъ къ биржѣ и haute finance Іерусалима. Міръ кишитъ филантропами, есть много обществъ покровительства животнымъ, и для бѣдныхъ, дѣйствительно, дѣлаютъ очень много. Но для богачей, которые еще несчастнѣе, не дѣлаютъ ничего. Вмѣсто того, чтобы назначать преміи за сочиненія о разведеніи шелковичныхъ червей, скотоводствѣ и философіи Канта, нашимъ ученымъ обществамъ слѣдовало бы обѣщать значительную премію за разрѣшеніе вопроса: какъ протащить верблюда сквозь ушко иголки. Пока не разрѣшится этотъ великій верблюжій вопросъ и богачи не получатъ надежды на входъ въ царствіе небесное, до тѣхъ поръ и спасеніе бѣдныхъ не установится на прочномъ основаніи. Богачи были бы менѣе жестокосерды, если бы счастіе ихъ не ограничивалось только пребываніемъ на землѣ и они не должны были бы завидовать бѣднымъ въ томъ, что эти послѣдніе будутъ нѣкогда наслаждаться тамъ, in floribus, вѣчною жизнью. Богачи говорятъ: «съ какой стати будемъ мы помогать на землѣ этой нищей сволочи, если ей нѣкогда будетъ житься лучше, чѣмъ намъ, и если мы, во всякомъ случаѣ, послѣ смерти не встрѣтимся съ нею?» Если-бъ богачи знали, что въ горней обители имъ придется снова жить вмѣстѣ съ нами, то, конечно, здѣсь на землѣ нѣсколько деликатничали бы и ужъ не слишкомъ бы дурно обращались съ нами. Поэтому необходимо прежде всего разрѣшить великій верблюжій вопросъ.

Богачи жестокосерды, это правда. Они жестокосерды даже въ отношеніи къ своимъ прежнимъ сотоварищамъ, впослѣдствіи обѣднѣвшимъ. Недавно еще я встрѣтилъ бѣднаго Августа Лео, и сердце мое облилось кровью при видѣ человѣка, который нѣкогда находился въ такихъ тѣсныхъ сношеніяхъ съ главами биржи, съ аристократіею спекуляторовъ, и даже самъ былъ чѣмъ-то въ родѣ банкира. Но

скажите мнѣ, вы, многоимущіе господа, за что вы съ такимъ позоромъ вытолкнули бѣднаго Лео изъ общины?—подъ общиною я разумѣю здѣсь не іудейскую, а финансовую. Да, этотъ бѣднѣйшій съ нѣкоторыхъ поръ въ такой немилости у своихъ сотоварищей, что его, точно прокаженнаго, отстраняютъ отъ всѣхъ, сколько-нибудь выгодныхъ, предпріятій. Отъ послѣдняго займа ему тоже не досталось ничего, а отъ участія въ новомъ предпріятіи желѣзныхъ дорогъ онъ долженъ совершенно отказаться съ тѣхъ поръ, какъ потерпѣлъ такой жалкій уронъ на версальской дорогѣ rive gauche и ввелъ своихъ компаніоновъ въ такіе страшные убытки. Теперь никто о немъ и знать не хочетъ, всѣ отталкиваютъ его, и даже его единственный другъ (который, сказать мимоходомъ, никогда не могъ терпѣть его), даже его Іонаѳанъ, биржевой маклеръ Лайзедорфъ кинулъ его и теперь безпрестанно бѣгаетъ за барономъ Мекленбургомъ и чуть-чуть не пропалзываетъ къ нему сквозь полы сюртука.—Замѣчу также мимоходомъ, что упомянутый баронъ Мекленбургъ одинъ изъ нашихъ ревностнѣйшихъ биржевыхъ игроковъ и спекулянтовъ, отнюдь не еврей, какъ обыкновенно полагаютъ вслѣдствіе того, что его смѣшиваютъ съ Авраамомъ Мекленбургомъ, или оттого, что онъ всегда находится въ кругу сильныхъ изъ племени Израиля, между Крети и Плети биржи, гдѣ они собираются вокругъ него, потому что очень его любятъ. Изъ этого видно, что эти люди совсѣмъ не религіозные фанатики, и что такимъ образомъ источникъ ихъ пріязни къ бѣдному Лео заключается не въ религіозной нетерпимости; они не сердятся на него за отступничество отъ прекрасной іудейской религіи и только съ состраданіемъ пожимаютъ плечами, видя дурныя денежныя обстоятельства бѣднаго Лео, который въ настоящее время исправляетъ должность старосты въ одной протестантской церкви Rue des billettes. Это, конечно, очень почетная и важная должность, но такой человѣкъ, какъ Августъ Лео, достигъ бы со временемъ большихъ почестей и въ синагогѣ; можетъ-быть, при совершеніи обряда обрѣзанія, его рукамъ довѣряли бы дитя, подлежащее этой операціи, или ножичекъ, посредствомъ котораго она совершается; или осыпали бы его драгоцѣннѣйшими наградами при чтеніи книги Торы; или даже, такъ какъ въ немъ очень развито музыкальное чувство и онъ хорошо понимаетъ особенно церковную музыку, ему, можетъ-быть, поручали бы въ день Новаго года еврейской церкви играть на тофарѣ, священ-

номъ рожкѣ. Нѣтъ, онъ не жертва религіознаго или нравственнаго негодованія упрямыхъ фарисеевъ, не въ сердечныхъ недостаткахъ обвиняютъ бѣднаго Лео, но въ ариѳметическихъ промахахъ, а за потерю мильоновъ не прощаютъ даже христіане. Но сжальтесь же, наконецъ, надъ бѣднымъ несчастливцемъ, надъ павшимъ величіемъ; возвратите ему вашу благосклонность; предоставьте ему снова участіе въ выгодномъ дѣлѣ, дайте ему опять попользоваться маленькимъ барышомъ, который успокоилъ бы его разбитое сердце, date obolum Belisario,—дайте оболъ Велизарію, который былъ если не великимъ полководцемъ, то слѣпцомъ, и никогда въ жизни не далъ ни одного обола нуждающемуся!

Есть и патріотическія причины, заставляющія желать поправленія обстоятельствъ бѣднаго Лео. Я слышалъ, что оскорбленное самолюбіе и понесенныя большія потери побуждаютъ этого, нѣкогда столь богатаго человѣка, оставить очень дорогой Парижъ и удалиться въ деревню, гдѣ онъ, какъ Цинцинатъ, будетъ имѣть возможность питаться капустой собственнаго произращенія, или, какъ нѣкогда Навуходоноссоръ, пастись на своихъ собственныхъ лугахъ; но такое удаленіе было бы большою потерею для нѣмцевъ, ибо всѣ нѣмецкіе путешественники второго и третьяго классовъ, пріѣзжавшіе до сего времени въ Парижъ, находили въ домѣ г. Лео радушный пріемъ, и многіе изъ нихъ, чувствовавшіе себя нехорошо въ морозномъ французскомъ мірѣ, могли убѣгать въ этотъ домъ со своимъ нѣмецкимъ сердцемъ и въ общеніи съ единомышленными душами чувствовать себя, какъ на родинѣ. Въ холодные зимніе вечера находили они тутъ чашку теплаго чая, приготовленнаго нѣсколько гомеопатически, но не совсѣмъ безъ сахара. Здѣсь они видѣли г. фонъ-Гумбольдта—en effigie, висящимъ на стѣнѣ въ видѣ приманки. Здѣсь видѣли они Назенштерна въ натурѣ. Бывала здѣсь и одна нѣмецкая графиня. Приходили сюда и знатнѣйшіе кревинкельскіе дипломаты со своими супругами и дочерьми. Тутъ по временамъ можно было слышать отличныхъ піанистовъ и скрипачей, новоприбывшихъ виртуозовъ, которыхъ рекомендовали дому Лео продавцы человѣческихъ душъ и которые позволяли совершать надъ собою музыкальную эксплуатацію на его вечерахъ. Тутъ нѣмцевъ привѣтствовали сладостные звуки материнскаго, даже бабушкинскаго языка. Тутъ происходилъ разговоръ на чистѣйшемъ жаргонѣ гамбургскаго Дрекваля, и кто слышалъ эти классическіе звуки, у того становилось на душѣ такъ, какъ

будто онъ снова обоняетъ переулочки Менкедамма. А какія сентиментальнѣйшія слезы текли въ то время, когда пѣлась «Аделаида» Бетговена! Да, этотъ домъ былъ оазисъ, очень мертвечинный оазисъ нѣмецкой задушевности въ песчаной пустынѣ французской разумности; онъ былъ кущей самыхъ интимныхъ сплетенъ, гдѣ судачили, какъ на берегахъ Рейна, гдѣ звонили языками, какъ въ стѣнахъ священнаго города Кельна, и гдѣ къ отечественному сплетничанью присоединялся по временамъ, для освѣженія, стаканъ пива... Чего же тебѣ еще, нѣмецкое сердце? Было бы очень прискорбно, если бы эта лавочка сплетенъ закрылась.

XVI.

Парижъ, 6 мая 1843.

Драгоцѣнное время тратится легкомысленно. Я говорю— драгоцѣнное время, и подъ этими словами разумѣю годы мира, за которые намъ ручается царствованіе Людовика Филиппа. Отъ жизненной нити его зависитъ спокойствіе Франціи, а между тѣмъ этотъ человѣкъ старъ, и ножницы Паркъ неумолимы. Вмѣсто того, чтобы пользоваться этимъ временемъ и распутывать узелъ внутреннихъ и внѣшнихъ недоразумѣній, стараются еще усиливать затрудненія и запутанность. Вездѣ только нарумяненная комедія и интриги за кулисами. Этотъ мелочный образъ дѣйствій можетъ подвинуть Францію, дѣйствительно, на край бездны. Здѣшніе флюгера полагаются на свою знаменитую способность разносторонности въ движеніи; они не боятся сильнѣйшихъ бурь, потому что всегда умѣли поворачиваться, куда бы ни подулъ вѣтеръ. Да, вѣтеръ не можетъ васъ сломить, потому что вы подвижнѣе самого вѣтра. Но вы забываете, что, несмотря на эту вѣтряную подвижность, вамъ все-таки придется повалиться самымъ жалкимъ образомъ съ вашей вышины, когда рухнетъ башня, на вершинѣ которой вы стоите! Вы должны будете упасть вмѣстѣ съ Франціей, а эта башня уже подкопана, и на сѣверѣ живутъ очень опасные творцы бурь и непогодъ. Въ настоящую минуту невскіе шаманы не находятся въ экстазѣ заклинанія бурь. Но тутъ все зависитъ отъ минутной прихоти... Со смертью Людовика Филиппа, какъ я сказалъ, исчезнетъ всякое ручательство за миръ; этотъ великій колдунъ сдерживаетъ бури своею терпѣливою разсудительностью. Кто хочетъ спать спокойно, долженъ въ молитвѣ на сонъ грядущій поручать короля Франціи всѣмъ ангеламъ-хранителямъ жизни.

Гизо продержится еще довольно долго, и этого слѣдуетъ, конечно, желать, такъ какъ министерскій кризисъ всегда связанъ съ непредвидѣнными фатальностями. Перемѣна министерства служитъ, можетъ-быть, у непостоянныхъ французовъ суррогатомъ къ періодическимъ перемѣнамъ династіи. Но эти измѣненія въ личномъ составѣ высшаго государственнаго управленія суть, тѣмъ не менѣе, несчастіе для страны, которая больше, чѣмъ всякая другая, нуждается въ стойкости. Вслѣдствіе шаткости своего положенія министры не могутъ пускаться въ осуществленіе широкихъ плановъ, и голое стремленіе къ самосохраненію поглощаетъ всѣ ихъ силы. Ихъ пагубнѣйшее несчастье заключается не столько въ зависимости отъ королевской воли, которая большею частью разумна и спасительна, сколько въ зависимости отъ такъ-называемыхъ консерваторовъ, этихъ конституціонныхъ янычаровъ, которые здѣсь по своему произволу назначаютъ и увольняютъ министровъ. Чуть только какой-нибудь изъ этихъ послѣднихъ возбудилъ ихъ немилость, они собираются въ своихъ парламентскихъ ортахъ и начинаютъ колотить по своимъ кастрюлямъ. Но немилость этихъ людей обыкновенно имѣетъ источникомъ дѣйствительно желудочно-кастрюльные интересы, ибо именно эти интересы собственно управляютъ во Франціи: ни одинъ министръ не смѣетъ отказать въ чемъ бы то ни было, ни въ какой должности или наградѣ, ни въ мѣстѣ консула старшему сыну зятя одного изъ этихъ господъ, ни въ привилегіи на табачную торговлю вдовѣ ихъ швейцара. Ошибаются тѣ, которые полагаютъ, что правительственная власть принадлежитъ буржуазіи вообще, ею завладѣли только консервативные депутаты; эти-то люди эксплуатируютъ нынѣшнюю Францію для удовлетворенія своимъ частнымъ интересамъ, какъ нѣкогда дѣлало родовое дворянство. Это послѣднее совсѣмъ не отдѣляется рѣзко отъ консервативной партіи, и много древнихъ именъ встрѣчаемъ мы между теперешними парламентскими властителями. Но названіе консерваторъ тоже не есть собственно вѣрное названіе, такъ какъ, конечно, далеко не всѣ, которыхъ мы называемъ такимъ образомъ, заботятся о сохраненіи существующаго политическаго порядка, и многіе изъ нихъ очень хотѣли бы немного пошатнуть его; точно такъ же, какъ въ партіи оппозиціи есть очень много людей, ни за что въ свѣтѣ не желающихъ ниспроверженія существующаго порядка и смертельно боящихся войны. Большая

жалѣнія; весталка, которой пришлось бы быть представительницей maison de tolèrance, находилась бы, конечно, въ не болѣе невыгодномъ положеніи. Можетъ-быть, его самого подкупаетъ мысль, что отъ его сохраненія зависитъ продолженіе существованія и всего общественнаго порядка Франціи. Паденіе этого порядка онъ считаетъ началомъ всевозможныхъ ужасовъ. Гизо—человѣкъ правильно идущаго прогресса, и ему кажется, что дорогимъ, кровью добытымъ пріобрѣтеніямъ революціи теперь больше, чѣмъ когда-нибудь, грозитъ мрачно приближающійся міровой ураганъ. Онъ какъ бы хочетъ выиграть время, чтобы успѣть унести подъ крышу сжатые снопы. Дѣйствительно, продолженіе того мирнаго періода, въ который можно собрать и спрятать созрѣвшіе плоды, составляетъ нашу первую потребность. Покамѣстъ, сѣмена либеральныхъ принциповъ взошли только абстрактно, и имъ нужно сперва спокойно созрѣть въ конкретно узловатѣйшей дѣйствительности. Свобода, которая до сихъ поръ становилась здѣсь и тамъ только отдѣльнымъ человѣкомъ, должна перейти такъ же въ массы, въ низшіе слои общества, и сдѣлаться народомъ. Это преобразованіе свободы въ народъ, этотъ таинственный процессъ, который, какъ всякое рожденіе, какъ всякій плодъ, требуетъ, какъ необходимаго условія, извѣстнаго времени и спокойствія, конечно, важенъ не меньше того провозглашенія принциповъ, которымъ занимались наши предшественники. Слово становится плотью, а плоть сочится кровью. Мы меньше работаемъ, но больше страдаемъ, чѣмъ наши предшественники, которые думали, что все окончится счастливо, когда священные законы свободы и равенства провозгласятся торжественно и освятятся на сотняхъ боевыхъ полей. Ахъ, къ сожалѣнію, и теперь многіе революціонеры заблуждаются, воображая себѣ, что главное дѣло въ томъ, чтобы съ пурпурной мантіи правительственной власти срывалось больше или меньше кусковъ свободы; они рады, когда указъ, провозглашающій такой или другой демократическій законъ, является ясно и отчетливо отпечатаннымъ въ «Монитерѣ». Помню, что когда, двѣнадцать лѣтъ тому назадъ, я однажды посѣтилъ старика Лафайета, онъ при моемъ уходѣ сунулъ мнѣ въ руку бумагу и при этомъ имѣлъ убѣжденный видъ чудодѣя-доктора, дающаго вамъ эликсиръ отъ всевозможныхъ болѣзней. Это была извѣстная прокламація человѣческихъ правъ, которую старикъ, за шестьдесятъ лѣтъ до того, привезъ съ собою изъ

Америки и на которую онъ все еще продолжалъ смотрѣть, какъ на средство, могущее радикально исцѣлить весь міръ. Нѣтъ, однимъ рецептомъ больному помочь нельзя, хотя онъ необходимъ; тутъ нужны еще приготовленіе аптекаря, заботливость сидѣлки, нужно спокойствіе, нужно время.

РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ОБЪЯСНЕНІЕ.

(Писано въ августѣ 1854 г.).

Въ то время, когда я, можетъ-быть, черезчуръ созерцательно равнодушно, но во всякомъ случаѣ добросовѣстно, безъ всякой лицемѣрной игры въ добродѣтель, говорилъ въ предшествующемъ письмѣ о такъ-называемой Гизовской испорченности, мнѣ и въ голову не приходило, что чрезъ пять лѣтъ послѣ того меня самого обвинятъ, какъ участника въ этой испорченности! Время для такого обвиненія было выбрано очень ловко, и клеветѣ представлялось свободное поприще въ февральскій 1848 года періодъ «бури и натиска», когда всѣ политическія страсти, внезапно разнузданныя, пустились въ бѣшеную пляску св. Витта. Повсюду господствовало такое ослѣпленіе, какимъ отличаются только вѣдьмы на Блоксбергѣ, или ознаменовало себя якобинство въ дни своего грубѣйшаго террора. Снова появилось безчисленное множество клубовъ, въ которыхъ грязнѣйшія губы плевали на безукоризненнѣйшую нравственную чистоту, стѣны всѣхъ зданій загрязнились пасквилями, доносами, поджигательными рѣчами, угрозами, руганью въ стихахъ и прозѣ — грязная разбойничья литература... Даже Бланки, этотъ воплощенный терроризмъ и чудеснѣйшій человѣкъ въ свѣтѣ, обвинялся въ самомъ пошломъ шпіонствѣ и тайныхъ сношеніяхъ съ полиціею. Честные люди перестали защищаться. У кого былъ прекрасный плащъ, тотъ закрывалъ имъ свое лицо. Во время первой революціи имя Питта служило къ тому, чтобы пятнать лучшихъ патріотовъ названіемъ продажныхъ измѣнниковъ; о Дантонѣ, Робеспьерѣ, даже Маратѣ говорили, что они подкуплены Питтомъ, Питтъ февральской революціи назывался Гизо, и это имя подавало поводъ къ самымъ смѣшнымъ обвиненіямъ. Стоило вамъ возбудить зависть какого-нибудь изъ тѣхъ героевъ дня, которые были слабоумны, но долго просидѣли въ С.-Пелажи или даже въ Mont Saint Michel, и вы могли быть увѣрены, что въ его клубѣ вас тотчасъ же обвинятъ, какъ сообщника Гизо, какъ гнуснаго наемника его системы подкуповъ. Гильотины

отрубающей головы, въ то время не было, но была изобрѣтена «гизотина», посредствомъ которой у насъ отсѣкали честь. Имя автора этихъ страницъ тоже не ушло отъ клеветы того безумнаго времени, и одинъ корреспондентъ газеты «Allgemeine Zeitung» не постыдился, въ анонимной статьѣ, объявить о гнуснѣйшей сдѣлкѣ, по которой я продалъ за значительную сумму мою литературную дѣятельность правительственнымъ потребностямъ министерства Гизо.

Я воздерживаюсь отъ всякаго освѣщенія личности этого страшнаго обвинителя, котораго грубую добродѣтель такъ возмутила господствующая испорченность; я не сорву съ этого мужественнаго рыцаря забрала его анонимности и только мимоходомъ замѣчу, что онъ не нѣмецъ, а итальянецъ, воспитанный въ іезуитскихъ школахъ, оставшійся вѣрнымъ своему воспитанію и въ настоящее время имѣющій маленькое мѣстечко при австрійскомъ посольствѣ въ Парижѣ. Я обладаю терпимостью и предоставляю каждому человѣку заниматься своимъ ремесломъ; не всѣ мы можемъ быть честными людьми, надо, чтобы были на свѣтѣ парни всякаго сорта, и если я позволяю себѣ здѣсь высказать порицанье, такъ это только тому рафинированному коварству, съ которымъ мой ультрамонтанскій Брутъ сослался на авторитетъ одной французской газеты, которая, служа страстямъ дня, заключала въ себѣ много всевозможныхъ искаженій и перетолкованій, но въ отношеніи собственно ко мнѣ никогда не сказала ни одного слова, могущаго оправдать вышеупомянутое обвиненіе. Какимъ образомъ случилось, что вообще столь осторожная «Allgemeine Zeitung» сдѣлалась жертвою такой мистификаціи, объ этомъ я скажу впослѣдствіи. Здѣсь ограничусь отсылкою читателя къ аугсбургской «Allgemeine Zeitung» отъ 13 мая 1848 г., гдѣ въ особомъ прибавленіи къ этому нумеру я высказался о милой инсинуаціи совершенно опредѣлительно, не оставивъ мѣста малѣйшему двусмыслію. Я подавилъ въ себѣ всякое стыдливое чувство тщеславія и публично въ газетѣ высказалъ печальное признаніе, что и меня, наконецъ, постигла страшная болѣзнь изгнанія—бѣдность, и что я такъ же долженъ былъ прибѣгнуть къ «великой милостынѣ, раздававшейся французскимъ народомъ столькимъ тысячамъ чужестранцевъ, которые съ большею или меньшею славою скомпрометировали себя на родинѣ рвеніемъ къ дѣлу революціи и нашли убѣжище у гостепріимнаго очага Франціи».

Въ такихъ буквально словахъ сдѣлалъ я упомянутое заявленіе, я назвалъ вещи ихъ печальнѣйшими именами. Хотя я не могъ, конечно, указать, что деньги, которыя мнѣ выдавались, какъ «allocution annuelle d'une pension de secours», могли также считаться высокою оцѣнкою моей литературной репутаціи, какъ и было мнѣ объявлено съ самою нѣжною любезностью,—но тѣмъ не менѣе я безусловно приписалъ выдачу этой пенсіи національному великодушію, политической братской любви, высказавшейся здѣсь такъ трогательно, съ чисто евангельскою сострадательностью. Между моими товарищами по изгнанію были высокомѣрные люди, называвшіе всякую денежную поддержку только субсидіей; гордые, но нищіе рыцари, ненавидѣвшіе всякое обязательство, называли это займомъ и говорили, что впослѣдствіи возвратятъ его французамъ съ хорошими процентами; я же смирился предъ необходимостью и назвалъ вещь ея настоящимъ именемъ. Въ упомянутомъ объясненіи я прибавилъ: «Я принялъ это вспомоществованіе скоро послѣ того времени, когда появились прискорбные декреты союзнаго сейма, цѣлью которыхъ было меня, какъ главу такъ-называемой молодой Германіи, погубить и въ финансовомъ отношеніи, такъ какъ ими налагалось запрещеніе не только на появившіяся уже до того произведенія мои, но и заранѣе на все, что̀ вышло бы изъ подъ моего пера впослѣдствіи; такимъ образомъ, меня лишали моей собственности и средствъ къ пріобрѣтенію ея, лишали безъ всякаго суда и права».

Да, «безъ суда и права». Я полагаю, что имѣю полное основаніе такъ опредѣлить этотъ поступокъ, неслыханный въ лѣтописяхъ нелѣпаго насилія. Декретомъ моего туземнаго правительства подвергались запрещенію не только тѣ сочиненія, которыя я до тѣхъ поръ написалъ, но и всѣ послѣдующія, мой мозгъ конфисковали, и у моего бѣднаго, ни въ чемъ неповиннаго желудка были отняты этимъ запрещеніемъ всѣ средства къ жизни. Въ то же время хотѣли, чтобы имя мое было совершенно истреблено въ памяти людей, и всѣ цензоры моего отечества получили строгое приказаніе вычеркивать какъ въ газетахъ, такъ и въ брошюрахъ и книгахъ, всѣ мѣста, гдѣ говорится обо мнѣ, все равно какъ—благосклонно или неодобрительно. Близорукіе безумцы! Такія постановленія и приказанія были безсильны по отношенію къ писателю, умственные интересы котораго побѣдоносно выходили изъ всѣхъ преслѣдованій, несмотря

на то, что его временные финансы были до корня разрушены, такъ что я еще теперь ощущаю послѣдствія мелочныхъ толчковъ. Но я съ голоду не умеръ, хотя въ то время житейскія заботы достаточно сильно тѣснили меня. Жизнь въ Парижѣ такъ дорога, особенно для человѣка женатаго и не имѣющаго дѣтей. Дѣти, эти милыя куколки, даютъ занятіе мужу и особенно женѣ, и поэтому они не имѣютъ нужды искать развлеченій внѣ дома, стоящихъ очень дорого. При томъ же я никогда не учился искусству кормить голодныхъ одними словами, тѣмъ болѣе, что природа дала мнѣ зажиточную наружность, не допускавшую даже мысли о томъ, что я нуждаюсь. Нуждающіеся люди, которымъ я до тѣхъ поръ щедро помогалъ, смѣялись, когда я говорилъ, что впослѣдствіи мнѣ придется самому голодать. Дѣйствительно, развѣ я не былъ родственникомъ всевозможныхъ милліонеровъ? Развѣ генералиссимусъ всѣхъ милліонеровъ, этотъ милліонериссимусъ, не называлъ меня своимъ другомъ—своимъ другомъ? Я никогда не могъ втолковать моимъ кліентамъ, что великій милліонериссимусъ именно потому называетъ меня своимъ другомъ, что я не прошу у него денегъ; попроси я у него денегъ, дружба, конечно, сейчасъ же покончилась бы! Времена Давида и Іонафана, Ореста и Пилада вѣдь прошли навѣки. Мои бѣдные, нуждавшіеся въ помощи дураки думали, что у богатыхъ можно легко добыть кое-что. Они не видѣли, подобно мнѣ, какими страшными желѣзными замками и крюками охраняются большіе денежные сундуки богачей. Только у тѣхъ людей, которые сами имѣютъ мало, можно всегда занять что-нибудь, во-первыхъ потому, что сундуки этихъ людей не желѣзные, а во-вторыхъ потому, что имъ хочется казаться богаче, чѣмъ они на самомъ дѣлѣ.

Да, къ моимъ страннымъ злополучностямъ принадлежало и то обстоятельство, что никто никогда не хотѣлъ вѣрить моему собственному безденежью. Въ «великой хартіи», которую, какъ сообщаетъ Сервантесъ, богъ Аполлонъ пожаловалъ поэтамъ, первый параграфъ гласитъ, правда, такъ: «когда поэтъ увѣряетъ, что у него нѣтъ денегъ, ему нужно вѣрить на слово и не требовать никакой клятвы»; но, ахъ! я напрасно ссылался на эту привилегію моего сословія. Вслѣдствіе этого, клеветѣ было легко дѣйствовать, когда, причины, побудившія меня принять вышеупомянутую пенсію, она приписала не самой естественной нуждѣ. Я помню, что въ то время многіе изъ моихъ соотечественниковъ, въ томъ

числѣ рѣшительнѣйшій и умнѣйшій между ними, докторъ Марксъ, пришли ко мнѣ, чтобы высказать свое негодованіе по поводу клеветнической статьи въ «Allgemeine Zeitung», и совѣтовали не отвѣчать на нее ни однимъ словомъ, ибо они сами заявили уже въ нѣмецкихъ газетахъ, что я, конечно, принялъ эту пенсію, только съ тою цѣлью, чтобы имѣть возможность дѣятельнѣе помогать тѣмъ изъ моихъ единомышленниковъ, которые бѣднѣе меня. То же самое говорили мнѣ какъ бывшій редакторъ «Новой Рейнской Газеты», такъ и друзья, составлявшіе его генеральный штабъ; но я поблагодарилъ за милое участіе и увѣрилъ этихъ друзей, что они ошибались, что я очень хорошо могу пользоваться этимъ пенсіономъ для самого себя, и что на злонамѣренную, анонимную статью «Allgemeine Zeitung» мнѣ должно отвѣчать не чрезъ посредство моихъ друзей, но лично отъ себя, за своею подписью.

Упомяну еще по этому случаю, что редакція французской газеты «Revue Retrospective», на которую ссылался корреспондентъ «Allgemeine Zeitung», хотѣла положительнымъ опроверженіемъ выразить свое негодованіе противъ этой ссылки, что, впрочемъ, было бы совершенно излишне, такъ какъ самый бѣглый взглядъ на эту французскую газету могъ ясно доказать, что она совершенно неповинна въ какомъ бы то ни было поруганіи моего имени; но существованіе этой газеты, появлявшейся въ неопредѣленные сроки, было очень эфемерно, и она погибла въ безумномъ современномъ водоворотѣ прежде, чѣмъ успѣла напечатать предположенное опроверженіе. Главнымъ редакторомъ этой «Revue» былъ книгопродавецъ Поленъ, энергическій, честный человѣкъ, который въ продолженіе двадцати лѣтъ всегда относился ко мнѣ съ большимъ участіемъ и оказывалъ многія услуги; дѣловыя отношенія и то обстоятельство, что мы имѣли общихъ близкихъ друзей, дали намъ случай взаимно полюбить и уважать другъ друга. Поленъ былъ компаньономъ моего друга Дюбоше, онъ любитъ, какъ брата, моего достославнаго друга Минье и боготворитъ Тьера, который, между нами будь сказано, тайно покровительствовалъ газетѣ «Revue Retrospective»; во всякомъ случаѣ, она была основана и велась людьми его партіи, а этимъ людямъ, конечно, не могло и въ голову прійти позорить человѣка, который, какъ имъ было извѣстно, пользовался особенною любовью ихъ покровителя.

Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что редакція «Allgemeine

Zeitung» не знала этой французской газеты раньше напечатанія грязной статьи. Дѣйствительно, самый бѣглый взглядъ показалъ бы надувательское коварство ея корреспондента. Оно состояло въ томъ, что авторъ обвинилъ меня въ солидарности съ людьми, которые такъ близки ко мнѣ и такъ похожи на меня, какъ честерскій сыръ на луну. Чтобы доказать, что министерство Гизо осуществляло свою систему подкуповъ не только раздачею должностей, но и денежными субсидіями, вышеупомянутая французская «Revue» напечатала у себя бюджетъ приходовъ и расходовъ департамента, которымъ управлялъ Гизо,—и тутъ мы, дѣйствительно, увидѣли, что каждый годъ ассигновались громаднѣйшія суммы на секретные расходы; въ то же время обвиняющая газета высказала угрозу обнародовать въ слѣдующихъ нумерахъ имена лицъ, въ карманы которыхъ переходили эти сокровища. Вслѣдствіе внезапнаго прекращенія газеты, эта угроза не была приведена въ исполненіе, о чемъ я душевно сожалѣю, ибо, осуществись она, каждый могъ бы убѣдиться, что я никогда не пользовался этою секретною щедростью, исходившею прямо отъ министра или его секретаря и служившею наградою за опредѣлительныя услуги. Отъ такихъ, такъ-называемыхъ bons du ministre, составляющихъ дѣйствительный секретный фондъ, слѣдуетъ очень отличать пенсіи, которыя министръ уже заранѣе находитъ въ своемъ бюджетѣ въ пользу лицъ, которымъ ежегодныя денежныя выдачи были назначены въ видѣ вспомоществованія. «Revue Retrospective» поступила очень не великодушно, скажу даже, очень не по-французски, тѣмъ, что, указавъ на всѣ расходы по содержанію посольствъ, напечатала имена людей, получавшихъ пенсіи въ видѣ вспомоществованія, и это тѣмъ болѣе достойно порицанія, что тутъ передъ глазами публики явились не только обѣднѣвшіе аристократы высшаго разряда, но и знатныя женщины, скрывавшія подъ кое-какою мишурою свое падшее величіе и теперь съ прискорбіемъ увидѣвшія разоблаченіе своей аристократической нищеты. Нѣмецъ, руководимый болѣе нѣжнымъ тактомъ, не послѣдуетъ примѣру невѣжливыхъ французовъ, и мы умалчиваемъ здѣсь имена высокородныхъ и сіятельныхъ дамъ, найденныя нами въ спискѣ кліентовъ пенсіоннаго фонда департамента Гизо. Между мужчинами, стоявшими въ томъ же спискѣ, съ обозначеніемъ ежегодныхъ суммъ вспомоществованія, находились эмигранты изъ всѣхъ странъ міра, бѣглецы изъ Греціи и

С.-Доминго, Арменіи и Болгаріи, Испаніи и Польши, громкія имена бароновъ, графовъ, князей, генераловъ, экс-министровъ, даже священниковъ; всѣ они составляли какъ бы аристократію бѣдности, между тѣмъ какъ въ пенсіонныхъ спискахъ другихъ департаментовъ парадировали менѣе блистательные бѣдняки. Нѣмецкому поэту не приходилось стыдиться своего товарищества; онъ находился въ компаніи знаменитостей дарованія и несчастія, судьба которыхъ потрясающе трогательна. Рядомъ съ моимъ именемъ въ этомъ пенсіонномъ спискѣ, въ той же самой рубрикѣ и подъ тою же категоріею, стояло имя человѣка, который нѣкогда правилъ государствомъ болѣе обширнымъ, чѣмъ держава Агасфера, бывшаго царемъ болѣе ста двадцати семи странъ отъ Гауда до Куша, отъ Индіи до мавровъ; это былъ Годой, prince de la paix, неограниченный любимецъ Фердинанда VII и его супруги, влюбившейся въ носъ Годоя; никогда въ жизни не видѣлъ я болѣе объемистаго, болѣе курфюртскаго пурпурнаго носа, и наполненіе его табакомъ, вѣроятно, обходилось бѣдному Годою дороже того, что онъ получалъ ежегодно отъ французскаго правительства. Другое имя, стоявшее рядомъ съ моимъ и наполнившее мою душу умиленіемъ и почтеніемъ, было имя моего друга и товарища по судьбѣ, столько же славнаго, сколько несчастнаго Огюстена Тьерри, величайшаго историка нашего времени. Но честный корреспондентъ «Allgemeine Zeitung», вмѣсто того, чтобы сопоставить мое имя съ именами столь почтенныхъ людей, сумѣлъ изъ этихъ бюджетныхъ списковъ, въ которыхъ естественно значились и получавшіе пенсію дипломатическіе агенты, выкопать два имени такихъ нѣмцевъ, которые, хотя, конечно, и не заслужили шедшую о нихъ дурную молву, но, во всякомъ случаѣ, сопоставленіемъ своимъ съ моимъ именемъ должны были повредить ему. Одинъ изъ нихъ былъ нѣмецкій ученый изъ Геттингена, легаціонсратъ, бывшій испоконъ вѣка козломъ очищенія либеральной партіи и обладавшій способностью выставлять себя, вслѣдствіе своей дипломатической скрытности, годнымъ на самое дурное дѣло. Надѣленный сокровищницею свѣдѣній и желѣзнымъ прилежаніемъ, онъ былъ очень полезнымъ работникомъ во многихъ кабинетахъ, и точно также работалъ впослѣдствіи въ канцеляріи Гизо, который давалъ ему разныя порученія, и за эти-то услуги онъ получалъ пенсію, впрочемъ, весьма умѣренную. Положеніе другого земляка моего, имя котораго честный корреспондентъ поставилъ рядомъ съ моимъ, имѣло

столько же аналогіи съ моимъ, сколько и положеніе перваго; это былъ швабъ, до тѣхъ поръ жившій неподкупнымъ гражданиномъ въ Штутгардѣ, но потомъ выставившій себя въ невыгодно двусмысленномъ свѣтѣ тѣмъ, что въ бюджетѣ Гизо ему ассигнована была пенсія почти такая же большая, какую получалъ изъ того же источника полковникъ Густавсонъ, бывшій король шведскій; она даже въ три или четыре раза превосходила ту, которая выдавалась, по тому же бюджету Гизо, барону Экштейну и г. Капфигу, которые, кстати сказать, съ незапамятныхъ временъ корреспонденты «Allgemeine Zeitung». Дѣйствительно, за швабомъ никто не зналъ особенной заслуги, которою можно было бы оправдать его баснословно большую пенсію; онъ жилъ не въ Парижѣ, какъ преслѣдуемый, а въ Штутгардѣ, какъ мирный вѣрноподданный виртембергскаго короля; онъ не былъ великій писатель; онъ не былъ ни свѣтиломъ науки, ни знаменитымъ государственнымъ человѣкомъ, ни героемъ искусства, вообще онъ не былъ героемъ, а напротивъ того, обладалъ крайне невоинственнымъ духомъ; такъ, когда онъ однажды оскорбилъ редакцію «Allgemeine Zeitung», и эта редакція, прискакавъ изъ Аугсбурга въ Штутгардъ, вызвала его на дуэль, тогда этотъ добрый швабъ не пожелалъ пролить братскую кровь (ибо редакція «Allgemeine Zeitung» родомъ изъ Швабіи), и отклонилъ поединокъ какъ по этой, такъ и по другой, совершенно особенной гигіенической причинѣ—именно потому, что онъ не могъ переносить свинцовыхъ пуль и что его желудокъ привыкъ только къ печенымъ шалетовымъ пулькамъ изъ тѣста и швабскимъ клецкамъ.

Корсиканцы, сѣверо-американскіе индѣйцы и швабы не прощаютъ никогда, и на эту швабскую vendetta разсчитывалъ воспитанникъ іезуитовъ, когда послалъ въ «Allgemeine Zeitung» свою продажную статью о чужой продажности, а редакція этой газеты не замедлила напечатать прямо съ пыла парижскую корреспонденцію, подвергавшую незастрѣленнаго земляка-шваба самымъ злостнымъ и постыднѣйшимъ предположеніямъ и подозрѣніямъ. Редакція «Allgemeine Zeitung» могла тѣмъ блистательнѣе заявить свое безпристрастіе принятіемъ этой статьи, что въ ней одинъ изъ дружныхъ съ редакціею корреспондентовъ былъ выставленъ въ неменѣе неблагопріятномъ свѣтѣ. Не знаю, думала ли редакція, что печатаніемъ постыдныхъ, но совершенно шаткихъ обвиненій она оказываетъ мнѣ услугу, давая мнѣ

этимъ случай выступить съ положительнымъ объясненіемъ противъ всякаго недостойнаго намека, противъ всякой, крадущейся въ туманѣ, инсинуаціи; какъ бы то ни было, редакція «Allgemeine Zeitung» напечатала присланную статью, но снабдила ее примѣчаніемъ отъ себя, въ которомъ, по поводу моей пенсіи, сказала, что «я получалъ ее отнюдь не за то, что̀ писалъ, а только за то, чего не писалъ».

Ахъ, это честеспасительное примѣчаніе, конечно, благонамѣренное, но вслѣдствіе своей, черезчуръ остроумно составленной редакціи, оказавшееся очень неудачнымъ, было истиннымъ pavé, булыжникомъ, какъ называютъ французскіе журналисты на своемъ спеціальномъ языкѣ всякую неискусную защиту, убивающую на смерть защищаемаго, подобно тому, какъ медвѣдь въ баснѣ, желая согнать со лба спящаго друга муху, пустилъ въ него камнемъ и раздробилъ мозгъ охраняемаго.

Аугсбургскій pavé ранилъ меня чувствительнѣе, чѣмъ парижская корресподенція жалкой навозной мухи, и въ объясненіи, напечатанномъ мною, какъ выше сказано, въ то время въ «Allgemeine Zeitung», я, между прочимъ, сказалъ: Редакція «Allgemeine Zeitung» снабдила эту корреспонденцію примѣчаніемъ, въ которомъ высказываетъ мнѣніе, что я, вѣроятно, получаю пенсію не за то, что̀ писалъ, а за то, чего не писалъ. Редакція «Allgemeine Zeitung», которая не столько по тѣмъ статьямъ моимъ, которыя она печатаетъ у себя въ продолженіе двадцати лѣтъ, сколько по тѣмъ изъ нихъ, которыхъ она не могла напечатать, имѣла достаточно случаевъ замѣтить, что я не принадлежу къ тѣмъ холопамъ-писателямъ, которые берутъ деньги за свое молчаніе,—эта редакція, конечно, могла бы избавить меня отъ своей «levis nota».

Время, мѣсто и обстоятельства не позволяли мнѣ въ ту пору пускаться въ болѣе подробныя объясненія; но теперь, когда никакихъ препятствій уже не существуетъ, я могу еще болѣе фактически доказать, что министерство Гизо не могло платить мнѣ ни за то, что̀ я писалъ, ни за то, чего не писалъ. Для людей, покончившихъ съ жизнью, такія ретроспективныя оправданія имѣютъ странно грустную прелесть, и я отдаюсь ей съ мечтательною нѣгой. У меня на душѣ такъ, какъ будто я даю набожное удовлетвореніе давно умершему; во всякомъ случаѣ, здѣсь будутъ совершенно на своемъ мѣстѣ нижеслѣдующія подробности о французскихъ дѣлахъ во время министерства Гизо.

Министерство 19 ноября 1840 г. слѣдовало бы собственно называть не министерствомъ Гизо, а министерствомъ Сульта, такъ какъ этотъ послѣдній былъ президентомъ совѣта министровъ. Но Сультъ былъ только номинальнымъ главою министерства, почти такъ же, какъ каждый король ганноверскій всегда носитъ титулъ ректора университета Georgia Augusta, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ дѣйствительная власть ректора принадлежитъ его высокопревосходительству геттингенскому проректору въ данное время. Несмотря на офиціальное полновластіе Сульта, о немъ никогда не было рѣчи; только по временамъ либеральныя газеты, въ тѣхъ случаяхъ, когда онѣ были имъ довольны, называли его тулузскимъ побѣдителемъ; когда же онъ возбуждалъ ихъ неудовольствіе, онѣ издѣвались надъ нимъ и упорно утверждали, что при Тулузѣ онъ не одержалъ побѣды. Рѣчь была только о Гизо, и въ продолженіе многихъ лѣтъ онъ находился въ зенитѣ своей популярности у буржуазіи, которую очень уже напугала воинственность его предшественника; само собою разумѣется, что преемникъ Тьера пользовался еще большею симпатіею по ту сторону Рейна. Мы, нѣмцы, не могли простить Тьеру того, что онъ барабаннымъ боемъ прервалъ нашъ сонъ, нашъ сладкій, растительный сонъ, и когда онъ ушелъ, мы протерли себѣ глаза и закричали: «да здравствуетъ Гизо!» Особенно ученые восхваляли Гизо въ пиндарическихъ гимнахъ, гдѣ съ точностью подражали даже просодіи, древнему стихосложенію, и одинъ, проѣзжавшій здѣсь нѣмецкій профессоръ филологіи увѣрялъ меня, что Гизо такъ же великъ, какъ мой милый, гуманный другъ Тиршъ, авторъ лучшей греческой грамматики! Нѣмецкая пресса тоже восторгалась Гизо, и этотъ восторгъ, проявлявшійся не только въ кроткихъ, но и въ ярыхъ газетахъ, длился очень долго; помню, что еще передъ самимъ паденіемъ этого многопрославленнаго любимца нѣмцевъ, въ одной изъ радикальнѣйшихъ нѣмецкихъ газетъ, въ «Speierer Zeitung», я нашелъ апологію Гизо, написанную однимъ изъ тѣхъ тираноѣдовъ, которыхъ томагавкъ и скальпельный ножъ никогда не знали милосердія. Въ «Allgemeine Zeitung» восторженное сочувствіе къ Гизо имѣло своими представителями двухъ моихъ коллегъ: одинъ кадилъ ѳиміамъ съ благоговѣніемъ жреца, другой сохранялъ даже въ состояніи экстаза свою сладость и манерность; оба не измѣнили себѣ до катастрофы.

Что касается меня, то съ тѣхъ поръ, какъ я сталъ

серьезно заниматься французской литературой, огромныя заслуги Гизо всегда высоко цѣнились и понимались мною, и мои произведенія свидѣтельствуютъ о моемъ давнемъ уваженіи къ знаменитому во всемъ мірѣ человѣку. Я больше любилъ его соперника, Тьера, но любилъ только за его личность, а не за направленіе ума, до такой степени ограниченно національное, что Тьера почти можно назвать французскимъ старогерманцемъ, между тѣмъ какъ космополитическія воззрѣнія Гизо были болѣе родственны моему собственному образу мыслей. Въ первомъ я любилъ, можетъ-быть, многіе недостатки, въ которыхъ обвиняли меня самого, тогда какъ добродѣтели второго дѣйствовали на меня почти отталкивающимъ образомъ. Перваго я долженъ часто порицать, но дѣлалъ это съ неохотою; когда приходилось мнѣ хвалить второго, я высказывалъ эту похвалу, конечно, только послѣ самаго строгаго обсужденія. Да, о человѣкѣ, составлявшемъ въ то время средоточіе всѣхъ толковъ и разговоровъ, я судилъ всегда съ независимою любовью къ правдѣ и всегда вѣрно передавалъ все, что̀ слышалъ. Я считалъ дѣломъ чести перепечатать въ этой книгѣ, безъ всякаго измѣненія, всѣ письма, въ которыхъ мною высказывалось самое теплое сочувствіе къ характеру и правительственнымъ идеямъ (не административнымъ дѣйствіямъ) великаго государственнаго человѣка—и сдѣлалъ это, несмотря на то, что такая перепечатка должна была повести къ многимъ повтореніямъ. Благосклонный читатель не упуститъ изъ виду, что эти замѣчанія не идутъ дальше конца 1843 г., когда я вообще пересталъ писать политическія статьи для «Allgemeine Zeitung» и началъ ограничиваться сообщеніемъ редактору ея, въ нашей частной корреспонденціи, разныхъ извѣстій и замѣтокъ; только по временамъ помѣщалъ я съ тѣхъ поръ въ этой газетѣ статьи, касавшіяся наукъ и изящныхъ искусствъ.

Это-то и есть то молчаніе, то неписаніе, о которомъ говоритъ «Allgemeine Zeitung» и которое было истолковано, какъ продажа моей свободы слова. Не вѣрнѣе ли было бы предположить, что я, поколебавшійся въ то время въ вѣрѣ въ Гизо, вообще началъ ложно понимать его? Да, такъ было на самомъ дѣлѣ, но въ мартѣ 1848 г. мнѣ некстати было сдѣлать подобное признаніе. Этого не позволяли въ то время ни уваженіе, ни приличіе. Я долженъ былъ ограничиться противопоставленіемъ, въ вышеупомянутомъ объясненіи, чисто фактической стороны моихъ отношеній къ мини-

стерству Гизо гнусной инсинуаціи, приписавшей мое внезапное молчаніе подкупу. Повторю здѣсь эти факты. До 29 ноября 1840 г., когда Гизо сталъ во главѣ министерства, я не имѣлъ чести даже видѣть его. Только мѣсяцъ спустя, я сдѣлалъ ему визитъ, чтобы поблагодарить его за то, что счетное отдѣленіе его департамента получило отъ него приказаніе выплачивать мнѣ и при новомъ министерствѣ мою ежегодную пенсію помѣсячно. Этотъ визитъ былъ моимъ первымъ, но и послѣднимъ въ этой жизни визитомъ къ знаменитому человѣку. Въ бесѣдѣ, которою онъ почтилъ меня, онъ съ большимъ умомъ и теплотою высказалъ свое глубокое уваженіе къ Германіи, и эта похвала моему отечеству, равно какъ и лестныя слова, сказанныя имъ по поводу собственно моихъ литературныхъ произведеній, были единственными монетами, которыми онъ подкупилъ меня. Никогда ему и въ голову не приходило потребовать отъ меня какой-нибудь услуги. И всего менѣе могло придти въ голову этому гордому человѣку, жаждавшему отсутствія популярности, просить жалкой похвалы себѣ, во французской печати или въ аугсбургской «Allgemeine Zeitung», у меня, который до тѣхъ поръ былъ совершенно чуждъ ему, тогда какъ другіе, гораздо болѣе солидные и слѣдовательно болѣе надежные люди, какъ, напримѣръ, баронъ Экштейнъ или исторіографъ Капфигъ, тоже бывшіе, какъ выше сказано, сотрудниками «Allgemeine Zeitung», очень давно находились въ частныхъ сношеніяхъ съ г. Гизо и, безъ сомнѣнія, заслужили его интимное довѣріе. Со времени вышеупомянутаго разговора я ни разу больше не видѣлъ Гизо, никогда не видѣлъ его секретаря и вообще никого изъ служившихъ въ его канцеляріи. Только случайно узналъ я однажды, что зарейнскія посольства часто и настоятельно просили г. Гизо удалить меня изъ Парижа. Не могу безъ смѣха подумать о сердитыхъ рожахъ, которыя эти господа должны были скорчить, когда они открыли, что министръ, отъ котораго требовали моей высылки, еще сверхъ того выдавалъ мнѣ ежегодную пенсію. Въ какой степени онъ не желалъ обнародованія этого благороднаго образа дѣйствія, это я понялъ безъ особеннаго указанія, и скромные друзья, отъ которыхъ я ничего не могу скрыть, раздѣлили мою злобную радость.

За доставленіе этого увеселенія и великодушное обращеніе съ мною г. Гизо я былъ обязанъ ему большою благодарностью. Когда же поколебалась моя вѣра въ его стойкость по отношенію къ королевскимъ внушеніямъ, когда я уви-

дѣлъ, что онъ слишкомъ пагубно подчинился волѣ Людовика Филиппа, когда я понялъ великое страшное заблужденіе этого королевскаго упрямства, этого гибельнаго эгоизма,—тогда, конечно, физическая цѣпь благодарности не сковала бы моего языка, я, безъ всякаго сомнѣнія, съ чувствомъ почтительной скорби возсталъ бы противъ промаховъ, которыми слишкомъ снисходительное министерство, или, вѣрнѣе, заблуждавшійся король, вели Францію и весь міръ къ погибели. Но мое перо сковывали также грубыя физическія препятствія, и эту дѣйствительную причину моего молчанія, моего неписанія, я могу только теперь объявить во всеуслышаніе.

Да, если бы даже пришло мнѣ желаніе напечатать въ «Allgemeine Zeitung» хотя одно слово противъ пагубной правительственной системы Людовика Филиппа, то въ то время это было бы невозможно для меня по очень простой причинѣ: уже до 29 ноября умный король принялъ мѣры противъ такого преступнаго корреспондентскаго замысла, противъ такого покушенія, высочайше назначивъ тогдашняго цензора аугсбургской «Allgemeine Zeitung» не только кавалеромъ, но и офицеромъ ордена Почетнаго Легіона. Какъ ни велика была любовь моя къ королю, аугсбургскій цензоръ все-таки находилъ, что я недостаточно люблю его, и вычеркивалъ каждое неодобрительное слово, и многія изъ моихъ статей о политикѣ Людовика Филиппа остались вовсе ненапечатанными. Но скоро послѣ февральской революціи, когда мой бѣдный Людовикъ Филиппъ отправился въ изгнаніе, ни уваженіе, ни приличіе не позволили мнѣ обнародовать такіе факты, даже если бы аугсбургскій цензоръ дозволилъ ихъ напечатаніе.

Другое, подобное признаніе не позволила мнѣ сдѣлать въ то время цензура сердца, гораздо болѣе боязливая, чѣмъ цензура «Allgemeine Zeitung». Нѣтъ, скоро послѣ паденія Гизо я не смѣлъ гласно сознаться, что я и до того молчалъ вслѣдствіе боязни. Именно, въ 1844 г. я хорошо понималъ, что если бы Гизо узналъ про мои корреспонденціи и ему не совсѣмъ понравились бы заключавшіяся въ нихъ осужденія, то этотъ страстный человѣкъ былъ бы, пожалуй, способенъ подавить въ себѣ чувство великодушія и расправиться съ неудобнымъ критикомъ весьма энергически. Съ высылкой корреспондента изъ Парижа прекратились бы поневолѣ и его парижскія корреспонденціи. Дѣйствительно, его превосходительство держалъ въ рукахъ бразды власти,

онъ могъ во всякое время изречь противъ меня consilium abeundi, и тогда мнѣ пришлось бы тотчасъ же собираться въ дорогу. Его педеля въ синихъ мундирахъ съ лимонно-желтыми отворотами оторвали бы меня отъ моихъ парижскихъ критическихъ занятій и проводили бы до тѣхъ столбовъ, «которые исполосованы, какъ спина зебра», а тутъ приняли бы меня другіе педеля въ еще болѣе фатальныхъ ливреяхъ и съ германски неуклюжими манерами, чтобы чествовать меня со стороны отечества.

Но, несчастный поэтъ, развѣ твоя французская натурализація не достаточно защищала тебя отъ такого министерскаго произвола?

Ахъ, отвѣтъ на этотъ вопросъ вырываетъ у меня признаніе, которое изъ благоразумія слѣдовало бы, можетъ-быть, утаить. Но благоразуміе и я давно уже не ѣдимъ изъ одной тарелки,—и сегодня я безъ обиняковъ сознаюсь, что никогда не натурализовался во Франціи и что моя натурализація, считавшаяся извѣстнымъ фактомъ, все-таки ничто иное, какъ нѣмецкая сказка. Не знаю, чья праздная или хитрая голова выдумала ее. Мои соотечественники, конечно, увѣряли, что объ этой натурализаціи они вынюхали изъ достовѣрнаго источника; объ этомъ они сообщали въ нѣмецкихъ газетахъ, а я поддерживалъ заблужденіе молчаніемъ. Мои милые литературные и политическіе противники на родинѣ и многіе очень вліятельные интимные враги здѣсь въ Парижѣ были введены этимъ обстоятельствомъ въ ошибку и думали, что правомъ французскаго гражданства я защищенъ отъ многихъ прижимокъ и махинацій, которымъ такъ сильно подверженъ чужеземецъ, судящійся здѣсь по особеннымъ, исключительнымъ законамъ. Вслѣдствіе этого благодѣтельнаго заблужденія я избѣжалъ многихъ злобныхъ дѣйствій, а также многихъ эксплуатацій аферистами, которые въ дѣловыхъ столкновеніяхъ со мною пользовались бы своимъ привилегированнымъ положеніемъ. Столько же отвратительнымъ, сколько стѣснительнымъ въ денежномъ отношеніи становится, въ концѣ концовъ, въ Парижѣ положеніе чужестранца ненатурализованнаго. Его мучатъ и сердятъ, и это дѣлается болѣе всего именно натурализованными иностранцами, которые особенно падки на то, чтобы злоупотреблять пріобрѣтенными правами своими. Побуждаемый раздраженіемъ и заботою о себѣ, я однажды исполнилъ формальности, ни къ чему не обязывающія, а между тѣмъ дающія возможность въ случаѣ необходимости

безъ замедленія пріобрѣсть права натурализаціи. Но къ принятію окончательнаго обязательства я всегда питалъ тревожный страхъ. Вслѣдствіе этой нерѣшительности, вслѣдствіе этой, глубоко вкоренившейся антипатіи къ натурализаціи, я поставилъ себя въ ложное положеніе, на которое долженъ смотрѣть, какъ на причину всѣхъ моихъ лишеній, невзгодъ и промаховъ во время моего двадцатитрехлѣтняго пребыванія въ Парижѣ. Доходъ отъ хорошей должности былъ бы достаточенъ для поддержанія моего дорого стоящаго хозяйства и для удовлетворенія потребностямъ не столько прихотливаго, сколько человѣчески свободнаго образа жизни; но безъ натурализаціи я не могъ вступить въ государственную службу. Немало высокихъ званій и доходныхъ синекуръ соблазнительно предлагались мнѣ моими друзьями, и немало было примѣровъ того, что иностранцы достигали во Франціи самыхъ блестящихъ ступеней власти. А мнѣ—смѣло могу сказать это—пришлось бы меньше, чѣмъ другимъ, бороться съ туземныхъ недоброжелательствомъ, потому что ни одинъ нѣмецъ не пользовался въ такой высокой степени, какъ я, симпатіею французовъ, сколько въ литературномъ мірѣ, столько и въ высшемъ обществѣ, и знатнѣйшія лица сближались со мною не какъ покровители, но какъ товарищи. Рыцарственный принцъ, стоявшій ближе всѣхъ къ трону и не только бывшій превосходнымъ полководцемъ и государственнымъ человѣкомъ, но и читавшій въ подлинникѣ мою «Книгу Пѣсенъ», съ большимъ удовольствіемъ увидѣлъ бы меня во французской службѣ, а его вліяніе было достаточно велико для того, чтобы дать мнѣ ходъ на этомъ поприщѣ. Я до сихъ поръ помню любезность, съ которою великій исторіографъ французской революціи и имперіи, бывшій въ то время всемогущимъ президентомъ совѣта министровъ, взялъ меня разъ, въ саду дворца одной моей царственной пріятельницы, подъ руку и, гуляя со мною, долго и убѣдительно просилъ меня сказать ему, чего желаетъ мое сердце, обѣщая удовлетворить всѣ мои желанія. Еще до сихъ поръ въ моихъ ушахъ звучитъ льстивый звукъ его голоса, до сихъ поръ въ моемъ носу щекочетъ благоуханіе высокой, цвѣтущей магноліи, мимо которой мы проходили и которая высилась въ голубомъ воздухѣ съ своими алебастробѣлыми аристократическими цвѣтами—высилась такъ роскошно, такъ гордо, какъ воздымалось въ то время, въ дни его счастья, сердце нѣмецкаго поэта!

Да, я назвалъ вещь ея настоящимъ именемъ. Отъ того, чтобъ хоть для формы сдѣлаться французомъ, удержало меня безумное высокомѣріе нѣмецкаго поэта. То была идеальная прихоть, отъ которой я не въ силахъ былъ избавиться. Въ отношеніи къ тому, что мы обыкновенно называемъ патріотизмомъ, я всегда былъ свободомыслящимъ, но тѣмъ не менѣе какой-то страхъ охватывалъ меня, когда мнѣ приходилось дѣлать что-нибудь, хотя отчасти имѣвшее характеръ отреченія отъ отечества. И въ душѣ самыхъ просвѣщенныхъ людей всегда гнѣздится крошечка стараго суевѣрія, которое ничѣмъ не выгонишь; о немъ не любишь говорить, но оно постоянно живетъ своею неразумною жизнью въ самыхъ затаенныхъ уголкахъ нашей души. Брачное сожительство мое съ нашею милою дамою Германіею, бѣлокурою лѣнивицей, никогда не было счастливо. Правда, я помню еще нѣсколько прекрасныхъ лунныхъ ночей, въ которыя она нѣжно прижимала меня къ своей большой груди съ добродѣтельными сосцами; но эти сентиментальныя ночи всѣ на перечетъ, и къ утру всегда наступала сердито зѣвающая холодность и начиналось безконечное ворчанье. Въ послѣднее время мы уже и обѣдали и спали отдѣльно. Но на формальный разводъ я не могъ рѣшиться. У меня никогда не хватало духу совсѣмъ сбросить съ себя домашній крестъ. Всякое отступничество для меня ненавистно, и я не могъ бы отречься ни отъ одной нѣмецкой кошки, ни отъ одной нѣмецкой собаки, какъ ни невыносимы для меня ея блохи и вѣрность. Живя среди знатныхъ и умныхъ свиней Перигора, которыя изобрѣли трюфли и питаются ими, я не чуждался скромныхъ свинокъ, которыя въ родимомъ тевтобургскомъ лѣсу кормятся только плодами отечественныхъ дубовъ, какъ дѣлали ихъ добродѣтельные предки въ то время, когда Арминій разбилъ Вара. Я не потерялъ также ни одной щетинки изъ моего нѣмечничества, ни одной погремушки съ моего нѣмецкаго колпака, и до сихъ поръ имѣю право прикрѣпить къ нему черно-красно-золотую кокарду. До сихъ поръ я имѣю право говорить Масману: «Мы, нѣмецкіе ослы!» Натурализуйся я во Франціи, Масманъ могъ бы мнѣ отвѣтить: «только я нѣмецкій оселъ, а ты уже пересталъ быть имъ»—и при этомъ язвительно лягнулъ бы меня и разбилъ бы мое сердце. Нѣтъ, подобному позору я не подвергалъ себя. Натурализація, можетъ-быть, годна для другого сорта людей; пьяный адвокатъ изъ Цвейбрюкена, соломенная голова съ желѣзнымъ лбомъ и мѣднымъ носомъ,

могъ бы для полученія должности школьнаго учителя отказываться отъ отечества, которое совсѣмъ не знаетъ его и никогда не узнаетъ, но такое отреченіе не подобаетъ нѣмецкому поэту, сочинившему прекраснѣйшія нѣмецкія пѣсни. Ужасъ и безуміе охватили бы меня, если бы я долженъ былъ сказать себѣ, что я нѣмецкій поэтъ, и въ то же время натурализованный французъ. Я казался бы себѣ однимъ изъ тѣхъ уродцевъ съ двумя головами, которыхъ показываютъ въ балаганахъ на ярмаркахъ. При сочиненіи чего-нибудь меня невыносимо стѣсняла бы мысль, что одна изъ этихъ головъ вдругъ, пожалуй, начнетъ скандировать на французскомъ индюшечьемъ паѳосѣ самые неестественные александринскіе стихи, между тѣмъ какъ другая будетъ изливать свои чувства въ врожденныхъ мнѣ правдивыхъ метрахъ нѣмецкаго языка. А для меня, ахъ! невыносимы какъ метрика французовъ, такъ и стихи ихъ, это раздушенное дрянцо—едва-едва могъ я выносить ничѣмъ не пахнущихъ лучшихъ ихъ поэтовъ. Только тогда, когда я смотрю на такъ-называемую poésie lyrique французовъ, мнѣ становится совершенно ясно великолѣпіе нѣмецкой поэзіи, и душа моя наполняется гордостью при мысли, что я стяжалъ себѣ лавры на этомъ поприщѣ. И я не уступлю ни одного листа изъ этихъ лавровъ, и каменщикъ, которому придется украшать мою послѣднюю постель надписью, можетъ, безъ всякаго опасенія встрѣтить возраженіе, вырѣзать на ней слова: «здѣсь покоится нѣмецкій поэтъ».

XVII.

Парижъ, 7 мая 1843 г.

Выставка картинъ возбуждаетъ въ нынѣшнемъ году необычайный интересъ; но я не имѣю возможности высказать даже отчасти разумное мнѣніе объ имѣющихъ особенный успѣхъ лучшихъ произведеніяхъ ея. До сихъ поръ я испытывалъ только странное неудовольствіе, когда проходилъ по заламъ Лувра. Эти безумныя краски, которыя всѣ въ одно и то же время глазѣютъ на меня, это пестрое нагроможденіе, со всѣхъ сторонъ скалящее на меня зубы, эта анархія въ золоченыхъ рамахъ—производятъ на меня тяжелое, фатальное впечатлѣніе. Напрасно я пытаюсь привести въ своемъ умѣ въ порядокъ этотъ хаосъ и открыть въ немъ современную мысль, или хоть бы родственную характеристическую черту, благодаря которой въ этихъ картинахъ мы можемъ видѣть продукты настоящаго времени.

Вѣдь всѣ произведенія одного и того же періода имѣютъ такую характеристическую черту, нарисованный знакъ духа своего времени. Напримѣръ, на полотнѣ Ватто, или Буше, или Ванлоо отражаются граціозная напудренная пасторальность, нарумяненная шаловливая пустота, слащавое будуарное счастье господствовавшаго въ то время помпадурства: вездѣ яркоцвѣтные, украшенные лентами пастушескіе посохи, нигдѣ ни одного меча. Въ противоположность этому, картины Давида и его учениковъ суть только раскрашенное эхо періода республиканской добродѣтели, которая затѣмъ переходитъ въ имперіалистическую военную славу, и тутъ мы видимъ форсированно восторженное сочувствіе къ мраморной модели, отвлеченное, морозное поклоненіе разуму, рисунокъ правильный, строгій, рѣзкій, краски мрачныя, жесткія, неперевариміыя, спартанскую похлебку. Но какой признакъ времени откроютъ наши потомки, когда будутъ смотрѣть на картины нынѣшнихъ живописцевъ? Какими общими для всѣхъ этихъ картинъ особенностями онѣ съ перваго же взгляда заявятъ себя какъ произведенія нашего теперешняго періода? Тотъ духъ буржуазіи, индустріализмъ, которымъ въ настоящее время проникнута вся соціальная жизнь Франціи, не водворился ли, быть-можетъ, и въ пластическихъ искусствахъ до такой степени, что на всѣхъ нынѣшнихъ картинахъ лежитъ печать этого новаго господства? Такое предположеніе возбуждаютъ во мнѣ особенно картины изъ священной исторіи, которыми такъ богата выставка этого года. Вотъ, напримѣръ, въ длинной залѣ виситъ изображеніе бичеванія, на которомъ главная фигура похожа на страждущую физіономію директора обанкротившейся акціонерной компаніи, стоящаго передъ своими акціонерами и долженствующаго представить имъ отчетъ. Да и ихъ усматриваемъ мы здѣсь, усматриваемъ въ образѣ палачей и фарисеевъ, которые страшно злы на Ecce homo и, повидимому, потеряли на своихъ акціяхъ очень много денегъ. Живописецъ, говорятъ, въ главной фигурѣ написалъ портретъ своего дяди. Лица на собственно историческихъ картинахъ, изображающихъ языческія и средневѣковыя сцены, тоже напоминаютъ торгашество, биржевыя спекуляціи, меркантилизмъ, мѣщанство. Вотъ Вильгельмъ Завоеватель, которому стоитъ только надѣть медвѣжью шапку, и онъ превратится въ національнаго гвардейца, который съ образцовымъ рвеніемъ несетъ свою караульную службу, аккуратно платитъ по своимъ

векселямъ, чтитъ свою супругу, и несомнѣнно заслуживаетъ креста Почетнаго Легіона. А ужъ портреты! У большей части такое денежное, корыстное, сердитое выраженіе, которое я объясняю себѣ только тѣмъ, что живой оригиналъ во время сеанса не переставалъ думать о томъ, сколько ему будетъ стоить портретъ, между тѣмъ, какъ живописецъ безпрерывно сожалѣлъ о времени, которое онъ долженъ былъ тратить на жалкую поденную работу. . . . . .

. . . . . .

Самая удивительная изъ религіозныхъ картинъ выставки принадлежитъ Орасу Верне, единственному великому художнику, выставившему въ нынѣшнемъ году свое произведеніе. Сюжетъ очень щекотливый, и мы положительно порицаемъ если не выборъ его, то, конечно, точку зрѣнія автора. Этотъ сюжетъ, взятый изъ Библіи—исторія Іуды и его невѣстки Тамары. По нашимъ современнымъ понятіямъ и чувствамъ обѣ эти личности являются намъ въ очень безнравственномъ свѣтѣ. Но не то по воззрѣнію древности, когда высшая задача женщины состояла въ рожденіи дѣтей, въ продолженіи рода своего мужа (особенно по воззрѣнію дневнееврейскому, что ближайшій родственникъ умершаго долженъ жениться на его вдовѣ, если онъ умеръ бездѣтнымъ, не только для того, чтобы такимъ посмертнымъ потомствомъ сохранять въ цѣлости семейное имущество, но и съ тѣмъ, чтобы обезпечивать память о покойномъ, продолженіе ея въ грядущихъ поколѣніяхъ, какъ бы ея земное безсмертіе); по такому древнему воззрѣнію поступокъ Тамары былъ дѣломъ въ высшей степени нравственнымъ, набожнымъ, богоугоднымъ, дѣломъ наивно прекраснымъ и почти такимъ же героическимъ, какъ подвигъ Юдиѳи, который уже нѣсколько ближе подходитъ къ патріотическимъ чувствамъ нашего времени. Что касается ея тестя Іуды, то мы, правда, не требуемъ для него никакихъ лавровыхъ вѣнковъ, но все-таки утверждаемъ, что онъ ни въ какомъ случаѣ, не совершилъ грѣха. Потому что, во-первыхъ, сожительство съ женщиной, встрѣченной на большой дорогѣ, древній еврей считалъ такимъ же позволительнымъ дѣломъ, какъ пользованіе плодомъ, который онъ сорвалъ бы съ дерева на большой дорогѣ для утоленія своей жажды, а день, когда это случилось, былъ, вѣроятно, жаркій въ жаркой Месопотаміи, и бѣдный праотецъ Іуда жаждалъ освѣжиться. А во-вторыхъ, на его поступкѣ лежитъ явственная печать божественной воли, онъ былъ указанъ Провидѣніемъ; не будь

этой сильной жажды, у Тамары не родился бы ребенокъ, а вѣдь этотъ ребенокъ сдѣлался прародителемъ того Давида, который господствовалъ, какъ царь, надъ Іудою и Израилемъ, слѣдовательно и основателемъ рода, изъ котораго вышелъ Великій Царь въ терновомъ вѣнцѣ—Іисусъ Назарянинъ.

Что касается до точки зрѣнія, съ которой выполненъ этотъ сюжетъ, то я, не пускаясь въ слишкомъ гомилетическое порицаніе, скажу о ней въ нѣсколькихъ словахъ. Красавица Тамара сидитъ на большой дорогѣ и при этомъ случаѣ обнаруживаетъ свои роскошнѣйшія прелести. Нога, колѣно и т. д.—совершенство, граничащее съ поэзіей. Грудь выплываетъ изъ узкаго одѣянія, цвѣтущая, благоуханная, соблазнительная, какъ запрещенный плодъ въ саду Эдема. Правой рукой, которая тоже нарисована очаровательно, красавица держитъ передъ лицомъ кончикъ своей бѣлой одежды такъ, что видны только ея лобъ и глаза. Эти большіе черные глаза обольстительны, какъ голосъ гладкой тетки Сатаны. Женщина въ одно и то же время—яблоко и сатана, и намъ не слѣдуетъ осуждать бѣднаго Іуду за то, что онъ очень поспѣшно вручаетъ ей требуемые залоги—посохъ, кольцо и поясъ. Для того, чтобы получить эти вещи, она протянула лѣвую руку, между тѣмъ какъ правою, какъ сказано выше, закрываетъ лицо. Это двойное движеніе рукъ исполнено съ такою правдой, какая доступна искусству только въ его счастливѣйшія минуты. Тутъ вѣрность натурѣ, производящая дѣйствіе волшебныхъ чаръ. Іудѣ живописецъ далъ похотливую физіономію, напоминающую скорѣе фавна, чѣмъ патріарха, и все его одѣяніе состоитъ изъ того бѣлаго шерстяного покрывала, которое со времени покоренія Алжира играетъ на многихъ картинахъ такую большую роль. Съ тѣхъ поръ, какъ французы вступили въ самое непосредственное знакомство съ востокомъ, ихъ живописцы наряжаютъ и героевъ Библіи въ истинно восточный костюмъ. Прежній традиціонный идеальный костюмъ дѣйствительно отчасти износился, благодаря трехсотлѣтнему употребленію, и наименѣе умѣстно было бы, по примѣру венеціанцевъ, маскировать древнихъ евреевъ въ платье новаго времени. Съ большею вѣрностью изображаютъ съ тѣхъ поръ французы на своихъ историческихъ картинахъ пейзажи и животныхъ, и глядя на верблюда, находящагося на картинѣ Ораса Верне, ясно видишь, что живописецъ скопировалъ его непосредственно съ натуры, а

не почерпнулъ, подобно нѣмецкому художнику, изъ глубины своего духа. Нѣмецкій живописецъ голову верблюда изобразилъ бы, можетъ-быть, въ такой формѣ, которая имѣла бы разумное, допотопное, даже ветхозавѣтное выраженіе. Но французъ нарисовалъ только какъ есть верблюда, какимъ его создалъ Богъ, верблюда нисколько не мудренаго, въ которомъ нѣтъ ни одного символическаго волоса и который, вытянувъ голову изъ-за плеча Іуды, съ полнѣйшимъ равнодушіемъ смотритъ на неприличную сдѣлку. Это равнодушіе, этотъ индеферентизмъ составляетъ основную черту картины, о которой здѣсь идетъ рѣчь, и въ этомъ отношеніи она тоже носитъ на себѣ печать нашего періода. Живописецъ не мокалъ своей кисти ни въ разъѣдающее озлобленіе сатиры Вольтера, ни въ наполненные грязью распутства горшки Парни и компаніи; имъ не руководитъ ни полемика, ни безнравственность; Библія для него то же, что и всякая другая книга; онъ смотритъ на нее съ полною терпимостью, у него нѣтъ больше никакихъ предубѣжденій противъ этой книги, онъ находитъ ее даже прекрасной и занимательной и считаетъ возможнымъ заимствовать изъ нея свои сюжеты. Съ этой точки зрѣнія онъ рисовалъ прежде Юдиѳь, Ревекку у колодца, Авраама и Агарь, и теперь нарисовалъ также Іуду и Тамару—превосходную картину, которая, благодаря мѣстному воззрѣнію автора на сюжетъ, была бы очень умѣстна, какъ запрестольный образъ, въ парижской новой церкви Notre Dame de Lorette, въ кварталѣ de Lorettes.

Ораса Верне всѣ признаютъ величайшимъ живописцемъ Франціи, и я не стану противорѣчить этому мнѣнію. Во всякомъ случаѣ, онъ національнѣйшій между французскими живописцами и превосходитъ ихъ всѣхъ плодотворною работоспособностью, демоническимъ размахомъ кисти, вѣчно цвѣтущимъ самообновленіемъ его творческой силы. Рисованіе врождено ему, какъ шелковичному червю пряденье, какъ птицѣ пѣнье, и его произведенія представляются результатами необходимости. Никакого стиля, но все натура. Плодовитость, граничащая со смѣшнымъ. На одной карикатурѣ Орасъ Верне представленъ ѣдущимъ на высокомъ конѣ, съ кистью въ рукѣ, передъ растянутымъ на громадную длину холстомъ, и рисующимъ, галопируя; какъ только онъ доскакалъ до конца холста, картина его тоже оказывается готовою. Какое множество колоссальныхъ, батальныхъ картинъ доставилъ онъ въ самое послѣднее время для

Версаля! Дѣйствительно, за исключеніемъ Австріи и Пруссіи, ни у одного нѣмецкаго государя нѣтъ, конечно, столько солдатъ, сколько уже нарисовалъ ихъ Орасъ Верне! Если справедливо набожное сказанье, что въ день возстанія мертвыхъ каждаго человѣка будутъ сопровождать на мѣсто суда его поступки, то несомнѣнно, что Орасъ Верне въ день страшнаго суда явится въ Іосафатову долину въ сопровожденіи нѣсколькихъ сотъ тысячъ пѣхоты и кавалеріи. Какъ ни страшенъ будетъ судъ, чинимый тамъ надъ живыми и мертвыми, я все-таки не думаю, чтобы Ораса Верне осудили на вѣчное пламя за неприличіе, съ которымъ онъ отнесся къ Іудѣ и Тамарѣ. Не думаю. Ибо, во-первыхъ, картина такъ превосходно написана, что уже изъ-за этого слѣдовало бы оправдать подсудимаго. Во-вторыхъ, Орасъ Верне геній, а генію позволительны вещи, обыкновеннымъ грѣшникамъ воспрещенныя. И, наконецъ, тому, кто приходитъ во главѣ нѣсколькихъ сотъ тысячъ солдатъ, тоже отпустится многое, даже если онъ случайно окажется не геніемъ.

XVIII.

Парижъ, 1-го іюля 1843.

Все еще продолжается борьба клерикаловъ съ университетомъ, равно какъ и рѣшительное сопротивленіе, въ которомъ особенно выдались Мишле и Кине, попрежнему занимаетъ публику. Можетъ-быть, этотъ интересъ будетъ скоро вытѣсненъ какимъ-нибудь новымъ вопросомъ дня; но самая вражда не такъ скоро прекратится, ибо корень ея лежитъ въ раздорѣ, живущемъ уже нѣсколько столѣтій и на который, быть-можетъ, должно смотрѣть, какъ на послѣднюю причину всѣхъ переворотовъ во французской государственной жизни. Тутъ дѣло не идетъ ни о іезуитахъ, ни о свободѣ обученія; и то, и другое—только лозунги, отнюдь не выражающіе того, что̀ думаютъ и чего желаютъ воюющія между собою партіи. Съ обѣихъ сторонъ высказывается нѣчто совсѣмъ иное, чѣмъ то, въ чемъ отваживаются сознаться, если даже не совершенно противоположное внутреннему убѣжденію. «Желаешь бить осла, а колотишь по мѣшку», говоритъ старая нѣмецкая пословица. Мы слишкомъ хорошаго мнѣнія объ умѣ университетскихъ профессоровъ, чтобы допускать, что они совершенно серьезно полемизируютъ съ умершимъ рыцаремъ Игнатіемъ Лойолою и и его сотоварищами по могиламъ. Напротивъ того, мы

слишкомъ мало вѣримъ въ либерализмъ противниковъ, чтобы принимать за наличную монету ихъ радикальные принципы по отношенію къ свободѣ обученія, ихъ ревностныя восхваленія этой свободѣ. Гласные призывы къ войнѣ здѣсь въ противорѣчіи съ тайными мыслями. Ученая хитрость и набожная ложь. Истинное значеніе этой борьбы ничто иное, какъ издавна существующая между философіею и религіею, между познаваніемъ посредствомъ разума и вѣрою въ откровенія, оппозиція, которая, имѣя въ своей главѣ людей науки, постоянно бродила какъ въ дворянствѣ, такъ и въ буржуазіи и одержала побѣду въ девяностыхъ годахъ. Даже нѣкоторые изъ живыхъ доселѣ актеровъ французской государственной трагедіи нерѣдко сознавались мнѣ, что главною причиною французской революціи была только ненависть къ церкви и что тронъ былъ ниспровергнутъ только потому, что онъ защищалъ алтарь. По мнѣнію этихъ людей, конституціонная монархія могла бы прочно установиться уже при Людовикѣ XVI; но боялись, что король, какъ ревностный католикъ, не можетъ остаться вѣрнымъ новой формѣ правленія вслѣдствіе набожныхъ требованій совѣсти, боялись, что свои религіозныя убѣжденія онъ поставитъ выше своихъ земныхъ интересовъ—и Людовикъ XVI палъ жертвою этой боязни, этого подозрѣнія. Il était suspect; въ то время террора это было преступленіе, за которое полагалась смертная казнь.

Наполеонъ возстановилъ церковь во Франціи и покровительствовалъ ей; но его желѣзная гордость воли была достаточнымъ ручательствомъ за то, что при немъ духовенство не только не станетъ во главѣ правленія, но и не слишкомъ возвысится, онъ держалъ это духовенство въ уздѣ такъ же сильно, какъ и всѣхъ насъ, и его гренадеры, шествовавшіе за духовными процессіями съ обнаженными саблями, походили болѣе на сторожей плѣнниковъ религіи, чѣмъ на почетный караулъ. Всѣ знали, что грозный императоръ желалъ царствовать одинъ, не желалъ раздѣлять власть даже съ небомъ. Уже въ началѣ реставраціи лица вытянулись, и людей науки снова объялъ тайный страхъ. Но Людовикъ XVIII былъ человѣкъ безъ религіознаго убѣжденія, отличался остроуміемъ и толстотою, писалъ скверные латинскіе стихи и ѣлъ хорошіе пастеты изъ печонки; это успокоило публику. Всѣ знали, что изъ-за спасенія своей души онъ не рискнетъ короной и головой, и чѣмъ менѣе его уважали, какъ человѣка, тѣмъ болѣе до-

вѣрія внушалъ онъ, какъ король Франціи; его фривольность была ручательствомъ, она его самого освобождала отъ подозрѣній въ покровительствѣ чернымъ наслѣдственнымъ врагамъ Франціи, и останься онъ въ живыхъ, французы не произвели бы новой революціи. Революцію совершили они въ царствованіе Карла X, короля, который лично заслуживалъ величайшаго уваженія и о которомъ всѣ заранѣе были убѣждены, что онъ пожертвуетъ спасенію своей души всѣми земными благами и съ рыцарскимъ мужествомъ будетъ сражаться до послѣдней капли крови за церковь, противъ сатаны и революціонеровъ-язычниковъ. Его свергнули съ престола именно потому, что признавали его благороднымъ, добросовѣстнымъ, честнымъ человѣкомъ. Да, онъ обладалъ всѣми этими качествами, точно такъ же, какъ Людовикъ XVI, но въ 1830 г. простого подозрѣнія было бы также достаточно для того, чтобы обречь Карла X на погибель. Это подозрѣніе есть также истинная причина того, что внукъ Карла X не имѣетъ во Франціи никакой будущности, всѣ знаютъ, что его воспитало католическое духовенство, и народъ всегда называлъ его «le petit jésuite».

Для іюльской династіи было истиннымъ счастьемъ, что благодаря случайности и обстоятельствамъ, она избѣжала этого убійственнаго подозрѣнія. Отецъ Людовика Филиппа не былъ, по крайней мѣрѣ, ханжою, въ этомъ сознаются даже клеветники его. (Сказать кстати, ни на какого короля не клеветали такъ безпощадно, какъ на этого несчастнаго государя). Онъ позволилъ своему сыну свободно развивать умъ, и этотъ сынъ всосалъ съ молокомъ кормилицы философію XVIII ст. Потому-то припѣвъ всѣхъ легитимистскихъ сѣтованій, что нынѣшній король недостаточно богобоязненъ, что онъ всегда былъ свободомыслящій либералъ и что даже своихъ дѣтей онъ воспитывалъ въ невѣріи. Дѣйствительно, его сыновья—вполнѣ сыновья новой Франціи, получившіе образованіе въ ея публичныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Покойный герцогъ Орлеанскій былъ гордостью молодого поколѣнія, которое сидѣло съ нимъ на школьной скамьѣ и, въ самомъ дѣлѣ, многому выучилось. То обстоятельство, что мать наслѣднаго принца Франціи—протестантка, въ высшей степени важно. Подозрѣніе въ ханжествѣ, оказавшееся столь пагубнымъ для старшей династіи, не обрушится на Орлеанскій домъ.

Тѣмъ не менѣе, борьба съ церковью не потеряетъ здѣсь

своего великаго политическаго значенія. Какъ ни усилилась власть духовенства въ послѣднее время, какъ ни значительно его положеніе въ обществѣ, какъ ни процвѣтаетъ оно, но противники его всегда готовы къ бою, и если либерализмъ, при ночномъ нападеніи на него, крикнетъ свое «ребята сюда!», во всѣхъ окнахъ тотчасъ же появятся огни, и старъ и младъ сбѣгутся на помощь со всевозможнымъ оружіемъ даже, пожалуй, съ пиками якобинства. Духовенство хочетъ, какъ и всегда хотѣло, пріобрѣсть во Франціи верховное господство, и мы настолько безпристрастны, что приписываемъ его тайныя и явныя стремленія не мелкому честолюбію, но самой безкорыстной заботливости о спасеніи души народа. Воспитаніе юношества есть средство, которымъ можно успѣшнѣе всего достигнуть богоугодной цѣли; да на этомъ пути и было сдѣлано уже много самаго невѣроятнаго, и духовенство неминуемо должно было прійти въ столкновеніе съ правами университета. Для того, чтобы уничтожить верховный надзоръ надъ организованнымъ государственною властью либеральнымъ образованіемъ, старались возбудить революціонныя антипатіи противъ привилегій всякаго рода, и люди, которые, стань они во главѣ правленія, не допускали бы даже свободы мысли, теперь восторженными фразами толкуютъ о свободѣ обученія и жалуются на монополію надъ умомъ. Такимъ образомъ, борьба съ университетомъ была отнюдь не случайной схваткой и рано или поздно должна была разразиться; сопротивленіе тоже было дѣломъ необходимости, и университету, хотя противъ воли и желанія, поневолѣ пришлось поднять кинутую перчатку. Но даже у самыхъ умѣренныхъ скоро ударила въ головы вскипяченная кровь страсти, и именно Мишле, мягкій, кроткій, какъ свѣтъ луны, Мишле, вдругъ пришелъ въ неистовство и въ аудиторіи Collège de France публично вскричалъ: «Для того, чтобы выгнать васъ, мы ниспровергнули династію, и если окажется необходимымъ, то мы ниспровергнемъ еще шесть династій, чтобы выгнать васъ!» Что именно такіе люди, какъ Мишле и его другъ и единомышленникъ Эдгаръ Кине, выступили самыми ожесточенными противниками духовенства, это—явленіе удивительное, которое и не снилось мнѣ въ то время, когда я въ первый разъ читалъ сочиненія этихъ людей, сочиненія, въ которыхъ каждая страница свидѣтельствуетъ о глубокомъ сочувствіи авторовъ къ христіанству. Я помню одно трога-

тельное мѣсто въ «Исторіи Франціи» Мишле, гдѣ авторъ говоритъ о нѣжной тоскѣ, охватывающей его каждый разъ, какъ ему приходится разсуждать объ упадкѣ церкви; въ это время у него на душѣ такъ, какъ было, когда онъ ухаживалъ за своей старушкою-матерью, болѣвшею такъ сильно, что онъ съ величайшею осторожностью рѣшался прикасаться къ ея израненному тѣлу. Этотъ Мишле—рожденный спиритуалистъ, онъ глубже всякаго другого ненавидитъ «просвѣщеніе» осьмнадцатаго столѣтія, матеріализмъ, фривольность тѣхъ вольтеріанцевъ, имя которыхъ все еще легіонъ, и съ которыми онъ, однако, теперь заключилъ союзъ. Онъ долженъ былъ даже прибѣгнуть къ логикѣ! Жестокая участь для человѣка, которому привольно живется только въ сказочныхъ лѣсахъ романтики, которому пріятнѣе всего покачиваться на мистически голубыхъ волнахъ чувства и который неохотно отдается мыслямъ, не замаскированнымъ въ символическую одежду! Насчетъ его страсти къ символикѣ, его постоянныхъ указаній на символическое, слышалъ я не разъ въ Латинскомъ кварталѣ очень граціозныя шутки, и Мишле называютъ тамъ monsieur Symbole. Но преобладаніе фантазіи и чувства обаятельно дѣйствуетъ на учащуюся молодежь, и я не разъ напрасно старался попасть на лекцію къ monsieur Symbole въ Collège de France: аудиторія его постоянно биткомъ набита студентами, которые съ воодушевленіемъ толпятся вокругъ прославленнаго профессора. Можетъ-быть, причина такой любви и уваженія къ нему заключается тоже въ его правдивости и строгой честности. Какъ писатель, Мишле занимаетъ первое мѣсто. Его стиль прелестенъ, какъ только можно себѣ представить, и всѣ драгоцѣнные камни поэзіи блестятъ въ его изложеніи. Если бы я захотѣлъ упрекнуть его въ чемъ-нибудь, такъ это въ отсутствіи діалектики и порядка; тутъ мы встрѣчаемъ причудливость, доходящую до гримасничанья, какую-то опьянѣлую невоздержность, въ которой возвышенное переходитъ въ шутовское, а умное въ дурацкое. Великій ли онъ историкъ? Заслуживаетъ ли онъ быть поставленнымъ на ряду съ Тьеромъ, Минье, Гизо и Тьерри, этими вѣчными звѣздами? Да, заслуживаетъ, хотя исторію пишетъ совсѣмъ иначе, чѣмъ они. Если задача историка состоитъ въ томъ, чтобы послѣ сдѣланныхъ изслѣдованій и размышленій наглядно выставить передъ нами нашихъ предковъ и ихъ жизнь, дѣла времени, если онъ обязанъ волшебною силою слова вызвать изъ могилы

умершее прошедшее и заставить его появиться живымъ передъ нашею душою—то мы можемъ увѣрить, что Мишле вполнѣ выполняетъ эту задачу. Мой великій учитель, покойный Гегель, сказалъ мнѣ однажды: «Если бы записать всѣ сны, снившіеся людямъ въ теченіе извѣстнаго періода, то прочтя описаніе этихъ сновъ, можно составить себѣ совершенно правильное представленіе о духѣ того періода». «Исторія Франціи» Мишле есть такое собраніе сновъ, такая же книга сновъ; всѣ средніе вѣка съ ихъ грезами смотрятъ изъ нея со своими глубокими страдающими глазами, со своею загробною улыбкой, и рѣзкая правда красокъ и образовъ почти пугаетъ насъ. Дѣйствительно, для изображенія того лунатическаго времени нуженъ былъ именно такой лунатикъ-историкъ, какъ Мишле.

Противъ Кине какъ клерикальная партія, такъ и правительство дѣйствовали съ такимъ же крайнимъ неблагоразуміемъ, какъ и противъ Мишле. Что клерикалы, люди любви и мира, не выказали себя ни благоразумными, ни кроткими, увлекшись своимъ набожнымъ рвеніемъ, это меня не удивляетъ. Но правительство, во главѣ котораго стоитъ человѣкъ науки, могло бы повести себя умнѣе и мягче. Неужели духъ Гизо усталъ отъ ежедневной борьбы? Или, можетъ-быть, мы ошиблись въ немъ, когда считали его бойцомъ, который упорнѣе, чѣмъ кто бы то ни было, будетъ защищать завоеванія человѣческаго ума отъ лжи и ханжества? Когда послѣ паденія Тьера онъ сталъ во главѣ правленія, всѣ школьные учителя Германіи восторгались имъ, и мы вторили просвѣщенному сословію ученыхъ. Эти дни ликованія прошли, и теперь насъ охватываютъ уныніе, сомнѣніе, неудовольствіе, не умѣющее высказать того, что̀ оно только смутно чувствуетъ и понимаетъ, и наконецъ, погружающееся въ скорбное молчаніе. Такъ какъ мы, дѣйствительно, не знаемъ, что̀ сказать, такъ какъ мы ошиблись въ старомъ профессорѣ, то самое лучшее было бы начать болтать о другихъ вещахъ, оставивъ въ сторонѣ современную политику въ скучающей, сонливой и зѣвающей Франціи.—Но образу дѣйствій въ отношеніи въ Эдгару Кине все-таки считаемъ нужнымъ высказать полное порицаніе. Какъ Мишле, такъ и Эдгара Кине отнюдь не слѣдовало постыдно раздражать до такой степени, чтобы и этотъ послѣдній, совершенно вопреки коренной сущности своей натуры, рѣшился стать въ ряды тѣхъ когортъ, которыя образуютъ крайнюю лѣвую революціонной Армады.

Спиритуалисты на все способны, когда ихъ приводятъ въ бѣшенство, и въ это время они могутъ перейти даже въ трезворазумнѣйшій раціонализмъ. Какъ знать? Можетъ-быть, дѣло дойдетъ до того, что Мишле и Кине, наконецъ, сдѣлаются самыми отчаянными якобинцами, безумнѣйшими поклонниками разума, фанатическими послѣдователями Робеспьера и Марата!

Мишле и Кине не только добрые товарищи, вѣрные соратники, но и родственные другъ другу единомышленники. У обоихъ ихъ однѣ и тѣ же симпатіи и антипатіи. Разница только въ томъ, что у перваго сердце болѣе мягкое, я сказалъ бы болѣе индійское, тогда какъ въ натурѣ второго есть нѣчто жесткое, нѣчто готское. Мишле напоминаетъ мнѣ исполинскіе, сильно пряные и украшенные большими цвѣтами стихи «Магабараты»; Кине, напротивъ того, напоминаетъ такія же громадныя, но болѣе шероховатыя и болѣе скалистыя пѣсни «Эдды». Кине—натура сѣверная, можно сказать, нѣмецкая, она вся запечатлѣна нѣмецкимъ характеромъ какъ въ хорошемъ, такъ и въ худомъ смыслѣ; дыханіе Германіи вѣетъ во всѣхъ его сочиненіяхъ. Когда я читаю «Агасфера» или другія стихотворенія Кине, у меня на душѣ такъ, какъ будто я на родинѣ; мнѣ чудится, что я слышу пѣніе родныхъ соловьевъ, нюхаю запахъ желтофіолей, знакомые звуки колоколовъ жужжатъ у меня въ головѣ, слышатся мнѣ также хорошо знакомыя погремушки дурацкихъ колпаковъ; нѣмецкое глубокомысліе, нѣмецкую скорбь мыслителя, нѣмецкую задушевность, нѣмецкихъ майскихъ жучковъ, даже немного нѣмецкой скуки, нахожу я въ сочиненіяхъ Эдгара Кине. Да, онъ нашъ; онъ нѣмецъ, добрый нѣмецъ, несмотря на то, что въ послѣднее время бѣсновался, какъ яростный нѣмцеѣдъ. Въ грубости, отчасти неуклюжести, съ которою онъ напалъ на насъ въ «Revue des deux mondes», не было ужъ рѣшительно ничего французскаго, и именно по сильному удару кулака и неподдѣльной грубости узнали мы въ немъ земляка. Эдгаръ вполнѣ нѣмецъ, не только по духу, но и по наружности, и кто встрѣчаетъ его на парижскихъ улицахъ, конечно думаетъ, что это какой-нибудь студентъ богословія изъ университета Галле, только-что срѣзавшійся на экзаменѣ и для отдохновенія отправившійся во Францію. Фигура сильная, угловатая, нечесанная. Лицо милое, честное, грустное. Одѣтъ онъ въ сѣрый, мѣшковатый сюртукъ, который какъ будто сшитъ Юнгъ-Стиллингомъ; сапоги,

къ которымъ, можетъ-быть, придѣлывалъ подметки Яковъ Бёме.

Кине долго жилъ по ту сторону Рейна, именно въ Гейдельбергѣ, гдѣ онъ учился и ежедневно упивался «символикой» Крейцера. Онъ прошелъ всю Германію пѣшкомъ, осмотрѣлъ всѣ наши готическія руины и былъ въ сношеніяхъ съ тамошними самыми замѣчательными привидѣніями. Въ Тевтобургскомъ лѣсу, гдѣ Германъ побилъ Вара, онъ ѣлъ вестфальскую ветчину съ пумперникелями; на Зонненштейнѣ онъ оставилъ свою визитную карточку. Посѣтилъ ли онъ въ Мельнѣ гробницу Эйленшпигеля, этого я не могу утверждать. Но совершенно положительно я знаю одно—что во всемъ свѣтѣ не найдется трехъ поэтовъ, которые могли бы сравниться съ Эдгаромъ Кине силою фантазіи, богатствомъ идей и геніальностью.

XIX.

Парижъ, 21-го іюня 1843.

Регулярно каждый годъ я посѣщаю торжественное собраніе въ ротондѣ Palais Mazarin, гдѣ въ этотъ день нужно простоять нѣсколько часовъ, прежде чѣмъ найдешь мѣсто между избранными членами умственной аристократіи, къ которой по счастью принадлежатъ прелестнѣйшія дамы. Наконецъ, послѣ долгаго ожиданія, въ одну изъ боковыхъ дверей входятъ господа академики, большинство которыхъ состоитъ изъ людей или очень старыхъ, или, по крайней мѣрѣ, не очень здоровыхъ, красоты здѣсь искать нечего. Они садятся на своихъ длинныхъ, жесткихъ скамьяхъ изъ дерева; несмотря на извѣстное выраженіе: «кресла академіи», эти кресла не существуютъ въ дѣйствительности и принадлежатъ къ области вымысла. Засѣданіе открывается длинною, скучною рѣчью о трудахъ истекшаго года и сочиненіяхъ, поступившихъ на премію, которую обыкновенно произноситъ временный президентъ. Затѣмъ встаетъ секретарь «perpétuel» должность котораго вѣчная, какъ монархическое правленіе. Секретари академіи и Людовикъ Филиппъ—лица, которыхъ нельзя отставить по прихоти министровъ или палатъ. Къ сожалѣнію, Людовикъ Филиппъ уже очень старъ, и мы еще не знаемъ, будетъ ли его наслѣдникъ съ такимъ же талантомъ сохранятъ прекрасный міръ. Но Минье еще молодъ, или, что еще лучше, онъ типъ молодости, его щадитъ рука времени, которая убѣляетъ наши волосы, когда не совсѣмъ вырываетъ ихъ, и

проводитъ по лбу такія отвратительныя морщины; красавецъ Минье до сихъ поръ, какъ двѣнадцать лѣтъ тому назадъ, носитъ свои золотыя кудри, и лицо его до сихъ поръ цвѣтуще, какъ ликъ олимпійцевъ. Какъ только perpétuel взойдетъ на трибуну, онъ приставляетъ къ глазамъ лорнетку и осматриваетъ публику...

«Er zählt die Häupter seiner Lieben;
Und sieh, es fehlt kein theures Haupt».

Затѣмъ онъ оглядываетъ также сидящихъ вокругъ него коллегъ, и будь я злобный человѣкъ, я далъ бы этому взгляду совершенно новое объясненіе. Въ такія минуты секретарь всегда кажется мнѣ пастухомъ, осматривающимъ свое стадо. Вѣдь всѣ они принадлежатъ ему—ему, «вѣчному», который переживаетъ ихъ всѣхъ и рано или поздно анатомируетъ и набальзамируетъ въ своихъ précis historiques. Онъ какъ будто удостовѣряется въ состояніи здоровья каждаго изъ членовъ, чтобы имѣть возможность приготовиться къ произнесенію будущей рѣчи. Старикъ Балланшъ, повидимому, очень боленъ, и Минье покачиваетъ головой. Такъ какъ этотъ бѣднякъ совсѣмъ не жилъ настоящею жизнью и такъ какъ все его занятіе на этой землѣ ограничивалось тѣмъ, что онъ сидѣлъ у ногъ г-жи Рекамье и писалъ книги, которыхъ никто не читаетъ и всякій хвалитъ, то Минье будетъ дѣйствительно трудно выставить его въ своемъ précis historique хотя съ одной человѣческой стороны и сдѣлать удобоваримымъ для слушателей.

Въ нынѣшнемъ засѣданіи предметомъ рѣчи Минье былъ умершій Дону. Къ стыду моему сознаюсь, что этотъ Дону былъ непостижимо мало знакомъ мнѣ, что я только съ трудомъ отыскалъ въ моей памяти нѣсколько моментовъ его жизни. Въ другихъ слушателяхъ, особенно въ молодомъ поколѣніи, я тоже встрѣтилъ полное незнакомство съ Дону. А между тѣмъ, этотъ человѣкъ въ продолженіе полустолѣтія былъ однимъ изъ вертельщиковъ большого колеса; а между тѣмъ, во время республики и имперіи онъ занималъ важнѣйшія должности; а между тѣмъ, до конца своей жизни онъ былъ безупречнымъ защитникомъ человѣческихъ правъ, непреклоннымъ бойцомъ противъ умственнаго рабства, однимъ изъ тѣхъ высокихъ организаторовъ свободы, которые хорошо говорятъ, но еще лучше дѣйствуютъ, и превращаютъ прекрасное слово въ спасительное дѣло. Отчего же, несмотря на всѣ свои заслуги, несмотря на свою

неутомимую политическую и литературную дѣятельность, онъ не попалъ въ число знаменитостей? Отчего его имя не блещетъ въ нашей памяти такъ ярко, какъ имена многихъ его коллегъ, игравшихъ менѣе значительную роль? Чего не доставало ему для пріобрѣтенія знаменитости? На этотъ послѣдній вопросъ отвѣчу однимъ словомъ: страсти. Только проявленіе страсти въ какомъ бы то ни было видѣ дѣлаетъ людей знаменитыми. Для этого достаточенъ одинъ поступокъ, одно слово, но на нихъ должна лежать печать страсти. Да, даже случайное столкновеніе съ великими произведеніями страсти доставляетъ безсмертную славу. А покойный Дону былъ скромный монахъ, носившій въ душѣ спокойствіе келіи въ то время, когда вокругъ него бушевали всѣ бури революціи, исполнявшій свое дѣло спокойно и безстрашно при Робеспьерѣ, какъ при Наполеонѣ, и умершій такъ же скромно, какъ жилъ. Я не хочу сказать, что въ душѣ его не было огня, но то былъ огонь безъ пламени, безъ треска, безъ эффектовъ.

Несмотря на скромную жизнь этого человѣка, Минье все-таки сумѣлъ возбудить интересъ къ этому безвѣстному герою, и такъ какъ этотъ послѣдній заслуживалъ величайшей похвалы, то ему можно было расточить ее щедрою рукою. Но если бы даже Дону и не былъ такимъ достойнымъ восхваленія человѣкомъ; если бы онъ даже принадлежалъ къ тѣмъ безхарактернымъ лягушкамъ, которыхъ такое множество сидѣло въ болотѣ (Marais) Конвента и жило безмолвною жизнью, между тѣмъ какъ лучшіе члены дѣятельно работали; если бы онъ даже былъ просто бездѣльникомъ— ѳиміамъ офиціальнаго восхваленія все-таки вполнѣ обкурилъ бы его. Хотя Минье называетъ свои рѣчи précis historiques, но онѣ ничто иное, какъ тѣ же самыя древнія éloges и тѣ же самые комплименты времени Людовика XIV, съ тою только разницею, что теперь они ходятъ уже не въ длинныхъ пудреныхъ парикахъ, а завиты по очень новой модѣ. И теперешній secrétaire perpétuel академіи— одинъ изъ величайшихъ парикмахеровъ нашего времени и отлично понимаетъ настоящій шикъ этого благороднаго ремесла. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда у причесываемаго имъ человѣка нѣтъ ни одного порядочнаго волоса, онъ умѣетъ завить ему нѣсколько локончиковъ похвалы и закрыть лысину накладкою изъ фразъ. Какъ счастливы, однако, эти французскіе академики! Въ сладчайшей душевной безмятежности сидятъ они на своихъ надежныхъ скамьяхъ,

и могутъ спокойно умереть, потому что знаютъ, что какъ бы ни были дурны ихъ дѣйствія, добрый Минье непремѣнно прославитъ ихъ по смерти. Подъ пальмами его словъ, вѣчно зелеными, какъ пальмовыя вѣтви на его мундирѣ, убаюкиваемые плесканьемъ ораторскихъ антитезъ, почиваютъ они здѣсь въ академіи, какъ въ прохладномъ оазисѣ. Караванъ человѣчества по временамъ проходитъ мимо ихъ, но они не замѣчаютъ этого, или, если слышатъ что-нибудь, то совсѣмъ не звонъ верблюжьихъ бубенчиковъ.

ДОБАВЛЕНІЕ.

Коммунизмъ, философы и клерикализмъ.

I.

Парижъ, 15 іюня 1843.

Если бы я жилъ въ Римѣ во время Нерона и занимался доставленіемъ корреспонденцій въ какую-нибудь офиціальную газету Беотіи или неофиціальную газету Абдеры, то мои коллеги нерѣдко подтрунивали бы надо мной за то, напримѣръ, что я ничего не умѣю сообщить о государственныхъ интригахъ императрицы-матери, что я никогда не пишу даже о блистательныхъ обѣдахъ, которыми іудейскій царь Агриппа каждую субботу угощалъ дипломатическій корпусъ въ Римѣ, а, напротивъ того, безпрестанно толкую о тѣхъ галилеянахъ, той темной горсти людей, которая состояла большею частью изъ рабовъ и старыхъ женщинъ, проводила свою тупую жизнь въ борьбѣ и видѣньяхъ и не признавалась даже іудеями. Мои многосвѣдущіе коллеги, конечно, посмѣялись бы надо мною съ особенною ироніею, если бы я, разсказывая о придворномъ празднествѣ цезаря, на которомъ его величество собственноручно игралъ на гитарѣ, не сумѣлъ бы сообщить ничего важнѣе, какъ то, что нѣкоторые изъ этихъ галилеянъ были вымазаны смолою, потомъ зажжены и, такимъ образомъ, освѣщали сады золотого дворца. То была, дѣйствительно, весьма знаменательная иллюминація, и жестокое, чисто римское остроуміе заключалось въ томъ, что такъ-называемыхъ обскурантовъ сдѣлали свѣтильниками на празднествѣ античнаго наслажденія жизнью. Но эта острота обратилась въ позоръ выдумавшимъ ее: эти свѣтильники-люди разбросали вокругъ себя искры, сдѣлавшія жертвою пламени древній римскій міръ со всѣмъ его гнилымъ великолѣпіемъ; число этихъ безвѣстныхъ лю-

дей сдѣлалось легіонъ, въ битвѣ съ ними легіоны цезаря должны были положить оружіе, и теперь все римское государство, владычество на морѣ и сушѣ, принадлежитъ галилеянамъ.

Я отнюдь не имѣю намѣренія перейти здѣсь въ гомилетическія разсужденія, я хотѣлъ только примѣромъ показать, какъ побѣдоносно позднѣйшее будущее, по всей вѣроятности, оправдаетъ то вниманіе, съ которымъ я очень часто въ моихъ письмахъ говорилъ о маленькой общинѣ, которая, подобно вышеупомянутой общинѣ I-го столѣтія, презираема и гонима въ настоящемъ, а между тѣмъ занимается пропагандой, которая своимъ рвеніемъ и мрачною жаждой разрушенія тоже напоминаетъ людей той поры... Я снова говорю о коммунистахъ... Такое же вниманіе обратилъ бы я на развалины сенъ-симонизма, послѣдователи которыхъ, подъ странными вывѣсками, все еще живы, а равно, и на фурьеристовъ, которые еще продолжаютъ работать свѣжо и энергически; но этими людьми вѣдь двигаетъ только слово, соціальный вопросъ, какъ вопросъ, традиціонное понятіе, и они не побуждаются къ дѣлу демоническою необходимостью, они не тѣ заранѣе предназначенные слуги, посредствомъ которыхъ высочайшая міровая воля приводитъ въ исполненіе свои колоссальныя рѣшенія. Рано или поздно разсѣянная по свѣту семья Сенъ-Симона и весь генеральный штабъ фурьеристовъ перейдутъ въ армію коммунистовъ и примутъ на себя роль руководителей...

Такую роль играетъ уже теперь Пьеръ Леру, съ которымъ, одиннадцать лѣтъ тому назадъ, мы познакомились въ залѣ Тебу, какъ съ однимъ изъ жрецовъ сенъ-симонизма. Это превосходный человѣкъ, который въ то время имѣлъ единственный недостатокъ — слишкомъ большую для его тогдашняго званія мрачность. Оттого-то Анфантенъ высказалъ о немъ слѣдующую саркастическую похвалу: «Это добродѣтельнѣйшій человѣкъ по понятіямъ прошедшаго времени». Въ его добродѣтели есть, дѣйствительно, нѣкоторая старая закваска періода самоотреченія, нѣчто древнестоическое, являющееся въ наше время почти страннымъ анахронизмомъ и долженствующее казаться почтеннымъ комизмомъ свѣтлымъ воззрѣніямъ пантеистической религіи наслажденья. Потому-то этой печальной птицѣ сдѣлалось, наконецъ, тяжко въ блестящей клѣткѣ, въ которой порхало столько золотыхъ фазановъ и орловъ, но еще болѣе—воробьевъ, и Пьеръ Леру былъ первый, протестовавшій про-

тивъ доктрины новой нравственности и съ фанатическимъ проклятіемъ отрекшійся отъ пестро веселой компаніи. Послѣ этого онъ, въ сообществѣ съ Ипполитомъ Карно, предпринялъ изданіе новой «Revue Encyclopédique», и статьи, помѣщавшіяся имъ въ этомъ журналѣ, а равно и сочиненіе его «De l'humanité» образуютъ переходъ къ тѣмъ доктринамъ, которыя онъ излагаетъ уже цѣлый годъ въ «Revue Indépendante». Какова теперь большая «Энциклопедія», въ которой самое дѣятельное участіе принимаютъ Леру и превосходный Рейно, объ этомъ не могу сказать ничего опредѣлительнаго. Смѣю только утверждать, что это сочиненіе есть достойное продолженіе своего предшественника, того колоссальнаго памфлета въ тридцати томахъ in quarto, въ которомъ Дидро резюмировалъ знанія своего столѣтія. Особыми оттисками появились статьи, которыя Леру, въ своей «Энциклопедіи», писалъ противъ Кузеновскаго эклектицизма, или эклектизма, какъ называютъ французы эту безсмыслицу. Кузенъ, вообще есть пугало, козелъ очищенія, съ которымъ Пьеръ Леру полемизируетъ съ незапамятныхъ временъ, и эта полемика обратилась у него въ мономанію. Въ декабрьскихъ нумерахъ «Revue Indépendante» эта мономанія дошла до крайней степени опаснаго безумія и скандала. Тутъ на Кузена не только нападаютъ за его образъ мыслей, но и обвиняютъ его въ злоумышленныхъ дѣйствіяхъ. На этотъ разъ добродѣтель увлекается слишкомъ далеко вихремъ страсти и попадаетъ въ открытое море клеветы. Нѣтъ, мы знаемъ изъ хорошаго источника, что Кузенъ совершенно неповиненъ въ непростительныхъ измѣненіяхъ, которымъ подвергнулось посмертное сочиненіе его ученика, Жуффруа; и мы узнали это не отъ приверженцевъ его, но отъ противниковъ, которые жаловались на Кузена за то, что онъ, изъ боязни повредить университетскимъ интересамъ, совѣтовалъ не издавать сочиненія Жуффруа и сердито отказалъ въ своемъ содѣйствіи. Странное возрожденіе тѣхъ самыхъ явленій, которыя мы пережили въ Берлинѣ уже двадцать лѣтъ тому назадъ! Теперь мы понимаемъ ихъ лучше, чѣмъ въ то время, и хотя лично мы не сочувствуемъ Кузену, но все-таки должны безпристрастно сознаться, что радикальная партія нападала на него съ такою же несправедливостью и ограниченностью, какою мы провинились нѣкогда по отношенію къ великому Гегелю. И Гегель также очень желалъ, чтобы его философія спокойно процвѣтала подъ охранительною сѣнью правительственной власти и не вступала

въ борьбу съ церковью до тѣхъ поръ, пока не удалось бы ей достаточно возмужать и укрѣпиться; но человѣкъ съ самымъ свѣтлымъ умомъ и самаго либеральнаго образа мыслей высказывалъ свою доктрину въ такой мрачно схоластической, крючковатой формѣ, что не только клерикальная, но и политическая партія прошедшаго считала его своимъ союзникомъ. Только посвященные улыбались, глядя на это заблужденіе, и только теперь понимаемъ мы эту улыбку; въ то время мы были молоды, и глупы, и нетерпѣливы, и возставали противъ Гегеля, какъ недавно крайняя лѣвая во Франціи возставала противъ Кузена. Только въ этомъ послѣднемъ случаѣ крайняя правая не даетъ вводить себя въ заблужденіе осторожнымъ способомъ выраженія; римско-католическое клерикальство оказывается здѣсь гораздо проницательнѣе прусско-протестантскаго; оно знаетъ очень опредѣлительно, что философія ихъ злѣйшій врагъ, оно знаетъ, что этотъ врагъ вытѣснилъ ихъ изъ Сорбонны, и чтобы снова завоевать эту крѣпость, предприняло противъ Кузена истребительную войну и ведетъ ее съ тою, освященною религіею, тактикою, въ которой цѣль освящаетъ средства. Такимъ образомъ, на Кузена нападаютъ съ двухъ противоположныхъ сторонъ, и въ то самое время, какъ противъ него выступаетъ вся клерикальная армія подъ предводительствомъ архіепископа шартрскаго, онъ подвергается сильному напору санкюлотовъ мысли, людей съ славными сердцами и слабыми головами, предводимыхъ Пьеромъ Леру. Въ этой войнѣ всѣ наши пожеланія побѣды обращены къ Кузену, потому что если привилегированное положеніе университета и имѣетъ свои дурныя стороны, то все-таки оно препятствуетъ переходу всего обученія молодежи въ руки тѣхъ людей, которые всегда преслѣдовали съ неутомимою жестокостью людей науки и прогресса; и до тѣхъ поръ, пока Кузенъ въ Сорбоннѣ, по крайней мѣрѣ, въ ней костеръ не будетъ примѣняться, какъ послѣдній аргументъ, ultima ratio, въ современной полемикѣ. Да, онъ живетъ въ Сорбоннѣ, какъ знаменоносецъ свободы мысли, и знамя ея развѣвается надъ столь гнуснымъ нѣкогда гнѣздомъ обскурантовъ Сорбонны. Особенно сильно настраиваетъ насъ въ пользу Кузена, то милѣйшее коварство, съ которымъ враги его сумѣли эксплуатировать обвиненія Пьера Леру. На этотъ разъ коварство скрылось подъ одеждою добродѣтели, и Кузена обвиняютъ за такой поступокъ, за который, если бы онъ, дѣйствительно, совершилъ его, клерикальная партія

должна была бы осыпать его похвалами; вѣдь янсенисты, точно такъ же, какъ іезуиты, всегда проповѣдывали правило, что слѣдуетъ во что бы ни стало препятствовать гласному проявленію гнѣва. Только гласный гнѣвъ—грѣхъ, и только его слѣдуетъ избѣгать,—елейно говорилъ набожный человѣкъ, обезсмертенный Мольеромъ. Но нѣтъ, Кузенъ не можетъ похвалиться ни однимъ изъ тѣхъ назидательныхъ дѣлъ, которыя ему приписываютъ; они лежатъ скорѣе въ характерѣ его противниковъ, которые искони, для избѣжанія скандала или предохраненія слабыхъ душъ отъ сомнѣнія, не стѣснялись уродовать книги, или совсѣмъ измѣнять ихъ, или даже уничтожать, а иногда сочиняли совершенно новыя произведенія подъ вымышленными именами авторовъ, вслѣдствіе чего драгоцѣннѣйшіе памятники и документы прошедшаго частью совсѣмъ погибли, частью явились подложными. Нѣтъ, фанатическая кастрація книгъ и даже благонамѣренная поддѣлка ихъ не принадлежатъ къ привычкамъ философовъ.

А Викторъ Кузенъ философъ, въ совершенно нѣмецкомъ значеніи этого слова. Пьеръ Леру философъ только въ смыслѣ, придаваемомъ этому слову французами, которые подъ философіею понимаютъ скорѣе общія изслѣдованія объ общественныхъ вопросахъ. Дѣйствительно, Викторъ Кузенъ—нѣмецкій философъ, занимающійся больше человѣческимъ духомъ, чѣмъ потребностями человѣчества, и дошедшій до извѣстной степени эгоизма вслѣдствіе размышленій о великомъ Я. Привязанность къ мысли самой по себѣ поглотила у него всѣ силы души, но самая мысль заинтересовала его прежде всего ради красоты формы, а въ метафизикѣ ему доставляла въ сущности удовольствіе только діалектика; о переводчикѣ Платона можно было, измѣнивъ извѣстное изреченіе, отчасти утверждать, что онъ любитъ Платона больше, чѣмъ истину. Въ этомъ Кузенъ не похожъ на нѣмецкихъ философовъ; для него, какъ и для нихъ, мышленіе составляетъ послѣднюю цѣль мышленія, но къ такому философскому отсутствію цѣли у него присоединяется еще какой-то артистическій индиферентизмъ. Какъ долженъ его ненавидѣть за это Пьеръ Леру, который гораздо больше другъ людей, чѣмъ мыслей, котораго мысли всѣ имѣютъ заднюю мысль, именно интересы человѣчества, и которому, какъ рожденному иконоборцу, совершенно чуждо всякое художническое наслажденіе формою! Въ такомъ умственномъ различіи заключается достаточно причинъ къ враждѣ, и нѣтъ

надобности объяснять непріязнь Леру къ Кузену личными побужденіями, ничтожными случайностями обыденной жизни. Частица невинной личной злобы, можетъ-быть, и играетъ здѣсь нѣкоторую роль, потому что добродѣтель, какъ ни гордо воздымаетъ она голову въ облака, повидимому, погрузясь только въ созерцаніе неба, все-таки сохраняетъ неизмѣнно въ памяти каждый малѣйшій уколъ, полученный ею когда-либо.

Нѣтъ, страстная непріязнь, бѣшеное озлобленіе Пьера Леру противъ Виктора Кузена есть результатъ умственнаго различія этихъ людей. Это натуры, необходимо отталкивающія одна другую. Только приходя въ безсиліе, онѣ сближаются между собою, и одинаковая слабость фундамента придаетъ противоположнымъ другъ другу доктринамъ нѣкоторое сходство. Эклектицизмъ Кузена есть тонкій, проволочный мостъ, висящій между шотландски неуклюжимъ эмпиризмомъ и нѣмецки абстрактною идеальностью, мостъ, могущій удовлетворить развѣ только легконогимъ потребностямъ нѣсколькихъ пѣшеходовъ, но который самымъ жалкимъ образомъ провалился бы, если бы по немъ захотѣло пройти человѣчество съ своимъ тяжелымъ багажемъ сердца и топочащими боевыми конями. Леру—pontifex maximus въ болѣе высокомъ, но гораздо менѣе практическомъ стилѣ, онъ хочетъ построить колоссальный мостъ такимъ образомъ, чтобы единственная арка его лежала на двухъ столбахъ, сдѣланныхъ, одинъ изъ матеріалистическаго гранита прошедшаго столѣтія, а другой—изъ идеальнаго луннаго свѣта будущаго, и фундаментомъ этого второго столба онъ кладетъ еще неоткрытую звѣзду въ млечномъ пути. Какъ только эта исполинская постройка будетъ готова, мы сообщимъ о ней. Покамѣстъ о томъ, что есть собственно система Леру, нельзя сказать ничего опредѣлительнаго; до настоящаго времени онъ даетъ только матеріалъ, разбросанные камни для постройки. Сверхъ того, у него рѣшительно нѣтъ методы—недостатокъ, свойственный французамъ, за немногими исключеніями, между которыми одно изъ главныхъ мѣстъ занимаетъ Шарль де-Ремюза, понявшій значеніе методы въ своихъ «Essais de philosophie» (превосходная книга), и выказавшій большое дарованіе въ примѣненіи ея. Леру, конечно, стоитъ выше его, какъ производитель въ области мышленія, но у него, какъ я сказалъ, не достаетъ методы. Онъ имѣетъ только идеи, и въ этомъ отношеніи ему нельзя отказать въ нѣкоторомъ сходствѣ съ Іосифомъ

евое особенное покровительство и отвело бы имъ на всю жизнь даровую квартиру и столъ».

Да, бѣдность—участь друзей человѣчества, благодѣтельныхъ мыслителей во Франціи, но эта бѣдность не только служитъ имъ побужденіемъ къ болѣе глубокимъ изслѣдованіямъ и укрѣпляющею ванною для духовныхъ силъ, но она также рекомендательная реклама ихъ ученію, и въ этомъ отношеніи значеніе ея также велико. Въ Германіи отсутствіе земныхъ богатствъ извиняется весьма добродушно, и особенно геній можетъ у насъ голодать и нищенствовать, не подвергаясь за это презрѣнію. Въ Англіи терпимость уже не такъ велика, заслуги человѣка оцѣниваются тамъ только по его доходамъ, и слова: «how much is he worth?» буквально значатъ: «сколько у него денегъ, сколько онъ заработываетъ?» Я собственными ушами слышалъ, какъ во Флоренціи одинъ толстый англичанинъ совершенно серьезно спрашивалъ одного францисканскаго монаха, сколько онъ заработываетъ въ годъ тѣмъ, что ходитъ босикомъ и съ толстою веревкой вмѣсто пояса? Во Франціи не то, и какъ ни сильно развито въ ней корыстолюбіе промышленнаго духа, но бѣдность лучшихъ людей, служитъ для нихъ почетнымъ титуломъ, и я готовъ почти утверждать, что богатство, давая поводъ къ безчестному подозрѣнію, налагаетъ какое-то тайное пятно, какую-то levis nota на людей, во всѣхъ другихъ отношеніяхъ превосходныхъ. Очень можетъ быть, что это происходитъ оттого, что столь многимъ извѣстны нечистые источники большихъ богатствъ. Одинъ поэтъ сказалъ: «первый король былъ счастливый воинъ!» По отношенію къ основателямъ нашихъ нынѣшнихъ финансовыхъ династій мы можемъ, кажется, выразиться прозаически, что первый банкиръ былъ счастливый плутъ. Правда, культъ богатства распространенъ во Франціи такъ же широко, какъ и въ другихъ странахъ; но это культъ безъ благоговѣнія: французы тоже пляшутъ вокругъ золотого тельца, но ихъ пляска есть въ одно и то же время насмѣшка, шутка, издѣваніе надъ самимъ собою, нѣчто въ родѣ канкана. Это—удивительное явленіе, объясняемое частью великодушною натурою французовъ, частью и ихъ исторіею. При старомъ режимѣ только происхожденіе считалось чѣмъ-нибудь, только число предковъ давало значеніе, и честь была плодомъ съ родословнаго дерева. Во время республики господство перешло къ добродѣтели, бѣдность сдѣлалась достоинствомъ, и деньги прятались не только изъ боязни,

по и отъ стыда. Къ этому періоду относится происхожденіе многихъ толстыхъ грошей, серьезныхъ мѣдныхъ монетъ съ вычеканенными на нихъ символами свободы, точно такъ же, какъ традицій о денежномъ безкорыстіи, которыя мы еще теперь встрѣчаемъ въ высшихъ сановникахъ Франціи. Во время имперіи процвѣтала только военная слава, создалась новая честь—честь Почетнаго Легіона, гросмейстеръ котораго, побѣдоносный императоръ, съ презрѣніемъ смотрѣлъ на занятую ариѳметическими выкладками торгашескую гильдію, на подрядчиковъ, контрбандистовъ, маклеровъ, счастливыхъ мошенниковъ. Во время реставраціи богатство интриговало противъ призраковъ стараго режима, который снова сталъ во главѣ правленія и нахальство котораго возрастало съ каждымъ днемъ; оскорбленныя, честолюбивыя деньги сдѣлались демагогомъ, стали любезничать съ санкюлотами, и когда іюльское солнце распалило умы, дворянина-короля Карла X свергнули съ престола. На него вступилъ король-буржуа Людовикъ Филиппъ, онъ, бывшій представителемъ денегъ, которыя теперь господствуютъ, но противъ которыхъ фрондируютъ въ одно и то же время въ общественномъ мнѣніи и побѣжденная партія прошедшаго, и обманувшаяся партія будущаго. Да, аристократическое С.-Жерменское предмѣстье и пролетаріатскія предмѣстья С.-Антуанъ и С.-Марсо превосходятъ другъ друга въ издѣвательствѣ надъ богачами-выскочками, и само собою разумѣется, что старые республиканцы со своимъ паѳосомъ добродѣтели и бонапартисты съ патетическими героическими тирадами поютъ здѣсь однимъ и тѣмъ же унижающимъ тономъ. Если принять въ соображеніе эти, совмѣстно дѣйствующія озлобленія, то становится понятно, почему въ настоящее время общественное мнѣніе относится къ богачамъ съ почти преувеличеннымъ презрѣніемъ, между тѣмъ какъ каждый жаждетъ богатства.

Я могъ бы здѣсь, возвращаясь къ темѣ, которою я началъ эту главу, въ особенности указать, какое неисчислимо благопріятное для коммунизма обстоятельство заключается въ томъ, что врагъ, съ которымъ онъ борется, несмотря на все свое могущество, не имѣетъ въ себѣ никакого нравственнаго устоя. Нынѣшнее общество защищается только вслѣдствіе простой необходимости, безъ вѣры въ свое право, даже безъ самоуваженія, совершенно такъ, какъ защищалось то старое общество, гнилыя балки котораго обрушились, когда пришло время.

II.

Парижъ, 18-го іюля 1842.

Въ Китаѣ даже кучера вѣжливы. Когда въ узкой улицѣ экипажи ихъ сталкиваются и цѣпляются другъ за друга колесами и дышлами, они отнюдь не начинаютъ ругаться и проклинать, какъ наши кучера, но спокойно слѣзаютъ съ козелъ, дѣлаютъ безчисленное множество поклоновъ и присѣданій, говорятъ другъ другу различные комплименты, затѣмъ принимаются общими силами приводить въ порядокъ свои экипажи и по окончаніи этой работы еще разъ начинаютъ кланяться и присѣдать, прощаются другъ съ другомъ и разъѣзжаются. Но брать съ нихъ примѣръ слѣдовало бы не только нашимъ кучерамъ, но и нашимъ ученымъ. Когда эти господа приходятъ между собою въ столкновеніе, они дѣлаютъ другъ другу весьма мало комплиментовъ и отнюдь не стараются взаимною помощью разъяснить свои недоразумѣнія, а напротивъ того, въ этихъ случаяхъ бранятся и проклинаютъ, какъ извозчики запада. И это жалкое зрѣлище представляютъ намъ большею частью богословы и философы, хотя для первыхъ главнѣе всего догматъ смиренія и милосердія, а вторые должны были бы выучиться въ школѣ разума терпѣнію и снисхожденію. Война между университетомъ и ультрамонтанами обогатила уже нынѣшнюю весну флорою грубостей и пасквилей, которые не могли пышнѣе расцвѣсти даже на нѣмецкихъ унавоженныхъ грядахъ. Все это растетъ, распускается, цвѣтетъ съ неслыханнымъ великолѣпіемъ. У насъ нѣтъ ни охоты, ни призванія ботанизировать здѣсь. Запахъ многихъ ядовитыхъ цвѣтовъ, пожалуй, одурманилъ бы насъ и помѣшалъ бы обсудить съ холоднымъ безпристрастіемъ достоинство обѣихъ этихъ партій и политическое значеніе этой борьбы. За такую оцѣнку примемся мы тогда, когда запахъ страстей немного испарится. Покамѣстъ мы можемъ сказать уже, что обѣ стороны правы, и дѣйствующія лица побуждаемы самою роковою необходимостью. Большая часть католиковъ осуждаетъ, правда, мудро и умѣренно несвоевременное возстаніе членовъ своей партіи, но эти послѣдніе повинуются велѣнію своей совѣсти, своему высочайшему закону, compelle intrare; они исполняютъ свой долгъ и поэтому заслуживаютъ наше уваженіе. Мы ихъ не знаемъ, у насъ нѣтъ никакихъ основаній для сужденія о ихъ личности, и мы не имѣемъ права сомнѣваться въ ихъ честности...

Эти люди совсѣмъ не мои любимцы, но, говоря правду, несмотря на свои мрачный, кровожадный зелотизмъ, они для меня пріятнѣе толерантныхъ амфибій вѣры и знанія, тѣхъ людей, которые смотрятъ на церковную музыку и церковную живопись только какъ на средство пріятно щекотать свои дремлющія души, и ужъ несравненно пріятнѣе тѣхъ дилетантовъ религіи, которые чуть не бредятъ церковью, но при этомъ не оказываютъ строгаго послушанія ея догматамъ, и которыхъ здѣсь называютъ catholiques marrons. Эти послѣдніе наполняютъ теперь наши фешіонебльныя церкви, напр., Sainte Madeleine или Notre Dame de Lorette, эти собственно будуары, гдѣ господствуетъ самое сладенькое рококо, гдѣ кропильница для святой воды пахнетъ духами, гдѣ молитвенные стулья съ мягкими подушками, розовое освѣщеніе и томное пѣніе, всюду цвѣты и шаловливые кунидоны, кокетливая набожность, обмахивающаяся вѣерами Буше и Ватто—католичество во вкусѣ Помпадуръ.

Противниковъ университета здѣсь называютъ обыкновенно іезуитами; это названіе столько же несправедливо, сколько неправильно. Во-первыхъ, іезуиты, въ томъ значеніи, которое придается этому названію, уже не существуютъ. Но какъ вверху въ дипломатіи есть люди, которые, при каждомъ революціонномъ приливѣ, приписываютъ одновременно бушеваніе приближающихся волнъ иниціативѣ какого-то comité directeur въ Парижѣ, такъ точно здѣсь внизу есть трибуны, которые, каждый разъ, какъ начинается отливъ, когда революціонныя волны снова уходятъ обратно, объясняютъ это явленіе интригами іезуитовъ и серьезно воображаютъ себѣ, что въ Римѣ живетъ генералъ іезуитовъ, который, чрезъ посредство своихъ замаскированныхъ агентовъ, руководитъ реакціею всего міра. Нѣтъ, такой генералъ іезуитовъ не существуетъ въ Римѣ, точно такъ же, какъ въ Парижѣ нѣтъ никакого comité directeur; это сказки для большихъ дѣтей, это просто пугливые продукты новаго суевѣрія. Или не простая ли военная хитрость—это названіе противниковъ университета іезуитами? Дѣйствительно, во Франціи нѣтъ слова, которое было бы менѣе популярно, чѣмъ слово іезуитъ. Въ прошедшемъ столѣтіи такъ радикально полемизировали противъ этого ордена, что еще много времени должно пройти для того, чтобы о немъ могло составиться мягкое, безпристрастное мнѣніе. Мнѣ представляется, что съ іезуитами нерѣдко обращались немного по-іезуитски и

что клеветы, разсыпавшіяся этими людьми, уплачивались имъ иногда съ слишкомъ большими процентами. Къ отцамъ общества Іисусова можно бы примѣнить слова, сказанныя Наполеономъ о Робеспьерѣ: «они казнены, но не осуждены». Но придетъ время, когда и имъ воздадутъ справедливость и признаютъ ихъ заслуги. Ужъ теперь должны мы сознаться, что своими миссіонерскими учрежденіями они оказали громадное содѣйствіе улучшенію нравственности и развитію цивилизаціи, что они были спасительнымъ противоядіемъ чумнымъ міазмамъ Поръ-Рояля, что даже ихъ многопорицаемое ученіе объ аккомодаціи было единственнымъ средствомъ для церкви удержать свое господство надъ новымъ, жаднымъ къ свободѣ и къ наслажденіямъ человѣчествомъ. Mangez un boeuf et soyez chrétien, говорили іезуиты человѣку, который на исповѣди сознавался, что ему захотѣлось на страстной недѣлѣ съѣсть кусокъ мяса; но ихъ снисходительность истекала только изъ требованія данной минуты, и впослѣдствіи, укрѣпивъ свою власть, они снова посадили бы плотоядное человѣчество на самую постную пищу. Мягкія доктрины для возмутившагося настоящаго, желѣзныя цѣпи для порабощеннаго будущаго. Вѣдь они были такъ умны!

Но никакой умъ не можетъ совладать со смертью. Они давно уже лежатъ въ могилахъ. Конечно, есть на свѣтѣ люди въ черныхъ плащахъ и огромныхъ треугольныхъ войлочныхъ шляпахъ, но это не настоящіе іезуиты. Какъ кроткая овца иногда, изъ тщеславія, или своекорыстія, или хвастовства, напяливаетъ на себя волчью шкуру радикализма, такъ въ лисьей кожѣ іезуитизма часто сидитъ самый ограниченный осленокъ. Да, они умерли. Отцы общества Іисусова оставили въ католическихъ ризницахъ только свой гардеробъ, но не свой духъ. Этотъ духъ витаетъ, какъ привидѣніе, совсѣмъ въ другихъ мѣстахъ, и можетъ-быть, многіе университетскіе бойцы, которые заклинаютъ его съ такимъ рвеніемъ, одержимы имъ, не замѣчая этого. Я говорю это не по отношенію къ гг. Мишле и Кине, честнѣйшимъ и правдивѣйшимъ людямъ, но, главнымъ образомъ, имѣю въ виду министра народнаго просвѣщенія, ректора университета, г. Вильмена. Двусмысленный образъ дѣйствій его высокопревосходительства всегда производитъ на меня отвратительное впечатлѣніе. Къ сожалѣнію, я могу отнестись съ уваженіемъ только къ уму и слогу этого человѣка. Кстати сказать, здѣсь мы видимъ, что знаменитыя слова Бюффона:

«Le style c'est l'homme», совершенно ложны. Слогъ г. Вильмена прекрасенъ, благороденъ, развитъ и чистъ. Виктора Кузена я тоже не могу освободить вполнѣ отъ упрека въ іезуитизмѣ. Богъ свидѣтель, что я очень склоненъ воздать полную справедливость достоинствамъ г. Кузена, что я охотно признаю блескъ его ума; но слова, которыми онъ недавно объявилъ въ академіи о переводѣ Спинозы, не доказываютъ ни мужества, ни правдивости. Конечно, сдѣлавъ Спинозу доступнымъ мыслящей Франціи, Кузенъ оказалъ безконечную услугу интересамъ философіи, но въ то же самое время ему слѣдовало честно сознаться, что этимъ онъ принесъ не особенно большую пользу католической церкви. Напротивъ того, онъ сказалъ, что Спиноза переведенъ однимъ изъ его учениковъ, воспитанникомъ École normale, для того, чтобы снабдить этотъ переводъ опроверженіемъ, и въ то время, когда партія духовенства такъ сильно нападаетъ на университетъ, именно этотъ бѣдный, невинный, еретическій университетъ опровергаетъ Спинозу, опаснаго Спинозу, заклятаго врага вѣры, написавшаго свои богохульныя книги перомъ изъ черныхъ крыльевъ сатаны. «Кого здѣсь обманываютъ?» спрашиваетъ Фигаро. Такое объявленіе о французскомъ переводѣ Спинозы было сдѣлано Кузеномъ въ Académie des sciences morales et politiques; переводъ этотъ необыкновенно удался, между тѣмъ какъ знаменитое опроверженіе такъ слабо и мизерно, что въ Германіи его сочли бы дѣломъ ироніи.

III.

Парижъ, 20 іюля 1843 г.

Каждый народъ имѣетъ свой національный недостатокъ, и у насъ, нѣмцевъ, есть свой, именно—знаменитая медлительность; мы очень хорошо знаемъ, что у насъ свинецъ въ сапогахъ, даже въ туфляхъ. Но что̀ пользы французамъ отъ всей ихъ поворотливости, всей ихъ гибкости, воспріимчивости, если они точно также скоро забываютъ все, что̀ сдѣлали? У нихъ нѣтъ памяти, и въ этомъ ихъ величайшее несчастіе. Плоды всякой дѣятельности и всякаго бездѣйствія пропадаютъ здѣсь вслѣдствіе забывчивости. Каждый день они должны снова проходить путь своей исторіи, снова начинать свою жизнь, снова подвизаться въ прежней борьбѣ—и завтра побѣдитель позабываетъ, что онъ побѣдилъ, а побѣжденный также легкомысленно забываетъ свое пораженіе и его спасительные уроки. Кто въ іюлѣ 1830 г. выигралъ

великую битву? Кто проигралъ ее? Этого не слѣдовало бы забывать, по крайней мѣрѣ, въ томъ большомъ госпиталѣ, въ который, говоря словами Минье, каждая ниспровергнутая власть снесла своихъ раненыхъ. Это единственное замѣчаніе позволяемъ мы себѣ по отношенію къ преніямъ, происходившимъ въ палатѣ перовъ по вопросу о среднемъ обученіи и окончившимся только видимымъ пораженіемъ клерикальной партіи. На самомъ дѣлѣ она восторжествовала, и достаточнымъ тріумфомъ для нея было уже то, что она выступила на сцену, какъ организованная партія. Мы очень далеки отъ того, чтобы порицать это смѣлое выступленіе, и оно не нравится намъ гораздо меньше той шаткой нерѣшительности, которую выказали противники клерикаловъ. Въ какомъ жалкомъ свѣтѣ выказался здѣсь г. Вильменъ, мелкій риторъ, вѣтреный bel-esprit, этотъ гнилой вольтерьянецъ, который немного потерся объ отцовъ церкви, чтобы придать себѣ видъ нѣкоторой солидности, и былъ одушевленъ такимъ невѣжествомъ, которое граничило съ грандіознымъ! Для меня непостижимо, какъ г. Гизо не прогналъ его тутъ же: вѣдь эта школьническая безпомощность, это отсутствіе необходимѣйшихъ предварительныхъ знаній, это научное ничтожество должны были не понравиться великому ученому гораздо больше, чѣмъ какой бы то ни было политическій промахъ! Чтобы хоть чѣмъ-нибудь прикрыть слабость и безсодержательность своего сотоварища, Гизо долженъ былъ нѣсколько разъ подавать свой голосъ, но все, что онъ говорилъ, было блѣдно, безцвѣтно и безотрадно. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ говорилъ бы лучше, будь онъ министромъ не иностранныхъ дѣлъ, а народнаго просвѣщенія, и вступи онъ въ бой за особенные интересы этого послѣдняго министерства. Да, онъ явился бы для противной партіи гораздо болѣе опаснымъ врагомъ, если бы вышелъ на поле битвы безъ физической власти, вооруженный только своимъ умственнымъ могуществомъ, если бы онъ выступилъ, какъ простой профессоръ, за права философіи! Въ такомъ благопріятномъ положеніи былъ Викторъ Кузенъ, и пальма первенства въ этотъ день осталась за нимъ. Кузенъ не дилетантъ въ философіи, какъ довольно злобно утверждали на-дняхъ; онъ, скорѣе, великій философъ, онъ здѣсь родной сынъ философіи, и когда на нее напали непримиримѣйшіе враги ея, нашему Виктору Кузену пришлось произнести свое oratio pro domo. И онъ говорилъ хорошо, даже превосходно, съ убѣжденіемъ. Для насъ всегда драгоцѣнное зрѣлище, когда самые миро-

любивые люди, отнюдь не обуреваемые воинственными наклонностями, невольно вовлекаются въ битву внутренними условіями своего существованія, силою обстоятельствъ, своею исторіею, своимъ положеніемъ, своею натурою, короче сказать—неотразимымъ фатализмомъ. Такимъ бойцомъ, такимъ гладіаторомъ необходимости сдѣлался Кузенъ, когда нефилософски развитой министръ народнаго просвѣщенія оказался неспособнымъ защищать интересы философіи. Никто лучше Виктора Кузена не зналъ, что здѣсь дѣло шло совсѣмъ не о новомъ вопросѣ, что его слова окажутъ небольшое содѣйствіе къ окончанію стараго спора и что тутъ нечего было ожидать окончательной побѣды. Такое сознаніе всегда производитъ на человѣка ослабляющее дѣйствіе, и всѣ блестящія ракеты ума не могли въ этомъ случаѣ замаскировать внутреннюю скорбь о безплодности всѣхъ усилій. Даже на противниковъ Кузена рѣчи его произвели лестное для него впечатлѣніе, и враждебное чувство, съ которымъ они относятся къ нему, есть тоже признаніе его достоинствъ. Вильмена они презираютъ, но Кузена боятся. Они боятся его не за образъ мыслей, не за характеръ, не за его личныя достоинства или недостатки—они боятся въ немъ нѣмецкой философіи. Господи, Боже мой! вѣдь этимъ оказываютъ слишкомъ большую честь нашей нѣмецкой философіи и нашему Кузену. Несмотря на то, что этотъ послѣдній—діалектикъ по натурѣ, несмотря на то, что онъ одаренъ огромнѣйшею способностью изложенія, несмотря на то, что при своей философской спеціальности онъ имѣетъ поддержку еще въ большомъ художественномъ чутьѣ—онъ все-таки еще далеко не понимаетъ нѣмецкой философіи настолько основательно и глубоко, чтобы быть въ состояніи формулировать системы ея яснымъ, общепонятнымъ языкомъ, необходимымъ для французовъ, у которыхъ не хватаетъ, какъ у насъ, терпѣнія изучать отвлеченный языкъ. А то, чего нельзя высказать на хорошемъ французскомъ языкѣ, неопасно для Франціи. Извѣстно, что факультетъ sciences morales et politiques французской академіи предложилъ на конкурсъ задачу—написать исторію нѣмецкой философіи со времени Канта, и очень можетъ быть, что Кузенъ, бывшій главнымъ виновникомъ этого предложенія, искалъ помощи чужихъ силъ въ дѣлѣ, гдѣ его собственная оказывалась недостаточною. Но и другіе не разрѣшили эту задачу, и въ послѣднемъ торжественномъ засѣданіи академіи намъ было объявлено, что и въ нынѣшнемъ году премія

не можетъ быть присуждена ни за одно сочиненіе о нѣмецкой философіи.

ТЮРЕМНАЯ РЕФОРМА
И
УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

Парижъ, іюль 1843 г.

Послѣ четырехнедѣльныхъ преній въ палатѣ депутатовъ о законодательномъ проектѣ пенитенціарной системы, этотъ проектъ принятъ, наконецъ, съ очень несущественными измѣненіями и значительнымъ большинствомъ. Считаемъ нужнымъ сказать теперь же, что только министръ внутреннихъ дѣлъ, собственно авторъ этого проекта, стоялъ твердыми ногами на высотѣ вопроса, только одинъ опредѣлительно зналъ, чего хотѣлъ, и торжествовалъ побѣду своего превосходства надъ другими. Докладчикъ, г. Токвиль, заслуживаетъ похвалы за то, что онъ съ твердостью отстаивалъ свои мысли; это человѣкъ съ головой, не особенно мягкій сердцемъ и доводящій аргументы своей логики до точки замерзанія; оттого-то его рѣчи и отличаются какимъ-то морознымъ блескомъ, точно рубленый ледъ. Но та чувствительность, которой не достаетъ Токвилю, съ прекраснѣйшимъ избыткомъ наполняетъ сердце его друга, г. де-Бомона, и эти оба неразлучные, всегда появляющіеся вдвоемъ въ своихъ путешествіяхъ, въ своихъ сочиненіяхъ, въ палатѣ депутатовъ, дополняютъ другъ друга какъ нельзя лучше. Одинъ изъ нихъ, рѣзкій мыслитель, и другой, кроткій человѣкъ сердца, связаны между собою, какъ бутылочка съ уксусомъ и бутылочка съ прованскимъ масломъ.—Но какъ шатка, какъ безсодержательна, какъ слаба, какъ безсильна оказалась въ этомъ случаѣ оппозиція! Она не знала, чего хотѣла, она должна была сознаться въ необходимости реформы, не могла предложить ничего положительнаго, была постоянно въ противорѣчіи съ самой собою и оппонировала здѣсь, какъ обыкновенно, только изъ тупой привычки къ оппозиціонному ремеслу. А между тѣмъ, она легко могла бы удовлетворить этой наклонности, если бы сѣла на высокаго коня идеи, на какого-нибудь великодушнаго Россинанта изъ міра теоріи, вмѣсто того, чтобы ползать по гладкому мѣсту вслѣдъ за случайными пробѣлами и слабыми сторонами министерской системы и придираться въ мелочахъ, не имѣя

возможности потрясти цѣлое. Даже нашъ несравненный донъ Альфонсо де-Ламартинъ не высказался здѣсь въ своей идеальной рыцарственности. А между тѣмъ, случай для этого былъ благопріятный, и онъ могъ бы здѣсь обсуждать въ олимпо-потрясающихъ словахъ высочайшіе и важнѣйшіе вопросы человѣчества, онъ могъ бы извергать изъ себя цѣлыя огнедышащія горы рѣчей и затопить палату океаномъ мірогубительной поэзіи. Но нѣтъ, благородный гидальго явился здѣсь безъ своего прекраснаго безумія и говорилъ такъ же разсудительно, какъ самые трезвые изъ его коллегъ.

Да, только на полѣ идеи оппозиція могла бы, если не удержаться, то, по крайней мѣрѣ, блеснуть. При такомъ случаѣ нѣмецкая оппозиція стяжала бы себѣ свои ученѣйшіе лавры. Ибо вѣдь тюремный вопросъ заключается въ общемъ вопросѣ о значеніи наказанія, а тутъ передъ нами являются обширныя теоріи, о которыхъ мы упомянемъ сегодня только въ самомъ краткомъ очеркѣ, чтобы стать на нѣмецкую точку зрѣнія для обсужденія новаго тюремнаго закона.

Мы видимъ здѣсь, во-первыхъ, такъ-называемую теорію возмездія, старый жестокій законъ первобытнаго времени, то jus talionis, которое мы находимъ въ страшнѣйшей наивности еще у ветхозавѣтнаго Моисея: Жизнь за жизнь, око за око, зубъ за зубъ. Съ мученическою смертію великаго Миротворца уничтожилась и эта идея искупленія, и мы можемъ утверждать, что кроткій Христосъ далъ древнему закону удовлетвореніе лично отъ Себя, и уничтожилъ его также для всего человѣчества. Странно! Между тѣмъ какъ здѣсь религія идетъ по пути прогресса, философія остается неподвижною, и теорія уголовнаго права нашихъ философовъ, отъ Канта до Гегеля, несмотря на различіе наименованій, все еще остается старымъ jus talionis. Даже нашъ Гегель не умѣлъ придумать ничего лучшаго и могъ только отчасти спиритуализировать, даже возвысить до поэзіи грубый образъ воззрѣнія на этотъ предметъ. У него наказаніе есть *право преступника*; и именно совершая преступленіе, онъ этимъ пріобрѣтаетъ неотчуждаемое право на соотвѣтственное наказаніе; это послѣднее есть какъ бы объективное преступленіе. Принципъ искупленія въ этомъ случаѣ у Гегеля совершенно тотъ же, что у Моисея, съ тою только разницею, что Моисей носилъ въ душѣ древнее понятіе о фатализмѣ, а Гегелемъ всегда двигало новое понятіе о свободѣ; его преступникъ есть свободный человѣкъ,

само преступленіе есть актъ свободы, и поэтому должно получать то, что ему слѣдуетъ. По этому поводу ограничимся однимъ замѣчаніемъ. Мы ушли далеко отъ древнежреческой точки зрѣнія, и намъ противно думать, что если одинъ индивидуумъ совершилъ преступленіе, то все общество in corpore обязано сдѣлать то же самое преступленіе, торжественно повторить его. Для новой же точки зрѣнія, какую мы находимъ у Гегеля, наше соціальное положеніе еще слишкомъ неудовлетворительно, ибо Гегель всегда предполагаетъ абсолютную свободу, отъ которой мы еще слишкомъ далеки и къ которой, можетъ-быть, еще долго не приблизимся.

Вторая наша уголовная теорія есть теорія устрашенія. Она уже ни религіозна, ни философская, а просто нелѣпа. По ней человѣка, совершившаго преступленіе, наказываютъ для того, чтобы этимъ вселить въ третьяго боязнь рѣшиться на такое же преступленіе. Въ высшей степени несправедливо, чтобы кто-нибудь былъ обреченъ страдать для спасенья другого, и эта теорія всегда напоминала мнѣ бѣдныхъ souffre douleurs, которыхъ въ былое время воспитывали съ маленькими принцами и сѣкли каждый разъ, какъ ихъ высокоименитый товарищъ дѣлалъ что-либо непозволительное. Эта сухая и фривольная теорія устрашенія заимствуетъ у жреческой теоріи какъ бы ея pompes funèbres, она тоже, подобно теоріи древней, воздвигаетъ на общественной площади castrum doloris для привлеченія и потрясенія зрителей... Государство является здѣсь площаднымъ лѣкаремъ, съ тою только разницей, что обыкновенный площадный цѣлитель увѣряетъ, что онъ вырываетъ зубы безъ боли, а оно, напротивъ того, своими ужасающими аппаратами грозитъ причинить боль гораздо сильнѣе той, которую на самомъ дѣлѣ придется вынести бѣдному паціенту. Это кровавое комедьянтство всегда было для меня отвратительно.

Упоминать ли мнѣ, какъ объ особенной теоріи, о такъ-называемой теоріи физическаго принужденія, которая въ мое время появилась въ Геттингенѣ и окрестныхъ мѣстностяхъ? Нѣтъ, она ничто иное, какъ старое тѣсто устрашенія, только вновь перепеченное. Объ этой теоріи я какъ-то цѣлую зиму слушалъ болтовню ганноверскаго Ликурга, печальнаго гофрата Бауэра, его скучнѣйшею прозой. Эту пытку я тоже переносилъ вслѣдствіе физическаго принужденія, потому что болтунъ былъ экзаменаторомъ на

моемъ факультетѣ, а мнѣ въ то время хотѣлось сдѣлаться doctor juris.

Третья крупная уголовная теорія та, которая имѣетъ въ виду улучшеніе нравственности преступника. Настоящая родина этой теоріи—Китай, гдѣ всякая власть исходитъ изъ власти отцовской. Тамъ каждый преступникъ—дурно-воспитанный ребенокъ, котораго отецъ старается исправить, и притомъ бамбуковою тростью. Это патріархальное, добросердечное воззрѣніе нашло въ новое время почитателей, главнымъ образомъ, въ Пруссіи, и они старались ввести его также въ законодательство. При мысли о такой бамбуковой теоріи намъ прежде всего приходитъ въ голову опасеніе, что никакое исправленіе не принесетъ пользы, пока сами исправители не исправятся. Въ Китаѣ глава государства, повидимому, смутно чувствуетъ такое возраженіе, и когда въ Срединной имперіи совершается какое-нибудь необычайно страшное преступленіе, богдыханъ, сынъ неба, налагаетъ на самого себя тяжелое покаяніе, воображая, что это онъ самъ, какимъ-нибудь своимъ грѣхомъ, навлекъ на государство такое несчастіе. Намъ доставило бы большое удовольствіе, если бы нашъ туземный піетизмъ впадалъ въ такія заблужденія и для блага государства подвергалъ бы себя изряднымъ самобичеваніямъ. Въ Китаѣ однимъ изъ результатовъ патріархальнаго воззрѣнія является то, что рядомъ съ законными наказаніями существуютъ и законныя награды, что за хорошіе поступки человѣкъ получаетъ какую-нибудь почетную пуговицу съ бантомъ или безъ банта, а за поступки дурные ему дается надлежащая порція ударовъ; такъ что, выражаясь философски, бамбукъ есть награда порока, а орденъ—наказаніе добродѣтели. Защитники тѣлеснаго наказанія встрѣтили недавно въ рейнскихъ провинціяхъ сопротивленіе, имѣющее источникомъ образъ мыслей, который не очень оригиналенъ и, къ сожалѣнію, долженъ быть признаваемъ за уцѣлѣвшій остатокъ французскаго чужеземнаго господства.

Есть у насъ еще четвертая уголовная теорія, которую мы, однако, не рѣшаемся назвать уголовною, такъ какъ понятіе наказанія въ ней совершенно исчезаетъ. Ее называютъ теоріею предупрежденія, потому что здѣсь руководящимъ принципомъ служитъ предотвращеніе преступленія. Ревностнѣйшими приверженцами этого воззрѣнія являются прежде всего радикалы всѣхъ соціалистическихъ школъ. Рѣшительнѣйшимъ изъ нихъ слѣдуетъ признать англича-

нина Оуэна, который не признаетъ никакого права наказанія до тѣхъ поръ, пока не устранены причины преступленія—соціальные недостатки. Такого же мнѣнія держатся коммунисты, какъ матеріалистическаго, такъ и спиритуалистическаго направленія, при чемъ эти послѣдніе оправдываютъ евангельскими текстами свою непріязнь къ традиціонному уголовному праву, которое они называютъ ветхозавѣтнымъ закономъ мести. Фурьеристы, дѣйствуя послѣдовательно, точно также не могутъ признавать никакого уголовнаго права, такъ какъ, по ихъ ученію, преступленія порождаются только испорченными страстями, и ихъ государство именно поставило себѣ задачею предупреждать испорченность человѣческихъ страстей новою организаціею ихъ. Сенъ-симонисты, конечно, имѣли гораздо болѣе высокое понятіе о безконечности человѣческихъ ощущеній и чувствованій, для того, чтобы не построить правильную и нумерованную схему человѣческихъ страстей, какую мы находимъ у Фурье. Однакожъ, и они признавали преступленіе результатомъ не только общественнаго неустройства, но и дурного воспитанія, и отъ правильнѣе руководимыхъ, хорошо воспитанныхъ страстей ожидали полнаго возрожденія, основанія всемірнаго царства любви, въ которомъ всѣ традиціи о грѣхѣ должны прійти въ забвеніе, а идея уголовнаго права оказаться святотатствомъ.

Менѣе мечтательныя и даже очень практичныя натуры также заявили себя приверженцами теоріи предупрежденія, насколько они ожидали сокращенія преступленій вслѣдствіе улучшенія народнаго образованія. Они составляли еще особенные политико-экономическіе проекты, имѣвшіе цѣлью защитить преступника отъ его собственныхъ злыхъ побужденій, такимъ же образомъ, какъ общество достаточно защищено отъ преступленій. Тутъ мы стоимъ на положительной почвѣ ученія о предупрежденіи. Государство является здѣсь какъ бы огромнымъ полицейскимъ учрежденіемъ въ благороднѣйшемъ и достойнѣйшемъ смыслѣ, учрежденіемъ, гдѣ у злыхъ наклонностей отымаются всякія побужденія, гдѣ выставками вкусныхъ явствъ и модныхъ товаровъ не подстрекаютъ бѣднаго голоднаго человѣка къ воровству и бѣдную женщину къ проституціи, гдѣ никакіе воры, выскочившіе въ люди, никакіе Роберъ-Макеры высшаго финансоваго міра, никакіе торговцы человѣческимъ мясомъ, никакіе счастливые мошенники не смѣютъ выставлять напоказъ свою безстыдную роскошь, короче сказать, гдѣ уничто-

жаются всякіе деморализирующіе, скверные примѣры. Если же, несмотря на всѣ мѣры предосторожности, преступленія все-таки совершаются, то преступниковъ стараются сдѣлать безвредными, или запираютъ ихъ, или, если они оказываются слишкомъ опасными для спокойствія общества, казнятъ. Правительство, какъ уполномоченный общества, употребляетъ здѣсь наказаніе не какъ кару, а какъ необходимое средство защиты, и бо́льшая или меньшая степень этого наказанія опредѣляется только степенью потребности соціальнаго самозащищенія. Только съ этой точки зрѣнія мы стоимъ за смертную казнь, или, вѣрнѣе, за убіеніе закоренѣлыхъ злодѣевъ, которыхъ полиція должна искоренять точно такъ же, какъ она избиваетъ бѣшеныхъ собакъ.

При внимательномъ чтеніи того exposé des motifs, который французскій министръ внутреннихъ дѣлъ предпослалъ своему законодательному проекту тюремной реформы, становится очевидно, что̀ послѣднее изъ вышеизложенныхъ воззрѣній образуетъ въ немъ основную мысль и что такъ называемый репрессивный принципъ французовъ въ сущности есть только примѣненіе на практикѣ нашей теоріи предупрежденія.

Такимъ образомъ, въ принципѣ всѣ наши взгляды совершенно согласны съ воззрѣніями французскаго правительства. Но наши чувства возстаютъ противъ средствъ, которыми должно быть осуществлено хорошее намѣреніе. При томъ мы считаемъ эти средства совершенно неподходящими для Франціи. Въ этой странѣ общественности одиночное заключеніе, пенсильванская метода, было бы неслыханною жестокостью, и французскій народъ слишкомъ великодушенъ для того, чтобы рѣшиться покупать свое общественное спокойствіе такою цѣною. Вслѣдствіе этого я убѣжденъ, что даже послѣ изъявленія на то согласія палатъ, ужасная, безчеловѣчная, даже противоестественная система одиночнаго заключенія не будетъ осуществлена, и что многіе милліоны, которыхъ сто̀ятъ необходимыя постройки—слава Богу, пропащія деньги. Эти замки новаго буржуазнаго рыцарства народъ разобьетъ съ такимъ же негодованіемъ, съ какимъ онъ разрушилъ нѣкогда дворянскую Бастилію. Какъ ни страшенъ и мраченъ былъ внѣшній видъ этой послѣдней, но она все-таки была свѣтлымъ кіоскомъ, веселымъ павильономъ, въ сравненіи съ этими маленькими, безмолвными американскими пещерами, кото-

рыя могъ придумать только тупоголовый піетистъ и одобрить только безсердечный торгашъ, дрожащій за свою собственность. Даже богобоязненный буржуа можетъ съ этихъ поръ спать спокойнѣе—объ этомъ будетъ заботиться съ похвальнымъ рвеніемъ правительство. Но отчего бы имъ не спать немного меньше? Лучшимъ людямъ слѣдуетъ теперь проводить ночи, бодрствуя...

ИЗЪ ПИРЕНЕЕВЪ.

I.

Барежъ, 26 іюля 1846 г.

Никогда еще на цѣлительныя барежскія воды не съѣзжалось столько народу, какъ въ нынѣшнемъ году. Деревушка, состоящая изъ шестидесяти съ чѣмъ-то домиковъ и нѣсколькихъ дюжинъ временныхъ балагановъ, биткомъ набита больными; пріѣзжающіе поздно съ трудомъ отыскиваютъ себѣ жалкій пріютъ на одну ночь и должны возвращаться обратно. Большая часть посѣтителей—французскіе военные, нажившіе въ Африкѣ очень много лавровъ, ранъ и ревматизмовъ. Нѣсколько старыхъ офицеровъ временъ имперіи тоже потѣютъ здѣсь и стараются топить въ ваннахъ славныя воспоминанія, такъ сердито зудящія у нихъ при всякой перемѣнѣ погоды. Здѣсь тоже находится одинъ нѣмецкій поэтъ, которому нужно выкупать у себя многое, но который до сихъ поръ отнюдь не сошелъ съ ума и подавно не посаженъ въ сумасшедшій домъ, какъ объявилъ одинъ берлинскій корреспондентъ въ достохвальной «Leipziger Allgemeine Zeitung». Конечно, мы можемъ ошибаться; Генрихъ Гейне, можетъ-быть, болѣе сумасшедшій, чѣмъ ему самому кажется; но мы съ достовѣрностью можемъ утверждать, что здѣсь, въ анархической Франціи, ему еще до сихъ поръ не запрещаютъ ходить на свободѣ, чего, вѣроятно, не допустили бы въ Берлинѣ, гдѣ умственная полиція безопасности дѣйствуетъ строже. Какъ бы то ни было, благочестивыя души на берегахъ рѣки Шпре могутъ утѣшиться: если не духъ, то тѣло поэта значительно удручено сокрушающими недугами, и на пути изъ Парижа сюда онъ страдалъ такъ невыносимо, что, не доѣзжая Баньеръ-де-Бигорръ, долженъ былъ оставить экипажъ и продолжать дорогу по горамъ на носилкахъ. Много отрадныхъ картинъ видѣлъ онъ во время этого грандіознаго путешествія; никогда еще солнечный блескъ и лѣсная зелень не очаровы-

вали его такъ глубоко, и огромные утесы, точно каменныя головы исполиновъ, смотрѣли на него съ баснословнымъ состраданіемъ. Hautes Pyrénées чудно хороши. Особенно отрадно дѣйствуетъ на душу музыка горныхъ ключей, которые, точно полный оркестръ, низвергаются въ шумящую рѣку долины, такъ-называемую Gâve. Прелестно звучатъ при этомъ звонки овечьихъ стадъ, особенно, когда они въ большомъ количествѣ, точно ликуя, прыгаютъ съ горныхъ площадокъ, предводительствуемыя долгошерстою маткою и дорически рогатымъ козломъ, у которыхъ на шеѣ большіе колокольчики, а рядомъ бѣжитъ молодой пастухъ, ведущій ихъ въ деревню на стрижку и намѣревающійся при этомъ удобномъ случаѣ посѣтить свою возлюбленную. Черезъ нѣсколько дней звонки раздаются уже не такъ весело, потому что въ это время погода испортилась, пепельно-сѣрыя тучи опустились низко надъ землею, и молодой пастухъ со своими остриженными, трясущимися отъ холода, голыми овцами меланхолически снова подымается въ свои уединенныя Альпы; онъ плотно завернутъ въ коричневый, богато вышитый плащъ, и разлука съ «нею» была, можетъ-быть, горька.

Такое зрѣлище очень живо напоминаетъ мнѣ превосходную картину Декампа, которая была на выставкѣ нынѣшняго года и которую многіе, даже понимающій искусство французъ Теофиль Готье, порицали весьма несправедливо. Пастухъ на этой картинѣ, очень похожій въ своемъ изодранномъ величіи на настоящаго короля нищихъ, и защищающій отъ дождя бѣдную овечку на своей груди, подъ складками плаща, тупомрачныя тучи съ ихъ влажными гримасами, безобразно щетинистая пастушья собака—все это нарисовано на этой картинѣ такъ правдиво, такъ вѣрно пиренейской натурѣ, такъ лишено сентиментальныхъ прикрасъ и приторной идеализаціи, что талантъ Декампа обнаруживается здѣсь передъ нами почти ужасающе, въ своей наивнѣйшей наготѣ.

Многіе французскіе живописцы съ большимъ успѣхомъ пользуются въ настоящее время Пиренеями для своихъ произведеній, особенно вслѣдствіе живописности здѣшнихъ народныхъ костюмовъ, и картины Лелё заслуживаютъ вызванную ими похвалу; этотъ живописецъ также отличается близостью къ природѣ, только у него она лишена своей скромности, она выступаетъ почти черезчуръ смѣло и переходитъ въ виртуозность. Дѣйствительно, костюмъ горцевъ,

беарнцевъ, басковъ и пограничныхъ испанцевъ такъ характеристиченъ и такъ годенъ для мольберта, какъ только можетъ желать этого молодой энтузіазмъ рисовальнаго цеха, съ отвращеніемъ смотрящій на пошлый фракъ; особенно живописенъ головной уборъ женщинъ, состоящій изъ яркокраснаго капора, лопасти котораго ложатся на черный казакинъ и ниспадаютъ до бедръ. Чудесную картину представляютъ одѣтыя такимъ образомъ пастушки, когда, сидя на высокоосѣдланныхъ мулахъ, съ древнею прялкою въ рукѣ, онѣ ѣдутъ со своими рогатыми, черными воспитанниками по крайнимъ вершинамъ горъ, и этотъ фантастическій кортежъ обрисовывается чистѣйшими контурами на лучезарно голубомъ фонѣ неба.

Зданіе, въ которомъ помѣщаются барежскія ванны, составляетъ ужасающій контрастъ съ окружающими прелестями природы, и его угрюмая внѣшность совершенно соотвѣтствуетъ внутренности: тутъ непривѣтно мрачныя каморки, похожія на могильные склепы, съ слишкомъ узенькими каменными ваннами, чѣмъ-то въ родѣ временныхъ гробовъ, въ которыхъ можно каждый день, по цѣлому часу, упражняться въ неподвижномъ лежаніи съ вытянутыми ногами и сложенными на-крестъ руками — полезное подготовительное занятіе для отходящихъ изъ міра сего. Самый прискорбный недостатокъ въ Барежѣ есть отсутствіе воды: цѣлительные источники не текутъ въ достаточномъ изобиліи. Печальную помощь въ этомъ отношеніи представляютъ такъ-называемыя писцины, довольно узкіе водоемы, въ которыхъ человѣкъ двѣнадцать или даже полторы дюжины можетъ купаться въ одно и то же время въ стоячемъ положеніи. Тутъ происходятъ соприкосновенія не особенно пріятныя, и при этомъ случаѣ становятся понятны, во всемъ ихъ глубокомысліи, слова вѣротерпимаго венгерца, который, поглаживая усы, говорилъ своему товарищу: «Для меня совершенно одинаковы христіанинъ и еврей, республиканецъ и монархистъ, турокъ и пруссакъ— лишь бы человѣкъ былъ здоровъ».

II.

Барежъ, 7 августа 1846 г.

О терапевтическомъ значеніи здѣшнихъ ваннъ я не позволю себѣ высказаться опредѣлительно. Да и вообще врядъ

ли о нихъ можно сказать что-нибудь опредѣлительное. Можно химически разложить воду источника и вычислить съ точностью, сколько въ ней заключается сѣры, соли или масла, но никто, даже въ опредѣленныхъ случаяхъ, не рѣшится объявить дѣйствіе этой воды совершенно испытаннымъ, несомнѣннымъ средствомъ къ выздоровленію, потому что это дѣйствіе вполнѣ зависитъ отъ индивидуальнаго организма больного, и ванна, которая при одинаковыхъ симптомахъ болѣзни приноситъ одному пользу, на другого не оказываетъ никакого вліянія и дѣйствуетъ даже вредно. Подобно, напримѣръ, магнетизму, цѣлительные источники заключаютъ въ себѣ силу, которая достаточно признана, но отнюдь не опредѣлена и предѣлы которой, равно какъ и сокровеннѣйшее свойство, до сихъ поръ остаются неизвѣстны изслѣдователямъ, такъ что врачъ прибѣгаетъ къ помощи этихъ водъ только въ видѣ попытки, когда всѣ остальныя средства оказываются недѣйствительными. Когда сынъ Эскулапа уже не знаетъ, что ему дѣлать съ паціентомъ, тогда онъ посылаетъ его на воды съ длинною консультаціонною запискою, которая есть не что иное, какъ открытое рекомендательное письмо къ случаю!

Съѣстные припасы здѣсь очень нехороши, но тѣмъ болѣе дороги. Завтракъ и обѣдъ приносятся въ высокихъ корзинахъ, и довольно уродливыми дѣвушками, на домъ совершенно такъ, какъ въ Геттингенѣ. Но будь у насъ также тотъ юношески университетскій аппетитъ, съ которымъ мы нѣкогда раздробляли учено-сухую до невозможности телятину Георгіи Аугусты! Даже жизнь здѣсь такъ же скучна, какъ на цвѣточныхъ берегахъ Лены. Не могу не упомянуть, однако, что у насъ было два прекрасныхъ бала, на которые всѣ танцоры явились безъ костылей. При этомъ не было недостатка въ нѣсколькихъ дочеряхъ Альбіона, отличавшихся красотою и неповоротливостью; онѣ танцовали такъ, какъ будто ѣхали на ослахъ. Между француженками блистала здѣсь дочь знаменитаго Целларіуса, которая—какая честь для маленькаго Барежа! — собственно-ножно танцовала польку. Порхали тутъ и многія молодыя балетныя русалки изъ парижской Большой Оперы, которыхъ называютъ «крысами», въ томъ числѣ и среброногая мадмуазель Леломъ, и глядя на ихъ антраша, я снова живо вспоминалъ мой милый Парижъ, гдѣ танцы и музыка, наконецъ, совершенно одолѣли меня и куда, однако, сердце опять начинаетъ стремиться. Чудно смѣшныя чары! Отъ

безпрерывныхъ удовольствій и увеселеній въ Парижѣ, наконецъ, устаешь до того, подавляешься ими до такой степени, всѣ наслажденія въ этомъ городѣ соединены съ такимъ истощающимъ наслажденіемъ, что ощущаешь ликующую радость, когда получаешь возможность удрать изъ этой увеселительной каторги; но не пройдетъ и нѣсколькихъ мѣсяцевъ въ разлукѣ съ нею, какъ малѣйшій напѣвъ вальса или простая тѣнь ноги танцорки пробуждаютъ въ душѣ самое тоскливое стремленіе въ Парижъ! Это бываетъ, однако, только съ покрытыми мохомъ головами на этой усладительной каторгѣ, но не съ нашими юными соотечественниками-студентами, которые послѣ кратковременнаго семестроваго пребыванія въ Парижѣ начинаютъ жалобно хныкать, что въ этомъ городѣ не такъ безмятежно тихо, какъ по ту сторону Рейна, гдѣ введена тюремная система одиночнаго размышленія, что тамъ нельзя собираться такъ спокойно, какъ, напримѣръ, въ Магдебургѣ или Шпандау, что нравственное самосознаніе теряется тамъ въ шумѣ волнъ наслажденія, которыя поглощаютъ одна другую, что разсѣянія тамъ черезчуръ велики. Да, они, дѣйствительно, черезчуръ велики въ Парижѣ, потому что въ то же самое время, какъ разсѣеваемся мы, разсѣеваются и наши деньги!

Ахъ, деньги! Онѣ умѣютъ разсѣеваться даже въ Барежѣ, какъ ни скучно это цѣлительное гнѣздо. Невозможно представить себѣ дороговизну здѣшней жизни; она стоитъ вдвоє противъ того, во что обходится пребываніе на другихъ пиренейскихъ водахъ. И какъ корыстолюбивы эти горцы, которыхъ, обыкновенно, выставляютъ какими-то дѣтьми природы, остатками невинной расы! Они поклоняются деньгамъ съ благоговѣніемъ, граничащимъ съ фанатизмомъ, и это поклоненіе составляетъ собственно ихъ національный культъ. Но развѣ деньги въ настоящее время не божество всего міра, всемогущее божество, которое не можетъ отрицать долѣе какой-нибудь пары дней даже завзятѣйшій атеистъ, потому что безъ его помощи ни одинъ хлѣбникъ не дастъ самой маленькой булочки.

На этихъ дняхъ, въ сильную жару, въ Барежъ наѣхали цѣлые рои англичанъ; красно-здоровыя, бифштексомъ откормленныя лица, составлявшія почти оскорбительный контрастъ съ блѣдною общиною посѣтителей водъ. Значительнѣйшій изъ этихъ пріѣзжихъ — безконечно богатый и извѣстный членъ парламента, изъ клики торіевъ. Этотъ

джентльменъ, повидимому, не любитъ французовъ, но зато насъ, нѣмцевъ, удостаиваетъ величайшею пріязнью. Въ особенности онъ восхвалялъ нашу честность и вѣрность. Потому-то въ Парижѣ, гдѣ онъ намѣревается прожить зиму, прислуга у него, какъ онъ сказалъ мнѣ, будетъ не французская, а только нѣмецкая. Я поблагодарилъ его за довѣріе къ намъ и порекомендовалъ ему нѣсколькихъ моихъ земляковъ изъ исторической школы.

Въ числѣ здѣшнихъ посѣтителей находится также, какъ многимъ извѣстно, принцъ Немурскій, живущій въ нѣсколькихъ верстахъ отсюда, въ Люцѣ, но ежедневно пріѣзжающій сюда купаться. Когда онъ появился въ первый разъ съ этою цѣлью въ Барежѣ, экипажемъ его была открытая коляска, несмотря на то, что въ этотъ день стояла отвратительнѣйшая погода; изъ этого я заключилъ, что онъ очень здоровъ и во всякомъ случаѣ не боится насморка. Первый визитъ его былъ въ здѣшній военный госпиталь, гдѣ онъ привѣтливо разговаривалъ съ больными солдатами, освѣдомлялся о ихъ ранахъ, о томъ, сколько времени они въ службѣ и т. д. Подобная демонстрація, хотя она не что иное, какъ старый концертикъ на трубѣ, которымъ уже многія знатныя лица доказали свою виртуозность, все-таки постоянно производитъ хорошее вліяніе, и когда принцъ пріѣхалъ въ купальню, гдѣ его ожидала любопытная публика, онъ былъ уже достаточно популяренъ. Тѣмъ не менѣе, герцога Немурскаго любятъ не такъ, какъ его покойнаго брата, качества котораго обнаруживались съ большею откровенностью. Этотъ превосходный человѣкъ, или, лучше сказать, эта превосходная человѣческая поэма, которую звали Фердинандомъ Орлеанскимъ, была какъ бы написана на популярномъ, общепонятномъ языкѣ, тогда какъ Немурскій являлся въ менѣе доступной для массы художественной формѣ. Оба принца всегда представляли между собой удивительный контрастъ по отношенію къ своей внѣшности. У Орлеанскаго она была небрежно-рыцарская; Немурскій больше похожъ на аристократа-патриція. Первый былъ въ полномъ смыслѣ молодой французскій офицеръ, переполненный самой легкомысленной отвагой, одинъ изъ того сорта людей, которые съ одинаковой охотой бѣгутъ на штурмъ крѣпостныхъ стѣнъ и женскихъ сердецъ. О Немурскомъ говорятъ, что онъ хорошій солдатъ, въ высшей степени хладнокровный, но не слишкомъ воинственный. Поэтому сдѣлавшись регентомъ, онъ не будетъ увлекаться трубою

Беллоны съ тою легкостью, на которую былъ способенъ его братъ; это весьма пріятно для насъ, потому что намъ очень хорошо извѣстно, какая милая страна сдѣлалась бы; въ противномъ случаѣ, театромъ войны и какому наивному народу пришлось бы, въ концѣ концовъ, платить за военныя издержки. Одно только мнѣ очень хотѣлось бы узнать— такъ ли терпѣливъ герцогъ Немурскій, какъ его славный отецъ, который благодаря этому качеству, недостающему всѣмъ его французскимъ противникамъ, всегда оставался неутомимымъ побѣдителемъ и сохранялъ миръ для прекрасной Франціи и для всего свѣта?

III

Барежъ, 20 августа 1846.

Герцогъ Немурскій тоже терпѣливъ. Что онъ обладаетъ этою основною добродѣтелью, это я замѣтилъ по равнодушію, съ которымъ онъ смотритъ на всякую медлительность въ приготовленіи ему ванны. Онъ отнюдь не напоминаетъ своего прадѣда и его словъ: «j'ai failli attendre!» Герцогъ Немурскій умѣетъ ожидать, и въ числѣ его хорошихъ качествъ я замѣтилъ также то, что онъ не заставляетъ долго ждать другихъ. Я преемникъ его (т. е. въ купальнѣ), и долженъ сказать въ похвалу ему, что онъ сидитъ въ ней именно столько времени, сколько и обыкновенный смертный, для котораго здѣсь разсчитывается каждая минута. Онъ пріѣзжаетъ сюда ежедневно, обыкновенно въ открытой коляскѣ, и самъ правитъ лошадьми, а рядомъ съ нимъ сидитъ сердито праздная фигура кучера, и позади его толстый нѣмецъ-камердинеръ. Очень часто, въ хорошую погоду, принцъ бѣжитъ около своего экипажа вдоль всей дороги, отъ Люца до Барежа, потому что вообще онъ, повидимому, очень любитъ физическія упражненія. На горцевъ онъ производитъ большое впечатлѣніе легкостью и смѣлостью, съ которыми онъ взбѣгаетъ по самымъ крутымъ вершинамъ; онъ отличный охотникъ и, говорятъ, недавно чуть не застрѣлилъ медвѣдя. Очень часто отправляется онъ въ замѣчательныя горныя мѣстности въ сообществѣ своей супруги, одной изъ первыхъ красавицъ. Такъ онъ пріѣзжалъ съ ней на-дняхъ сюда для осмотра Pic du Midi, и между тѣмъ, какъ принцессу съ ея компаньонкой несли на гору въ паланкинахъ, молодой принцъ быстро пошелъ впе-

редъ, желая въ кратковременномъ одиночествѣ и безпрепятственно полюбоваться на тѣ колоссальныя красоты природы, которыя такъ идеально возносятъ нашу душу изъ низменнаго будничнаго міра. Но когда принцъ взобрался на вершину горы, глазамъ его представились выровненные и вытянутые—три жандарма! А вѣдь никакая вещь въ мірѣ не можетъ произвести такого отрезвляющаго и охлаждающаго впечатлѣнія, какое производитъ положительная, казенная фигура жандарма и ужасающая желтизна его перевязи. Въ эту минуту все мечтательное настроеніе какъ бы арестуется въ груди, au nom de la loi, и я очень хорошо понимаю слова одной маленькой француженки, которая прошедшею зимою была до крайности возмущена тѣмъ, что жандармовъ ставятъ даже въ церкви, въ тѣ священные Божьи дома, куда люди приходятъ съ благочестивыми чувствами; «это зрѣлище,—сказала она:—разрушаетъ для меня всякую иллюзію». Грустно смѣялся я, слушая разсказъ о томъ, какую раздраженно сердитую физіономію сдѣлалъ Немурскій, когда замѣтилъ сюрпризъ, приготовленный ему на вершинѣ Pic du Midi холопскимъ служебнымъ рвеніемъ префекта. Бѣдный принцъ!..

Здѣсь, въ Барежѣ, съ каждымъ днемъ становится скучнѣе. Невыносимость этой жизни составляетъ собственно не отсутствіе общественныхъ развлеченій, а, скорѣе, недостатокъ въ выгодахъ одиночества, потому что здѣсь постоянно шумъ и крикъ, препятствующій всякому тихому уходу въ себя и каждую минуту насильственно отрывающій васъ отъ вашихъ мыслей. Рѣзкое, раздирающее нервы хлопанье бича, составляющее здѣшнюю національную музыку, слышишь здѣсь съ ранняго утра до поздней ночи. Когда же наступаетъ дурная погода и одолѣваемыя дремотой горы натягиваютъ себѣ на уши свои туманные колпаки, тогда часы тянутся здѣсь скучными вѣчностями. Въ это время богиня скуки во плоти, укутавъ голову въ свинцовый капоръ и съ «Мессіадой» Клопштока въ рукахъ, бродитъ по улицамъ Барежа, и кому зѣвнетъ она въ лицо, у того застываетъ въ сердцѣ послѣдняя капля жизненности! Это доходитъ до того, что я, съ отчаянія, не стараюсь даже избѣгать сообщества нашего доброжелателя члена, англійскаго парламента. Онъ продолжаетъ воздавать самую должную справедливость нашимъ семейнымъ добродѣтелямъ и нравственнымъ качествамъ. Однако, мнѣ кажется, что онъ любитъ насъ съ меньшимъ энтузіазмомъ съ тѣхъ поръ, какъ

я въ одномъ изъ нашихъ разговоровъ высказалъ, что нѣмцы въ настоящее время объяты сильнымъ желаніемъ имѣть флотъ, что для всѣхъ кораблей этого будущаго флота мы уже придумали имена, что патріоты въ тюрьмахъ прядутъ теперь не шерсть, какъ до сихъ поръ, а только пеньку для парусовъ, и что дубы въ Тевтобургскомъ лѣсу, спавшіе со времени пораженія Вара, наконецъ, проснулись и добровольно предложили себя въ мачты. Благородному британцу очень не понравилось это извѣстіе, и онъ сказалъ, что мы, нѣмцы, поступили бы лучше, если бы продолжали нераздробленными силами постройку кельнскаго собора, великаго произведенія вѣры нашихъ отцовъ.

Каждый разъ, какъ мнѣ случается говорить съ англичанами о моей родинѣ, я замѣчаю съ глубочайшимъ стыдомъ, что ненависть, питаемая ими къ французамъ, для этого народа гораздо почетнѣе, чѣмъ нахальная любовь, которою они удостаиваютъ насъ, нѣмцевъ, и которою мы всегда обязаны какому-нибудь пробѣлу въ нашемъ матеріальномъ могуществѣ или нашей интеллигенціи; они любятъ насъ за наше морское безсиліе, при которомъ имъ нечего бояться никакой торговой конкуренціи; они любятъ насъ за нашу политическую наивность, которую надѣются эксплуатировать по-старому въ случаѣ войны съ Франціею.

Нѣкоторое развлеченіе въ здѣшней скукѣ представляли сплетни, хроника выборовъ, которая нашла скандальное эхо и въ нашихъ горахъ. Оппозиція въ департаментѣ des Hautes Pyrénées снова потерпѣла пораженіе, и это надо было предвидѣть при томъ политическомъ равнодушіи и безграничномъ корыстолюбіи, которыя господствуютъ здѣсь. Кандидатъ партіи движенія, забаллотированный въ Тарбѣ, говорятъ, честный, отличный человѣкъ, славящійся чистотою убѣжденій и твердою устойчивостью, хотя и въ немъ, какъ во многихъ другихъ герояхъ умственной дѣятельности, убѣжденіе есть собственно только остановка въ мышленіи, и устойчивость при этомъ—только физическая слабость. Эти люди не отступаютъ отъ принциповъ, для которыхъ они принесли уже столько жертвъ, по той же причинѣ, по которой многіе не могутъ разорвать связь съ любовницей; они не разстаются съ ней потому, что она стоила имъ уже такъ дорого.

Что г. Ахиллесъ Фульдъ выбранъ въ Тарбѣ и въ новой палатѣ депутатовъ будетъ представителемъ Верхнихъ Пиренеевъ, это достаточно разглашено газетами. Боже избави

меня сообщать здѣсь частныя свѣдѣнія объ этихъ выборахъ или лицахъ, участвовавшихъ въ нихъ. Фульдъ не лучше и не хуже сотни другихъ, которые будутъ составлять съ нимъ единогласное большинство на зеленыхъ скамьяхъ Palais Bourbon. При томъ онъ—консерваторъ, не принадлежитъ къ министерской партіи и всегда протежировалъ не Гизо, а Моле. Выборъ его въ палату депутатовъ доставляетъ мнѣ истинное удовольствіе по той совершенно простой причинѣ, что этимъ освящается въ послѣднихъ выводахъ принципъ гражданской равноправности евреевъ. Правда, что какъ законъ, такъ и общественное мнѣніе во Франціи давно уже признали принципъ, что евреи, отличающіеся талантомъ или душевными качествами, должны имѣть доступъ ко всѣмъ государственнымъ должностямъ безъ исключенія. Какъ ни вѣротерпимо кажется это признаніе, но я все-таки еще нахожу въ немъ кисловатый привкусъ застарѣлаго предразсудка. Да, до тѣхъ поръ, пока къ этимъ должностямъ не будутъ допускать и тѣхъ евреевъ, которые не обладаютъ ни талантами, ни душевными качествами, какъ допускаютъ къ нимъ тысячи христіанъ, не умѣющихъ ни думать, ни чувствовать, а только считать — до тѣхъ поръ предразсудокъ не вырванъ съ корнемъ, и старый гнетъ все еще продолжаетъ существовать! Послѣдніе слѣды средневѣковой нетерпимости исчезнутъ только тогда, когда евреи и безъ всякихъ личныхъ заслугъ, только благодаря деньгамъ, будутъ проходить въ депутаты—почетнѣйшее званіе Франціи—наравнѣ съ христіанами, и въ этомъ отношеніи избраніе г. Ахиллеса Фульда является окончательною побѣдою принципа гражданскаго равенства.

Кромѣ Фульда, нынѣшнимъ лѣтомъ выбраны въ депутаты еще два послѣдователя Моисеева закона, имена которыхъ звучатъ такъ же хорошо, какъ и его имя, въ денежномъ отношеніи. Насколько и эти двое содѣйствуютъ установленію принципа демократическаго равенства? Они тоже милліонеры-банкиры, и въ моихъ историческихъ изслѣдованіяхъ о національномъ богатствѣ евреевъ отъ Авраама до настоящаго времени я буду имѣть случай говорить о гг. Бенуа, Фульдѣ и г. фонъ-Эйхталѣ. Honni soit qui mal y pense! Для отвращенія недоразумѣній замѣчу теперь же, что результатъ моихъ изслѣдованій о національномъ богатствѣ евреевъ будетъ для этихъ послѣднихъ весьма лестенъ и сдѣлаетъ имъ величайшую честь...

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЕЗОНЪ 1844 г.

Письмо первое.

Парижъ, 25 апрѣля 1844.

A tout seigneur tout honneur. Мы начинаемъ сегодня съ Берліоза, первый концертъ котораго открылъ собою музыкальный сезонъ и явился какъ бы увертюрой его. Болѣе или менѣе новыя пьесы, поднесенныя здѣсь публикѣ, снискали заслуженныя рукоплесканія, и даже самыя лѣнивыя сердца были увлечены мощью генія, обнаруживающеюся во всѣхъ произведеніяхъ великаго художника. Тутъ слышенъ шумъ крыльевъ, исходящій не отъ какой-нибудь дюжинной птицы; это колоссальный соловей, величиною съ орла, какіе, вѣроятно, водились въ первобытномъ мірѣ. Да, музыка Берліоза вообще отзывается для меня чѣмъ-то первосозданнымъ, если даже не допотопнымъ, и она напоминаетъ мнѣ о погибшихъ видахъ животныхъ, о баснословныхъ царствахъ и грѣхахъ, о нагроможденныхъ другъ на друга невозможностяхъ, о Вавилонѣ, о висячихъ садахъ Семирамиды, о Ниневіи, о чудесахъ Мизраима, обо всемъ томъ, что мы видимъ на картинахъ англичанина Мартина. Дѣйствительно, если мы поищемъ аналогіи въ живописи, то найдемъ самое родственное сходство между Берліозомъ и сумасшедшимъ британцемъ: та же склонность къ чудовищно-громадному, къ исполинскому, къ матеріальной неизмѣримости. У одного рѣзкіе тѣневые и свѣтовые эффекты, у другого рѣзко бьющая въ ухо инструментовка; у одного мало мелодіи, у другого мало красокъ; у обоихъ мало красоты и никакой задушевности. Ихъ произведенія не античны и не романтичны, они не напоминаютъ ни о Греціи, ни о католическихъ среднихъ вѣкахъ, они, напротивъ того, переносятъ къ гораздо болѣе отдаленнымъ временамъ—къ ассирійско-вавилонско-египетскому періоду архитектуры и къ находившей себѣ въ немъ выраженіе массовой страстности.

Какимъ спокойно сдержаннымъ человѣкомъ новаго времени является въ противоположность Берліозу нашъ Феликсъ Мендельсонъ-Бартольди, высокопрославленный соотчичъ нашъ, о которомъ мы сегодня упоминаемъ главнымъ образомъ по случаю симфоніи, которая была исполнена имъ въ концертной залѣ консерваторіи! Этимъ наслажденіемъ мы обязаны дѣятельному усердію его здѣшнихъ друзей и покровителей.

Несмотря на то, что эта симфонія встрѣтила въ консерваторіи очень ледяной пріемъ, она, однако, заслуживаетъ признанія всѣхъ истинныхъ знатоковъ искусства. Въ ней неподдѣльная красота, и она принадлежитъ къ лучшимъ работамъ Мендельсона. Но въ чемъ же причина того, что для столь заслуженнаго и высокаго художника, со дня исполненія «Павла», котораго навязали здѣшней публикѣ, не цвѣтутъ на французской почвѣ никакіе лавровые вѣнки? Въ чемъ причина, что тутъ оказываются безплодными всѣ усилія и что послѣднее отчаянное средство, употребленное театромъ Одеонъ, исполненіе хоровъ въ «Антигонѣ», тоже имѣло только плачевный результатъ? Мендельсонъ постоянно даетъ намъ случай размышлять о высочайшихъ проблемахъ эстетики; постоянно напоминаетъ намъ его музыка великій вопросъ: какая разница между искусствомъ и ложью? Мы удивляемся въ этомъ художникѣ больше всего его великому дарованію къ формѣ, его стилистикѣ, его способности усваивать самое необычайное, его очаровательно прекрасной фактурѣ, его тонкому ящеричному слуху, его нѣжнымъ щупальцамъ и его серьезному, я готовъ бы почти сказать—страстному равнодушію. Если поискать аналогическое явленіе въ родственномъ музыкѣ искусствѣ, то мы найдемъ его на этотъ разъ въ поэзіи, и имя ему—Людвигъ Тикъ. И этотъ художникъ всегда умѣлъ воспроизводить, перомъ ли или устнымъ словомъ, самое превосходное, онъ умѣлъ даже творить наивное—и, однако, не создалъ ничего, что покоряло бы массу и оставалось бы навсегда живымъ въ ея сердцѣ. Болѣе даровитому, чѣмъ онъ, Мендельсону скорѣе бы удалось нѣчто навѣки прочное, но не на той почвѣ, гдѣ прежде всего требуются правда и страстность, именно не на сценѣ; точно также и Людвигъ Тикъ, несмотря на свое пламеннѣйшее вожделѣніе, никогда не могъ создать ничего драматическаго.

Кромѣ Мендельсоновой симфоніи мы съ большимъ интересомъ прослушали въ консерваторіи симфонію покойнаго Моцарта и не менѣе даровитое сочиненіе Генделя. Ихъ приняли съ большимъ одобреніемъ. Обоимъ имъ — Моцарту и Генделю, наконецъ, удалось привлечь на себя вниманіе французовъ, на что, правда, понадобилось много времени, такъ какъ въ ихъ пользу не работала никакая пропаганда дипломатовъ, піетистовъ и банкировъ.

Нашъ превосходный соотечественникъ, Фердинандъ Гиллеръ, пользуется у истинныхъ знатоковъ искусства слишкомъ

большимъ почетомъ для того, чтобы мы, какъ ни велики только-что названныя имена, не поставили здѣсь его имени между композиторами, работы которыхъ нашли въ консерваторіи заслуженную оцѣнку. Гиллеръ больше мыслящій, чѣмъ чувствующій музыкантъ, и ему, кромѣ того, ставятъ въ упрекъ слишкомъ большую ученость. Правда, умъ и наука иногда дѣйствуютъ въ сочиненіяхъ этого доктринера отчасти расхолаживающимъ образомъ, но во всякомъ случаѣ они граціозны, привлекательны и прекрасны. Гримасничающей эксцентричности здѣсь нѣтъ и слѣда. У Гиллера артистическое избирательное сродство съ его землякомъ, Вольфгангомъ Гёте. Гиллеръ тоже родился во Франкфуртѣ, гдѣ я, въ мой послѣдній проѣздъ, видѣлъ его отцовскій домъ; онъ носитъ названіе «Зеленая лягушка» и на его воротахъ помѣщено изображеніе лягушки. Композиціи Гиллера, однако, никогда не напоминаютъ такого немузыкальнаго животнаго, а только соловьевъ, жаворонковъ и другихъ весеннихъ птицъ.

Въ дающихъ концерты піанистахъ въ нынѣшнемъ году тоже не было недостатка. Особенно иды марта были въ этомъ отношеніи очень опасные дни. Все это стучитъ по клавишамъ безъ удержу и хочетъ, чтобы ихъ слушали, хотя бы только для виду, чтобы пріобрѣсть право корчить изъ себя большую знаменитость по ту сторону парижской заставы. Выпрошенный, какъ милостыня, или выманенный клочокъ фельетонной похвалы эти господа, особенно въ Германіи, умѣютъ хорошо эксплуатировать, и въ тамошнихъ рекламахъ сообщается затѣмъ, что пріѣхалъ великій Рудольфъ В., соперникъ Листа и Тальберга, фортепіанный герой, произведшій въ Парижѣ такую большую сенсацію и снискавшій похвалу даже критика Жюль Жанена. Осанна! Но кому случайно привелось увидѣть въ Парижѣ такую жалкую муху и кто вообще знаетъ, какъ мало здѣсь обращаютъ вниманія на гораздо болѣе значительныя личности, тотъ находитъ легковѣріе публики очень забавнымъ, а грубое безстыдство виртуозовъ очень отвратительнымъ. Но зло коренится глубже, именно въ состояніи нашей ежедневной печати, а оно, въ свою очередь, есть результатъ болѣе фатальнаго порядка вещей. Я считаю долгомъ постоянно и настоятельно повторять, что существуетъ только три піаниста, заслуживающихъ серьезнаго вниманія, именно: Шопенъ— плѣнительный композиторъ, но который, къ сожалѣнію, и нынѣшнюю зиму былъ очень боленъ и мало показывался

въ публикѣ; затѣмъ Тальбергъ—музыкальный джентльменъ, которому собственно не было бы никакой надобности играть на фортепіано, чтобъ повсюду, уже ради своей изящной личности, встрѣчать радушный пріемъ, и который, дѣйствительно, смотритъ на свой талантъ, повидимому, только какъ на добавленіе; и, наконецъ, нашъ Листъ, который, несмотря на всѣ причудливыя странности свои и оскорбительныя угловатости, все-таки остается нашимъ дорогимъ Листомъ и въ настоящую минуту снова приводитъ въ волненіе парижскій высшій свѣтъ. Да, онъ здѣсь, этотъ великій агитаторъ, нашъ Францъ Листъ, странствующій рыцарь всевозможныхъ орденовъ (за исключеніемъ Почетнаго Легіона, котораго Людовикъ Филиппъ не хочетъ давать ни одному виртуозу); онъ здѣсь, гогенцоллернъ-гехингенскій гофратъ, докторъ философіи и докторъ-кудесникъ музыки, снова воскресшій гамельнскій крысоловъ, новый Фаустъ, за которымъ постоянно слѣдуетъ пудель въ образѣ Беллони, возведенный въ благородное дворянство и, несмотря на это, благородный Францъ Листъ! Онъ здѣсь, новый Амфіонъ, который звуками своихъ струнъ въ пользу постройки кельнскаго собора приводилъ камни его въ такое движеніе, что они складывались вмѣстѣ, какъ нѣкогда стѣны Ѳивъ! Онъ здѣсь, новый Гомеръ, принадлежность котораго себѣ, какъ его родинѣ, оспариваютъ три величайшія страны—Германія, Венгрія и Франція, тогда какъ на пѣвца «Иліады» заявляли притязаніе только семь провинціальныхъ городовъ! Онъ здѣсь, Атилла, Божій бичъ всѣхъ Эраровскихъ роялей, которые уже при вѣсти о его прибытіи трепещутъ, а въ настоящую минуту снова подъ его рукою дрожатъ, сочатся кровью и стонутъ, такъ что обществу покровительства животныхъ слѣдовало бы принять ихъ подъ свою защиту! Онъ здѣсь, это безумное, прекрасное, гадкое, загадочное, фатальное и, при всемъ этомъ, очень дѣтское дитя своего времени, гигантскій карликъ, неистовый Роландъ, съ венгерской почетной саблей, геніальный Иванушка-дурачокъ, безуміе котораго насъ самихъ сводитъ съ ума, и которому мы, во всякомъ случаѣ, оказываемъ честную услугу тѣмъ, что доводимъ до общаго свѣдѣнія производимый имъ здѣсь великій фуроръ. Мы безусловно констатируемъ фактъ громаднаго успѣха; какъ мы истолковываемъ этотъ успѣхъ съ нашей личной точки зрѣнія, и вообще относимся ли мы лично къ прославленному артисту съ одобреніемъ, или отказываемъ ему въ немъ — это, конечно, для него безразлично, такъ

какъ нашъ голосъ—голосъ единичный, и нашъ авторитетъ въ области музыки не имѣетъ особенно важнаго значенія.

Когда, въ прежнее время, мнѣ приходилось слышать объ опьянѣніи, которое овладѣвало Германіей, особенно Берлиномъ, каждый разъ, какъ показывался тамъ Листъ, я сострадательно пожималъ плечами и думалъ: пребывающая въ мирномъ спокойствіи Германія не хочетъ упустить случай сдѣлать немного дозволеннаго движенія, ей хочется нѣсколько встряхнуть отяжелѣвшіе отъ сна члены, и мои абдериты на берегахъ Шпре охотно дощекочиваютъ себя до искусственнаго энтузіазма, и одинъ за другимъ декламируютъ: «Амуръ, властитель людей и боговъ!» Они, думалъ я, волнуются только ради того, чтобъ волноваться, какъ бы ни назывался поводъ къ тому—Георгъ Гервегъ, Францъ Листъ или Фанни Эльслеръ; подвергнулся запрещенію Гервегъ, они возьмутся за Листа, который внѣ подозрѣній и никого не скомпрометируетъ. Такъ думалъ я, такъ объяснялъ листоманію, и принималъ ее за признакъ отсутствія политической свободы по ту сторону Рейна. Но то была ошибка съ моей стороны, и это я замѣтилъ на прошедшей недѣлѣ въ залѣ Итальянской оперы, гдѣ Листъ давалъ первый концертъ и давалъ его передъ публикой, которую можно безошибочно назвать цвѣтомъ здѣшняго общества. Во всякомъ случаѣ это были бодрствующіе парижане, люди, близко знакомые съ высшими явленіями нашего времени, болѣе или менѣе долго переживавшіе великую современную драму, и между ними — немало инвалидовъ по части всѣхъ наслажденій искусствомъ, самые утомленные мужчины дѣла, женщины, тоже очень утомленныя, такъ какъ онѣ всю зиму напролетъ танцовали польку, безчисленное количество и занятыхъ, и разочарованныхъ личностей; да, Листъ игралъ здѣсь совсѣмъ не передъ нѣмецко-сентиментальной, берлинской чувствительной публикой, игралъ совершенно одинъ, или, вѣрнѣе говоря, въ сопровожденіи только своего генія. И несмотря на то, какъ могущественно, какъ потрясающе подѣйствовало уже одно его появленіе! Какъ бурны были аплодисменты, встрѣтившіе его! Даже букеты полетѣли къ его ногамъ. То было величавое зрѣлище, когда тріумфаторъ съ душевнымъ спокойствіемъ стоялъ подъ сыпавшимся на него дождемъ цвѣточныхъ букетовъ и наконецъ, граціозно улыбаясь, вынулъ изъ одного такого букета красную камелію и воткнулъ ее въ петлицу. И это сдѣлалъ онъ въ присутствіи нѣсколькихъ молодыхъ солдатъ, которые только-что

прибыли изъ Африки, гдѣ на нихъ сыпались дождемъ не цвѣты, а свинцовыя пули, и гдѣ грудь ихъ украшалась не красными камеліями, а ихъ собственною геройской кровью— на что, однако, ни тамъ, ни здѣсь никто не обращалъ особеннаго вниманія! Странно!—думалъ я,—эти парижане, видѣвшіе Наполеона, которому приходилось давать одно сраженіе за другимъ, чтобы приковывать ихъ вниманіе, эти самые парижане ликуютъ теперь при видѣ нашего Франца Листа! И какое ликованіе! Чистое сумасшествіе, неслыханное въ лѣтописяхъ «фурора»! Но въ чемъ же причина этого явленія? Разрѣшеніе этого вопроса—дѣло, можетъ-быть, скорѣе патологіи, чѣмъ эстетики. Одинъ врачъ, спеціальность котораго—женскія болѣзни, и къ которому я обратился съ вопросомъ насчетъ обаянія, производимаго нашимъ Листомъ на его публику, улыбнулся крайне странно и при этомъ наговорилъ много всякой всячины о магнетизмѣ, гальванизмѣ, электричествѣ, о заразительности въ душной, наполненной множествомъ восковыхъ свѣчей и сотнями раздушенныхъ и потѣющихъ людей залѣ, объ актерской эпилепсіи, о феноменѣ щекотки, о музыкальныхъ кантаридахъ и о другихъ скабрезныхъ вещахъ, которыя, какъ мнѣ кажется, имѣютъ отношеніе къ мистеріямъ Bona dea! Но, быть-можетъ, разрѣшеніе вопроса лежитъ не въ такой причудливой глубинѣ, а на весьма прозаической поверхности. Иногда мнѣ сдается, что все это колдовство объясняется тѣмъ, что никто на этомъ свѣтѣ не умѣетъ лучше нашего Франца Листа организовать свои успѣхи, или, вѣрнѣе, mise en scéne. Въ этомъ искусствѣ онъ геній, Филадельфія, Боско, даже Мейерберъ. Самыя знатныя лица служатъ ему «комперами», и его наемные энтузіасты образцово дрессированы. Хлопающія бутылки шампанскаго и молва о расточительной щедрости, которую разносятъ съ трубными звуками достойныя полнѣйшаго довѣрія газеты, приманиваютъ рекрутъ въ каждомъ городѣ. Тѣмъ не менѣе возможно, что нашъ Францъ Листъ, дѣйствительно, отъ природы очень щедръ на руку и чуждъ скаредности, грязнаго порока, прилипающаго къ столькимъ виртуозамъ, особенно итальянцамъ, и находимаго нами даже въ сладкозвучномъ Рубини, о которомъ на этотъ счетъ разсказывается очень забавный во всѣхъ отношеніяхъ анекдотъ. Знаменитый пѣвецъ предпринялъ вмѣстѣ съ Францемъ Листомъ артистическую поѣздку на половинныхъ расходахъ, и прибыль съ концертовъ, которые предполагалось давать въ различныхъ городахъ, должна была

дѣлиться пополамъ. Великій піанистъ, который повсюду возитъ съ собою генералъ-интенданта своей знаменитости, уже упомянутаго синьора Беллони, передалъ ему по этому случаю всю дѣловую часть. Но когда синьоръ Беллони, по окончаніи своего секретарства, представилъ счетъ, то Рубини съ ужасомъ замѣтилъ, что въ числѣ общихъ расходовъ была поставлена и значительная сумма за лавровые вѣнки, букеты, хвалебныя стихотворенія и другіе предметы овацій. Наивный пѣвецъ воображалъ, что такіе знаки одобренія кидались ему ради его прекраснаго голоса, онъ страшно разгнѣвался и рѣшительно отказался платить за букеты, въ которыхъ, можетъ-быть, находились самыя дорогія камеліи. Будь я музыкантъ, эта ссора дала бы мнѣ чудесный сюжетъ для комической оперы.

Но, ахъ! Не будемъ слишкомъ тщательно разбирать оваціи, которыя достаются на долю знаменитымъ виртуозамъ. Вѣдь день ихъ суетной знаменитости очень коротокъ, и скоро настаетъ часъ, когда титанъ музыкальнаго искусства, можетъ-быть, превращается въ какого-нибудь штадтъ-музикуса очень маленькаго роста, который въ кофейнѣ, гдѣ онъ служитъ, разсказываетъ ея постояннымъ посѣтителямъ и честью завѣряетъ, что было время, когда ему кидали букеты съ чудеснѣйшими камеліями, а однажды даже двѣ венгерскія графини, чтобы завладѣть его носовымъ платкомъ, сами кинулись на полъ и до крови расцарапали другъ друга! Мимолетная репутація виртуозовъ испаряется и пропадаетъ плачевно, безслѣдно, какъ вѣтры верблюда въ пустынѣ.

Переходъ отъ льва къ кролику немного рѣзокъ. Но я, все-таки, не могу не упомянуть здѣсь о тѣхъ болѣе ручныхъ піанистахъ, которые выдались изъ числа другихъ въ нынѣшнемъ сезонѣ. Мы не можемъ всѣ быть великими пророками и надо, чтобы были тоже маленькіе пророки, которыхъ идетъ двѣнадцать на дюжину. Самымъ большимъ изъ маленькихъ мы называемъ здѣсь Теодора Дёлера. Онъ играетъ чисто, прекрасно, мило, съ чувствомъ, и у него совершенно своеобразная манера—вытянувъ вертикально руку, касаться клавишъ только кончиками согнутыхъ пальцевъ. Послѣ Дёлера особеннаго упоминанія между маленькими пророками заслуживаетъ Галле; онъ Варухъ со столько же скромными, сколько и истинными достоинствами! Не могу не отозваться также и о г. Шадѣ, который между піанистами занимаетъ, можетъ-быть, такое же мѣсто, какое мы

отводимъ Іонѣ между пророками; желаю, чтобъ онъ никогда не былъ проглоченъ китомъ! Превосходный концертъ далъ Антонъ Контскій, молодой полякъ съ заслуживающимъ полнаго уваженія дарованіемъ, который тоже уже дѣлается знаменитостью. Къ замѣчательнымъ явленіямъ сезона принадлежали дебюты молодого Матіаса, таланта первокласснаго. Старшіе фараоны съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе опережаются новыми и погружаются въ печальную тьму.

Какъ добросовѣстный корреспондентъ, который обязанъ сообщать не только объ операхъ и концертахъ, но и обо всѣхъ другихъ катастрофахъ музыкальнаго міра, я долженъ сказать и о многихъ бракосочетаніяхъ, совершившихся въ немъ, или грозящихъ совершиться. Рѣчь моя о дѣйствительныхъ, пожизненныхъ, въ высшей степени приличныхъ бракахъ, а не о томъ дикомъ брачномъ дилетантизмѣ, который обходится безъ мера съ трехцвѣтнымъ шарфомъ и безъ благословенія церкви. Chacun ищетъ теперь свою chacune. Господа артисты пляшутъ по-жениховски и распѣваютъ пѣсни Гименея. Скрипка роднится съ флейтой; роговую музыку придется ждать недолго. Одинъ изъ трехъ знаменитѣйшихъ піанистовъ женился недавно на дочери величайшаго во всѣхъ отношеніяхъ баса итальянской оперы; дама очень красива, граціозна и умна. Нѣсколько дней назадъ мы узнали, что еще одинъ прекрасный піанистъ изъ Варшавы вступаетъ въ священный бракъ, что и онъ рѣшился пуститься въ то открытое море, для котораго еще не изобрѣтено компаса. Ну, что-жъ, смѣлый пловецъ, отчаливай отъ берега, и да не сломаетъ твоего руля никакая буря! Теперь говорятъ даже, что крупнѣйшій скрипачъ, котораго Бреславль прислалъ въ Парижъ, женится здѣсь, что и этому мастеру смычка опостыла его спокойная холостая жизнь, и что онъ хочетъ извѣдать страшное, незнакомое бытіе за предѣлами здѣшняго міра. Мы живемъ въ героическомъ періодѣ. На этихъ дняхъ обвѣнчался одинъ тоже знаменитый виртуозъ. Онъ, какъ Тезей, нашелъ прекрасную Аріадну, которая поведетъ его по лабиринту этой жизни; въ клубкѣ нитокъ у ней нѣтъ недостатка, потому что она швея.

Скрипачи теперь въ Америкѣ, и мы получили забавнѣйшія извѣстія о тріумфальныхъ шествіяхъ Оле-Булля, этого Лафайета пуфовъ, героя рекламы Стараго и Новаго Свѣта. Антрепренеръ его успѣховъ арестовалъ его въ Филадельфіи, чтобы заставить его заплатить за поставленныя въ счетъ

оваціонныя издержки. Прославленный артистъ заплатилъ, и теперь нельзя уже сказать, что бѣлокурый норманъ, геніальный скрипачъ, состоитъ у кого-нибудь въ долгу за свою славу. Здѣсь, въ Парижѣ, слышали мы въ это время Сивори; Порція сказала бы: «Такъ какъ Господь Богъ выдаетъ его за человѣка, то я приму его за таковаго». Въ другой разъ я, можетъ-быть, преодолѣю свое непріятное чувство, чтобы поговорить объ этомъ играющемъ на скрипкѣ рвотномъ порошкѣ. Александръ Батта далъ и въ нынѣшнемъ году прекрасный концертъ; онъ все еще продолжаетъ плакать на большой віолончели своими маленькими дѣтскими слезами. При этомъ случаѣ слѣдуетъ мнѣ также похвалить г. Земмельмана, ему это нужно.

Эрнстъ былъ здѣсь. Но по капризу онъ не хотѣлъ дать концертъ; ему доставляетъ удовольствіе играть только у своихъ друзей. Этого артиста здѣсь любятъ и почитаютъ. Онъ того заслуживаетъ. Это истинный преемникъ Паганини, онъ унаслѣдовалъ ту чарующую скрипку, которою генуэзецъ умѣлъ волновать камни, даже бревна. Паганини, легкимъ движеніемъ смычка то возносившій насъ на лучезарныя вершины, то открывавшій передъ нашими глазами ужасныя бездны, обладалъ, конечно, гораздо болѣе демонической силой; но его свѣтъ и тѣни бывали иногда черезчуръ рѣзки, контрасты слишкомъ поразительны, и грандіознѣйшіе естественные звуки его часто представлялись слушателю промахами художника. Эрнстъ гармоничнѣе, и мягкія краски у него преобладаютъ. Несмотря на это, однако, онъ имѣетъ пристрастіе къ фантастическому, также къ грубо комическому, если даже не къ балаганному, и многія изъ его сочиненій всегда напоминаютъ мнѣ комедіи-сказки Гоцци, причудливѣйшія маскарадныя представленія, «Венеціанскій Карнавалъ». Пьеса, извѣстная подъ этимъ названіемъ и безсовѣстнѣйшимъ образомъ украденная Сивори,—милѣйшій Capriccio Эрнста. Этотъ любитель фантастическаго можетъ, когда хочетъ, быть и чисто поэтическимъ, и я недавно слышалъ одинъ его ноктюрнъ, точно распущенный въ красотѣ. Казалось, что васъ перенесли въ итальянскую лунную ночь съ безмолвными кипарисными аллеями, призрачно мерцающими бѣлыми статуями и мечтательно плещущими фонтанами. Эрнстъ, какъ извѣстно, вышелъ въ отставку въ Ганноверѣ и теперь уже не состоитъ королевско-ганноверскимъ концертмейстеромъ. Да эта должность и не была пригодна для него. Гораздо болѣе по

немъ было бы управлять камерною музыкой при дворѣ какой-нибудь царицы фей, напримѣръ, госпожи Морганы; тутъ онъ нашелъ бы аудиторію, которая, какъ нельзя лучше, понимала бы его, и въ ней—многихъ высокопоставленныхъ особъ, столько же понимающихъ искусство, сколько баснословныхъ, напримѣръ, короля Артуса, Дитриха Бернскаго, Ожье Датчанина и др. И какія дамы аплодировали бы ему тамъ! Бѣлокурыя ганноверки, безспорно, очень красивы, но вѣдь онѣ, все-таки, только мелкія степныя овцы въ сравненіи съ какою-нибудь феей Меліоръ, дамой Абондой, королевой Геновевой, прекрасной Мелузиной и другими знаменитыми женщинами, находившимися при дворѣ царицы Морганы въ Авалунѣ. При этомъ дворѣ (и ни при какомъ другомъ) мы надѣемся когда-нибудь встрѣтиться съ превосходнымъ артистомъ, потому что и намъ обѣщана тамъ выгодная должность.

Письмо второе.

Парижъ, 1-го мая 1844 года.

Académie royale de musique, такъ-называемая Большая Опера, помѣщается, какъ извѣстно, въ улицѣ Lepelletier, почти въ серединѣ ея, противъ ресторана Паоло Броджи. Броджи—фамилія итальянца, нѣкогда бывшаго поваромъ Россини. Когда этотъ послѣдній въ прошедшемъ году пріѣзжалъ въ Парижъ, онъ посѣтилъ также тратторію своего бывшаго слуги и послѣ обѣда долго стоялъ передъ дверью, въ глубокомъ раздумьѣ, глядя на зданіе Большой Оперы. Въ глазахъ его выступили слезы, и когда кто-то спросилъ его, почему онъ такъ грустно настроенъ, великій маэстро отвѣчалъ, что Паоло изготовилъ ему любимое его кушанье, равіоли съ пармезаномъ, такъ же хорошо, какъ прежде, но онъ не могъ съѣсть и половины порціи, да и отъ ней ему тяжело; онъ, нѣкогда обладавшій желудкомъ страуса, въ настоящее время въ состояніи переварить не больше какой-нибудь влюбленной горлицы.

Оставляемъ нерѣшеннымъ, насколько старый насмѣшникъ помистифировалъ обратившагося къ нему съ нескромнымъ вопросомъ, и ограничиваемся сегодня совѣтомъ каждому другу музыки—съѣсть у Броджи порцію равіоли и затѣмъ, тоже остановившись на минуту въ дверяхъ ресторана, посмотрѣть на зданіе Большой Оперы. Оно не выдается блестящею роскошью, оно скорѣе похоже на очень приличную конюшню, и крыша его плоская. На этой крышѣ стоятъ

восемь большихъ статуй, изображающихъ собою музъ. Девятая отсутствуетъ, и—ахъ! это именно муза музыки. Насчетъ отсутствія этой весьма почтенной музы ходятъ толкованія самаго страннаго свойства. Прозаическіе люди говорятъ, что ее сбросила съ крыши буря. Болѣе поэтическія души, напротивъ того, утверждаютъ, что бѣдная Полигимнія сама кинулась внизъ съ отчаянія отъ жалкаго пѣнія monsieur Дюпре. Это очень возможно: разбитый стекляный голосъ Дюпре сдѣлался до такой степени неблагозвучнымъ, что слышать его невыносимо ни одному человѣку, а музѣ и подавно. Если это будетъ продолжаться, то и остальныя дочери Мнемозины сбросятся съ крыши, и скоро сдѣлается опасно проходить вечеромъ по улицѣ Лепельтье. О дрянной музыкѣ, съ нѣкоторыхъ поръ заполонившей здѣшнюю Большую Оперу, я совсѣмъ не стану говорить. Доницетти въ настоящее время еще самый лучшій Ахиллесъ. Поэтому легко составить себѣ понятіе о менѣе значительныхъ герояхъ. Какъ я слышалъ, и этотъ Ахиллесъ тоже удалился въ свой шатеръ; онъ дуется, Богъ вѣсть по какой причинѣ, и заявилъ дирекціи, что не дастъ ей обѣщанныхъ двадцати пяти оперъ, такъ какъ намѣренъ отдохнуть. Какая тщеславная болтовня! Если бы сказала подобную вещь вѣтряная мельница, мы посмѣялись бы не меньше. Или есть для нея вѣтеръ, и она вертится, или нѣтъ вѣтра, и она неподвижна. Но у г. Доницетти есть здѣсь дѣятельный родственникъ, синьоръ Аккурси, который постоянно устраиваетъ для него вѣтеръ.

Самое недавнее художественное наслажденіе, доставленное намъ здѣшнею Académie de musique,—опера Галеви «Ладзарони». Это произведеніе постигла печальная участь: оно провалилось при звукахъ литавръ и трубъ. Насчетъ достоинства его я воздерживаюсь отъ всякаго сужденія; констатирую только его ужасный конецъ.

Каждый разъ, какъ въ Académie de musique или въ Bouffes проваливается опера или происходитъ какое-нибудь другое выдающееся фіаско, тамъ замѣчается зловѣщая тощая фигура съ блѣднымъ лицомъ и черными, какъ уголь, волосами, нѣчто въ родѣ «Прародительницы» мужского пола; появленіе ея всегда знаменуетъ музыкальное несчастіе. Итальянцы, какъ только замѣтятъ ее, спѣшатъ вытянуть указательный и средній пальцы и говорятъ, что это jettatore. Но легкомысленные французы, у которыхъ нѣтъ даже суевѣрія, только пожимаютъ плечами и называютъ эту фи-

гуру monsieur Спонтини. Это дѣйствительно нашъ бывшій генералъ-директоръ берлинской Большой Оперы, композиторъ «Весталки» и «Фердинанда Кортеца» двухъ великолѣпныхъ произведеній, которыя долго еще будутъ цвѣсти въ памяти людей, которымъ долго еще будутъ удивляться, между тѣмъ какъ самъ авторъ не вызываетъ уже никакого удивленія и представляетъ изъ себя не что иное, какъ увядшее привидѣніе, завистливо бродящее по свѣту и котораго злитъ жизнь живущихъ. Онъ не можетъ утѣшиться, что давно умеръ и что его властительскій жезлъ перешелъ въ руки Мейербера. Этотъ послѣдній, по увѣренью мертвеца, вытѣснилъ его изъ его Берлина, который онъ всегда такъ сильно любилъ; и у кого хватаетъ терпѣнья, изъ состраданія къ прежнему величію, выслушивать его, тотъ можетъ до мельчайшей подробности узнать, какъ онъ собралъ уже безчисленное количество документовъ, чтобы разоблачить интриги заговорщика Мейербера.

Idée fixe этого бѣднаго человѣка есть и всегда будетъ Мейерберъ, и разсказываютъ забавнѣйшія исторіи о томъ, какъ враждебность всегда оказывается безвредною, благодаря слишкомъ большой примѣси къ ней тщеславія. Жалуется какой-нибудь писатель на Мейербера, что тотъ, напримѣръ, до сихъ поръ не написалъ музыку на стихи, посланные ему нѣсколько лѣтъ назадъ,—Спонтини быстро схватываетъ руку обиженнаго поэта и восклицаетъ: «J'ai votre affaire, я знаю средство, какъ вы можете отомстить Мейерберу; средство это самое дѣйствительное, и состоитъ оно въ томъ, что вы напишете большую статью обо мнѣ, и чѣмъ выше вы будете цѣнить мои заслуги, тѣмъ сильнѣе будетъ злиться Мейерберъ». Въ другой разъ одинъ французскій министръ ругаетъ автора «Гугенотовъ» за то, что онъ, несмотря на большую любезность, какую оказывали ему здѣсь, принялъ въ Берлинѣ рабскую придворную должность; и тутъ нашъ Спонтини радостно подскакиваетъ къ министру и восклицаетъ: «J'ai votre affaire, вы можете жесточайшимъ образомъ наказать неблагодарнаго, можете поразить его кинжаломъ, если сдѣлаете меня командоромъ ордена Почетнаго Легіона». На этихъ дняхъ Спонтини застаетъ бѣднаго Леона Пилье, несчастнаго директора Большой Оперы, въ самомъ бѣшеномъ возбужденіи противъ Мейербера, который черезъ посредство г. Гуэна заявилъ ему, что, вслѣдствіе неудовлетворительности опернаго персонала, онъ еще не хочетъ ставить «Пророка». Какъ засверкали при

этомъ глаза итальянца! «J'ai votre affaire!—воскликнулъ онъ въ восторгѣ.—Я дамъ вамъ божественный совѣтъ, какъ до смерти унизить честолюбца: закажите изваять меня во весь ростъ, поставьте мою статую въ фойе Оперы, и эта глыба мрамора будетъ, какъ кошмаръ, давить сердце Мейербера». Душевное состояніе Спонтини начинаетъ сильно тревожить его родныхъ, именно семью богатаго фабриканта Эрара, съ которымъ онъ въ родствѣ по женѣ. Недавно одинъ знакомый засталъ его въ верхнихъ залахъ Лувра, гдѣ выставлены египетскія древности. Кавалеръ Спонтини стоялъ почти цѣлый часъ, какъ статуя, со скрещенными руками, передъ большою муміею, великолѣпная золотая покрышка которой свидѣтельствуетъ, что это царь, и по всей вѣроятности ни больше, ни меньше, какъ тотъ Аменофисъ, въ царствованіе котораго дѣти Израиля покинули Египетъ. Но Спонтини, наконецъ, нарушилъ молчаніе и обратился къ своей августѣйшей коллегѣ-муміи съ слѣдующей рѣчью: «Злополучный фараонъ! Ты виновенъ въ моемъ несчастіи. Не допусти ты дѣтей Израиля уйти изъ Египта, или утопи ты ихъ всѣхъ въ Нилѣ, я не былъ бы вытѣсненъ изъ Берлина Мейерберомъ и Мендельсономъ и до сихъ поръ все еще дирижировалъ бы Большой Оперой и придворными концертами. Злополучный фараонъ, слабый царь крокодиловъ, твои полумѣры сдѣлали то, что я теперь совсѣмъ пропащій человѣкъ—и Моисей, и Галеви, и Мендельсонъ, и Мейерберъ побѣдили!» Такія рѣчи произносилъ несчастный человѣкъ, и мы не можемъ отказать ему въ состраданіи.

Что касается Мейербера, то его «Пророкъ», какъ уже сказано, долго еще не будетъ поставленъ на сцену. Самъ же композиторъ не поселится въ Берлинѣ навсегда, какъ сообщали недавно газеты. Одну половину года онъ, какъ было и до сихъ поръ, будетъ проводить здѣсь, въ Парижѣ, другую — въ Берлинѣ, согласно принятому имъ формальному обязательству. Его положеніе напоминаетъ отчасти Прозерпину, съ тою только разницею, что для бѣднаго маэстро и въ этомъ, и томъ городѣ—адъ и адскія мученія. Мы ожидаемъ его еще нынѣшнимъ лѣтомъ сюда, въ прекрасное подземное царство, гдѣ его уже съ нетерпѣніемъ ждутъ нѣсколько дюжинъ музыкальныхъ чертей и чертовокъ, чтобы наполнить его уши своимъ воемъ. Съ утра до вечера приходится ему выслушивать пѣвцовъ и пѣвицъ, желающихъ дебютировать здѣсь, а въ свободные часы онъ занятъ писаніемъ въ альбомы странствующихъ англичанокъ.

Въ дебютантахъ нынѣшнею зимой въ Большой Оперѣ не было недостатка. Одинъ нѣмецкій соотечественникъ нашъ дебютировалъ Марселемъ въ «Гугенотахъ». Въ Германіи онъ былъ, можетъ-быть, только мужикомъ съ грубымъ пивнымъ голосомъ, и поэтому вообразилъ себѣ, что можетъ выступить въ Парижѣ въ партіяхъ баса. Этотъ парень кричалъ, какъ лѣсной оселъ. На подмосткахъ въ улицѣ Лепельтье показывала свое искусство одна дама, которая, какъ я подозрѣваю, тоже нѣмка. Она, вѣроятно, до послѣдней степени добродѣтельна и поетъ очень фальшиво. Увѣряютъ, что у ней не только пѣнье, но и все — волосы, двѣ трети зубовъ, бедра, задняя часть, все фальшиво, только дыханіе неподдѣльное, и фривольныхъ французовъ это заставляетъ почтительно держаться въ отдаленіи отъ нея. Нашей примадоннѣ, мадамъ Штольцъ, нельзя будетъ еще долго продержаться здѣсь; почва подкопана, и хотя у нея, какъ женщины, въ распоряженіи вся хитрость этого пола, но, въ концѣ концовъ, надъ нею все-таки одержитъ побѣду великій Джіакомо Макіавелли, которому хотѣлось бы ангажемента на ея мѣсто г-жи Віардо-Гарсіа для исполненія главной роли въ его «Пророкѣ». Мадамъ Штольцъ предвидитъ свою участь, она чувствуетъ, что даже обезьянная любовь къ ней директора Оперы не поможетъ ей, если великій мастеръ музыкальнаго искусства пуститъ въ ходъ свои пружины; и она рѣшилась добровольно оставить Парижъ, никогда не возвращаться туда и закончить жизнь въ чужихъ странахъ. «Ingrata patria,—сказала она недавно:—ne ossa quidem mea habebis». И дѣйствительно, съ нѣкотораго времени она вся только кожа и кости.

У итальянцевъ, въ Opéra buffa, было прошедшею зимой столько же блистательныхъ фіаско, сколько въ Большой Оперѣ. Такъ же и тамъ много жаловались на пѣвцовъ, съ тою разницей, что итальянцы иногда не хотѣли пѣть, а бѣдные французскіе герои пѣнія пѣть не могли. Только драгоцѣнная чета соловьевъ, синьоръ Маріо и синьора Гризи, всегда аккуратно являлись на свой постъ въ залѣ Вантадуръ и своими трелями навѣвали на насъ самую цвѣтущую весну, между тѣмъ какъ за стѣнами снѣгъ и вѣтеръ, и фортепіанные концерты, и пренія въ палатѣ депутатовъ, и сумасшедшее увлеченіе полькой. Да, это очаровательные соловьи, и Итальянская Опера—вѣчно цвѣтущій поющій лѣсъ, куда я часто убѣгаю, когда обволакиваетъ меня туманомъ зимняя тоска, или становится невыносимымъ житейскій мо-

розъ. Тамъ, въ уютномъ уголкѣ отчасти закрытой ложи, снова чувствуешь себя пріятно согрѣтымъ и, по крайней мѣрѣ, не истекаешь кровью въ холодѣ. Мелодическія чары превращаютъ тамъ въ поэзію то, что нѣсколько минутъ назадъ было грубою дѣйствительностью, скорбь теряется въ цвѣточныхъ арабескахъ, и сердце скоро опять начинаетъ смѣяться. Какое блаженство, когда Маріо поетъ, и въ глазахъ Гризи звуки возлюбленнаго соловья какъ бы отражаются, какъ видимое эхо! Какое наслажденіе, когда Гризи поетъ, и въ ея голосѣ находятъ мелодическій откликъ нѣжный взглядъ и счастливая улыбка Маріо! Это милая пара, и персидскій поэтъ, назвавшій соловья розою между птицами, а розу соловьемъ между цвѣтами, тутъ бы попалъ въ imbroglio, потому что эти оба, Маріо и Гризи, выдаются не только пѣніемъ, но и красотою.

Непріятно намъ, несмотря на присутствіе этой очаровательной четы, не видѣть въ Буффахъ Полину Віардо, или, какъ мы охотнѣе называемъ ее, Гарсіа. Она не замѣнена, и никто не можетъ замѣнить ее. Эта пѣвица не соловей, у котораго только одинъ видъ таланта, и въ чьихъ рыданіяхъ и треляхъ мы находимъ превосходный весенній жанръ; она и не роза, потому что весьма некрасива, но это та некрасивость, которая благородна, я почти сказалъ бы прекрасна, и которою иногда восторженно вдохновлялся великій рисовальщикъ львовъ, Лакруа. Дѣйствительно, Гарсіа напоминаетъ меньше цивилизованную красоту и скромную грацію нашей европейской родины, чѣмъ ужасающую грандіозность экзотической пустыни; и не разъ, въ минуты ея страстнаго пѣнья, особенно когда она очень широко раскроетъ ротъ съ ослѣпительно бѣлыми зубами и улыбнется такъ жестоко сладостно, граціозно скаля эти зубы—въ эти минуты у васъ на душѣ становится такъ, какъ будто передъ вами должны сейчасъ же появиться и громадныя растенія и породы животныхъ Индостана или Африки; кажется, что вотъ-вотъ вырвутся въ воздухъ исполинскія пальмы, обвитыя ліанами съ тысячами цвѣтовъ, и я не удивился бы, если бы по сценѣ вдругъ забѣгали леопарды, или жирафы, или даже стадо слонятъ. Съ большимъ удовольствіемъ услышали мы, что эта пѣвица опять на пути къ Парижу.

Между тѣмъ какъ Académie de musique находилась въ такомъ плачевнѣйшемъ упадкѣ, и итальянцы тоже влачили жалкое существованіе, поднялась на самую радостную для себя высоту третья лирическая сцена, Opéra comique. Здѣсь

одинъ успѣхъ превосходилъ другой, и касса всегда была полна. Да, сбирали еще больше денегъ, чѣмъ лавровъ, что̀, само собой разумѣется, для дирекціи отнюдь не было несчастьемъ. Тексты новыхъ оперъ, дававшихся здѣсь, писалъ всѣ Скрибъ, человѣкъ, произнесшій нѣкогда великія слова: «злато есть химера» и, однако, постоянно бѣгающій за этой химерой. Это человѣкъ денегъ, звонкаго реализма, который никогда не опускается въ романтику безплоднаго міра облаковъ и прочно уцѣпился за земную дѣйствительность брака по разумнымъ соображеніямъ, промышленной буржуазіи и поспектакльной платы. Громадный успѣхъ имѣетъ новая опера Скриба «Сирена», музыку для которой написалъ Оберъ. Либреттистъ и композиторъ очень подходятъ другъ къ другу: у обоихъ самое утонченное пониманіе интереснаго, они умѣютъ пріятно занимать насъ, они приводятъ насъ въ восторгъ и даже ослѣпляютъ блестящимъ сверканьемъ своего граненаго esprit, они обладаютъ какимъ-то филигреннымъ талантомъ слитія во-едино милѣйшихъ мелочей, и слушая ихъ, забываешь, что существуетъ поэзія. Они—родъ лоретокъ въ области искусства, улыбками прогоняющія изъ нашей памяти всѣ исторіи о привидѣніяхъ прошлаго времени и кокетливой шаловливостью, точно опахалами изъ павлиньихъ перьевъ, отмахивающія отъ насъ жужжащія мысли о будущемъ, невидимыхъ мухъ. Къ этой же безвредно играющей въ любовь категоріи принадлежитъ и Адамъ, который своимъ «Каліостро» тоже стяжалъ въ Opéra comique очень легковѣсные лавры. Адамъ—милое, отрадное явленіе и талантъ, способный еще на большое развитіе. Почетнаго упоминанія заслуживаетъ также Тома, оперетта котораго «Мина» имѣла крупный успѣхъ.

Но всѣ эти тріумфы превзошла удача «Дезертера», старой оперы Монсиньи, которую Opéra comique извлекла изъ картоновъ забвенія. Тутъ чисто французская музыка, веселѣйшая грація, добродушная сладость, свѣжесть, отзывающаяся благоуханіемъ лѣсныхъ цвѣтовъ, естественность, даже поэзія. Да, и она не отсутствуетъ, но это поэзія безъ трепета безконечности, безъ таинственныхъ чаръ, безъ грусти, безъ ироніи, безъ morbidezza, я готовъ почти выразиться—изящно крестьянская поэзія здоровья. Опера Монсиньи непосредственно напомнила мнѣ его современника, живописца Грёза; я увидѣлъ тутъ воочію сельскія сцены, написанныя Грёзомъ, и мнѣ казалось, что я какъ бы слышу исполняющіяся на нихъ музыкальныя пьесы. Слушая эту

оперу, я вполнѣ уяснилъ себѣ, что пластическія и звуковыя искусства одного и того же періода всегда дышатъ однимъ и тѣмъ же духомъ, и выдающіяся произведенія ихъ находятся въ тѣснѣйшемъ избирательномъ сродствѣ между собой.

Не могу окончить это письмо безъ замѣчанія, что музыкальный сезонъ еще не оконченъ и въ нынѣшнемъ году, противъ обыкновенія, протянется до мая. Значительнѣйшіе балы и концерты даются въ настоящую минуту, и полька продолжаетъ соперничать съ фортепіано. Уши и ноги утомлены, но, несмотря на это, не могутъ предаться отдохновенію. Весна, на этотъ разъ появившаяся такъ рано, терпитъ фіаско; зелень и солнечные лучи едва замѣтны. Врачамъ, быть-можетъ, особенно врачамъ для умалишенныхъ, будетъ скоро много дѣла. Въ этой пестрой сутолокѣ, въ этой бѣшеной жаждѣ наслажденій, въ этомъ поющемъ и прыгающемъ водоворотѣ подкарауливаютъ насъ смерть и помѣшательство. Фортепіанные молоточки страшно дѣйствуютъ на наши нервы, а сильная вертящаяся болѣзнь, полька, нанесетъ намъ послѣдній, смертельный ударъ.

Что такое полька? Для отвѣта на этотъ современный вопросъ мнѣ понадобилось бы по крайней мѣрѣ шесть столбцовъ. Но какъ только болѣе важныя темы предоставятъ мнѣ свободное время, я вернусь къ этому предмету.

ПОЗДНѢЙШАЯ ЗАМѢТКА.

Къ предшествующимъ письмамъ я по меланхолической прихоти присоединяю нижеслѣдующія страницы, написанныя лѣтомъ 1847 г. и составляющія мою послѣднюю музыкальную корреспонденцію. Для меня съ тѣхъ поръ всякая музыка покончилась, и когда я набрасывалъ страдальческій образъ Доницетти, то не подозрѣвалъ, что ко мнѣ приближалось подобное же и гораздо болѣе тяжкое испытаніе. Краткая замѣтка моя гласитъ такъ:

Со времени славной памяти Густава Адольфа ни одна шведская депутація не надѣлала въ свѣтѣ столько шума, сколько выпало его на долю Женни Линдъ. Вѣсти, приходящія къ намъ объ этомъ изъ Англіи, граничатъ съ невѣроятнымъ. Въ газетахъ раздаются только звуки трубъ, фанфары тріумфа; мы слышимъ только пиндарическіе хвалебные гимны. Одинъ мой пріятель разсказывалъ мнѣ, что въ одномъ англійскомъ городѣ звонили во всѣ колокола, когда шведскій соловей совершалъ свой въѣздъ туда; тамошній епископъ почтилъ это событіе замѣчательною

проповѣдью. Въ своемъ англиканскомъ епископальномъ одѣяніи, не лишенномъ сходства съ похороннымъ костюмомъ какого-нибудь Chef des pompes funébres, онъ взошелъ на каѳедру собора и привѣтствовалъ новоприбывшую, какъ Спасителя въ женскомъ платьѣ, какъ Искупительницу, посланную съ неба на землю для того, чтобы своимъ пѣніемъ освободить наши души отъ грѣховъ, тогда какъ другія пѣвицы—тѣ же чертовки, которыя своими трелями увлекаютъ насъ въ пасть сатаны. Итальянки Гризи и Персіани отъ зависти и досады, вѣроятно, теперь пожелтѣли, какъ канарейки, между тѣмъ какъ наша Женни, шведскій соловей, перепархиваетъ отъ одного тріумфа къ другому. Я говорю—наша Женни, потому что въ сущности шведскій соловей представительница не исключительно маленькой Швеціи; она представительница всего германскаго племени, кимвровъ столько же, сколько и тевтоновъ, она также и нѣмка, нѣмка такая же, какъ ея доморощенныя и растительно-сонливыя сестры на Эльбѣ и Неккарѣ, она принадлежитъ Германіи, какъ принадлежитъ намъ, по увѣренію Франца Горна, и Шекспиръ, и какъ могъ быть только нѣмцемъ, по своей самой основной сущности, также Спиноза—и съ гордостью называемъ мы Женни Линдъ нашею! Ликуй, Укермаркъ, и твоя доля есть въ этой славѣ! Скачи, Масманъ, дѣлай свои патріотически-радостнѣйшіе прыжки, потому что наша Женни говоритъ не на романскомъ итальянскомъ нарѣчіи, а на готскомъ, скандинавскомъ, самомъ нѣмецкомъ, и ты можешь привѣтствовать ее какъ соотечественницу; только слѣдуетъ тебѣ умыться прежде, чѣмъ ты протянешь ей свою нѣмецкую руку. Да, Женни Линдъ—нѣмка, уже имя Линдъ напоминаетъ Linden, зеленыхъ тетокъ нѣмецкихъ дубовъ; у нея волосы не черные, какъ у итальянскихъ примадоннъ, въ ея голубыхъ глазахъ плаваетъ сѣверная душа и лунный свѣтъ, и въ ея горлѣ звучитъ чистѣйшая дѣвственность! Вонъ оно что. «Maidenhood is in her voice»—это говорили всѣ лондонскія old spinsters, за ними повторяли это, выпуча глаза, всѣ притворяющіяся цѣломудренными лэди и набожные джентльмены, имъ вторила еще находящаяся въ живыхъ mauvaise queue Ричардсона, и вся Великобританія славила въ Женни Линдъ поющее дѣвичество, спѣтую дѣвственность. Мы должны сознаться, что именно тутъ ключъ непостижимыхъ, загадочно-великихъ восторговъ, вызванныхъ Женни въ Англіи и которые она, между нами будь сказано, тоже хорошо умѣетъ эксплуатировать въ свою пользу. Пошла молва, что она поетъ только

для того, чтобы получить возможность какъ можно скорѣе отказаться отъ свѣтскаго пѣнья и, заработавъ нужную для приданаго сумму, выйти замужъ за молодого протестантскаго священника, пастора Свенске, который ждетъ ее на родинѣ, въ своемъ идиллическомъ домикѣ за Упсалой, поворотъ налѣво за уголъ. Потомъ, правда, стали говорить, что молодой пасторъ Свенске—миѳъ, а дѣйствительный женихъ благородной дѣвственницы—старый отставной комедьянтъ стокгольмскаго театра; но это, конечно, клевета. Цѣломудренное настроеніе этой Prima donna immaculata прекраснѣе всего проявляется въ ея отвращеніи къ Парижу, этому новому Содому, которое она высказываетъ при всякомъ удобномъ случаѣ, въ высочайшее назиданіе всѣхъ dames patronesses нравственности по ту сторону канала. Женни дала положительнѣйшій обѣтъ никогда не выступать со своею поющею дѣвственностью передъ французской публикой на порочныхъ подмосткахъ улицы Лепельтье; всѣ предложенія, дѣлавшіяся ей Леономъ Пилье черезъ посредство его артистическихъ сводниковъ, были ею рѣзко отвергнуты. Эта суровая добродѣтель приводитъ меня въ изумленіе,—сказалъ бы старикъ Паулетъ. Не имѣетъ ли, однако, основанія народное сказаніе, что теперешній соловей въ свои ранніе годы былъ уже въ Парижѣ и въ здѣшней грѣховной консерваторіи бралъ уроки музыки, какъ и другія птицы пѣвчія, сдѣлавшіяся затѣмъ очень рѣзвыми чижиками? Или, быть-можетъ, Женни страшитъ та фривольная парижская критика, которая у пѣвицы подвергаетъ разбору не ея нравственность, а только голосъ, и отсутствіе школы признаетъ величайшимъ порокомъ? Какъ бы то ни было, но наша Женни не пріѣдетъ сюда и пѣньемъ своимъ не извлечетъ французовъ изъ ихъ грѣховнаго болота. Они останутся обреченными на вѣчное мученіе.

Здѣсь въ парижскомъ музыкальномъ мірѣ все по-старому; въ Académie royale de musique все еще держится сѣдая, сырохолодная зима, между тѣмъ какъ на дворѣ майское солнце и благоуханіе фіалокъ. Въ сѣняхъ все еще стоитъ въ тоскливой печали статуя божественнаго Россини; онъ молчитъ. Г. Леону Пинье дѣлаетъ честь, что онъ уже при жизни этого истиннаго генія поставилъ ему статую. Ничего нѣтъ комичнѣе гримасъ, съ которыми смотрятъ на нее злоба и зависть. Когда синьоръ Спонтини проходитъ тамъ, то каждый разъ спотыкается объ этотъ камень. Гораздо умнѣе нашъ великій маэстро Мейерберъ; приходя по

вечерамъ въ Оперу, онъ всегда умѣетъ осторожно избѣгнуть этого мрамора преткновенія, онъ старается даже не взглянуть на него; точно также евреи въ Римѣ, даже очень спѣша куда-нибудь по дѣламъ, обыкновенно дѣлаютъ большой обходъ, чтобъ только не пройти мимо той фатальной тріумфальной арки Тита, которая была воздвигнута въ память гибели Іерусалима. Извѣстія о состояніи здоровья Доницетти становятся съ каждымъ днемъ все печальнѣе. Между тѣмъ какъ его радостно-шаловливыя мелодіи веселятъ свѣтъ, между тѣмъ какъ его повсюду поютъ и напѣваютъ, самъ онъ, страшный образъ безумія, сидитъ въ больницѣ около Парижа. Только относительно своего туалета онъ еще нѣсколько времени тому назадъ сохранялъ дѣтскую сознательность—каждый день должны были тщательно одѣвать его въ полный парадный костюмъ, съ украшеніемъ фрака всѣми его орденами; и такъ сидѣлъ онъ неподвижно, со шляпою въ рукѣ, съ самаго ранняго утра до поздняго вечера. Но теперь и это прекратилось, онъ больше никого не узнаетъ: такова человѣческая судьба.

ПРИЗНАНІЯ.

Писано зимою 1854 г.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Нижеслѣдующія страницы я писалъ съ цѣлью включить ихъ въ новое изданіе моей книги «De l'Allemagne». Предполагая, что ихъ содержаніе можетъ быть интересно и для отечественной публики, я печатаю эти «Признанія» также на нѣмецкомъ языкѣ, и даже еще до появленія французской редакціи. Къ этой предосторожности побуждаетъ меня расторопность такъ - называемыхъ переводчиковъ, которые, несмотря на то, что на-дняхъ я объявилъ въ нѣмецкихъ газетахъ объ изданіи въ подлинникѣ одного моего сочиненія, все-таки не постыдились выхватить изъ парижскаго журнала появившееся уже на французскомъ языкѣ начало моего произведенія и напечатать его на нѣмецкомъ въ видѣ отдѣльной брошюры, нанося, такимъ образомъ, ущербъ не только литературной репутаціи, но и имущественнымъ интересамъ автора. Подобные грабители гораздо презрѣннѣе уличныхъ разбойниковъ, которые мужественно подвергаютъ себя опасности быть повѣшенными, тогда какъ эти господа, пользуясь съ самой трусливой безопасностью пробѣлами въ нашемъ законодательствѣ о печати, могутъ совершенно безнаказанно обкрадывать бѣднаго писателя и отнимать у него его столько же скудный, сколько стоившій ему тяжелаго труда заработокъ. Не стану объяснять здѣсь подробно тотъ частный случай, о которомъ говорю; сознаюсь, что это мошенничество не удивило меня. Я прошелъ черезъ много горькихъ испытаній, и старая вѣра, или суевѣріе, въ нѣмецкую честность у меня сильно поубавилась. Не скрою, что я очень часто, особенно во время моего пребыванія во Франціи, бывалъ жертвой этого суевѣрія. Странно! въ числѣ тѣхъ мошенниковъ, съ которыми я зна-

комился на свою бѣду, оказался всего на все одинъ французъ, да и тотъ былъ уроженцемъ одной изъ тѣхъ нѣмецкихъ областей, которыя, будучи отняты нѣкогда у германской имперіи, теперь требуются назадъ нашими патріотами. Если бы мнѣ надо было составить по этнографическому методу Лепорелло иллюстрированный списокъ разныхъ мошенниковъ, запускавшихъ руку въ мой карманъ, то, разумѣется, всѣ цивилизованныя страны имѣли бы въ немъ достаточное число представителей, но пальма первенства осталась бы все-таки за отечествомъ, которое совершило самыя невѣроятныя штуки и о которомъ я могъ бы спѣть пѣснь съ припѣвомъ:

«А въ Германіи тысяча три!»

Характерно то, что къ нашимъ нѣмецкимъ плутамъ всегда приклеена извѣстная сентиментальность. Они не холодные разсудочные воры, а негодяи съ чувствомъ. У нихъ есть душа, они принимаютъ самое теплое участіе въ судьбѣ тѣхъ, кого они обворовали, и отъ нихъ ничѣмъ не отдѣлаешься. * Даже наши знатные chevaliers d'industrie не простые эгоисты, ворующіе только для себя; они стремятся пріобрѣсти презрѣнный маммонъ для того, чтобы дѣлать добро; въ часы досуга, когда они не заняты своими служебными дѣлами, какъ, напримѣръ, завѣдываніемъ газовымъ освѣщеніемъ богемскихъ лѣсовъ, они покровительствуютъ піанистамъ и журналистамъ, и у многихъ изъ нихъ подъ пестрой жилеткой, переливающей всѣми цвѣтами радуги, бьется тоже сердце, и въ этомъ сердцѣ живетъ грызущій глистъ міровой скорби. Дѣлецъ, напечатавшій отдѣльной брошюрой мое вышеупомянутое сочиненіе въ такъ-называемомъ переводѣ, приложилъ къ своей брошюрѣ замѣтку о моей особѣ, въ которой онъ горько сѣтуетъ на печальное состояніе моего здоровья и, сопоставляя всевозможныя газетныя статьи, сообщаетъ самыя трогательныя свѣдѣнія на счетъ моего теперешняго жалкаго вида, такъ что я у него описанъ съ головы до ногъ, и одинъ мой пріятель-острякъ, читая эту замѣтку, со смѣхомъ воскликнулъ: «Право, мы живемъ въ странное время, когда все шиворотъ на выворотъ, и воръ, укравшій у честнаго человѣка его паспортъ, теперь самъ объявляетъ ко всеобщему свѣдѣнію примѣты обокраденнаго».

Написано въ Парижѣ, въ мартѣ 1854 г.

исполненный, но все-таки блистательная ложь. Вотъ король ашантіевъ, о которомъ я прочелъ недавно много забавнаго въ описаніи одного африканскаго путешествія, былъ гораздо честнѣе, и я приведу здѣсь наивныя слова этого негритянскаго государя, весьма забавно резюмирующія вышеупомянутую человѣческую слабость. Именно, когда маіоръ Бовдичъ былъ посланъ англійскимъ губернаторомъ мыса Доброй Надежды ко двору этого могущественнаго монарха южной Африки въ качествѣ министра-резидента, то расположеніе придворныхъ, и въ особенности придворныхъ дамъ, которыя, несмотря на черный цвѣтъ своей кожи, были при этомъ необычайно красивы, онъ старался снискать тѣмъ, что писалъ съ нихъ портреты. Король, удивлявшійся поразительному сходству, пожелалъ тоже быть изображеннымъ, и далъ художнику уже нѣсколько сеансовъ, когда тотъ сталъ замѣчать въ лицѣ короля, часто вскакивавшаго, чтобы слѣдить за успѣхами рисованія, какую-то безпокойную игру физіономіи и нѣкоторое замѣшательство, какъ бываетъ, когда у человѣка вертится на языкѣ какое-нибудь желаніе, которого онъ никакъ не рѣшается высказать; художникъ, однако, сталъ упрашивать его величество сообщить ему высочайшее желаніе и до тѣхъ поръ настаивалъ, пока, наконецъ, бѣдный негритянскій король не спросилъ его тихонько: нельзя ли, чтобы онъ нарисовалъ его *бѣлымъ?*

Вотъ оно что. Черный король негровъ хочетъ быть нарисованнымъ бѣлымъ. Но не смѣйтесь надъ бѣднымъ африканцемъ—каждый человѣкъ такой же негритянскій король, и каждый изъ насъ желалъ бы предстать передъ публикой не въ томъ цвѣтѣ, въ который окрасилъ его рокъ. Слава Богу, что я понимаю это, и потому буду остерегаться изображать самого себя въ этой книгѣ. Но пробѣлъ, оставляемый этимъ недостающимъ портретомъ, я постараюсь въ нижеслѣдующихъ страницахъ до нѣкоторой степени пополнить тѣмъ, что свою личность буду выставлять насколько возможно обдуманно, благо здѣсь представляется для этого достаточно случаевъ. А именно, я поставилъ себѣ задачей разсказать, какъ возникла эта книга и какія философскія и религіозныя варіаціи произошли въ умѣ автора послѣ ея сочиненія; дѣлаю это для пользы и блага читателя этого новаго изданія моей книги «De l'Allemagne».

Не безпокойтесь, я не нарисую себя слишкомъ бѣлымъ, а моихъ собратьевъ людей не буду черезчуръ чернить. Я

буду всегда съ точностью передавать свой цвѣтъ, чтобы всѣ знали, насколько можно довѣрять моему сужденію, когда я разбираю людей другихъ цвѣтовъ.

Я далъ моей книгѣ то же заглавіе, подъ которымъ г-жа Сталь выпустила въ свѣтъ свое знаменитое сочиненіе, трактующее о томъ же предметѣ, и сдѣлалъ это съ полемической цѣлью. Что, именно, такая цѣль руководила мною, этого я ничуть не отрицаю; однако, объявляя заранѣе, что мое сочиненіе партійно, я тѣмъ самымъ, можетъ-быть, оказываю изслѣдователю истины бо́льшую услугу, чѣмъ если бы напустилъ на себя вялую безпристрастность, которая есть всегда ложь, и для критикуемаго автора болѣе погубна, чѣмъ самая отъявленная вражда. Такъ какъ г-жа Сталь авторъ геніальный, и такъ какъ она высказала однажды мнѣніе, что геній не имѣетъ пола, то я могу не соблюдать по отношенію къ этой писательницѣ той любезной снисходительности, которую мы обыкновенно оказываемъ дамамъ и которая въ сущности не что иное, какъ сострадательный аттестатъ въ ихъ слабости.

Вѣренъ ли банальный анекдотъ, который разсказываютъ относительно вышеприведеннаго мнѣнія г-жи Сталь, и который я слышалъ еще въ дѣтствѣ, въ числѣ другихъ bons-mots Имперіи? Онъ гласитъ, что однажды, когда Наполеонъ былъ еще первымъ консуломъ, г-жа Сталь пріѣхала къ нему на квартиру, съ визитомъ; но несмотря на то, что дежурный huissier увѣрялъ ее, что ему строго приказано никого не принимать, она все-таки непоколебимо стояла на своемъ и требовала, чтобы онъ немедленно доложилъ о ней своему прославленному господину. Когда же этотъ послѣдній велѣлъ сказать почтенной дамѣ, что, къ сожалѣнію, не можетъ принять ее, ибо въ эту минуту сидитъ въ ваннѣ, то она будто бы послала ему свой знаменитый отвѣтъ, что это не можетъ быть препятствіемъ, такъ какъ геній не имѣетъ пола.

Я не ручаюсь за достовѣрность этого разсказа, но если даже онъ и не вѣренъ, то все-таки удачно выдуманъ. Онъ рисуетъ навязчивость, съ какой пылкая особа преслѣдовала императора. Онъ нигдѣ не имѣлъ покоя отъ ея обожанія. Она разъ навсегда вбила себѣ въ голову, что самый великій человѣкъ своего вѣка долженъ составить болѣе или менѣе идеальный союзъ и съ самой великой своей современницей. Но когда она однажды, ожидая комплимента, обратилась къ императору съ вопросомъ, какую женщину онъ считаетъ

самой великой женщиной своего времени, тотъ отвѣтилъ: «Женщину, которая произвела на свѣтъ наибольшее число дѣтей». Это было не любезно, но вѣдь извѣстно, что императоръ не проявлялъ въ отношеніи женщинъ той деликатной предупредительности и того вниманія, которыя такъ любятъ француженки. Но эти послѣднія сами никогда не вызовутъ неучтивости безтактнымъ поведеніемъ, какъ сдѣлала знаменитая уроженка Женевы, доказавшая въ этомъ случаѣ, что, при всей своей физической подвижности, она не была свободна отъ нѣкоторой отечественной неуклюжести.

Когда добрая женщина замѣтила, что, при всей своей настойчивости, она ничего не добьется, то сдѣлала то, что женщины обыкновенно дѣлаютъ въ этихъ случаяхъ: она объявила себя противницей императора, стала разглагольствовать противъ его грубаго и невѣжливаго господства, и разглагольствовала до тѣхъ поръ, пока полиція не предложила ей подорожную. И тогда она эмигрировала къ намъ въ Германію, гдѣ стала собирать матеріалы для своей знаменитой книги, долженствовавшей прославить нѣмецкій спиритуализмъ, какъ идеалъ всего прекраснаго, въ противоположность матеріализму имперіалистской Франціи. Здѣсь у насъ она на первыхъ же порахъ сдѣлала большую находку. Именно, она встрѣтила одного ученаго, по имени Августа Вильгельма Шлегеля. Это былъ геній безъ пола. Онъ сдѣлался ея вѣрнымъ чичероне и сопровождалъ ее въ ея путешествіи по всѣмъ чердакамъ нѣмецкой литературы.

Она надѣла на голову неизмѣримо большой тюрбанъ и стала отнынѣ султаншей мысли. Она устроила какъ бы умственный смотръ нашимъ писателямъ и пародировала при этомъ великаго султана матеріи. Какъ онъ обращался къ людямъ съ вопросами: «сколько вамъ лѣтъ? сколько у васъ дѣтей? сколько лѣтъ службы?» и т. д., такъ и она спрашивала нашихъ ученыхъ: «сколько вамъ лѣтъ? что вы написали? вы кантіанецъ или фихтеанецъ?» и тому подобныя вещи, при чемъ почти не дожидалась отвѣтовъ, которые ея вѣрный мамелюкъ, Августъ Вильгельмъ Шлегель, ея Рустанъ, заносилъ въ свою записную книжку. Какъ Наполеонъ объявилъ самою великой женщиной ту, которая произвела на свѣтъ больше всего дѣтей, такъ и Сталь провозглашала самымъ великимъ человѣкомъ того, кто написалъ больше всего книгъ. Нельзя себѣ представить, какую суматоху она подняла у насъ, и нѣкоторыя

сочиненія, только недавно появившіяся въ печати, какъ, напримѣръ, мемуары Королины Пихлеръ, письма г-жи Варнгагенъ и Беттины Арнимъ, а также свидѣтельства Эккермана, забавно рисуютъ, какихъ треволненій надѣлала у насъ султанша мысли въ то время, когда султанъ матеріи уже успѣлъ доставить довольно всякихъ. Это былъ умственный военный постой, обрушившійся прежде всего на ученыхъ. Тѣ изъ литераторовъ, которыми эта превосходная женщина осталась особенно довольна и которые лично ей понравились формою лица или цвѣтомъ глазъ, могли надѣяться на почетный отзывъ, какъ бы на орденъ Почетнаго Легіона, въ ея книгѣ «De l'Allemagne». Эта книга производитъ на меня всегда столько же комическое, сколько досадливое впечатлѣніе. Я вижу въ ней страстную женщину во всей ея неугомонности, вижу, какъ этотъ ураганъ въ юбкѣ несется по нашей спокойной Германіи, какъ она всюду восторженно восклицаетъ: «Какой живительной тишиной вѣетъ здѣсь на меня!» Ей стало жарко во Франціи, и она пріѣхала въ Германію освѣжиться. Цѣломудренное дыханіе нашихъ поэтовъ такъ усладило ея горячую, пламенную груды! Она смотрѣла на нашихъ философовъ, какъ на различные сорта мороженаго, и проглатывала Канта, какъ ванильный шербетъ, Фихте, какъ фисташковый, Шеллинга, какъ «арлекинъ».—«О, какъ хорошо и прохладно въ вашихъ лѣсахъ!—постоянно восклицала она:—какой сладостный запахъ фіалокъ! Какъ мирно чирикаютъ чижики въ своихъ нѣмецкихъ гнѣздышкахъ! Вы хорошій, добродѣтельный народъ, и не имѣете еще никакого понятія о той испорченности нравовъ, которая царитъ у насъ въ rue du Bac».

Добрѣйшая дама видѣла у насъ только то, что̀ ей угодно было видѣть: туманную страну духовъ, гдѣ люди, лишенные тѣла, олицетвореніе добродѣтели, разгуливаютъ по снѣжнымъ полянамъ и разговариваютъ только о морали и метафизикѣ! Она видѣла у насъ всюду только то, что̀ хотѣла видѣть, и слышала только то, что̀ хотѣла слышать, и потомъ пересказать; и при всемъ томъ она все-таки слышала очень мало, и никогда ничего истиннаго, отчасти оттого, что все время говорила сама, а отчасти также и оттого, что, бесѣдуя съ нашими скромными учеными, приводила ихъ въ смущеніе и озадачивала ихъ своими рѣзко неожиданными вопросами. «Что такое духъ?»—сказала она застѣнчивому профессору Бутервеку, кладя свою мясистую

ногу на его тонкія, дрожащія ляжки. «Ахъ,—писала она послѣ того:—какъ интересенъ этотъ Бутервекъ! Какъ онъ опускаетъ глаза! Этого никогда не случалось съ моими кавалерами въ Парижѣ, въ rue du Bac!» Она всюду видитъ нѣмецкій спиритуализмъ, она восхваляетъ нашу честность, нашу добродѣтель, нашу умственную культуру; она не видитъ нашихъ смирительныхъ домовъ, нашихъ публичныхъ домовъ, нашихъ казармъ; можно было бы подумать, что всякій нѣмецъ заслуживаетъ le prix Monthyon!— И все это для того, чтобы насолить императору, такъ какъ мы въ то время были его врагами.

Ненависть къ императору—душа этой книги «De l'Allemagne», и хотя его имя нигдѣ не упоминается въ ней, но видно, что авторъ на каждой строкѣ бросаетъ искоса взглядъ на Тюильри... Я не сомнѣваюсь, что эта книга гораздо чувствительнѣе разсердила императора, чѣмъ самыя прямыя нападки, ибо ничто не въ состояніи такъ сильно уязвить мужчину, какъ маленькіе булавочные уколы женщины. Мы готовимся къ тяжелымъ ударамъ меча, а насъ щекотятъ въ самыхъ чувствительныхъ мѣстахъ.

О, женщины! Мы должны прощать имъ многое, ибо онѣ любятъ много, и даже многихъ. Ихъ ненависть въ сущности не что иное, какъ любовь, перемѣнившая фронтъ. Иногда онѣ стараются сдѣлать намъ зло потому, что думаютъ доставить этимъ удовольствіе какому-нибудь другому мужчинѣ. Когда онѣ пишутъ, то смотрятъ однимъ глазомъ на бумагу, а другимъ на какого-нибудь мужчину; и это относится ко всѣмъ писательницамъ, за исключеніемъ графини Ганъ-Ганъ, у которой всего одинъ глазъ. Мы, писатели-мужчины, тоже имѣемъ свои предвзятыя симпатіи, и мы тоже пишемъ за или противъ чего-нибудь, за или противъ какой-нибудь идеи, за или противъ какой-нибудь партіи; женщины же пишутъ всегда только за или противъ одного какого-нибудь мужчины, или, лучше сказать, изъ-за него. Характерно у нихъ извѣстнаго рода сплетничанье, которое онѣ переносятъ и въ литературу и которое по-моему гораздо фатальнѣе самыхъ грубыхъ и яростныхъ клеветъ мужчины. Мы, мужчины, лжемъ иногда. Женщины, какъ всѣ пассивныя натуры, рѣдко умѣютъ изобрѣтать, но изобрѣтенное умѣютъ искажать такимъ образомъ, что вредятъ намъ этимъ гораздо больше, чѣмъ положительной ложью. Я, право, думаю, что мой другъ Бальзакъ былъ правъ, когда однажды сказалъ мнѣ со вздохомъ: «La femme est un être dangereux!»

Да, женщины опасны; но я долженъ прибавить, что красивыя не такъ опасны, какъ тѣ, у которыхъ больше умственныхъ, нежели тѣлесныхъ преимуществъ. Ибо первыя привыкли, чтобы мужчины за ними ухаживали, тогда какъ послѣднія сами идутъ навстрѣчу самолюбію мужчинъ и посредствомъ приманки лестью пріобрѣтаютъ больше поклонниковъ, чѣмъ красивыя. Я отнюдь не хочу сказать этимъ, чтобы г-жа Сталь была безобразна; но красота нѣчто совсѣмъ иное. У нея были пріятныя частности, въ совокупности, однако, составлявшія очень непріятное цѣлое; особенно невыносимою для нервныхъ людей, какимъ былъ покойный Шиллеръ, была ея манія постоянно быстро вертѣть между пальцами маленькій стебелекъ или трубочку изъ бумаги; это верченіе вызывало у бѣднаго Шиллера головокруженіе, и онъ тогда въ отчаяніи хваталъ ея прекрасную руку, чтобы остановить ее, а г-жа Сталь воображала, что чувствительный поэтъ увлеченъ обаяніемъ ея личности. У нея, какъ говорятъ, дѣйствительно, были очень красивыя руки, а также прекраснѣйшія верхнія части рукъ, которыя она всегда обнажала; навѣрное Венера Милосская не могла бы похвастать столь красивыми руками. Ея зубы превосходили бѣлизной челюсти драгоцѣннѣйшихъ арабскихъ коней. У нея были очень большіе, прекрасные глаза; на ея губахъ умѣстилось бы съ дюжину амурчиковъ, а улыбка ея была, говорятъ, чрезвычайно мила. Стало-быть, она не была дурна собой—женщина никогда не бываетъ дурна—но, во всякомъ случаѣ, можно съ увѣренностью сказать, что если бы прекрасная Елена Спартанская обладала такою наружностью, то не было бы всей троянской войны, городъ Пріама не былъ бы сожженъ, и Гомеръ никогда не воспѣлъ бы гнѣвъ Ахиллеса, Пелеева сына.

Какъ уже сказано, г-жа Сталь возстала противъ императора и затѣяла съ нимъ войну. Но она не ограничилась тѣмъ, что писала противъ него книги; она пыталась бороться съ нимъ и не литературнымъ оружіемъ: она была одно время душою всѣхъ тѣхъ аристократическихъ и іезуитскихъ интригъ, которыя предшествовали коалиціи противъ Наполеона, и, какъ настоящая вѣдьма, сидѣла она на корточкахъ надъ кипящимъ котломъ, въ которомъ всѣ дипломатическіе отравители, ея друзья,—Талейранъ, Меттернихъ, Поццо ди-Борго, Кестльри и т. д.,—варили погибель великому императору. Поваренной ложкой ненависти мѣшала эта женщина въ роковомъ котлѣ, гдѣ вмѣстѣ съ тѣмъ стря-

нятокъ; читая его произведенія, всякій восторгался Сервантесомъ.

Но и между французскими паладинами г-жи Сталь было нѣсколько галльскихъ донъ-Кихотовъ, которые не отставали въ дурачествѣ отъ нашихъ германскихъ рыцарей; напримѣръ, ея пріятель, виконтъ Шатобріанъ, этотъ шутъ въ черномъ дурацкомъ колпакѣ, который въ ту пору побѣды романтизма возвратился изъ своего благочестиваго паломничества. Онъ привезъ съ собой въ Парижъ огромнѣйшую бутыль съ водой изъ Іордана, и сталъ вновь крестить этой святой водой своихъ соотечественниковъ, во время революціи снова обратившихся въ язычниковъ. Окропленные французы сдѣлались теперь истинными христіанами и отреклись отъ сатаны и его прелестей, получили въ царствѣ небесномъ вознагражденіе за то, что было у нихъ отвоевано на землѣ, между прочимъ, за рейнскія провинціи, и по этому случаю я сдѣлался пруссакомъ.

Не знаю, справедливъ ли разсказъ, будто г-жа Сталь во время Ста Дней предложила императору содѣйствіе своего нера, если онъ обязуется выплатить ей два милліона, которые Франція осталась должна ея отцу. Императоръ, хорошо знавшій французовъ и поэтому относившійся всегда къ ихъ деньгамъ съ бо́льшей бережливостью, чѣмъ къ ихъ крови, не согласился на эту сдѣлку, и дочь альпійскихъ горъ оправдала народную поговорку: «Point d'argent, point de suisses». Впрочемъ, содѣйствіе талантливой дамы въ то время принесло бы императору мало пользы, ибо вскорѣ послѣ того произошла битва при Ватерлоо.

Я уже упомянулъ выше, по какому печальному случаю я сдѣлался пруссакомъ. Я родился въ послѣднемъ году прошлаго столѣтія, въ Дюссельдорфѣ, столицѣ герцогства бергскаго, принадлежащаго тогда курфюрсту пфальцскому. Когда Пфальцъ отошелъ къ баварскому дому, и баварскій князь Максимиліанъ Іосифъ былъ возведенъ императоромъ въ санъ короля баварскаго, при чемъ его княжество увеличилось присоединеніемъ къ нему Тироля и другихъ пограничныхъ земель, то король баварскій отказался отъ бергскаго герцогства въ пользу Іоахима Мюрата, зятя императора; къ владѣніямъ этого послѣдняго были присоединены еще прилежащія провинціи, и съ тѣхъ поръ ему стали присягать, какъ великому герцогу бергскому. Но въ то время служебныя повышенія шли очень быстро, и недѣлю спустя, императоръ назначилъ своего зятя Мюрата

королемъ неаполитанскимъ, а тотъ отказался отъ своихъ державныхъ правъ надъ великимъ герцогствомъ бергскимъ въ пользу принца Франциска, приходившагося племянникомъ императору и старшимъ сыномъ короля Голландіи Людовика и прекрасной королевы Гортензіи. Такъ какъ этотъ послѣдній никогда не отрекался отъ своихъ правъ, и такъ какъ его княжество, захваченное Пруссіей, послѣ его смерти de jure перешло къ сыну короля голландскаго, принцу Людовику Наполеону Бонапарте, то сей самый принцъ, нынѣ императоръ французовъ, есть мой законный государь.

Въ другомъ мѣстѣ, въ моихъ мемуарахъ, я разсказалъ подробнѣе, чѣмъ могу сдѣлать это здѣсь, какъ послѣ іюльской революціи я переселился въ Парижъ, гдѣ съ тѣхъ поръ и живу, спокойный и довольный. Что я дѣлалъ и что выстрадалъ во время реставраціи, также будетъ сообщено въ свое время, когда безкорыстная цѣль подобныхъ сообщеній не встрѣтитъ сомнѣнія и не будетъ заподозрѣна... Я много сдѣлалъ и много выстрадалъ, и когда взошло во Франціи солнце іюльской революціи, я чувствовалъ себя очень утомленнымъ и нуждался въ нѣкоторомъ отдыхѣ. Съ другой стороны, воздухъ родины становился для меня съ каждымъ днемъ все вреднѣе, и я долженъ былъ серьезно подумать о перемѣнѣ климата. Мнѣ представлялись видѣнія, облака пугали меня и дѣлали мнѣ всевозможныя страшныя гримасы. Мнѣ казалось иногда, будто солнце—прусская кокарда; ночью мнѣ снилось, что отвратительный черный коршунъ ѣстъ мою печень, и я впалъ въ большую меланхолію. Къ тому же я познакомился съ однимъ старымъ берлинскимъ совѣтникомъ юстиціи, который провелъ много лѣтъ въ крѣпости Шпандау и разсказывалъ мнѣ, какъ непріятно зимой носить кандалы. Я нашелъ, что въ самомъ дѣлѣ поступаютъ совсѣмъ не по-христіански, не нагрѣвая людямъ хоть немного ихъ кандалы. Если бы намъ немного нагрѣвали цѣпи, то онѣ не производили бы такого непріятнаго впечатлѣнія, и даже зябкія натуры могли бы хорошо переносить ихъ; слѣдовало бы также обращать вниманіе на то, чтобы цѣпи были продушены эссенціями розъ и лавровъ, какъ это дѣлается здѣсь. Я спросилъ моего совѣтника юстиціи, часто ли ему давали въ Шпандау ѣсть устрицы. Онъ отвѣтилъ, что нѣтъ, такъ какъ Шпандау слишкомъ далеко отъ моря. И мясо, сказалъ онъ, тамъ тоже рѣдкость, а что касается птицы, то тамъ нѣтъ ничего,

кромѣ мухъ, падающихъ вамъ въ супъ. Около этого же времени я познакомился съ однимъ французскимъ commis voyageur, разъѣзжавшимъ по дѣламъ какой-то виноторговли, и который не могъ довольно нахвалиться тѣмъ, какъ весело живутъ теперь въ Парижѣ, какъ тамъ блаженствуютъ, съ утра до вечера распѣваютъ Марсельезу, и «En avant, marchons!» и «Lafayette aux cheveux blancs», и какъ тамъ на всѣхъ перекресткахъ написано: «свобода, равенство, братство»; при этомъ онъ расхваливалъ также шампанское своего торговаго дома, далъ мнѣ его адресъ въ большомъ числѣ экземпляровъ и обѣщалъ мнѣ рекомендательныя письма въ лучшіе парижскіе рестораны, въ случаѣ, если бы я пожелалъ для развлеченія посѣтить эту столицу. Такъ какъ я въ самомъ дѣлѣ нуждался въ увеселеніи, а Шпандау слишкомъ далеко отъ моря, чтобы ѣсть тамъ устрицы, шпандаускіе же супы съ мухами не слишкомъ прельщали меня, и такъ какъ, сверхъ того, прусскія цѣни зимой очень холодны и не могли быть полезны для моего здоровья, то я рѣшился ѣхать въ Парижъ, и въ отчизнѣ шампанскаго и Марсельезы пить первое и слушать, какъ поютъ послѣднюю вмѣстѣ съ «En avant marchons!» и «Lafayette aux cheveux blancs».

1-го мая 1831 г. я переѣхалъ черезъ Рейнъ. Стараго рѣчного бога, дѣдушку Рейнъ, я не видалъ и удовольствовался тѣмъ, что бросилъ ему въ воду мою визитную карточку. Онъ сидѣлъ, какъ мнѣ сказали, на днѣ, и снова зубрилъ французскую грамматику Мейдингера, потому что за время прусскаго владычества онъ сильно поотсталъ во французскомъ языкѣ и теперь хотѣлъ на всякій случай снова поупражняться въ немъ. Мнѣ казалось, что я слышу, какъ онъ внизу спрягаетъ: «j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons».—Но что же онъ любитъ? Во всякомъ случаѣ не пруссаковъ. Страсбургскій соборъ я видѣлъ только издали; онъ качалъ головой, какъ старый вѣрный Эккартъ, когда онъ видитъ какого-нибудь молодого франта, направляющагося къ Венериной Горѣ.

Въ Сенъ-Дени я пробудился отъ сладкаго утренняго сна, и въ первый разъ услышалъ крикъ кучеровъ дилижансовъ: «Парижъ! Парижъ!» и позвякиваніе колокольчиковъ продавцовъ коко. Здѣсь дышишь уже воздухомъ столицы, виднѣющейся на горизонтѣ. Какой-то старый шутъ-проводникъ уговаривалъ меня посѣтить могилы королей, но я не для того пріѣхалъ во Францію, чтобы смотрѣть мертвыхъ коро-

лей; я удовольствовался тѣмъ, что заставилъ этого чичероне разсказать мнѣ мѣстную легенду, а именно о томъ, какъ злой король язычникъ велѣлъ отрубить голову святому Дени, и какъ этотъ святой, со своей головой въ рукахъ, убѣжалъ изъ Парижа въ Сенъ-Дени, чтобы тамъ похоронить себя и дать свое имя этому мѣсту. Если принять въ соображеніе разстояніе, сказалъ мой разсказчикъ, то приходится подивиться такому чуду, чтобы можно было пройти такъ далеко пѣшкомъ и безъ головы; «впрочемъ,—прибавилъ онъ тутъ же со странной усмѣшкой: — dans des cas pareils ce n'est que le premier pas qui coute». Это стоило двухъ франковъ, и я далъ ихъ ему pour l'amour de Voltaire, ибо встрѣтилъ уже здѣсь его насмѣшливую улыбку. Черезъ двадцать минутъ я былъ въ Парижѣ и въѣхалъ черезъ тріумфальныя ворота бульвара Сенъ-Дени, воздвигнутыя первоначально въ честь Людовика XIV, нынѣ же послужившія къ прославленію моего въѣзда въ Парижъ. Я былъ воистину пораженъ массой разряженныхъ людей, одѣтыхъ съ большимъ вкусомъ, какъ картинки моднаго журнала. Затѣмъ импонировало мнѣ также и то, что всѣ они говорили по-французски—признакъ у насъ высшаго свѣта; здѣсь, стало-быть, весь народъ принадлежалъ къ высшему свѣту, какъ у насъ дворянство. Всѣ мужчины были такіе учтивые, а прекрасныя женщины такія улыбающіяся. Если меня кто-нибудь нечаянно толкалъ и не просилъ тотчасъ же извиненія, то я могъ пари держать, что это былъ мой соотечественникъ; и если какая-нибудь красавица имѣла черезчуръ кислый видъ, то либо она наѣлась кислой капусты, либо могла читать Клопштока въ оригиналѣ. Я находилъ все такимъ весело занимательнымъ, и небо было такое синее, и воздухъ такой ласковый, такой благодатный, и при этомъ тамъ и сямъ мерцали еще огоньки іюльскаго солнца; щеки прекрасной Лютеціи еще горѣли отъ пламенныхъ поцѣлуевъ этого солнца, и на груди ея еще не совсѣмъ завялъ свадебный букетъ. Правда, на углахъ улицъ кое-гдѣ уже были стерты слова «Liberté, égalité, fraternité»... Я тотчасъ же посѣтилъ рестораны, къ которымъ имѣлъ рекомендаціи; эти трактирщики увѣряли меня, что приняли бы меня прекрасно и безъ всякихъ рекомендательныхъ писемъ, такъ какъ моя приличная и порядочная наружность достаточно говоритъ за себя. Никогда никакой нѣмецкій кухмистеръ не говорилъ мнѣ ничего подобнаго, если даже и думалъ то же самое; эти грубіяны воображаютъ, что должны

умалчивать пріятныя вещи, и что ихъ нѣмецкая прямота обязываетъ ихъ высказывать намъ въ лицо однѣ только непріятности. Въ нравахъ и даже въ языкѣ французовъ такъ много милой лести, которая стоитъ очень мало, а дѣйствуетъ, между тѣмъ, такъ благотворно и живительно. Моя душа, это бѣдное «не тронь меня», сомкнувшее свои лепестки подъ вліяніемъ страха отечественной грубости, снова раскрылось навстрѣчу ласкающимъ звукамъ французской вѣжливости. Богъ далъ намъ языкъ для того, чтобы мы говорили нашимъ ближнимъ пріятныя вещи.

Мой французскій языкъ нѣсколько хромалъ при моемъ прибытіи, но послѣ получасового разговора съ маленькой продавщицей цвѣтовъ въ Passage de l'Opéra моя французская рѣчь, заржавѣвшая со времени Ватерлоской битвы, стала опять бѣглой, я овладѣлъ съ грѣхомъ пополамъ самыми галантными спряженіями и весьма понятно объяснилъ моей маленькой слушательницѣ Линнеевскую систему, по которой цвѣты раздѣляются по ихъ тычинкамъ; маленькая слѣдовала другой методѣ и раздѣляла цвѣты на такіе, которые хорошо пахнутъ, и на такіе, которые воняютъ. Кажется, относительно мужчинъ она держалась той же классификаціи. Она была поражена тѣмъ, что я, несмотря на мою молодость, такъ ученъ, и протрубила мою ученую славу по всему Passage de l'Opéra. И здѣсь также я съ наслажденіемъ вдыхалъ благоуханія лести, и мнѣ было очень весело. Я ходилъ по цвѣтамъ, и жареные голуби сами летѣли въ мой открытый ротъ зѣваки. Сколько интереснаго увидѣлъ я здѣсь при своемъ прибытіи! Всѣхъ корифеевъ общественнаго увеселенія и офиціальной комичности. Серьезные французы были самые забавные. Я видѣлъ Арналя, Буффе, Дежазе, Дебюро, Одри, мадмуазель Жоржъ и большую кострюлю въ Отелѣ Инвалидовъ. Я видѣлъ моргу, Académie française, гдѣ также выставлено много неизвѣстныхъ труповъ, и, наконецъ, люксембургскій некрополь, и въ немъ всѣ мумія клятвопреступниковъ вмѣстѣ съ набальзамированными ложными присягами, которыя они приносили всѣмъ династіямъ французскихъ фараоновъ. Я видѣлъ въ Jardin des Plantes жирафа, козла съ тремя ногами и кенгуру, которые особенно позабавили меня. Я видѣлъ также Лафайета и его бѣлые волосы, но послѣдніе я видѣлъ отдѣльно, ибо они находились въ медальонѣ, висѣвшемъ на шеѣ одной прекрасной дамы, тогда какъ самъ онъ, герой Стараго и Новаго Свѣта, носилъ темный парикъ, какъ всѣ

старые французы. Я посѣтилъ королевскую библіотеку и видѣлъ тамъ хранителя только-что украденныхъ медалей; тамъ же, въ темномъ коридорѣ, я видѣлъ Дендерскій Зодіакъ, производившій когда-то такой эффектъ, и въ тотъ же день видѣлъ madame Рекамье, знаменитѣйшую красавицу временъ Меровинговъ, равно какъ и г. Баланша, который принадлежалъ къ числу pièces justificatives ея добродѣтели, и котораго она съ незапамятныхъ временъ всюду таскала за собой. Къ сожалѣнію, я не видѣлъ г. Шатобріана, который, навѣрно, позабавилъ бы меня. Но зато я видѣлъ въ Grande Chaumière père Лагира, въ ту минуту, когда онъ былъ bougrement en colère, какъ разъ въ это время онъ схватилъ за шиворотъ и вышвырнулъ за дверь двухъ молодыхъ Робеспьеровъ въ широкооткрытыхъ бѣлыхъ жилетахъ добродѣтели; маленькаго Сенъ-Жюста, который вздумалъ похорохориться, онъ выкинулъ за ними вслѣдъ, а нѣсколькихъ красивыхъ citoyennes изъ Quartier Latin, начавшихъ жаловаться на оскорбленіе человѣческихъ правъ, постигла та же участь. Въ другомъ подобномъ заведеніи я видѣлъ знаменитаго Шикара, знаменитаго торговца кожами и канканера, коренастую фигуру съ краснымъ одутловатымъ лицомъ, превосходно выдѣлявшимся на фонѣ ослѣпительно бѣлаго галстука; чопорный и серьезный, онъ походилъ на адъюнкта мера, собирающагося возложить розовый вѣнокъ на голову «розьеры». Я дивился его пляскѣ и сказалъ ему, что она имѣетъ большое сходство съ античной пляской Силена, которую плясали на празднествахъ въ честь Діонисія и которая получила свое названіе отъ Силена, достойнаго воспитателя Бахуса. Г. Шикаръ, въ свою очередь, сказалъ мнѣ много лестнаго насчетъ моей учености и представилъ меня нѣсколькимъ своимъ знакомымъ дамамъ, которыя тоже не преминули расхвалить мои глубокія познанія, такъ что вскорѣ моя слава распространилась по всему Парижу, и издатели журналовъ стали искать моего знакомства, чтобы пріобрѣсти мое сотрудничество.

Въ числѣ лицъ, видѣнныхъ мной вскорѣ послѣ моего пріѣзда въ Парижъ, принадлежитъ также Викторъ Богенъ, и я съ удовольствіемъ вспоминаю эту веселую, остроумную личность, которая своимъ любезнымъ поощреніемъ много способствовала разсѣянію тучъ на челѣ нѣмецкаго мечтателя и посвященію его скорбнаго сердца въ веселье французской жизни. Онъ основалъ тогда «L'Europe littéraire», и, какъ редакторъ этого журнала, явился ко мнѣ съ предло-

женіемъ написать для него нѣсколько статей о Германіи въ жанрѣ г-жи Сталь. Я обѣщалъ доставить статьи, замѣтивъ, однако, положительно, что напишу ихъ въ совершенно противоположномъ жанрѣ. «Это мнѣ все равно, — отвѣтилъ онъ смѣясь: — за исключеніемъ genre ennuyeux, я вмѣстѣ съ Вольтеромъ допускаю всякій жанръ». Дабы я, бѣдный нѣмецъ, не впалъ въ genre ennuyeux, пріятель Богенъ часто приглашалъ меня обѣдать и поливалъ мой умъ шампанскимъ. Никто не умѣлъ лучше его устроить обѣдъ, за которымъ можно было насладиться не только прекрасной кухней, но также и чудеснѣйшей бесѣдой; никто не умѣлъ такъ хорошо, въ качествѣ хозяина, принимать гостей, никто не умѣлъ такъ хорошо выказать представительность, какъ Викторъ Богенъ; потому-то, конечно, онъ могъ съ полнымъ правомъ поставить въ счетъ своимъ акціонерамъ «Europe littéraire» сто тысячъ франковъ расходовъ на представительность. Его жена была очень красива и имѣла прелестную собачку, называвшуюся Жи-Жи. Даже деревянная нога Богена придавала ему что-то еще болѣе веселое, и когда онъ, такъ мило прихрамывая, обходилъ кругомъ весь столъ, наливая своимъ гостямъ шампанское, то походилъ на Вулкана, исполняющаго обязанность Гебы въ собраніи ликующихъ боговъ. Гдѣ онъ теперь? Я давно ничего не слыхалъ о немъ. Въ послѣдній разъ я видѣлъ его лѣтъ десять назадъ въ одной гостиницѣ въ Гранвилѣ; онъ пріѣхалъ въ этотъ маленькій портовой городокъ Нижней Нормандіи на одинъ день изъ Англіи, гдѣ проживалъ для изученія колоссальнаго національнаго англійскаго долга, забывая при семъ удобномъ случаѣ свои собственные маленькіе частные долги; и здѣсь я засталъ его сидящимъ за столикомъ, передъ бутылкой шампанскаго, въ обществѣ коренастаго буржуа съ низкимъ лбомъ и разинутымъ ртомъ, которому онъ объяснялъ проектъ какого-то предпріятія, въ которомъ, какъ доказывалъ Богенъ краснорѣчивыми цифрами, можно было нажить милліонъ. Духъ спекуляціи въ Богенѣ былъ всегда весьма обширенъ, и если онъ задумывалъ какое-нибудь дѣло, то оно сулило всегда милліонъ прибыли, никогда менѣе милліона. Поэтому друзья называли его мессеръ Мильоне, какъ нѣкогда прозвали въ Венеціи Марко Поло, когда тотъ по возвращеніи съ востока разсказывалъ своимъ согражданамъ, слушавшимъ его съ разинутыми ртами подъ аркадами площади св. Марка, о тѣхъ сотняхъ милліоновъ, и еще сотняхъ милліоновъ жителей, которыхъ онъ

видѣлъ въ объѣзженныхъ имъ странахъ, въ Китаѣ, Тартаріи, Индіи и т. д. Новѣйшая географія возстановила честь знаменитаго венеціанца, котораго долгое время считали лгуномъ; и о нашемъ парижскомъ мессерѣ Мильоне мы тоже можемъ утвердительно сказать, что его промышленные проекты были всегда задуманы грандіозно вѣрно, и рушились только благодаря разнымъ случайностямъ при выполненіи; многіе изъ нихъ приносили большіе барыши, когда попадали въ руки людей, не умѣвшихъ такъ красиво рекомендовать предпріятіе и такъ великолѣпно блеснуть представительностью, какъ это дѣлалъ Викторъ Богенъ. И «Europe littéraire» была тоже превосходно задумана, ея успѣхъ, повидимому, былъ обезпеченъ, и я никогда не могъ понять, отчего она погибла. Еще за два дня передъ тѣмъ, какъ дѣло остановилось, Викторъ Богенъ далъ въ залахъ редакціи журнала блестящій балъ, на которомъ танцовалъ со своими тремястами акціонерами, совсѣмъ какъ нѣкогда Леонидъ со своими тремястами спартанцами, наканунѣ битвы при Фермопилахъ. Всякій разъ, когда я вижу въ Луврской галлереѣ картину Давида, изображающую эту антично героическую сцену, мнѣ вспоминается вышеупомянутый послѣдній танецъ Виктора Богена; такъ же точно, какъ мужественный царь Давидовской картины, стоялъ и онъ на одной ногѣ; это была та же классическая поза!—Путникъ! Если тебѣ случится когда-нибудь въ Парижѣ идти внизъ по Chaussée d'Antin, по направленію къ бульварамъ, и очутиться, наконецъ, въ грязной долинѣ, именуемой Rue basse du rempart, то знай! ты стоишь передъ Фермопилами «Europe littéraire», гдѣ Викторъ Богенъ съ геройской смѣлостью палъ со своими тремястами акціонерами!

Статьи, которыя, какъ уже сказано, я долженъ былъ написать для этого журнала и которыя напечаталъ въ немъ, давали мнѣ поводъ высказать въ болѣе подробномъ изложеніи свои взгляды на Германію и ея умственное развитіе, и вотъ такимъ образомъ возникла та книга, которую, дорогой читатель, ты держишь теперь въ рукахъ. Я хотѣлъ раскрыть здѣсь не только цѣль этой книги, ея тенденцію, ея затаеннѣйшее намѣреніе, но также и генезисъ ея происхожденія, чтобы каждый могъ тѣмъ вѣрнѣе опредѣлить, насколько мои сообщенія заслуживаютъ вѣры и довѣрія. Я писалъ не въ жанрѣ г-жи Сталь, и хотя и старался быть насколько возможно менѣе скучнымъ, однако, заранѣе отказался отъ всякихъ эффектовъ стиля и фразы, которые встрѣ-

чаешь въ такой высокой степени у г-жи Сталь, этого самаго крупнаго французскаго писателя въ эпоху Имперіи. Да, авторъ «Коринны» превосходитъ, по моему мнѣнію, всѣхъ своихъ современниковъ, и я не могу достаточно надивиться блестящему фейерверку ея изложенія; но, къ сожалѣнію, этотъ фейерверкъ оставляетъ за собой зловонный мракъ, и мы должны сознаться, что ея геній не такой безполый, какимъ, по прежнему увѣренію г-жи Сталь, подобаетъ быть генію; ея геній—женщина, онъ обладаетъ всѣми недостатками и причудами женщины, и я, какъ мужчина, считалъ своей обязанностью возразить противъ блестящаго канкана этого генія. Это было тѣмъ необходимѣе, что ея сообщенія въ книгѣ «De l'Allemagne» касались предметовъ, французамъ незнакомыхъ и имѣвшихъ для нихъ прелесть новизны, какъ, напримѣръ, все, что относится къ нѣмецкой философіи и романтической школѣ. Мнѣ, кажется, что въ своей книгѣ я далъ самыя добросовѣстныя свѣдѣнія, особенно относительно первой, и время подтвердило то, что казалось неслыханнымъ и непонятнымъ въ ту пору, когда я это высказывалъ.

Да, что касается нѣмецкой философіи, то я откровенно выболталъ школьную тайну, которая, будучи закутана въ схоластическія формулы, была извѣстна только посвященнымъ перваго класса. Мои разоблаченія возбудили во Франціи величайшее изумленіе, и я помню, какъ весьма крупные французскіе мыслители наивно признавались мнѣ, что всегда думали, что нѣмецкая философія есть извѣстнаго рода мистическій туманъ, въ которомъ божество прячется, какъ въ священномъ градѣ изъ облаковъ, а что нѣмецкіе философы—восторженные пророки, проникнутые исключительно благочестіемъ и страхомъ Божіимъ. Не моя вина, что этого никогда не было, что нѣмецкая философія есть именно прямая противоположность того, что до сихъ поръ мы называли благочестіемъ и страхомъ Божіимъ, и что наши новѣйшіе философы провозгласили самый полный атеизмъ, какъ послѣднее слово нашей нѣмецкой философіи. Безпощадно и съ вакхическою жизнерадостностью сорвали они голубую завѣсу съ нѣмецкаго неба и воскликнули: «Смотрите, всѣ божества убѣжали, и тамъ, наверху, осталась еще только одна старая дѣва съ свинцовыми руками и горестнымъ сердцемъ—Необходимость».

Ахъ, то, что тогда звучало такъ странно, проповѣдуется теперь по ту сторону Рейна на всѣхъ крышахъ, и фана-

тическое усердіе многихъ изъ этихъ проповѣдниковъ ужасно! У насъ есть теперь фанатическіе монахи атеизма, великіе инквизиторы невѣрія, которые охотно сожгли бы г. Вольтера, потому что въ душѣ онъ былъ все-таки закоренѣлый деистъ. До тѣхъ поръ, пока такого рода доктрины оставались еще тайной собственностью аристократіи избранныхъ умовъ и обсуждались на особомъ аристократическомъ языкѣ извѣстнаго кружка, непонятномъ для лакеевъ, прислуживавшихъ за столомъ и стоявшихъ за нашими стульями, пока мы богохульствовали за нашими философскими petits-soupers—до тѣхъ поръ и я принадлежалъ къ легкомысленнымъ esprits forts, изъ коихъ большинство походило на тѣхъ либеральныхъ grands seigneurs, которые незадолго до революціи старались новыми разрушительными идеями разогнать скуку своей праздной придворной жизни. Но когда я увидѣлъ, что грубая чернь, Янъ Гагель, начала тоже толковать о тѣхъ же темахъ на своихъ грязныхъ пирахъ, гдѣ вмѣсто восковыхъ свѣчей и жирандолей горѣли лишь сальныя свѣчи да плошки; когда я увидѣлъ, что всякое отрепье, сапожное и портняжное подмастерье, на своемъ грубомъ кабацкомъ жаргонѣ принялось отрицать существованіе Бога; когда атеизмъ началъ сильно вонять сыромъ, водкою и табакомъ — тогда глаза у меня вдругъ открылись, и чего я не понималъ умомъ, то понялъ теперь обоняніемъ, непріятнымъ чувствомъ тошноты, и моему атеизму, слава Богу, наступилъ конецъ.

Говоря по правдѣ, не одно это чувство отвращенія было причиной, уронившей въ моихъ глазахъ принципы безбожниковъ и заставившей меня отступиться отъ нихъ. Тутъ играло также роль нѣкоторое житейское безпокойство, котораго я не могъ преодолѣть; именно, я замѣтилъ, что атеизмъ заключилъ болѣе или менѣе тайный союзъ съ самымъ страшнымъ, самымъ голымъ, неприкрытымъ даже фиговымъ листикомъ, вульгарнымъ коммунизмомъ. Мое отвращеніе къ этому послѣднему право не имѣетъ ничего общаго со страхомъ счастливца, дрожащаго за свои капиталы, или съ досадой зажиточныхъ промышленниковъ, боящихся стѣсненій въ своихъ эксплуатаціонныхъ дѣлахъ; нѣтъ, меня гнететъ, скорѣе, тайное опасеніе художника и ученаго, видящаго, что побѣда коммунизма грозитъ паденіемъ всей нашей современной цивилизаціи, тяжелому пріобрѣтенію столькихъ вѣковъ, плодамъ благороднѣйшихъ трудовъ нашихъ предшественниковъ. Увлеченные теченіемъ велико-

чтенія, обнаруженное этимъ парнемъ въ разговорѣ со мной. Онъ не снялъ шапки съ головы, и въ то время, какъ я стоялъ передъ нимъ, онъ сидѣлъ на маленькой деревянной скамейкѣ, держа одной рукой свою согнутую и поднятую кверху ногу, такъ что колѣномъ почти касался своего подбородка; другой рукой онъ безпрерывно теръ эту ногу повыше щиколдки. Эту непочтительную позу я приписалъ сначала его ремесленнической привычкѣ сидѣть на корточкахъ, но когда я спросилъ его, зачѣмъ онъ все время третъ свою ногу, то онъ растолковалъ мнѣ дѣло иначе; именно, онъ сказалъ мнѣ самымъ равнодушнымъ тономъ, какъ будто рѣчь шла о совершенно естественной вещи, что въ различныхъ нѣмецкихъ тюрьмахъ, гдѣ онъ сидѣлъ, на него обыкновенно надѣвали цѣпи; и такъ какъ желѣзное кольцо, обхватывающее ногу, бывало иногда узковато, то у него осталось на этомъ мѣстѣ ощущеніе чесотки, заставляющее его порой тереть ногу. При этомъ наивномъ признаніи авторъ этихъ строкъ долженъ былъ имѣть приблизительно такой же видъ, какъ волкъ въ Эзоповской баснѣ, спросившій своего друга собаку, отчего у нея на шеѣ шерсть такъ вытерта, и услышавшій въ отвѣтъ: «ночью меня сажаютъ на цѣпь».—Да, признаюсь, я отступилъ нѣсколько шаговъ назадъ, когда портной со своей противной фамильярностью заговорилъ въ этомъ тонѣ о цѣпяхъ, которыя иногда надѣвали на него нѣмецкіе тюремщики, когда онъ сидѣлъ въ дырѣ. «Дыра! Тюремщики! Цѣпи!»—все фатальныя слова замкнутаго общества, съ которымъ считали меня состоящимъ въ ужасающей интимности. И тутъ рѣчь шла не о тѣхъ металлическихъ цѣпяхъ, которыя носитъ теперь весь свѣтъ, которыя можно носить съ величайшею благопристойностью, и которыя вошли въ моду даже у людей хорошаго тона; нѣтъ, у членовъ этого замкнутаго общества цѣпи подразумѣваются въ ихъ самомъ желѣзномъ значеніи, цѣпи, прикрѣпляемыя къ ногѣ желѣзнымъ кольцомъ—и я отступилъ нѣсколько шаговъ назадъ, когда портной Вейтлингъ заговорилъ о такихъ цѣпяхъ. Не страхъ передъ пословицей: «вмѣстѣ пойманъ, вмѣстѣ и повѣшенъ», охватилъ меня, нѣтъ, меня испугала скорѣе перспектива быть повѣшеннымъ рядомъ съ нимъ.

Этотъ Вейтлингъ, теперь пропавшій безъ вѣсти, былъ, впрочемъ, талантливый человѣкъ; недостатка въ мысляхъ у него не было, и его книга, озаглавленная «Гарантіи Общества», долгое время служила катехизисомъ нѣмецкихъ ком-

мунистовъ. Число этихъ послѣднихъ въ послѣдніе годы страшно размножилось въ Германіи, и въ настоящую минуту эта партія безспорно одна изъ самыхъ сильныхъ по ту сторону Рейна. Ремесленники составляютъ ядро арміи невѣрія, которая, можетъ-быть, не особенно дисциплинирована, но зато въ доктринальномъ отношеніи вышколена превосходно. Эти нѣмецкіе ремесленники исповѣдуютъ большею частью самый грубый атеизмъ и какъ бы осуждены служить этому безотрадному отрицанію, если не хотятъ впасть въ противорѣчіе со своимъ принципомъ, и черезъ это—въ полнѣйшее безсиліе. Эти когорты разрушенія, эти саперы, топоръ которыхъ грозитъ всему общественному зданію, безконечно превосходятъ уравнителей и совершителей переворотовъ въ другихъ странахъ по страшной послѣдовательности своей доктрины, потому что въ увлекающемъ ихъ безуміи есть, какъ сказалъ бы Полоній, метода.

Съ моей стороны нѣтъ большой заслуги въ томъ, что я задолго впередъ предсказалъ въ своей книгѣ «De l'Allemagne» тѣ ужасныя явленія, которыя осуществились только въ позднѣйшее время. Мнѣ было не трудно напророчить, какія пѣсни будутъ со временемъ щебетать и свистать въ Германіи, потому что я видѣлъ, какъ высиживались тѣ птицы, которыя впослѣдствіи запѣли на новые мотивы. Я видѣлъ, какъ Гегель, со своимъ почти комически серьезнымъ лицомъ, сидѣлъ, какъ насѣдка, на своихъ фатальныхъ яйцахъ, и я слышалъ его кудахтанье. По чести говоря, я рѣдко понималъ его, и лишь впослѣдствіи, размышляя о его словахъ, уразумѣлъ ихъ смыслъ. Мнѣ кажется, онъ вовсе не желалъ быть понятымъ, и отсюда его запутанное изложеніе, отсюда же, можетъ-быть, и пристрастіе его къ лицамъ, о которыхъ онъ зналъ, что они не понимаютъ его, и которыхъ онъ тѣмъ охотнѣе удостаивалъ чести близкаго знакомства. Такъ, напримѣръ, всѣхъ въ Берлинѣ удивляла короткость глубокомысленнаго Гегеля съ покойнымъ Генрихомъ Беромъ, братомъ всѣмъ извѣстнаго и прославленнаго остроумнѣйшими журналистами, знаменитаго Джіакомо Мейербера. Этотъ Беръ, т. е. Генрихъ Беръ, былъ почти дураковатый малый, котораго впослѣдствіи его семья дѣйствительно объявила идіотомъ и взяла подъ опеку, потому что, вмѣсто того, чтобы воспользоваться своимъ большимъ состояніемъ для составленія себѣ имени въ искусствѣ или наукѣ, онъ расточалъ свое богатство на разныя нелѣпыя бездѣлушки, и однажды, напримѣръ, накупилъ на

шесть тысячъ талеровъ тросточекъ для гулянья. Этотъ бѣдняга, не желавшій слыть ни за великаго драматическаго писателя, ни за великаго астронома, или увѣнчаннаго лаврами музыкальнаго генія, соперника Моцарта и Россини, и предпочитавшій тратить деньги на тросточки—этотъ Беръ-выродокъ находился въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ съ Гегелемъ, былъ интимнымъ лицомъ философа, его Пиладомъ, и всюду слѣдовалъ за нимъ, какъ тѣнь. Столь же остроумный, сколько талантливый Феликсъ Мендельсонъ постарался однажды объяснить этотъ феноменъ, увѣряя, что Гегель не понимаетъ Генриха Бера. Но какъ я думаю теперь, настоящая причина ихъ близости заключалась въ убѣжденіи Гегеля, что Генрихъ Беръ не понимаетъ ни слова изъ всего, что̀ ему говоритъ философъ; благодаря этому, въ его присутствіи онъ могъ безъ стѣсненія предаваться всѣмъ умственнымъ изліяніямъ данной минуты. Вообще разговоръ Гегеля былъ всегда чѣмъ-то въ родѣ монолога, вылетающаго изъ его устъ прерывистыми вздохами и беззвучнымъ голосомъ; странность выраженій часто поражала меня, и многія изъ нихъ остались у меня въ памяти. Однажды въ прекрасный звѣздный вечеръ мы стояли рядомъ около окна, и я, двадцатидвухлѣтній молодой человѣкъ, только-что передъ этимъ хорошо пообѣдавшій и выпившій кофе, сталъ въ мечтательномъ тонѣ говорить о звѣздахъ и называлъ ихъ мѣстопребываніемъ блаженныхъ душъ. Но учитель пробормоталъ себѣ подъ носъ: «Звѣзды, гм! гм! Звѣзды не болѣе, какъ свѣтящаяся проказа на небѣ».—«Но Бога ради!—вскричалъ я:—стало-быть, тамъ наверху нѣтъ счастливой мѣстности, гдѣ добродѣтель получила бы награду послѣ смерти?» Но онъ, пристально глядя на меня своими блѣдными глазами, рѣзко сказалъ: «А вы хотите еще получить на водку за то, что ухаживали за вашей больной матерью и не отравили своего брата?».—При этихъ словахъ онъ испуганно оглянулся, но тотчасъ же, повидимому, успокоился, увидѣвъ, что къ нему подошелъ не кто другой, какъ Генрихъ Беръ, чтобы пригласить его на партію виста.

Какъ трудно понимать Гегелевскія сочиненія, какъ легко впасть при этомъ въ ошибку и вообразить, что понимаешь ихъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ выучился только построенію діалектическихъ формулъ, это я замѣтилъ лишь много лѣтъ спустя здѣсь, въ Парижѣ, когда занимался тѣмъ, что переводилъ эти формулы съ абстрактнаго школьнаго

чарѣчія на природный языкъ здраваго разума и общедоступной понятливости, т. е. на французскій. Тутъ ужъ переводчикъ долженъ опредѣленно знать, что именно ему надлежитъ сказать, и самыя стыдливыя понятія принуждены снимать свои мистическія одежды и показаться въ полной наготѣ. Я, именно, задался мыслью написать общепонятное изложеніе всей Гегелевской философіи, чтобы включить его въ новое изданіе моей книги «De l'Allemagne» въ видѣ дополненія. Въ продолженіе двухъ лѣтъ я занимался этой работой и лишь съ большимъ трудомъ и напряженіемъ удалось мнѣ, наконецъ, одолѣть этотъ неподатливый матеріалъ и передать насколько возможно популярно самыя отвлеченныя его части. Однако, когда работа была, наконецъ, окончена, при взглядѣ на нее мною овладѣлъ странный ужасъ, и мнѣ казалось, что рукопись смотритъ на меня чуждыми, ироническими, даже злыми глазами. Я былъ въ странномъ затрудненіи, авторъ и рукопись не согласовались болѣе другъ съ другомъ. Дѣло въ томъ, что въ это время въ душу мою уже внѣдрилось вышеупомянутое отвращеніе къ атеизму, и такъ какъ я долженъ былъ сознаться, что Гегелевская философія оказала всѣмъ этимъ безбожническимъ ученіямъ самое страшное содѣйствіе, то она сдѣлалась мнѣ крайне непріятной и фатальной. Эта философія вообще никогда не вызывала во мнѣ особеннаго воодушевленія, а объ убѣжденіи по отношенію къ ней не могло быть и рѣчи. Я никогда не былъ отвлеченнымъ мыслителемъ и принималъ синтезъ Гегелевской доктрины, не провѣряя его, потому что ея выводы льстили моему тщеславію. Я былъ молодъ и гордъ, и мое самомнѣніе было пріятно затронуто, когда я узналъ отъ Гегеля, что не Богъ царствуетъ на небесахъ, какъ увѣряла моя бабушка, но что я самъ являюсь здѣсь на землѣ Богомъ. Эта безумная гордость отнюдь не имѣла пагубнаго вліянія на мои чувства, а напротивъ, возвысила ихъ до героизма; и я высказалъ тогда столько великодушія и самопожертвованія, что, конечно, совершенно затмилъ самые блестящіе подвиги тѣхъ добрыхъ филистеровъ добродѣтели, которые дѣйствовали только изъ чувства долга и повиновались морали. Отнынѣ я вѣдь самъ былъ живой законъ морали и источникъ всякаго добра и всякаго права. Я былъ первородная нравственность, я былъ непогрѣшимъ, я былъ воплощеніе чистоты; очистительная и искупительная сила пламени моей любви снимала пятно грѣха съ самыхъ развращенныхъ Магдалинъ, и чистыя,

какъ бѣлыя лиліи, и краснѣющія, какъ цѣломудренныя розы, въ совершенно новой дѣвственности выходили онѣ изъ объятій божества. Эти реставраціи поврежденныхъ невинностей, сознаюсь, подчасъ изнуряли мои силы. Но я давалъ, не торгуясь, и неисчерпаемъ былъ источникъ моего милосердія. Я былъ весь любовь и совершенно свободенъ отъ ненависти. Я уже больше не мстилъ моимъ врагамъ, такъ какъ въ сущности у меня не было больше враговъ, или, лучше сказать, я ни въ комъ не признавалъ врага; для меня существовали теперь только невѣрующіе, сомнѣвавшіеся въ моей божественности. Всякая несправедливость, совершаемая ими по отношенію ко мнѣ, была святотатствомъ, а оскорбленія ихъ—богохульствомъ. Разумѣется, я не могъ оставлять всегда безнаказанными такія беззаконія, но это уже была не человѣческая месть, а кара Божья, падавшая на грѣшника. Иногда, при отправленіи этого высшаго правосудія, я подавлялъ въ себѣ съ большимъ или меньшимъ трудомъ всякое обычное состраданіе. Какъ не было у меня враговъ, такъ не было и друзей, а были лишь вѣрующіе, вѣрившіе въ мое величіе, благоговѣвшіе передо мной, расхваливавшіе мои сочиненія, какъ стихотворныя, такъ и прозаическія, и этой общинѣ поистинѣ благочестивыхъ и богобоязненныхъ я дѣлалъ много добра—особенно молодымъ поклонницамъ.

Но расходы на представительность божества, которое не хочетъ скупиться и не жалѣетъ ни себя, ни своего кошелька, огромны; чтобы прилично играть такую роль, необходимы, главнымъ образомъ, двѣ вещи: много денегъ и много здоровья. Къ сожалѣнію, случилось, что въ одинъ прекрасный день—въ февралѣ 1848 г.—обѣ эти принадлежности истощились у меня, и моя божественность черезъ это забастовала. Къ счастью, достопочтенная публика была въ это время занята такими крупными, неслыханными, баснословными зрѣлищами, что могла и не замѣтить перемѣны, происшедшей тогда съ моей маленькой особой. Да, неслыханны и баснословны были событія въ эти безумные февральскіе дни, когда мудрость умнѣйшихъ была посрамлена, а избранники тупоумія были подняты на щиты. Послѣдніе стали первыми, низшее выплыло на самый верхъ, порядокъ какъ вещей, такъ и мыслей былъ перевернутъ; это былъ, дѣйствительно, свѣтъ на изнанку. Будь я въ это безразсудное, стоявшее вверхъ ногами время разумнымъ человѣкомъ, то навѣрно потерялъ бы свой разумъ, благодаря

этимъ событіямъ; но съ такимъ сумасшедшимъ, какимъ я былъ тогда, должно было случиться обратное—и странное дѣло! именно во дни всеобщаго безумія, ко мнѣ снова вернулся разумъ! Подобно многимъ другимъ павшимъ богамъ этого періода разрушенія, мнѣ тоже пришлось плачевно отречься отъ власти и снова вернуться въ положеніе частнаго человѣка. Это было, впрочемъ, самое умное, что я могъ сдѣлать, я возвратился въ низменный кругъ Божьихъ твореній и снова преклонился передъ всемогуществомъ высшаго Существа, которое управляетъ судьбами міра сего и которое отнынѣ должно было руководить и моими собственными земными дѣлами. Эти дѣла, пока я самъ былъ своимъ провидѣніемъ, пришли въ очень запутанное состояніе, и я былъ радъ передать ихъ въ вѣдѣніе небеснаго Охранителя, который, при своемъ всевѣдѣніи, могъ заботиться о нихъ гораздо лучше меня. Существованіе Бога сдѣлалось для меня съ этихъ поръ не только источникомъ спасенія, но еще избавило меня отъ всякихъ мучительныхъ матеріальныхъ счетовъ и расчетовъ, которые мнѣ такъ противны, и ему я обязанъ величайшими сбереженіями. Не заботясь о себѣ, я не долженъ больше заботиться и о другихъ, и съ тѣхъ поръ, какъ принадлежу къ людямъ богобоязненнымъ, ничего почти не даю на вспомоществованіе нуждающимся; я слишкомъ скроменъ, чтобы браться не за свое дѣло и исполнять, какъ прежде, роль божественнаго Промысла; я уже больше не пекусь о благѣ цѣлой общины, не подражаю, какъ обезьяна, божеству; моимъ прежнимъ кліентамъ объявилъ я съ набожнымъ смиреніемъ, что я не болѣе, какъ жалкое человѣческое существо, вздыхающее творенье, которое не имѣетъ больше ничего общаго съ управленіемъ міра, и что впредь, въ минуту горя или нужды, имъ слѣдуетъ обращаться къ Господу Богу, иже есть на небесахъ, бюджетъ котораго такъ же неизмѣримъ, какъ и Его благость, тогда какъ мнѣ, бѣдному ex-божеству, даже въ самые божественные дни мои очень часто приходилось, для удовлетворенія моимъ благотворительнымъ прихотямъ, «тянуть чорта за хвостъ».

Tirer le diable par la queue—въ самомъ дѣлѣ одно изъ удачнѣйшихъ выраженій французскаго языка; но самая эта процедура была чрезвычайно унизительна для божества. Да, я радъ, что избавился отъ своего узурпированнаго величія, и никогда уже больше ни одинъ философъ не увѣритъ меня, что я божество! Я просто бѣдный человѣкъ, который, сверхъ

его, что названіе трупа уже совсѣмъ не подходило ко мнѣ. Дѣйствительно, въ то время я былъ еще здоровъ и свѣжъ, я находился въ зенитѣ моего жира и былъ такъ высокомѣренъ, какъ царь Навуходоносоръ до своего паденія.

«Ахъ! нѣсколько лѣтъ спустя произошла тѣлесная и духовная перемѣна. Сколько разъ съ тѣхъ поръ думалъ я объ исторіи этого вавилонскаго царя, который считалъ самого себя богомъ, но жалостно палъ съ высоты своихъ мечтаній, пресмыкался по землѣ, какъ звѣрь, и ѣлъ траву (вѣроятно, это былъ салатъ).

«Въ великолѣпно грандіозной книгѣ пророка Даніила находится это сказаніе, которое я рекомендую для назидательнаго соображенія не только доброму Руге, но и гг. Фейербаху, Даумеру, Бруно Бауэру, Герстенбергу и всей прочей братіи, этимъ, возводящимъ себя въ боги, безбожникамъ. Да и вообще въ Библіи есть много прекрасныхъ и достопримѣчательныхъ разсказовъ, которые были бы достойны вниманія этихъ господъ; напримѣръ, уже въ самомъ началѣ разсказъ о запрещенномъ деревѣ въ раю и о змѣѣ, маленькомъ приватъ-доцентѣ, который уже за шесть тысячъ лѣтъ до рожденія Гегеля прочелъ весь курсъ Гегелевской философіи. Этотъ синій чулокъ безъ ногъ показываетъ весьма умно, какъ абсолютное заключается въ тождествѣ бытія и знанія, какъ человѣкъ становится божествомъ посредствомъ познанія... Ева поняла во всей демонстраціи только одно— что плодъ запрещенъ, и вслѣдствіе запрета вкусила этого плода. Но едва скушала она соблазнительное яблоко, какъ потеряла свою невинность, свою наивную непосредственность, она нашла себя слишкомъ обнаженною... и потребовала себѣ платье... Странно, что какъ только въ женщинѣ возникаетъ мыслящее самосознаніе, ея первая мысль—о новомъ платьѣ! И этотъ библейскій разсказъ, особенно рѣчь змѣя, также не выходитъ у меня изъ головы, и я готовъ бы поставить ихъ эпиграфомъ къ настоящей книгѣ, подобно тому, какъ часто передъ воротами садовъ знатныхъ особъ выставляются доски съ предостерегающею надписью: «Здѣсь устроены силки и самострѣлы».

Послѣ приведеннаго здѣсь мѣста слѣдуетъ признанія насчетъ того вліянія, какое имѣло чтеніе Библіи на позднѣйшую эволюцію моего духа. Тѣмъ, что во мнѣ снова проснулось религіозное чувство, я обязанъ этой священной книгѣ, и она была для меня столько же источникомъ спасенія, сколько предметомъ благоговѣйнѣйшаго удивленія. Странно!

Цѣлую жизнь я шатался по всѣмъ танцклассамъ философіи, отдавался всѣмъ оргіямъ ума, вступалъ въ любовную связь со всевозможными системами, не находя удовлетворенія, какъ Мессалина послѣ распутной ночи—и вотъ теперь очутился вдругъ на той же точкѣ зрѣнія, на которой стоитъ дядя Томъ, на точкѣ зрѣнія Библіи, и преклоняю колѣна рядомъ съ этимъ чернымъ богомольцемъ, въ такомъ же набожномъ благоговѣніи.

Какое униженіе! Со всей моей наукой я не ушелъ далѣе бѣднаго, невѣжественнаго негра, еле умѣющаго читать по складамъ! Бѣдный Томъ видитъ, разумѣется, въ священной книгѣ еще болѣе глубокія истины, чѣмъ я, которому въ особенности неясна еще послѣдняя часть ея. Томъ понимаетъ ее, можетъ-быть, тѣмъ лучше, чѣмъ больше въ ней встрѣчается побоевъ, именно этихъ непрерывныхъ ударовъ бича, которые мнѣ иногда, при чтеніи Евангелія и исторіи апостоловъ, представлялись весьма неэстетичными. Бѣдный рабъ-негръ читаетъ одновременно и спиной, и потому понимаетъ гораздо лучше, чѣмъ мы. Зато смѣю льстить себя мыслью, что характеръ Моисея въ первой части священной книги мнѣ былъ болѣе понятенъ, чѣмъ ему.

Эта великая фигура немало импонировала мнѣ. Какой исполинскій образъ! Я не могу себѣ представить, чтобы Окъ, царь Базана, былъ болѣе великъ. Какимъ маленькимъ кажется Синай, когда Моисей стоитъ на немъ! Эта гора только пьедесталъ, на которомъ покоятся ноги этого человѣка, тогда какъ голова его уходитъ въ небо, гдѣ онъ бесѣдуетъ съ Богомъ...—Боже, прости мнѣ мое прегрѣшеніе, но мнѣ порой казалось, что этотъ Моисеевъ Богъ не болѣе, какъ лучезарное отраженіе самого Моисея, на котораго Онъ такъ удивительно похожъ, какъ въ гнѣвѣ, такъ и въ любви. Признать такое тождество Бога съ Его пророкомъ было бы большимъ грѣхомъ, было бы антропоморфизмомъ, — но сходство поразительно.

Прежде я не особенно любилъ Моисея, вѣроятно потому, что эллинскій духъ преобладалъ во мнѣ, и я не могъ простить еврейскому законодателю его ненависти ко всякой образности, къ пластикѣ. Я не видѣлъ, что Моисей, несмотря на свое враждебное отношеніе къ искусству, самъ былъ, однако, великимъ художникомъ и обладалъ истиннымъ художественнымъ духомъ. Только въ немъ, какъ и въ его египетскихъ одноплеменникахъ, этотъ художественный духъ былъ направленъ исключительно на колоссальное и непре-

ходящее. Но не изъ кирпича и гранита, какъ египтяне, создавалъ онъ свои художественныя произведенія; онъ строилъ человѣческія пирамиды, изсѣкалъ человѣческіе обелиски, онъ взялъ бѣдное пастушечье племя и создалъ изъ него народъ, которому суждено было тоже пережить вѣка, великій, вѣчный, священный народъ, народъ Божій, который могъ служить образцомъ всѣмъ другимъ народамъ, даже прототипомъ всему человѣчеству: онъ создалъ Израиля! Съ бо́льшимъ правомъ, чѣмъ римскій поэтъ, можетъ этотъ художникъ, сынъ Амрама и повивальной бабки Іохебетъ, хвалиться тѣмъ, что создалъ памятникъ, который переживетъ всѣ сооруженія изъ желѣза.

Какъ о создателѣ, такъ и о его произведеніи—евреяхъ, я никогда не говорилъ съ достодолжнымъ уваженіемъ, и опять-таки, конечно, въ силу моей эллинской натуры, которой былъ противенъ іудейскій аскетизмъ. Мое пристрастіе къ Элладѣ съ тѣхъ поръ уменьшилось. Я вижу теперь, что греки были только прекрасные юноши, евреи же были всегда мужи сильные, непреклонные мужи, не только во время оно, но и по сей день, несмотря на осьмнадцать вѣковъ гоненій и бѣдствій... Съ тѣхъ поръ я правильнѣе оцѣнилъ ихъ, и если бы всякая гордость своимъ рожденіемъ не была глупой несообразностью въ поборникѣ революціи и ея демократическихъ принциповъ, то пишущій эти строки могъ бы гордиться тѣмъ, что его предки принадлежали къ благородному дому Израиля, что онъ потомокъ тѣхъ мучениковъ, которые дали міру Бога и мораль, которые боролись и страдали на всѣхъ боевыхъ поляхъ человѣческой мысли.

Исторія среднихъ вѣковъ, и даже новѣйшаго времени, рѣдко отмѣчала въ своихъ лѣтописяхъ имена такихъ рыцарей Святого Духа, потому что они сражались обыкновенно со спущеннымъ забраломъ. Подвиги евреевъ такъ же мало извѣстны міру, какъ и ихъ настоящая сущность. Думаютъ, что знаютъ ихъ, потому что видѣли ихъ бороды; но больше никогда ничего не могли разглядѣть, и какъ въ средніе вѣка, такъ и въ настоящее время они представляютъ собой ходячую тайну. Можетъ-быть, она раскроется въ тотъ день, когда, какъ сказалъ пророкъ, будетъ только одно стадо и одинъ пастырь, и праведникъ, пострадавшій за спасеніе человѣчества, будетъ со славой признанъ всѣми.

Какъ видите, я, прежде обыкновенно цитировавшій Гомера, теперь цитирую Библію, какъ дядя Томъ. Въ самомъ дѣлѣ, я обязанъ ей многимъ. Какъ я уже сказалъ выше,

она снова пробудила во мнѣ религіозное чувство; и это возрожденіе религіознаго чувства было достаточно для поэта, которому, можетъ-быть, гораздо легче, чѣмъ другимъ смертнымъ, обходиться безъ положительныхъ догматовъ вѣры. На немъ высшая благодать, и его духу открывается символика неба и земли; для этого ему не нужно никакого церковнаго ключа. Въ этомъ отношеніи на мой счетъ ходятъ самые нелѣпые и противорѣчивые слухи. Очень набожные, но не особенно умные люди протестантской Германіи съ большой настойчивостью спрашивали меня, отношусь ли я теперь, сдѣлавшись больнымъ и вѣрующимъ, съ бо́льшей, чѣмъ прежде, симпатіей къ лютеранско-евангелическому исповѣданію, которое исповѣдывалъ до сихъ поръ только офиціально и съ вялымъ равнодушіемъ? Нѣтъ, любезные друзья, въ этомъ отношеніи со мной не произошло никакой перемѣны, и если я вообще принадлежу къ евангелическому вѣроисповѣданію, то это происходитъ оттого, что оно меня и теперь нисколько не стѣсняетъ, какъ мало стѣсняло и прежде. Разумѣется, признаюсь въ этомъ откровенно, когда я жилъ въ Пруссіи, и въ особенности въ Берлинѣ, какъ многіе мои друзья, я охотно отрекся бы отъ всякихъ церковныхъ узъ, если бы тамошнія власти не воспрещали пребыванія въ Пруссіи, а въ особенности въ Берлинѣ, всякому, кто не придерживался ни одной изъ государственно привилегированныхъ положительныхъ религій. Какъ Генрихъ IV однажды сказалъ, смѣясь: «Paris vaut bien une messe», такъ и я имѣлъ бы право сказать: «Berlin vaut bien une prêche» и спокойно мирился, и до и послѣ того, съ тѣмъ христіанствомъ, которое можно было найти въ ту пору въ берлинскихъ церквахъ, христіанствомъ, весьма просвѣщеннымъ и очищеннымъ отъ всякаго суевѣрія . . . . . Но вѣдь тогда еще я самъ считалъ себя божествомъ, и ни одна изъ положительныхъ религій не представлялась мнѣ цѣннѣе другихъ . . . . . .

Но теперь, благодаря проснувшемуся во мнѣ религіозному чувству, а также физическимъ страданіямъ, во мнѣ произошли разнаго рода перемѣны—теперь соотвѣтствуетъ ли сущность лютеранскаго вѣроисповѣданія до извѣстной степени моему сокровеннѣйшему образу мыслей? Въ какой мѣрѣ офиціальное исповѣдываніе стало для меня истиной? На этотъ вопросъ я не дамъ прямого отвѣта, воспользуюсь имъ только какъ случаемъ освѣтить тѣ заслуги, которыя, по моему теперешнему воззрѣнію, протестантизмъ оказалъ

для блага міра; а по этому можно будетъ судить, насколько онъ усилилъ мою симпатію къ нему.

Прежде, когда философія имѣла для меня первенствующій интересъ, я цѣнилъ протестантизмъ только за то, что онъ завоевалъ себѣ свободу мысли, ибо вѣдь она—та почва, на которой впослѣдствіи могли дѣйствовать Лейбницъ, Кантъ и Гегель. Лютеръ, этотъ могучій человѣкъ съ топоромъ въ рукѣ, долженъ былъ пройти впереди этихъ воиновъ и прорубить имъ дорогу. Въ этомъ смыслѣ я на реформацію смотрѣлъ, какъ на начало нѣмецкой философіи, и этимъ оправдывалъ то увлеченіе, съ какимъ я ратовалъ за протестантизмъ. Теперь, въ болѣе зрѣлые годы, когда во мнѣ снова съ преобладающей силой заволновалось религіозное чувство, и когда потерпѣвшій крушеніе метафизикъ крѣпко ухватился за Библію—теперь я особенно цѣню въ протестантизмѣ ту заслугу, что онъ открылъ, и распространилъ эту священную книгу. Я говорю «открылъ», потому что евреи, спасшіе ее изъ великаго пожара второго храма и въ изгнаніи носившіе ее всюду съ собой, какъ переносное отечество, въ продолженіе всѣхъ среднихъ вѣковъ тщательно прятали это сокровище въ своемъ гетто, куда нѣмецкіе ученые, предшественники и иниціаторы реформаціи, прокрадывались, чтобы выучиться еврейскому языку и такимъ образомъ добыть ключъ къ шкатулкѣ, въ которой хранилось сокровище. Такимъ ученымъ былъ славный Рейхлинъ, и враги его, Гохстраатены и К° въ Кельнѣ, которыхъ принято представлять туноумными обскурантами, не были вовсе такими глупыми простаками, а напротивъ, были дальновидными инквизиторами, предвидѣвшими тѣ бѣдствія, какія принесетъ католической церкви знакомство съ священнымъ писаніемъ; отсюда ихъ ревностное преслѣдованіе всѣхъ еврейскихъ сочиненій, которыя они совѣтовали сжечь всѣ безъ исключенія, въ то же время стараясь истребить толкователей этихъ священныхъ писаній, евреевъ, натравливаніемъ на нихъ черни. Теперь, когда причины этихъ происшествій разоблачены, мы видимъ, что въ сущности всѣ были правы. Кельнскіе обскуранты думали, что душевному спасенію міра грозитъ опасность, и всякія средства, даже ложь и убійство, казались имъ дозволенными, въ особенности по отношенію къ евреямъ. Бѣдный низшій классъ народа, дѣти наслѣдственной нищеты, ненавидѣлъ евреевъ уже за накопленныя ими богатства, и то, что нынѣ называется ненавистью пролетаріевъ къ богатымъ вообще, на-

зывалось тогда ненавистью къ евреямъ. Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ этимъ послѣднимъ былъ закрытъ всякій доступъ къ земельной собственности и всякій заработокъ посредствомъ ремесла, и единственными, предоставленными имъ занятіями были торговля и денежныя операціи, которыя церковь запрещала вѣрующимъ, то они, евреи, самимъ закономъ были обречены на то, чтобы богатѣть, возбуждать ненависть и быть убиваемыми. Эти убійства въ то время, правда, прикрывались религіознымъ плащемъ, и говорилось, что должно убивать тѣхъ, которые нѣкогда убили нашего Господа. Странное дѣло! Именно тотъ народъ, который далъ міру Бога, и вся жизнь котораго была проникнута только благоговѣйнымъ страхомъ Божіимъ—онъ былъ ославленъ богоубійцей! Кровавую пародію подобнаго же безумія мы видѣли въ Санъ-Доминго, когда тамъ вспыхнула революція, и толпа негровъ, огнемъ и мечомъ опустошавшая плантаціи, имѣла у себя во главѣ чернокожаго фанатика, который несъ огромное распятіе и кровожадно кричалъ: «Бѣлые умертвили Христа, будемъ убивать всѣхъ бѣлыхъ!»

Да, евреямъ, которымъ обязанъ міръ своимъ Богомъ, обязанъ онъ и словомъ Божіимъ, Библіей; они спасли ее изъ банкротства римской имперіи, въ продолженіе дико буйнаго періода переселенія народовъ хранили драгоцѣнную книгу, пока, наконецъ, протестантизмъ не открылъ ее у нихъ, не перевелъ найденную книгу на родной языкъ и не распространилъ по всему свѣту. Это распространеніе принесло самые благословенные плоды, и оно продолжается и по сей день, когда пропаганда Библейскаго Общества есть выполненіе божественной миссіи, которая важнѣе, и во всякомъ случаѣ будетъ имѣть совсѣмъ другія послѣдствія, чѣмъ думаютъ набожные джентльмены этой британской компаніи по пропагандѣ христіанства. Они думаютъ установить господство крошечной, узкой догматики и подчинить небо такъ же, какъ и море, своей монополіи, сдѣлать его собственностью британской церкви,—а на дѣлѣ, сами того не зная, они содѣйствуютъ гибели всѣхъ протестантскихъ сектъ, черпающихъ жизнь въ Библіи и распускающихся во всеобщемъ библействѣ. Они способствуютъ появленію великой демократіи, въ которой каждый человѣкъ будетъ не только королемъ, но и епископомъ въ своемъ замкѣ; распространяя Библію по всему свѣту, стараясь, такъ сказать, сунуть ее въ руки всему человѣчеству путемъ всякихъ меркантильныхъ уловокъ, контрабанды и обмѣна, и предоставляя тол-

лишился слуха и зрѣнія и кинулся обратно въ свою лодку, и залѣзъ подъ сѣти, стуча зубами и дрожа, какъ будто бы сатана уже крѣпко держалъ его за ногу. Скоро послѣ того, три монаха также вернулись къ лодкѣ и отчалили. Когда, наконецъ, они пристали къ другому берегу озера и вышли изъ лодки, рыбакъ сумѣлъ такъ ловко выскользнуть изъ своей засады, что монахи подумали, что онъ поджидалъ ихъ за ивами; одинъ изъ нихъ снова сунулъ ему въ руку своими ледяными пальцами деньги за перевозъ, и они быстро удалились.

Какъ ради спасенія своей собственной души, которое, по его мнѣнію, находилось въ опасности, такъ и для того, чтобы охранить другихъ христіанъ отъ погибели, рыбакъ счелъ своимъ долгомъ донести духовному суду о страшномъ приключеніи, и такъ какъ настоятель ближайшаго францисканскаго монастыря пользовался большимъ уваженіемъ, какъ предсѣдатель духовнаго суда, и въ особенности, какъ ученый заклинатель, то рыбакъ рѣшилъ непосредственно обратиться къ нему. Восходъ солнца засталъ поэтому рыбака уже на дорогѣ къ монастырю, а вскорѣ онъ стоялъ уже со смиреннымъ видомъ передъ его преподобіемъ, настоятелемъ, который сидѣлъ въ своей библіотекѣ, въ креслѣ, низко опустивъ капюшонъ на лицо, и въ этой задумчивой позѣ оставался все время, пока рыбакъ разсказывалъ свою страшную исторію. Но когда тотъ окончилъ свое донесеніе, настоятель поднялъ голову, капюшонъ откинулся назадъ, и остолбенѣвшій рыбакъ увидѣлъ, что его преподобіе—одинъ изъ тѣхъ трехъ монаховъ, которые ежегодно переѣзжали черезъ озеро, и узналъ въ немъ именно того, кого онъ этой ночью видѣлъ въ образѣ языческаго демона на побѣдной колесницѣ, запряженной львами; это было то же самое блѣдное, какъ мраморъ, лицо, тѣ же правильно прекрасныя черты, тотъ же ротъ съ нѣжнымъ изгибомъ губъ... И на этихъ губахъ блуждала благосклонная улыбка, и изъ этихъ устъ вылились теперь сладкозвучныя елейныя слова: «Возлюбленный сынъ во Христѣ! Отъ всего сердца мы вѣримъ, что эту ночь вы провели въ сообществѣ бога Вакха, и вашъ фантастическій разсказъ о привидѣніяхъ достаточно доказываетъ это. Мы вовсе не хотимъ сказать что-нибудь дурное объ этомъ богѣ; конечно, онъ часто бываетъ сокрушителемъ заботъ и радуетъ сердце человѣка, но онъ очень опасенъ для тѣхъ, кто не можетъ много перенести, и вы, кажется, принадлежите къ такимъ людямъ. Поэтому мы со-

вѣтуемъ вамъ съ этихъ поръ наслаждаться лишь въ мѣру золотистымъ сокомъ винограда и не докучать болѣе духовнымъ властямъ бредомъ опьянѣнія, а также молчать о вашемъ послѣднемъ видѣніи, молчать совсѣмъ, не раскрывая рта; въ противномъ случаѣ мірская рука палача должна будетъ отсчитать вамъ двадцать пять ударовъ плетью. А теперь, возлюбленный сынъ во Христѣ, ступайте на монастырскую кухню, гдѣ вамъ братъ-келарь и братъ-трапезарь предложатъ закусить».

Затѣмъ преподобный отецъ далъ рыбаку свое благословеніе, и когда тотъ въ смущеніи доплелся до кухни и увидѣлъ брата-келаря и брата-трапезаря, то онъ чуть не упалъ на землю отъ испуга, потому что оба они оказались двумя ночными спутниками настоятеля, тѣми двумя монахами, которые вмѣстѣ съ нимъ переѣзжали черезъ озеро, и рыбакъ призналъ брюхо и плѣшь одного, точно такъ же, какъ насмѣшливо безстыдныя черты лица и козлиныя уши другого. Все это онъ, однако, держалъ за зубами, и лишь въ позднѣйшіе годы разсказалъ эту исторію своимъ близкимъ.

Старыя хроники, которыя разсказываютъ сходныя съ этой легенды, переносятъ мѣсто дѣйствія въ Шпейеръ на Рейнѣ.

На восточно-фризскомъ побережьѣ господствуетъ аналогичное преданіе, въ которомъ яснѣе, чѣмъ гдѣ-либо, выступаютъ лежащія въ основѣ всѣхъ этихъ сказаній древнеязыческія представленія о переправѣ мертвыхъ въ царство тѣней. О Харонѣ, управляющемъ лодкой, тамъ, правда, нигдѣ нѣтъ рѣчи, какъ и вообще этотъ старый чудакъ удержался не въ народныхъ преданіяхъ, а только въ кукольной игрѣ; но гораздо болѣе важное миѳологическое лицо мы находимъ въ такъ-называемомъ «экспедиторѣ», который заботится о переправѣ умершихъ и отсчитываетъ слѣдуемыя за перевозъ деньги перевозчику, который исполняетъ обязанности Харона и является простымъ рыбакомъ. Несмотря на его причудливую маску, мы скоро отгадаемъ настоящее имя этого лица, и потому я хочу передать здѣсь само преданіе какъ можно точнѣе.

Въ восточной Исландіи, по берегу Сѣвернаго моря, есть бухты, которыя образуютъ нѣчто въ родѣ маленькихъ гаваней и называются «Siele». На самыхъ крайнихъ выступахъ этихъ заливчиковъ стоитъ одинокій домикъ какого-нибудь рыбака, который живетъ здѣсь съ своей семьей, спокойный и довольный. Природа тамъ печальна, не поетъ

ни одна птица, кромѣ развѣ морскихъ чаекъ, которыя порой съ зловѣщимъ крикомъ вылетаютъ изъ своихъ гнѣздъ въ пескѣ дюнъ и предвѣщаютъ бурю. Монотонный плескъ волнующагося моря очень хорошо подходитъ къ темнымъ грядамъ облаковъ. Люди тоже здѣсь не поютъ, и на этомъ меланхолическомъ берегу не услышишь никогда строфы народной пѣсни. Люди въ этой странѣ серьезны, честны, болѣе разсудочны, чѣмъ религіозны, и гордятся своей отвагой и свободой своихъ предковъ. Такіе люди не склонны къ полету фантазіи и не особенно пытливы. Для рыбака, живущаго въ своей уединенной бухтѣ, главное — рыбная ловля, и кое-когда плата за перевозъ путешественниковъ, желающихъ переправиться на какой-нибудь изъ близлежащихъ острововъ Сѣвернаго моря. Въ урочное время года, какъ говорятъ, какъ разъ въ полуденный часъ, когда рыбакъ со своей семьей сидитъ за столомъ, уничтожая обѣдъ, входитъ въ большую горницу проѣзжій и проситъ хозяина удѣлить ему нѣсколько минутъ, чтобы поговорить о дѣлѣ. Рыбакъ, послѣ тщетныхъ упрашиваній гостя принять сперва участіе въ обѣдѣ, исполняетъ, наконецъ, его желаніе, и оба они отходятъ въ сторону къ стоящему въ углу столику. Я не стану долго описывать наружность незнакомца, по образцу праздныхъ беллетристовъ; для той цѣли, которую я себѣ поставилъ, достаточно будетъ точнаго обозначенія примѣтъ. Итакъ, я отмѣчу слѣдующее: незнакомецъ—человѣчекъ уже въ лѣтахъ, но хорошо сохранившійся, моложавый старикъ, сытый, но не жирный, щеки его румяны, какъ дорсдорфскія яблоки, глазки весело бѣгаютъ во всѣ стороны, и напудренная головенка покрыта треугольной шляпенкой. Подъ свѣтло-желтымъ гуппеландомъ съ безчисленнымъ множествомъ воротниковъ, незнакомецъ носитъ старомодное платье, какое мы видимъ на портретахъ голландскихъ купцовъ и которое показываетъ извѣстную зажиточность: шелковый камзолъ цвѣта зеленаго попугая, вышитый цвѣточками жилетъ, короткіе черные панталончики, полосатые чулки и башмаки съ пряжками; послѣдніе такъ блестящи, что непонятно, какъ можно было, такъ не загрязнившись, пройти пѣшкомъ по илистой дорогѣ бухты. Голосъ у него задыхающійся, пискливый и подчасъ переходящій въ дребезжаніе, но рѣчь и движенія человѣчка степенно размѣрены, какъ и подобаетъ голландскому купцу. Степенность эта, впрочемъ, повидимому, болѣе напускная, чѣмъ естественная, и ей противорѣчатъ подчасъ пытливые взгляды глазенокъ

то туда, то сюда, а также плохо сдерживаемая подвижность рукъ и ногъ. Голландскаго купца обличаетъ въ немъ не одна только одежда, но и та меркантильная точность и осмотрительность, съ какой онъ умѣетъ устроить дѣло какъ можно выгоднѣе для своего довѣрителя. По его словамъ, онъ экспедиторъ, и принялъ отъ одного изъ своихъ пріятелей порученіе доставить извѣстное число душъ, сколько ихъ можетъ помѣститься въ обыкновенной лодкѣ, съ восточно-фризскаго берега на Бѣлый островъ; для такой надобности,—продолжаетъ онъ:—ему хотѣлось бы знать, не пожелаетъ ли лодочникъ этой ночью перевезти на своей лодкѣ упомянутый грузъ на названный островъ, и въ такомъ случаѣ онъ готовъ выплатить впередъ деньги за перевозъ, твердо надѣясь, что по христіанской скромности хозяинъ запроситъ очень недорого. Голландскій купецъ (это собственно плеоназмъ, потому что всякій голландецъ—купецъ) дѣлаетъ это предложеніе съ величайшей непринужденностью, какъ будто бы дѣло шло о грузѣ сыру, а не о душахъ умершихъ. Рыбакъ смущается нѣсколько при словѣ «души», и у него проходитъ слегка морозъ по спинѣ, когда онъ сейчасъ же замѣчаетъ, что рѣчь идетъ о душахъ умершихъ и что передъ нимъ привидѣніе—голландецъ, который уже многимъ изъ его товарищей поручалъ переправу душъ умершихъ и хорошо платилъ за это. Впрочемъ, какъ я уже замѣтилъ выше, эти жители восточно-фризскихъ береговъ люди мужественные, здоровые и разумные, и у нихъ нѣтъ той болѣзненности и той силы воображенія, которыя дѣлаютъ насъ воспріимчивыми къ призрачному и сверхчувственному; тайная боязнь нашего рыбака длится поэтому лишь одно мгновеніе; подавивъ свое непріятное ощущеніе, онъ скоро овладѣваетъ собой и съ видомъ величайшей невозмутимости думаетъ лишь о томъ, какъ бы по возможности выше назначить плату за перевозъ. Однако, нѣсколько поторговавшись, обѣ стороны сходятся въ цѣнѣ, для скрѣпленія сдѣлки ударяютъ по рукамъ, и голландецъ, вытащивъ грязный кожаный кошель, наполненный одними лишь маленькими серебряными пфеннигами, самыми маленькими, какіе были когда-либо чеканены въ Голландіи, отсчитываетъ всю сумму платы за перевозъ этой красивенькой монетой. Давши затѣмъ рыбаку инструкцію—въ полночь, когда мѣсяцъ выйдетъ изъ облаковъ, находиться съ лодкой въ назначенномъ мѣстѣ у берега, чтобы принять грузъ, онъ прощается со всѣмъ семействомъ, которое напрасно повторяло свое приглашеніе

пообѣдать вмѣстѣ, и его только-что столь степенная фигура удаляется, сѣменя, легкими шажками.

Въ назначенное время рыбакъ находится въ назначенномъ мѣстѣ на своей лодкѣ, которая сначала покачивается на волнахъ; но послѣ того, какъ показывается полный мѣсяцъ, лодочникъ замѣчаетъ, что суденышко его не такъ легко двигается и все глубже садится въ воду, такъ что, наконецъ, вода становится всего на ладонь отъ краевъ. Это обстоятельство показываетъ ему, что теперь его пассажиры, души, должны быть на бортѣ судна, и онъ отчаливаетъ со своимъ грузомъ. Какъ ни напрягаетъ онъ зрѣніе, не видитъ въ лодкѣ ничего, кромѣ нѣсколькихъ струекъ тумана, которыя двигаются туда и сюда, но не принимаютъ никакой опредѣленной формы и сливаются одна съ другой. Какъ бы также онъ ни прислушивался, все-таки онъ не услышитъ ничего, кромѣ несказанно тихаго стрекотанья и потрескиванья. Порой лишь чайка, вереша, проносится надъ его головой, или рыба вынырнетъ неподалеку изъ воды и тупо таращитъ на него глаза. Широко зіяетъ ночь, и холоднѣе становится морской воздухъ. Всюду лишь вода, лунный свѣтъ и тишь, и такъ же молчаливъ, какъ все вокругъ, рыбакъ, достигшій, наконецъ, Бѣлаго острова и причаливающій свой челнокъ. На берегу онъ не видитъ никого, но слышитъ скрипучій, задыхающійся и дребезжащій голосъ, въ которомъ онъ признаетъ голосъ голландца; повидимому, этотъ голосъ читаетъ списокъ однихъ лишь собственныхъ именъ, и читаетъ какимъ-то особымъ однообразнымъ тономъ провѣрки; изъ этихъ именъ нѣкоторыя знакомы рыбаку и принадлежатъ людямъ, умершимъ въ этомъ году. По мѣрѣ чтенія этого списка именъ, челнокъ становится все легче, и если только-что онъ такъ тяжело сидѣлъ въ прибрежномъ пескѣ, то какъ только чтеніе окончено, онъ вдругъ легко поднимается, и рыбакъ, который заключаетъ изъ этого, что грузъ его принятъ, спокойно отправляется обратно къ женѣ и дѣтямъ въ свой милый домикъ на заливѣ.

Такъ происходитъ всякій разъ переправа душъ на Бѣлый островъ. Какъ особый случай, лодочникъ замѣтилъ однажды, что невидимый контролеръ, прочитывая списокъ именъ, вдругъ остановился и воскликнулъ: «Гдѣ же Питеръ Янсенъ? Это не Питеръ Янсенъ». На это тоненькій жалобный голосокъ отвѣтилъ: «Iok bin Pitter Jansen's Mieke un hebb mi op mines Manns Noame inskreberen laten».

(Я Мике Питера Янсена и записалась подъ именемъ своего мужа).

Выше я вызвался, несмотря на хитрое переодѣванье, отгадать важную миѳологическую особу, которая является на сцену въ этомъ преданіи. Это ни больше, ни меньше, какъ богъ Меркурій, бывшій вожатый душъ, Гермесъ Психопомпосъ. Да, подъ этимъ потертымъ гушеландомъ и въ этой сухой фигурѣ торгаша скрывается блистательнѣйшій юный языческій богъ, умный сынъ Майи. На его треугольной шляпенкѣ не найдется ни одного малѣйшаго перышка, которое могло бы напомнить о крылышкахъ божественнаго головного убора, и неуклюжіе башмаки со стальными пряжками отнюдь не напоминаютъ окрыленныхъ сандалій; этотъ голландски тяжеловѣсный свинецъ такъ непохожъ на подвижную ртуть, которой богъ сообщилъ даже свое имя; но именно этотъ контрастъ выдаетъ предвзятую мысль, и богъ выбралъ эту маску, чтобы тѣмъ безопаснѣе скрывать себя. Но, можетъ-быть, онъ выбралъ ее вовсе не по произвольному капризу; Меркурій былъ, какъ вы знаете, одновременно богомъ воровъ и купцовъ, и при выборѣ маски, которая могла бы его укрыть, и ремесла, которое могло бы его прокормить, естественно было ему сообразоваться со своимъ прошлымъ и со своими талантами. Таланты были испытаны: онъ былъ самый изобрѣтательный изъ олимпійцевъ, онъ изобрѣлъ черепаховую лиру и солнечный газъ, онъ обкрадывалъ людей и боговъ, и уже въ ребячествѣ былъ маленькимъ Кальмоніемъ, который улизнулъ изъ колыбели, чтобы стибрить пару быковъ. Ему предстояло выбирать изъ двухъ ремеслъ, между которыми по существу мало различія, такъ какъ оба ставятъ своей задачей—возможно дешево пріобрѣтать чужую собственность; но хитроумный богъ сообразилъ, что воровское сословіе въ общественномъ мнѣніи далеко не пользуется такимъ высокимъ уваженіемъ, какъ торговое, что первое преслѣдуется полиціей, тогда какъ второе даже привилегировано законами, что купцы взлѣзаютъ теперь на самую высокую ступень лѣстницы почестей, тогда какъ члены воровского сословія принуждены бываютъ иногда подниматься по менѣе пріятной лѣстницѣ, что они рискуютъ свободой и жизнью, тогда какъ купецъ можетъ потерять лишь свои капиталы или капиталы своихъ друзей—и вотъ хитрѣйшій изъ боговъ сталъ купцомъ, а чтобы быть купцомъ вполнѣ, онъ сталъ къ тому же голландцемъ. Его долговременная практика въ

качествѣ бывшаго психопомпа, вожатаго тѣней, сдѣлали его особенно пригоднымъ для отправки душъ, и онъ, какъ мы видѣли, занимался переправой ихъ на Бѣлый островъ.

Бѣлый островъ иногда также называется Бреа или Британія. Можетъ-быть, здѣсь разумѣется бѣлый Альбіонъ, известковыя скалы англійскихъ береговъ. Это была бы юмористическая мысль — назвать Англію страной мертвыхъ, царствомъ Плутона, преисподней. Иному чужестранцу Англія въ самомъ дѣлѣ можетъ показаться въ такомъ видѣ.

Въ моей попыткѣ изслѣдованія легенды о Фаустѣ я уже достаточно говорилъ о народныхъ повѣрьяхъ по отношенію къ царству Плутона и къ нему самому. Я показалъ тамъ, какъ древнее царство тѣней стало въ этомъ вѣрованіи вполнѣ организованнымъ адомъ и какъ старый мрачный властитель его совсѣмъ превратился въ дьявола. Но все это звучитъ такъ рѣзко только благодаря канцелярскому слогу католическихъ книгъ; вопреки церковной анаѳемѣ, положеніе Плутона осталось въ сущности то же самое. Онъ, богъ подземнаго міра, и братъ его Нептунъ, богъ моря, оба они не эмигрировали, какъ прочіе боги, и послѣ побѣды христіанства попрежнему остались въ своихъ владѣніяхъ, въ своей стихіи. Какія бы басни ни слагались о старомъ Плутонѣ здѣсь вверху, на землѣ, онъ внизу все-таки жилъ себѣ въ теплѣ и холѣ подлѣ своей Прозерпины. Гораздо менѣе всякихъ бѣдствій, чѣмъ Плутонъ, претерпѣлъ братъ его Нептунъ, и ни звонъ колоколовъ, ни звуки органа не могли рѣзать его слухъ тамъ, въ глубинѣ океана, гдѣ онъ мирно сидѣлъ подлѣ своей бѣлогрудой жены Амфитриты и своей мокрой придворной свиты нереидъ и тритоновъ. Лишь иногда, когда какой-нибудь молодой морякъ въ первый разъ переѣзжалъ экваторъ, онъ поднимался изъ своей пучины, помахивая трезубцемъ, съ вѣнкомъ изъ тростника на головѣ и съ ниспадающей до пупа серебряной бородой изъ волнъ. Онъ подвергалъ тогда неофита страшному морскому купанью и держалъ къ нему при этомъ длинную назидательную рѣчь, обильную грубыми матросскими шуточками, которыя онъ, вмѣстѣ съ желтымъ пережеваннымъ табакомъ, скорѣе выплескивалъ, чѣмъ выговаривалъ, на потѣху своихъ осмоленныхъ слушателей. Мой другъ, который подробно описалъ мнѣ, какъ на корабляхъ разыгрывается матросами такая водяная мистерія, увѣрялъ, что именно тѣ матросы, которыхъ всѣхъ больше смѣшитъ забавное паясничество Нептуна, все же ни на одну минуту не сомнѣваются въ суще-

ствованіи этого морского бога и иногда въ большихъ опасностяхъ молятся ему.

Итакъ, Нептунъ остался властителемъ водяного царства, какъ Плутонъ, несмотря на свое одьяволеніе, остался княземъ подземнаго міра. Имъ повезло больше, чѣмъ ихъ брату Юпитеру, третьему сыну Сатурна, который, свергнувъ своего отца, получилъ владычество на небѣ, и какъ повелитель міра, на Олимпѣ, съ блестящей свитой смѣющихся боговъ, богинь и почетныхъ нимфъ, беззаботно правилъ своимъ царствомъ среди божественныхъ наслажденій. Когда разразилась надъ богами злополучная катастрофа, великій Кронидъ также эмигрировалъ, и затѣмъ онъ исчезъ въ сутолокѣ переселенія народовъ. Слѣдъ его потерялся, и напрасно я допытывался у старыхъ хроникъ и старыхъ женщинъ— никто не могъ мнѣ дать свѣдѣній о его судьбѣ. Съ той же цѣлью я перерылъ много книгохранилищъ, гдѣ мнѣ показывали великолѣпнѣйшіе кодексы, украшенные золотомъ и драгоцѣнными камнями—настоящихъ одалисокъ въ гаремѣ науки, и я публично высказываю здѣсь обычную благодарность ученымъ евнухамъ за сговорчивость и даже привѣтливость, съ какими они открывали для меня эти сіяющія сокровища. Повидимому, не сохранилось никакихъ народныхъ преданій о средневѣковомъ Юпитерѣ, и все, что я могъ добыть, заключается въ одной исторіи, которую мнѣ разсказалъ однажды мой другъ, Нильсъ Андерсенъ.

Только-что я назвалъ Нильса Андерсена, и въ моемъ воспоминаніи снова встаетъ, какъ живой, его милый, забавный образъ. Хочу посвятить ему здѣсь нѣсколько строкъ. Я охотно указываю свои источники и объясняю ихъ достоинства, чтобы благосклонный читатель самъ могъ судить, насколько они заслуживаютъ его довѣрія. Итакъ, нѣсколько словъ о моемъ источникѣ.

Нильсъ Андерсенъ, родившійся въ Дронтгеймѣ, въ Норвегіи, былъ однимъ изъ величайшихъ китолововъ, какихъ я когда-либо зналъ. Я ему очень обязанъ. Ему я одолженъ всѣми своими познаніями по отношенію къ ловлѣ китовъ. Онъ познакомилъ меня со всѣми уловками, къ какимъ прибѣгаетъ умное животное, чтобы ускользнуть отъ охотника; онъ посвятилъ меня въ тѣ военныя хитрости, которыми побѣждаются эти уловки. Онъ научилъ меня пріемамъ при закидываніи гарпуновъ, показалъ мнѣ, какъ нужно колѣномъ правой ноги упереться въ передній бортъ челнока, когда бросаешь гарпунъ въ кита, и какъ лѣвой ногой дать здо-

роваго пинка матросу, который недостаточно быстро выпустилъ веревку, прикрѣпленную къ гарпуну. Ему я обязанъ всѣмъ, и если я не сталъ великимъ китоловомъ, то вина въ этомъ ни Нильса Андерсена, ни моя, а моей злой судьбы, которая не дала мнѣ на моемъ жизненномъ пути встрѣтить какого-нибудь кита, съ которымъ я могъ бы вступить въ достойный бой. Я встрѣчалъ только обыкновенную треску и жалкихъ селедокъ. Что подѣлаетъ самый лучшій гарпунъ съ какой-нибудь селедкой? Теперь я долженъ отказаться отъ всякой мысли объ охотѣ, потому что ноги у меня отнялись. Когда я познакомился съ Нильсомъ Андерсеномъ въ Рицебюттелѣ у Кукставена, у него съ ногами тоже было уже неладно, такъ какъ на Сенегалѣ молодая акула, которая, можетъ-быть, приняла его правую ногу за леденецъ, откусила ему ее, и бѣдный Нильсъ долженъ былъ съ тѣхъ поръ ковылять на деревяжкѣ. Величайшимъ удовольствіемъ для него въ ту пору было сидѣть на высокой бочкѣ и барабанить по ея пузатымъ бокамъ своей деревянной ногой. Я часто помогалъ ему вскарабкаться на бочку, но иногда не хотѣлъ ему помочь слѣзть обратно, пока онъ не разскажетъ мнѣ одно изъ своихъ чудныхъ рыбачьихъ преданій.

Какъ Мухаммедъ Эбнъ-Мансуръ начиналъ свои пѣсни всегда похвалою лошади, такъ и Нильсъ Андерсенъ всѣ свои исторіи начиналъ апологіей кита. Легенда, которую мы разсказываемъ здѣсь съ его словъ, также не обошлась безъ такого прославленія. Китъ, говорилъ Нильсъ Андерсенъ, не только величайшее, но и прекраснѣйшее животное. Изъ двухъ носовыхъ отверстій на головѣ его выбрасываются двѣ колоссальныхъ струи воды, которыя придаютъ ему видъ чуднаго фонтана, и въ особенности ночью при лунномъ свѣтѣ производятъ волшебный эффектъ. При этомъ онъ добродушенъ, миролюбивъ и питаетъ большую склонность къ тихой семейной жизни. Трогательное зрѣлище представляется намъ, когда китъ-отецъ располагается со своими на громадной льдинѣ, когда и старъ, и младъ вокругъ него наперерывъ забавляются мирной игрой и беззаботнымъ поддразниваніемъ другъ друга. Иногда всѣ сразу прыгаютъ въ воду, чтобы поиграть въ жмурки между большими ледяными глыбами. Чистота нравовъ и цѣломудріе китовъ поддерживаются гораздо болѣе ледяной водой, въ которой они постоянно помахиваютъ плавниками, чѣмъ нравственными принципами. . . . . .

«Исторія, которую я хочу вамъ разсказать теперь,—продолжалъ Нильсъ Андерсенъ:—происходитъ на Кроличьемъ островѣ. Не могу вамъ точно указать, гдѣ находится этотъ островъ. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ былъ открытъ, никто еще не могъ его достигнуть снова; этому мѣшали громадныя ледяныя горы, которыя громоздятся вокругъ острова и, можетъ-быть, лишь изрѣдка позволяютъ къ нему приблизиться. Только матросы одного русскаго китолова, которыхъ когда-то сѣверныя бури забросили такъ высоко на сѣверъ, ступили на почву этого острова, и съ тѣхъ поръ уже протекло сто лѣтъ. Когда эти матросы причалили туда на челнокѣ, они нашли островъ безлюднымъ и пустыннымъ. Печально покачивались стебли дрока надъ сыпучимъ пескомъ; лишь тамъ и сямъ стояло нѣсколько карликовъ-елей, или изгибался по землѣ самый безплодный кустарникъ. Кругомъ они увидали множество прыгающихъ кроликовъ, почему и дали этому мѣсту названіе Кроличьяго острова. Одна лишь единственная жалкая избушка указывала на то, что здѣсь обитаетъ человѣческое существо. Когда моряки вошли въ избушку, они увидѣли древняго старца, въ жалкой одеждѣ изъ сшитыхъ вмѣстѣ кроличьихъ шкуръ, который сидѣлъ на камнѣ у очага и грѣлъ надъ пылающимъ хворостомъ свои тощія руки и трясущіяся колѣни. Подлѣ него справа стояла громадная птица, повидимому, орелъ, но время такъ немилосердно общипало его, что у него сохранились лишь длинныя, взъерошенныя перья крыльевъ, и это придавало голой птицѣ въ высшей степени глупый и въ то же время ужасающе омерзительный видъ. По лѣвую руку старика прикурнула на полу необычайно большая безшерстая коза, повидимому, очень старая, хотя на животѣ ея висѣли еще два полныхъ вымени съ розоватыми свѣжими сосками.

«Между русскими матросами, высадившимися на Кроличій островъ, было нѣсколько грековъ, и одинъ изъ нихъ, не думая, что хозяинъ хижины его пойметъ, сказалъ своему товарищу на греческомъ языкѣ: «Этотъ старый шутъ или привидѣніе, или злой духъ». Но при этихъ словахъ старикъ вдругъ поднялся съ своего каменнаго сидѣнья, и моряки въ большомъ изумленіи увидѣли высокую статную фигуру, которая, несмотря на глубокую старость, держалась гордо, съ повелительнымъ, почти царскимъ достоинствомъ, и голова почти касалась балокъ потолка; черты лица, хотя поблекшія и изношенныя, свидѣтельствовали также о былой красотѣ; это были благородныя, строго правильныя черты;

нѣсколько серебряныхъ прядей весьма скудно ниспадало на лобъ, изборожденный годами и гордостью, взглядъ его былъ безцвѣтный и тупой, но все же пронзительный, и съ высоко приподнятыхъ устъ полились на древне-греческомъ нарѣчіи ласкающія слухъ и благозвучныя слова: «Вы заблуждаетесь, молодой человѣкъ, я не привидѣніе и не злой духъ; я несчастный, который нѣкогда видѣлъ лучшіе дни. А вы кто такіе?»

«Моряки разсказали тутъ ему о своихъ злоключеніяхъ въ пути и просили у него свѣдѣній обо всемъ, что̀ касалось острова. Но свѣдѣнія оказались очень скудны. Съ незапамятныхъ временъ, говорилъ старикъ, живетъ онъ на островѣ, ледяныя укрѣпленія котораго даютъ ему безопасное убѣжище отъ его неумолимыхъ враговъ. Живетъ онъ, главнымъ образомъ, ловлей кроликовъ, и ежегодно въ ту пору, когда плавающія ледяныя горы останавливаются, пріѣзжаетъ на саняхъ нѣсколько партій дикарей, которымъ онъ продаетъ свои кроличьи шкурки и которые въ уплату надѣляютъ его разными предметами первой необходимости. Любимымъ обществомъ для него служатъ киты, которые иногда приплываютъ къ острову. Однако, ему доставляетъ теперь удовольствіе говорить опять на своемъ родномъ языкѣ, такъ какъ онъ самъ грекъ; онъ просилъ также своихъ земляковъ сообщить ему какія-нибудь вѣсти о теперешнемъ положеніи Греціи. Извѣстіе, что съ вершинъ башенъ греческихъ городовъ сброшенъ крестъ, очевидно, причинило старику злобную радость; но ему все же было не по себѣ, когда онъ услыхалъ, что на мѣсто креста водруженъ теперь полумѣсяцъ. Странно, что никто изъ моряковъ не зналъ названій тѣхъ городовъ, о которыхъ освѣдомлялся старикъ и которые, по его увѣреніямъ, были въ его время цвѣтущими городами; равнымъ образомъ ему незнакомы были тѣ имена, которыми матросы называли нынѣшніе города и села Греціи. Старецъ поэтому часто съ горечью покачивалъ головой, и моряки съ удивленіемъ переглядывались. Они замѣчали, что ему знакомы въ совершенствѣ всѣ мѣстности Греціи, и дѣйствительно, онъ съ такой точностью и наглядностью могъ описывать бухты, мысы, отроги горъ и часто даже самые незначительные холмы и небольшія группы скалъ, что его незнаніе именъ самыхъ общеизвѣстныхъ мѣстъ приводило моряковъ въ величайшее изумленіе. Такъ, съ особымъ интересомъ и даже какъ-то боязливо спросилъ онъ ихъ объ одномъ древнемъ храмѣ, который, какъ онъ увѣрялъ, въ

его время былъ прекраснѣйшимъ въ цѣлой Греціи. Но никто изъ слушателей не зналъ того имени, которое онъ произносилъ съ нѣжностью, и лишь когда, наконецъ, старикъ снова съ точностью описалъ мѣстоположеніе храма, одинъ молодой матросъ узналъ по описанію мѣсто, о которомъ шла рѣчь.

«Деревня, гдѣ я родился, — разсказывалъ молодой человѣкъ: — расположена именно въ этой мѣстности, и мальчикомъ я долгое время пасъ свиней своего отца на описываемомъ мѣстѣ. На томъ мѣстѣ, дѣйствительно, находились развалины стародавней постройки, свидѣтельствовавшія о погибшемъ великолѣпіи; лишь тамъ и сямъ стояло еще нѣсколько уцѣлѣвшихъ большихъ мраморныхъ колоннъ, или въ одиночку, или соединенныхъ плитами фронтона, изъ расщелинъ котораго ниспадали, словно плетеныя косы, цвѣтущія плети жимолости и красные колокольчики. Прочія колонны, иныя изъ розоватаго мрамора, лежали разбитыми на землѣ, и травой заросли ихъ драгоцѣнныя капители съ прекрасной рѣзьбой, изображавшей листья и цвѣты. Лежали тамъ также, наполовину уйдя въ землю, большія мраморныя плиты, четырехугольные камни изъ стѣнъ и треугольные изъ крыши, и надъ ними высилось громадное дикое фиговое дерево, которое выросло изъ мусора. Въ тѣни этого дерева, — продолжалъ матросъ: — я часто проводилъ цѣлые часы, разсматривая странныя фигуры, которыя были въ видѣ выпуклыхъ изображеній изваяны на большихъ камняхъ и представляли различныя игры и битвы; весело и пріятно было смотрѣть на нихъ, но, къ сожалѣнію, онѣ тоже сильно были повреждены непогодой или заросли мохомъ и плющомъ. Отецъ матроса, котораго онъ разспрашивалъ о таинственномъ значеніи этихъ колоннъ и изваяній, сказалъ ему однажды, что это развалины древняго храма, гдѣ раньше обиталъ проклятый языческій богъ, который открыто предавался не только самому голому распутству, но и противоестественнымъ порокамъ и кровосмѣшенію; ослѣпленные язычники, тѣмъ не менѣе, въ честь его иногда закалывали передъ его жертвенникомъ за разъ сто быковъ; выдолбленный кусокъ мрамора, куда стекала кровь жертвъ, еще уцѣлѣлъ тамъ, и это-то самое каменное корыто, которымъ онъ, сынъ, пользуется иногда для того, чтобы напоить своихъ свиней скопившеюся тамъ дождевой водой, или сохранять въ немъ всякіе объѣдки для ихъ корма.

БОГИНЯ ДІАНА

(Добавленіе къ ст. «БОГИ ВЪ ИЗГНАНІИ»).
(1853 г.).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАМѢТКА.

Нижеслѣдующая пантомима возникла точно такимъ же образомъ, какъ моя танцовальная поэма «Фаустъ». При разговорѣ съ Лумлеемъ, директоромъ лондонскаго «театра Королевы», онъ высказалъ желаніе, чтобы я далъ ему нѣсколько такихъ сюжетовъ для балетовъ, которые доставили бы случай выказать большое великолѣпіе и изящество въ декораціяхъ и костюмахъ. Я тутъ же импровизировалъ нѣсколько такихъ сюжетовъ, и въ томъ числѣ легенду о Діанѣ; эта послѣдняя, повидимому, болѣе всѣхъ остальныхъ оказалась соотвѣтствующею умному импрессаріо, и онъ попросилъ меня немедленно составить сценаріумъ. Это порученіе исполнилъ я въ нижеслѣдующемъ бѣгломъ очеркѣ, который такъ и остался безъ дальнѣйшей подробной обработки, такъ какъ впослѣдствіи не нашли возможнымъ сдѣлать изъ него употребленіе для сцены. Печатаю его здѣсь не для увеличенія моей славы, но для того, чтобы помѣшать воронамъ, всюду бѣгающимъ за мной, слишкомъ гордо рядиться въ чужія павлиньи перья. Дѣло въ томъ, что въ сущности сюжетъ моей пантомимы содержится уже въ третьей части моего «Салона», изъ которой уже не одинъ маэстро зачерпнулъ для себя не одну кружку полезнаго вина. Притомъ же, легенда о Діанѣ печатается здѣсь на самомъ надлежащемъ мѣстѣ, такъ какъ она непосредственно примыкаетъ къ циклу сказаній объ «изгнанныхъ богахъ», и я поэтому могу обойтись безъ всякаго особеннаго предисловія.

Парижъ, 1-го марта 1854 г.

КАРТИНА ПЕРВАЯ.

Древній, полуразрушенный храмъ Діаны. Развалины эти еще порядочно сохранились, только кое-гдѣ разбились колонны и образовались отверстія въ крышѣ; сквозь эти отверстія виденъ кусокъ вечерняго неба и на немъ полумѣсяцъ. Справа видъ въ лѣсъ. Слѣва алтарь съ статуей богини Діаны. Нимфы ея сидятъ и лежатъ на землѣ, небрежными группами. Онѣ, повидимому, сердиты и скучаютъ. По временамъ, то та, то эта вскочитъ со своего мѣста, протанцуетъ нѣсколько па и какъ будто забудется въ веселыхъ воспоминаніяхъ. Другія нимфы присоединяются къ ней и пляшутъ древніе танцы. Наконецъ, онѣ начинаютъ танцовать вокругъ статуи богини, полушутливо, полуторжественно, какъ будто дѣлаютъ репетицію будущаго празднества. Онѣ зажигаютъ лампы и вьютъ вѣнки.

Вдругъ, со стороны лѣса, быстро вбѣгаетъ богиня Діана, въ извѣстномъ охотничьемъ костюмѣ, въ такомъ точно видѣ, какъ изображена здѣсь ея статуя. Она кажется испуганною, какъ убѣгающая лань. Она разсказываетъ своимъ встревоженнымъ нимфамъ, что кто-то гнался за нею. Она въ высшей степени взволнована, но причиною этого волненія не только испугъ. Сквозь ея негодованіе пробиваются наружу болѣе нѣжныя чувства. Она все продолжаетъ смотрѣть въ лѣсъ, наконецъ, видитъ вдалекѣ своего преслѣдователя и прячется за своею собственною статуей.

Входитъ молодой германскій рыцарь. Онъ ищетъ богиню. Ея нимфы съ танцами окружаютъ его, чтобъ не допустить до статуи ихъ повелительницы. Онѣ заигрываютъ съ нимъ, онѣ угрожаютъ. Онѣ борются съ нимъ, онъ, шутя, защищается. Наконецъ, онъ вырывается отъ нихъ, видитъ статую, съ моленіями простираетъ къ ней руки, бросается къ ея

страсти, безъ примѣси куртизанства и прихоти. Она заклинаетъ свою подругу Венеру воскресить рыцаря. Но Венера пожимаетъ плечами—она безсильна противъ смерти. Діана бросается, какъ помѣшанная, на трупъ и обливаетъ слезами и покрываетъ поцѣлуями его неподвижныя руки и ноги.

Музыка снова измѣняется и выражаетъ спокойствіе и гармоническую безмятежность. Предводительствуя музами, появляется съ лѣвой стороны сцены богъ Аполлонъ. Снова мѣняется тонъ музыки: онъ замѣтно переходитъ въ ликующую радость, и съ правой стороны сцены выходитъ Бахусъ со своею вакхической свитой. Аполлонъ настраиваетъ лиру и потомъ, играя, танцуетъ съ музами вокругъ трупа рыцаря. При этихъ звукахъ рыцарь просыпается какъ бы отъ тяжелаго сна, протираетъ глаза, съ изумленіемъ оглядывается вокругъ, но скоро опять впадаетъ въ мертвую неподвижность. Тогда Бахусъ схватывается за бубенъ и начинаетъ плясать вокругъ рыцаря вмѣстѣ со своими бѣшеными вакханками. Богомъ жизнерадостности мало-помалу овладѣваетъ всемогущій энтузіазмъ: онъ такъ колотитъ въ тамбуринъ, что чуть-чуть не разбиваетъ его. Эти звуки снова воскрешаютъ рыцаря, и онъ приподнимается на половину, медленно, съ открытымъ ртомъ, какъ человѣкъ, томимый жаждой. Бахусъ велитъ Силену подать бокалъ съ виномъ и вливаетъ напитокъ въ ротъ рыцаря. Послѣ первыхъ же глотковъ, тотъ вскакиваетъ, какъ новорожденный, расправляетъ члены и пускается въ необузданнѣйшую, безумнѣйшую пляску. Богиня тоже становится веселою и счастливою, она вырываетъ тирсъ изъ рукъ одной вакханки и вторитъ ликованью рыцаря. Все собраніе принимаетъ участіе въ блаженствѣ влюбленныхъ и возобновленными кадрилями празднуетъ торжество воскрешенія. Наконецъ, рыцарь и Діана становятся на колѣни у ногъ Венеры, которая возлагаетъ свой собственный вѣнокъ на голову Діаны, а вѣнокъ Тангейзера—на голову рыцаря. Апоѳеозъ.

ПАМЯТИ ЛЮДВИГА МАРКУСА.

(Написано въ Парижѣ 22-го апрѣля 1844 г.).

Что̀ за причина, что изъ нѣмцевъ, переѣхавшихъ во Францію, столькіе сошли съ ума? Большую часть ихъ вывела изъ духовнаго мрака смерть; другіе какъ бы заживо схоронены въ домахъ для умалишенныхъ; многіе, у которыхъ осталась еще искра сознанія, стараются скрыть свое состояніе и ведутъ себя мало-мальски, какъ здравомыслящіе люди, изъ страха, чтобы ихъ не заперли. Это хитрые; глупые же не могутъ долго притворяться. Число страдающихъ умопомраченіемъ съ бо̀льшими или меньшими свѣтлыми проблесками очень велико, и можно почти утвердительно сказать, что умопомѣшательство составляетъ національную болѣзнь нѣмцевъ во Франціи. Вѣроятно, мы привозимъ зародышъ болѣзни съ собой изъ-за Рейна, а на горячей почвѣ, на раскаленной асфальтовой мостовой здѣшняго общества быстро созрѣваетъ въ самое цвѣтущее сумасшествіе то, что̀ въ Германіи всю жизнь оставалось бы придурковатымъ малорослымъ растеньицемъ. Или это уже само по себѣ доказываетъ сильную степень помѣшательства, что человѣкъ покидаетъ отечество, чтобы на чужбинѣ лазить вверхъ и внизъ «по жесткимъ лѣстницамъ» и обливать слезами еще болѣе жесткій хлѣбъ изгнанія? Однако, отнюдь не слѣдуетъ думать, что люди, гибнущіе здѣсь въ безднѣ безумія, — эксцентрическія натуры «бури и натиска», или любители праздности и разнузданной чувственности; нѣтъ, это несчастіе преимущественно постигало всегда самыя порядочныя души, самыхъ работящихъ и воздержанныхъ людей.

Къ числу наиболѣе достойныхъ сожалѣнія жертвъ этой болѣзни принадлежитъ также нашъ бѣдный соотечествен-

никъ Людвигъ Маркусъ. Этотъ нѣмецкій ученый, славившійся столько же обширностью своихъ знаній, сколько высокой нравственностью, заслуживаетъ, чтобы мы въ этомъ смыслѣ почтили его память нѣсколькими словами.

Его семейное положеніе и вообще подробности его жизни никогда не были намъ хорошо извѣстны. Насколько я знаю, онъ родился въ Дессау, въ 1798 г., отъ недостаточныхъ родителей, принадлежавшихъ къ богобоязненному іудейскому вѣроисповѣданію. Въ 1820 г. онъ пріѣхалъ въ Берлинъ, чтобы изучать медицину, но вскорѣ бросилъ эту науку. Тамъ, въ Берлинѣ, я впервые увидалъ его, и именно въ аудиторіи Гегеля, гдѣ онъ часто сиживалъ возлѣ меня и усердно записывалъ слова учителя. Ему было тогда двадцать два года, но его наружность была далеко не юношеская. Маленькое тощее тѣльце, какъ у восьмилѣтняго мальчика, а въ лицѣ старческое выраженіе, какое встрѣчается обыкновенно при искривленіи позвоночнаго столба. Однако, этого тѣлеснаго недостатка у него не замѣчалось, и это-то именно и удивляло всѣхъ. Тѣ, кто лично знали покойнаго Моисея Мендельсона, поражались сходствомъ, которое представляли черты лица Маркуса съ чертами этого знаменитаго философа, который, по странному стеченію обстоятельствъ, былъ также родомъ изъ Дессау. Если бы хронологія и добродѣтель не представляли слишкомъ рѣшительнаго ручательства за достопочтеннаго Моисея, то у насъ могла бы возникнуть игривая мысль на этотъ счетъ.

Но по духу Маркусъ былъ, дѣйствительно, очень близкимъ родственникомъ этого великаго реформатора нѣмецкихъ евреевъ, и въ его душѣ также жили величайшее безкорыстіе, терпѣливая безропотность, скромное чувство справедливости, снисходительное презрѣніе ко злу и непреклонная желѣзная любовь къ угнетеннымъ единовѣрцамъ. Участь этихъ послѣднихъ составляла и для Маркуса, какъ для того Моисея, мучительно жгучее средоточеніе всѣхъ его мыслей, сердце его жизни. Уже и тогда, въ Берлинѣ, Маркусъ былъ полигисторомъ; онъ изслѣдовалъ всѣ области знанія, проглатывалъ цѣлыя библіотеки, рылся во всѣхъ сокровищницахъ языковъ какъ древнихъ, такъ и новыхъ временъ, и, въ концѣ концовъ, его любимой наукой сдѣлалась географія какъ въ самомъ широкомъ, такъ и въ самомъ спеціальномъ смыслѣ; не было на земномъ шарѣ ни одного факта, ни одной развалины, ни одного нарѣчія, ни одной глупости, ни одного цвѣтка, которыхъ бы онъ не

зналъ; но изъ всѣхъ экскурсій своего ума онъ постоянно возвращался, какъ бы домой, къ исторіи страданій Израиля, къ іерусалимской Голгоѳѣ и къ маленькому палестинскому діалекту своихъ отцовъ, ради которыхъ онъ, можетъ-быть, и занимался семитическими языками предпочтительно передъ всѣми другими. Эта черта была, конечно, самой выдающейся, самой важной въ характерѣ Людвига Маркуса, и ею обусловливаются его значеніе и его заслуга; ибо не только содѣянное нами, не только фактически выполненное при жизни, но и самое стремленіе и особенно стремленіе, не увѣнчавшееся успѣхомъ, неудачное, безплодное, но великодушное усиліе даетъ намъ право на уваженіе послѣ смерти.

Другіе станутъ, можетъ-быть, особенно превозносить и восхвалять покойнаго за ту поразительную массу знаній, которую онъ нагромоздилъ въ своей памяти; для насъ это не имѣетъ особенной цѣны. Откровенно говоря, такое знаніе вообще никогда не было намъ по вкусу. Все, что Маркусъ зналъ, онъ зналъ не какъ нѣчто живое и органическое, а какъ мертвый историческій матеріалъ; вся природа представлялась ему окаменѣлой, и въ сущности онъ зналъ только ископаемыхъ и мумій. Къ этому присоединялось еще безсиліе художественной изобразительности, и когда онъ писалъ что-нибудь, то было жаль смотрѣть, какъ онъ тщетно бился, чтобы найти для излагаемаго необходимую форму. Поэтому всѣ статьи и даже книги, которыя онъ писалъ, были всегда тяжелы, неудобоваримы, безжизненны.

Кромѣ нѣсколькихъ лингвистическихъ, астрономическихъ и ботаническихъ сочиненій Маркусъ написалъ еще исторію вандаловъ въ Африкѣ и совмѣстно съ профессоромъ Дуисбергомъ—сѣверо-африканскую географію. Послѣ него осталось въ рукописи огромнѣйшее сочиненіе объ Абиссиніи, которое, повидимому, составляло собственно работу всей его жизни, такъ какъ онъ еще въ Берлинѣ занимался Абиссиніей. Къ этой странѣ его привлекли, вѣроятно, главнымъ образомъ, изслѣдованія о фалашахъ—еврейскомъ племени, долгое время сохранявшемъ свою независимость въ абиссинскихъ горахъ. Да, хотя знанія Маркуса распространялись на всѣ страны свѣта, но онъ все-таки лучше всего зналъ мѣстность, лежащую за Лунными горами Эѳіопіи, у скрытыхъ источниковъ Нила, и величайшей его радостью было поймать Брюса, или, еще лучше, Гассельквиста въ

какой-нибудь ошибкѣ. Однажды я осчастливилъ его, попросивъ скомпилировать мнѣ изъ арабскихъ и талмудистскихъ сочиненій все, что касается царицы савской. Этой работѣ, которая, можетъ-быть, и теперь еще лежитъ гдѣ-нибудь между моими бумагами, я обязанъ тѣмъ, что по сей день знаю, отчего абиссинскіе цари ведутъ свой родъ отъ колѣна Давидова; они основываютъ это происхожденіе на томъ визитѣ, который ихъ прабабка, вышеупомянутая царица савская, сдѣлала мудрому царю Соломону въ Іерусалимѣ. Какъ я усмотрѣлъ изъ упомянутой компиляціи, эта дама была, навѣрно, такъ же хороша, какъ Елена спартанская. Во всякомъ случаѣ, послѣ смерти она подверглась такой же участи, такъ какъ есть влюбленные раввины, умѣющіе вызывать ее изъ гроба посредствомъ кабалистическихъ чаръ; только иногда имъ приходится плохо отъ вызванной красавицы, имѣющей тотъ большой недостатокъ, что если она гдѣ-нибудь усядется, то ужъ надолго. Никакъ отъ нея не отдѣлаешься.

Я уже указывалъ, что конечной причиной и стимуломъ всѣхъ ученыхъ трудовъ покойнаго Маркуса былъ всегда какой-нибудь вопросъ еврейской исторіи; насколько это примѣняется и къ его абиссинскимъ изслѣдованіямъ и насколько и эти послѣднія съ юныхъ лѣтъ всецѣло захватили его, явствуетъ неоспоримо изъ одной статьи, которую онъ еще тогда въ Берлинѣ напечаталъ въ «Журналѣ культуры и науки еврейства». Именно онъ трактовалъ въ ней объ обрѣзаніи у абиссинянокъ. Какъ сердечно смѣялся покойный Гансъ, указывая мнѣ въ этой статьѣ то мѣсто, гдѣ авторъ выражалъ желаніе, чтобы этотъ предметъ былъ разработанъ кѣмъ-нибудь, стоящимъ болѣе его на высотѣ этой задачи!

Наружность маленькаго человѣчка, нерѣдко возбуждавшая смѣхъ, нисколько не мѣшала ему, однако же, быть однимъ изъ самыхъ достоуважаемыхъ членовъ того общества, которое издавало вышеупомянутый журналъ и, подъ названіемъ: «Общества культуры и науки іудейства», преслѣдовало возвышенную и великую, но невыполнимую идею. Люди, богато одаренные умственно и съ глубокой душой пытались здѣсь спасти давнымъ-давно погибшее дѣло и достигали самое большое лишь того, что на поляхъ брани прошлаго находили кости прежнихъ борцовъ. Въ итогѣ все пріобрѣтеніе этого общества сводится къ нѣсколькимъ историческимъ трудамъ, къ нѣсколькимъ историческимъ

изслѣдованіямъ, между которыми статьи доктора Цунца объ испанскихъ евреяхъ въ средніе вѣка должны быть причислены къ достопримѣчательностямъ высшей критики.

Могъ ли я, говоря объ этомъ обществѣ, не упомянуть о Цунцѣ, этомъ превосходномъ человѣкѣ, который въ шаткое переходное время всегда проявлялъ непоколебимѣйшую стойкость и, несмотря на свою проницательность, на свой скептицизмъ, на свою ученость, оставался все-таки вѣренъ данному себѣ слову, великодушной прихоти своей души. Человѣкъ слова и дѣла, онъ творилъ и дѣйствовалъ тамъ, гдѣ другіе только мечтали и малодушно опускали руки.

Не могу также не упомянуть здѣсь о моемъ дорогомъ Бендавидѣ, въ которомъ умъ и сильный характеръ соединялись съ величавой свѣтской утонченностью и который, несмотря на очень преклонный возрастъ, раздѣлялъ самыя юношескія заблужденія союза. Онъ былъ мудрецъ по античному покрою, весь озаренный свѣтлымъ солнцемъ греческой безмятежности, онъ представлялъ собою статую истинной добродѣтели и былъ закаленъ въ чувствѣ долга столь же твердо, какъ мраморъ «категорическаго повелительнаго» его учителя Эмануила Канта. Бендавидъ былъ всю свою жизнь ревностнѣйшимъ приверженцемъ кантовской философіи; за нее онъ перенесъ въ молодости величайшія гоненія и, тѣмъ не менѣе, ни за что не хотѣлъ отдѣлиться отъ старой общины Моисеева вѣроисповѣданія, ни за что не хотѣлъ перемѣнить внѣшняго знака вѣры. Даже одно подобіе такого отреченія вызывало въ немъ негодованіе и отвращеніе. Какъ уже сказано, Лазарь Бендавидъ былъ завзятымъ кантистомъ, и этимъ опредѣляются границы его ума. Когда мы говорили о гегелевской философіи, то онъ покачивалъ своей лысой головой и говорилъ, что она суевѣріе. Онъ писалъ довольно хорошо, но говорилъ гораздо лучше. Для журнала союза онъ написалъ замѣчательное сочиненіе о вѣрѣ евреевъ въ Мессію, въ которомъ съ критической проницательностью пытался доказать, что вѣра въ Мессію вовсе не принадлежитъ къ основнымъ догматамъ еврейской религіи и должна быть разсматриваема лишь какъ случайный придатокъ.

Самымъ дѣятельнымъ членомъ кружка, собственно его душой, былъ М. Мозеръ, умершій нѣсколько лѣтъ назадъ, но уже въ ранней юности не только обладавшій основательнѣйшими знаніями, но и проникнутый величайшимъ состраданіемъ къ человѣчеству, горѣвшій страстнымъ желаніемъ

о какомъ схизматическомъ просвѣщеніи здѣсь не было рѣчи, еще менѣе о той эмансипаціи, которая въ наши дни проповѣдуется подчасъ такъ отвратительно бездарно, что можно было бы потерять всякій интересъ къ ней. Въ особенности израильскіе приверженцы этого вопроса сумѣли облечь его въ водянисто-сѣрое облако скуки, вредящее ему сильнѣе, чѣмъ тупоумный ядъ противниковъ. Между ними есть простодушные фарисеи, которые еще особенно хвастаютъ тѣмъ, что не обладаютъ талантомъ писать, и на зло Аполлону берутся за перо во имя Іеговы.

Хоть бы нѣмецкія правительства поскорѣе ощутили эстетическое состраданіе къ публикѣ и положили конецъ этимъ разглагольствованіямъ, ускоривъ эмансипацію, на которую рано или поздно они все равно должны будутъ согласиться.

Да, рано или поздно они должны будутъ согласиться на эмансипацію, по чувству справедливости, по благоразумію и по необходимости. Антипатія къ евреямъ въ высшихъ классахъ уже не имѣетъ религіозныхъ корней, а въ низшихъ она съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе переходитъ въ соціальную ненависть къ чрезмѣрно развивающейся силѣ капитала, къ эксплуатаціи бѣдныхъ богатыми. Ненависть къ жидамъ носитъ теперь другое названіе даже среди черни. Что же касается правительствъ, то они, наконецъ, додумались до того премудраго воззрѣнія, что государство есть органическое тѣло и что это тѣло не можетъ быть вполнѣ здоровымъ до тѣхъ поръ, пока хоть одинъ изъ его членовъ, будь это даже маленькій палецъ на ногѣ, страдаетъ какой-нибудь болѣзнью. Да, какъ бы смѣло ни подымало государство голову и какъ бы ни встрѣчало оно съ открытой грудью всякую бурю, сердце въ груди и даже гордая голова все-таки будутъ чувствовать боль, если на маленькомъ пальцѣ будетъ болѣть мозоль;—ограниченія евреевъ представляютъ собой такія мозоли на ногахъ нѣмецкихъ государствъ.

А если бы правительства поразмыслили, какою страшной опасностью грозятъ новыя доктрины самому основанію всѣхъ положительныхъ религій, самой идеѣ деизма, если бы они сообразили, что вообще борьба между знаніемъ и вѣрой уже не есть робкая схватка, но скоро перейдетъ въ яростную битву на смерть—если бы правительства вдумались во всѣ эти скрытыя бѣдствія, то имъ слѣдовало бы радоваться, что еще есть евреи на свѣтѣ, что эта швейцарская гвардія деизма, какъ назвалъ ихъ поэтъ, еще держится на ногахъ, что существуетъ еще народъ Божій. Вмѣсто того,

чтобы путемъ законодательныхъ ограниченій заставлять ихъ отступиться отъ своей вѣры, слѣдовало бы постараться еще болѣе укрѣпить ихъ въ ней при помощи премій, слѣдовало строить имъ синагоги на счетъ государства, лишь бы они только ходили въ нихъ, чтобы народъ со стороны могъ воображать, что на свѣтѣ еще во что-то вѣрятъ. Берегитесь распространять между евреями крещеніе... Напротивъ, распространяйте обрѣзаніе; это вѣра, врѣзанная въ плоть; въ душу ее уже больше не врѣжешь. Распространяйте обрядъ памятнаго ремня, которымъ вѣра привязывается къ рукѣ; государство должно бы даромъ давать еврею кожу для этого ремня, равно какъ и муку для мацы, которую вѣрующій израиль грызетъ уже въ продолженіе трехъ тысячелѣтій. Ускорьте эмансипацію, поторопитесь, чтобы она не наступила слишкомъ поздно и вообще застала бы еще на землѣ евреевъ, которые предпочли бы вѣру отцовъ своихъ благополучію своихъ дѣтей. Есть пословица: «Пока соображаетъ мудрецъ, соображаетъ и дуракъ».

Предыдущія разсужденія естественно связаны съ той личностью, о которой я хотѣлъ здѣсь говорить и которая, какъ я уже замѣтилъ, возбуждаетъ въ насъ интересъ не столько своимъ индивидуальнымъ значеніемъ, сколько въ историческомъ и нравственномъ отношеніяхъ. Къ тому же изъ личныхъ наблюденій я могу сообщить лишь весьма немного о внѣшней жизни нашего Маркуса, котораго я въ Берлинѣ вскорѣ потерялъ изъ виду. Какъ я слышалъ, онъ перекочевалъ во Францію, потому что, несмотря на свою необычайную ученость и высокую нравственность, встрѣтилъ въ остаткахъ средневѣковыхъ законовъ препятствіе для дальнѣйшей дѣятельности на родинѣ. Его родители умерли, и онъ изъ великодушія отказался отъ наслѣдства въ пользу своихъ нуждавшихся братьевъ и сестеръ. Прошло около пятнадцати лѣтъ, и я давно уже ничего не слышалъ ни о Людвигѣ Маркусѣ, ни о царицѣ савской, ни о Гассельквистѣ, ни объ обрѣзаніи у абиссинянокъ, когда однажды здѣсь, въ Парижѣ, снова встрѣтился съ маленькимъ человѣчкомъ, и онъ разсказалъ мнѣ, что въ этотъ промежутокъ времени онъ былъ профессоромъ въ Дижонѣ, но что теперь, вслѣдствіе одной министерской несправедливости, оставилъ профессуру и хочетъ остаться здѣсь, чтобы пользоваться здѣшней библіотекой, какъ вспомогательнымъ источникомъ для своего большого труда. Какъ я слышалъ отъ другихъ, тутъ играла роль маленькая доля упрямства съ его сто-

роны, министерство же, какъ принято во Франціи, предлагало ему даже назначить на его должность замѣстителя съ меньшимъ окладомъ жалованья, а ему самому сохранить большую часть его содержанія. Противъ этого возстала великая душа маленькаго человѣка, онъ не хотѣлъ эксплуатировать чужой трудъ и предоставилъ своему замѣстителю весь окладъ жалованья. Его безкорыстіе въ этомъ случаѣ тѣмъ болѣе замѣчательно, что онъ былъ тогда крайне бѣденъ и влачилъ трогательно скудное существованіе. Ему приходилось даже весьма плохо, и если бы не ангельская помощь одной прекрасной женщины, онъ бы, навѣрно, погибъ въ нищетѣ. Да, то была очень красивая и знатная парижская дама, одна изъ самыхъ блестящихъ женщинъ здѣшняго свѣта, которая, услыхавъ о странномъ чудакѣ, сошла во мракъ его горестной жизни и съ очаровательной деликатностью сумѣла заставить его принять отъ нея значительное годовое содержаніе. Я думаю, что его гордость смирило, главнымъ образомъ, то соображеніе, что его покровительница, жена самаго богатаго банкира на земномъ шарѣ, напечатаетъ впослѣдствіи на свой счетъ его большое сочиненіе. Дама, думалъ онъ, которую всѣ такъ превозносятъ за ея умъ и образованіе, не можетъ не желать отъ всей души, чтобы наконецъ была написана основательная исторія Абиссиніи, и онъ находилъ вполнѣ естественнымъ, что она постаралась облегчить автору его огромный трудъ назначеніемъ ему ежегодной пенсіи.

Время, въ продолженіе котораго я не видѣлъ добраго Маркуса, т. е. около пятнадцати лѣтъ, не измѣнило его наружности къ лучшему. Его внѣшній обликъ, производившій прежде нѣсколько забавное впечатлѣніе, обратился теперь въ положительную карикатуру, но въ пріятную, милую, я почти готовъ сказать—въ отрадно дѣйствующую карикатуру. Комически-горестный видъ придавали ему его изборожденное морщинами старческое лицо, на которомъ съ веселой живостью блестѣли маленькіе, черные, какъ сталь, глазки, и его чудовищная, баснословная растительность! Волосы, бывшіе прежде совсѣмъ черными и гладкими, теперь посѣдѣли и окружали и безъ того несоразмѣрно большую голову его курчавой, всклокоченной копной. Вообще онъ смахивалъ на тѣ большеголовыя фигуры съ тоненькимъ тѣльцемъ и короткими ножками, которыя мы видимъ на стеклахъ китайскихъ тѣней. Грудь моя наполнялась веселымъ юморомъ особенно тогда, когда мнѣ случалось встрѣ-

чать на бульварахъ эту фигуру карлика въ сообществѣ его сотрудника, чудовищно огромнаго и дороднаго профессора Дуисберга. Одному моему знакомому, спросившему меня, кто этотъ малютка, я сказалъ, что это абиссинскій король, и это прозвище осталось за нимъ до его смерти. Сердился ли ты на меня за это, дорогой, добрый Маркусъ? Для твоей прекрасной души судьба, право, могла бы создать оболочку получше этой. Но судьба слишкомъ занята; иногда, какъ разъ въ ту минуту, когда она собирается заключить благородную жемчужину въ великолѣпно выточенную золотую оправу, ей вдругъ помѣшаютъ, и она поскорѣе заворачиваетъ драгоцѣнный перлъ въ первый попавшійся кусокъ пропускной бумаги, или въ какую-нибудь тряпочку—иначе я не могу объяснить себѣ это.

Приблизительно, пять лѣтъ прожилъ Маркусъ въ Парижѣ въ самомъ мудромъ спокойствіи души; ему жилось хорошо, осуществилось даже одно изъ его завѣтныхъ желаній — у него была маленькая квартирка съ собственной мебелью, и притомъ недалеко отъ библіотеки. Какъ-то вечеромъ его посѣтилъ здѣсь одинъ его родственникъ, сынъ его сестры, и былъ крайне удивленъ, когда его дядя вдругъ усѣлся на полъ и дикимъ задорнымъ голосомъ началъ пѣть самыя непристойныя уличныя пѣсни! Онъ, который никогда не пѣлъ и былъ всегда олицетвореніемъ цѣломудрія какъ въ словахъ, такъ и въ тонѣ! Но дѣло приняло еще болѣе странный и страшный оборотъ, когда дядя съ гнѣвомъ вскочилъ на ноги, распахнулъ окно и выбросилъ на улицу сперва свои часы, а затѣмъ свои рукописи, чернильницу, перья, кошелекъ. Когда племянникъ увидѣлъ, что дядя выбросилъ за окно деньги, онъ не могъ болѣе сомнѣваться въ его сумасшествіи. Несчастный былъ помѣщенъ въ лѣчебницу доктора Пиннеля въ Шальо, гдѣ онъ черезъ четырнадцать дней отдалъ Богу душу въ страшнѣйшихъ страданіяхъ. Онъ умеръ 15-го іюля и былъ похороненъ 17-го на кладбищѣ Монмартръ. Къ сожалѣнію, я узналъ о его смерти слишкомъ поздно, чтобы отдать ему послѣдній долгъ. Посвящая нынѣ его памяти эти страницы, я хотѣлъ наверстать упущенное и какъ бы принять мысленно участіе въ его похоронахъ.

А теперь откройте мнѣ еще разъ гробъ, чтобы я могъ по старинному обычаю попросить прощенія у покойника на случай, если я чѣмъ-нибудь обидѣлъ его при жизни. Какъ спокойно лежитъ теперь маленькій Маркусъ! Онъ какъ будто улыбается тому, что я не оцѣнилъ болѣе высоко его

ученыхъ трудовъ. Это не можетъ особенно огорчать его, потому что я вѣдь не такой компетентный судья, какъ, напримѣръ, его другъ С. Мункъ, оріенталистъ, который, какъ говорятъ, занятъ подробной біографіей покойнаго и изданіемъ его посмертныхъ сочиненій.

ПОЗДНѢЙШАЯ ЗАМѢТКА.

(Въ мартѣ 1854 г.).

Такъ какъ я всегда заботился сохранять въ моихъ писаніяхъ хорошее направленіе и столь же хорошій стиль, то испытываю теперь чувство удовлетворенія, дерзая помѣстить здѣсь подъ притязательнымъ названіемъ «некролога» вышеприведенныя страницы, хотя онѣ были написаны анонимно для «Аугсбургской Всеобщей Газеты» десять лѣтъ назадъ. Съ тѣхъ поръ въ Германіи многое измѣнилось, и вопросъ о гражданской равноправности послѣдователей Моисеевой вѣры, который я имѣлъ случай затронуть въ предыдущихъ страницахъ, претерпѣлъ съ тѣхъ поръ удивительныя превратности. Весной 1848 г. онъ былъ, казалось, навѣки упраздненъ, но какъ случалось со многими другими пріобрѣтеніями той цвѣтущей поры нѣмецкихъ надеждъ, такъ и съ упомянутымъ вопросомъ дѣло приняло нынче весьма ретроградный характеръ въ нашемъ отечествѣ, и во многихъ мѣстахъ, какъ говорятъ, онъ находится опять въ самомъ позорномъ statu quo. Евреямъ слѣдовало бы, наконецъ, прійти къ убѣжденію, что они только тогда будутъ дѣйствительно свободны, когда будетъ вполнѣ отвоевана и упрочена свобода христіанъ. Ихъ дѣло тождественно съ дѣломъ нѣмецкаго народа, и они не должны желать, какъ евреи, того, что давнымъ-давно подобаетъ имъ, какъ нѣмцамъ.

Въ предыдущихъ страницахъ я замѣтилъ, что ученый С. Мункъ долженъ былъ заняться изданіемъ посмертныхъ сочиненій покойнаго Маркуса. Къ сожалѣнію, это теперь невозможно, потому что этотъ великій оріенталистъ страдаетъ болѣзнью, не позволяющею выполнить этотъ трудъ; вотъ уже два года, какъ онъ совершенно ослѣпъ. Я только недавно узналъ объ этомъ печальномъ событіи и вспоминаю теперь, что этотъ превосходный человѣкъ, несмотря на опасные симптомы, никогда не хотѣлъ беречь свое больное зрѣніе. Когда я въ послѣдній разъ имѣлъ честь видѣть его въ королевской библіотекѣ, онъ сидѣлъ, зарывшись въ груды арабскихъ рукописей, и тяжко было видѣть, какъ онъ напрягалъ свои слабые больные глаза, стараясь разобрать

фантастическіе завитки этой абракадабры. Онъ былъ хранителемъ въ этой библіотекѣ, а теперь не въ состояніи болѣе занимать эту небольшую должность. Свою многочисленную семью онъ содержитъ преимущественно доходами со своихъ литературныхъ работъ. Слѣпота, конечно, самое жестокое испытаніе, какое можетъ постигнуть нѣмецкаго ученаго. На этотъ разъ оно постигло честнѣйшую душу, какую только можно найти; Мункъ безкорыстенъ до высокомѣрія и при всѣхъ своихъ богатыхъ знаніяхъ трогательно скроменъ. Онъ, навѣрно, переноситъ свою участь со стоическимъ самообладаніемъ и религіозной покорностью волѣ Бога.

Но почему праведный долженъ столько страдать на землѣ? Почему талантъ и честность должны гибнуть, тогда какъ какой-нибудь хвастливый паяцъ, который, конечно, никогда не подумалъ бы портить себѣ глаза арабскими рукописями, нѣжится на перинахъ счастья, и отъ него чуть не воняетъ довольствомъ? Книга Іова не разрѣшаетъ этого жестокаго вопроса. Напротивъ, эта книга представляетъ собой Пѣснь Пѣсней скептицизма, и ужасныя змѣи шипятъ и свистятъ въ ней свое вѣчное: «почему?» Какъ это случилось, что по возвращеніи изъ Вавилона благочестивая архивная комиссія по дѣламъ храма, находившаяся подъ предсѣдательствомъ Эздры, включила эту книгу въ канонъ Священнаго Писанія? Я часто задавалъ себѣ этотъ вопросъ. Какъ мнѣ кажется, эти Богомъ вразумленные мужи поступили, такимъ образомъ, не по непониманію, а потому, что они въ своей высокой мудрости отлично знали, что сомнѣніе глубоко вкоренено въ человѣческой природѣ, и что, стало-быть, его нельзя насильственно подавить, а слѣдуетъ только стараться исцѣлить. Они поступили при этомъ лѣченіи совершенно по-гомеопатически, дѣйствуя подобнымъ на подобное, но давали при этомъ не гомеопатически маленькія дозы, а напротивъ, увеличили ее до огромныхъ размѣровъ, и такою чрезмѣрной дозой сомнѣнія является книга Іова; въ Библіи, этой великой домашней аптекѣ человѣчества, не долженъ былъ отсутствовать этотъ ядъ. Да, какъ человѣкъ, когда онъ страдаетъ, долженъ вылакаться, такъ же точно долженъ онъ выпить до дна чашу сомнѣнія, когда чувствуетъ себя жестоко обиженнымъ въ своихъ запросахъ на счастье; и какъ сильный приступъ слезъ, такъ и высшая степень сомнѣнія, которая есть отчаяніе, вызываетъ кризисъ нравственнаго исцѣленія. Но благо тому, кто здоровъ и не нуждается ни въ какомъ лѣкарствѣ!

въ «Journal des Savants». Этою мистеріею трубадура Рютбефа воспользовался англійскій поэтъ Марло, когда писалъ своего «Фауста»; взявъ сходную легенду о нѣмецкомъ колдунѣ-Фаустѣ изъ старинной книги о Фаустѣ, уже переведенной въ то время на англійскій языкъ, онъ облекъ ее въ драматическую форму, которую нашелъ во французской, извѣстной также въ Англіи, мистеріи. Такимъ образомъ, мистерія Теофиля и старинная народная книга о Фаустѣ суть два фактора, изъ которыхъ произошла драма Марло. Герой этой драмы уже не есть, какъ въ мистеріи Теофиля, человѣкъ, дерзко возставшій противъ неба, который, будучи обольщенъ волшебникомъ и стремясь насладиться земными благами, продаетъ свою душу чорту и, наконецъ, спасается милостью Божіей Матери, извлекающей изъ глубины ада роковой договоръ; въ немъ, какъ въ чернокнижникѣ книги о Фаустѣ, резюмируются преданія о всѣхъ предшествовавшихъ ему колдунахъ, искусство которыхъ онъ показываетъ передъ самыми высокими особами, и при томъ все это происходитъ на землѣ протестантской, по которой спасающая Божія Матерь не можетъ ходить, вслѣдствіе чего дьяволъ безжалостно уноситъ волшебника. Театры маріонетокъ, процвѣтавшіе въ Лондонѣ во времена Шекспира и немедленно овладѣвавшіе всякой пьесой, имѣвшей успѣхъ на большихъ театрахъ, безъ сомнѣнія, давали и «Фауста» по образцу Марло, пародируя, болѣе или менѣе серьезно, оригинальную драму, или передѣлывая ее, смотря по мѣстнымъ условіямъ, или даже, какъ это нерѣдко случалось, заставляя самого автора перерабатывать ее по вкусу ихъ публики. Этотъ-то Фаустъ маріонетокъ, перешедшій изъ Англіи на материкъ, прошелъ черезъ Нидерланды, посѣтилъ и въ Германіи ярмарочные балаганы, и тамъ, переведенный на грубый народный жаргонъ и пересыпанный нѣмецкими паясничествами, услаждалъ низкіе слои народа. Какъ ни различны варіанты, создавшіеся съ теченіемъ времени, особенно путемъ импровизацій, но сущность не измѣнилась, и въ одной изъ такихъ кукольныхъ комедій, игранной въ Страсбургѣ, въ какомъ-то дрянномъ театрѣ, въ присутствіи Вольфганга Гёте, великій поэтъ нашъ заимствовалъ форму и содержаніе своего произведенія. Это особенно замѣтно въ первомъ изданіи «Отрывка» Гётевскаго «Фауста»; тамъ нѣтъ ни введенія, заимствованнаго изъ «Саконталы», ни пролога, сочиненнаго въ подражаніе книгѣ Іова; простая форма кукольныхъ комедій еще сохранена тамъ, и нѣтъ

еще никакого существеннаго признака, по которому можно было бы замѣтить, что авторъ былъ знакомъ съ старыми оригинальными книгами Шписа и Видмана.

Таковъ генезисъ сказки о Фаустѣ, отъ мистеріи Теофиля до Гёте, которому она обязана нынѣшнею своею популярностью. Авраамъ родилъ Исаака, Исаакъ родилъ Іакова, Іаковъ же родилъ Іуду, въ рукахъ котораго скипетръ остается во вѣки-вѣковъ... Въ литературѣ, какъ въ жизни, всякій сынъ имѣетъ отца, котораго онъ, конечно, не всегда знаетъ, а иногда даже и отвергаетъ.

Парижъ, 1-го октября 1851.

ДОКТОРЪ ФАУСТЪ.

Du hast mich beschworen aus dem Grab
Durch deinen Zauberwillen,
Belebtest mich mit Wollustglut—
Jetzt kannst du die Glut nicht stillen.
Press deinen Mund an meinen Mund,
Der Menschen Odem ist gottlich!
Ich trinke deine Scele aus,
Die Toten sind unersättlich! *)

АКТЪ ПЕРВЫЙ.

Рабочая комната, обширная, со сводами, въ готическомъ вкусѣ. Слабое освѣщеніе. Вдоль стѣнъ шкапы съ книгами, астрологическими и алхимическими приборами (земные и небесные глобусы, изображенія планетъ, реторты и странные стеклянные сосуды), анатомическими препаратами (скелеты людей и животныхъ) и другими принадлежностями чернокнижья.

Бьетъ полночь. У стола, заваленнаго книгами и физическими инструментами, въ креслѣ съ высокой спинкой, задумчиво сидитъ докторъ Фаустъ. На немъ костюмъ нѣмецкихъ ученыхъ XVI столѣтія. Наконецъ, онъ встаетъ и невѣрными шагами идетъ къ одному изъ шкаповъ, въ которомъ лежитъ прикованный цѣпью толстый фоліантъ; онъ отпираетъ замокъ цѣпи и тащитъ на столъ книгу (такъ называемый «Адскій Ключъ»). Движенія и вся фигура ученаго обнаруживаютъ смѣсь безпомощности и отваги, неповоротливаго магистерства и надменной гордости докторства. Зажегши нѣсколько свѣчей и начертавъ мечомъ на полу различные магическіе круги, онъ раскрываетъ большую

*) Своею волшебною волею ты вызвала меня изъ могилы, оживила меня пламенемъ сладострастія—теперь ты уже не въ состояніи охладить этотъ пламень.—Прижми твои губы къ моимъ губамъ, человѣческое дыханіе божественно! Я выпью всю твою душу, мертвые ненасытны!

книгу, и жесты его выражаютъ таинственное содроганіе, наводимое заклинаніемъ. Въ комнатѣ темнѣетъ, начинается громъ и молнія, изъ-подъ разверзшагося съ трескомъ пола является, весь въ пламени, красный тигръ. Фаустъ при этомъ зрѣлищѣ не обнаруживаетъ ни малѣйшаго ужаса; онъ съ насмѣшливымъ презрѣніемъ идетъ къ огненному чудовищу и, повидимому, повелѣваетъ ему исчезнуть. Звѣрь, дѣйствительно, мгновенно проваливается. Фаустъ снова начинаетъ свои заклинанія, опять страшная молнія и громъ, и изъ-подъ разверзшагося пола устремляется змѣй, который извивается самымъ угрожающимъ образомъ и изрыгаетъ огонь и пламя. Фаустъ встрѣчаетъ и его съ презрѣніемъ; онъ пожимаетъ плечами, смѣется, издѣвается надъ адскимъ духомъ, не имѣющимъ силы явиться въ болѣе страшномъ видѣ—и змѣй, въ свой чередъ, уползаетъ подъ землю. Докторъ тотчасъ же съ удвоеннымъ жаромъ прибѣгаетъ къ заклинанію; но на этотъ разъ тьма внезапно разсѣевается, безчисленные огни освѣщаютъ комнату, вмѣсто грохотанія грома раздается самая пріятная плясовая музыка, и изъ-подъ раскрывшагося пола, какъ изъ цвѣточной корзинки, выходитъ танцовщица, по обыкновенію, одѣтая въ газъ и трико, и выдѣлывая самые банальные пируэты.

Фаустъ сперва изумленъ, что вызываемый имъ духъ, Мефистофель, не могъ явиться въ видѣ болѣе пагубномъ, чѣмъ балетной танцовщицы, но, наконецъ, это смѣющееся граціозное видѣніе ему нравится, и онъ отвѣшиваетъ ему величавый поклонъ. Мефистофель, или лучше сказать, Мефистофела—такъ отнынѣ будемъ называть обратившагося въ женщину лукаваго—отдаетъ, пародируя, поклонъ и начинаетъ порхать вокругъ доктора съ извѣстнымъ каждому кокетствомъ. Она держитъ въ рукѣ магическую палочку, и все въ комнатѣ, къ чему прикасается эта палочка, тотчасъ превращается самымъ забавнымъ образомъ, однако, такъ, что первоначальная форма предметовъ не исчезаетъ вполнѣ; такъ, напримѣръ, темныя изображенія планетъ освѣщаются пестрымъ внутреннимъ свѣтомъ, изъ санокъ съ уродами выглядываютъ прелестнѣйшія птицы, совы держатъ въ клювахъ жирандоли, на стѣнахъ внезапно появляются драгоцѣннѣйшіе золотые сосуды, венеціанскія зеркала, античные барельефы, произведенія искусства—все это хаотически призрачное и въ то же время полное блистательной красоты, громаднѣйшая арабеска. Красавица, повидимому, заключаетъ съ Фаустомъ дружескій союзъ, но подписать пер-

гаментъ, который она ему подаетъ, страшное обязательство, онъ еще колеблется. Онъ требуетъ, чтобы она показала ему остальныя адскія силы, и изъ-подъ земли тотчасъ же появляются князи тьмы. Это чудовища съ звѣриными головами, баснословная смѣсь циническаго и страннаго, большая часть съ коронами на головѣ и скипетромъ въ лапахъ. Мефистофела представляетъ имъ Фауста, и при этомъ представленіи соблюдается самый строгій придворный этикетъ. Адскіе властители начинаютъ церемоніальною поступью свой тяжелый и неуклюжій танецъ; но когда Мефистофела прикасается къ нимъ своею палочкой, безобразныя оболочки внезапно падаютъ съ нихъ, и они тоже превращаются въ хорошенькихъ танцовщицъ, одѣтыхъ въ газъ и трико, которыя начинаютъ порхать съ цвѣточными гирляндами. Фауста тѣшитъ эта метаморфоза, хотя онъ, повидимому, не находитъ между всѣми этими красивыми чертовками ни одной, вполнѣ удовлетворяющей его вкусу. Замѣтивъ это, Мефистофела снова взмахиваетъ своей палочкой и въ висящемъ на стѣнѣ, заранѣе заколдованномъ зеркалѣ является изображеніе чудно прекрасной женщины въ придворномъ костюмѣ и въ герцогской коронѣ. При видѣ ея Фаустъ поражается удивленіемъ и восторгомъ и подходитъ къ милому образу со всѣми признаками вожделѣнія и нѣжности. Но эта женщина въ зеркалѣ, начавшая двигаться, какъ живое существо, отворачивается отъ него съ высокомѣрнымъ пренебреженіемъ; онъ съ мольбою преклоняетъ передъ нею колѣни, но она еще оскорбительнѣе повторяетъ презрительные жесты.

Тогда бѣдный докторъ обращается съ умоляющими взорами къ Мефистофелѣ, но она отвѣчаетъ лукавымъ пожатіемъ плечъ и двигаетъ своей палочкой. Земля тотчасъ же разступается, и изъ нея выходитъ до половины скверная обезьяна, которая, однако, по знаку Мефистофелы, сердито покачиваетъ головой, тотчасъ же снова проваливается, и черезъ минуту изъ-подъ земли выпрыгиваетъ красивый, стройный танцоръ, начинающій исполнять самые банальные па. Танцоръ приближается къ изображенію въ зеркалѣ, и на любовныя изъявленія, съ которыми онъ къ ней обращается въ самомъ пошломъ самодовольствіи, красавица-женщина отвѣчаетъ обворожительнѣйшей улыбкой; она протягиваетъ къ нему руки съ выраженіемъ томнаго желанія и разливается въ нѣжнѣйшихъ демонстраціяхъ. При видѣ этого Фаустъ предается бѣшеному отчаянію, но Мефисто-

фела, сжалившись надъ нимъ, прикасается своей палочкой къ счастливому танцору, и тотъ превращается въ обезьяну и мгновенно проваливается, оставивъ на полу комнаты весь свой балетный нарядъ. Въ это мгновеніе Мефистофела вновь протягиваетъ къ Фаусту свой пергаментъ,—и докторъ, недолго думая, открываетъ на своей рукѣ жилу и подписываетъ своею кровью договоръ, по которому отрекается отъ небеснаго блаженства для временныхъ земныхъ наслажденій. Онъ сбрасываетъ степенную, почтенную докторскую одежду и наряжается въ грѣшную мишуру, оставленную танцоромъ; въ этомъ переодѣваньѣ, которое онъ исполняетъ весьма неловко, ему помогаетъ проворный адскій кордебалетъ.

Затѣмъ Мефистофела даетъ Фаусту урокъ танцованія и научаетъ его всѣмъ утонченностямъ этого искусства. Неловкость и угловатость ученаго, силящагося подражать изящно легкимъ па, представляютъ множество забавнѣйшихъ эффектовъ и контрастовъ. Чертовки-танцовщицы хотятъ и здѣсь помочь, каждая старается по-своему примѣромъ пояснить урокъ, онѣ перебрасываютъ его другъ другу въ руки, поочередно кружатся съ нимъ, дергаютъ его то сюда, то туда, но благодаря могуществу любви и волшебной палочки, сообщающей гибкость неповоротливымъ членамъ, ученикъ хореграфіи, наконецъ, становится мастеромъ своего дѣла. Онъ танцуетъ съ Мефистофелой блистательное pas-de-deux, и къ великой радости его коллегъ по искусству, пускается также съ ними въ самыя причудливыя фигуры. Дойдя до такой виртуозности, онъ осмѣливается, наконецъ, предстать танцоромъ и передъ прекраснымъ видѣніемъ въ волшебномъ зеркалѣ, а она отвѣчаетъ его танцующей страсти движеніями, выражающими самую пламенную любовь. Фаустъ продолжаетъ танцовать съ возрастающимъ все больше и больше упоеніемъ; но Мефистофела отрываетъ его отъ изображенія въ зеркалѣ, исчезающаго по мановенію палочки, и высшая школа древно-классической хореграфіи возобновляется.

АКТЪ ВТОРОЙ.

Обширное мѣсто передъ замкомъ, виднѣющимся направо. У рампы, окруженные придворными чинами, рыцарями и дамами, сидятъ на высокихъ тронахъ герцогъ и герцогиня: герцогъ—чопорный старикъ, герцогиня молодая роскошная женщина—совершенный портретъ женщины, являвшейся

въ волшебномъ зеркалѣ перваго акта. Замѣтно, что она носитъ на лѣвой ногѣ золотой башмакъ.

Сцена великолѣпно убрана для придворнаго праздника. Начинается представленіе пасторали въ стилѣ самаго стариннаго рококо: граціозная жеманность и галантная невинность. Это слащаво манерное аркадское выплясыванье внезапно прерывается появленіемъ Фауста и Мефистофелы, совершающихъ свое тріумфальное шествіе въ своемъ танцовальномъ костюмѣ и съ адскимъ кордебалетомъ, при ликующихъ звукахъ трубъ. Оба съ различными прыжками привѣтствуютъ царственную чету; но когда Фаустъ и герцогиня ближе всматриваются другъ въ друга, они поражаются какъ бы радостнымъ воспоминаніемъ: они узнаютъ одинъ другого и обмѣниваются нѣжными взглядами. Герцогъ, повидимому, съ особеннымъ благоволеніемъ принимаетъ привѣтствіе Мефистофелы. Стремительное pas-de-deux, исполненное теперь ею и Фаустомъ, обращено преимущественно къ коронованной четѣ, и когда мѣсто ихъ заступаютъ адскія танцовщицы, Мефистофела нѣжно шепчется съ герцогомъ, а Фаустъ съ герцогиней. Пылкая страсть этихъ послѣднихъ какъ бы пародируется, когда Мефистофела отвѣчаетъ ироническимъ жеманствомъ на жесткія и угловатыя любезности герцога.

Наконецъ, герцогъ обращается къ Фаусту и требуетъ, чтобы онъ, въ видѣ образчика своего чернокнижнаго искусства, показалъ ему умершаго царя Давида пляшущимъ передъ кивотомъ завѣта. Повинуясь августѣйшей волѣ, Фаустъ беретъ палочку изъ рукъ Мефистофелы, потрясаетъ ею въ воздухѣ съ заклинательными жестами, и изъ разверзшейся земли выходитъ требуемая группа. На колесницѣ, везомой левитами, стоитъ кивотъ завѣта, передъ нимъ пляшетъ царь Давидъ, странно наряженный, точно карточный король, а позади колесницы прыгаетъ, качаясь со стороны въ сторону, царская стража, вооруженная копьями и одѣтая польскими жидами—въ широкихъ и длинныхъ черныхъ шелковыхъ кафтанахъ и высокихъ мѣховыхъ шапкахъ на трясущихся головахъ съ клинообразными бородками. Эти карикатуры обходятъ сцену и затѣмъ исчезаютъ при шумныхъ рукоплесканіяхъ зрителей.

Опять начинается блестящее pas-de-deux Фауста и Мефистофелы, въ которомъ она снова обращается съ любовными жестами къ герцогу, онъ—къ герцогинѣ, такъ что, наконецъ, оба супруга не въ силахъ болѣе противиться и,

сойдя съ троновъ, принимаютъ участіе въ танцахъ Фауста и его спутницы. Драматическій кадриль, въ которомъ Фаустъ старается еще сильнѣе опутать герцогиню своими сѣтями. По родинкѣ, которую онъ замѣчаетъ на ея шеѣ, онъ узнаетъ въ ней колдунью и назначаетъ ей свиданіе на будущемъ шабашѣ вѣдьмъ. Герцогиня пугается и отрицаетъ, но Фаустъ указываетъ пальцемъ на золотой башмакъ—знакъ, по которому всегда узнаютъ «домину», знатнѣйшую невѣсту сатаны. Герцогиня стыдливо соглашается на свиданіе. Въ это же время герцогъ и Мефистофела снова пародируютъ танецъ первой четы, и по уходѣ этихъ четырехъ лицъ, удаляющихся по-парно, возобновляется танецъ адскаго кордебалета.

По новой просьбѣ герцога, чтобы Фаустъ далъ ему еще доказательство своего волшебства, тотъ беретъ волшебную палочку и прикасается ею къ порхающимъ танцовщицамъ. Въ одно мгновеніе онѣ снова превращаются въ чудовищъ, видѣнныхъ нами въ первомъ актѣ, и изъ своихъ граціозныхъ движеній переходя въ самую грубую и дикую пляску, проваливаются, наконецъ, въ разверзшуюся землю при блескѣ подземнаго огня. Восторженныя рукоплесканія, и Фаустъ и Мефистофела съ благодарностью раскланиваются передъ высокими властителями и достопочтеннѣйшей публикой.

Но послѣ каждой волшебной штуки усиливается безумное веселіе, четыре главныхъ дѣйствующихъ лица снова порывисто устремляются на арену, и во время новой кадрили страсть обнаруживается все болѣе и болѣе необузданно. Фаустъ падаетъ на колѣни передъ герцогиней, отвѣчающей ему не менѣе компрометирующей пантомимой, а старый герцогъ, точно похотливый фавнъ, стоитъ на колѣняхъ передъ хохочущей Мефистофелой. Но вдругъ онъ, обернувшись случайно, видитъ Фауста съ герцогиней въ вышеупомянутой позѣ и яростно вскакиваетъ, обнажаетъ шпагу и бросается на дерзкаго чародѣя. Тотъ быстро хватаетъ свою волшебную палочку, прикасается ею къ герцогу, и на головѣ его вырастаютъ огромные оленьи рога, за концы которыхъ герцогиня его удерживаетъ. Смятеніе всѣхъ придворныхъ, бросающихся со шпагами на Фауста и Мефистофелу. Но Фаустъ снова взмахиваетъ своею палочкой, и въ глубинѣ сцены раздаются звуки военныхъ трубъ, и появляются ряды рыцарей, вооруженныхъ съ ногъ до головы. Между тѣмъ какъ придворные поворачиваются къ нимъ, чтобы защищаться, Фаустъ и Мефистофела улетаютъ въ воздухъ

на двухъ вороныхъ коняхъ, появившихся изъ земли. Въ то же самое мгновеніе вооруженные рыцари также исчезаютъ, какъ фантасмагорія.

АКТЪ ТРЕТІЙ.

Ночное сборище на шабашѣ вѣдьмъ. Обширная горная площадка; съ каждой стороны деревья, на вѣтвяхъ которыхъ висятъ странные фонари, освѣщающіе сцену; посрединѣ, въ видѣ алтаря, каменное возвышеніе, на которомъ стоитъ толстый черный козелъ съ чернымъ человѣческимъ лицомъ и съ зажженною свѣчой между рогами. На заднемъ фонѣ горы, которыя, превосходя вышиною одна другую, образуютъ какъ бы амфитеатръ. На колоссальныхъ ступеняхъ его возсѣдаетъ, въ качествѣ зрителей, адская знать, именно тѣ самые князи тьмы, которыхъ мы видѣли въ предшествовавшихъ актахъ, и которые здѣсь приняли размѣры еще болѣе исполинскіе. На деревьяхъ сидятъ на корточкахъ музыканты съ птичьими лицами и съ духовыми и струнными инструментами страннаго вида. Сцена уже довольно оживлена группами танцующихъ, костюмы которыхъ напоминаютъ самыя разнообразныя времена и страны, такъ что все сборище похоже на маскарадный балъ, тѣмъ болѣе, что многія изъ этихъ лицъ, дѣйствительно, въ маскахъ и костюмахъ. Какъ ни странны, смѣшны и уродливы многія изъ этихъ фигуръ, но онѣ все-таки не должны оскорблять эстетическое чувство, и отвращеніе, производимое этимъ безобразіемъ, умѣряется или сглаживается сказочнымъ великолѣпіемъ и положительнымъ ужасомъ. По временамъ къ каменному возвышенію подходитъ чета, мужчина и женщина, каждый съ чернымъ факеломъ въ рукѣ, они падаютъ ницъ передъ заднею частью козла и совершаютъ обрядъ поцѣлуя. Между тѣмъ, слетаются новые гости на помелахъ, вилахъ, кухонныхъ ложкахъ, а также на волкахъ и кошкахъ. Эти вновь прибывшіе находятъ здѣсь своихъ возлюбленныхъ, уже ожидающихъ ихъ. Радостно поздоровавшись, они смѣшиваются съ пляшущими группами. Прилетаетъ также ея свѣтлость герцогиня на огромной летучей мыши; она обнажена до послѣдней возможности, а правая нога ея обута въ золотой башмакъ. Повидимому, она съ нетерпѣніемъ ищетъ кого-то. Наконецъ, она находитъ желаннаго, именно Фауста, прилетѣвшаго съ Мефистофелой на вороныхъ коняхъ. На немъ блестящая одежда рыцаря, а спутницу украшаетъ цѣломудренно узкая

амазонка нѣмецкой дворянки-барышни. Фаустъ и герцогиня бросаются другъ другу въ объятія, и ихъ неодолимый любовный пылъ проявляется въ самой восторженной пляскѣ. Мефистофела, между тѣмъ, тоже нашла возлюбленнаго, котораго она поджидала—сухого дворянчика въ черномъ испанскомъ плащѣ и въ беретѣ съ пѣтушьимъ перомъ кровяного цвѣта. Но между тѣмъ, какъ Фаустъ и герцогиня танцуютъ полную гамму истинной страсти, дикой любви, танецъ Мефистофелы съ ея кавалеромъ представляетъ собою, какъ противоположность, только выраженіе простого волокитства, нѣжной лжи, самоё себя осмѣивающей похотливости. Наконецъ, всѣ четверо схватываютъ черные факелы, вышеуказаннымъ порядкомъ поклоняются козлу и затѣмъ присоединяются къ пляскѣ, въ которой все смѣшанное общество несется вокругъ возвышенія. Особенность этой пляски состоитъ въ томъ, что танцующіе поворачиваются другъ къ другу спиной, а не лицомъ, которое повернуто въ противоположную сторону.

Фаустъ и герцогиня, ускользающіе изъ этого хоровода, достигаютъ высшаго пункта своего любовнаго упоенія и исчезаютъ за деревьями на правой сторонѣ сцены. Круговая пляска пришла къ концу. Новые гости подходятъ къ возвышенію и совершаютъ поклоненіе козлу; между ними встрѣчаются и коронованныя головы, даже жрецы въ своихъ облаченіяхъ.

Въ это время на авансцену выходитъ много католическихъ монаховъ и монахинь, и ихъ необычайные прыжки въ полькѣ потѣшаютъ демоновъ-зрителей на вершинахъ горъ, и они аплодируютъ вытянутыми далеко впередъ лапами. Фаустъ снова появляется съ герцогинею; но лицо его разстроено, и онъ сердито отворачивается отъ женщины, которая преслѣдуетъ его сладострастнѣйшими ласками. Онъ выражаетъ ей самымъ недвусмысленнымъ образомъ свое пресыщеніе и отвращеніе. Напрасно она бросается передъ нимъ съ мольбой на колѣни, онъ съ отвращеніемъ ее отталкиваетъ. Въ эту минуту являются три мавра въ золотыхъ ливреяхъ, на которыхъ вышиты все черные козлы: они передаютъ герцогинѣ повелѣніе немедленно явиться къ сатанѣ, ея повелителю и господину, и колеблющаяся женщина увлекается ими насильно. Но тутъ, въ глубинѣ сцены, козелъ сходитъ со своего пьедестала, и послѣ нѣсколькихъ странныхъ комплиментовъ исполняетъ съ герцогиней менуэтъ. Па медленное, размѣрное, церемоніальное. На лицѣ

козла скорбь падшаго духа и глубокая скука пресыщеннаго владыки; во всѣхъ чертахъ герцогини безотраднѣйшее отчаяніе. По окончаніи танца козелъ снова входитъ на свое возвышеніе. Дамы, присутствовавшія при этомъ зрѣлищѣ, подходятъ къ герцогинѣ съ книксенами и привѣтствіями и уводятъ ее съ собой. Фаустъ остается на авансценѣ, и между тѣмъ, какъ онъ смотритъ на менуэтъ, къ нему снова подходитъ Мефистофела. Съ отвращеніемъ указываетъ онъ на герцогиню и, повидимому, сообщаетъ Мефистофелѣ на ея счетъ что-то ужасное; вообще онъ обнаруживаетъ свое глубокое отвращеніе ко всему этому безобразію, происходящему передъ нимъ, ко всему этому готическому скопищу, которое есть не что иное, какъ грубо постыдное осмѣяніе католическаго аскетизма, оно для него такъ же противно, какъ и этотъ послѣдній. Онъ ощущаетъ безконечное томленіе по чисто прекрасному, по греческой гармоніи, по безкорыстно благороднымъ образамъ гомеровскаго міра весны. Мефистофела понимаетъ его и, прикоснувшись своей волшебной палочкой къ землѣ, выводитъ изъ нея и тотчасъ же заставляетъ исчезнуть образъ знаменитой спартанской Елены. Это видѣніе есть именно то, чего жаждало ученое, стремившееся къ античному идеалу сердце доктора. Онъ обнаруживаетъ полный восторгъ—и тутъ по знаку Мефистофелы снова являются волшебные кони и уносятъ ихъ обоихъ. Въ ту же самую минуту возвращается на сцену герцогиня; замѣтивъ бѣгство милаго, она повергается въ безумнѣйшее отчаяніе и падаетъ въ обморокъ. Ее поднимаютъ и съ шутками и фарсами уносятъ, точно въ тріумфѣ, нѣсколько дикихъ фигуръ. Снова круговая пляска вѣдьмъ, внезапно прерываемая пронзительнымъ звукомъ колокольчика и хораломъ органовъ, представляющимъ святотатственную пародію на церковную музыку. Всѣ тѣснятся къ возвышенію, на которомъ черный козелъ охватывается пламенемъ и съ трескомъ сгораетъ. По опущеніи занавѣса, продолжаютъ еще слышаться шутовскіе нечестивые звуки въ царствѣ сатаны.

АКТЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Островъ въ Архипелагѣ. Часть моря, блестящая, какъ изумрудъ, видна влѣво и прелестно отдѣляется отъ бирюзы неба, лучезарный свѣтъ котораго освѣщаетъ идеальный пейзажъ. Растительность и зодчество здѣсь такія гречески прекрасныя, какими нѣкогда воображалъ ихъ себѣ пѣвецъ

«Одиссеи». Тутъ кипарисы, лавровые кусты, въ тѣни которыхъ покоятся бѣлыя статуи; сказочныя растенія въ большихъ мраморныхъ вазахъ; деревья, обвитыя цвѣточными гирляндами; кристальные каскады; на правой сторонѣ сцены храмъ Венеры Афродиты, статуя которой выглядываетъ изъ-за колонады—и все это оживлено цвѣтущими людьми: юноши въ бѣлыхъ праздничныхъ одеждахъ, дѣвы въ легко опоясанныхъ одеждахъ нимфъ, въ вѣнкахъ изъ розъ и миртъ, и часть ихъ веселится отдѣльными группами, часть совершаетъ церемоніальными плясками радостное поклоненіе передъ храмомъ богини. Все здѣсь дышитъ греческою безмятежностью, амврозіею міра боговъ, классическимъ спокойствіемъ. Ничто не напоминаетъ туманнаго существованія за гробомъ, мистическаго трепета сладострастія и страха, сверхъестественной восторженности духа, который освобождается отъ тѣлесныхъ узъ; тутъ всюду реальное пластическое блаженство, безъ тоски по прошедшемъ или пустыхъ стремленій къ будущему. Царица этого острова—Елена спартанская, прекраснѣйшая женщина въ мірѣ поэзіи, и она пляшетъ во главѣ своихъ придворныхъ женщинъ передъ храмомъ Венеры. Танецъ и позы, въ гармоніи съ обстановкой, размѣрены, цѣломудренны и торжественны.

Въ этомъ-то мірѣ, разсѣкая воздухъ на своихъ черныхъ коняхъ, внезапно появляются Фаустъ и Мефистофела. Они какъ будто освободились отъ мрачнаго кошмара, отъ постыднаго недуга, отъ жалкаго безумія, и отдыхаютъ здѣсь при видѣ первобытной красоты и истиннаго благородства. Царица со своей свитой гостепріимно танцуетъ навстрѣчу имъ, предлагаетъ имъ яства и напитки въ сосудахъ съ драгоцѣнной рѣзьбой и приглашаетъ остаться съ ними на этомъ тихомъ островѣ счастія. Фаустъ и его спутница отвѣчаютъ радостными танцами, и всѣ, образуя праздничное шествіе, направляются, наконецъ, къ храму Венеры, гдѣ докторъ и Мефистофела смѣняютъ романтическое средневѣковое платье на простую и великолѣпную греческую одежду. Возвратясь потомъ на авансцену въ этомъ превращеніи, они исполняютъ вмѣстѣ съ Еленой какое-нибудь миѳологическое pas-de-trois.

Фаустъ и Елена садятся, наконецъ, на тронѣ съ правой стороны сцены; въ это время Мефистофела, схвативъ тирсъ и тамбуринъ, пляшетъ, какъ вакханка, принимая самыя вольныя позы. Дѣвушки Елены, увлеченныя этимъ примѣромъ, срываютъ съ себя вѣнки изъ розъ и миртъ, вплета-

ютъ въ распустившіяся кудри виноградные листья и, потрясая тирсами, съ развѣвающимися волосами, тоже несутся въ танцѣ, какъ вакханки. Тогда юноши вооружаются щитами и копьями, выгоняютъ дѣвъ, божественно безумствующихъ, и въ притворной битвѣ исполняютъ одну изъ тѣхъ воинственныхъ пантомимъ, которыя такъ любили описывать древніе писатели.

Въ эту героическую пастораль можно включить и античную юмористическую сцену. Толпа купидоновъ появляется верхомъ на лебедяхъ, они вооружены копьями и луками и также начинаютъ боевую пляску. Но эта граціозная игра внезапно прекращается: испуганные купидончики вскакиваютъ на своихъ лебедей и улетаютъ при появленіи герцогини, которая прилетаетъ на громадной летучей мыши и, какъ фурія, бросается къ трону, на которомъ спокойно сидятъ Фаустъ и Елена. Она, повидимому, осыпаетъ Фауста безумнѣйшими упреками, а Елену—угрозами. Мефистофела, наблюдавшая за этой сценой съ злорадствомъ, возобновляетъ свою вакхическую пляску, въ которой снова принимаетъ участіе свита Елены, такъ что ихъ веселье какъ бы представляетъ издѣвающійся контрастъ съ гнѣвомъ герцогини. Наконецъ, эта послѣдняя, выйдя изъ себя отъ бѣшенства, взмахиваетъ магической палочкой, которую держитъ въ рукѣ, и, повидимому, сопровождаетъ это движеніе страшнѣйшими заклинаніями. Тотчасъ же небо покрывается тучами, молнія и громъ, море бурно вздымается, и на всемъ островѣ съ предметами и лицами совершается ужаснѣйшее превращеніе. Все какъ бы поражено ураганомъ и смертью: деревья лишены листьевъ и засохли, храмъ превратился въ развалины, статуи лежатъ разбитыя на землѣ, царица Елена, въ бѣломъ саванѣ, сидитъ, точно превратившійся въ скелетъ трупъ, возлѣ Фауста; танцовщицы и дѣвушки тоже костлявыя привидѣнія; онѣ укутаны бѣлыми простынями, закрывающими головы и ниспадающими только до тощихъ икръ, какъ лемуры, какими изображаютъ ихъ, и въ этомъ видѣ онѣ продолжаютъ свои веселыя позы и пляски, какъ будто ровно ничего не произошло, и, повидимому, совсѣмъ не замѣчая происшедшаго превращенія. Но Фаустъ, видя, что все его блаженство уничтожено мщеніемъ ревнивой колдуньи, приходитъ въ страшное озлобленіе, онъ соскакиваетъ съ трона, и, обнаживъ шпагу, вонзаетъ ее въ грудь герцогини.

Мефистофела снова призвала своихъ волшебныхъ коней, въ тревогѣ торопитъ Фауста отправиться въ путь и исче-

вастъ съ нимъ въ воздухѣ. Между тѣмъ, море волнуется все сильнѣе и сильнѣе, мало-по-малу оно заливаетъ людей и зданія, только пляшущія лами, повидимому, ничего не замѣчаютъ и при веселыхъ звукахъ тамбурина продолжаютъ танцовать до тѣхъ поръ, пока волны не достигаютъ ихъ головъ, и весь островъ какъ-бы погружается въ воду. Надъ гонимыми бурей волнами, высоко въ воздухѣ, видны Фаустъ и Мефистофела, несущіеся на своихъ черныхъ коняхъ.

АКТЪ ПЯТЫЙ.

Обширная площадь передъ соборомъ, готическій портикъ котораго виденъ въ глубинѣ сцены. Съ обѣихъ сторонъ площади красиво подстриженныя липы; подъ ними, слѣва, сидятъ и пируютъ горожане, одѣтые въ нидерландскіе костюмы XVI столѣтія. Невдалекѣ видны вооруженные самострѣлами стрѣлки, которые стрѣляютъ въ деревянную птицу, прикрѣпленную на высокомъ шестѣ. Всюду ярмарочное веселье, балаганы, музыканты, маріонетки, прыгающіе паяцы и веселыя группы. Посреди сцены лужайка, на которой пляшутъ почетные жители.

Птица сбита, и побѣдитель, какъ король стрѣлковъ, совершаетъ свое торжественное шествіе. Это толстый пивоваръ, на головѣ его огромная корона съ привѣшеннымъ къ ней множествомъ погремушекъ, животъ и спина увѣшаны большими бляхами изъ вызолоченной жести; въ такомъ видѣ онъ гордо подвигается впередъ со звономъ и шумомъ. Впереди его маршируютъ барабанщики и флейтщики; тутъ же знаменосецъ, коротконогій карапузъ, уморительно размахивающій огромнымъ знаменемъ; весь стрѣлковый цехъ величественно слѣдуетъ за ними. Передъ толстымъ бургомистромъ и его не менѣе объемистою супругою, сидящими со своей дочкой подъ липами, опускается знамя и почтительно преклоняются проходящіе. Бургомистръ и жена его тоже отвѣчаютъ поклономъ, а ихъ дочь, бѣлокурая головка фламандской школы, подноситъ почетный кубокъ королю стрѣлковъ.

Раздаются звуки трубъ, и на высокой телѣжкѣ, убранной зеленью и запряженной парою черныхъ коней, является многоученый докторъ Фаустъ, въ ярко красномъ и украшенномъ золотыми кистями костюмѣ площадного шарлатана; впереди идетъ, правя лошадьми, Мефистофела, также въ яркомъ шарлатанскомъ костюмѣ, богато украшенномъ лентами и перьями, и держа въ рукѣ большую трубу, въ которую она, отъ времени до времени, трубитъ, при чемъ

выплясываетъ приманивающую народъ рекламу. Толпа тотчасъ же начинаетъ тѣсниться вокругъ телѣжки, на которой странствующій чудодѣй-докторъ распродаетъ за наличныя деньги снадобья и микстуры всякаго рода. Нѣкоторыя приносятъ ему на разсмотрѣніе свою мочу въ большихъ склянкахъ. Другимъ онъ выдергиваетъ зубы. Онъ исцѣляетъ чудеснымъ образомъ убогихъ калѣкъ, которые уходятъ отъ него здоровые и танцуютъ отъ радости. Наконецъ, онъ сходитъ съ своей повозки, отъѣзжающей въ сторону, и раздаетъ толпѣ склянки, изъ которыхъ стоитъ только хлебнуть нѣсколько капель, чтобы излѣчиться отъ всякой болѣзни и почувствовать неодолимую охоту къ пляскѣ. Король стрѣлковъ, проглотившій цѣлую склянку, подвергается волшебному дѣйствію ея, онъ схватываетъ Мефистофелу и пляшетъ съ ней pas-de-deux. На престарѣлаго бургомистра и его супругу питье также оказываетъ могодвигательное дѣйствіе, и они пускаются въ старый гросфатеръ.

Но между тѣмъ, какъ вся публика несется въ безумнѣйшемъ вихрѣ, Фаустъ подходитъ къ дочери бургомистра и, околдованный ея чистою естественностью, цѣломудренностью и красотой, открывается ей въ любви и, тоскливымъ, почти боязливымъ движеніемъ руки указывая на церковь, проситъ руки молодой дѣвушки. Эту же просьбу онъ повторяетъ родителямъ, которые, запыхавшись, снова опускаются на свою скамью; имъ предложеніе по сердцу, и наивная красавица, наконецъ, тоже даетъ свое стыдливое согласіе. Ее и Фауста украшаютъ букетами цвѣтовъ, и они, какъ женихъ и невѣста, отплясываютъ свой добродѣтельно-бюргерскій гименей. Докторъ нашелъ, наконецъ, въ скромно-сладостной тиши то семейное счастье, которое удовлетворяетъ душу. Забыты сомнѣнія и мечтательныя болѣзненныя наслажденія высокомѣрнаго ума, и онъ сіяетъ внутреннимъ счастіемъ, какъ позолоченный пѣтухъ на церковной колокольнѣ.

Образуется брачная процессія съ пышною свадебной обстановкой, и она направляется къ собору, какъ вдругъ Мефистофела подходитъ къ жениху съ насмѣшливыми движеніями и отрываетъ его отъ идиллическихъ чувствъ; она, повидимому, приказываетъ ему немедленно за ней слѣдовать; Фаустъ гнѣвно сопротивляется, и зрители испуганы этой сценой. Но ихъ ужасъ увеличивается, когда, по заклинанію Мефистофелы, вездѣ становится темно, какъ ночью, и разражается страшная буря. Всѣ въ страхѣ бѣгутъ и

ищутъ убѣжища въ храмѣ, гдѣ раздаются звонъ колоколовъ и звуки органа—благочестивые звуки, представляющіе контрастъ адскому шуму, производимому громомъ и молніей. На сценѣ Фаустъ хочетъ, какъ и другіе, бѣжать въ церковь, но большая черная рука, вышедшая изъ земли, схватываетъ его, между тѣмъ какъ Мефистофела, съ злобно торжествующимъ видомъ, вынимаетъ изъ корсажа пергаментъ, который докторъ подписалъ нѣкогда своею кровью. Она показываетъ ему, что срокъ контракта истекъ и что онъ отнынѣ душой и тѣломъ принадлежитъ аду. Напрасно Фаустъ дѣлаетъ всевозможныя возраженія, напрасно прибѣгаетъ, наконецъ, къ жалобамъ и мольбамъ—чортъ-женщина пляшетъ вокругъ него съ гримасами издѣвательства. Земля разверзается, и изъ нея выходятъ страшные князи тьмы, чудовища со скипетрами и въ коронахъ. Ликующей пляской они тоже издѣваются надъ бѣднымъ докторомъ, котораго Мефистофела, превратившаяся, наконецъ, въ отвратительную змѣю, задушаетъ въ дикихъ объятіяхъ. Вся группа проваливается при трескѣ пламени, между тѣмъ какъ звуки колоколовъ и звуки органовъ, несущіеся изъ собора, призываютъ къ благочестивымъ христіанскимъ молитвамъ.

ОБЪЯСНЕНІЯ.

To Lumley, Esq-re, Director of the Theatre of Her Majesty the Queen.

Dear sir!

Легко понятная боязнь напала на меня, когда я подумалъ, что выбралъ для своего балета сюжетъ, обработанный уже нашимъ великимъ Вольфгангомъ Гёте, и при томъ въ его величайшемъ произведеніи. Но если борьба съ такимъ поэтомъ достаточно опасна даже при одинаковыхъ средствахъ, то какъ же должно быть смертоносно предпріятіе, если вступать въ бой съ неравнымъ оружіемъ! Дѣйствительно, Вольфгангъ Гёте имѣлъ въ распоряженіи для выраженія своихъ мыслей цѣлый арсеналъ словеснаго искусства, онъ былъ полнымъ хозяиномъ во всѣхъ сундукахъ сокровищницы родного языка, столь богатаго вычеканенными словами глубокомыслія и первобытными, естественными звуками изъ міра сердечныхъ чувствъ, волшебными звуками, которые, давно смолкнувъ въ жизни, снова раздаются, точно эхо, въ стихахъ гётевскаго стихотворенія и такъ чудесно возбуждаютъ воображеніе читателя! Но какими жалкими средствами вооруженъ я, несчастный, для того, чтобъ дать внѣшнее проявленіе тому, что я думаю и что чувствую. Мое оружіе—только тощее либретто, гдѣ въ самой сжатой формѣ я указываю, какъ должны двигаться и что дѣлать танцоры и танцовщицы, и какія, по моему мнѣнію, должны быть приблизительно при этомъ декораціи и музыка. И, однако, я осмѣлился сочинить «Доктора Фауста» въ формѣ балета, соперничая съ великимъ Вольфгангомъ Гёте, который даже предвосхитилъ у меня свѣжесть сюжета и могъ посвятить обработкѣ его всю свою долгую и цвѣтущую жизнь олимпійскаго бога, между тѣмъ какъ мнѣ, бѣдному больному,

вы, почтенный другъ, дали для окончанія этой работы только четыре недѣли сроку.

Я не могъ, къ сожалѣнію, переступить за предѣлы моей задачи, но въ нихъ сдѣлалъ все, что можетъ сдѣлать честный человѣкъ, и, по крайней мѣрѣ, стремился къ той заслугѣ, которою Гёте ни въ какомъ случаѣ не можетъ похвалиться: именно, въ его «Фаустѣ» мы не видимъ вѣрной съ начала до конца привязанности къ подлинной легендѣ, уваженіе къ ея истинному духу, благоговѣнія передъ ея внутреннею душою, того благоговѣнія, котораго скептикъ XVIII столѣтія (а имъ Гёте оставался до конца своей жизни) не могъ ни чувствовать, ни понимать. Въ этомъ отношеніи, онъ провинился въ произволѣ, который заслуживаетъ порицанія и съ эстетической точки зрѣнія и который, въ концѣ концовъ, самъ отомстилъ за себя поэту. Да, это прегрѣшеніе есть источникъ недостатковъ его поэмы: отдалясь отъ набожной симметріи, съ которою легенда жила въ сознаніи нѣмецкаго народа, онъ никогда не могъ закончить свой трудъ по новому плану, въ основаніи котораго лежало невѣріе, оно такъ и осталось неоконченнымъ—развѣ только кто-нибудь захочетъ считать этимъ окончаніемъ ту немощную вторую часть «Фауста», которая появилась уже сорокъ лѣтъ спустя. Въ этой второй части Гёте освобождаетъ чернокнижника изъ когтей дьявола, онъ не отправляетъ его въ преисподнюю, а устраиваетъ ему торжественное вступленіе въ небо, въ сопровожденіи пляшущихъ ангельчиковъ, католическихъ амурчиковъ, и страшный договоръ съ чортомъ, отъ котораго у нашихъ предковъ отъ ужаса вставали дыбомъ волосы, оканчивается, какъ пошлый фарсъ—я почти готовъ сказать, какъ балетъ.

Мой балетъ содержитъ въ себѣ все самое существенное стариннаго сказанія о докторѣ Фаустѣ, и, соединивъ въ одно драматическое цѣлое ея главные моменты, я и въ подробностяхъ вполнѣ добросовѣстно держался сохранившихся преданій, какими найдены они мною въ народныхъ книгахъ, распродающихся на нашихъ рынкахъ, и въ театрахъ маріонетокъ, видѣнныхъ мною въ дѣтствѣ.

Народныя книги, о которыхъ я здѣсь упомянулъ, отнюдь не согласны между собою. Большая часть ихъ—произвольныя компиляціи изъ двухъ старыхъ большихъ сочиненій о Фаустѣ, составляющихъ, вмѣстѣ съ такъ-называемыми «Ключами Ада», главные источники легенды. Эти книги слишкомъ важны въ этомъ отношеніи для того, чтобы я не

сообщилъ вамъ о нихъ болѣе подробныхъ извѣстій. Самая старая изъ книгъ о Фаустѣ появилась во Франкфуртѣ, въ 1587 г., у Іоганна Шписа, который, повидимому, не только напечаталъ, но и написалъ ее, хотя въ посвященіи своимъ покровителямъ онъ говоритъ, что получилъ рукопись отъ своего друга, живущаго въ Шпейерѣ. Въ этомъ древнемъ франкфуртскомъ «Фаустѣ» гораздо болѣе поэзіи, глубокомыслія и символизма, чѣмъ въ другой книгѣ о Фаустѣ, сочиненной Георгомъ-Рудольфомъ Видманомъ и изданной въ Гамбургѣ въ 1599 г. Однакоже, это послѣднее сочиненіе разошлось больше, чѣмъ первое, можетъ-быть, оттого, что авторъ разбавилъ его гомилетическими разсужденіями и нашпиговалъ педантическою ученостью. Вслѣдствіе этого болѣе достойное сочиненіе было вытѣснено и почти забыто. Въ основаніи обоихъ ихъ лежитъ благочестивая цѣль — благонамѣреннѣйшее предохраненіе людей отъ союзовъ съ дьяволомъ. Что касается до такъ-называемаго «Ключа Ада», третьяго главнаго источника легенды о Фаустѣ, то это — заклинательныя книги, написанныя частью по-латыни, частью по-нѣмецки, и приписываемыя самому доктору Фаусту. Онѣ самымъ страннымъ образомъ отличаются одна отъ другой и носятъ даже разныя заглавія. Самый знаменитый изъ этихъ «Ключей» называется «Духъ Моря»; это названіе произносилось не иначе, какъ съ содраганіемъ, а рукопись была прикрѣплена желѣзною цѣпью въ монастырскихъ библіотекахъ. Тѣмъ не менѣе, вслѣдствіе преступной нескромности, эта книга была напечатана въ 1692 г., въ Амстердамѣ, у Гольбека.

Народныя книги, составившіяся по упомянутымъ источникамъ, пользовались также и другимъ, не менѣе курьезнымъ сочиненіемъ о слѣдующемъ въ чародѣйствѣ, прислужникѣ доктора Фауста, Христофорѣ Вагнерѣ, приключенія и шутовскія продѣлки котораго нерѣдко приписывали его знаменитому учителю. Авторъ, издавшій свою книгу въ 1594 г., какъ говоритъ, по испанскому подлиннику, называетъ себя Толетъ Шотусъ. Если это сочиненіе, дѣйствительно, переведено съ испанскаго, въ чемъ я, однако, сомнѣваюсь, то это слѣдъ, которымъ можно бы объяснить замѣчательное сходство легенды о Фаустѣ съ легендою о Донъ-Жуанѣ.

Существовалъ ли въ самомъ дѣлѣ какой-нибудь Фаустъ? Какъ многихъ другихъ чудодѣевъ, Фауста тоже признали не чѣмъ инымъ, какъ миѳомъ. Съ нимъ даже случилось хуже; поляки, несчастные поляки, присваиваютъ его себѣ, какъ

соотечественника, и утверждаютъ, что еще теперь онъ извѣстенъ у нихъ подъ именемъ Твардовскаго. Правда, по новѣйшимъ изслѣдованіямъ о Фаустѣ, онъ изучалъ магію въ краковскомъ университетѣ, гдѣ она, что весьма удивительно, преподавалась открыто, какъ свободная наука; правда также, что поляки въ то время были великіе чародѣи, какими въ наше время они перестали быть, но нашъ докторъ Іоганнъ Фаустъ—натура такая глубоко добросовѣстная, такая правдивая, такая глубокомысленно наивная, такъ жаждущая проникнуть въ сущность вещей и даже въ чувственности, такая глубоко ученая, что онъ могъ быть только вымысломъ или нѣмцемъ. Въ существованіи его, однако, нельзя сомнѣваться, о жизни его сообщаютъ свѣдѣнія лица, вполнѣ достойныя вѣры, напримѣръ, Іоганнъ Вирусъ, авторъ знаменитой книги о колдунахъ, потомъ Филиппъ Меланхтонъ, сподвижникъ Лютера; наконецъ, аббатъ Триттгеймъ, великій ученый, занимавшійся также тайными науками и поэтому, мимоходомъ будь сказано, можетъ-быть, изъ профессіональной зависти, старавшійся унизить Фауста и выставить его невѣжественнымъ шарлатаномъ. По вышеупомянутымъ свидѣтельствамъ Вируса и Меланхтона, Фаустъ родился въ Кундлингенѣ, маленькомъ швабскомъ городкѣ. Здѣсь я долженъ кстати замѣтить, что упомянутыя мною главныя сочиненія о Фаустѣ различно показываютъ мѣсто его рожденія. По болѣе старинной франкфуртской редакціи, Фаустъ сынъ крестьянина, родился въ Родѣ, близъ Веймара. Въ гамбургскомъ же варіантѣ Видмана сказано: «Фаустъ родомъ изъ ангальтскаго графства, и его родители, благочестивые поселяне, жили въ сольтведельскомъ округѣ».

Въ запискѣ о превосходномъ и высокопочтенномъ исцѣлителѣ отъ глистовъ, Калмоніусѣ, которою я въ настоящее время занятъ, я нахожу случай доказать самымъ нагляднымъ образомъ, что дѣйствительный историческій Фаустъ не кто иной, какъ тотъ Сабелликусъ, котораго аббатъ Триттгеймъ изобразилъ ярмарочнымъ шарлатаномъ и архи-бестіей, который обманулъ Бога и людей. То обстоятельство, что этотъ Сабелликусъ на визитной карточкѣ, которую онъ послалъ Триттгейму, назвалъ себя «Фаустъ junior», привело многихъ писателей къ ошибочному заключенію, будто уже прежде существовалъ колдунъ съ такимъ же именемъ. Между тѣмъ, прилагательное «junior» должно означать здѣсь только то, что Фаустъ имѣлъ отца или старшаго брата, находившагося еще въ живыхъ, а это не имѣетъ для насъ ника-

кого значенія. Совсѣмъ иное было бы, если-бъ, напримѣръ, къ нашему нынѣшнему Калмоніусу я захотѣлъ приложить эпитетъ «junior», ибо этимъ я указалъ бы на существованіе старшаго Калмоніуса, который жилъ въ срединѣ прошлаго столѣтія и тоже былъ, можетъ-быть, большой хвастунъ и лжецъ; такъ, напримѣръ, онъ хвасталъ, что былъ въ тѣсной дружбѣ съ Фридрихомъ Великимъ, и часто разсказывалъ, какъ король однажды утромъ промаршировалъ мимо его дома со всею своею арміею и, остановившись передъ его окошкомъ, сказалъ: «Прощайте, Калмоніусъ, я теперь отправляюсь на семилѣтнюю войну и надѣюсь когда-нибудь снова увидѣть васъ здоровымъ».

Очень распространено въ народѣ заблужденіе, что нашъ чародѣй—тотъ самый Фаустъ, который изобрѣлъ книгопечатаніе. Это заблужденіе весьма знаменательно и заключаетъ въ себѣ глубокій смыслъ. Народъ отождествилъ два лица, потому что смутно понималъ, что образъ мыслей, имѣющій своимъ представителемъ чернокнижника Фауста, нашелъ въ изобрѣтеніи книгопечатанія самое страшное орудіе распространенія, — и отсюда-то произошла солидарность между этими двумя личностями. Но этотъ образъ мыслей есть не что иное, какъ само мышленіе, въ противоположность слѣпому средневѣковому вѣрованію, вѣрованію во всѣ матеріальные и духовные авторитеты, въ вознагражденіе *тамъ* за лишенія *здѣсь*... Фаустъ начинаетъ мыслить; его невѣрующій разумъ возстаетъ противъ убѣжденій его отцовъ, онъ не хочетъ болѣе блуждать въ потемкахъ и коснѣть въ нищетѣ, онъ требуетъ себѣ науки, земной власти, свѣтскихъ наслажденій; онъ хочетъ знать, мочь и наслаждаться, и, говоря средневѣковымъ символическимъ языкомъ, отпадаетъ отъ Бога, отрекается отъ своего загробнаго блаженства и отдается сатанѣ и его земнымъ наслажденіямъ.

Это возмущеніе и его доктрина нашли себѣ именно въ книгопечатаніи такое волшебно могущественное содѣйствіе, что съ теченіемъ времени охватили не только высоко образованныхъ отдѣльныхъ личностей, но даже и цѣлыя народныя массы. Быть-можетъ, легенда о Іоганнѣ Фаустѣ потому имѣетъ такую таинственную прелесть для нашихъ современниковъ, что они видятъ въ ней такъ наивно и наглядно изображенною борьбу, которую приходится вести имъ самимъ, борьбу между традиціоннымъ авторитетомъ и разумомъ, между слѣпымъ вѣрованіемъ и мышленіемъ, между смиреннымъ самоотреченіемъ и дерзкою жаждою наслажденій—борьбу на

смерть, въ которой, быть-можетъ, въ концѣ концовъ, чортъ возьметъ насъ такъ же, какъ взялъ бѣднаго доктора изъ графства ангальтскаго или изъ Кундингена въ Швабіи.

Да, нашего волшебника часто смѣшиваютъ въ легендѣ съ первымъ типографщикомъ. Это дѣлается, главнымъ образомъ, въ кукольныхъ комедіяхъ, гдѣ мы всегда находимъ Фауста въ Майнцѣ, тогда какъ народныя книги опредѣляютъ мѣстомъ его жительства Виттенбергъ. Глубоко знаменательно то, что это мѣстопребываніе Фауста, Виттенбергъ, есть въ то же время колыбель и лабораторія протестанства.

Кукольныя комедіи, о которыхъ я упоминаю снова, никогда не были печатаемы, и только недавно сочиненіе подобнаго рода было издано по рукописнымъ текстамъ, однимъ изъ моихъ друзей. Этотъ другъ—Карлъ Зимрокъ, слушавшій со мною въ боннскомъ университетѣ лекціи Шлегеля по нѣмецкой археологіи и просодіи, зачастую также опоражнивавшій со мною кружку добраго рейнвейна и, такимъ образомъ, усовершенствовавшійся въ вспомогательныхъ наукахъ, которыя впослѣдствіи пригодились ему при изданіи старинной кукольной комедіи. Съ умомъ и тактомъ возстанавливалъ онъ потерянныя мѣста, выбиралъ сохранившіеся варіанты, а искусство, съ которымъ онъ обработалъ «комическую личность», доказываетъ, что онъ превосходно изучилъ и нѣмецкихъ шутовъ—вѣроятно, также на лекціяхъ Августа-Вильгельма Шлегеля въ Боннѣ. Какъ чудесно начало пьесы, когда Фаустъ, уединясь въ своемъ рабочемъ кабинетѣ, сидитъ за своими книгами и произноситъ слѣдующій монологъ: «Итакъ, я только того и добился своей ученостью, что надо мною вездѣ смѣются. Всѣ книги съ начала до конца перерылъ я, и все-таки не открылъ философскаго камня. Юриспруденція, медицина, ничто не помогло,—спасеніе остается только въ искусствѣ чернокнижія. Къ чему послужили мнѣ занятія теологіей? Кто заплатитъ мнѣ за мои безсонныя ночи? На моемъ тѣлѣ остались одни лохмотья, а отъ долговъ я не знаю, куда дѣваться. Я долженъ заключить союзъ съ адомъ для того, чтобы проникнуть въ сокровенныя глубины природы; но для вызыванія духовъ, мнѣ нужно сперва выучиться магіи».

Слѣдующая за этой сцена содержитъ въ себѣ высоко поэтическіе и глубоко захватывающіе мотивы, достойные высокой трагедіи и дѣйствительно заимствованные изъ крупныхъ драматическихъ произведеній. Между этими послѣдними назовемъ прежде всего «Фауста» Марло, геніальное

произведеніе, очевидно, послужившее образцомъ кукольнымъ комедіямъ, какъ по содержанію, такъ и по формѣ. «Фаусту» Марло подражали, вѣроятно, и другіе современные ему англійскіе авторы при обработкѣ той же темы—и отрывки изъ этихъ пьесъ перешли затѣмъ въ кукольныя комедіи. Подобныя англійскія комедіи о Фаустѣ, вѣроятно, переводились впослѣдствіи на нѣмецкій языкъ и игрались такъ-называемыми англійскими комедьянтами, которые уже въ то время представляли на нѣмецкихъ сценахъ и лучшія драмы Шекспира. Но до насъ репертуаръ этихъ труппъ англійскихъ комедьянтовъ дошелъ въ очень скудномъ видѣ; самыя же пьесы, никогда не бывшія въ печати, утратились и сохранились, можетъ-быть, гдѣ-нибудь на самыхъ маленькихъ театрахъ или въ бродячихъ труппахъ низшаго разряда. Такъ, я самъ помню, что два раза видѣлъ жизнь Фауста въ исполненіи такихъ бродягъ искусства, и притомъ не въ обработкѣ новыхъ поэтовъ, а, вѣроятно, по отрывкамъ изъ старинныхъ, давно исчезнувшихъ драмъ. Первую изъ этихъ пьесъ я видѣлъ двадцать пять лѣтъ назадъ, въ маленькомъ театрѣ, на такъ-называемой «Гамбургской Горѣ», между Гамбургомъ и Альтоною. Помню, что всѣ демоны, которыхъ вызывалъ Фаустъ, появлялись плотно закутанные въ сѣрыя простыни. На вопросъ Фауста: «мужчины вы или женщины?» они отвѣчали: «мы безполые». Затѣмъ Фаустъ спрашиваетъ, какая собственно наружность скрывается подъ этими сѣрыми саванами, и они отвѣчаютъ: «У насъ нѣтъ никакой, собственно намъ принадлежащей, наружности; мы примемъ всякій такой образъ, въ какомъ ты пожелаешь насъ видѣть; нашъ видъ всегда будетъ согласенъ съ твоими мыслями». По заключеніи условія, въ которомъ Фаусту обѣщаютъ всѣ знанія и наслажденія, онъ прежде всего освѣдомляется объ условіяхъ жизни на небѣ и въ аду и, получивъ надлежащія свѣдѣнія, замѣчаетъ, что на небѣ должно быть слишкомъ прохладно, а въ аду слишкомъ жарко, и что, значитъ, самый сносный климатъ на нашей милой землѣ. Надъ прекраснѣйшими женщинами этой милой земли онъ одерживаетъ побѣды магическимъ кольцомъ, которое надѣляетъ его самою цвѣтущею фигурою юноши, красотою, граціею и, вмѣстѣ съ тѣмъ, великолѣпнѣйшимъ рыцарскимъ костюмомъ. Послѣ многихъ лѣтъ, проведенныхъ въ кутежахъ и въ оргіяхъ, онъ затѣваетъ еще любовную интригу съ синьорой Лукреціей, знаменитѣйшей венеціанской куртизанкой; но вскорѣ измѣнически покидаетъ ее и уѣзжаетъ

въ Аѳины, гдѣ дочь герцога влюбляется въ него и хочетъ выйти за него замужъ. Лукреція въ отчаяніи проситъ совѣта адскихъ силъ для отмщенія невѣрному, и дьяволъ сообщаетъ ей по секрету, что все великолѣпіе, окружающее Фауста, исчезнетъ съ кольцомъ, которое онъ носитъ на указательномъ пальцѣ. Тогда Лукреція, переодѣтая странникомъ, отплываетъ въ Аѳины и является къ тамошнему двору въ то самое мгновеніе, когда Фаустъ, облеченный въ брачную одежду, подаетъ руку прекрасной принцессѣ, чтобъ вести ее къ алтарю. Но переодѣтый пилигримъ, мстительная женщина, внезапно срываетъ съ пальца жениха кольцо, и молодыя черты лица Фауста вдругъ превращаются въ морщинистое старческое лицо съ беззубымъ ртомъ; вмѣсто прекрасныхъ золотистыхъ кудрей, по жалкому черепу разсѣяны только рѣдкіе сѣдые волосы, блистательный пурпурный нарядъ спадаетъ, какъ засохшій листъ, съ согбеннаго, дряхлаго тѣла, которое прикрываютъ теперь только жалкіе лохмотья. Но, лишенный своихъ волшебныхъ чаръ, волшебникъ не подозрѣваетъ совершившейся съ нимъ перемѣны, или, вѣрнѣе, не замѣчаетъ, что его тѣло и одежда обнаруживаютъ теперь разрушеніе, совершавшееся съ нимъ въ теченіе двадцати лѣтъ и которое адское наважденіе умѣло скрывать отъ глазъ людей подъ обманчивымъ великолѣпіемъ; онъ не понимаетъ, отчего придворные удаляются отъ него съ отвращеніемъ, отчего принцесса кричитъ: «уведите съ моихъ глазъ этого стараго нищаго!» И когда Лукреція, все еще переодѣтая, съ злобною радостью подаетъ ему зеркало, онъ со стыдомъ видитъ въ немъ свою фигуру, и дерзкіе слуги выталкиваютъ его, какъ паршивую собаку.

Представленіе другой драмы о Фаустѣ, о которой упомянуто мною выше, я видѣлъ въ маленькомъ ганноверскомъ мѣстечкѣ, во время конской ярмарки. На лужайкѣ былъ построенъ небольшой деревянный театръ, и хотя играли при дневномъ свѣтѣ, но сцена заклинанія наводила достаточный ужасъ. Появившійся тамъ дьяволъ назывался тамъ не Мефистофелемъ, а Астаротомъ — имя, которое вначалѣ, можетъ-быть, было тождественно съ именемъ Астарты, хотя эта послѣдняя въ тайныхъ книгахъ магиковъ считается женою Астарота. Эта Астарта въ этихъ книгахъ изображается съ головой, вооруженной двумя рогами, расположенными въ видѣ полумѣсяца, и, дѣйствительно, финикіяне поклонялись ей, какъ богинѣ луны, вслѣдствіе чего евреи считали ее, какъ и всѣ божества своихъ сосѣдей, дьяволомъ. Однако,

Соломонъ Премудрый втайнѣ поклонялся ей, а Байронъ прославилъ ее въ своемъ Фаустѣ, котораго онъ назвалъ «Манфредомъ». Въ кукольной комедіи, изданной Зимрокомъ, книга, соблазняющая Фауста, названа «Clavis Astarti de magica».

Въ пьесѣ, о которой я началъ говорить, докторъ Фаустъ, прежде чѣмъ прибѣгнуть къ адскому заклинанію, жалуется, что онъ такъ бѣденъ, что долженъ вѣчно бѣгать пѣшкомъ, и что даже коровница не цѣлуетъ его; поэтому онъ хочетъ отдаться дьяволу, чтобы добыть себѣ лошадь и прекрасную принцессу. Вызванный дьяволъ является сначала въ видѣ грязныхъ животныхъ — свиньи, быка, обезьяны, но Фаустъ всякій разъ прогоняетъ его словами: «Ты долженъ быть страшнѣе, чтобъ испугать меня». Тогда дьяволъ является въ видѣ рыкающаго льва, quaerens quem devorat; но и это недостаточно ужасно для неустрашимаго чернокнижника; левъ, поджавъ хвостъ, уходитъ за кулисы, и возвращается оттуда въ видѣ колоссальнаго змѣя. «Ты все-таки еще недовольно страшенъ и ужасенъ»,—говоритъ Фаустъ. Дьяволъ снова со стыдомъ удаляется и вскорѣ опять появляется въ образѣ человѣка, удивительной красоты и завернутаго въ красный плащъ. Фаустъ выражаетъ ему свое изумленіе, на что красный плащъ отвѣчаетъ: «Нѣтъ ничего страшнѣе, ничего ужаснѣе человѣка; въ немъ и хрюкаетъ, и реветъ, и блеетъ, и шипитъ натура всѣхъ остальныхъ животныхъ; онъ грязенъ, какъ свинья, грубъ, какъ быкъ, смѣшонъ, какъ обезьяна, свирѣпъ, какъ левъ, ядовитъ, какъ змѣя—онъ вмѣстилище свойствъ всего животнаго рода».

Немало поразило меня странное сходство этой старой тирады въ кукольной комедіи съ однимъ изъ основныхъ началъ новѣйшей натуръ-философіи, особенно тѣмъ, которое развиваетъ Оккенъ. По заключеніи договора, Астаротъ предлагаетъ Фаусту нѣсколько женщинъ, красоту которыхъ онъ ему восхваляетъ, напримѣръ, Юдиѳь.—«Не хочу женщину-головорѣза»,—отвѣчаетъ Фаустъ.—«Не желаешь ли Клеопатру?»—вопрошаетъ его духъ.—«Не хочу и той, — говоритъ Фаустъ:—она слишкомъ расточительна, слишкомъ мотаетъ и сумѣла разорить даже богатаго Антонія; она ѣстъ жемчугъ».—«Ну, въ такомъ случаѣ.—продолжаетъ, улыбаясь, лукавый:—рекомендую тебѣ прекрасную спартанскую Елену; съ этой особой,—прибавляетъ онъ иронически:—ты можешь разговаривать по-гречески». Ученый докторъ восхищенъ этимъ предложеніемъ, и теперь требуетъ отъ демона для себя тѣ-

лесной красоты и великолѣпныхъ одеждъ, которыя позволили бы ему побѣдоносно бороться съ рыцаремъ Парисомъ; кромѣ того, ему нуженъ конь, чтобы тотчасъ летѣть въ Трою. Желаніе его исполняется, и тогда они оба уходятъ, послѣ чего немедленно появляются, внѣ балагана, верхомъ на высокихъ лошадяхъ. Они сбрасываютъ съ себя плащи, и вотъ передъ нами какъ Фаустъ, такъ и Астаротъ, въ блестящихъ мишурой костюмахъ англійскихъ наѣздниковъ, исполняютъ на своихъ лошадяхъ самыя удивительныя штуки, къ глубокому изумленію лошадиныхъ барышниковъ, которые столпились вокругъ со своими ганноверско-красными ликами и отъ восторга хлопаютъ себя по штанамъ изъ желтой кожи, выражая этимъ такіе аплодисменты, какихъ я до тѣхъ поръ не слыхалъ ни при одномъ драматическомъ представленіи. Астаротъ въ самомъ дѣлѣ весьма граціозно ѣхалъ на своей лошади, теперь онъ былъ стройная, красивая дѣвушка съ огромными, черными адскими глазами. Фаустъ въ своемъ блестящемъ костюмѣ былъ тоже красивый парень и гарцовалъ на лошади лучше всѣхъ нѣмецкихъ докторовъ, какихъ я когда-либо видѣлъ верхомъ. Оба объѣхали кругомъ сцены, на которой теперь красовался городъ Троя, а на стѣнахъ ея—прекрасная Елена.

Неизмѣримо важное значеніе имѣетъ появленіе въ легендѣ о Фаустѣ прекрасной Елены. Оно прежде всего характеризуетъ эпоху возникновенія этой легенды и открываетъ намъ самую сокровенную ея мысль. Этотъ вѣчно цвѣтущій идеалъ красоты и граціи, эта греческая Елена, которая въ одно прекрасное утро является въ Виттенбергѣ, какъ супруга господина доктора Фауста, есть не что иное, какъ сама Греція и эллинизмъ, внезапно всплывшіе наверхъ въ сердцѣ Германіи, точно силою магическихъ заклинаній. Но чудесная книга, заключавшая въ себѣ самыя могучія изъ этихъ заклинаній, называлась Гомеръ, и онъ-то былъ настоящій великій «Ключъ Ада», обольстившій и околдовавшій Фауста и такое множество его современниковъ. Фаустъ, какъ историческій, такъ и легендарный, былъ одинъ изъ тѣхъ гуманистовъ, которые съ энтузіазмомъ распространяли въ Германіи греческій духъ, греческую науку и греческое искусство. Центромъ этой пропаганды былъ въ то время Римъ, гдѣ древнимъ божествамъ поклонялись самые знатные прелаты и даже самъ папа, соединявшій въ себѣ санъ языческаго pontifex maximus съ званіемъ верховнаго владыки христіанской церкви. То была такъ-назы-

васмая эпоха воскрешенія, или, лучше сказать, возрожденія древняго міросозерцанія, за что ее и называютъ совершенно правильно «Возрожденіе». Въ Италіи оно могло процвѣтать и господствовать лучше, чѣмъ въ Германіи, гдѣ, вслѣдствіе одновременнаго съ нимъ новаго перевода Библіи, противъ него съ такимъ необузданнымъ фанатизмомъ выступило на борьбу возрожденіе іудейскаго духа... Странное дѣло! Эти двѣ великія книги человѣчества, которыя за тысячу лѣтъ до этого боролись между собою съ такимъ ожесточеніемъ, и потомъ, какъ бы уставъ отъ борьбы, не выступали на сцену въ продолженіе всѣхъ среднихъ вѣковъ — Гомеръ и Библія—въ началѣ XVI вѣка снова начинаютъ сражаться. Если я сказалъ выше, что возмущеніе реалистической, чувственной жажды къ наслажденію жизнью противъ спиритуалистически древне-католическаго аскетизма составляетъ суть идеи въ легендѣ о Фаустѣ, то здѣсь хочу указать на то, какъ эта чувственная реалистическая жажда земныхъ наслажденій возникла даже въ умахъ мыслителей прежде всего потому, что они внезапно познакомились съ памятниками греческаго искусства и науки и стали читать Гомера, равно какъ и подлинные труды Платона и Аристотеля. Въ этихъ двухъ философовъ Фаустъ, какъ положительно сообщаетъ преданіе, углубился до такой степени, что разъ имѣлъ смѣлость сказать: «если бы когда-нибудь эти сочиненія утратились, я былъ бы въ состояніи возстановить ихъ на память, какъ нѣкогда Ездра возстановилъ Ветхій Завѣтъ». Какъ глубоко Фаустъ изучилъ Гомера, видно изъ легенды о томъ, что студентамъ, слушавшимъ его лекціи объ этомъ поэтѣ, онъ умѣлъ показывать въ лицахъ героевъ троянской войны. Въ другой разъ, для забавы своихъ гостей, онъ вызвалъ ту самую прекрасную Елену, которую впослѣдствіи потребовалъ отъ дьявола для самого себя и которою обладалъ, какъ передаетъ самая старая книга о Фаустѣ, до своего несчастнаго конца. Видеманъ опускаетъ въ своемъ сочиненіи эти различныя исторіи и выражается такъ:

«Не скрою отъ христіанскаго читателя, что я нашелъ въ этомъ мѣстѣ нѣкоторые разсказы о докторѣ Іоаннѣ Фаустѣ, которые я не хочу приводить здѣсь по весьма важнымъ христіанскимъ причинамъ; напримѣръ, о томъ, что дьяволъ отвлекъ его отъ брака и загналъ въ свое адское, отвратительное гнѣздо распутства, и далъ ему въ наложницы Елену, жительницу ада, которая сперва родила ему страшное чудовище, а потомъ сына, названнаго Юстомъ».

Два мѣста въ старой книгѣ о Фаустѣ, относящіяся къ прекрасной Еленѣ, гласятъ такъ:

«Въ Фомино воскресенье явились неожиданно въ жилище доктора Фауста часто бывавшіе у него студенты, чтобъ поужинать съ нимъ, и принесли съ собою ѣду и питье, благодаря чему были пріятные гости. Когда вино было выпито, разговоръ зашелъ о красивыхъ женщинахъ, и одинъ изъ гостей сталъ говорить, что изъ всѣхъ женщинъ ему бы никого не хотѣлось видѣть такъ, какъ прекрасную Елену греческую, изъ-за которой погибъ великолѣпный городъ Троя—вѣроятно, она была очень красива, такъ какъ ее столько разъ похищали—и по поводу которой произошло такое возмущеніе. «Ужъ если вы такъ жаждете видѣть прекрасный образъ царицы Елены, супруги Менелая, или дочери Тиндара и Леды, сестры Кастора и Поллукса (о которой идетъ молва, какъ о самой красивой женщинѣ всей Греціи), то я представлю вамъ ее, дабы вы лично увидѣли ея духъ въ той внѣшней формѣ, которую она имѣла при жизни, подобно тому, какъ я показалъ императору Карлу Пятому, по его желанію, императора Александра Великаго и его жену». Послѣ этого докторъ Фаустъ всѣмъ имъ запретилъ говорить и вставать изъ-за стола и вышелъ изъ комнаты. Когда онъ воротился, за нимъ слѣдовала царица Елена, такая дивно прекрасная, что студенты не знали, въ своемъ ли они умѣ—такъ они были смущены и объяты страстнымъ желаніемъ. Эта Елена явилась имъ въ драгоцѣнномъ черномъ платьѣ изъ пурпура, волосы ея были распущены и сіяли великолѣпно, какъ золото, и были такіе длинные, что спускались до изгиба колѣнъ; прекрасные, черные, какъ уголь, глаза, милое лицо, круглая головка, красныя, какъ вишни, губки, маленькій ротикъ, шея, какъ у бѣлаго лебедя, щечки алыя, какъ роза, весьма красивое и свѣтлое лицо, высокая и стройная особа. Въ общемъ итогѣ не было въ ней ни малѣйшаго недостатка, ея смѣлые и плутовскіе взгляды бѣгали по всей комнатѣ, такъ что студенты почувствовали къ ней пламенную любовь. Такъ какъ они смотрѣли на нее, какъ на духъ, то вожделѣніе къ ней скоро въ нихъ прошло, и такимъ образомъ Елена снова вышла изъ залы съ докторомъ Фаустомъ. Увидѣвъ все это, студенты просили доктора сдѣлать имъ одолженіе—на слѣдующій день вновь представить ее, потому что они хотѣли привести съ собою живописца для того, чтобы онъ снялъ съ нея портретъ, въ чемъ Фаустъ отказалъ имъ,

этихъ народныхъ книгъ, когда писалъ первую часть «Фауста». Въ противномъ случаѣ, онъ никогда не надѣлъ бы на Мефистофеля такой свински забавной, такой цинически шутовской маски. Настоящій Мефистофель не обыкновенная адская сволочь, это «тонкій духъ» (subtiler Geist), какъ онъ самъ себя называетъ, очень аристократичный и высоко поставленный въ подземной іерархіи, гдѣ онъ одинъ изъ тѣхъ государственныхъ мужей, изъ которыхъ можно сдѣлать имперскаго канцлера. Потому-то данъ ему образъ, соотвѣтствующій его достоинству. Вѣдь любилъ же больше всего дьяволъ во всѣ времена являться людямъ въ образѣ красивой женщины, и въ старѣйшей книгѣ о Фаустѣ именно въ этомъ видѣ Мефистофель соблазняетъ бѣднаго доктора, когда на этого бѣдняка нападаютъ благочестивыя сомнѣнія. Книга о Фаустѣ разсказываетъ очень наивно:

«Когда Фаустъ былъ одинъ и хотѣлъ предаться размышленіямъ о священномъ писаніи, дьяволъ облекался въ образъ красивой женщины, цѣловалъ его, производилъ съ нимъ всякія распутства, такъ что докторъ скоро забылъ и кинулъ на вѣтеръ слово Божіе и съ тѣхъ поръ продолжалъ вести свой порочный образъ жизни».

Выставивъ дьявола и его братію въ видѣ танцорокъ, я держался ближе, чѣмъ вы думаете, къ преданію. Что во времена доктора Фауста уже существовали кордебалеты изъ чертей, это не выдумка вашего друга, а фактъ, который я могу доказать выдержками изъ біографіи Христофора Вагнера, бывшаго ученикомъ Фауста. Въ шестнадцатой главѣ этой старинной книги говорится, что этотъ великій грѣшникъ далъ однажды великолѣпный пиръ, на которомъ черти, въ видѣ женщинъ, «производили прекраснѣйшую и прелестнѣйшую музыку струнными инструментами», а остальные черти «предавались всякаго рода страннымъ и безстыднымъ танцамъ». При этомъ случаѣ они плясали также въ видѣ обезьянъ, и въ упомянутой книгѣ объ этомъ читаемъ: «Вслѣдъ затѣмъ явилось двѣнадцать обезьянъ, составившихъ кругъ и начавшихъ танцовать французскіе балеты, какъ ихъ въ настоящее время танцуютъ въ Италіи, Франціи и Германіи, и онѣ прыгали и вертѣлись очень искусно, отъ чего зрители пришли въ великое удивленіе». Чортъ «Тетеревъ», духъ, бывшій въ услуженіи у Вагнера, обыкновенно являлся въ видѣ обезьяны. Собственно говоря, онъ дебютируетъ въ роли танцующей обезьяны. «Когда Вагнеръ вызвалъ его, Тетеревъ явился въ образѣ обезьяны,—

разсказываетъ старая книга,—и по ея словамъ, онъ принялся скакать вверхъ и внизъ, выплясывалъ гальярду и другіе неприличные танцы, по временамъ ударялъ по гуслямъ, игралъ на флейтраверсѣ и трубилъ въ трубу, какъ будто съ нимъ была сотня музыкантовъ».

Тутъ я не могу, любезный другъ, удержаться отъ искушенія объяснить вамъ, что̀ біографъ чернокнижника понималъ подъ именемъ танца «гальярды». Именно, въ еще болѣе древнемъ сочиненіи Іоанна Преторіуса, изданномъ въ Лейпцигѣ въ 1668 г. и заключающемъ въ себѣ свѣдѣнія о Блоксбергѣ, я нахожу удивительное извѣстіе, что вышеупомянутый танецъ изобрѣтенъ дьяволомъ; почтенный авторъ говоритъ объ этомъ положительно слѣдующее:

«О новой галлаирдьевской вольтѣ, итальянскомъ танцѣ, въ которомъ танцующіе схватываютъ другъ друга за срамныя мѣста и вертятся и кружатся, точно бросаемые горшки, и который перенесенъ волшебниками изъ Италіи во Францію, можно еще сказать, что этотъ головокружительный танецъ мало того, что полонъ постыдныхъ, гадкихъ жестовъ и грязныхъ тѣлодвиженій, но еще сопряженъ съ тѣмъ бѣдствіемъ, что служитъ источникомъ многихъ убійствъ и уродливыхъ рожденій. Каковое дѣло благоустроенная полиція должна бы принять въ соображеніе и строго запретить. И такъ какъ городъ Женева болѣе всѣхъ другихъ городовъ ненавидитъ танцы, то сатана научилъ одну изъ тамошнихъ молодыхъ дѣвушекъ заставлять прыгать и танцовать всѣхъ тѣхъ, до кого она прикоснется желѣзною палочкой, которую ей далъ чортъ. И эта дѣвушка издѣвалась надъ судьями и говорила, что они не могутъ предать ее смерти, вслѣдствіе чего никогда не раскаивалась въ своихъ порочныхъ дѣйствіяхъ».

Эта цитата показываетъ вамъ, любезный другъ, во-первыхъ, что̀ такое гальярда, и во-вторыхъ, что дьяволъ покровительствуетъ танцовальному искусству съ тою цѣлью, чтобы приводить въ негодованіе праведныхъ. Съ помощью волшебной палочки заставить танцовать даже благочестивый городъ Женеву, этотъ Іерусалимъ кальвинистовъ—это было ужъ верхомъ преступности! Представьте себѣ всѣхъ этихъ маленькихъ женевскихъ святошъ, этихъ богобоязненныхъ часовщиковъ, этихъ добродѣтельныхъ наставницъ, эти неповоротливыя, угловатыя фигуры проповѣдниковъ и школьныхъ учителей — вдругъ начинающихъ плясать гальярду! Этотъ разсказъ, кажется, достовѣренъ, ибо я помню, что

читалъ его и въ «Демономаніи» Бодинуса, и меня часто забираетъ охота переработать его въ балетъ, подъ названіемъ: «Танцующая Женева».

Дьяволъ, какъ вы видите, большой танцмейстеръ, и, право, никого не должно удивлять, если онъ является передъ высокопочтеннѣйшей публикой въ видѣ танцовщицы. Менѣе естественно, но содержитъ въ себѣ болѣе глубокій смыслъ, превращеніе Мефистофеля, по разсказу старой книги о Фаустѣ, въ крылатаго коня, переносящаго Фауста, по его желанію или чувственному побужденію, во всякое мѣсто, во всякую страну. Духъ одаренъ здѣсь не только быстротою мысли, но и могуществомъ поэзіи; онъ здѣсь есть собственно Пегасъ, который въ самое короткое время приноситъ Фауста ко всѣмъ великолѣпіямъ и всѣмъ наслажденіямъ земли. Въ одно мгновеніе ока онъ переноситъ его въ Константинополь, и притомъ прямо въ гаремъ султана, гдѣ Фаустъ, принятый изумленными одалисками за бога Магомета, божественно веселится съ ними. Послѣ того, онъ переноситъ Фауста въ Римъ, и здѣсь прямо въ Ватиканъ, гдѣ Фаустъ, невидимый никѣмъ, подтибриваетъ изъ-подъ самаго носа у папы его лучшія яства и напитки и угощаетъ ими самого себя; иногда онъ разражается громкимъ хохотомъ, такъ что папа, думающій, что онъ одинъ въ комнатѣ, приходитъ въ ужасъ. Вообще въ легендѣ о Фаустѣ рѣзко выступаетъ наружу сильная вражда противъ папства и католической церкви. Въ этомъ отношеніи характеристично и то, что Фаустъ, послѣ первыхъ заклинаній, положительно приказываетъ Мефистофелю появляться впредь, когда онъ его вызоветъ, въ рясѣ францисканца. Въ этомъ-то монашескомъ одѣяніи намъ показываютъ его старыя народныя книги (а не пьесы маріонетокъ), особенно, когда онъ разсуждаетъ съ Фаустомъ о религіозныхъ предметахъ. Тутъ вѣяніе реформаціоннаго времени.

Мефистофель не только не имѣетъ никакой реальной формы, но онъ и не сдѣлался популярнымъ ни въ какомъ опредѣленномъ образѣ, подобно другимъ героямъ народныхъ книгъ, каковы, напримѣръ, Тиль Эйленшпигель, этотъ олицетворенный смѣхъ въ коренастой фигурѣ нѣмецкаго ремесленника, или даже Вѣчный Жидъ съ длинною восемнадцатистолѣтнею бородой, сѣдые кончики которой снова почернѣли, точно помолодѣвъ. Мефистофель не имѣетъ опредѣленной формы и въ книгахъ магіи, въ противоположность другимъ духамъ, напримѣръ, Азіабелю, который постоянно

является маленькимъ ребенкомъ, или чорту Марбуэлью, представляющемуся публикѣ исключительно въ видѣ десятилѣтняго дитяти.

Не могу не замѣтить здѣсь, что предоставляю совершенно на усмотрѣніе вашего машиниста выборъ способа для перенесенія по воздуху Фауста и его адскаго товарища—на двухъ коняхъ, или укутанными вмѣстѣ въ одинъ большой волшебный плащъ. Волшебный плащъ имѣетъ болѣе народный характеръ.

Но вѣдьмы, отправляющіяся на шабашъ, должны непремѣнно ѣхать верхомъ—на чудовищѣ, или на какой-нибудь домашней утвари, это все равно. Нѣмецкая вѣдьма обыкновенно разъѣзжаетъ на помелѣ, вымазанномъ тою же волшебною мазью, которою она предварительно натираетъ и свое собственное голое тѣло. Когда за ней является лично ея адскій любовникъ, то онъ для воздушнаго путешествія садится спереди, а она сзади. Французская вѣдьма, намазывая себя, говоритъ: «Emen Hétan! Emen Hétan!» Нѣмецкая вѣдьма, вылетая изъ трубы на своемъ помелѣ, кричитъ: «Вверхъ взлетай, нигдѣ не приставай». Онѣ умѣютъ такъ распорядиться, что встрѣчаются между собою на воздухѣ и такимъ образомъ пріѣзжаютъ на шабашъ цѣлой компаніей. Такъ какъ вѣдьмы одинаково съ феями чувствуютъ глубочайшее отвращеніе къ звуку христіанскихъ колоколовъ, то пролетая мимо церковной колокольни, онѣ обыкновенно срываютъ съ нихъ колоколъ и съ страшнымъ хохотомъ бросаютъ его въ какое-нибудь болото. Этотъ проступокъ встрѣчается также, какъ обвинительный пунктъ, въ процессахъ вѣдьмъ, и французская поговорка справедливо говоритъ, что всякому, кого обвинятъ въ похищеніи колокола съ церкви Парижской Богоматери, надо немедленно бѣжать.

Насчетъ мѣста собранія вѣдьмъ, которое онѣ называютъ своимъ конвентомъ, а также своимъ имперскимъ сеймомъ, народныя преданія очень разногласны. Тѣмъ не менѣе, на основаніи согласныхъ показаній очень многихъ вѣдьмъ, которыя на пыткѣ, конечно, говорили правду, равно какъ на основаніи такихъ авторитетовъ, какъ Ремигіусъ, Годельманусъ, Вирусъ, Бодинусъ и даже де-Ланкръ, я остановился на обсаженной деревьями горной вершинѣ, каковую и указалъ въ третьемъ актѣ моего балета; въ Германіи мѣстомъ, гдѣ нѣкогда собирался, или собирается и теперь конвентъ вѣдьмъ, считается Блоксбергъ, центральный пунктъ Гарца. Однако, туда собираются не однѣ только нѣмецкія

національныя вѣдьмы, но и многія иностранныя, и не только живыя, но и давно умершія грѣшницы, которыя въ могилѣ не имѣютъ покоя, и, подобно виллисамъ, мучатся даже послѣ смерти страстною жаждою пляски. Этимъ объясняется большое разнообразіе на шабашѣ костюмовъ всѣхъ странъ и всѣхъ временъ. Дамы высшаго круга, чтобы нисколько не стѣсняться, являются почти всегда въ маскахъ. Колдуны, встрѣчающіеся здѣсь въ огромномъ количествѣ, часто люди, которые въ частной жизни притворяются людьми съ самымъ почтеннымъ, самымъ христіанскимъ поведеніемъ. Что касается до чертей, исполняющихъ при вѣдьмахъ роли любовниковъ, то они очень различныхъ ранговъ, такъ что старая кухарка или коровница должна довольствоваться самымъ неважнымъ чортомъ, тогда какъ богатыя патриціанки и знатныя дамы могутъ, сообразно этому, забавляться съ очень образованными и тонкохвостыми чертями, самыми галантными дворянчиками ада. Костюмъ этихъ послѣднихъ — чаще всего древне-испанско-бургундскій придворный костюмъ, но или совсѣмъ черный, или рѣзко свѣтлаго цвѣта, а на беретѣ колышется неизбѣжное пѣтушье, красное, какъ кровь, перо. Но какъ ни стройны и какъ ни изящно одѣты кажутся они съ перваго взгляда, замѣчательно, что имъ всегда недостаетъ нѣчто «finished», и если ближе вглядѣться въ нихъ, тотчасъ замѣтишь во всемъ ихъ существѣ дисгармонію, оскорбляющую слухъ и зрѣніе: они или слишкомъ тощи, или слишкомъ полны, лицо у нихъ или слишкомъ блѣдно, или черезчуръ красно, носъ слишкомъ коротокъ, или слишкомъ длиненъ, и при этомъ иногда нечаянно выставляются пальцы въ видѣ птичьихъ когтей, если еще не лошадиная нога. Сѣрою отъ нихъ не отдаетъ, какъ отъ любовниковъ простыхъ женщинъ, которыя, какъ я сказалъ выше, должны довольствоваться всевозможными простыми кобольдами, истопниками ада. Но у всѣхъ чертей есть одна и та же фатальная немощь, на которую жаловались вѣдьмы всѣхъ званій на судебныхъ допросахъ — это ледяная холодность ихъ объятій и любовныхъ ласкъ.

Люциферъ, царь тьмы, предсѣдательствуетъ на сеймѣ вѣдьмъ въ видѣ чернаго козла съ чернымъ человѣческимъ лицомъ и съ факеломъ между двумя рогами. Его величество помѣщается въ центрѣ собранія, на высокомъ пьедесталѣ или каменномъ столѣ, и видъ у него очень серьезный и меланхолическій, какъ у человѣка, которому очень

скучно. Всѣ собравшіеся колдуны, вѣдьмы, черти и всякіе другіе вассалы поклоняются ему, своему верховному властителю, попарно, съ зажженными свѣчами въ рукахъ, склоняя передъ нимъ колѣни и затѣмъ благоговѣйно цѣлуя его заднюю часть. Но и это заявленіе почтенія, повидимому, не очень его развеселяетъ, и онъ остается серьезенъ и меланхоличенъ во время пляски, въ которой носится вокругъ него все это разнохарактерное общество. Эта круговая пляска и есть тотъ знаменитый танецъ вѣдьмъ, характеристическая особенность котораго состоитъ въ томъ, что танцующіе всѣ отворачиваются другъ отъ друга и показываютъ одинъ другому только спину. Это несомнѣнно мѣра благоразумной осторожности, и принимается для того, чтобы вѣдьмы, если бы какую изъ нихъ впослѣдствіи притянули къ суду, не могли подъ пыткой такъ легко выдавать своихъ подругъ, съ которыми онѣ справляли шабашъ. Это же опасеніе заставляетъ женщинъ высшаго круга являться на балъ замаскированными. Многія пляшутъ въ однѣхъ рубашкахъ, другія обходятся и безъ этой одежды; нѣкоторыя въ танцахъ держатся за руки и образуютъ кругъ, или далеко вытягиваютъ руку, другія потрясаютъ своимъ помеломъ, испуская ликующій крикъ: «Гаръ! Гаръ! Шабашъ! Шабашъ!» Паденіе на землю во время пляски считается дурнымъ предзнаменованіемъ. Если колдунья въ вихрѣ пляски потеряетъ башмакъ, это знакъ, что ее сожгутъ на кострѣ въ этомъ же самомъ году.

Оркестръ, подъ который пляшетъ это общество, состоитъ или изъ адскихъ духовъ въ баснословныхъ уродливыхъ видахъ, или изъ бродячихъ музыкантовъ, случайно взятыхъ съ большой дороги. Преимущественно выбираютъ скрипачей или гудочниковъ, но слѣпыхъ, чтобы они не перестали играть отъ ужаса при видѣ мерзостей шабаша. Къ этимъ мерзостямъ принадлежитъ главнымъ образомъ принятіе новыхъ вѣдьмъ въ черный союзъ, когда новичка посвящаютъ въ самыя страшныя мистеріи. Посвящаемая, такъ сказать, офиціально заключаетъ при этомъ брачный союзъ съ адомъ, и дьяволъ, ея мрачный супругъ, даетъ ей по этому случаю новое имя, nom d'amour, и выжигаетъ на ея тѣлѣ тайный знакъ, какъ воспоминаніе о его нѣжности. Этотъ знакъ такъ скрытъ, что въ процессахъ вѣдьмъ слѣдственный судья часто открывалъ его только послѣ самыхъ тщательныхъ изысканій, и для этого, черезъ посредство палача, срѣзывалъ у допрашиваемой всѣ волосы на тѣлѣ.

Князь тьмы имѣетъ, однако, между колдуньями шабаша еще свою избранницу, офиціальную фаворитку, носящую титулъ «Верховной Невѣсты»—Archi-sposa, и которая есть какъ бы его лейбъ-любовница. Ея бальный костюмъ очень простъ, больше чѣмъ простъ, ибо состоитъ только изъ золотого башмачка, почему она называется также «доминою въ золотомъ башмачкѣ». Это красивая, высокая, почти колоссальная женщина, ибо дьяволъ не только знатокъ въ прекрасныхъ формахъ, артистъ, но и охотникъ до мяса и думаетъ: чѣмъ больше мяса, тѣмъ сильнѣе грѣхъ. Да, въ утонченности своей преступности онъ старается усугубить грѣхъ еще тѣмъ, что никогда не выбираетъ въ свои верховныя невѣсты незамужнюю особу, но всегда замужнюю женщину, соединяя такимъ образомъ простое любодѣяніе съ нарушеніемъ брака. Эта избранница должна также быть хорошей танцоркой, и случалось, что на необыкновенномъ торжественномъ шабашѣ владыка-козелъ, сойдя съ пьедестала, исполнялъ собственной персоной, со своей обнаженной красавицей, странный танецъ, который я не стану описывать «по христіанскимъ, весьма важнымъ причинамъ», какъ сказалъ бы старый Видманъ. Замѣчу только, что это древній національный танецъ Содома, традиція котораго, послѣ разрушенія этого города, была спасена дочерьми Лота и сохранилась до настоящихъ дней, такъ что я самъ часто видѣлъ этотъ танецъ въ Парижѣ, Rue. St. Honoré, № 359... Если сообразить, что на балахъ вѣдьмъ нѣтъ никакой вооруженной морали, которая въ мундирѣ національной гвардіи умѣетъ сдерживать вакхическій задоръ, то легко догадаться, какіе козлиные прыжки могли происходить при вышеупомянутомъ pas-de-deux.

По нѣкоторымъ свидѣтельствамъ, великій козелъ имѣетъ также обыкновеніе предсѣдательствовать съ своей верховной невѣстой на банкетѣ, которымъ заканчивается шабашъ. Посуда и яства на этомъ пирѣ необыкновенно драгоцѣнныя; но кто вздумаетъ украсть что-нибудь изъ этого, тотъ на другой день находитъ, вмѣсто золотого кубка, глиняный горшокъ, а вмѣсто вкуснаго пирога — коровій пометъ. Характеристично въ этомъ пирѣ совершенное отсутствіе соли. Пѣсни, поющіяся гостями, сплошныя богохульства, и они поютъ ихъ на напѣвъ благочестивыхъ кантовъ. Самые почтенные религіозные обряды служатъ предметомъ гнусно шутовского передразниванія. Такъ, напримѣръ, надъ нашимъ святымъ крещеніемъ издѣваются тѣмъ, что крестятъ жабъ,

ежей и крысъ совершенно по обрядамъ церкви, и во время этой отвратительной церемоніи крестные отцы и матери строятъ самыя набожно лицемѣрныя мины... Крестное знаменіе тоже совершается вѣдьмами, но онѣ крестятся наоборотъ и лѣвой рукой; принадлежащія къ романскому племени говорятъ при этомъ слѣдующія слова: «In nomine Patrica aragueaco Petrica, agora, agora, Valentia jouando goure gaits goustia!» то-есть: «Во имя Патрика, Петрика Арагонскаго, въ сей часъ, въ сей часъ, Валенція, всѣ наши бѣдствія кончились!» Божественное начало любви и прощенія также осмѣивается козломъ ада, который подъ конецъ встаетъ и громовымъ голосомъ восклицаетъ: «Отмщайте! отмщайте! иначе умрете!» Это сакраментальныя слова, которыми онъ закрываетъ засѣданіе, — и затѣмъ, какъ антихристъ, тоже въ видѣ пародіи, предаетъ себя въ жертву, но, конечно, не для спасенія человѣчества, а на его погибель: козелъ самъ сжигаетъ себя, онъ горитъ при трескѣ пламени, а вѣдьмы спѣшатъ подобрать горсть его пепла, который послужитъ имъ къ совершенію новыхъ злодѣяній. Этою церемоніею оканчивается праздникъ; раздается пѣніе пѣтуха, дамы начинаютъ крѣпко зябнуть и возвращаются такъ же, какъ и прибыли, но только поспѣшнѣе, и многія изъ нихъ ложатся снова въ кровать подлѣ своего храпящаго супруга, вовсе не замѣтившаго, что въ ея отсутствіе подлѣ него лежало полѣно, принявшее видъ его половины.

Я также, любезный другъ, хочу лечь, потому что работалъ почти всю ночь надъ составленіемъ замѣтокъ, которыя вы желали получить. Исполняя это, я думалъ не столько о директорѣ театра, предполагающемъ поставить мой балетъ на сцену, сколько о высокообразованномъ джентльменѣ, интересующемся всѣмъ, что есть искусство и мысль. Да, другъ мой, вы понимаете самый летучій намекъ поэта, и каждое ваше слово, въ свою очередь, плодотворно для поэта. Я не могу объяснить себѣ, какъ вы, человѣкъ испытанно практическій, можете быть въ то же время одарены такимъ необыкновеннымъ художественнымъ чувствомъ, и еще болѣе изумляюсь я тому, что вы сумѣли среди всѣхъ треволненій вашей профессіи сохранить столько любви и восторженнаго сочувствія къ поэзіи!

САЛОНЪ.

Часть первая.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

«Совѣтую вамъ, другъ, позволить мнѣ нарисовать на вашей вывѣскѣ не золотого ангела, а краснаго льва; къ этому рисунку я очень привыкъ, и вы увидите, что если я даже нарисую вамъ золотого ангела, онъ все-таки будетъ похожъ на краснаго льва».

Эти слова одного почтеннаго собрата по искусству должны служить эпиграфомъ предлагаемой здѣсь книгѣ, такъ какъ они заранѣе и совершенно опредѣлительно устраняютъ всякій упрекъ, который могъ бы быть высказанъ противъ нея. Чтобы теперь же сказать все, упомяну здѣсь, что эта книга, съ небольшими исключеніями, была написана лѣтомъ и осенью 1831 г., въ то время, когда я болѣе, чѣмъ когда-либо, занимался изготовленіемъ картоновъ къ будущему «Красному Льву». Вокругъ меня тогда было много рева и всевозможныхъ помѣхъ.

Развѣ въ настоящее время я не очень скроменъ?

Повѣрьте мнѣ, скромность людей всегда происходитъ отъ хорошихъ причинъ. Богъ обыкновенно очень облегчаетъ своимъ созданіямъ примѣненіе къ дѣлу скромности и тому подобныхъ добродѣтелей. Напримѣръ, легко простить своему врагу, когда ты случайно не настолько уменъ, чтобы умѣть повредить ему, точно такъ же, какъ не трудно не умѣть обольщать женщинъ тому, кого природа благословила мизернѣйшимъ носомъ.

Ханжи всевозможныхъ цвѣтовъ снова начнутъ глубоко вздыхать при чтеніи нѣкоторыхъ стихотвореній, помѣщенныхъ въ этой книгѣ—но ничто болѣе не можетъ помочь имъ. Второе, «грядущее поколѣніе» поняло, что всѣ мои слова и пѣсни расцвѣли на почвѣ великой, благословенной Богомъ, идеи весны—идеи, которая если не лучше, то по

крайней мѣрѣ столько же почтенна, сколько эта скучная, гнилая постная идея, заставившая мрачно завянуть всѣ цвѣты нашей прекрасной Европы и населившая ее привидѣніями и тартюфами. Противъ того, на что я нападалъ съ легкимъ оружіемъ, теперь ведется открытая, серьезная война—я даже стою уже не въ первыхъ рядахъ.

Слава Богу! Іюльская революція развязала языки, столько лѣтъ казавшіеся нѣмыми; и такъ какъ эти внезапно пробужденные захотѣли разомъ высказать все, о чемъ они до тѣхъ поръ молчали, то подняли страшный шумъ, часто оглушавшій меня самымъ непріятнымъ образомъ. Не разъ даже я былъ не прочь совсѣмъ отказаться отъ словоговоренія, но это сдѣлать не такъ легко, какъ попросить увольненія отъ должности какого-нибудь тайнаго совѣтника, несмотря на то, что эта послѣдняя въ денежномъ отношеніи гораздо прибыльнѣе званія перваго общественнаго трибуна. Люди думаютъ, что наша дѣятельность совершенно добровольная, что изъ запаса новыхъ идей мы выбираемъ тѣ, за которыя мы хотимъ говорить и дѣйствовать, бороться и страдать, подобно тому, какъ какой-нибудь филологъ выбираетъ себѣ того или другого классика, комментированію котораго онъ посвящаетъ всю жизнь. Нѣтъ, не мы беремъ идею, а идея хватаетъ насъ и дѣлаетъ своими рабами, и точно плетью гонитъ на арену для того, чтобы мы—гладіаторы поневолѣ—сражались за нее. Такова участь каждаго истиннаго трибуна или апостола. То было грустное сознаніе, когда Амосъ сказалъ царю Амазіи: «Я не пророкъ и не сынъ пророка, а простой пастухъ, собирающій ягоды, но Господь отнялъ меня отъ стада и сказалъ мнѣ: «гряди и пророчествуй!» То было грустное сознаніе, когда бѣдный монахъ, обвиненный въ преступности своего ученія, стоялъ въ Ворсмѣ предъ императоромъ и всѣми сановниками и, несмотря на все смиреніе своей души, объявилъ невозможность отречься отъ этого ученія и заключилъ рѣчь свою словами: «Здѣсь передъ вами стою я, и не могу говорить иначе; да поможетъ мнѣ Богъ! Аминь!».

Если-бъ вамъ было знакомо священное принужденіе, вы перестали бы бранить насъ, позорить насъ, клеветать на насъ. Да, мы не повелители, но слуги слова. То было грустное сознаніе, когда Максимиліанъ Робеспьеръ сказалъ: «Я—рабъ свободы».

И я тоже сдѣлаю теперь признаніе. Не по пустой прихоти сердца покинулъ я все, что было для меня дорогого

въ отечествѣ, что улыбалось мнѣ тамъ—нѣкоторые и любили меня, напримѣръ, моя мать; но я все-таки пошелъ, самъ не зная, зачѣмъ иду; я пошелъ, потому что долженъ былъ идти. Впослѣдствіи душа моя очень устала; уже за столько времени до іюльскихъ дней я исполнялъ должность пророка, что внутренній огонь почти сжегъ меня, что мощныя слова, постоянно вырывавшіяся изъ моего сердца, ослабили его, какъ частые роды ослабляютъ утробу родильницы...

Я подумалъ: теперь я больше не нуженъ вамъ, заживу-ка я для самого себя, стану писать чудесные стихи, комедіи и новеллы, нѣжныя и веселыя игры мыслей, накопившихся въ моемъ мозговомъ ящикѣ, и снова спокойно уползу въ страну поэзіи, гдѣ такъ счастливо жилъ ребенкомъ.

И для приведенія въ исполненіе этого намѣренія я выбралъ мѣсто, лучше котораго и желать нельзя было. То была маленькая вилла у самаго моря, подлѣ Гавръ-де-Граса въ Нормандіи. Чудесный видъ на открытое Сѣверное море, вѣчно измѣняющіяся и въ то же время вѣчно простыя картины: сегодня бѣшеная буря, завтра ласкающая тишь, а на небѣ бѣлыя гряды облаковъ, исполинскія и причудливыя, словно онѣ тѣни-привидѣнія тѣхъ нормановъ, которые нѣкогда вели у этихъ береговъ свою дикую жизнь! Но подъ моимъ окномъ цвѣли прелестнѣйшіе цвѣты и растенія: розы, смотрѣвшія на меня съ томной любовью, красныя гвоздики съ стыдливо просящимъ благоуханіемъ, и лавры, взбиравшіяся по моей стѣнѣ, почти проникавшія въ мою комнату, какъ слава, преслѣдующая меня. Да, нѣкогда я бѣгалъ всюду за Дафной, теперь Дафна бѣгаетъ за мной, какъ непотребная женщина, и врывается въ мою спальню. Чего я нѣкогда жаждалъ, то теперь стѣсняетъ меня; мнѣ хотѣлось бы спокойствія, мнѣ хотѣлось бы, чтобъ ни одинъ человѣкъ, по крайней мѣрѣ, въ Германіи, не говорилъ обо мнѣ. И безмятежныя пѣсни хотѣлъ сочинять я, и сочинять ихъ только для себя, или, въ крайнемъ случаѣ, для того, чтобы иногда читать ихъ какому-нибудь скрытому соловью. Сначала такъ дѣло и шло; на умъ мой снова повѣяло мирное дыханіе духа поэзіи, давно знакомые благородные образы и золотыя картины снова стали, словно изъ тумана, возникать въ моей памяти; я снова сдѣлался также блаженно мечтателенъ, также сказочно опьяненъ, также околдованъ, какъ прежде, и мнѣ оставалось только спокойной рукой переносить на бумагу то, что я чувствовалъ и думалъ. И я началъ...

Но каждому извѣстно, что при такомъ настроеніи не всегда можно спокойно сидѣть въ комнатѣ, и часто убѣгаешь въ поле съ восторгомъ въ сердцѣ и пылающими щеками, и бѣжишь, куда глаза глядятъ. Такъ случилось и со мною; самъ не знаю, какъ я вдругъ очутился на большой гаврской дорогѣ; передо мною медленно тянулось много большихъ крестьянскихъ возовъ, нагруженныхъ доверху жалкими сундуками и коробками, древнефранкскою домашнею утварью, женщинами и дѣтьми. Рядомъ шли мужчины, и немало изумился я, когда услышалъ ихъ разговоръ—они говорили по-нѣмецки, на швабскомъ нарѣчіи. Я легко понялъ, что это были эмигранты, и когда ближе взглянулъ на нихъ, мнѣ стало такъ жутко, какъ никогда еще не было въ жизни; вся кровь моя разомъ прихлынула къ сердцу и заколотила въ ребра такъ, какъ будто ей непремѣнно нужно было прыснуть изъ груди, какъ будто ей нужно было какъ можно скорѣе вырваться наружу, и дыханіе сперло у меня въ горлѣ. Да, это я встрѣтился съ моимъ отечествомъ: на этихъ возахъ сидѣла бѣлокурая Германія, со своими серьезно синими глазами, своими задушевными, слишкомъ задумчивыми лицами, и въ уголкахъ рта все еще лежала та прискорбная ограниченность, которая нѣкогда такъ сердила меня и наскучила мнѣ, но теперь до глубины души растрогала меня... Если нѣкогда, среди цвѣтущаго веселья юности, я часто съ негодованіемъ бичевалъ нелѣпости и филистерства моей родины, если нѣкогда, какъ часто случается въ большихъ семействахъ, я нерѣдко заводилъ семейную ссору съ моимъ счастливымъ, бюргерски довольнымъ, какъ улитка, лѣнивымъ отечествомъ, то теперь, когда я увидѣлъ это отечество въ нищетѣ, на чужбинѣ, всѣ эти и подобныя имъ воспоминанія исчезли; даже недостатки его вдругъ сдѣлались для меня дорогими, даже съ нелѣпостями его я примирился, и пожалъ ему руку—я пожалъ руку этихъ нѣмецкихъ выходцевъ, какъ будто этимъ пожатіемъ возобновлялъ союзъ любви съ самой моей родиной, и мы заговорили по-нѣмецки. Земляки мои тоже были очень рады услышать эти звуки на чужеземной большой дорогѣ; тѣни боязни сошли съ ихъ лицъ, и они почти начали улыбаться. И женщины, между которыми было нѣсколько красавицъ, задушевно кричали мнѣ съ возовъ: «Богъ въ помощь», и молодыя дѣвушки, краснѣя, вѣжливо кланялись, и совсѣмъ маленькія дѣти весело улыбались мнѣ своими беззубыми, милыми ротиками.—«Для чего же это вы оставили Германію?»—спро-

силъ я этихъ бѣдныхъ людей.—«Страна-то хороша, и мы бы охотно остались въ ней,—отвѣчали они:—но мы не могли больше выдержать».

Нѣтъ! я не принадлежу къ демагогамъ, которые только хотятъ возбуждать страсти, и не хочу пересказывать все, что̀ на этой большой дорогѣ, около Гавра, подъ открытымъ небомъ, слышалъ я о безчинствахъ благородныхъ и высокоблагородныхъ земляковъ моихъ на родинѣ; при томъ, жалоба этихъ людей выражалась не столько въ словахъ ихъ, сколько въ простомъ и откровенномъ тонѣ, въ которомъ эти слова высказывались, или, вѣрнѣе, выплакивались. И они, эти бѣдные люди, тоже не были демагогами; заключительныя слова ихъ жалобъ были всегда одни и тѣ же: «Что̀ же намъ оставалось дѣлать? Ужъ не за революцію ли приняться?»

Клянусь всѣми богами неба и земли—десятая часть того, что̀ вытерпѣли эти люди въ Германіи, вызвала бы во Франціи тридцать шесть революцій и сто̀ила бы престола и жизни тридцати шести нѣмецкимъ властителямъ.

— Но мы все-таки продолжали бы терпѣть и не ушли бы,—сказалъ одинъ восьмидесятилѣтній и, слѣдовательно, вдвойнѣ разсудительный швабъ:—если-бъ не наши дѣти. Ради ихъ только сдѣлали мы это. Они еще не привыкли къ Германіи такъ сильно, какъ мы, и могутъ еще быть счастливы въ чужой землѣ; конечно, и въ Африкѣ придется имъ выносить не мало.

Дѣло въ томъ, что эти люди шли въ Алжиръ, гдѣ имъ обѣщали отдать на выгодныхъ условіяхъ кусокъ земли для колонизаціи.—«Говорятъ, что земля хорошая,—сказали мнѣ они:—но, какъ мы слышали, тамъ много ядовитыхъ змѣй, очень опасныхъ; да много тоже приходится тамъ возиться съ обезьянами, которыя уносятъ плоды съ поля, или крадутъ даже дѣтей и уносятъ ихъ съ собою въ лѣсъ. Это ужасно. Но вѣдь и у насъ дома деревенскій старшина тоже ядовитъ, когда ему не принесешь во̀-время подати, а охотники и дичь разоряютъ у насъ поля еще почище обезьянъ, а дѣтей нашихъ и дома тащатъ въ солдаты... Что̀ же оставалось намъ дѣлать? Ужъ не за революцію ли приняться?»

Къ чести человѣчества, я долженъ здѣсь упомянуть о сочувствіи, съ которымъ, по словамъ этихъ эмигрантовъ, принимали ихъ на страдальческомъ пути во всей Франціи. Французы не только умнѣйшій, но и сострадательнѣйшій

народъ въ мірѣ. Даже бѣднѣйшіе изъ нихъ старались оказать какую-нибудь услугу несчастнымъ чужеземцамъ, на стоянкахъ дѣятельно помогали имъ разгружать возы, ссужали ихъ мѣдными котлами для стряпни, рубили съ ними дрова, носили воду и мыли бѣлье. Я собственными своими глазами видѣлъ, какъ одна нищая француженка дала бѣдному швабскому мальчику кусокъ своего хлѣба, за что я отъ всей души отблагодарилъ ее. При этомъ надо еще замѣтить, что французы знаютъ только матеріальныя страданія этихъ людей; они собственно никакъ не могутъ понять, почему эти нѣмцы ушли изъ своего отечества. Потому что французамъ, когда туземныя притѣсненія становятся для нихъ совершенно невыносимыми или черезчуръ обременяютъ ихъ, никогда не приходитъ въ голову пуститься въ бѣгство, а скорѣе они заставляютъ бѣжать своихъ притѣснителей, выгоняютъ ихъ и преспокойно сами остаются у себя дома, однимъ словомъ—они дѣлаютъ революцію.

Что касается меня, то эта встрѣча оставила въ моемъ сердцѣ такую глубокую скорбь, такую черную печаль, такое свинцовое уныніе, какихъ я не могъ бы описать никакими словами. Я, еще за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ кичившійся, какъ побѣдитель, вдругъ пріунылъ и изнемогъ, какъ разбитый болѣзнью человѣкъ. И это, повѣрьте, не было результатомъ внезапно возбужденнаго патріотизма. Я чувствовалъ, что то было нѣчто благородное, нѣчто лучшее. При томъ, для меня уже давно фатально все, что носитъ названіе патріотизма. Да, можетъ-быть, это дѣло стало даже отчасти ненавистнымъ мнѣ съ тѣхъ поръ, какъ я увидѣлъ кувырканья тѣхъ черныхъ шутовъ, которые изъ патріотизма сдѣлали себѣ ремесло, и сочинили себѣ особый профессіональный костюмъ, и стали дѣлить себя на мастеровъ, подмастерьевъ и учениковъ, и выдумали себѣ какой-то цеховой пароль, съ которымъ они ходили драться по своей землѣ. Я говорю «драться», принимая это слово въ самомъ грязномъ, кулачномъ смыслѣ, потому что драться, въ прямомъ смыслѣ этого слова, мечомъ не входило въ ихъ цеховые обычаи. Батюшка Янъ, какъ извѣстно, былъ въ войнѣ столько же трусливъ, сколько и нелѣпъ. Подобно мастеру, и большая часть подмастерьевъ были люди самые дюжинные, грязные лицемѣры, у которыхъ даже въ наружной грубости не было ничего истиннаго. Они знали очень хорошо, что нѣмецкая простота все еще принимаетъ грубость за признакъ отваги и честности, несмотря на то, что стоитъ

взглянуть только на наши смирительные дома, чтобы убѣдиться, что бываютъ и грубые мошенники, и грубые трусы. Во Франціи храбрость вѣжлива и цивилизованна, а честность ходитъ въ перчаткахъ и снимаетъ шляпу. Во Франціи патріотизмъ тоже состоитъ въ любви къ мѣсту рожденія, мѣсту, которое есть въ то же время отечество цивилизаціи и гуманнаго прогресса. Напротивъ того, вышеупомянутый нѣмецкій патріотизмъ состоялъ въ ненависти къ французамъ, въ ненависти къ цивилизаціи и либерализму. Не правда ли, что я не патріотъ? Вѣдь я хвалю Францію!

Патріотизмъ, истинная любовь къ отечеству—дѣло совсѣмъ особеннаго рода. Можно любить свое отечество, прожить съ этою любовью восемьдесятъ лѣтъ, и все-таки никогда не знать про ея существованіе въ своемъ сердцѣ; но для этого надо оставаться все время только у себя дома. Прелесть весны познается только зимою, и лучшія майскія пѣсни сочиняются около теплой печки. Любовь къ свободѣ—темничный цвѣтокъ, и только въ тюрьмѣ чувствуешь цѣну свободы. Такъ и нѣмецкая любовь къ отечеству начинается только на нѣмецкой границѣ, главнымъ же образомъ—при встрѣчѣ на чужбинѣ съ нѣмецкимъ страданіемъ. Въ одной книгѣ, именно лежащей въ эту минуту передо мною и заключающей въ себѣ письма одной моей умершей подруги, потрясло меня вчера то мѣсто, въ которомъ она описываетъ на чужой землѣ впечатлѣніе, произведенное на нее видомъ ея соотечественниковъ во время войны 1813 г. Приведу здѣсь эти милыя слова:

«Цѣлое утро плакала я чистыми, горькими слезами умиленія и скорби! О, я никогда не знала, что такъ сильно люблю мою страну! Точно такъ, какъ иной не знаетъ изъ физики о важномъ значеніи крови; а пусти ему ее, онъ упадетъ въ обморокъ».

Это такъ. Германія—это мы сами. И оттого-то я вдругъ такъ изнемогъ и почувствовалъ себя больнымъ, при видѣ этихъ переселенцевъ, этихъ огромныхъ потоковъ крови, бѣгущихъ изъ ранъ отечества, чтобы потеряться въ африканскихъ пескахъ. Это такъ. То было тѣлесное изувѣченье, и я почувствовалъ въ душѣ почти физическую боль. Напрасно успокаивалъ я себя разумными доводами, что Африка земля хорошая, и что тамошнія змѣи не шипятъ о будто бы христіанской любви, и что африканскія обезьяны не такъ отвратительны, какъ обезьяны нѣмецкія — и для разсѣянія началъ я напѣвать себѣ подъ носъ пѣсенку.

Случилось, однако, такъ, что это была старая пѣсня Шубарта:

. . . . . .
«Черезъ сушу, черезъ море,
Къ знойной Африкѣ нашъ путь...
. . . . . .
На родной границѣ руку
Наполняемъ мы землей,
И цѣлуемъ эту землю,
Какъ признательность тебѣ,
О, отчизна дорогая,
За любовь, за хлѣбъ и соль».
. . . . . .

Только эти слова пѣсни, которую я слышалъ въ дѣтствѣ, уцѣлѣли до сихъ поръ въ моей памяти, и я припоминалъ ихъ каждый разъ, какъ пріѣзжалъ на границу Германіи. Объ авторѣ ея я тоже знаю немного; знаю только, что онъ былъ бѣдный нѣмецкій поэтъ, и большую часть своей жизни просидѣлъ въ крѣпости, и любилъ свободу.

Увѣряю васъ, я вовсе не патріотъ, и если я въ тотъ день плакалъ, то этому причиной маленькая дѣвочка. Это было уже вечеромъ, и маленькая нѣмецкая дѣвочка, которую я уже прежде замѣтилъ въ числѣ переселенцевъ, стояла одиноко на берегу, какъ погруженная въ глубокую задумчивость, и смотрѣла вдаль на открытое море. Ей было лѣтъ восемь, не больше; волосы ея были красиво заплетены въ двѣ косы, тѣло обхватывалъ коротенькій швабскій кафтанчикъ изъ полосатой фланели; личико было блѣдное и болѣзненное, глаза большіе и серьезные, и мягко боязливымъ, но въ то же время любопытнымъ голосомъ спросила она меня: «Это ли океанъ?»

До глубокой ночи стоялъ я у моря и плакалъ. Я не стыжусь этихъ слезъ. И Ахиллесъ плакалъ на берегу моря, и среброногая мать должна была выйти изъ волнъ, чтобы утѣшать его. Я тоже услышалъ въ водѣ голосъ, но не утѣшающій, а скорѣе возбуждающій, повелительный и вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко мудрый. Ибо море знаетъ все, звѣзды раскрываютъ ему ночью сокровеннѣйшія загадки неба, въ его глубинѣ лежатъ, вмѣстѣ съ сказочно зарытыми богатствами, древнія, давно забытыя сказанія земли, у всѣхъ береговъ своихъ слушаетъ оно тысячами ушей любопытныхъ волнъ, и рѣки, вливающіяся въ него, приносятъ ему всѣ свѣдѣнія, собранныя ими въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ материка, или подслушанныя въ болтовнѣ маленькихъ ручьевъ и горныхъ

источниковъ. Но кому море откроетъ свои тайны, кому шепнетъ оно въ сердце великое слово спасенія міра, тотъ простись съ спокойствіемъ! Простите, безмятежныя грезы! Простите, новеллы и комедіи, которыя я такъ чудесно началъ и которыя теперь мнѣ такъ трудно будетъ продолжать въ скоромъ времени.

Съ тѣхъ поръ краски для изображенія золотого ангела почти высохли на моей палитрѣ, и влажною осталась только ярко-красная краска, похожая на кровь и которая можетъ быть годна только для того, чтобъ рисовать краснаго льва. Да, слѣдующая книга моя будетъ красный левъ съ головы до ногъ, за что, послѣ вышеизложеннаго признанія, да извинитъ меня почтенная публика.

Парижъ, 17 октября 1833 г.

ФРАНЦУЗСКІЕ ЖИВОПИСЦЫ.

(Картинная галлерея въ Парижѣ).

(1831 г.).

Выставка нынѣшняго года открыта была съ начала мая, и теперь закрылась. Публика вообще окинула ее бѣглымъ взглядомъ; умы были заняты другимъ и наполнены тревогами политики. Что касается меня, въ первый разъ въ это время попавшаго въ Парижъ и охваченнаго безчисленными новыми впечатлѣніями, то я еще гораздо менѣе другихъ могъ осматривать луврскія залы съ надлежащимъ спокойствіемъ духа. Тамъ стояло около трехъ тысячъ прекрасныхъ картинъ, бѣдныхъ дѣтей искусства, которымъ озабоченная толпа кидала, какъ милостыню, равнодушный взглядъ. Съ нѣмой горечью вымаливали они хоть каплю участія, доступъ въ какой-нибудь уголочекъ сердца. Напрасно! Сердца были переполнены собственными чувствами, собственнымъ своимъ семействомъ, и для этихъ чужихъ въ нихъ не было ни мѣста, ни пищи. Выставка оттого и походила на сиротскій домъ, на сборище бѣдныхъ дѣтей, отовсюду собранныхъ, предоставленныхъ самимъ себѣ и не связанныхъ между собою никакими узами родства. При видѣ ихъ, душа возмущалась зрѣлищемъ недостойной безпомощности и дѣтскаго отчаянія.

Но какое противоположное чувство охватывало насъ уже при входѣ въ итальянскія галлереи, гдѣ картины не выставлены, какъ дѣти-найденыши, напоказъ холодному свѣту, а напротивъ, кажется, всѣ выкормлены молокомъ одной, общей великой матери, какъ одно большое семейство, мирное и согласное, и всѣ говорятъ однимъ языкомъ, хотя не всегда одними и тѣми же словами.

Католическая церковь, бывшая когда-то и для другихъ искусствъ такою матерью, теперь оскудѣла и сама безпо-

мощна. Живописцы пишутъ теперь каждый по-своему, и самъ отъ себя, капризы дня, фантазія богача или же своего собственнаго празднаго сердца даютъ ему сюжетъ, палитра снабжена самыми яркими красками, а полотно терпитъ все! Кромѣ того, дурно понятый романтизмъ проникъ теперь въ мастерскія французскихъ художниковъ, и каждый, слѣдуя главному своему принципу, старается писать не такъ, какъ другіе, или, выражаясь языкомъ моды, проявить свою индивидуальность. Какія, благодаря этому, выходятъ иногда картины—можно себѣ легко представить!

Но все-таки, обладая здравымъ смысломъ, французы всегда видѣли, въ чемъ уродливость, легко отличали настоящую оригинальность и въ этомъ пестромъ океанѣ картинъ умѣли отыскать настоящіе перлы. Художники, о чьихъ произведеніяхъ больше всѣхъ говорили и которыхъ больше всѣхъ хвалили, были: Ари Шефферъ, Орасъ Верне, Делакруа, Декамъ, Лессоръ, Шнетцъ, Деларошъ и Роберъ. Я могу, слѣдовательно, ограничиться тѣмъ, что передамъ общественное мнѣніе. Оно мало отличается отъ моего собственнаго. О достоинствахъ или недостаткахъ техническихъ я буду говорить возможно меньше. Да это было бы совершенно безполезно, потому что картины на выставкѣ не остаются навсегда, и еще безполезнѣе для нѣмца, къ которому сообщеніе адресовано, такъ какъ онъ ихъ никогда не видалъ. Для послѣднихъ могутъ быть пріятны только указанія на смыслъ и значеніе картинъ. Въ качествѣ добросовѣстнаго докладчика начну я съ произведеній

АРИ ШЕФФЕРА.

Въ первый мѣсяцъ выставки «Фаустъ и Маргарита» этого художника обращали на себя общее вниманіе, потому что лучшія картины Робера и Делароша были выставлены уже позже. Кромѣ того, всякій, кто увидитъ картины Шеффера въ первый разъ, тотчасъ же будетъ пораженъ его манерой, выражающейся особенно въ колоритѣ. Его враги острятъ, что онъ пишетъ только нюхательнымъ табакомъ и зеленымъ мыломъ. Я не знаю, насколько они неправы. Его темныя тѣни нерѣдко слишкомъ сильны и не достигаютъ желаемаго художникомъ Рембрандтовскаго эффекта. У его фигуръ большею частью тотъ фатальный цвѣтъ лица, который непріятнѣйшимъ образомъ поражаетъ насъ въ нашей собственной физіономіи, когда мы видимъ ее поутру, въ дорогѣ, послѣ безсонной ночи, при дурномъ

расположеніи духа, въ тѣхъ зеленоватыхъ зеркалахъ, которыя находятся въ сырыхъ гостиницахъ, гдѣ останавливается почтовая карета. Но это непріятное первое впечатлѣніе изглаживается, чѣмъ долѣе вы всматриваетесь въ картину; вы находите цѣлое очень поэтичнымъ, и изъ этихъ мутныхъ тоновъ выходитъ свѣтлый образъ, какъ солнечный лучъ изъ облачнаго тумана. Въ «Фаустѣ и Маргаритѣ» этотъ мутный колоритъ, эти точно до смерти уставшія краски съ неопредѣленными очертаніями, даже производятъ хорошій эффектъ. Въ обѣихъ картинахъ фигуры видны до колѣнъ, въ натуральную величину. Фаустъ сидитъ въ средневѣковомъ красномъ креслѣ, за столомъ съ пергаментными книгами, облокотясь на него лѣвой рукой и склонивъ на нее свою обнаженную голову. Правою рукою онъ уперся въ бокъ такъ, что ладонь открыта. Платье цвѣта зеленовато-голубого мыла. Лицо почти профиль, цвѣта нюхательнаго табака, черты строго благородныя. Несмотря на болѣзненную блѣдность, на впалыя щеки, на поблекшія губы, на напечатлѣнное истощеніе, это лицо все-таки сохраняетъ слѣды прежней красоты, глаза проливаютъ на него тихій и грустный свѣтъ, и весь онъ похожъ на старую руину, озаренную луною. Да, этотъ человѣкъ—прекрасная человѣческая руина. Въ морщинахъ надъ этими обветшалыми бровями гнѣздятся сказочныя ученыя совы, и за этимъ челомъ хоронятся злые духи; въ полночь растворяются тамъ гробы умершихъ желаній, блѣдныя тѣни выходятъ оттуда, и по темнымъ чертогамъ мозга ползетъ, точно со связанными ногами, духъ Гретхенъ. Въ этомъ-то и заслуга художника, что онъ нарисовалъ намъ только лицо человѣка, но тутъ же открылъ чувства и мысли, которыя наполняютъ голову и сердце этого человѣка. Въ глубинѣ картины едва видна зеленая, отвратительно зеленая голова Мефистофеля, злого духа, отца лжи, бога зеленаго мыла.

Гретхенъ—pendant къ этой картинѣ и такъ же хороша. Она тоже сидитъ на полиняломъ красномъ креслѣ. Ея прялка съ мочкой льна покоится праздно подлѣ нея; въ рукахъ открытый молитвенникъ, который она, однако, не читаетъ, и откуда утѣшительно смотритъ на нее пестрое, но полинялое изображеніе Божіей Матери. Она такъ наклонила голову, что большая часть лица, тоже почти профиль, освѣщена какъ-то странно. Точно сумрачная душа Фауста кидаетъ свою тѣнь на черты кроткой дѣвушки. Обѣ картины висѣли одна подлѣ другой, и тѣмъ очевиднѣе было,

что на лицѣ Фауста художникъ сосредоточилъ всю силу освѣщенія, между тѣмъ какъ у Маргариты гораздо сильнѣе лица освѣщена вся ея фигура. Отъ этого лицо получаетъ еще какое-то невыразимо волшебное выраженіе. На ней корсетъ ярко-зеленаго цвѣта, маленькая, очень маленькая шапочка чернаго бархата, который, по противоположности, придаетъ особенный блескъ ея мягкимъ, золотистымъ волосамъ, ниспадающимъ съ обѣихъ сторонъ лица. Лицо же овальное, трогательное и благородное; въ чертахъ красота, которая точно хочетъ спрятаться изъ скромности. Это сама скромность съ своими милыми, голубыми глазами. Тихая слезинка, нѣмой перлъ горя, пробирается по прекрасной щекѣ. Это настоящая Гретхенъ Вольфганга Гёте, но Гретхенъ, прочитавшая всего Фридриха Шиллера; въ ней болѣе сентиментальности, чѣмъ наивности, болѣе тяжелаго идеализма, чѣмъ легкой граціи. Можетъ-быть, она слишкомъ вѣрна и слишкомъ серьезна, чтобы быть граціозной, ибо грація заключается въ движеніи. При этомъ въ ней есть что-то солидное, надежное, реальное, какъ свѣтлый червонецъ, который еще лежитъ у васъ въ карманѣ. Словомъ, это нѣмочка, и когда глубоко всматриваешься въ ея меланхолическіе глаза-фіалки, то вспоминается Германія, ея душистыя липы, стихи Гельти, каменный Роландъ передъ ратушей, старый конректоръ, его румяная племянница, домикъ лѣсничаго, украшенный оленьими рогами, скверный табакъ и добрые товарищи, бабушкины сказки о кладбищахъ, честные ночные сторожа, дружба и первая любовь, и множество-множество милыхъ бездѣлушекъ. Право, Гретхенъ Ари Шеффера нельзя описать словами. Это болѣе чувство, чѣмъ образъ. Это нарисованная душа. Когда я проходилъ мимо ея, то всегда невольно говорилъ: «милое дитя!»

Но жаль, что у Шеффера во всѣхъ его картинахъ одна манера, и если она идетъ къ Фаусту и Маргаритѣ, то рѣшительно неудачна въ другихъ сюжетахъ, тамъ, гдѣ бы требовались тоны теплые и блестящіе, напр., въ маленькой картинѣ, изображающей пляску школьниковъ. Эти дѣти, благодаря мутному, скучному колориту, похожи на гномовъ. Какъ ни силенъ также талантъ Шеффера въ портретахъ, какъ ни оригиналенъ онъ въ созданіи въ этомъ родѣ, мнѣ непріятенъ и здѣсь его колоритъ. Но былъ одинъ портретъ на выставкѣ, къ которому шла какъ нельзя лучше именно манера Шеффера. Только этими неопредѣленными, фальшивыми, мертвыми, безхарактерными красками можно было

изобразить человѣка, котораго слава въ томъ состоитъ, что никто на лицѣ его не прочитаетъ его мысли, даже скорѣй прочтетъ противоположное тому, что онъ думаетъ. Это человѣкъ, у котораго въ то время, какъ вы ему сзади дадите пинка, не исчезнетъ съ губъ стереотипная улыбка. Это человѣкъ, который четырнадцать разъ давалъ фальшивую клятву, который своимъ искусствомъ лгать служилъ всѣмъ, смѣнявшимъ другъ друга, правительствамъ Франціи, когда имъ нужно было прибѣгнуть къ какой-нибудь убійственной подлости; такъ что при немъ вспоминаешь ту древнюю составительницу ядовъ, ту Локусту, которая, какъ преступная часть наслѣдства, переходила къ членамъ Августова дома и молча и вѣрно служила своими дипломатическими ядами одному Цезарю вслѣдъ за другимъ, и одному противъ другого. Когда я стоялъ передъ портретомъ фальшиваго человѣка, котораго Шефферъ такъ вѣрно нарисовалъ, изобразивъ своими красками на его лицѣ даже всѣ его четырнадцать ложныхъ клятвъ, меня холодомъ прохватила мысль: кому назначено его только-что сваренное зелье въ Лондонѣ?

Генрихъ IV и Людовикъ Филиппъ I, два конныхъ портрета Шеффера въ натуральную величину, заслуживаютъ во всякомъ случаѣ особеннаго вниманія. Первый «le roi par droit de conquête et par droit de naissance», жилъ до меня; о немъ я знаю только то, что онъ носилъ бороду Henry quatre, и похожъ ли онъ, не могу судить. Второй, «le roi des barricades, le roi par la grâce du peuple souverain»—мой современникъ, и я могу судить, похожъ ли его портретъ, или нѣтъ. Я видѣлъ этотъ портретъ прежде, чѣмъ имѣлъ удовольствіе видѣть самого его величества короля, и признаюсь, что тогда съ перваго взгляда не узналъ его. Можетъ-быть, онъ былъ тогда слишкомъ взволнованъ; именно, это было въ первый день торжества іюльской революціи, когда онъ проѣзжалъ по улицамъ Парижа, посреди ликующей національной гвардіи и іюльскихъ героевъ, которые тогда всѣ, какъ безумные, ревѣли Parisienna и марсельскій гимнъ и по временамъ выплясывали la carmagnole. Его величество король сидѣлъ на конѣ, отчасти какъ тріумфаторъ по принужденію, отчасти какъ добровольный плѣнникъ, взятый для украшенія торжественной процессіи; какъ символъ или пророчество, ѣхалъ подлѣ него развѣнчанный императоръ; двое юныхъ сыновей ѣхали тоже подлѣ него, какъ цвѣтущія надежды, и его одутловатыя щеки сіяли изъ-подъ густой сѣни большихъ бакенбардъ, и въ слащаво

привѣтливыхъ глазахъ блестѣли удовольствіе и замѣшательство. На шефферовскомъ портретѣ онъ не имѣетъ такого веселаго вида, онъ даже почти мраченъ, какъ будто бы проѣзжаетъ по place de grève, гдѣ былъ казненъ его отецъ; его лошадь какъ будто спотыкается. Мнѣ кажется, что на этомъ портретѣ и голова его не такъ заострена кверху, какъ у августѣйшаго оригинала, напоминающаго мнѣ всегда народную пѣсню:

Es steht eine Tann' im tiefen Thal,
Ist unten breit und oben schmal.

Впрочемъ портретъ недуренъ, очень похожъ, хотя сходство это я нашелъ уже только тогда, когда самъ увидѣлъ короля. Это обстоятельство, однако, заставляетъ меня задуматься, очень задуматься вообще о достоинствахъ Шеффера, какъ портретиста. Дѣло въ томъ, что портретныхъ живописцевъ можно раздѣлить на два разряда. У однихъ есть удивительный даръ понять и изобразить именно тѣ черты, которыя и незнакомому зрителю даютъ идею изображаемаго лица, такъ что онъ сразу пойметъ характеръ неизвѣстнаго оригинала и, встрѣтивъ потомъ оригиналъ, сейчасъ же узнаетъ его по портрету. Таковы были старые мастера, Гольбейнъ, Тиціанъ и ванъ-Дикъ, и въ ихъ портретахъ поражаетъ насъ та непосредственность, которая вполнѣ гарантируетъ намъ сходство съ давно умершими оригиналами. «Можно поклясться, что эти портреты очень похожи», невольно говоримъ мы, осматривая ихъ въ галлереяхъ. Другой родъ портретныхъ живописцевъ встрѣчается особенно между французами и англичанами, которые стремятся къ тому, чтобы зритель легко узналъ, чей это портретъ, и передаютъ на полотно только тѣ черты, которыя вызываютъ изъ памяти нашей лицо и характеръ хорошо извѣстнаго оригинала. Эти художники работаютъ только для воспоминанія, и они крайне милы для благовоспитанныхъ родителей и нѣжныхъ супруговъ, которые показываютъ намъ свои семейные портреты послѣ обѣда и достаточно не могутъ насъ завѣрить, какъ портретъ былъ схожъ, пока у милаго дитяти, не завелись еще глисты, или какъ, точно живой, изображенъ здѣсь нѣжно любимый супругъ, котораго мы еще не имѣемъ чести знать, и съ которымъ знакомство намъ предстоитъ еще, когда онъ возвратится съ брауншвейгской ярмарки.

Шефферова «Леонора» по колориту гораздо лучше другихъ его произведеній. Онъ отнесъ исторію ко временамъ

крестовыхъ походовъ, что дало живописцу случай употребить блестящіе костюмы и вообще придать картинѣ романтическій колоритъ. Проходитъ армія возвращающихся крестоносцевъ, и посреди ихъ бѣдная Леонора не видитъ своего возлюбленнаго. Во всей картинѣ царствуетъ кроткая грусть, ничто не предвѣщаетъ страшнаго привидѣнія слѣдующей ночи. Но именно потому, что тутъ взято благочестивое время крестовыхъ походовъ, я сомнѣваюсь, чтобы покинутая Леонора стала произносить хулу на божество, и чтобы мертвецъ-рыцарь явился бы за нею. Бюргерова Леонора жила въ протестантскую, скептическую пору, и ея возлюбленный участвовалъ въ семилѣтней войнѣ, чтобы покорить Силезію для Вольтерова друга. Шефферова же Леонора жила въ вѣкѣ слѣпой вѣры въ католицизмъ, когда сотни тысячъ людей, одушевленныя одной религіозной мыслью, нашивали себѣ на платьѣ красный крестъ и, какъ воины-пилигриммы, стремились на востокъ, чтобы завоевать тамъ одинъ гробъ. Удивительное время! Однако, всѣ мы, люди, не всѣ ли мы тѣ же крестоносцы,—мы, которые послѣ всѣхъ нашихъ страшнѣйшихъ бореній на землѣ завоевываемъ себѣ подъ конецъ только одинъ гробъ! Эту мысль читаю я на благородномъ лицѣ рыцаря, который со своего высокаго коня такъ сострадательно глядитъ на печальную Леонору. Она опустила голову на плечо матери. Это грустный цвѣтокъ, онъ увянетъ, но не будетъ богохульствовать. Шефферова картинка—прекрасная, музыкальная композиція; въ краскахъ звучитъ такая же свѣтлая грусть, какъ и въ меланхолической весенней пѣснѣ.

Остальныя картины Ари Шеффера не стоятъ того, чтобъ о нихъ говорить. Публика, однако, очень одобряла ихъ, пропуская безъ вниманія лучшія произведенія менѣе извѣстныхъ художниковъ. Такъ дѣйствуетъ всегда имя живописца. Если у принца въ перстнѣ на пальцѣ будетъ богемская страза, всѣ будутъ принимать ее за брильянтъ, а надѣньте нищему настоящее брильянтовое кольцо, всѣ скажутъ, что это простое стекло.

Это сравненіе приводитъ меня къ

ОРАСУ ВЕРНЕ.

Онъ тоже не прислалъ, для украшенія нынѣшней выставки, настоящихъ брильянтовъ. Лучшая изъ выставленныхъ имъ картинъ была Юдиѳь, готовящаяся убить Оло-

ферна. Она только-что поднялась съ его ложа, цвѣтущая, стройная дѣвушка. Лиловое одѣяніе, наскоро подвязанное ниже таліи, ниспадаетъ до ея ногъ, на верхней части тѣла свѣтло-желтая одежда, правый рукавъ которой она закидываетъ надъ лѣвой рукой для того, чтобы онъ не мѣшалъ правой рукѣ взмахнуть мечомъ—жестъ, хотя и напоминающій мясника, но исполненный чрезвычайной граціи. Вотъ она, прекрасное созданіе, только-что переступившее границу дѣвственности, чистая передъ Богомъ, но для міра уже опозоренная. Голова ея чудно привлекательна и какой-то зловѣщей красоты; черные волосы, точно маленькія змѣйки, не падаютъ внизъ, а приподымаются, ужасающе граціозныя. Лицо находится въ полусвѣтѣ, и по чертамъ смертоносной красавицы струятся прелестная дикость, мрачная кротость и сентиментальная злоба. Особенно въ глазахъ сверкаетъ милая жестокость и сладострастье мщенія, потому что ей надобно отомстить отвратительному язычнику и за поруганіе своего прекраснаго тѣла. Язычникъ-то и въ самомъ дѣлѣ не очень красивъ, но въ сущности, кажется, bon enfant. Онъ спитъ такъ простодушно подъ обаяніемъ испытаннаго наслажденія; онъ, можетъ-быть, даже храпитъ, или, какъ говоритъ Луиза, спитъ вслухъ; его губы движутся, какъ будто еще цѣлуютъ; опьяненнаго счастьемъ и конечно виномъ смерть, посредствомъ своего прекраснѣйшаго ангела, переправляетъ безъ боли и страданія въ бѣлую ночь вѣчнаго уничтоженія! Какой завидный конецъ! Когда мой часъ придетъ, дайте мнѣ, о боги, умереть такъ, какъ умеръ Олофернъ!

Не съ ироніей ли Орасъ Верне бросилъ первые лучи восходящаго солнца на этого спящаго, между тѣмъ какъ ночная лампада гаснетъ?

Другая картина Верне, портретъ нынѣшняго папы, отличается не столько умомъ, сколько смѣлостью рисунка и колоритомъ. Слугу слугъ Божіихъ, увѣнчаннаго тройной тіарой, въ бѣлыхъ ризахъ, вышитыхъ золотомъ, несутъ на золотомъ сѣдалищѣ торжественной процессіей вокругъ церкви св. Петра. Самъ папа, несмотря на свои румяныя щеки, имѣетъ болѣзненный видъ и почти стушевывается на бѣломъ фонѣ дымящагося ѳиміама и опахалъ изъ бѣлыхъ перьевъ, колеблющихся надъ нимъ. Зато носильщики папскаго кресла—коренастыя, характерныя фигуры въ малиновыхъ ливреяхъ, съ черными длинными волосами и смуглыми лицами. Ихъ видно только троихъ, но они превос-

ходно написаны. То же можно сказать и о капуцинахъ, на переднемъ планѣ которыхъ видны только наклоненныя головы или, лучше сказать, затылки съ широкой тонзурой. Но именно эта тусклая незначительность главной фигуры и значительная выдвинутость второстепенныхъ составляетъ главную ошибку въ картинѣ. Легкость позы и колоритъ послѣднихъ напомнили мнѣ Павла Веронезе. Нѣтъ только въ нихъ той венеціанской чарующей прелести, той поэзіи красокъ, которая у Веронезе, какъ мерцаніе лагунъ, скользитъ только по поверхности, но все-таки чудно волнуетъ душу.

Смѣлымъ вымысломъ и колоритомъ своимъ возбудила много похвалъ третья картина Ораса Верне; она изображаетъ арестъ принцевъ Конде, Конти и Лонгвиля. Дѣло происходитъ на лѣстницѣ Пале-Рояля; арестованные принцы, отдавъ, по повелѣнію Анны Австрійской, свои шпаги, сходятъ внизъ, что дозволяетъ намъ видѣть каждую фигуру въ полномъ ея очертаніи. Конде впереди, на послѣдней ступенькѣ лѣстницы; онъ задумчиво крутитъ свои усъ, и я знаю, о чемъ онъ думаетъ. Съ верхней ступеньки сходитъ внизъ офицеръ со шпагами принцевъ подъ мышкой. Все составляетъ три группы, которыя естественно образовались и естественно одна съ другой связаны. Только художникъ, стоящій на высокой степени въ искусствѣ, можетъ имѣть такія «лѣстничныя идеи».

Къ менѣе замѣчательнымъ произведеніямъ Ораса Верне принадлежитъ «Камиль Демуленъ», говорящій со скамейки въ палероялькомъ саду къ народу. Лѣвой рукой срываетъ онъ зеленый листъ съ дерева, въ правой держитъ пистолетъ. Бѣдный Камиль! Храбрость твоя не была выше той скамейки, тамъ хотѣлъ ты остановиться, и посмотрѣлъ кругомъ. Но революціонера удержать на высотѣ можетъ только одно магическое слово: «впередъ, безостановочно впередъ!» Какъ только остановишься и станешь осматриваться кругомъ—ты погибъ, какъ Эвридика, когда она, слѣдуя за играющимъ на лирѣ супругомъ, одинъ разъ только вздумала оглянуться назадъ, на ужасы подземнаго міра. Бѣдный Камиль! Бѣдный буршъ! То были еще веселые школьные дни свободы, когда ты взлѣзалъ на скамейку, и кидалъ камни въ окошки деспотизму, и сыпалъ фонарныя остроты; шутка вышла потомъ очень печальная, фуксы революціи посѣдѣли, волосы встали у нихъ дыбомъ, страшные звуки слышалъ ты вокругъ себя и сзади себя;

изъ подземнаго царства доносились до тебя голоса духовъ Жиронды, и ты оглядывался кругомъ.

По костюмамъ 1789 года эта картина была довольно интересна. Тутъ были еще напудренныя прически, узкія женскія платья съ широкими фижмами, пестро-полосатые фраки, кучерскіе сюртуки съ маленькими воротничками, пара часовыхъ цѣпочекъ, параллельно висѣвшихъ на брюхѣ, и даже тѣ террористическіе жилеты съ широкими отворотами, которые теперь у юныхъ парижскихъ республиканцевъ опять вошли въ моду и называются gilets à la Robespierre. Робеспьеръ тоже помѣщенъ на картинѣ, замѣтный по своему изысканному туалету и франтоватости осанки. Въ самомъ дѣлѣ, во внѣшности своей онъ всегда былъ чистъ и блестящъ, какъ топоръ гильотины, но и внутри, сердце его было такъ же безкорыстно, неподкупно и послѣдовательно, какъ топоръ гильотины. Эта неумолимая строгость была, однако, не безчувствіе, а добродѣтель, подобная добродѣтели Юнія Брута, съ которою никогда не помирится наше сердце и которой съ ужасомъ удивляется разумъ. Робеспьеръ питалъ даже особенную любовь къ Демулену, своему школьному товарищу, котораго онъ осудилъ на смерть, какъ скоро этотъ fanfaron de la liberté вздумалъ проповѣдывать умѣренность и началъ потворствовать опаснымъ для государства слабостямъ. Въ тѣ минуты, когда на Гревской площади лилась кровь Камиля, въ уединенной комнатѣ текли, можетъ-быть, слезы Максимиліана. И это я говорю не для красоты слога. Недавно передавалъ мнѣ одинъ пріятель слышанный имъ отъ Бурдонъ де-Луазъ разсказъ, что однажды, зайдя въ кабинетъ Comité du salut public, онъ засталъ тамъ Робеспьера, который сидѣлъ одинъ, глубоко задумавшись, смотрѣлъ на бумаги и горько плакалъ.

Я прохожу мимо другихъ, еще меньше замѣчательныхъ картинъ Ораса Верне, многосторонняго живописца, который все пишетъ,—образа, сраженія, мертвую природу, звѣрей, ландшафты, портреты,—и все бѣгло, почти памфлетообразно.

Обращаюсь къ

ДЕЛАКРОА,

выставившему картину, передъ которой я видѣлъ всегда большую толпу и о которой потому могу сказать, что она обратила на себя наибольшее вниманіе публики. Великая

важность сюжета не позволяетъ относиться къ колориту съ строгой критикой, которая могла бы оказаться для него неблагопріятной, но, несмотря на нѣкоторые техническіе недостатки, изъ этой картины чудно вѣетъ на насъ великой мыслью. Нарисована группа народа въ іюльскіе дни и въ срединѣ ея выдается молодая женщина—фигура почти аллегорическая — съ краснымъ фригійскимъ колпакомъ на головѣ, съ ружьемъ въ одной рукѣ и трехцвѣтнымъ знаменемъ въ другой. Она ступаетъ по трупамъ и возбуждаетъ къ битвѣ, обнаженная до лядвей; смѣлый профиль; чудесное энергичное тѣло, дерзкая скорбь въ чертахъ, странное соединеніе Фрины, торговки и богини свободы.

Хотѣлъ ли художникъ изобразить именно эту послѣднюю, съ точностью не выражено; скорѣе, тутъ изображена дикая народная сила, освобождающаяся отъ роковыхъ узъ. Признаюсь даже, она напоминаетъ мнѣ тѣхъ перипатетиковъ-философовъ женскаго пола, тѣхъ скороходовъ любви, которыя по вечерамъ наполняютъ парижскіе бульвары; сознаюсь, что этотъ купидонъ, трубочистъ, съ пистолетомъ въ каждой рукѣ, возлѣ этой женщины, запачканъ чѣмъ-нибудь еще другимъ, кромѣ сажи; кандидатъ на мѣсто въ Пантеонѣ, повергнутый мертвымъ на землю, еще вчера, пожалуй, торговалъ театральными контрмарками; что этотъ герой, бросающійся съ ружьемъ въ битву, носилъ на лицѣ своемъ печать каторги, а на платьѣ запахъ залы уголовнаго суда, но это именно и нужно было художнику; великая идея облагородила даже эту сволочь народа и пробудила въ ней уснувшее чувство собственнаго достоинства.

Великіе іюльскіе дни Парижа! Вы будете вѣчно свидѣтельствовать о коренномъ благородствѣ, живущемъ въ душѣ людей, и которое никогда не можетъ быть вполнѣ разрушено. Кто пережилъ васъ, тотъ уже не скорбитъ на старыхъ могилахъ, но радостно вѣритъ въ воскрешеніе народовъ. Великіе іюльскіе дни! Какъ прекрасно было солнце и какъ великъ былъ парижскій народъ! Боги въ небѣ, смотрѣвшіе на великую битву, ликовали отъ удивленія, и охотно встали бы они со своихъ золотыхъ креселъ и сошли на землю, чтобы сдѣлаться гражданами Парижа! Но какъ всегда завистливые и трусливые, они и теперь боялись, чтобы люди не поднялись уже черезчуръ высоко и черезчуръ великолѣпно—и чрезъ посредство своихъ услужливыхъ жрецовъ они старались «очернить блестящее и затоптать въ прахъ возвышенное», и вотъ создали они бельгійское воз-

мущеніе—животный пейзажъ Поттера. Боги заботятся о томъ, чтобы деревья свободно не дорастали до неба.

Ни на одной изъ картинъ выставки краски не тусклы такъ, какъ на «Іюльской революціи» Делакруа. Но именно это отсутствіе блеска и лака, при томъ пыль и пороховой дымъ, окружающіе всѣ фигуры, какъ сѣрой паутиной, высушенный солнцемъ колоритъ, точно жаждущій капли воды—все это придаетъ картинѣ характеръ правды, оригинальности, и въ ней чувствуешь настоящую физіономію іюльскихъ дней.

Между зрителями были многіе, которые или сами участвовали, или, по крайней мѣрѣ, были зрителями въ этихъ событіяхъ,—и вотъ они не могли достаточно нахвалиться картиной. «Чортъ возьми!—говорилъ одинъ бакалейный торговецъ:—эти gamins бились, какъ гиганты». Одна молоденькая дама замѣтила, отчего въ картинѣ не видать воспитанниковъ политехнической школы, тогда какъ ихъ встрѣчаешь на всѣхъ другихъ, изображающихъ эпизоды іюльской революціи, а такихъ было выставлено до сорока. Одинъ капралъ изъ Эльзаса говорилъ по-нѣмецки своему товарищу: «Экая ловкая штука живопись! какъ все вѣрно потрафлено! вонъ мертвый-то, что на землѣ лежитъ; можно побожиться, что живой!». «Папа,—говорила маленькая карлистка:—что это за грязная баба въ красномъ колпакѣ?»—«Конечно, душечка,—отвѣчалъ благородный папаша, съ слащаво-раздавленной улыбкой:—конечно, съ чистотою лилій у нея нѣтъ ничего общаго: это богиня свободы».—«Папа, на ней даже рубашки нѣтъ».—«Настоящая богиня свободы, душечка, обыкновенно не носитъ никогда рубашки и оттого злится на всякаго, кто ходитъ въ чистомъ бѣльѣ».

При этомъ господинъ обдернулъ пониже манжеты на своихъ длинныхъ праздныхъ рукахъ и обратился къ своему сосѣду. «Éminence,—сказалъ онъ:—если случится, что сегодня у Porte st. Denis національные гвардейцы подстрѣлятъ старуху, то республиканцы потащатъ святые останки по бульварамъ, народъ остервенится, и у насъ тогда—новая революція».—«Tant mieux,—прошепталъ éminence, худой, на всѣ пуговицы застегнутый человѣкъ, который маскируется въ штатское платье, какъ дѣлаютъ теперь всѣ духовные въ Парижѣ, боясь, чтобы ихъ не осмѣяли публично, или, можетъ-быть, по причинѣ угрызеній совѣсти:—tant mieux, marquis! Чѣмъ больше надѣлаютъ мерзостей, тѣмъ скорѣе мѣра переполнится! Революція поглотитъ тогда тѣхъ,

кто ее вызвалъ, и прежде всего—тѣхъ тщеславныхъ банкировъ, которые и теперь, благодаря Бога, уже обанкрутились».—«Такъ, такъ, éminence; мы не пустили ихъ въ наши салоны—они рѣшили насъ погубить à tout prix; вотъ вамъ и разгадка всей іюльской революціи! Роздали денегъ по предмѣстьямъ, хозяева распустили фабричныхъ, заплатили виноторговцамъ, чтобъ поили народъ даромъ, да еще туда пороху подмѣшали, чтобъ разгорячить чернь, — et du reste, c'était le soleil».

Маркизъ сказалъ, пожалуй, правду: это надѣлало солнце. Особенно въ іюлѣ солнце всегда лучами своими сильнѣе, чѣмъ когда-либо, разгорячало сердца парижанъ, когда опасность грозила свободѣ, и опьяненный солнцемъ, подымался въ Парижѣ народъ противъ гнилыхъ Бастилій и рабскихъ «ордонансовъ». Солнце и Парижъ удивительно понимаютъ и любятъ другъ друга. Прежде, чѣмъ погрузиться вечеромъ въ море, солнце еще долго ласкаетъ взоромъ своимъ прекрасный городъ Парижъ и своими послѣдними лучами цѣлуетъ трехцвѣтныя знамена на башняхъ прекраснаго города Парижа. Совершенно основательно одинъ французскій поэтъ предложилъ отпраздновать іюльскіе дни символической свадьбой, и какъ нѣкогда венеціанскій дожъ всякій годъ отправлялся на золотомъ «Буцентаврѣ» для обрученія царственной Венеціи съ Адріатическимъ моремъ, такъ онъ предлагалъ установить, чтобы на Бастильской площади ежегодно праздновалась свадьба столицы Франціи съ солнцемъ, этою великою, блестящею счастливою звѣздой ея свободы. Казимиру Перье не пришлось по вкусу это предложеніе, онъ боится дѣвичника такой свадьбы, онъ боится, что слишкомъ много жару выйдетъ отъ такого сочетанія, и позволяетъ городу Парижу состоять развѣ только въ морганатическомъ бракѣ съ солнцемъ.

Но я забываю, что взялся говорить только о выставкѣ. Теперь подхожу къ художнику, который возбуждаетъ общее вниманіе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ пришелся лично мнѣ по душѣ, что въ его картинахъ я какъ будто слышу пестрое эхо голосовъ моего собственнаго сердца, или, еще болѣе, тоны его красокъ чѣмъ-то родственнымъ чудесно отзываются въ моемъ сердцѣ.

ДЕКАМЪ

—имя того художника, который такъ очаровалъ меня. Къ сожалѣнію, я не видѣлъ одной изъ лучшихъ его картинъ—

«Собачій госпиталь»; ее ужъ сняли, когда я пришелъ на выставку. Не видѣлъ я и нѣсколькихъ другихъ произведеній его, потому что не могъ отыскать ихъ, прежде чѣмъ они были унесены, во всей огромной массѣ выставленнаго.

Но уже изъ одной маленькой его картинки, которой колоритъ и простота странно поразили меня, я тотчасъ угадалъ, что Декамъ великій художникъ. Это было не болѣе, какъ какое-то турецкое зданіе, выбѣленное и высокое; тамъ и здѣсь окошко, изъ котораго выглядываетъ голова турка; внизу вода, удивительно спокойная, въ которой отражаются бѣлыя стѣны со своими розоватыми тѣнями. Я узналъ потомъ, что Декамъ самъ бывалъ въ Турціи, такъ что меня поразилъ не столько ему принадлежащій оригинальный колоритъ, сколько правда и скромность красокъ въ его восточныхъ сценахъ. Это особенно поражаетъ въ его «Патрулѣ». Тутъ изображенъ великій гаджи-бей, начальникъ полиціи въ Смирнѣ, дѣлающій объѣздъ по городу со своими мирмидонами. Брюхачъ сидитъ на высокомъ конѣ, во всемъ величествѣ своей наглости; оскорбительно надменное, невѣжественно мрачное лицо, увѣнчанное бѣлымъ тюрбаномъ, въ рукахъ скипетръ неограниченной бастонады, а подлѣ него пѣшкомъ бѣгутъ девять вѣрныхъ исполнителей его quand même воли, быстро подвижныя твари, съ тощими короткими ногами и почти звѣриными рожами, похожими на кошачьи, козлячьи, обезьяньи; одна изъ нихъ представляетъ даже какую-то мозаику изъ собачьяго рыла, свиныхъ глазъ, ослиныхъ ушей, телячьяго смѣха и заячьей трусости. Небрежно тащатъ они съ собою оружіе—пики, ружья вверхъ прикладами, также орудія юстиціи—колъ и связку бамбуковыхъ палокъ. И такъ какъ дома вокругъ известково-бѣлые, а улица глиняная, желтая, то кажется, что видишь китайскія тѣни, когда темныя нарядныя фигуры пробѣгаютъ вдоль свѣтлаго задняго фона и по свѣтлому переднему плану. Сцена освѣщается заходящимъ солнцемъ, и странныя тѣни отъ тощихъ ногъ этихъ людей и лошадей усиливаютъ причудливо волшебное впечатлѣніе. При томъ всѣ эти люди дѣлаютъ такіе смѣшные прыжки, такія неслыханныя ужимки, и сама лошадь раскидываетъ ноги такъ дурацки быстро, что кажется, будто она полуползетъ на брюхѣ, полулетитъ... И все это здѣшніе критики наиболѣе порицали, какъ ненатуральное и карикатурное.

Во Франціи есть тоже свои присяжные судьи по части искусства, которые по стариннымъ условнымъ правиламъ

разбираютъ всякое новое произведеніе, есть свои знатоки, шляющіеся по мастерскимъ художниковъ, расточая свои одобрительныя улыбки тому, что льститъ ихъ коньку, и этимъ-то господамъ не понравилась картина Декама. Нѣкто г. Жаль, издающій о каждой выставкѣ свою брошюрку, даже долгомъ счелъ обругать въ «Фигаро» эту картину и посмѣяться надъ поклонниками художника, говоря о себѣ съ притворной скромностью, что онъ судитъ только по идеямъ здраваго разсудка, и что его бѣдный здравый разсудокъ не видалъ въ картинѣ Декама великаго произведенія, какъ утверждаютъ тѣ хвалители, которые судятъ не по одному простому здравому разсудку. Горемычный критикъ со своимъ здравымъ разсудкомъ! Онъ не чувствуетъ, какъ онъ вѣрно осуждаетъ самъ себя! Бѣдному здравому-то разсудку именно и не слѣдуетъ первому подавать голосъ въ сужденіи объ изящныхъ произведеніяхъ, точно такъ же, какъ ему никогда не принадлежитъ первая роль въ созданіи ихъ. Идея произведенія западаетъ въ душѣ художника, и воображеніе помогаетъ ему осуществить ее. Воображеніе сыплетъ тогда ему всѣ свои цвѣты, покрываетъ ими всю его идею и почти задушило бы ее скорѣе, чѣмъ оживило, если бы не поспѣшалъ тутъ на помощь хромоногій здравый разсудокъ и не отбрасывалъ бы всѣ излишніе цвѣты, или не срѣзывалъ бы ихъ своими острыми садовыми ножницами. Здравый разсудокъ водворяетъ только порядокъ; онъ есть, такъ сказать, полиція въ царствѣ искусства. Въ жизни онъ по большей части только холодный счетчикъ, подводящій итоги нашимъ глупостямъ; ахъ, иногда онъ только бухгалтеръ банкротствъ разбитаго сердца, спокойно вычисляющій дефицитъ.

Главная ошибка заключается всегда въ томъ, что критикъ задаетъ вопросъ: что долженъ дѣлать художникъ? Правильнѣе было бы задаться вопросомъ, чего хотѣлъ художникъ, или даже какое было вдохновеніе, которому онъ повиновался? Вопросъ: что долженъ дѣлать художникъ? возникъ у тѣхъ философовъ въ области искусства, которые, будучи лишены сами всякой поэзіи, извлекли для себя данныя изъ различныхъ художественныхъ произведеній, изъ того, что было до нихъ, составили норму для будущаго, установили роды и виды и выдумали разныя опредѣленія и правила. Они не знали, что всѣ подобныя отвлеченности годны развѣ только для сужденія о толпѣ подражателей, но что всякій новый оригинальный художникъ, а ужъ подавно всякій новый геній въ искусствѣ приноситъ съ собою и

новую эстетику, по которой должно его судить. Старыя правила и ученіе тутъ уже менѣе всего примѣнимы. Для юныхъ гигантовъ, говоритъ Менцель, нѣтъ школы фехтованія, они вѣдь обходятся въ поединкѣ безъ всякихъ «парадъ». Всякій геній долженъ быть изучаемъ и судимъ только на основаніи того, чего онъ самъ хочетъ. Тутъ могутъ быть отвѣты только на вопросъ: есть ли у него достаточныя средства, чтобы выразить свою идею? употребилъ ли онъ надлежащія средства? Только тутъ мы стоимъ на твердой почвѣ. Тутъ уже мы не прикладываемъ къ какому-нибудь чужому произведенію нашихъ субъективныхъ требованій, но измѣряемъ средства, данныя Богомъ художнику для осуществленія его идеи. Въ музыкѣ и поэзіи эти средства—звуки и слова; въ пластическихъ искусствахъ—краски и формы. Но звуки и слова, краски и формы, вообще все проявляющееся есть не что иное, какъ символы идеи, символы, рождающіеся въ душѣ художника, когда на нее нисходитъ священный міровой духъ; его произведенія—только символы, посредствомъ которыхъ онъ сообщаетъ другимъ людямъ свою идею. Величайшій художникъ будетъ тотъ, кто наименьшимъ числомъ самыхъ простыхъ символовъ выразитъ наибольшее число самыхъ значительныхъ вещей.

Я придаю, однако, высшую цѣну тому символу, выражающему идею художника, который, независимо отъ своего внутренняго значенія, еще самъ собою плѣняетъ васъ, какъ цвѣты селяма, которые, будучи соединены въ красивый букетъ, плѣняютъ своей собственной свѣжестью и красотою, независимо отъ таинственнаго значенія. Но всегда ли возможна такая гармонія? Всегда ли свободенъ художникъ въ выборѣ и расположеніи своихъ таинственныхъ цвѣтовъ? Или беретъ онъ ихъ и связываетъ въ букетъ, повинуясь какой-нибудь тайной силѣ? Я утвердительно говорю, что существуетъ это мистическое отсутствіе свободной воли. Художникъ похожъ на ту принцессу, которая въ лунатизмѣ рвала ночью въ садахъ Багдада самые диковинные цвѣты и связывала ихъ въ селямъ съ глубокимъ знаніемъ языка любви, но, проснувшись, рѣшительно ничего не понимала въ этомъ букетѣ. И сидѣла она поутру въ своемъ гаремѣ, и разсматривала связанный ночью букетъ, и думала о немъ, какъ о позабытомъ снѣ, и, наконецъ, отсылала его къ возлюбленному калифу. Жирный евнухъ, относившій букетъ, любуясь красотою цвѣтовъ, не подозрѣвалъ ихъ значенія. Но Гарунъ аль-Рашидъ, глава правовѣрныхъ, преемникъ пророка, обла-

датель Соломонова кольца, тотчасъ проникалъ въ смыслъ прекраснаго селяма, сердце его ликовало отъ радости, онъ цѣловалъ каждый цвѣтокъ и смѣялся такъ, что слезы текли на его длинную бороду.

Я не преемникъ пророка, не обладаю и Соломоновымъ кольцомъ, нѣтъ у меня и длинной бороды; но я утверждаю, что прекрасный селямъ, привезенный намъ Декамомъ съ востока, я понимаю гораздо лучше всѣхъ евнуховъ, вмѣстѣ съ ихъ кизляръ-агою, этимъ оберъ-знатокомъ, посредникомъ-факторомъ въ гаремѣ искусства. Болтовня этихъ кастрированныхъ знатоковъ для меня рѣшительно невыносима, особенно, когда въ ней всѣ традиціонныя формулы и благонамѣренные совѣты юнымъ художникамъ и жалкое указаніе на натуру, и опять натуру, и все одну только натуру.

Въ искусствахъ я супернатуралистъ. Я думаю, что художникъ не можетъ найти цѣликомъ въ природѣ всѣ свои типы, но что типы важнѣйшіе, какъ прирожденная символика прирожденныхъ идей, какъ бы по откровенію являются въ его душѣ. Одинъ новѣйшій эстетикъ, написавшій «Итальянскія Изслѣдованія», старался возстановить старый принципъ подражанія природѣ, доказавъ, что пластическій художникъ долженъ заимствовать всѣ свои типы изъ природы. Выдвигая такой верховный принципъ для пластическихъ искусствъ, этотъ эстетикъ упустилъ изъ виду одно изъ первобытнѣйшихъ между этими искусствами—архитектуру, типы которой вздумали теперь отыскивать въ тѣнистыхъ лѣсахъ и скалистыхъ пещерахъ, но, конечно, не нашли тамъ. Они лежали не во внѣшней природѣ, а въ душѣ человѣка.

Критику, который въ картинѣ Декама не видитъ натуры и который находитъ, что лошадь гаджи-бея закидываетъ ноги неестественно, а люди его бѣгутъ такъ же ненатурально, художникъ можетъ смѣло отвѣчать, что онъ во всемъ этомъ былъ вѣренъ своей фантазіи и своему внутреннему видѣнію. Въ самомъ дѣлѣ, темныя фигуры на свѣтломъ фонѣ сами собою выходятъ какъ видѣнія, точно отдѣляются отъ земли и должны быть, пожалуй, написаны нѣсколько нематеріальнѣе, сказочно воздушнѣе. Смѣсь звѣриныхъ формъ съ человѣческими въ фигурахъ на этой картинѣ еще болѣе требуетъ этого характера; въ самой этой смѣси дышитъ уже тотъ древній юморъ, который уже греки и римляне умѣли выражать въ безчисленномъ количествѣ уродливыхъ изображеній, какія намъ забавно видѣть на стѣнахъ Герку-

ланума, въ статуяхъ сатировъ и кентавровъ, и т. п. Упрекъ въ карикатурѣ художникъ можетъ отразить, указавъ на общую гармонію своего созданія, на прелестную музыку красокъ, которая звучитъ, правда, комично, но вмѣстѣ и гармонично, на очарованіе своего колорита. Карикатуристы рѣдко бываютъ хорошими колористами, именно вслѣдствіе внутренней разорванности, которою обусловливается ихъ склонность къ карикатурѣ. Красота колорита прямо вытекаетъ изъ души живописца и зависима отъ гармоническаго единенія его чувствъ. Въ оригиналахъ Гогарта въ національной галлереѣ Лондона я видѣлъ только пестрыя пятна, точно оравшія одно на другое—настоящее возмущеніе рѣзкихъ красокъ.

Я забылъ упомянуть, что на картинѣ Декама есть и нѣсколько гречанокъ съ открытыми лицами, смотрящихъ изъ окошекъ на смѣшной поѣздъ. Ихъ спокойствіе и красота составляютъ съ нимъ контрастъ необыкновенно прелестный. Онѣ не улыбаются, эта скачущая на конѣ наглость и бѣгущая передъ нею собачья покорность—зрѣлище для нихъ обыкновенное, и, глядя на нихъ, мы чувствуемъ себя еще правдивѣе перенесенными въ отечество абсолютизма.

Только художникъ, который вмѣстѣ съ тѣмъ гражданинъ свободнаго государства, могъ весело написать эту картину. Другой, не французъ, наложилъ бы краски посильнѣе и позлѣе, онъ подмѣшалъ бы туда берлинской лазури, или по крайней мѣрѣ неаполитанской желчи,—и основной тонъ насмѣшки пропалъ бы совершенно.

Но чтобы эта картина не задерживала меня еще дольше, быстро перехожу отъ нея къ другой, подъ которой подписано имя

ЛЕССОРА,

и которая привлекала всѣхъ удивительной правдой и роскошью простоты и скромности. Всякій съ изумленіемъ останавливался передъ нею. Въ каталогѣ она озаглавлена: «Больной братъ». Въ бѣдной мансардѣ, на бѣдной постели, лежитъ больной мальчикъ и смотритъ умоляющими глазами на простое деревянное распятіе, висящее на голой стѣнѣ. Въ ногахъ его сидитъ другой мальчикъ, съ потупленнымъ взглядомъ, озабоченный, печальный. Коротенькая курточка его и панталоны хотя чисты, но всѣ въ заплатахъ и изъ толстой матеріи. Пожелтѣлое шерстяное одѣяло и не столько

мебель, сколько отсутствіе мебели, свидѣтельствуютъ о робкой великой бѣдности. Манера, съ какой написана эта картина, совершенно соотвѣтствуетъ ея содержанію; она больше всего напоминаетъ нищихъ мальчишекъ Мурильо. Рѣзкія темныя тѣни, твердыя, мощныя, серьезныя линіи, краски, не наскоро брошенныя, но положенныя рукою спокойной и смѣлой, какъ-то странно стушеванныя, но не мрачныя; характеръ картины тотъ, который Шекспиръ опредѣлилъ словами: the modesty of nature. Посреди блестящихъ картинъ въ блестящихъ великолѣпныхъ рамахъ, эта картина должна была поразить тѣмъ болѣе, что рамка ея была старая, съ почернѣлой позолотой, совершенно въ тонѣ сюжета и манеры художника. Такимъ образомъ, при послѣдовательности всѣхъ подробностей и при противоположности всего окружающаго, эта картина производила глубокое меланхолическое впечатлѣніе на всякаго зрителя и наполняла душу тѣмъ невыразимымъ состраданіемъ, которое овладѣваетъ нами, когда, выйдя изъ освѣщенной залы съ веселой компаніей, мы вдругъ попадаемъ въ темный переулокъ, и къ намъ подходитъ оборванный собратъ-человѣкъ, жалуясь на холодъ и голодъ. Эта картина говоритъ много немногими чертами и еще гораздо болѣе возбуждаетъ она въ нашей душѣ.

ШНЕЦЪ

—имя болѣе извѣстное. Но я о немъ не говорю съ такимъ удовольствіемъ, какъ о предыдущемъ, которое до сихъ поръ мало извѣстно. Можетъ-быть, другимъ знакомы лучшія произведенія Шнеца, вслѣдствіе чего они ставятъ его высоко, и потому я долженъ дать ему хоть маленькое мѣстечко въ этомъ обозрѣніи. Онъ пишетъ хорошо, но, по моему мнѣнію, нехорошій живописецъ. Въ его большой картинѣ на нынѣшней выставкѣ, изображающей итальянскихъ простолюдиновъ, которые молятъ Мадонну совершить чудесное исцѣленіе, есть прекрасныя отдѣльныя частности; особенно превосходно нарисованъ мальчикъ въ корчахъ и конвульсіяхъ, техническая часть вообще обнаруживаетъ въ немъ крупнаго мастера, но вся картина больше редактирована, чѣмъ нарисована, фигуры будто декламируютъ, нѣтъ внутренняго созерцанія, непосредственности и единства. Шнецу нужно слишкомъ много чертъ, чтобы что-нибудь сказать, и то все, что онъ затѣмъ говоритъ, лишнее. Великій худож-

пикъ, какъ и посредственный, можетъ иногда произвести худое, но никогда лишняго. Великія усилія, настойчивая воля достойны уваженія въ посредственномъ художникѣ, но результаты ихъ могутъ производить впечатлѣніе весьма непріятное. Въ геніи нравится намъ именно его увѣренность, съ которою онъ царитъ на высотѣ; мы радуемся его смѣлому полету, чѣмъ болѣе убѣждаемся въ могуществѣ его крыльевъ, и довѣрчиво даетъ ему душа наша унести себя въ самыя свѣтлыя области искусства. Совершенно противное ощущаемъ мы съ этими театральными геніями, которые обнаруживаютъ передъ нами всѣ веревки и проволоки, съ помощью которыхъ ихъ втягиваютъ на высоту; такъ что мы, безпрестанно ожидая, что вотъ-вотъ они сорвутся оттуда, смотримъ на ихъ высокое положеніе съ непріятнымъ замираніемъ сердца. Я не хочу рѣшать, слишкомъ ли тонки проволоки, на которыхъ подымается Шнецъ, или его геній слишкомъ тяжелъ; я могу только завѣрить, что моей души онъ не только не возвышаетъ, напротивъ, придавливаетъ ее къ землѣ.

Сходство въ направленіи и выборъ сюжетовъ часто заставляютъ ставить имя Шнеца рядомъ съ именемъ другого художника, который на нынѣшней выставкѣ превзошелъ не только его, но и всѣхъ другихъ своихъ собратій, съ весьма немногими исключеніями, и, какъ доказательство общественнаго признанія, при раздачѣ наградъ получилъ офицерскій крестъ Почетнаго Легіона. Этотъ художникъ —

ЛЕОПОЛЬДЪ РОБЕРЪ.

Жанристъ онъ или историческій живописецъ? — тотчасъ спросятъ меня наши нѣмецкіе цеховые мастера. Къ сожалѣнію, я не могу обойти здѣсь этотъ вопросъ, я долженъ условиться насчетъ этихъ непонятныхъ выраженій, чтобы избѣжать разъ навсегда еще бо́льшихъ недоразумѣній. Раздѣленіе на жанръ и исторію такъ все путаетъ, что подумаешь, оно есть изобрѣтеніе художниковъ, строившихъ вавилонскую башню. Между тѣмъ, оно не столь древнее. Въ первыя времена искусства была только историческая живопись, именно изображенія изъ священнаго писанія. Но послѣ не ограничивались одной Библіей, а стали изображать и событія свѣтской исторіи и языческой миѳологіи, и все это назвали исторической живописью, въ противоположность изображеніямъ вседневной жизни, появившимся

особенно въ Нидерландахъ, гдѣ протестантскій духъ отвергалъ какъ католическіе, такъ и миѳологическіе сюжеты, гдѣ для этихъ послѣднихъ, можетъ-быть, не находилось моделей, да ихъ никогда и не понимали, но гдѣ было уже много отличныхъ художниковъ, желавшихъ имѣть работу, и много любителей, охотно покупавшихъ картины. Различныя изображенія вседневной жизни тогда и составили различные «жанры».

Очень многіе художники прекрасно схватили юморъ мелкой домашней жизни; но, къ сожалѣнію, болѣе всего у нихъ цѣнилась техническая отдѣлка. Для насъ, однако, всѣ эти картины получаютъ уже историческій интересъ, ибо смотря на прекрасныя картины Міерриса, Нетчера, Янъ-Стина, ванъ-Дова, ванъ-деръ-Верфта и т. д., мы чудеснымъ образомъ проникаемъ въ духъ того времени, мы, такъ сказать, заглядываемъ въ окошки къ шестнадцатому столѣтію и видимъ тогдашнія занятія и костюмы. Относительно этихъ послѣднихъ нидерландскіе художники были счастливы: простонародные костюмы были довольно живописны, а мужскіе костюмы бюргеровъ представляли премилое сочетаніе нидерландской безмятежности и испанской grandezza, женскіе—смѣсь пестрѣйшихъ фантазій всего свѣта и туземной флегмы. Напримѣръ mynheer, одѣтый въ бархатный бургундскій плащъ и пеструю рыцарскую шапку, куритъ изъ глиняной трубки; mifrow одѣта въ тяжелое платье со шлейфомъ изъ венеціанскаго атласа, въ брюссельскія кружева, африканскія страусовыя перья, русскіе мѣха, западно-восточныя туфли, а въ рукахъ у нея андалузская мандолина, или темно косматая hondchen, саардамской породы; слуга-негритенокъ, турецкій коверъ, попугаи всѣхъ цвѣтовъ, тропическіе цвѣты, большія золотыя и серебряныя вазы съ причудливыми арабесками — все это кидало на жизнь голландскаго сыра отблескъ даже восточной сказки.

Когда въ наше время, послѣ долгаго сна, искусство, наконецъ, пробудилось, художники очутились въ большомъ затрудненіи, что̀ имъ писать. Сочувствіе къ религіозной миѳологической живописи совсѣмъ исчезло въ большей части Европы, даже въ католическихъ земляхъ, а между тѣмъ, костюмы современниковъ казались слишкомъ неживописными и отталкивали художниковъ отъ историческихъ и домашнихъ сценъ нашего времени. Въ самомъ дѣлѣ, нашъ новѣйшій фракъ заключаетъ въ себѣ что-то ужъ очень прозаическое и только какъ бы въ смыслѣ пародіи можетъ

попасть въ картину. Еще недавно я спорилъ объ этомъ предметѣ съ однимъ философомъ изъ Берлина — прусскаго города, каковой философъ объяснялъ мнѣ мистическое значеніе фрака и натуръ историческую поэзію его формы слѣдующимъ миѳомъ. Человѣкъ созданъ былъ не неприлично нагимъ, но совершенно зашитымъ въ халатъ, и потомъ, когда изъ его ребра произошла жена, то спереди у него вырѣзался значительный кусокъ изъ этого халата, долженствовавшій служить женщинѣ передникомъ, такъ что черезъ эту вырѣзку образовался фракъ, находящій себѣ въ женскомъ передникѣ свое естественное пополненіе. Несмотря на это прекрасное происхожденіе фрака и его поэтическое значеніе, какъ дополненіе одного пола другимъ, я все-таки не могу примириться съ его формой. Художники тоже держатся этого мнѣнія, и стали поэтому отыскивать живописные костюмы. Вотъ почему явилась любовь къ историческимъ сюжетамъ стараго времени, и въ Германіи образовалась цѣлая школа художниковъ не безъ таланта, но которые неутомимо стараются нарядить нынѣшнихъ людей и нынѣшнія чувства въ гардеробъ католическихъ и феодальныхъ среднихъ вѣковъ, въ рясы и латы. Другіе живописцы нашли иной выходъ. Они стали выбирать для своихъ картинъ тѣ народы, которыхъ цивилизація еще не лишила ихъ оригинальности и національнаго костюма. Оттого у мюнхенскихъ живописцевъ такъ часты сцены изъ жизни Тироля; Тироль отъ нихъ недалеко, и жители его одѣваются живописнѣе нашихъ денди. Потому также стали появляться и смѣющіяся сцены народной итальянской жизни, благо онѣ подъ рукою у художниковъ, проживающихъ въ Римѣ, гдѣ они находятъ ту идеальную натуру и тѣ исконно прекрасныя человѣческія формы и живописные костюмы, по которымъ томится ихъ художественное сердце.

Роберъ, родомъ французъ, въ юности граверъ, прожилъ впослѣдствіи нѣсколько лѣтъ въ Римѣ, и выставленныя имъ въ нынѣшнемъ году картины именно принадлежатъ къ этому послѣднему роду, т. е. къ изображенію итальянской народной жизни. «Онъ, слѣдовательно, жанристъ», слышу я, говорятъ цеховые мастера, и я знаю одну госпожу историческую живописицу, которая на него теперь сильно морщится. Но я не согласенъ на это выраженіе, потому что исторической живописи, въ прежнемъ смыслѣ, теперь уже нѣтъ. Было бы очень неопредѣленно, если бы это названіе вздумали придавать всѣмъ тѣмъ картинамъ, которыя выра-

жаютъ какую-нибудь глубокую мысль, и передъ каждой картиной подни́мали бы споръ, есть ли въ ней какая глубокая мысль — споръ, въ результатѣ котораго выиграло бы только слово. Можетъ-быть, это слово — историческая живопись, пригодилось бы въ самомъ естественномъ своемъ смыслѣ, именно для изображенія сценъ всемірной исторіи — рода, который въ настоящее время возникаетъ съ такой силой и достигаетъ полнаго своего расцвѣта въ лучшихъ твореніяхъ Делароша.

Но прежде, чѣмъ обратиться къ Делароше, позволю себѣ сказать еще нѣсколько бѣглыхъ словъ о картинахъ Робера. Онѣ, какъ я сказалъ, посвящены исключительно итальянской жизни и изображаютъ ее во всей ея поэтической прелести. Искусство, долгое время бывшее лучшимъ украшеніемъ Италіи, становится теперь чичероне ея красотъ; говорящія краски художника открываютъ намъ ея сокровеннѣйшія прелести; старое очарованіе опять воскресаетъ, и страна, которая нѣкогда порабощала насъ своимъ оружіемъ, а потомъ своимъ словомъ, нынѣ порабощаетъ своей красотою. Да, Италія всегда будетъ господствовать надъ нами, и художники, какъ Роберъ, снова прикуютъ насъ къ Риму.

Если я не ошибаюсь, всѣ уже знаютъ по литографіямъ, помѣщеннымъ на нынѣшней выставкѣ, Роберовыхъ «пиферари», альбанскихъ горцевъ, собирающихся къ Рождеству въ Римъ какъ бы давать серенады на углахъ улицъ статуямъ Мадонны. Эта картина лучше нарисована, чѣмъ написана: въ ней есть что-то жесткое, мутное, болонское, точно раскрашенная гравюра. Но она трогаетъ, какъ будто слышишь въ самомъ дѣлѣ наивно благочестивую музыку, насвистываемую этими альбанскими горными пастухами.

Не такъ проста, но, можетъ-быть, глубже задумана другая картина Робера, изображающая мертвое тѣло, непокрытое по итальянскому обычаю, которое несетъ въ могилу процессія ордена братьевъ милосердія. Всѣ въ черномъ и въ черныхъ покровахъ на головѣ, гдѣ продѣланы только два отверстія для глазъ, проходятъ они, какъ рядъ привидѣній. На переднемъ планѣ сидятъ на скамейкѣ отецъ, мать и молодой братъ покойнаго. Бѣдно одѣтый, въ глубокомъ горѣ, склонивъ голову на стиснутыя руки, сидитъ старикъ между женою и сыномъ. Онъ молчитъ, потому что въ мірѣ нѣтъ бо́льшей скорби, какъ скорбь отца, переживающаго, вопреки закону природы, свое дитя. Мать съ

блѣдно-желтымъ лицомъ, кажется, вопитъ и стонетъ въ совершенномъ отчаяніи. Мальчикъ, глуповатый бѣднякъ, держитъ въ рукахъ хлѣбъ, хочетъ ѣсть, но безсознательное сочувствіе семейному горю мѣшаетъ ему проглотить кусокъ, оттого выраженіе его лица еще печальнѣе. Покойникъ, кажется, старшій сынъ, опора и украшеніе семейства, коринѳскій столбъ дома; цвѣтущій юностью, граціозный и почти улыбающійся, лежитъ онъ на носилкахъ, такъ что въ этой картинѣ жизнь представлена мрачною, некрасивою и печальною, а смерть—безконечно прекрасною, даже граціозною и чуть не улыбающеюся.

Но художникъ, умѣвшій такъ украсить смерть, сумѣлъ изобразить жизнь еще великолѣпнѣе: его chef-d'oeuvre — «Жнецы», есть какъ бы апоѳеозъ жизни; смотря на нее, забываешь, что есть царство тѣней, и не подумаешь, что гдѣ-нибудь свѣтлѣе и прекраснѣе, чѣмъ у насъ на землѣ. «Земля есть небо, и люди обожествлены» — таково великое откровеніе, блистающее чудными красками на этой картинѣ. Передъ нами пустынныя поля Романьи, озаренныя великолѣпнѣйшимъ закатомъ солнца. Посрединѣ крестьянская телѣга, которую тянутъ въ упряжкѣ изъ желѣзныхъ цѣпей два огромныхъ вола, и въ ней цѣлая семья поселянъ, остановившихся на отдыхъ. Направо сидятъ подлѣ сноповъ отдыхающія жницы; какой-то малый играетъ на волынкѣ, другой съ счастливѣйшимъ видомъ подплясываетъ, и вамъ точно слышатся и музыка, и слова:

Damigella, tutta bella,
Versa, versa il bel vino!

Слѣва тоже выходятъ женщины, молодые и красивые цвѣты, нагруженные снопами, и двое молодыхъ жнецовъ, изъ которыхъ одинъ, съ опущенными глазами, млѣетъ въ сладостной нѣгѣ, а другой ликуетъ, высоко махая въ воздухѣ серпомъ. Между двумя волами стоитъ здоровенный парень съ загорѣлой грудью, должно-быть, работникъ, который, стоя, дѣлаетъ siesta. Въ телѣгѣ покоится съ одной стороны старый дѣдъ, добрый, дряхлый старикъ, но который, можетъ-быть, духовно управляетъ семейной телѣгой; съ другой стороны, его сынъ—спокойно смѣлая мужественная фигура; онъ сидитъ, скрестивъ ноги на спинѣ буйвола, и держитъ въ рукѣ кнутъ, видимый символъ господина; нѣсколько выше, и почти стоя—молодая красавица съ ребенкомъ на рукахъ—роза и почка; а подлѣ нея тоже молодой красавецъ, вѣроятно, ея братъ, который намѣревается

разбить палатку. Говорятъ, картину эту уже гравируютъ, и, можетъ-быть, уже черезъ мѣсяцъ узнаютъ въ Германіи, почему я и воздерживаюсь отъ дальнѣйшаго описанія. Но ни описаніе, ни гравюра не передадутъ вамъ всей ея чарующей прелести. Прелесть въ колоритѣ. Фигуры всѣ темнѣе фона, освѣщены отблескомъ неба такъ чудно, такъ небесно, что сами по себѣ блещутъ самыми ярко веселыми красками, при чемъ, однако, контуры рѣзко очерчиваются. Нѣкоторыя лица кажутся портретами. Однако художникъ не копировалъ ребенка съ натуры, какъ большая часть его тупоголовыхъ собратій, и не воспроизводилъ лицъ съ дипломатическою точностью, но, какъ остроумно замѣтилъ одинъ мой пріятель, прежде принялъ въ душу свою образы, представленные ему натурой, и подобно тому, какъ души въ чистилищѣ не теряютъ своей индивидуальности, а только очищаются отъ земныхъ грѣховъ для того, чтобы войти въ райскія селенья, такъ и эти образы очистились и просвѣтились въ пламенной глубинѣ души художника и вознеслись, просвѣтленные, на небо искусства, гдѣ также царство вѣчной красоты и вѣчной жизни, гдѣ Венера и Мадонна имѣютъ вѣчныхъ поклонниковъ, гдѣ Ромео и Джульетта никогда не умрутъ, гдѣ Елена остается вѣчно молодой и Гекуба, по крайней мѣрѣ, не старѣется.

Въ краскахъ картины Робера видно изученіе Рафаэля. Архитектоническая красота группировки тоже его напоминаетъ. Даже отдѣльныя лица, особенно мать съ ребенкомъ, походятъ на фигуры на картинахъ Рафаэля, и именно первой манеры его, когда онъ еще держался строгихъ типовъ Перуджино, но прелестно смягчая ихъ.

Я не думаю проводить параллель между Роберомъ и величайшимъ художникомъ католическаго міра. Но не могу не указать на ихъ сродство. Впрочемъ, сродство это только матеріальное, со стороны формы, а не духовное избирательное сродство. Рафаэль весь пропитанъ католическимъ христіанствомъ, религіею, выражающею борьбу духа съ матеріей, или неба съ землею, стремящеюся подавить матерію, называющею грѣхомъ всѣ протесты ея и желавшею бы или одухотворить землю, или, скорѣе, принести землю въ жертву небу. Но Роберъ принадлежитъ народу, въ которомъ католицизмъ погасъ. Ибо, замѣчу мимоходомъ, хотя хартія и говоритъ, что католицизмъ есть религія большинства націи во Франціи, но это не болѣе, какъ французская любезность относительно Notre Dame de Paris, которая съ своей сто-

роны съ такой вѣжливостью носитъ на головѣ три цвѣта свободы—двойное лицемѣріе, противъ котораго грубая масса протестовала недавно не совсѣмъ учтиво, разрушая повсемѣстно храмы и топя въ Сенѣ изображенія святыхъ. Роберъ—французъ и, какъ большая часть его соплеменниковъ, находится безсознательно подъ вліяніемъ еще пока невыяснившейся доктрины, которая знать ничего не хочетъ о борьбѣ духа и матеріи, не запрещаетъ человѣку вѣрныхъ наслажденій земныхъ, и, напротивъ того, не затрудняется обѣщать сколько угодно небесныхъ радостей; которая хотѣла бы доставить человѣку блаженство уже на землѣ и считаетъ вещественный міръ столь же святымъ, какъ и духовный, ибо «Богъ есть все, что̀ существуетъ». Жнецы Робера поэтому не только чисты отъ всякаго грѣха, но даже и не знаютъ, что̀ такое грѣхъ; ихъ ежедневная работа—благочестіе; они молятся безпрестанно, не шевеля губами, они блаженствуютъ безъ рая, прощены безъ очистительныхъ жертвъ, чисты безъ всякихъ омовеній, совсѣмъ святые. Оттого и выходитъ, что между тѣмъ, какъ на католическихъ картинахъ только вокругъ головы, какъ сѣдалища духа, есть сіяніе, какъ символъ одухотворенія, у Робера, напротивъ того, и матерія освящается, такъ какъ здѣсь весь человѣкъ, и тѣло, и голова, облитъ небеснымъ свѣтомъ, какъ сіяніемъ.

Но католицизмъ въ нынѣшней Франціи не только совсѣмъ угасъ, но даже совсѣмъ не видно и отраженія его изъ далекаго прошедшаго на искусство, какъ въ нашей протестантской Германіи, гдѣ онъ получилъ новую силу съ помощью поэзіи, живущей во всякомъ прошедшемъ. У французовъ отвращеніе отъ католическихъ традицій обусловлено, можетъ-быть, еще не исчезнувшимъ чувствомъ злобы, тогда какъ всѣ другія явленія исторіи очень сильно интересуютъ ихъ. Это замѣчаніе я могу подтвердить фактомъ, который, въ свою очередь, можно объяснить именно этимъ замѣчаніемъ. Число картинъ какъ изъ Ветхаго Завѣта, такъ и изъ Новаго, изъ области какъ преданій, такъ и легенды, на нынѣшней выставкѣ такъ незначительно, что во многихъ третьестепенныхъ отдѣлахъ свѣтскаго жанра картинъ гораздо больше, и при томъ по достоинству онѣ выше первыхъ. По точному вычисленію оказывается, что изъ трехъ тысячъ нумеровъ каталога всего двадцать девять посвящены религіознымъ сюжетамъ, тогда какъ сценъ изъ однихъ романовъ Вальтеръ-Скотта болѣе тридцати. Слѣдовательно,

говоря о французской живописи, я могу, не боясь недоразумѣній, употреблять выраженіе—«историческая живопись» и «историческая школа» въ ихъ самомъ естественномъ значеніи.

ДЕЛАРОШЪ

есть корифей такой школы. Этотъ живописецъ не питаетъ любви къ самому прошедшему, но любитъ воспроизводить его, изображать его духъ, красками писать его исторію. Это вкусъ большей части теперешнихъ французскихъ живописцевъ; выставка полна картинами, заимствованными изъ исторіи, и имена Деверіа, Штейбена и Жоанно заслуживаютъ самаго почетнаго упоминанія. Такое же направленіе замѣтно у французовъ и въ другихъ родственныхъ искусствахъ, особенно въ поэтической литературѣ, гдѣ самымъ блестящимъ представителемъ является Викторъ Гюго. Новѣйшіе успѣхи ихъ въ исторіи и прекрасные историческіе труды не составляютъ поэтому одинокаго явленія.

Деларошъ, великій историческій живописецъ, выставилъ нынѣ четыре картины. Двѣ изъ французской исторіи, двѣ изъ англійской. Обѣ первыя—небольшія, размѣра такъ-называемыхъ кабинетныхъ картинокъ, съ множествомъ фигуръ, и очень живописныя. На одной изображенъ кардиналъ Ришелье, «ѣдущій, уже смертельно больнымъ, изъ Тараскона внизъ по Ронѣ и въ лодкѣ, прикрѣпленной сзади его собственной, везущій въ Ліонъ Сенъ-Марса и де-Ту, чтобы ихъ тамъ обезглавить». Двѣ лодки, одна вслѣдъ за другою—концепція не художническая; но здѣсь она исполнена чрезвычайно ловко. Краски блестящія, даже ослѣпительныя, фигуры почти плаваютъ въ лучезарномъ золотѣ заходящаго солнца. Этотъ блескъ составляетъ печальный контрастъ съ судьбой, ожидающей три главныхъ лица. Двоихъ цвѣтущихъ юношей тащатъ на казнь, и тащитъ ихъ умирающій старикъ. Какъ ни разукрашены эти лодки, онѣ все-таки плывутъ въ темное царство смерти. Великолѣпные золотые лучи солнца—здѣсь только прощальный привѣтъ; теперь вечеръ, солнце тоже должно исчезнуть, оно броситъ еще только одну кровавую полосу на землю, и настанетъ ночь...

Не менѣе блестящая красками и по содержанію своему не менѣе трагическая—другая историческая картина, служащая pendant первой и изображающая тоже умирающаго

кардинала, министра Мазарини. Онъ лежитъ на великолѣпномъ парадномъ ложѣ, окруженный пестрою толпою своихъ веселыхъ придворныхъ и слугъ, которые заняты, болтаютъ, играютъ въ карты, прохаживаются по комнатѣ,—все яркощегольскія, совсѣмъ лишнія существа, особенно лишнія для умирающаго. Прекрасные костюмы временъ фронды, еще необремененные золотыми розетками, вышивками, лентами и кружевами, какъ впослѣдствіи при Людовикѣ XIV, когда послѣдніе рыцари превратились въ тонкихъ придворныхъ кавалеровъ, совершенно такъ же, какъ и старые ихъ боевые мечи съ каждымъ днемъ становились все тоньше и тоньше, пока не сдѣлались нелѣпыми парадными шпажонками. Костюмы на этой картинѣ еще просты, колеты еще напоминаютъ воинское ремесло дворянства, перья на шляпахъ еще стоятъ смѣло и не двигаются во всѣ стороны по прихоти придворнаго вѣтра. Волосы мужчинъ еще ниспадаютъ въ натуральныхъ кудряхъ на плечи, а дамы носятъ еще остроумную прическу à la Sévigné. Но въ костюмахъ дамъ уже замѣтенъ переходъ къ безвкусицѣ шлейфовъ и фижмъ слѣдующей эпохи. Корсеты, однако, еще наивно милы, и бѣлыя прелести выступаютъ изъ нихъ, какъ цвѣты изъ рога изобилія. Это все прекрасныя дамы, прелестныя придворныя маски; на лицахъ улыбка любви, въ сердцѣ, можетъ-быть, мрачное уныніе, губы невинныя, какъ цвѣты, и за ними злой язычокъ, какъ хитрая змѣйка. Шаловливо болтая и шипя, сидятъ налѣво отъ постели больного эти три дамы, и подлѣ нихъ патеръ съ тонкимъ слухомъ, острымъ взглядомъ и подкарауливающимъ носомъ. Съ правой стороны, трое кавалеровъ и одна дама играютъ въ карты, вѣроятно, въ ландскнехтъ—прекрасная игра, въ которую я самъ игралъ въ Геттингенѣ, и разъ выигралъ шесть талеровъ. Благородный царедворецъ, въ бархатной темно-фіолетовой мантіи съ краснымъ крестомъ, вошелъ въ комнату и отвѣшиваетъ низкій поклонъ съ ловкимъ расшаркиваніемъ. Въ углу картины, направо, помѣщаются двѣ придворныя дамы и аббатъ, одной онъ даетъ читать бумагу, вѣроятно, сонетъ собственнаго издѣлія, другой строитъ глазки. Она быстро махаетъ опахаломъ, воздушнымъ телеграфомъ любви. Обѣ дамы—прелестныя созданія; одна румяно цвѣтущая, какъ роза, другая, какъ бы въ сумеркахъ, точно меланхолическая звѣзда. Въ глубинѣ картины сидятъ, болтая, тоже двое изъ придворной челяди, и сообщаютъ, можетъ-быть, другъ другу тоже разные юбочные государственные секреты, или, по-

жалуй, держать пари, что кардиналъ черезъ часъ будетъ мертвъ. А онъ и въ самомъ дѣлѣ, кажется, при послѣднемъ часѣ, лицо блѣдное, какъ у трупа, глаза ввалились, носъ угрожающе заострился, въ душѣ его постепенно погасаетъ то болѣзненное пламя, которое мы называемъ жизнью, въ немъ уже темно и холодно, ангелъ мрака уже коснулся своимъ крыломъ его чела,—и въ эту-то минуту дама обращается къ нему со своими картами и, кажется, спрашиваетъ: козырять ли ей своимъ «кёромъ».

Содержаніе двухъ другихъ картинъ Делароша взято изъ исторіи Англіи. Обѣ въ натуральную величину и написаны проще. Одна представляетъ въ Тоуэрѣ обоихъ принцевъ, убитыхъ по приказанію Ричарда III. Юный король съ своимъ младшимъ братомъ сидятъ на старинной постели, а маленькая ихъ собачка бросается къ дверямъ, лаемъ обличая приближеніе убійцъ. Молодой король, еще полуребенокъ, уже полуюноша—чрезвычайно трогательная фигура. Плѣненный король, какъ справедливо замѣтилъ Стернъ, ужъ самъ по себѣ печальное представленіе, а тутъ плѣненный король — еще почти невинный ребенокъ и безпомощно отданный на произволъ коварнаго убійцы. Несмотря на его нѣжный возрастъ, видно, что онъ уже много выстрадалъ; въ его блѣдномъ, болѣзненномъ лицѣ лежитъ уже трагическое величіе, и его ноги, съ ихъ длинными, голубыми бархатными туфлями, спущенныя съ кровати, но не касающіяся пола, придаютъ ему подавленный видъ сорваннаго цвѣтка. Все это, какъ я сказалъ, очень просто, и производитъ тѣмъ болѣе сильное впечатлѣніе. Ахъ, эта картина потрясла меня тѣмъ больше, что на лицѣ несчастнаго принца я увидѣлъ глаза моего друга, которые такъ часто улыбались мнѣ и были родственны съ другими глазами, мнѣ еще болѣе дорогими. Каждый разъ, какъ я стоялъ предъ картиной Делароша, мнѣ приходило на память, какъ въ былое время, въ одномъ прекрасномъ замкѣ въ дорогой Польшѣ, я стоялъ предъ портретомъ друга, и говорилъ о немъ съ его милой сестрою, и тайно сравнивалъ ея глаза съ глазами друга. Мы говорили также о живописцѣ, нарисовавшемъ портретъ и недавно умершемъ, и о томъ, какъ люди умираютъ одинъ за другимъ... Ахъ! мой милый другъ теперь тоже мертвъ, онъ убитъ при Прагѣ, кроткіе глаза прекрасной сестры тоже погасли, замокъ ихъ сожженъ, и тревожно одиноко становится у меня на душѣ, когда я подумаю, что не только дорогіе нашему сердцу такъ

скоро уходятъ изъ міра, но что даже мѣсто, на которомъ мы жили съ ними, исчезаетъ безъ слѣда, какъ будто оно никогда не существовало, какъ будто все это прошедшее— только сонъ.

Но еще болѣе болѣзненное впечатлѣніе производитъ другая картина Делароша, изображающая другую сцену изъ англійской исторіи. Это сцена изъ той страшной трагедіи, которая потомъ была переведена по-французски, и стоила столько слезъ и по сю, и по ту сторону канала, и такъ глубоко потрясла также и нѣмецкихъ зрителей. На картинѣ видимъ мы обоихъ героевъ пьесы: одинъ уже, какъ трупъ, въ гробу, другой, полный силы жизни, поднимаетъ крышку гроба, чтобъ взглянуть на мертваго врага. Или, можетъ-быть, это и не сами герои, а просто актеры, которымъ директоръ всемірнаго театра роздалъ роли, и которые, сами того не вѣдая, изображаютъ борьбу двухъ враждебныхъ принциповъ? Я не назову здѣсь этихъ враждебныхъ другъ другу принциповъ, двухъ великихъ идей, которыя, можетъ-быть, враждовали уже въ минуту своего созданія въ душѣ Творца, и которыя мы видимъ на этой картинѣ—одну, позорно раненую и истекающую кровью въ лицѣ Карла Стюарта, другую, надменную и торжествующую въ лицѣ Оливера Кромвеля.

Въ одной изъ мрачныхъ залъ Вайтгалля, на темно-красныхъ бархатныхъ стульяхъ, поставленъ гробъ обезглавленнаго короля, а передъ нимъ стоитъ человѣкъ, спокойною рукою подымающій крышку гроба и смотрящій на трупъ. Этотъ человѣкъ стоитъ тутъ одинъ; онъ широко и крѣпко сложенъ, его осанка небрежна, лицо—честнаго крестьянина. На немъ одежда обыкновеннаго солдата, пуритански простая: длинный висящій плащъ темнаго бархата, желтая замшевая куртка, кавалерійскіе сапоги, столь высокіе, что сверхъ ихъ едва видны черные панталоны; черезъ плечо желтый засаленный ремень, на которомъ виситъ шпага; на коротко обстриженныхъ, темныхъ волосахъ головы черная, низенькая шляпа съ краснымъ перомъ; на шеѣ отложной бѣлый воротничокъ, подъ которымъ виденъ еще кусокъ латъ; желтыя, грязныя перчатки; лѣвой рукой онъ опирается на короткую трость; другою приподнялъ крышку гроба, въ которомъ лежитъ король.

Въ лицахъ покойниковъ есть всегда выраженіе, благодаря которому подлѣ нихъ стоящій живой человѣкъ всегда кажется незначительнѣе ихъ; потому что онъ умаляется пе-

редъ этимъ торжественнымъ безстрастіемъ и гордой холодностью. И люди это чувствуютъ, и изъ уваженія къ великому званію покойника, стража отдаетъ воинскія почести и дѣлаетъ на караулъ, когда проходятъ передъ нею похороны, хотя бы везли не болѣе какъ самаго жалкаго портняжку. Понятно поэтому, какъ невыгодно положеніе Кромвеля сравнительно съ мертвымъ королемъ. Король, просвѣтленный только-что перенесеннымъ мученичествомъ, освященный величіемъ несчастья, съ драгоцѣннымъ пурпуромъ на шеѣ, съ поцѣлуемъ Мельпомены на блѣдныхъ губахъ, представляетъ самую угнетенную противоположность съ грубой, рѣзко живой пуританской фигурой. Противоположность не менѣе поразительна и во внѣшней одеждѣ пуританина съ послѣдними остатками блеска этого павшаго величія—зеленой шелковой подушкой во гробѣ, изяществомъ бѣлоснѣжнаго савана, украшеннаго брабантскими кружевами.

Какую великую міровую скорбь изобразилъ здѣсь нѣсколькими чертами художникъ! Вотъ онъ лежитъ тутъ, жалкій и окровавленный—этотъ пышный цвѣтъ королевской власти, нѣкогда утѣшеніе и украшеніе человѣчества! Вся жизнь Англіи съ той поры сдѣлалась бѣдна и безцвѣтна, и поэзія въ ужасѣ навсегда покинула почву, на которой когда-то она разсыпала самыя свѣтлыя краски свои. Какъ глубоко почувствовалъ я это, когда, однажды въ полночь, проходилъ передъ роковымъ окномъ Вайтгалля, и прохладно-сырая проза нынѣшней Англіи оледенила меня! Но отчего же душа моя не была такъ охвачена такими же глубокими чувствами, когда я недавно въ первый разъ проходилъ по страшной площади, гдѣ палъ Людовикъ XVI? Я думаю, оттого, что Людовикъ, когда умиралъ, не былъ уже королемъ; оттого, что уже передъ тѣмъ, какъ голова его упала, онъ потерялъ корону. А король Карлъ лишился короны только вмѣстѣ съ головой. Онъ вѣрилъ въ эту корону, въ свое неограниченное право, онъ боролся за него, какъ рыцарь, доблестно и смѣло; онъ умеръ дворянски-гордо, протестуя противъ незаконности суда надъ нимъ, какъ истинный мученикъ монархизма Божьею милостью. Бѣдный Бурбонъ не заслужилъ этой славы, его голова была уже развѣнчана якобинскимъ колпакомъ; онъ не вѣрилъ больше въ себя, онъ твердо вѣрилъ въ компетентность своихъ судей, онъ настаивалъ только на своей невинности; онъ былъ дѣйствительно буржуазно-добродѣтеленъ, добрый и довольно тучный отецъ семейства; его кончина имѣетъ болѣе сенти-

ментальный, нежели трагическій характеръ; онъ слишкомъ напоминаетъ семейные романы Августа Лафонтена... Слеза памяти Людовика Капета, лавръ Карлу Стюарту!

«Un plagiat infâme d'un crime étranger!» таковы слова, которыми виконтъ Шатобріанъ характеризуетъ печальныя событія, совершившіяся 21 января на площади de la Concorde. Онъ предлагаетъ воздвигнуть на этомъ мѣстѣ фонтанъ, вода котораго должна течь изъ большой лохани чернаго мрамора, чтобы смывать собою—«вы хорошо знаете что», — прибавляетъ онъ съ таинственнымъ паѳосомъ. Смерть Людовика XVI вообще любимый траурный конекъ, на которомъ постоянно парадируетъ благородный виконтъ; уже нѣсколько лѣтъ онъ день и ночь эксплуатируетъ вознесеніе на небо сына св. Людовика, и именно та рафинированная ядовитость, съ которою онъ при этомъ декламируетъ, и его напыщенныя траурныя остроты свидѣтельствуютъ о лживости его скорби. Гнуснѣе всего то, что его слова — отголосокъ сердецъ Сенъ-Жерменскаго предмѣстья, что тамъ старые кружки эмигрантовъ все еще лицемѣрно стонутъ о Людовикѣ XVI, точно они были его родственники, точно онъ собственно имъ принадлежитъ, точно они получили особенную привилегію оплакивать его. А между тѣмъ, эта смерть была несчастіемъ всемірнымъ, которое коснулось столько же послѣдняго поденщика, сколько перваго церемоніймейстера въ Тюильри, должно было наполнить безконечною скорбью всякое чувствующее человѣческое сердце. Ѳ, эта хитрая родня! Съ тѣхъ поръ, какъ ее лишили возможности узурпировать наши радости, она дѣлаетъ это съ нашими печалями.

Можетъ-быть, теперь настало время, съ одной стороны, утвердить за народомъ общее право на такія скорби, для того, чтобы онъ не вѣрилъ людямъ, убѣждающимъ его, что короли принадлежатъ не ему, а нѣсколькимъ избраннымъ, имѣющимъ привилегію оплакивать каждое королевское несчастіе, какъ свое собственное; съ другой стороны, можетъ-быть, настало время высказывать эти скорби громко, такъ какъ теперь снова появились ледянисто-умные рѣшители государственныхъ вопросовъ, трезвыя вакханки разума, которыя, въ своемъ логическомъ безуміи, хотятъ своими аргументами вырвать изъ глубины нашихъ сердецъ все почтеніе, внушаемое исконнымъ таинствомъ помазанія на царство. Но мрачную причину этихъ скорбей мы отнюдь не называемъ плагіатомъ, еще менѣе — преступленіемъ, и

ни въ какомъ случаѣ — гнуснымъ дѣломъ; мы называемъ ее предопредѣленіемъ Божіимъ. Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, мы ставили бы людей слишкомъ высоко и въ то же время слишкомъ принижали бы ихъ, если бы приписывали имъ столько исполинской силы и вмѣстѣ съ тѣмъ столько преступности, чтобы они могли по собственному произволу пролить ту кровь, слѣды которой Шатобріанъ хочетъ смыть водою своей черной лохани.

Дѣйствительно, если взвѣсить тогдашнее положеніе дѣлъ и собрать свидѣтельства еще живыхъ очевидцевъ, то видно, что человѣческій произволъ игралъ весьма незначительную роль въ казни Людовика XVI. Многіе, хотѣвшіе подавать голосъ противъ этой казни, поступали какъ разъ напротивъ, когда всходили на трибуну и охватывались мрачнымъ безуміемъ политическаго отчаянія. Жирондисты чувствовали, что они въ то же время произносили свой собственный смертный приговоръ. Многія рѣчи, произносившіяся при этомъ случаѣ, служили только къ самооглушенію. Аббатъ Сіесъ, возмущенный отвратительной болтовней, подалъ голосъ за казнь совершенно просто и, сойдя съ трибуны, сказалъ своему другу: «J'ai voté la mort sans phrase». Но злобная клевета злоупотребила этимъ частнымъ выраженіемъ; страшныя слова «la mort sans phrase» въ устахъ самаго кроткаго человѣка были выставлены, какъ парламентское изреченіе, и теперь вы найдете ихъ во всѣхъ учебникахъ, и молодые люди учатъ ихъ наизусть. Общая молва увѣряетъ, что 21 января смущеніе и печаль господствовали во всемъ Парижѣ; даже самые бѣшеные якобинцы, повидимому, были подавлены болѣзненнымъ разстройствомъ. Мой всегдашній извозчикъ, старый санкюлотъ, разсказывалъ мнѣ, что, когда онъ смотрѣлъ на казнь Людовика XVI, то у него на душѣ было такъ, «какъ будто у него самого отсѣкали какой-нибудь членъ». И онъ прибавилъ: «У меня сдѣлалась боль въ желудкѣ, и весь день я не могъ безъ отвращенія смотрѣть на пищу». По его словамъ, и «старый Вето» при этомъ былъ очень не спокоенъ, точно онъ собирался обороняться. Несомнѣнно то, что онъ умеръ не такъ величественно, какъ Карлъ I, который сначала произнесъ свою длинную протестующую рѣчь, при чемъ держалъ себя такъ спокойно, что нѣсколько разъ просилъ окружавшихъ его дворянъ не трогать топора, чтобы не иступить его. Таинственно замаскированный палачъ въ Вайтгаллѣ вселялъ также болѣе поэтическій ужасъ, чѣмъ Сансонъ съ

его открытымъ лицомъ. Здѣсь дворъ и палачъ сбросили съ себя послѣднюю маску, и зрѣлище вышло прозаическое. Можетъ-быть, Людовикъ произнесъ бы длинную христіанскую рѣчь прощенія, если бы при первыхъ же словахъ его не начался такой сильный барабанный бой, что едва ли кто слышалъ его заявленія своей невинности. Величавыя слова: «Fils de saint Louis, monte au ciel!», постоянно перефразируемыя Шатобріаномъ и его товарищами, вовсе не были произнесены на эшафотѣ, они рѣшительно не соотвѣтствуютъ будничному прозаическому характеру добраго Эджеворта, въ уста котораго влагаютъ ихъ, а изобрѣтены они тогдашнимъ журналистомъ Карломъ Гиссомъ, который и напечаталъ ихъ въ тотъ же день. Эта поправка, конечно, безполезна; вѣдь эти слова тоже находятся во всѣхъ учебникахъ, они давно уже выучены наизусть, и бѣднымъ школьникамъ пришлось бы сверхъ того учить наизусть, что эти слова никогда не были произнесены.

Нельзя отрицать, что Деларошъ, выставляя свою картину, не имѣлъ въ виду вызвать историческія сравненія, и какъ между Людовикомъ XVI и Карломъ I, такъ и между Кромвелемъ и Наполеономъ постоянно проводились параллели. Но, по-моему, сравненіе въ отношеніи къ обоимъ было несправедливо, потому что Наполеонъ остался свободенъ отъ ужаснаго обвиненія въ пролитіи крови (казнь герцога Энгіенскаго была только коварнымъ убійствомъ), Кромвель же никогда не доходилъ до того, чтобы заставить помазать себя на царство и, сдѣлавшись отступникомъ—сыномъ революціи, заискивать коронованнаго родства съ цезарями... Оба, впрочемъ, чувствовали свою тайную вину. Бонапарте, который могъ сдѣлаться Вашингтономъ Европы, а сдѣлался только ея Наполеономъ, всегда чувствовалъ себя неловко въ своей императорской пурпурной мантіи; республиканская свобода постоянно преслѣдовала его, какъ духъ убитой матери; онъ всюду слышалъ ея голосъ, даже ночью; она вырывала его на ложѣ сна изъ объятій новой жены его, легитимности, и тогда онъ, съ бурей въ душѣ и съ проклятіями, пробѣгалъ по обширнымъ тюильрійскимъ заламъ, а когда потомъ утромъ, блѣдный и истомленный, приходилъ засѣдать въ государственномъ совѣтѣ, то все жаловался на идеологію, и снова идеологію, очень опасную идеологію, и Корвизаръ качалъ головою.

Если и Кромвель тоже не могъ спать спокойно и ночью бродилъ въ тревогѣ по Вайтгаллю, то не потому, чтобы,

какъ думали благочестивые кавалеры, его преслѣдовалъ окровавленный призракъ короля, но потому, что онъ боялся живыхъ мстителей за свое преступленіе, онъ боялся враговъ съ настоящими кинжалами, отчего и носилъ всегда подъ платьемъ латы, и становился съ каждымъ днемъ все недовѣрчивѣе, и, наконецъ, съ той минуты, какъ появилась книжечка: «Умерщвлять не значитъ убить»,—Оливеръ Кромвель совсѣмъ пересталъ улыбаться.

Но если сравненіе между протекторомъ и императоромъ оказывается не совсѣмъ вѣрно, то параллель между ошибками Стюартовъ и Бурбоновъ вообще и временами реставраціи въ обоихъ государствахъ гораздо удачнѣе. Это какъ будто одна и та же исторія гибели. И въ новой династіи существуетъ quasi-легитимизмъ, какъ когда-то въ Англіи. Въ очагѣ іезуитизма, какъ и тогда, снова куется священное оружіе; единая, доставляющая человѣку блаженство, католическая церковь такъ же воздыхаетъ и интригуетъ такъ же въ пользу «чудеснаго ребенка», и теперь остается только французскому претенденту вернуться въ отечество, какъ вернулся нѣкогда англійскій. Что-жъ, пусть является! Я предсказываю, что его постигнетъ участь, противоположная участи Саула; тотъ пошелъ отыскивать ословъ своего отца и нашелъ вѣнецъ царскій, юный Генрихъ V придетъ во Францію за вѣнцомъ и найдетъ только ословъ своего отца.

Смотрѣвшимъ на Деларошевскаго Кромвеля больше всего хотѣлось разгадать, что думаетъ онъ передъ гробомъ короля. Исторія сохранила два сказанія объ этой сценѣ. По одному видно, что Кромвель велѣлъ открыть гробъ ночью, при свѣтѣ факеловъ, и долго оставался передъ нимъ, неподвижный, съ обезображеннымъ лицомъ, нѣмой, какъ статуя. По другому преданію, онъ открылъ гробъ днемъ, спокойно посмотрѣлъ на трупъ и сказалъ: «Это былъ крѣпко сложенный человѣкъ, и могъ бы прожить долго». Я думаю, что Деларошъ имѣлъ въ виду эту демократическую легенду. Въ лицѣ его Кромвеля не выражается никакого изумленія, вообще никакого душевнаго волненія; напротивъ, зритель потрясенъ страшнымъ, ужасающимъ спокойствіемъ въ лицѣ этого человѣка... Стоитъ эта твердая, непоколебимая фигура, «грубая, какъ фактъ», могучая безъ паѳоса, демонически естественная, чудно ординарная, — и вотъ онъ смотритъ на свое дѣло, почти какъ дровосѣкъ, только-что срубившій дубъ. Онъ спокойно срубилъ этотъ великій дубъ, нѣкогда такъ гордо осѣнявшій вѣтвями Англію и Шотландію, цар-

ственный дубъ, въ тѣни котораго цвѣло такъ много прекрасныхъ человѣческихъ поколѣній и подъ которымъ эльфы поэзіи проносились въ своихъ прелестныхъ танцахъ; онъ спокойно срубилъ дерево злополучнымъ топоромъ, и вотъ лежитъ оно на землѣ со всѣми своими милыми вѣтвями и неповрежденною верхушкою... злополучный топоръ!

«Do you not think, sir, that the guillotine is a great improvement?»—такими прокваканными словами одинъ англичанинъ, стоявшій позади меня, прервалъ ощущенія, только-что описанныя мною и наполнявшія мою душу глубокою скорбью въ то время, какъ я смотрѣлъ на порѣзанную шею Карла на картинѣ Делароша. Рана нарисована слишкомъ рѣзкими кровяными красками. Крышка гроба тоже черезчуръ ярка и придаетъ ему видъ ящика отъ скрипки. Но вообще картина — верхъ артистическаго совершенства, и тонкость ванъ-Дика соединяется въ ней съ смѣлостію тѣней Рембрандта; она особенно напоминаетъ мнѣ воинственныя фигуры республиканцевъ на большой исторической картинѣ Рембрандта «Ночная стража», которую я видѣлъ въ Амстердамской галлереѣ Trippenhuis.

Характеръ Деларошевой живописи, какъ и большей части его коллегъ, вообще подходитъ ближе всего къ фламандской школѣ; только французская грація придаетъ болѣе легкости изображенію, и французское изящество мило разлито въ немъ. Отъ этого я охотно бы назвалъ Делароша граціознымъ, изящнымъ фламандцемъ.

Въ другомъ мѣстѣ я, быть-можетъ, разскажу, какіе разговоры часто случалось мнѣ слышать вокругъ его Кромвеля. Это помѣщеніе давало самый лучшій поводъ наблюдать общественное настроеніе и чувства толпы. Картина стояла въ большомъ «трибунѣ», при входѣ въ длинную галлерею, а подлѣ нея была выставлена такая же чудная картина Робера, какъ бы утѣшая и примиряя. Въ самомъ дѣлѣ, когда эта солдатски грубая фигура пуританина, страшный жнецъ со скошенной царственной головой, рѣзко выдѣляясь на темномъ фонѣ, потрясала зрителя и подымала въ немъ всѣ политическія страсти,—душа его тотчасъ же успокоивалась, при видѣ этихъ дорогихъ жнецовъ, которые со своими, гораздо болѣе прекрасными снопами возвращались домой, на жатвенный праздникъ мира и любви, и точно цвѣли подъ лучезарнымъ свѣтомъ солнца. Одна картина говоритъ намъ, что великая современная борьба еще не кончена. что почва еще колеблется подъ нашими ногами;

мы слышимъ еще ревъ бури, грозящей ниспровергнуть міръ; мы видимъ тутъ еще зіяющую бездну, жадно поглощающую потоки крови, и насъ охватываетъ ужасный страхъ всеобщей гибели. На этой картинѣ мы видимъ прочную, спокойную почву, земля съ любовью постоянно разсыпаетъ свои золотые плоды, хотя бы съ топотомъ проносилась по ней вся римская всемірная трагедія, со всѣми ея гладіаторами, и императорами, и пророками, и слонами. На одной картинѣ мы видимъ ту исторію, которая такъ безумно несется въ крови и грязи, иногда тупоумно останавливается на одномъ мѣстѣ на цѣлые вѣка, потомъ снова срывается и свирѣпо мечется вдоль и поперекъ—и которую мы называемъ всемірною исторіей. Другая картина представляетъ намъ другую исторію, болѣе великую, хотя и вмѣщается она въ телѣгѣ, запряженной буйволами, исторію, не имѣющую ни начала, ни конца, и вѣчно повторяющуюся, простую, какъ море, какъ небо, какъ времена года, священную исторію, которую воспѣваютъ поэты, которой архивы сохраняются въ сердцѣ каждаго человѣка — исторію человѣчества!

Да, благотворно было сопоставленіе рядомъ картинъ Робера и Делароша. Сколько разъ я, насмотрѣвшись вдоволь на Кромвеля и совсѣмъ погрузившись въ него, такъ что слышалъ, кажется, всѣ его мысли, односложныя жесткія слова, съ этимъ мычащимъ и шипящимъ англійскимъ произношеніемъ, похожимъ на далекій рокотъ моря и рѣзкій крикъ предвѣщающихъ бурю птицъ,—повиновался призывному голосу тихихъ чаръ сосѣдней картины, и мнѣ казалось, что я слышу эту смѣющуюся гармонію, слышу чудный языкъ Тосканы въ римскихъ устахъ, и тихая радость успокаивала и просвѣтляла мою душу.

Ахъ! необходимо, чтобъ милая, несокрушаемая, мелодическая исторія человѣчества утѣшала нашу душу посреди нестройнаго шума всемірной исторіи. Въ этотъ самый мигъ я слышу на улицѣ этотъ нестройный, ошеломляющій шумъ грознѣе, оглушительнѣе, чѣмъ когда-либо; гнѣвно бьютъ барабаны, стучитъ оружіе, точно возмущенное человѣческое море, съ безумными воплями и проклятіями несется по улицамъ народъ Парижа и воетъ: «Варшава пала! Нашъ авангардъ палъ! Долой министровъ! Война съ Россіей! Смерть Пруссіи!» Мнѣ трудно сидѣть за столомъ и дописывать мою бѣдную художественную хронику, мою мирную оцѣнку выставки. Но вѣдь выйди я на улицу, и узнай тамъ

во мнѣ пруссака какой-нибудь іюльскій герой, пожалуй, такъ притиснетъ онъ мой мозгъ, что раздавитъ всѣ мои мысли объ искусствѣ; или ткнутъ меня штыкомъ прямо въ лѣвый бокъ, гдѣ и безъ того уже сердце обливается кровью; или посадятъ еще, можетъ-быть, подъ стражу, какъ посторонняго возмутителя...

. . . . . .

. . . . . .

Я слышалъ, что Деларошъ пишетъ теперь, въ pendant своему Кромвелю, Наполеона на островѣ св. Елены, и именно моментъ, когда сэръ Гудсонъ Лоу подымаетъ покровъ съ трупа этого великаго представителя демократіи.

Возвращаясь къ своей хроникѣ, я долженъ былъ бы похвалить еще многихъ достойныхъ художниковъ, напримѣръ, обоихъ маринистовъ, Гюдена и Изабе, и отличныхъ жанристовъ, умнаго Детуша и остраго Пигаля; но при всемъ желаніи, не имѣю никакой возможности говорить спокойно о ихъ мирныхъ заслугахъ, потому что на улицѣ слишкомъ ужъ большой шумъ, и мысли рѣшительно не связываются, когда въ душѣ подымаются отголоски такихъ бурь. Вѣдь и въ такъ-называемые спокойные дни въ Парижѣ очень трудно отвратить свой духъ отъ уличныхъ событій и предаваться своимъ личнымъ созерцаніямъ. Если искусство и процвѣтаетъ въ Парижѣ болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, то все-таки наслажденіе имъ каждую минуту нарушается грубымъ шумомъ жизни; нѣжнѣйшіе звуки Пасты и Малибранъ отравляются для насъ воплями озлобленной нищеты, и сердце, только-что напоенное свѣтлыми тонами Робера, тотчасъ отрезвляется зрѣлищемъ общественныхъ бѣдствій. Надобно имѣть почти гётевскій эгоизмъ, чтобы достигнуть здѣсь невозмутимаго наслажденія искусствомъ, и какъ трудно заниматься здѣсь даже критикой искусства, это я чувствую именно въ настоящую минуту.

Вчера, однако, я нашелъ возможнымъ продолжать писать эту хронику, послѣ того, какъ прошелся по бульварамъ и увидѣлъ, какъ одинъ мертвенно-блѣдный человѣкъ упалъ отъ голода и нищеты. Но когда на бульварахъ Европы падаетъ цѣлый народъ, дальнѣйшее писаніе становится невозможнымъ. Когда глаза критика омрачены слезами, его сужденія значительно утрачиваютъ цѣну.

Справедливо художники жалуются въ наше время вражды и всеобщаго взаимнаго озлобленія. Говорятъ, живопись нуждается въ мирной оливѣ во всѣхъ отношеніяхъ. Сердца,

тревожно прислушивающіяся, не звучитъ ли военная труба, конечно, не воспріимчивы, какъ слѣдуетъ, къ прекрасной музыкѣ. Оперу слушаютъ глухими ушами, даже на балетъ смотрятъ равнодушно. «И всему виной проклятая іюльская революція!»—вздыхаютъ художники и проклинаютъ свободу и жалкую политику, которая все поглощаетъ, такъ что о нихъ и рѣчи нѣтъ.

Я слышу,—но не могу вѣрить,—что даже въ Берлинѣ не говорятъ болѣе о театрѣ, и газета «Morning Chronicle», объявившая вчера, что билль о реформѣ прошелъ въ нижней палатѣ, разсказываетъ при этомъ случаѣ, что докторъ Раупахъ находится теперь въ Баденъ-Баденѣ и жалуется на нынѣшнія времена, потому что, благодаря имъ, пропадаетъ его художественный талантъ.

Я, конечно, большой почитатель доктора Раупаха, я всегда ходилъ въ театръ, когда давали его «Школьническія проказы», или «Семь дѣвицъ въ мундирахъ», или «Праздникъ ремесленниковъ», или какую-нибудь другую пьесу; но не могу отрицать, что паденіе Варшавы для меня гораздо прискорбнѣе, чѣмъ было бы паденіе доктора Раупаха съ его талантомъ. О, Варшава, Варшава! не отдалъ бы я тебя за цѣлый лѣсъ Раупаховъ!..

Мое давнишнее пророчество о томъ, что «періодъ искусства», который начался съ колыбели Гёте, окончился у его могилы, повидимому, не оправдывается. Нынѣшнее искусство должно погибнуть, потому что его принципъ коренится еще въ отжившемъ старомъ порядкѣ, въ прошедшемъ священной римской имперіи. Поэтому, какъ и всѣ увядшіе остатки этого прошедшаго, они находятся въ самомъ плачевномъ противорѣчіи съ настоящимъ. Это противорѣчіе, а не само современное движеніе, такъ вредно для искусства; напротивъ, это движеніе должно было бы быть ему благопріятно, подобно тому, какъ это было въ Аѳинахъ и во Флоренціи, гдѣ расцвѣли прекраснѣйшіе цвѣты искусства именно во время самыхъ дикихъ бурь войны и партій. Правда, греческіе и флорентинскіе художники не вели эгоистически изолированной жизни, герметически закрывающей всякую праздно творящую душу отъ великихъ скорбей и радостей времени; напротивъ того, ихъ созданія были только поэтическимъ отраженіемъ ихъ времени, и сами они были цѣльные люди, личность которыхъ была такъ же могущественна, какъ и ихъ творчество; Фидій и Микель Анджело были сами словно вырублены изъ одного камня, какъ ихъ

статуи, и какъ эти творенія совершенно на мѣстѣ въ своихъ греческихъ и католическихъ храмахъ, такъ и художники находились въ священной гармоніи со всѣмъ ихъ окружающимъ; они не отдѣляли своего искусства отъ политики дня, не работали только подъ вліяніемъ своего скуднаго личнаго вдохновенія, которое можетъ быть легко увлечено какимъ угодно сюжетомъ; Эсхилъ сочинилъ «Персовъ» съ тѣмъ же чувствомъ правды, съ какимъ онъ сражался противъ нихъ при Мараѳонѣ, а Дантъ написалъ свою «Комедію» не какъ постоянный поставщикъ стиховъ, но какъ бѣглецъ-гвельфъ, и въ изгнаніи и посреди военныхъ бѣдствій онъ жаловался не на упадокъ своего таланта, а на упадокъ свободы.

Но новое время породитъ и новое искусство, которое будетъ съ нимъ въ воодушевленной гармоніи, не найдетъ нужнымъ заимствовать отъ поблекшаго прошлаго свою символику, и принесетъ съ собою даже новую технику, отличную отъ нынѣшней. А покамѣстъ, пускай себѣ высказывается и въ краскахъ, и въ звукахъ упоенная собою субъективность, разнузданная индивидуальность, божественно свободная личность со всею ея жаждою жизни; это все-таки плодотворнѣе, чѣмъ мертвая кажущаяся жизнь прежняго искусства.

Или, не пробилъ ли уже вообще послѣдній печальный часъ искусству и міру? Преобладаніе духовности, обнаруживающееся теперь въ европейской литературѣ, не есть ли оно, можетъ-быть, признакъ близкой кончины, какъ это бываетъ у людей, которые въ минуту смерти вдругъ становятся ясновидящими и начинаютъ поблѣднѣвшими устами высказывать сверхъестественнѣйшія тайны? Или старая Европа намѣрена опять помолодѣть, и мечтательная духовность ея художниковъ и писателей не есть чудесное прозрѣніе умирающаго, а трепетное предчувствіе возрожденія, ощутительное вѣяніе новой весны?

На нынѣшней выставкѣ нѣкоторыми картинами устранена эта непріятная боязнь смерти и проявлены обѣты лучшаго будущаго. Архіепископъ парижскій ожидаетъ спасенія отъ холеры, отъ смерти; я же ожидаю его отъ свободы, отъ жизни. Въ этомъ существенно расходятся наши вѣрованія. Я думаю, что Франція изъ глубины сердца своей новой жизни вызоветъ и новое искусство. Эта трудная задача также будетъ рѣшена французами, этимъ легкимъ, вѣтренымъ народомъ, который мы такъ любимъ сравнивать съ бабочкой.

Но бабочка есть вмѣстѣ съ тѣмъ и символъ безсмертія души и ея вѣчнаго обновленія.

ДОПОЛНЕНІЕ.

1833 г.

Когда я пріѣхалъ лѣтомъ 1831 года въ Парижъ, меня ничто не удивило такъ, какъ открывшаяся въ то время выставка картинъ; и хотя мое вниманіе было обращено на важнѣйшіе политическіе и религіозные перевороты, но я не могъ удержаться, чтобы не написать сперва о великомъ переворотѣ, который произошелъ здѣсь въ области искусства и значительнѣйшимъ явленіемъ котораго слѣдовало признать упомянутую выставку.

Наравнѣ съ остальными моими соотечественниками, я питалъ самое невыгодное предубѣжденіе противъ французскаго искусства, особенно противъ французской живописи, послѣднее развитіе которой осталось мнѣ совершенно неизвѣстно. Но французская живопись находится въ особыхъ условіяхъ. Она также послѣдовала за соціальнымъ движеніемъ и, наконецъ, обновилась вмѣстѣ съ народомъ. Но это произошло не такъ непосредственно, какъ въ родственныхъ ей искусствахъ, музыкѣ и поэзіи, въ которыхъ переворотъ начался уже до революціи.

Луи де-Мейнаръ, написавшій въ «Europe littéraire» рядъ статей о выставкѣ нынѣшняго года, принадлежащихъ къ самому интересному, что было только писано французами объ искусствѣ, высказался по поводу только-что сдѣланнаго замѣчанія въ слѣдующихъ словахъ, которыя я перевожу здѣсь настолько буквально, насколько это позволяетъ граціозность выраженій автора:

«Живопись XVIII столѣтія началась точно такимъ же образомъ, какъ и современныя ей политика и литература; точно такимъ же образомъ достигла она извѣстной степени совершенства; и пала она въ тотъ же самый день, въ который рушилось во Франціи все. Странное столѣтіе, которое начинается громкимъ смѣхомъ по случаю смерти Людовика XIV и оканчивается въ объятіяхъ палача, «господина палача», какъ назвала его мадамъ Дюбарри! О, это столѣтіе, все отрицавшее, все подвергавшее осмѣянію, все развѣнчивавшее и ни во что не вѣрившее, было именно вслѣдствіе этого крайне пригодно къ великому дѣлу разрушенія,— и оно разрушало, отнюдь не будучи въ состояніи вновь

построить хоть что-нибудь, да у него и не было никакой къ тому охоты.

«Но искусства, если и слѣдуютъ одному и тому же движенію, то не идутъ за нимъ одинаковыми шагами. Такимъ образомъ произошло, что живопись въ XVIII столѣтія отстала отъ другихъ. Она произвела своего Кребильона, но не создала ни Вольтера, ни Дидро. Постоянно состоя на жалованьѣ у знатныхъ покровителей, постоянно находясь подъ юбочною защитою королевскихъ фаворитокъ, она мало-по-малу, не знаю какъ, лишилась своей смѣлости и силы. При всей ея распущенности, въ ней ни разу не проявились та порывистость, та восторженность, которыя увлекаютъ насъ, и ослѣпляютъ, и вознаграждаютъ за отсутствіе изящнаго вкуса. Она производитъ непріятное впечатлѣніе своими морозными штучками, своими вялыми узорчиками въ области будуара, гдѣ щегольски одѣтая дамочка, раскинувшись на софѣ, беззаботно обмахивается вѣеромъ Фаваръ, со своими Эглеями и Зюльмами, правдоподобнѣе, чѣмъ Ватто и Буше, съ ихъ кокетливыми пастушками и идиллическими аббатами. Фаваръ, если и подавалъ поводъ къ насмѣшкамъ надъ собою, зато честно относился къ дѣлу. Живописцы того столѣтія не принимали почти никакого участія въ томъ, что подготовлялось во Франціи. Взрывъ революціи врасплохъ засталъ ихъ въ неглиже. Философія, политика, наука, литература, имѣвшія каждая своего представителя, бурно, точно толпа пьяныхъ людей, ринулись къ цѣли, которая была имъ незнакома; но чѣмъ ближе подходили онѣ къ ней, тѣмъ болѣе охладѣвала ихъ горячка, тѣмъ спокойнѣе становилось ихъ лицо, тѣмъ тверже дѣлалась ихъ походка. Объ этой цѣли, которая была имъ незнакома, онѣ могли все-таки имѣть смутное понятіе, ибо въ книгѣ Божьей они прочли, что всѣ человѣческія радости оканчиваются слезами. И ахъ, онѣ вышли съ пира, слишкомъ дикаго и ликующаго для того, чтобы не придти къ самому серьезному и самому ужасному дѣлу. Когда смотришь на безпокойство, которымъ онѣ по временамъ охватывались въ сладчайшемъ упоеніи этой оргіей XVIII столѣтія, то приходитъ на мысль, что эшафотъ, долженствовавшій закончить все это безумное веселье, уже тогда издалека кивалъ имъ головою, точно мрачная голова привидѣнія.

«Живопись, державшаяся въ то время вдали отъ серьезнаго соціальнаго движенія, потому ли, что ее разслабили женщины и вино, или потому, что она считала свое со-

дѣйствіе этому движенію безплоднымъ,—какъ бы то ни было, но она до послѣдней минуты тащилась между своими розами, благоуханіями мускуса и пастушескими играми. Віенъ и нѣкоторые другіе хорошо понимали, что слѣдовало во что бы то ни стало вырвать ее изъ этого положенія, но они не знали, что дѣлать съ нею потомъ. Лезюеръ, котораго учитель Давида цѣнилъ очень высоко, не могъ создать новую школу. Въ этомъ, конечно, онъ самъ былъ убѣжденъ. Кинутый судьбою въ эту эпоху, въ которую всѣ цари въ области ума и таланта также попали во власть Марата и Робеспьера, Давидъ былъ въ такомъ же затрудненіи, какъ и упомянутые художники. Намъ вѣдь извѣстно, что онъ отправился въ Римъ, и вернулся оттуда домой такимъ же ванлоистомъ, какимъ и уѣхалъ туда. Только впослѣдствіи, когда стали проповѣдывать греческо-римскую древность, когда публицисты и философы пришли къ убѣжденію, что должно вернуться къ литературнымъ, соціальнымъ и политическимъ формамъ древнихъ, только тогда духъ Давида развернулся во всей своей врожденной смѣлости, и мощною рукою вырвалъ онъ искусство изъ шаловливо раздушенной пасторальности, въ которую оно впало, и вознесъ его въ серьезныя сферы древняго героизма. Реакція была безжалостна, какъ всякая реакція, и Давидъ довелъ ее до крайней степени. Съ нимъ начался терроризмъ и въ живописи».

О дѣятельности Давида Германія имѣетъ достаточныя свѣдѣнія. Наши французскіе гости довольно часто разсказывали намъ во время имперіи о великомъ Давидѣ. Не мало слышали мы также объ его ученикахъ, бывшихъ, каждый по-своему, его продолжателями—о Жерарѣ, Гро, Жиродэ и Геренѣ. Менѣе знаемъ мы о другомъ человѣкѣ, бывшемъ если не основателемъ, то первымъ дѣятелемъ въ новой школѣ французской живописи. Это Жерико.

Объ этой новой школѣ живописи я косвеннымъ образомъ сообщилъ свѣдѣнія на предыдущихъ страницахъ. Описывая лучшія картины выставки 1831 г., я въ то же время представлялъ фактическую характеристику новыхъ живописцевъ. Эта выставка была, по общему мнѣнію, необыкновеннѣйшею изъ всѣхъ, когда-либо бывавшихъ во Франціи, и она останется достопамятною въ лѣтописяхъ искусства. Картины, которыя я удостоилъ своимъ описаніемъ, будутъ жить столѣтія, и мои слова, можетъ-быть, суть полезное добавленіе къ исторіи живописи.

Въ этомъ неизмѣримомъ значеніи выставки 1831 года я

вполнѣ убѣдился въ нынѣшнемъ году, когда залы Лувра, остававшіяся закрытыми въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ, снова открылись 1-го апрѣля и привѣтствовали насъ новѣйшими произведеніями французскаго искусства. Старыя картины, образующія національную галлерею, по обыкновенію, закрыли ширмами, а на этихъ послѣднихъ висѣли новыя картины, такъ что по временамъ изъ-за готическихъ безвкусицъ новороманическаго живописца мило и граціозно выглядывали миѳологическія образцовыя произведенія древне-итальянскаго искусства. Вся выставка была похожа на Codex palimpsestus, въ которомъ новый варварскій пластъ бѣситъ зрителя тѣмъ болѣе, что онъ зналъ, какая греческая поэзія боговъ скрывалась подъ этими грязными письменами.

Около двухсотъ пятидесяти картинъ было выставлено здѣсь, и почти ни одну изъ нихъ нельзя было назвать образцовымъ произведеніемъ. Было ли это обстоятельство слѣдствіемъ слишкомъ сильнаго утомленія послѣ слишкомъ сильнаго возбужденія? Проявилось ли въ искусствѣ то національное похмелье, которое мы замѣчаемъ и въ политической жизни французовъ теперь, когда окончилось безумное опьяненіе свободы? Или, можетъ-быть, выставка нынѣшняго года была только пестрою зѣвотою, только раскрашеннымъ отголоскомъ палаты нынѣшняго года? Если выставка 1831 г. была еще проникнута пламенемъ іюльскаго солнца, то въ выставкѣ 1833 года еще капалъ мрачный іюньскій дождь. Деларошъ и Роберъ, прославленные герои прошедшей выставки, на этотъ разъ не выступили на арену, а остальные живописцы, которыхъ я прежде восхвалялъ, не дали въ этомъ году ничего особеннаго. За исключеніемъ одной картины Тонни Жоанно, нѣмца, ни одно произведеніе нынѣшней выставки не пришлось мнѣ по сердцу. Шефферъ снова выставилъ Маргариту—картину незначительную, хотя въ техническомъ отношеніи она свидѣтельствовала о большихъ успѣхахъ художника. Тутъ была прежняя идея, только пламеннѣе нарисованная и холоднѣе задуманная. Орасъ Верне тоже выставилъ большую картину, которая, однако, очень хороша только въ отдѣльныхъ частностяхъ. Декамъ, вѣроятно, хотѣлъ позабавиться надъ выставкой и самимъ собою и выставилъ большею частью обезьянъ; между ними особенно хороша одна обезьяна, рисующая историческую картину. Длинные, на нѣмецкій манеръ свѣсившіеся волосы забавно напоминали мнѣ зарейнскихъ друзей.

Самое большое вниманіе привлекъ на себя въ этомъ году, вызывая похвалы и порицанія, г. Энгръ. Онъ далъ двѣ картины—портретъ молодой итальянки и портретъ Бертена l'aîné, стараго француза.

Какъ Людовикъ Филиппъ царствовалъ въ области политики, такъ г. Энгръ былъ въ нынѣшнемъ году царемъ въ области искусства. Какъ первый господствуетъ въ Тюильри, такъ второй господствовалъ въ Луврѣ. Характеръ г. Энгра тоже juste milieu, именно онъ juste milieu между Міэрисомъ и Микель Анджело. Въ его картинахъ соединяются героическая смѣлость Міэриса и тонкій колоритъ Микель Анджело.

Насколько живопись на выставкѣ нынѣшняго года подавала мало повода къ восторгамъ, настолько же скульптура выказала себя въ блистательномъ свѣтѣ, и изъ произведеній ея, бывшихъ на выставкѣ, многія даютъ право возлагать на ихъ авторовъ самыя лучшія надежды, а одно изъ нихъ можетъ даже поспорить съ лучшими произведеніями этого искусства. Это «Каинъ» г. Этекса—группа симметрической, почти монументальной красоты, запечатлѣнная допотопнымъ характеромъ и въ то же время современнымъ значеніемъ. Каинъ, съ женою и дѣтьми, стоитъ покорный судьбѣ, сумрачно отупѣлый, какъ окаменѣніе безотраднаго спокойствія. Этотъ человѣкъ убилъ своего брата вслѣдствіе спора за жертвоприношеніе, спора религіознаго. Да, религіозный споръ былъ причиною перваго братоубійства...

Я вернусь къ «Каину» Этекса позже, когда буду говорить о необыкновенномъ подъемѣ, который мы замѣчаемъ въ скульпторахъ нашего времени, еще въ гораздо большей степени, чѣмъ въ живописцахъ. «Спартакъ» и «Тезей», выставленные теперь въ тюильрійскомъ саду, возбуждаютъ во мнѣ много думъ и удивленія каждый разъ, какъ я прохожу мимо нихъ. По временамъ только, когда идетъ дождь, мнѣ становится грустно, что такія образцовыя произведенія нашего искусства ничѣмъ не защищены отъ вліянія воздуха. Здѣсь небо не такъ кротко, какъ въ Греціи, да и тамъ лучшія произведенія никогда не были такъ не защищены отъ бурь и непогодъ, какъ обыкновенно полагаютъ. Лучшія изъ нихъ хорошо были закрыты, и большею частью въ храмахъ. Однакожъ, до сихъ поръ, вліяніе воздуха причинило не много вреда новымъ статуямъ въ Тюильри, и веселое зрѣлище представляютъ онѣ, когда въ своей ослѣпительной бѣлизнѣ выглядываютъ изъ свѣжей зелени каштановыхъ вѣтвей.

При этомъ весьма пріятно слушать, какъ няньки объясняютъ иногда гуляющимъ тамъ дѣтямъ, что означаетъ мраморный голый человѣкъ, такъ гнѣвно держащій въ рукѣ мечъ, или что это за странный чудакъ, который носитъ на своемъ человѣческомъ тѣлѣ бычачью голову и котораго другой голый человѣкъ поражаетъ палицей; человѣкъ съ бычачьей головой, говорятъ няньки, сожралъ много маленькихъ дѣтей. Молодые республиканцы, проходящіе мимо этихъ статуй, замѣчаютъ, что Спартакъ очень многозначительно косится на окна Тюильри, а въ фигурѣ Минотавра они видятъ нынѣшнюю монархію. Другіе находятъ, что взмахъ Тезеемъ его палицы изображенъ очень неудачно, и утверждаютъ, что если бы онъ нанесъ ею ударъ, то непремѣнно раздробилъ бы собственную руку. Правы они или не правы, но до сихъ поръ все сохранилось еще въ очень хорошемъ видѣ. Черезъ нѣсколько зимъ, однако, эти превосходныя статуи будутъ уже стары и обломаны, и мохъ будетъ расти на мечѣ Спартака, и мирныя семейства насѣкомыхъ будутъ гнѣздиться между бычачьей головой Минотавра и палицей Тезея, если еще у этого послѣдняго за это время не обломается рука вмѣстѣ съ палицей.

Такъ какъ здѣсь въ саду совершенно непроизводительно содержится множество военныхъ, то королю слѣдовало бы поставить подлѣ каждой статуи часового, который во время дождя распускалъ бы надъ нею зонтикъ. Такимъ образомъ, искусство подъ буржуазно-королевскимъ зонтикомъ было бы защищено въ истинномъ значеніи слова.

Всѣ художники жалуются на слишкомъ большую бережливость короля. Они говорятъ, что будучи еще герцогомъ Орлеанскимъ, онъ гораздо больше покровительствовалъ художникамъ. Ропщутъ на то, что онъ заказываетъ, относительно, слишкомъ мало картинъ и платитъ за нихъ, относительно, слишкомъ дешево. А между тѣмъ, онъ, за исключеніемъ короля баварскаго, самый большой знатокъ искусства между всѣми государями. Можетъ-быть, его умъ въ настоящее время слишкомъ сильно занятъ политикой для того, чтобы онъ могъ предаваться искусству такъ же ревностно, какъ прежде. Но если его любовь къ живописи и скульптурѣ отчасти охладѣла, то привязанность къ архитектурѣ обратилась чуть не въ бѣшеную страсть. Никогда еще въ Парижѣ не строилось столько, сколько строится теперь по желанію короля. Вездѣ возводятся новыя зданія и прокладываются совершенно новыя улицы. Въ Тюильри и Луврѣ

звуки молотка не умолкаютъ ни на минуту. Планъ новой библіотеки — такое великолѣпіе, какое можно себѣ только представить. Постройка церкви Магдалины, прежняго «храма славы», близка къ окончанію. Точно такъ же продолжается постройка громаднѣйшаго зданія—большого дворца посольства, который Наполеонъ хотѣлъ возвести на правомъ берегу Сены и который былъ отстроенъ только до половины, такъ что теперь онъ похожъ на развалины исполинскаго замка. При этомъ, на общественныхъ площадяхъ воздвигаются удивительно колоссальные памятники. На площади Бастиліи стоитъ большой слонъ, недурно изображающій сознательную силу и сильный умъ народа. На площади de la Concorde мы видимъ уже деревянную модель луксорскаго обелиска, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ и самъ египетскій оригиналъ будетъ стоять тамъ и служить памятникомъ страшнаго событія, нѣкогда совершившагося на этомъ мѣстѣ 21-го января. Много тысячелѣтняго опыта принесетъ намъ изъ чудныхъ странъ Египта этотъ гіероглифами покрытый посланникъ, но еще болѣе удивительные вещи пережилъ молодой фонарный столбъ, стоящій уже пятьдесятъ лѣтъ на площади de la Concorde; и если когда-нибудь, въ тихую зимнюю ночь, этотъ вѣтреный французскій столбъ начнетъ болтать и разсказывать обелиску исторію площади, на которой они оба стоятъ, то поблѣднѣетъ и задрожитъ отъ ужаса старый, красный, священный камень-исполинъ.

Строительство—главная страсть короля, и она послужитъ, можетъ-быть, причиною его паденія. Я боюсь, что, несмотря на всѣ свои обѣщанія, онъ все-таки не оставитъ мысли о forts détachés, потому что при осуществленіи этого проэкта могутъ быть примѣнены къ дѣлу его любимые инструменты—лопата и молотъ, и сердце его бьется отъ радости каждый разъ, какъ онъ подумаетъ о молотѣ. Это біеніе заглушитъ, можетъ-быть, когда-нибудь голосъ его ума, и помимо своего вѣдома онъ попадетъ въ сѣти своихъ любимыхъ прихотей, когда сочтетъ, что въ этихъ forts его единственное спасеніе и что осуществленіе ихъ весьма легко. Такимъ образомъ, чрезъ посредство архитектуры мы, можетъ-быть, попадемъ въ громаднѣйшее политическое движеніе. По поводу этихъ forts и самого короля сообщаю здѣсь отрывокъ изъ одной замѣтки, которую я писалъ въ іюлѣ прошлаго года:

«Вся тайна революціонныхъ партій заключается въ томъ, что онѣ не хотятъ больше нападать на правительство, но

ожидаютъ съ его стороны какого-нибудь сильнаго нападенія, чтобы оказать фактическое сопротивленіе. Поэтому новое возмущеніе не можетъ вспыхнуть въ Парижѣ безъ особеннаго желанія правительства, которое должно само подать поводъ къ этому какою-нибудь значительною глупостью. Если возмущеніе удастся, Франція тотчасъ же будетъ объявлена республикой, и революція охватитъ всю Европу, старыя учрежденія которой если не совсѣмъ разрушатся, то, по крайней мѣрѣ, сильно пошатнутся. Не удастся возстаніе—здѣсь начнется неслыханно страшная реакція, которой затѣмъ сосѣднія страны начнутъ подражать съ обычною неловкостью и которая тоже повлечетъ за собою многія перемѣны въ существующемъ порядкѣ вещей. Во всякомъ случаѣ, спокойствію Европы грозитъ опасность отъ всего необыкновеннаго, что здѣшнее правительство предприметъ противъ интересовъ революціи, отъ каждой враждебной мѣры, которую оно направитъ противъ революціонныхъ партій. А такъ какъ воля здѣшняго правительства есть исключительно воля короля, то грудь Людовика Филиппа—настоящій ящикъ Пандоры, заключающій въ себѣ всѣ бѣдствія, которыя могутъ когда-нибудь распространиться по землѣ. Къ сожалѣнію, невозможно на лицѣ короля прочитать мысли его сердца, потому что въ искусствѣ притворяться младшая линія, повидимому, такая же мастерица, какъ и старшая. Ни одинъ актеръ на свѣтѣ не можетъ сравниться съ нашимъ буржуа-королемъ въ умѣньѣ владѣть лицомъ, ни одинъ не играетъ такъ мастерски своей роли. Онъ, можетъ-быть, одинъ изъ искуснѣйшихъ, умнѣйшихъ и мужественнѣйшихъ людей Франціи; а между тѣмъ, когда дѣло шло о томъ, чтобы завладѣть короной, онъ сумѣлъ придать себѣ самый безвредный, мѣщанскій, робкій видъ, и люди, безъ церемоніи посадившіе его на тронъ, думали, конечно, что могутъ еще безцеремоннѣе спустить его оттуда. На этотъ разъ монархія сыграла идіотическую роль Брута. Поэтому французы должны смѣяться не надъ Людовикомъ Филиппомъ, а надъ самими собою, когда они смотрятъ на карикатуры, на которыхъ король изображенъ въ своей бѣлой войлочной шляпѣ и съ большимъ дождевымъ зонтикомъ. И шляпа, и зонтикъ были не что иное, какъ бутафорскія вещи, и точно такъ же, какъ знаменитыя poignées de main, составляли принадлежность его роли. Историкъ дастъ ему нѣкогда свидѣтельство, что онъ хорошо исполнилъ эту роль; сознаніе этого можетъ утѣшить его въ са-

тирахъ и карикатурахъ, избравшихъ его мишенью своего остроумія. Количество этихъ сатирическихъ листковъ и карикатуръ увеличивается съ каждымъ днемъ, и всюду на стѣнахъ домовъ вы увидите уродливое изображеніе груши. Ни надъ однимъ государемъ не издѣвались въ его столицѣ такъ, какъ издѣваются въ Парижѣ надъ Людовикомъ Филиппомъ. Но онъ думаетъ про себя: «тотъ хорошо смѣется, кто смѣется послѣдній; не вы съѣдите грушу, а груша съѣстъ васъ». Конечно, онъ живо чувствуетъ всѣ наносимыя ему оскорбленія, потому что онъ человѣкъ. При этомъ, у него совсѣмъ не такой кроткій овечій характеръ, чтобы онъ не желалъ отомстить за нихъ: онъ человѣкъ, но человѣкъ сильный, умѣющій подавлять взрывы своего неудовольствія и повелѣвать своими страстями. Когда наступитъ часъ, который покажется ему удобнымъ, онъ ударитъ—сначала на внутреннихъ враговъ, а потомъ и на внѣшнихъ, оскорблявшихъ его еще сильнѣе. Этотъ человѣкъ способенъ на все, и очень можетъ быть, что ту самую перчатку свою, которая такъ загрязнилась отъ всевозможныхъ poignées de main, онъ кинетъ когда-нибудь всему Священному Союзу, какъ вызовъ на бой. У него нѣтъ недостатка въ царственномъ чувствѣ собственнаго достоинства. Этотъ человѣкъ, котораго я видѣлъ скоро послѣ іюльской революціи въ войлочной шляпѣ и съ зонтикомъ, какъ внезапно измѣнился онъ шестого іюля прошедшаго года, когда усмирялъ республиканцевъ! Это не былъ уже добродушный буржуа съ брюшкомъ и улыбающимся, мясистымъ лицомъ; даже корпуленція его вдругъ придала ему величавый видъ: онъ закинулъ вверхъ голову такъ смѣло, какъ, можетъ-быть, не подымалъ ее ни одинъ изъ его предшественниковъ, онъ поднялся въ самомъ толстомъ величіи—король въ каждомъ фунтѣ тѣла. Когда же, однако, онъ почувствовалъ, что корона еще не совсѣмъ плотно сидѣла на его головѣ, и что еще не разъ можно было ожидать дурной погоды—какъ быстро онъ снова надвинулъ на лобъ старую войлочную шляпу и взялъ въ руки свой старый зонтикъ! Какъ буржуазно, черезъ нѣсколько дней послѣ смотра, онъ снова кланялся кумовьямъ—портнымъ и сапожникамъ, какъ снова раздавалъ направо и налѣво самыя сердечныя poignées de main, и раздавалъ ихъ не только руками, но и глазами, улыбающимися губами, даже бакенбардами! А между тѣмъ, этотъ улыбающійся, кланяющійся, просящій, умоляющій добрякъ уже тогда носилъ въ своей груди четырнадцать forts détachés.

«Эти forts составляютъ теперь предметъ самыхъ опасныхъ вопросовъ, и разрѣшеніе ихъ будетъ, можетъ-быть, страшно и потрясетъ весь земной шаръ. Это опять проклятіе, губящее умныхъ людей; они считаютъ себя умнѣе цѣлыхъ народовъ, а вѣдь опытъ доказалъ, что массы всегда судятъ вѣрно и отгадываютъ если не подробные планы, то всегда намѣренія своихъ властителей. Народы всевѣдущи, всепроницающи; глазъ народа—око Божье. Поэтому французскій народъ съ состраданіемъ пожалъ плечами, когда правительство, съ лицемѣрною отеческою заботливостью, стало увѣрять его, что желаетъ укрѣпить Парижъ съ цѣлью имѣть возможность защищать его противъ Священнаго Союза. Каждый чувствовалъ, что тутъ только Людовикъ Филиппъ хотѣлъ укрѣпить себя противъ Парижа. Правда, что король имѣетъ достаточно основаній бояться Парижа, корона будетъ жечь его голову, сжигать его накладку до тѣхъ поръ, пока не погаснетъ великое пламя въ Парижѣ, очагѣ революціи. Но отчего онъ не сознается въ этомъ открыто? Отчего онъ до сихъ поръ выказываетъ себя вѣрнымъ охранителемъ этого пламени? Можетъ-быть, для него было бы выгоднѣе, если бы онъ откровенно сознался всякимъ бакалейнымъ торговцамъ и другимъ своимъ приверженцамъ, что не можетъ отвѣчать за нихъ и за самого себя до тѣхъ поръ, пока не сдѣлается полнымъ господиномъ Парижа, что для этого онъ окружаетъ городъ четырнадцатью крѣпостями, пушки которыхъ будутъ со своей высоты разомъ усмирять всякое возмущеніе. Открытое сознаніе, что тутъ дѣло идетъ о спасеніи его головы и всѣхъ головъ juste milieu, произвело бы, можетъ-быть, хорошее дѣйствіе. Теперь же эти forts détachés приводятъ въ негодованіе не только оппозиціонныя партіи, но и лавочниковъ и большую часть приверженцевъ системы juste milieu, — и пресса достаточно разъяснила имъ причины ихъ негодованія. Именно, теперь большая часть лавочниковъ того мнѣнія, что Людовикъ Филиппъ отличный король, что онъ стоитъ того, чтобы для него приносили жертвы, а иногда даже и подвергались опасности, какъ это случилось 5 и 6 іюня, когда они, въ количествѣ 40 т. человѣкъ, въ сообществѣ съ 20 т. линейнаго войска, рисковали жизнью въ битвѣ съ нѣсколькими сотнями республиканцевъ; но что Людовикъ Филиппъ отнюдь не стоитъ того, чтобы, ради сохраненія его, они, при какомъ-нибудь значительномъ возмущеніи, подвергали весь Парижъ, а слѣдовательно, самихъ

собя, съ женами, и дѣтьми, и всѣми лавками, опасности быть разстрѣлянными съ четырнадцати высотъ. При томъ же, по ихъ мнѣнію, Франція за пятьдесятъ лѣтъ давно привыкла къ всевозможнымъ революціямъ, она научилась, что противъ маленькихъ возмущеній слѣдуетъ возставать для того, чтобы спокойствіе могло быть тотчасъ же снова водворено, а большимъ возстаніямъ подчиняться, тоже для того, чтобы спокойствіе могло быть тотчасъ же возстановлено. И чужеземцы—разсуждаютъ они—богатые чужеземцы, тратящіе въ Парижѣ столько денегъ, могутъ теперь убѣдиться, что революція не опасна для спокойнаго зрителя, что она совершается въ большомъ порядкѣ, даже съ большою вѣжливостью, такъ что для иностранца зрѣлище революціи въ Парижѣ должно составлять даже особое увеселеніе. Если же окружатъ Парижъ forts détachés, то боязнь увидѣть себя въ одно прекрасное утро разстрѣлянными прогонитъ изъ Парижа иностранцевъ, провинціаловъ, и не только чужихъ, но и многихъ туземныхъ rentiers; вслѣдствіе этого упадетъ торговля сахаромъ, перцомъ и помадою и цѣна на квартиры; однимъ словомъ, торговля и промышленность погибнутъ. Вслѣдствіе такихъ соображеній, эти épiciers, дрожащіе такимъ образомъ за доходъ со своихъ домовъ, за кліентовъ своихъ лавокъ и за жизнь свою собственную и своихъ семействъ, являются противниками проекта, долженствующаго превратить Парижъ въ крѣпость, отнять у него прежнюю веселость и беззаботность. Другіе, хотя принадлежащіе къ juste milieu, но при этомъ не отрекшіеся отъ либеральныхъ принциповъ революціи и до сихъ поръ любящіе эти принципы еще больше, чѣмъ Людовика Филиппа, хотятъ, чтобы буржуазная монархія была защищена больше учрежденіями, чѣмъ постройками, которыя слишкомъ напоминаютъ феодальное время, когда властитель крѣпости могъ управлять городомъ по своему произволу. Людовикъ Филиппъ—говорятъ они—остается еще покамѣстъ вѣрнымъ охранителемъ гражданской свободы и равенства, купленныхъ кровью столькихъ людей; но онъ все-таки человѣкъ, а въ человѣкѣ всегда живетъ тайное стремленіе къ неограниченному господству. Владѣя forts détachés, онъ могъ бы самовольно удовлетворять всякой своей прихоти; онъ сдѣлался бы посредствомъ ихъ гораздо неограниченнѣе всѣхъ королей, предшествовавшихъ революціи; эти послѣдніе имѣли право сажать въ Бастилію только отдѣльныхъ недовольныхъ, а Людовикъ Филиппъ окружилъ бы Басти-

ліями весь Парижъ. Да, если и можно быть вполнѣ увѣреннымъ въ благородномъ образѣ мыслей теперешняго короля, то нельзя ручаться за мысли его преемниковъ, а тѣмъ менѣе—за мысли всѣхъ тѣхъ, которые могутъ хитростью или случаемъ завладѣть когда-нибудь этими forts détachés и съ помощью ихъ начать самовольно управлять Парижемъ. Гораздо важнѣе всѣхъ этихъ опасеній была еще другая боязнь, обнаружившаяся со всѣхъ сторонъ и взволновавшая даже тѣхъ, которые до сихъ поръ не стояли ни за правительство, ни противъ него, и даже ни за революцію, ни противъ нея. Эта боязнь коснулась важнѣйшаго интереса всего народа—національной независимости. Несмотря на французское тщеславіе, которое очень не любитъ вспоминать о 1814 и 1815 годахъ, французы не могли, однако, не сознавать въ душѣ, что третье иноземное нашествіе совсѣмъ уже не такъ невозможно и что forts détachés не только не помѣшаютъ союзникамъ взять Парижъ, но еще именно послужатъ имъ средствомъ вѣчно держать его въ своихъ рукахъ, если не разрушить до основанія. Я передаю здѣсь только мнѣніе французовъ, которые убѣждены, что нѣкогда иноземныя войска только потому удалились изъ Парижа, что не нашли себѣ точки опоры и защиты противъ массы жителей и что теперь государи въ глубинѣ души ничего не желаютъ такъ сильно, «какъ разрушенія Парижа, очага революціи»...

Дѣйствительно ли проектъ forts détachés оставленъ безъ послѣдствій навсегда? Это знаетъ одинъ Господь, видящій въ сердцахъ монарховъ.

Не могу не замѣтить здѣсь, что, можетъ-быть, насъ ослѣпляетъ духъ партій, и король дѣйствительно имѣетъ въ виду общую пользу и хочетъ только баррикадироваться противъ Священнаго Союза. Но это невѣроятно. Скорѣе Священный Союзъ имѣетъ тысячи причинъ бояться Людовика Филиппа и, сверхъ того, важнѣйшую причину желать его сохраненія. Потому что, во-первыхъ, Людовикъ Филиппъ—могущественнѣйшій государь въ Европѣ, его матеріальныя силы удесятеряются присущею имъ подвижностью, а нравственныя средства, которыми онъ въ случаѣ нужды можетъ располагать, еще вдесятеро, даже во сто разъ сильнѣе этихъ матеріальныхъ средствъ, и если бы, несмотря на это, союзнымъ государямъ удалось низвергнуть этого человѣка, то они этимъ ниспровергнули бы могущественнѣйшую и, можетъ-быть, послѣднюю опору монархіи въ Европѣ. Да, го-

судари должны безпрестанно на колѣняхъ благодарить Создателя коронъ и престоловъ за то, что Людовикъ Филиппъ—король Франціи. Уже разъ они поступили крайне неосмотрительно тѣмъ, что умертвили человѣка, который сильнѣе всѣхъ умѣлъ обуздывать республиканцевъ—Наполеона. Но особенная Божія милость еще разъ послала имъ человѣка, который спасъ старую монархію, когда якобинство, съ топоромъ въ рукѣ, снова грозило разрушить ее; если они умертвятъ и этого человѣка, то на Божью помощь имъ нечего ужъ больше надѣяться. Ниспосланіемъ Наполеона Бонапарте и Людовика Филиппа Орлеанскаго, монархіи двѣ раза давались средства къ ея спасенію, потому что Промыслъ видитъ, что республиканская форма правленія очень невыгодна, очень некстати для старой Европы и можетъ имѣть для нея очень плачевныя послѣдствія. И я тоже вижу это. Но мы, можетъ-быть, ничего не подѣлаемъ съ ослѣпленіемъ демагоговъ и противоположной партіи. Съ глупостью даже боги сражаются напрасно.

Да, мое священнѣйшее убѣжденіе, что республика была бы неподходяща, невыгодна и вредна для народовъ Европы, и совершенно невозможна для нѣмцевъ. Когда нѣмецкіе демагоги, въ слѣпомъ подражаніи французамъ, проповѣдывали нѣмецкую республику и въ безумной ярости старались осыпать клеветами и позорить не только королей, но и монархію—послѣднюю гарантію нашего общества, тогда я считалъ своею обязанностью высказывать свое убѣжденіе, какъ сдѣлалъ это на предыдущихъ страницахъ относительно 21-го января. Хотя съ 28-го іюня прошедшаго года мой монархизмъ отчасти охладѣлъ, но я все-таки не хотѣлъ исключить высказанныя тогда мнѣнія изъ этого новаго изданія. Я горжусь тѣмъ, что нѣкогда былъ настолько мужественеенъ, что ни ласкательства, ни интриги, ни угрозы не могли увлечь меня къ безразсуднымъ поступкамъ и заблужденіямъ. Кто останавливается, не доходя до той цѣли, куда влечетъ его сердце и которую позволяетъ его умъ, тотъ трусъ; кто идетъ дальше, чѣмъ хотѣлъ идти, тотъ рабъ.

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ ГОСПОДИНА ФОНЪ-ШНАБЕЛЕВОПСКАГО.

КНИГА ПЕРВАЯ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Мой отецъ назывался Шнабелевопскій, моя мать называлась Шнабелевопская; я, законный сынъ обоихъ, родился 1 апрѣля 1795 г. въ Шнабелевопсѣ. Бабушка моя, старая фрау фонъ-Пипицка, заботилась обо мнѣ въ годы дѣтства, разсказывала мнѣ много прекрасныхъ сказокъ и часто убаюкивала меня пѣсенкой, слова и напѣвъ которой вышли изъ моей памяти. Но никогда не забуду я того таинственнаго вида, съ которымъ она кивала своею дрожавшею головой въ то время, какъ пѣла эту пѣсенку, и того, какъ тоскливо показывался при этомъ на свѣтъ Божій ея большой, единственный зубъ, отшельникъ въ ея рту. Вспоминаю я также не разъ о попугаѣ, о смерти котораго она часто плакала горькими слезами. Старая бабушка тоже умерла, и я, конечно, единственный человѣкъ въ мірѣ, который еще думаетъ о ея миломъ попугаѣ. Кошку нашу звали Мими, а собаку—Жоли. Собака очень хорошо знала человѣческое сердце и убѣгала отъ меня каждый разъ, какъ я брался за хлыстъ. Однажды утромъ слуга нашъ сказалъ, что собака ходитъ съ подвернутымъ между ногами хвостомъ и вывѣсила языкъ длиннѣе обыкновеннаго; тогда бѣдному Жоли привязали къ шеѣ нѣсколько камней и бросили въ воду. При этомъ происшествіи онъ утонулъ. Слугу нашего звали Прштццвитшъ. Чтобы правильно произнести это имя, надо чихнуть. Горничная наша называлась Свуртшка, что̀ по-нѣмецки выходитъ довольно грубо, но по-польски—чрезвычайно мелодично. Это была толстая коренастая особа съ бѣлыми волосами и

бѣлокурыми зубами. Кромѣ того, по дому бѣгали два прекрасныхъ черныхъ глаза, которые назывались Серафина: это была моя прекрасная, нѣжно-любимая двоюродная сестричка, и мы вмѣстѣ играли въ саду, и подсматривали за житьемъ-бытьемъ муравьевъ, и ловили бабочекъ, и сажали цвѣты. Разъ она смѣялась, какъ сумасшедшая, когда я посадилъ въ землю свои маленькіе чулки, думая, что изъ нихъ выростетъ пара большихъ панталонъ для моего отца.

Мой отецъ былъ добрѣйшій человѣкъ въ мірѣ и долгое время былъ удивительно красивъ; сзади напудренной головы носилъ онъ очень мило заплетенную косичку, которая не падала внизъ, но поддерживалась на темени маленькимъ черепаховымъ гребешкомъ. Руки его были ослѣпительно бѣлы, и я часто цѣловалъ ихъ. Мнѣ чудится, какъ будто я нюхаю ихъ сладостный запахъ, и онъ дотрагивается ими до моихъ глазъ. Я очень любилъ моего отца, потому что никогда не думалъ, что онъ можетъ умереть.

Мой дѣдушка съ отцовской стороны былъ старый господинъ фонъ-Шнабелевопскій; о немъ я знаю только то, что онъ былъ человѣкъ и что мой отецъ былъ его сынъ. Дѣдушка мой съ материнской стороны былъ старый господинъ фонъ-Влрсснскій (чтобы правильно произнести его имя, надо тоже чихнуть); на портретѣ онъ изображенъ въ красномъ бархатномъ сюртукѣ и съ длиннымъ мечомъ; и мать моя часто разсказывала мнѣ, что у него былъ другъ, который носилъ зеленый шелковый сюртукъ, розовые шелковые панталоны и бѣлые шелковые чулки, и который бѣшено махалъ своей шляпенкой каждый разъ, какъ говорилъ о прусскомъ королѣ.

Мать моя, госпожа фонъ-Шнабелевопская, дала мнѣ, когда я подросъ, хорошее воспитаніе. Она много читала, и въ то время, какъ была мною беременна, почти исключительно занималась Плутархомъ и, можетъ-быть, засмотрѣлась на одного изъ его великихъ мужей, по всей вѣроятности, на одного изъ Гракховъ. Отъ этого произошло мое мистическое стремленіе осуществить въ новыхъ формахъ аграрный законъ. Мои идеи свободы и равенства слѣдуетъ, можетъ-быть, также приписать этому чтенію моей матери. Читай она въ то время жизнь Картуша, я бы, можетъ-быть, сдѣлался большимъ банкиромъ. Какъ часто, еще ребенкомъ, я забывалъ школу и, уединяясь на прекрасную поляну Шнабелевопса, размышлялъ, какими способами можно осчастливить человѣчество. За это меня часто бранили лѣнивцемъ

и наказывали; и уже тогда за мысли объ осчастливленіи человѣчества я долженъ былъ переносить много страданій и нужды. Окрестности Шнабелевопса, впрочемъ, очень живописны; тутъ протекаетъ рѣчка, въ которой лѣтомъ очень пріятно купаться, а въ прибрежныхъ пняхъ находятся очень милыя птичьи гнѣзда. Старый Гнезенъ, прежняя столица Польши, отстоитъ отсюда всего на три мили. Тамъ въ соборѣ похороненъ святой Адальбертъ. Тамъ стоитъ его серебряный саркофагъ, а на немъ лежитъ его собственное изображеніе въ натуральную величину, съ епископскою митрой и жезломъ, съ набожно скрещенными руками, и все это изъ литого серебра. Какъ часто я вспоминаю о тебѣ, о серебряный святой! Ахъ, какъ часто мысли мои ускользаютъ въ Польшу, и я снова стою въ гнезенскомъ соборѣ, облокотясь о колонну подлѣ гробницы Адальберта! И тутъ снова звучитъ органъ, какъ будто органистъ пробуетъ отрывокъ изъ Miserere Аллегри; въ отдаленной капеллѣ бормочутъ мессу; послѣдніе лучи солнца падаютъ сквозь разноцвѣтныя стекла оконъ; церковь пуста, только передъ серебряною гробницей святого лежитъ молящаяся фигура—женщина удивительной красоты, которая бросаетъ на меня быстрый косвенный взглядъ, но потомъ такъ же быстро снова поворачивается къ святому и своими пламенными, хитрыми губами шепчетъ: «поклоняюсь тебѣ!»

Въ то самое мгновеніе, какъ я услышалъ эти слова, вдали зазвонилъ понамарь, звуки органа понеслись съ неудержимою силою, чудная женщина встала съ ступеней гробницы, набросила бѣлый покровъ на свое разрумянившееся лицо и вышла изъ собора.

«Поклоняюсь тебѣ!»—Ко мнѣ или къ серебряному Адальберту относились эти слова? Правда, она обернулась къ нему, но только лицомъ. Что значитъ этотъ косвенный взглядъ, который она прежде бросила на меня и лучи котораго пролились по моей душѣ, какъ та длинная полоса свѣта, которую мѣсяцъ бросаетъ ночью на морѣ, когда онъ выходитъ изъ темной тучи и снова быстро прячется въ ней? Въ моей душѣ, такой же мрачной, какъ море, эта полоса свѣта разбудила всѣ чудовища, спавшія на глубинѣ ея, и всѣ дикія рыбы и тритоны страсти вдругъ вынырнули наружу, и засуетились, и отъ наслажденія стали кусать другъ друга за хвостъ,—а органъ шумѣлъ и гремѣлъ все сильнѣе и сильнѣе, точно шумъ бури на Сѣверномъ морѣ.

На другой день я уѣхалъ изъ Польши.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Моя мать сама уложила мой сундукъ; съ каждой рубашкой она клала хорошій урокъ. Прачки впослѣдствіи времени подмѣнили всѣ эти рубашки, а съ ними и хорошіе уроки. Отецъ мой былъ глубоко взволнованъ и далъ мнѣ длинную записку, въ которой по пунктамъ изложилъ, какъ я долженъ вести себя въ этомъ мірѣ. Въ первомъ пунктѣ значилось, что я, прежде чѣмъ истратить червонецъ, долженъ десять разъ повернуть его въ рукѣ. Сначала я слѣдовалъ этому правилу, но потомъ постоянное верченіе сдѣлалось для меня утомительнымъ. Вмѣстѣ съ запискою, отецъ мой вручилъ мнѣ принадлежащіе къ ней червонцы; потомъ онъ взялъ ножницы, отрѣзалъ косичку съ своей милой головы и далъ мнѣ эту косичку на память. Она еще теперь у меня, и я плачу каждый разъ, какъ смотрю на напудренные, тонкіе волосенки...

Въ ночь, предшествовавшую моему отъѣзду мнѣ снился слѣдующій сонъ.

Я гулялъ одинъ въ прекрасной, свѣтлой мѣстности, на берегу моря. Былъ полдень и солнце покрывало воду настоящими алмазами. Здѣсь и тамъ на берегу возвышались большія алоэ, тоскливо протягивавшія зеленыя руки къ лучезарному небу. Тутъ же росла плакучая ива съ низко-опустившимися вѣтвями, которыя приподнимались каждый разъ, какъ волны задѣвали ихъ, такъ что она была въ эти минуты похожа на молодую русалку, которая приподнимаетъ свои зеленыя кудри, чтобы лучше слышать, что нашептываютъ ей въ уши влюбленные духи воздуха. Дѣйствительно, тутъ раздавались звуки, иногда похожіе на вздохи и нѣжный лепетъ. Море блестѣло все красивѣе и милѣе, волны шумѣли все благозвучнѣе, и на этихъ шумящихъ, блистающихъ волнахъ показался серебряный Адальбертъ, точно такой, какимъ я видѣлъ его въ гнезенскомъ соборѣ, съ серебрянымъ жезломъ въ серебряныхъ рукахъ, съ серебряной митрой на серебряной головѣ, и онъ махалъ мнѣ рукою, и кивалъ головою, и, наконецъ, когда очутился противъ меня, крикнулъ мнѣ зловѣщимъ серебрянымъ голосомъ...

Но словъ его, при шумѣ волнъ, я не могъ разслышать. Кажется мнѣ, однако, что мой серебряный соперникъ кинулъ мнѣ насмѣшку,—потому что я еще долго стоялъ на берегу и плакалъ, пока наступили сумерки, и небо и море сдѣлались сумрачны и блѣдны, и печальны выше всякой

мѣры. Начался приливъ. Алоэ и ива затрещали и были унесены волнами, которыя по временамъ торопливо отбѣгали назадъ и потомъ съ большею силою неслись впередъ, шумя, бушуя пѣнистыми полукружьями. Но вдругъ услышалъ я однообразный шумъ, похожій на стукъ веселъ, и затѣмъ увидѣлъ лодку. Четыре бѣлыя фигуры, съ мертвенными лицами, укутанныя въ саваны, сидѣли въ ней и усердно гребли. Посрединѣ лодки стояла блѣдная, но безконечно прекрасная женщина, безконечно нѣжная, точно сдѣланная изъ благоуханія лиліи,—и она соскочила на берегъ. Лодка со своими призрачными гребцами понеслась, какъ стрѣла, обратно на широкое море, а въ моихъ объятіяхъ лежала панна Ядвига, и плакала, и смѣялась: «Поклоняюсь тебѣ!»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Первый мой выѣздъ, по оставленіи Шнабелевопса, былъ въ Германію, а именно въ Гамбургъ, въ которомъ я пробылъ шесть мѣсяцевъ, вмѣсто того, чтобъ сейчасъ же ѣхать въ Лейденъ и тамъ, согласно желанію моихъ родителей, предаться изученію богословской мудрости. Я долженъ сознаться, что въ этотъ семестръ занимался болѣе свѣтскими вещами, чѣмъ божественными.

Городъ Гамбургъ — хорошій городъ; все солидные дома. Здѣсь царствуетъ не позорный Макбетъ, здѣсь царствуетъ Банко. Духъ Банко господствуетъ всюду въ этомъ маленькомъ вольномъ государствѣ, котораго явный глава—высокомудрый сенатъ. Въ самомъ дѣлѣ, это—вольное государство, и въ немъ находишь самую большую политическую свободу. Граждане могутъ здѣсь дѣлать все, что имъ угодно, и высокомудрый сенатъ тоже можетъ дѣлать все, что ему угодно; каждый здѣсь—полный господинъ своихъ дѣйствій. Это республика. Если-бъ Лафайетъ не имѣлъ счастія найти Людовика Филиппа, то, конечно, рекомендовалъ бы своимъ французамъ гамбургскихъ сенаторовъ и старшинъ. Гамбургъ—самая лучшая республика. Его нравы англійскіе, а его кушанья обворожительныя. Гамбургцы—хорошіе люди и хорошо ѣдятъ. Правда, въ стѣнахъ Гамбурга можно найти блюда, о которыхъ наши философы не имѣютъ никакого понятія. Мнѣнія ихъ, касательно религіи, политики и науки очень различны; но въ отношеніи ѣды между ними царствуетъ полнѣйшее согласіе. Если тамошніе христіанскіе богословы рѣзко расходятся между собою въ спорахъ о зна-

ченіи нѣкоторыхъ догматовъ, то насчетъ значенія обѣда они совершенно согласны другъ съ другомъ. Если изъ тамошнихъ евреевъ одни передъ обѣдомъ произносятъ молитву по-нѣмецки, а другіе—по-еврейски, то обѣ партіи ѣдятъ, и ѣдятъ хорошо, и произносятъ очень правильный приговоръ надъ кушаньемъ. Если тамошніе адвокаты, эти жарильщики законовъ, производящіе въ своихъ кухняхъ стряпню надъ законами до тѣхъ поръ, пока на ихъ долю отпадетъ кусокъ жаркого, если они спорятъ о томъ—должны ли кушанья быть общественными или нѣтъ, то въ томъ согласны они, что всѣ кушанья должны быть хороши, и у каждаго изъ нихъ есть свое любимое кушанье. Гамбургскіе военные имѣютъ, конечно, спартанскій образъ мыслей, что касается храбрости, но о черной похлебкѣ они и слышать не хотятъ. Врачи, которые такъ несогласны между собою въ лѣченіи болѣзней, и тамошній національный недугъ (именно затвердѣніе желудка) лѣчатъ или, какъ броуніанцы, большими порціями копченой говядины, или какъ гомеопаты—$^1/_{10000}$ капель водки въ большой чашкѣ горличнаго супа—эти самые врачи совершенно согласны между собою, когда дѣло идетъ о вкусѣ этого супа и этой говядины. Гамбургъ—отчизна этого послѣдняго кушанья и гордится имъ, какъ Майнцъ своимъ Іоганномъ Фаустомъ, или Эйслебенъ своимъ Лютеромъ. Но что значатъ книгопечатаніе и реформація въ сравненіи съ копченой говядиной? Пользу или вредъ принесли реформація и книгопечатаніе—объ этомъ въ Германіи спорятъ двѣ партіи; но даже самые ревностные іезуиты наши согласны въ томъ, что копченая говядина очень хорошее и для людей спасительное изобрѣтеніе.

Гамбургъ построенъ Карломъ Великимъ и населенъ 80 т. маленькихъ людей, которые не помѣняются съ Карломъ Великимъ, схороненнымъ въ Аахенѣ. Можетъ-быть, гамбургское населеніе превышаетъ и 100 т.—этого я въ точности не знаю, несмотря на то, что по цѣлымъ днямъ ходилъ по улицамъ, чтобы осмотрѣть тамошнихъ людей. При томъ же я, вѣрно, многихъ мужчинъ пропустилъ, такъ все мое вниманіе привлекали женщины. Этихъ послѣднихъ нашелъ я вовсе не худощавыми, а напротивъ, даже по большей части корпулентными, иногда заманчиво-прелестными и вообще одаренными какою-то зажиточною чувствительностью, которая право пришлась мнѣ достаточно по сердцу. Если въ романической любви онѣ выказываютъ себя не совсѣмъ мечтательными и о великой страсти сердца имѣютъ самое

слабое понятіе, то въ этомъ виноваты не онѣ, а Амуръ, маленькій божокъ, который часто кладетъ на свой лукъ самыя острыя стрѣлы любви, но по неловкости или лукавству цѣлитъ слишкомъ низко и вмѣсто того, чтобы попасть въ сердце гамбургскихъ дамъ, попадаетъ въ ихъ животъ. Что касается мужчинъ, то я видѣлъ большею частью приземистыя фигуры, разумные, холодные глаза, короткій лобъ, красныя, небрежно отвисшія щеки, орудіе ѣды, обработанное съ особеннымъ тщаніемъ, шляпы, точно пригвожденныя на головахъ, и руки въ карманахъ панталонъ, какъ у человѣка, который собирается спросить: «что мнѣ приходится заплатить?»

Къ городскимъ рѣдкостямъ принадлежатъ: 1) старая ратуша, въ которой великіе гамбургскіе банкиры стоятъ, высѣченные изъ камня, и со скипетромъ и державою въ рукахъ; 2) биржа, въ которой ежедневно собираются сыны Гаммоніи, какъ нѣкогда римляне въ форумѣ, и гдѣ надъ ихъ головами виситъ черная почетная доска съ именами лучшихъ гражданъ; 3) прекрасная Маріанна, удивительно красивая женщина, которую уже двадцать лѣтъ грызетъ зубъ времени (сказать мимоходомъ: «зубъ времени»—очень плохая метафора, такъ какъ время такъ старо, что, конечно, у него не осталось больше ни одного зуба), но прекрасная Маріанна сохранила всѣ свои зубы и волосы на нихъ; 4) бывшій центральный классъ; 5) Альтона; 6) подлинные манускрипты трагедій Марра; 7) владѣлецъ Рединговa кабинета; 8) биржевая зала; 9) Бахусова зала, и наконецъ, 10) городской театръ. Послѣдній заслуживаетъ особаго вниманія: члены его все хорошіе граждане, почтенные отцы семейства, не умѣющіе сами притворяться и другихъ обманывать—люди, которые дѣлаютъ изъ театра храмъ, такъ какъ они убѣждаютъ несчастнаго, отчаявшагося въ человѣчествѣ, что не все въ этомъ мірѣ лишь притворство и лицемѣріе.

При исчисленіи рѣдкостей гамбургской республики, не могу не упомянуть о томъ, что въ мое время зала Аполлона на улицѣ Drehbahn была очень блестящая. Теперь она въ большомъ упадкѣ, и въ ней даются филармоническіе концерты, показываются штуки фокусниковъ и опыты естествоиспытателей. Не то было прежде! Звучали трубы, стучали литавры, развѣвались страусовыя перья, Элоиза и Минка пробѣгали въ рядахъ полонеза Огинскаго — и все было очень прилично. Чудное время, когда счастье мнѣ улыбалось! И это счастье звалось Элоиза! То было сладкое,

милое, надѣляющее счастіемъ очастье, съ розовыми щеками, лилейнымъ носикомъ, горячоблагоуханными гвоздичными губками, глазами, похожими на голубое горное озеро; но нѣчто глупое лежало на лбу, какъ мрачная туча надъ блестящимъ пейзажемъ весны. Она была стройна, какъ тополь, и жива, какъ птица, и кожа ея была такъ нѣжна, что отъ укола шпильки дѣлалась опухоль, не исчезавшая двѣнадцать дней послѣ того. Но ея недовольство, когда уколъ булавкой производилъ я, длилось всего двѣнадцать секундъ— и затѣмъ она улыбалась... Чудное время, когда счастье улыбалось мнѣ!.. Минка улыбалась рѣже, потому что у ней не было красивыхъ зубовъ, но тѣмъ прекраснѣе были ея слезы, когда она плакала; а плакала она при каждомъ чужомъ несчастіи и была благотворительна выше всякаго описанія. Бѣднымъ отдавала она послѣдній грошъ; иногда даже давала свою послѣднюю рубашку, если этого желали. Она была такъ добра душой! Она ни въ чемъ не могла отказать, за исключеніемъ своей воды. Этотъ мягкій, уступчивый характеръ представлялъ очень милый контрастъ съ внѣшнею оболочкою его. Смѣлая, юноновская осанка; бѣлая смѣлая шея, обвитая густыми черными кудрями, какъ сладострастными змѣями; глаза, всеповелительно-сверкающіе подъ темными тріумфальными арками; пурпурногордыя, высокосводчатыя губы; мраморныя повелѣвающія руки, къ сожалѣнію, немного покрытыя веснушками; кромѣ того, на правомъ боку у нея было родимое темное пятнышко, въ формѣ маленькаго кинжала.

Если, любезный читатель, я ввелъ тебя въ такъ-называемое дурное общество, то утѣшься тѣмъ, что оно, по крайней мѣрѣ, стоило тебѣ не такъ дорого, какъ мнѣ. Зато впослѣдствіи въ книгѣ моей не будетъ недостатка въ идеальныхъ женщинахъ, и уже теперь, чтобы изгладить твое непріятное впечатлѣніе, я хочу представить тебѣ двухъ приличныхъ дамъ, которыхъ я тогда выучился знать и почитать. Это мадамъ Пиперъ и мадамъ Шниперъ. Первая была красивая женщина въ самыхъ зрѣлыхъ годахъ, съ большими черноватыми глазами, большимъ бѣлымъ лбомъ, черными фальшивыми кудрями, смѣлымъ древне-римскимъ носомъ и ртомъ, который былъ гильотиною для каждаго добраго имени. Въ самомъ дѣлѣ, для именъ не было машины казни болѣе удобной, чѣмъ ротъ госпожи Пиперъ; она не долго разжевывала эти имена, не дѣлала особенно важныхъ приготовленій: чуть любое доброе имя попадалось къ ней на зубы,

она только улыбалась, но эта улыбка была какъ топоръ, и честь отсѣкалась и падала въ мѣшокъ. Дама эта была всегда образцомъ приличности, честности, набожности и добродѣтели. Мадамъ Шниперъ пользовалась такою же славою. Это была нѣжная женщина, съ маленькими боязливыми грудями, обыкновенно окутанная темною вуалью, съ свѣтло-бѣлокурыми волосами, свѣтло-голубыми глазами, которые страшно-умно сверкали на бѣломъ лицѣ. Говорили, что ея шаги никогда нельзя было слышать, и дѣйствительно, она часто появлялась около васъ совершенно неожиданно, и затѣмъ точно такъ же безшумно исчезала. Улыбка ея была тоже смертельна для каждаго добраго имени, но уже не столько какъ топоръ, сколько какъ тотъ африканскій ядовитый вѣтеръ, отъ дуновенья котораго вянутъ всѣ цвѣты; самымъ плачевнымъ образомъ вянуло каждое доброе имя, надъ которымъ она только чуть-чуть улыбалась. Дама эта была всегда образцомъ приличности, честности, набожности и добродѣтели.

Я не преминулъ бы воздать также хвалу многимъ изъ сыновъ Гаммоніи и превознести нѣкоторыхъ мужчинъ, особенно высокочтимыхъ, именно тѣхъ, которыхъ почитаютъ по нѣсколькимъ милліонамъ банковыхъ билетовъ; но въ настоящую минуту я удержу мой энтузіазмъ для того, чтобы онъ потомъ вспыхнулъ тѣмъ болѣе яркимъ пламенемъ. Именно, я задумалъ важную штуку—издать храмъ почести Гамбурга, по такому точно плану, какой составленъ былъ лѣтъ десять назадъ однимъ славнымъ писателемъ, приглашавшимъ съ этою цѣлью каждаго гамбургца присылать ему подробную опись своихъ спеціальныхъ добродѣтелей, съ приложеніемъ одного спеціальнаго талера. Я никогда не могъ добиться, почему этотъ храмъ почести не осуществился. Одни говорили, что подрядчикъ, успѣвъ, такъ сказать, положить только первыя бревна, уже совсѣмъ былъ задавленъ тяжестью матеріала; другіе утверждали, что высокомудрый и высокоблагородный сенатъ отвергнулъ, изъ слишкомъ большой скромности, этотъ проектъ и приказалъ строителю храма почести оставить въ теченіе 24 часовъ гамбургскую область со всѣми ея добродѣтелями. Но какая бы ни была причина, а дѣло не осуществилось. А такъ какъ я, по врожденной склонности, всегда хотѣлъ сдѣлать въ этомъ мірѣ нѣчто великое и постоянно стремился достигнуть невозможнаго, то я принялся снова за этотъ громадный проектъ; такимъ образомъ, я создамъ храмъ почести

Гамбурга — безсмертную исполинскую книгу, въ которой опишу прелести всѣхъ его обитателей безъ исключенія, въ которой сообщу благородныя черты тайной благотворительности, еще не заявленныя въ газетахъ, въ которой разскажу великіе подвиги, которымъ никто не повѣритъ, въ которой, наконецъ, виньеткою будетъ служить собственное мое изображеніе въ ту минуту, какъ я сижу на Юнгферштигѣ предъ швейцарскимъ павильономъ и размышляю о возвеличеніи Гамбурга.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Для читателей, которые не знакомы съ городомъ Гамбургомъ — а таковые, можетъ-быть, найдутся въ Китаѣ и въ Верхней Баваріи — я долженъ замѣтить, что лучшее мѣсто прогулки сыновъ и дочерей Гаммоніи носитъ законное названіе Юнгферштига, что оно состоитъ изъ одной липовой аллеи, которая съ одной стороны граничитъ съ рядомъ домовъ, а съ другой — съ большимъ Альстеровымъ бассейномъ, и что передъ этимъ послѣднимъ стоятъ построенныя на водѣ двѣ палаткообразныя, веселыя маленькія кофейни, называемыя павильонами. Особенно хорошо сидѣть передъ однимъ изъ нихъ, такъ-называемымъ швейцарскимъ, когда на дворѣ лѣто, и полуденное солнце не дико печетъ, а только привѣтливо улыбается и обливаетъ почти сказочнымъ милымъ свѣтомъ липы, дома, людей, Альстеръ и покачивающихся на немъ лебедей. Хорошо сидится тутъ, и хорошо сидѣлъ я часто въ послѣобѣденное время, и думалъ о томъ, о чемъ обыкновенно думаетъ молодой человѣкъ, т. е. рѣшительно ни о чемъ, и смотрѣлъ на то, на что обыкновенно смотритъ молодой человѣкъ, т. е. на молодыхъ дѣвушекъ, проходившихъ мимо. Тутъ порхали эти милыя созданія, со своими крылатыми чепчиками и перекрытыми корзиночками, въ которыхъ ничего не было; тутъ сѣменили пестрыя поселянки, снабжающія весь Гамбургъ земляникой и собственнымъ молокомъ, и юбочки которыхъ все-таки еще слишкомъ длинны; тутъ гордо прохаживались красивыя купеческія дочери, съ любовью которыхъ получается и много наличныхъ денегъ; тутъ припрыгиваетъ кормилица съ розовымъ ребенкомъ на рукахъ, котораго она безпрестанно цѣлуетъ, думая въ это время о своемъ возлюбленномъ; тутъ гуляютъ жрицы родившейся изъ пѣны богини, ганзейскія весталки, Діаны, отправляющіяся на охоту, наяды, дріады, гамадріады, и тутъ же — ахъ! — проходятъ Минка и

Элоиза! Какъ часто сидѣлъ я передъ павильономъ и смотрѣлъ на нихъ, проходившихъ мимо въ своихъ розовыхъ, полосатыхъ платьяхъ (аршинъ стоитъ четыре марки три шиллинга, и господинъ Зелигманъ увѣрялъ меня, что эта розовая матерія въ мытьѣ не полиняетъ). «Прелестныя дѣвчонки!»—восклицали добродѣтельные юноши, сидѣвшіе подлѣ меня. Помню, какъ одинъ высокій ассекураторъ сказалъ однажды: «Одну изъ нихъ я охотно съѣлъ бы за завтракомъ, а другую за ужиномъ, и въ этотъ день ничего бы не обѣдалъ».—«Она ангелъ» —сказалъ однажды морской капитанъ такъ громко, что обѣ дѣвушки въ одно и то же время переглянулись и завистливо посмотрѣли другъ на друга. Самъ я никогда ничего не говорилъ, и занимался своими милыми мыслями ни о чемъ, и смотрѣлъ на дѣвушекъ, и на ясное кроткое небо, и на длинную башню Петра съ ея стройною таліей, и на тихій, голубой Альстеръ, на которомъ лебеди плавали такъ гордо, и такъ мило, и такъ увѣренно. Лебеди!.. По цѣлымъ часамъ могъ я заглядываться на нихъ, этихъ милыхъ созданій съ ихъ кроткими, длинными шеями, то сладострастно покачивавшихся на мягкихъ волнахъ, то вдругъ блаженно нырявшихъ и снова выплывавшихъ, и гордо плескавшихся до тѣхъ поръ, пока темнѣло небо и выступали золотыя звѣзды, чего-то желая, что-то обѣщая, чудно-нѣжно, свѣтло. Звѣзды! Что онѣ такое? Золотые ли цвѣты на груди неба-невѣсты, влюбленные ли глаза ангеловъ, съ страстнымъ томленіемъ отражающіеся въ синихъ водахъ земли и говорящіе лебедямъ про любовь свою?.. Ахъ! съ тѣхъ поръ прошло много времени. Тогда я былъ молодъ и глупъ. Теперь я старъ и глупъ. Многіе цвѣты за это время завяли и многіе даже совсѣмъ растоптаны. Много шелковыхъ платьевъ разорвалось, и даже розовая полосатая матерія господина Зелигмана полиняла. Но и самъ онъ полинялъ, теперь его фирма: «Вдова Зелигманъ», и Элоиза — кроткое существо, которая, казалось, была создана для того, чтобы ходить по мягкимъ индійскимъ коврамъ и обмахиваться павлиньими перьями — погибла въ шумѣ матросовъ, пуншѣ, табачномъ дымѣ и скверной музыкѣ. Когда я снова увидѣлъ Минку—въ это время она уже назвалась Катенькой и жила между Гамбургомъ и Альтоной—то нашелъ ее похожею на храмъ Соломона послѣ разрушенія его Навуходоносоромъ и пахнувшею ассирійскимъ кнастеромъ; разсказывая мнѣ о смерти Элоизы, она стала горько плакать, съ отчаяніемъ схватила себя за во-

лосы и чуть не упала въ обморокъ, — и чтобы придти въ себя, должна была выпить большой стаканъ водки.

Да и самъ городъ какъ перемѣнился! А Юнгферштигъ! Снѣгъ лежалъ на крышахъ, и казалось, что даже дома постарѣли и посѣдѣли. Липы Юнгферштига сдѣлались мертвыми деревьями съ сухими вѣтвями, призрачнопокачивавшимися въ холодномъ воздухѣ. Небо было рѣзко-синяго цвѣта и быстро темнѣло. Былъ воскресный день и било пять часовъ—время всеобщаго кормленія; экипажи мчались, мужчины и дамы выходили изъ нихъ съ замороженною улыбкою на голодныхъ губахъ... Страшно! Въ эту минуту пронизало меня ужасное замѣчаніе, что на всѣхъ этихъ лицахъ лежало непостижимое слабоуміе и что всѣ люди, проходившіе мимо, охвачены какимъ-то страннымъ сумасбродствомъ. Я уже видѣлъ ихъ двѣнадцать лѣтъ назадъ, въ этотъ же самый часъ, съ этими же самыми минами, похожихъ на куколъ въ часахъ ратуши, въ томъ же самомъ движеніи, и съ тѣхъ самыхъ поръ они, не переставая, однимъ и тѣмъ же образомъ сводили счеты, посѣщали биржу, приглашали другъ друга въ гости, двигали челюстями, давали лакеямъ на водку и снова считали: «дважды-два—четыре». Страшно!—вскричалъ я,—если-бъ одному изъ этихъ людей, сидящему у конторки, вдругъ показалось, что дважды-два собственно пять, и что, слѣдовательно, онъ всю свою жизнь считалъ невѣрно и провелъ ее въ страшномъ заблужденіи! Разъ, однако, и меня охватило глупое безуміе, и когда я ближе вглядѣлся въ проходившихъ мимо меня людей, то мнѣ показалось, что и они сами не что иное, какъ числа, какъ арабскія цифры. Вотъ прошло хромое два съ фатальнымъ тремя, своею беременною и полногрудою супругою; вотъ г-нъ четыре на костыляхъ; вотъ ковыляетъ фатальное пять съ круглымъ животомъ и маленькою головкою; вотъ давно знакомое маленькое шесть и еще болѣе знакомое, злое семь... Но когда я ближе вглядѣлся въ несчастное восемь, ковылявшее мимо меня, то узналъ въ немъ ассекуратора, который теперь походилъ на самую тощую изъ тощихъ коровъ Фараона: блѣдныя, впалыя щеки, точно пустая суповая тарелка, холодно-красный носъ, похожій на зимнюю розу, полинялый черный сюртукъ съ печально бѣлымъ оттѣнкомъ, шляпа, на которой Сатурнъ сдѣлалъ своею косою нѣсколько дырочекъ, но сапоги были все еще зеркальной чистоты, и казалось, онъ не думалъ уже о томъ, что хорошо бы позавтракать Элоизой и поужинать Минкой,

а скорѣе скучалъ по обѣдѣ изъ обыкновеннаго мяса. Между проходившими мимо меня нулями я узналъ также много старыхъ знакомыхъ. Эти и другіе люди-числа пробѣгали взадъ и впередъ, торопливые и голодные, между тѣмъ какъ невдалекѣ, вдоль домовъ Юнгфернштига, тянулась, производя еще болѣе зловѣще смѣшное впечатлѣніе, похоронная процессія. Мрачный, печальный маскарадъ! За дрогами ковыляли на своихъ тоненькихъ, одѣтыхъ въ черный шелкъ ножкахъ, точно маріонетки смерти, хорошо знакомые магистратскіе сторожа, привилегированные плакальщики въ пародированныхъ старобургундскихъ костюмахъ: короткіе черные плащи и черные до колѣнъ панталоны, бѣлые парики и бѣлые галстуки, и между тѣми и другими уморительно выглядывавшія красныя оплаченныя лица, коротенькія стальныя шпаги и подъ мышкою зеленые зонтики.

Но еще непривѣтнѣе и смѣшаннѣе этихъ картинъ, двигавшихся передо мною, точно безмолвныя китайскія тѣни, были звуки, проникавшіе въ мой слухъ съ другой стороны. То были осиплые, хрипѣвшіе, беззвучные звуки; безсмысленный пискъ, тоскливое плесканье, полное отчаянія всхлипыванье; стоны и вздохи, неописуемо холодные, какъ ледъ, болѣзненные звуки. Альстерскій бассейнъ былъ покрытъ льдомъ; только недалеко отъ берега была широкая четырехъугольная прорубь, и страшные звуки, о которыхъ я только-что говорилъ, выходили изъ горла бѣдныхъ бѣлыхъ созданій, плававшихъ тутъ и кричавшихъ въ страшной, смертельной тоскѣ... И ахъ! это были тѣ самые лебеди, которые нѣкогда такъ мягко и свѣтло дѣйствовали на мою душу. Ахъ, прекрасные бѣлые лебеди! Имъ сломали крылья, чтобы они не могли улетѣть осенью въ теплыя страны, и теперь сѣверъ держитъ ихъ скованными въ своихъ мрачныхъ ледникахъ, и маркеръ въ павильонѣ увѣрялъ, что имъ здѣсь очень хорошо и что холодъ для нихъ здоровъ. Но это неправда, тому нехорошо жить на свѣтѣ, кто закованъ и почти замерзъ въ холодной лужѣ и у кого сломаны крылья, такъ что онъ не можетъ летѣть на прекрасный югъ, гдѣ прекрасные цвѣты, и золотые лучи солнца, и синія горныя озера... Ахъ! и мнѣ нѣкогда было не лучше, и я понялъ жалобы этихъ бѣдныхъ лебедей; а когда совсѣмъ стемнѣло, и звѣзды ярко выступили на небѣ, тѣ самыя звѣзды, которыя нѣкогда, въ прекрасныя лѣтнія ночи, такъ горячо водили любовь съ лебедями, а теперь смотрѣли на нихъ такъ леденисто, такъ холодно-свѣтло и почти насмѣш-

ливо,—тогда я понялъ, что звѣзды совсѣмъ не милыя, сочувствующія существа, а просто блестящіе обманы ночи, вѣчно лживые образы на погруженномъ въ грезы небѣ, золотая ложь, наполняющая темно-синее ничто...

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Въ то время, какъ я писалъ прошедшую главу, мнѣ невольно думалось о чемъ-то совсѣмъ иномъ. Старая пѣсня постоянно жужжала у меня въ памяти, и образы и мысли спутывались самымъ непріятнымъ образомъ; желаю ли я, или не желаю, но долженъ говорить объ этой пѣснѣ. Быть-можетъ, ей и мѣсто здѣсь, и она по праву вторгается въ мое строченье. Да, я даже только теперь начинаю понимать ее, и понимаю теперь также мрачный тонъ, которымъ пѣлъ ее Класъ Гинрихсонъ; онъ былъ ютландецъ и служилъ у насъ конюхомъ. Пѣлъ онъ ее еще наканунѣ того дня, въ который повѣсился въ нашей конюшнѣ. Произнося припѣвъ: «Оглядывайся, рыцарь Фонведъ», онъ по временамъ горько смѣялся; при этомъ лошади ржали очень боязливо, а дворовая собака выла, точно кто-нибудь умеръ. Это старо-датская пѣсня о господинѣ Фонведѣ, который отправляется въ странствія по свѣту и до тѣхъ поръ вступаетъ въ разныя битвы, пока не получаетъ отвѣта на всѣ свои вопросы, а когда, наконецъ, всѣ его загадки разрѣшены, ѣдетъ домой въ самомъ скверномъ настроеніи. Арфа звучитъ здѣсь съ начала до конца. Что пѣлъ онъ въ началѣ, что пѣлъ въ концѣ? Я часто раздумывалъ объ этомъ. Голосъ Класа Гинрихсона иногда при началѣ пѣсни былъ слезливо-мягокъ, но потомъ постепенно становился грубъ и гнѣвенъ, какъ море, когда приближается гроза. Начинается такъ:

Рыцарь Фонведъ въ своей комнаткѣ сидитъ,
Арфа золотая у него звучитъ,
Подъ платьемъ на золотой арфѣ играетъ,
Тутъ его мать въ комнату вступаетъ.
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

Это вошла его мать Аделина, королева, и она говоритъ ему: «Мой молодой сынъ, предоставь играть на арфѣ другимъ, опоясайся мечомъ, садись на коня, поѣзжай, испытай свое мужество, сражайся и борись, оглядывайся, рыцарь Фонведъ».—И

Рыцарь Фонведъ опоясался мечомъ,
Хочется ему поскорѣй подраться съ врагомъ,
И такой странный путь его:
Не встрѣчаетъ онъ на немъ никого!
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

Шлемъ его блеститъ,
Шпора его звенитъ,
Конь прыгаетъ ретиво,
Самъ всадникъ сидитъ такъ красиво!
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

Ѣдетъ онъ одинъ день, ѣдетъ три—
Ни одного города, куда ни смотри.
«Что-жъ это?—говоритъ молодой ѣздокъ:—
Есть въ этой странѣ хоть одинъ городокъ?»
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

Ѣдетъ онъ дальше путемъ своимъ,
Герръ Тулэ Вангъ встрѣчается съ нимъ,
Герръ Тулэ и его сыновья—
Вся добрыхъ рыцарей семья.
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

— «Мой старшій сынъ, послушай меня:
Дай мнѣ панцырь свой, вотъ моя броня,
Обмѣняемся мы доспѣхами съ тобой,
И потомъ—съ этимъ героемъ въ бой».
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

Рыцарь Фонведъ обнажаетъ свой мечъ.
Хочется ему противниковъ посѣчь,
Убиваетъ сперва Тулэ самого,
А тамъ и двѣнадцать сыновей его.
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

Фонведъ опять опоясывается мечомъ, хочется ему новыхъ приключеній, и ѣдетъ онъ дальше. Вотъ пріѣзжаетъ къ охотнику и требуетъ у него половины его охотничьей добычи; но тотъ не хочетъ дѣлиться, и принужденъ съ нимъ драться, и убитъ. И—

Рыцарь Фонведъ опоясывается мечомъ—
Хочется опять побиться съ врагомъ,
Подъѣзжаетъ герой къ высокой горѣ—
Тамъ пастухъ выгналъ коровъ на зарѣ.
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

— «Послушай, пастухъ, узнать мнѣ надо:
Чье это здѣсь пасешь ты стадо?
И что колеса круглѣй?
И гдѣ Рождество справляютъ всего веселѣй?»
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

«Скажи: гдѣ рыбу скрываетъ глубина?
И гдѣ красная птица вкусна?
Гдѣ вино самое лучшее пьютъ?
Гдѣ у Видриха съ дружиной пиры идутъ?»
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

Сидитъ пастухъ, не скажетъ ничего—
Отвѣта не найти ни одного.
Рыцарь какъ хватитъ его языкомъ—

Печень съ легкими такъ и выпали комкомъ.
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

И подъѣзжаетъ онъ къ другому стаду, тамъ опять сидитъ пастухъ, къ которому онъ обращается съ тѣми же вопросами. Но этотъ даетъ надлежащіе отвѣты, и Фонведъ беретъ золотое кольцо и надѣваетъ пастуху на палецъ. Затѣмъ онъ ѣдетъ дальше, пріѣзжаетъ къ Тиге Нольду и убиваетъ его вмѣстѣ съ двѣнадцатью его сыновьями. И снова—

Гонитъ коня и долиной, и горой
Рыцарь Фонведъ, юноша-герой;
Все впередъ, да впередъ тянетъ его;
Но отвѣтовъ не находитъ ни у кого.
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

Вотъ къ третьему стаду подъѣзжаетъ онъ—
Тамъ пастухъ, сѣдинами убѣленъ.
— «Послушай, пастухъ, ты навѣрно мнѣ,
О чемъ спрошу я, отвѣтишь вполнѣ».
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

«Что, скажи, колеса круглѣй?
Гдѣ Рождество справляютъ всего веселѣй?
Гдѣ солнце спускается въ свои чертоги?
И какъ лежатъ у мертвеца ноги?»
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

«Что наполняетъ всѣ долины?
Что нарядѣй всего для мужчины?
Что громче крика журавлей?
И что лебедя бѣлѣй?»
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

«Кто бороду носитъ у затылка своего?
Носъ растетъ подъ подбородкомъ у кого?
Что чернѣе засова у дверей?
И что молодой лани быстрѣй?»
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

«Гдѣ мостъ шире всѣхъ въ сотни разъ?
Что противнѣй всего для человѣческихъ глазъ?
Куда лѣстницы самыя высокія ведутъ?
Гдѣ самый холодный напитокъ пьютъ?»
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

— «Солнце колеса круглѣй,
Рождество справляютъ въ небѣ всего веселѣй,
На западѣ солнце спускается въ свои чертоги,
Къ востоку лежатъ у мертваго ноги!»
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

«Снѣгъ наполняетъ всѣ долины,
Храбрость—самое нарядное платье для мужчины,
Громъ шумитъ громче крика журавлей,
Ангелы лебедя бѣлѣй».
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

«Пигалица носитъ бороду у затылка своего,
Носъ подъ подбородкомъ у медвѣдя одного,
Грѣхъ еще чернѣе засова у дверей,
И мысль молодой лани быстрѣй».
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

«Ледъ строитъ мостъ шире всѣхъ въ сотни разъ,
Жаба всего мерзѣй для человѣческихъ глазъ,
Лѣстницы самыя высокія въ рай ведутъ,
Холодный самый напитокъ здѣсь на землѣ пьютъ».
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

«Вотъ тебѣ мудрый совѣтъ и отвѣтъ,
А другихъ у меня никакихъ нѣтъ».
— «Человѣкъ ты надежный,—укажи-жъ мнѣ пути,
Гдѣ я могъ бы людей, съ кѣмъ сразиться, найти».
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

— «Встрѣтишь ты Зондербургъ, какъ поѣдешь впередъ,
Тамъ герои беззаботно попиваютъ медъ,
Тамъ найдешь много рыцарей и бойцовъ—
На то, чтобы подраться, сущихъ молодцовъ!»
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

Снялъ онъ золотой перстень съ пальца своего—
Фунтовъ пятнадцать въ немъ было, не менѣе того—
И спѣшитъ старику-пастуху протянуть
За то, что указалъ ему къ героямъ путь.
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

И онъ въѣзжаетъ въ замокъ Зондербургъ, и убиваетъ сперва Рандульфа, потомъ Страндульфа,—

Убилъ силача Эге Ундера самого,
Убилъ Эге Карла, брата его,
Билъ налѣво, направо, наповалъ,
Всѣхъ враговъ, что тутъ были, убивалъ.
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

Прячетъ мечъ въ ножны рыцарь Фонведъ—
Думаетъ дальше ѣхать для новыхъ побѣдъ;
И находитъ онъ въ сторонѣ глухой
Бойца—съ силою очень большой.
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

— «Скажи-ка, рыцарь благородный, мнѣ:
Гдѣ живетъ рыба въ морской глубинѣ?
Гдѣ вино самое лучшее пьютъ?
Гдѣ у Видриха съ дружиной пиры идутъ?»
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

— «На востокѣ живетъ рыба въ глубинѣ,
На сѣверѣ знаютъ о лучшемъ винѣ,
Въ Галландѣ найдешь Видриха—онъ
Бойцами и свитой большой окруженъ».
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

Пріѣхалъ онъ къ оградѣ замка—она заперта;
Проситъ сторожей впустить его въ ворота.
Никто не отозвался, никто не впустилъ—
Рыцарь черезъ стѣнку самъ перескочилъ.
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

Коня своего къ столбу привязалъ,
Послѣ того идетъ наверхъ, прямо въ залъ,
Сѣлъ за столомъ, у верхняго конца,
И не говоритъ ни одного словца.
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

Ѣстъ онъ и пьетъ безъ всякаго спросу смѣло,
Нѣтъ ему до короля никакого дѣла.
— «Нигдѣ я не встрѣчалъ, хоть свѣтъ объѣздилъ весь,
Столько проклятыхъ языковъ, какъ здѣсь».
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

Говоритъ король дружинѣ своей:
— «Надо сумасшедшаго связать поскорѣй;
Коли не крѣпко свяжете его—
Нѣтъ вамъ благоволенья моего».
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

— «Возьми ты пятерыхъ, возьми и два десятка,
Да еще и себя возьми для придатка—
Не тебѣ, ахъ, ты такой-сякой,
Связать меня своей рукой!»
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

«Король Эсмеръ, кого я отцомъ имѣю,
Съ гордой Аделиной, матушкой моею,
Строго на-строго заказали мнѣ—
Не допускать плута къ своей казнѣ».
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

— «Коль Эсмера короля ты отцомъ можешь звать,
А Аделина королева—твоя мать,
Ты, значитъ, Фонведъ, храбрый паладинъ,
Моей самой милой сестры сынъ!»
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

«Коль захочешь ты здѣсь надолго сѣсть,
Будетъ тебѣ отъ насъ и слава и честь,
А захочешь выѣхать погулять—
Будутъ мои рыцари тебя охранять».
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

«Какъ сберешься вернуться въ домъ родной—
Подѣлюсь съ тобою моей казной».
Не лежитъ его сердце къ этому всему—
Вернуться къ матери хочется ему.
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

Ѣдетъ рыцарь домой обратнымъ путемъ,
Кипятъ злоба и досада въ немъ;
Вотъ подъѣхалъ онъ къ своимъ воротамъ,

Видитъ—двѣнадцать колдуній тамъ.
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

Съ прялками въ рукахъ собралися и ждутъ,
По бѣлымъ его голенямъ прялками бьютъ;
Наскочилъ на нихъ рыцарь съ конемъ своимъ—
Повалились всѣ двѣнадцать передъ нимъ.
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

Нѣтъ у него пощады для старухъ,
Вышибъ онъ изъ нихъ сразу духъ;
И матери его тоже удѣлъ таковъ:
Изрубилъ онъ ее на пять тысячъ кусковъ.
Оглядывайся, рыцарь Фонведъ!

Идетъ онъ въ свою залу, тамъ за столомъ
Ѣстъ, упивается свѣтлымъ виномъ,
На золотой арфѣ играетъ все сильнѣй, сильнѣй,
Пока не лопнули всѣ струны на ней!
лядывайся, рыцарь Фонведъ!

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Былъ, однако, отличный весенній день, когда я въ первый разъ оставилъ городъ Гамбургъ. Еще теперь вижу я, какъ въ гавани золотые лучи солнца играли на осмоленныхъ бокахъ судовъ, и слышу веселое, нараспѣвъ произносимое, «гойго!» матросовъ. Такая гавань въ весеннее время имѣетъ, сверхъ того, очень милое сходство съ душевнымъ настроеніемъ юноши, который въ первый разъ отважился поплыть по высокому морю жизни; всѣ мысли его убраны еще въ это время пестрыми флагами, отвага вздымаетъ всѣ паруса его желаній, гойго!.. Но скоро начинаются бури, горизонтъ омрачается, вѣтеръ воетъ, доски трещатъ, волны ломаютъ руль, и бѣдный корабль или разбивается о романтическіе утесы, или садится на влажно прозаическій песокъ, или, можетъ-быть, полусгнившій и разбитый, съ сломанными мачтами, безъ единственнаго якоря надежды, успѣваетъ снова дотащиться въ старую гавань и тамъ изгниваетъ, разснащенный самымъ плачевнымъ образомъ.

Но есть также люди, которыхъ слѣдуетъ сравнивать не съ обыкновенными кораблями, а съ пароходами. У этихъ людей мрачный огонь въ груди, и они идутъ наперекоръ вѣтру и непогодѣ, ихъ флагъ развѣвается, какъ перо на токѣ ночного всадника, ихъ зубчатыя колеса точно колоссальныя шпоры, которыми они колютъ бока волнъ морскихъ, и упрямая пѣнистая стихія должна повиноваться ихъ волѣ, какъ конь волѣ всадника... Но часто котелъ лопается, и внутреннее пламя пожираетъ человѣка.

Пора мнѣ, однако, оставить метафоры и сѣсть на дѣйствительный корабль, отправляющійся изъ Гамбурга въ Амстердамъ. То было шведское судно, нагруженное, кромѣ героя этихъ записокъ, желѣзными полосами и долженствовавшее, вѣроятно, на возвратномъ пути нагрузиться треской для Гамбурга или совами для Аѳинъ.

Окрестные берега Эльбы удивительно хороши; особенно привлекательна мѣстность за Альтоной, ниже Ренвиля. Невдалекѣ отсюда похороненъ Клопштокъ. Я не знаю ни одного мѣста, гдѣ бы мертвому поэту было такъ хорошо лежать, какъ здѣсь. Живому поэту жить здѣсь гораздо труднѣе. Какъ часто посѣщалъ я твою гробницу, пѣвецъ Мессіады, ты, воспѣвшій такъ потрясающе вѣрно страданія Іисуса! Но вѣдь ты достаточно долго жилъ на Королевской улицѣ, позади Юнгфернштига, чтобы знать, какъ распинаютъ пророковъ.

На второй день мы пріѣхали въ Куксгафенъ, гамбургскую колонію. Обитатели ея—подданные республики, и очень этимъ довольны. Когда они зимою зябнутъ, тогда имъ посылаютъ изъ Гамбурга шерстяныя одѣяла, а лѣтомъ, въ большія жары—и лимонадъ. Въ качествѣ проконсула живетъ здѣсь высоко или благо-мудрый сенаторъ. Онъ получаетъ ежегодно двадцать тысячъ марокъ жалованья и правитъ пятью тысячами душъ. Есть здѣсь и морская купальня, имѣющая передъ другими морскими то преимущество, что она въ то же время и эльбская купальня. Большая плотина, по которой можно прогуливаться, ведетъ къ Рицебютелю, также принадлежащему къ Куксгафену. Слово «Рицебютель» происхожденія финикійскаго: «Рице» и «Бютель» значатъ по-финикійски «устье Эльбы». Нѣкоторые историки утверждаютъ, что Карлъ Великій только расширилъ Гамбургъ, а построили Гамбургъ и Альтону финикіяне, и какъ разъ въ то время, когда произошло разрушеніе Содома и Гоморры. Можетъ-быть, что бѣжавшіе изъ этихъ двухъ городовъ спаслись у устья Эльбы. Подлѣ улицы Kaffemacherreihe найдено въ землѣ нѣсколько монетъ, выбитыхъ еще въ правленіе Беры XVI и Бирзы X. По моему мнѣнію, Гамбургъ не что иное, какъ древній Тарсисъ, откуда Соломонъ получалъ цѣлые корабли золота, серебра, слоновой кости, павлиновъ и обезьянъ. Соломонъ, т. е. царь Іуды и Израиля, всегда питалъ особенное пристрастіе къ золоту и обезьянамъ.

Никогда я не забуду этого перваго морского путешествія.

Въ памяти моей расцвѣли всѣ морскія сказки, которыя нѣкогда разсказывала мнѣ моя старая бабушка. Я могъ по цѣлымъ часамъ сидѣть на палубѣ и думать объ этихъ сказкахъ; а когда волны плескались, мнѣ казалось, что я слышу голосъ моей бабушки. Закрывалъ я глаза—и она снова сидѣла передо мной, живая, съ единственнымъ зубомъ во рту, и снова торопливо водила губами и разсказывала исторію о летучемъ голландцѣ.

Мнѣ очень хотѣлось взглянуть на русалокъ, сидящихъ на бѣлыхъ утесахъ и расчесывающихъ свои зеленые волосы; но мнѣ удалось только услышать ихъ пѣнье.

Какъ ни пристально смотрѣлъ я иногда на глубь прозрачнаго моря, но ни разу не увидѣлъ затонувшихъ городовъ, въ которыхъ люди, колдовствомъ превращенные въ разные рыбьи образы, ведутъ глубокую, чудно глубокую водяную жизнь. Говорятъ, что лососки и старыя щуки сидятъ тамъ у окошекъ, разодѣтыя по-дамски, и обмахиваются вѣерами, и смотрятъ на улицу, по которой мимо ихъ плаваютъ трески въ совѣтничьихъ мундирахъ, и лорнируютъ ихъ молодые франты-сельди, и копошатся раки, омары и всякая другая мелкота изъ рачьяго царства. Я, однако, не могъ проникнуть взоромъ въ такую глубину и только слышалъ подводный звонъ колоколовъ.

Однажды ночью увидѣлъ я большой корабль съ распущенными кроваво-красными парусами, похожій на темнаго великана въ пурпурномъ плащѣ. Не былъ ли то летучій голландецъ?

Но въ Амстердамѣ, куда мы скоро послѣ того пріѣхали, я увидѣлъ, и именно на сценѣ, живымъ его, страшнаго мингера. При этомъ случаѣ тутъ же въ театрѣ познакомился съ одною изъ тѣхъ русалокъ, которыхъ напрасно искалъ на морѣ. Этой русалкѣ, такъ какъ она была очень мила, я посвящу особую главу.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Сказка о «летучемъ галландцѣ», конечно, знакома вамъ. Это исторія одного заколдованнаго корабля, который съ незапамятныхъ временъ плаваетъ по морю и никогда не можетъ войти въ гавань. Когда какое-нибудь судно попадается ему навстрѣчу, тогда нѣкоторые изъ пассажировъ-привидѣній подъѣзжаютъ въ лодкѣ къ встрѣтившимся и просятъ взять съ собою пакетъ писемъ. Эти письма должно крѣпко прибить гвоздями къ мачтѣ, иначе съ кораблемъ

приключится несчастіе, особенно, если на немъ нѣтъ Библіи или къ фокъ-мачтѣ не приколочена желѣзная подкова. Письма всегда адресованы къ людямъ, которыхъ никто не знаетъ или которые давно умерли, такъ что иногда правнукъ получаетъ письмо для передачи своей прабабушкѣ, которая уже лѣтъ сто лежитъ въ могилѣ. Это деревянное привидѣніе, этотъ страшный корабль получилъ свое названіе отъ своего капитана, голландца, который однажды поклялся всѣми чертями, что объѣдетъ мысъ, названіе котораго я забылъ, несмотря на сильнѣйшую бурю, бушевавшую въ то время, и хоть бы ему пришлось для этого плавать до суднаго дня. Чортъ поймалъ его на словѣ, и капитанъ долженъ плавать до суднаго дня; только вѣрность женщины можетъ снять съ него эту чару. Чортъ, какъ онъ ни глупъ, не вѣритъ въ женскую вѣрность, и поэтому позволяетъ заколдованному капитану разъ въ семь лѣтъ сходить на землю и жениться и при этомъ случаѣ стараться о своемъ избавленіи. Бѣдный голландецъ! Онъ часто бываетъ очень радъ избавиться отъ своего брака и отъ своей избавительницы, и снова отправляется на корабль.

На этой сказкѣ построена пьеса, которую я видѣлъ въ амстердамскомъ театрѣ. Дѣйствіе начинается по окончаніи одного изъ семилѣтнихъ періодовъ. Бѣдный голландецъ болѣе, чѣмъ когда-нибудь, усталъ отъ своего безконечнаго путешествія, пристаетъ къ землѣ, заключаетъ дружбу съ однимъ шотландскимъ купцомъ, продаетъ ему брильянты по безмѣрно дешевой цѣнѣ, и когда узнаетъ, что у новаго друга его есть красавица-дочь, то проситъ ея руки. Эта сдѣлка также устраивается. Передъ нами домъ купца; невѣста робко ожидаетъ жениха. Время отъ времени она тоскливо смотритъ на большую старую картину, висящую въ комнатѣ и изображающую красиваго мужчину въ испанско-нидерландскомъ костюмѣ; это картина наслѣдственная, и, по словамъ бабушки, она—вѣрный портретъ летучаго голландца, какимъ его видѣли въ Шотландіи сто лѣтъ тому назадъ, во время короля Вильгельма Оранскаго. Съ этою же картиною связано перешедшее по преданію предостереженіе, что всѣ женщины этого семейства должны бояться подлинника и беречься его. Вотъ вслѣдствіе этого, въ сердцѣ молодой дѣвушки еще съ малыхъ лѣтъ запечатлѣлись черты опаснаго человѣка. Когда же настоящій летучій голландецъ живьемъ входитъ въ комнату, дѣвушка приходитъ въ ужасъ, но не отъ страха; капитанъ тоже пора-

женъ при видѣ портрета. Когда ему объясняютъ значеніе портрета, онъ искусно отклоняетъ отъ себя всякое подозрѣніе; онъ смѣется надъ суевѣріемъ, смѣется самъ надъ летучимъ голландцемъ, этимъ вѣчнымъ жидомъ океана, но невольно переходя въ грустный тонъ, начинаетъ описывать, какъ мингеръ терпитъ на неизмѣримой пустынѣ моря неслыханныя муки, какъ тѣло его не что иное, какъ гробъ изъ мяса, въ которомъ душа томится скукою, какъ жизнь отталкиваетъ его отъ себя и смерть къ себѣ не принимаетъ; подобно пустой бочкѣ, которую волны насмѣшливо бросаютъ другъ другу, перебрасывается бѣдный голландецъ отъ смерти къ жизни и отъ жизни къ смерти, и ни то, ни другое не хочетъ удержать его; печаль его глубока, какъ море, по которому онъ плаваетъ; корабль его безъ якоря, и сердце его безъ надеждъ.

Приблизительно такими, сколько мнѣ помнится, словами заключилъ женихъ свой разсказъ. Невѣста серьезно смотритъ на него и по временамъ бросаетъ косвенные взгляды на портретъ. Она, кажется, угадала его тайну; и когда онъ потомъ спрашиваетъ: «Катерина, будешь ли ты вѣрна мнѣ» — она отвѣчаетъ: «буду вѣрна до гроба».

При этихъ словахъ, помню, я услышалъ смѣхъ, и онъ выходилъ не снизу, изъ ада, а сверху, изъ рая. Я посмотрѣлъ вверхъ и увидѣлъ одну чудно-прекрасную Евву, искусительно глядѣвшую на меня своими большими голубыми глазами. Одну руку она перевѣсила черезъ парапетъ галлереи и въ этой рукѣ держала яблоко или, вѣрнѣе, апельсинъ. Но вмѣсто того, чтобы символически предложить мнѣ половину, она только метафорически бросила корки мнѣ на голову. Былъ ли то случай или умыселъ? — Это требовалось узнать. Но когда я поднялся въ раекъ для продолженія знакомства, то былъ немало удивленъ, найдя бѣлую, кроткую дѣвушку, удивительно женственную фигуру, не болѣзненно худенькую, но хрустально нѣжную, олицетвореніе семейнаго благонравія и счастливящей привѣтливости. Только на лѣвой сторонѣ верхней губы двигалось или, скорѣе, свертывалось въ кольцо нѣчто похожее на хвостикъ быстрой ящерицы. То было большое таинственное движеніе, какое не встрѣчается у чистыхъ ангеловъ, но какого нельзя найти и у отвратительныхъ чертей. Это движеніе не имѣло значенія ни добра, ни зла, а означало только познаніе дурного; это та улыбка, которую отравило яблоко познанія, съѣденное первымъ человѣкомъ. Когда я

вижу такое движеніе на мягкихъ, розовыхъ губкахъ дѣвушки, тогда и на своихъ губахъ я чувствую судорожный трепетъ, трепетное желаніе поцѣловать эти губы. Это избирательное сродство.

Вотъ почему и прекрасной дѣвушкѣ шепнулъ я на ухо:

— Дѣвушка! Я хочу поцѣловать твои губы.

— Клянусь Богомъ, мингеръ, это славная мысль!—былъ отвѣтъ, вылетѣвшій изъ сердца ея быстро и прозвучавшій упоительно сладко.

Впрочемъ, нѣтъ, я не стану здѣсь разсказывать всю исторію, которую хотѣлъ разсказать и въ которой летучій голландецъ долженъ былъ служить только рамкой. Этимъ я отомщу притворно цѣломудреннымъ женщинамъ, которыя съ наслажденіемъ впиваютъ въ себя подобныя исторіи и очарованы до самыхъ пятокъ, а потомъ бранятъ разсказчика, въ обществѣ отворачиваютъ отъ него носъ и обзываютъ его безнравственнымъ. Моя исторія—славная исторія, драгоцѣнная, какъ маринованный ананасъ, или какъ свѣжая икра, или какъ бургундскія трюфели, и она могла бы служить очень пріятнымъ чтеніемъ послѣ обѣда. Но изъ мщенія, въ наказаніе за прежнюю несправедливость, я не хочу разсказывать ее. И поэтому ставлю здѣсь нѣсколько точекъ...

Эти точки означаютъ черную купетку, и на ней происходила исторія, которую я не разсказываю. Невинные должны страдать наравнѣ съ виноватыми, и ни одна добрая душа смотритъ теперь на меня умоляющимъ взглядомъ. Ну, такъ и быть, этимъ хорошимъ людямъ я открою по секрету, что никто и никогда не цѣловалъ меня такъ пылко, какъ эта голландка-блондинка, и что она самымъ побѣдоноснымъ образомъ разрушила предубѣжденіе, которое я до сихъ поръ питалъ къ бѣлокурымъ волосамъ и голубымъ глазамъ. Только теперь я понимаю, почему одинъ англійскій поэтъ сравнилъ такихъ женщинъ съ замороженнымъ шампанскимъ. Въ ледяной оболочкѣ кипитъ самый горячій экстрактъ. Нѣтъ ничего пикантнѣе, какъ соединеніе этого внѣшняго холода и внутренняго жара, который вакханически пѣнится и повергаетъ въ неодолимое опьяненіе пьющаго счастливца. Да, чувственный огонь далеко не такъ силенъ въ брюнеткахъ, какъ во многихъ, повидимому, тихихъ, неземныхъ созданіяхъ, съ золотистыми волосами, голубыми небесными глазами и дѣвственными лилейными руками. Я знаю одну блондинку изъ одного прекраснаго нидерландскаго дома,

которая по временамъ оставляла свой богатый замокъ въ Зюдерзе, отправлялась инкогнито въ Амстердамъ, шла въ тамошній театръ, бросала каждому, кто ей нравился, апельсинныя корки на голову, а иногда даже проводила самыя шумныя ночи въ трактирахъ съ матросами, какъ голландская Мессалина.

...Когда я опять вернулся въ театръ, то пришелъ какъ разъ къ послѣдней сценѣ пьесы. На высокомъ приморскомъ утесѣ стояла жена летучаго голландца, летучая голландка, и въ отчаяніи ломала руки, между тѣмъ какъ несчастный супругъ ея стоялъ на палубѣ своего безпріютнаго корабля. Онъ любитъ ее и покидаетъ, чтобы не ввести въ погибель; онъ открываетъ ей свою тайну и ужасное проклятіе, тяготѣющее надъ нимъ. А она кричитъ громкимъ голосомъ: «Я была вѣрна тебѣ до этого часа и знаю средство остаться вѣрною до гроба».

Съ эти словами она бросается въ море, и теперь чары спадаютъ съ летучаго голландца, онъ освобожденъ, и зрители видятъ, какъ корабль-привидѣніе погружается въ бездну моря.

Мораль этой пьесы состоитъ для женщинъ въ томъ, что онѣ должны остерегаться выходить замужъ за летучихъ голландцевъ; а намъ, мужчинамъ, пьеса показываетъ, что чрезъ женщинъ мы, даже при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, погибаемъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Но не только въ Амстердамѣ боги были такъ добры, что потрудились разрушить мое предубѣжденіе противъ блондинокъ. Въ остальныхъ городахъ Голландіи я также имѣлъ счастье исправить мои прежнія заблужденія. Но я ни за что не хочу возвышать голландокъ на счетъ дамъ другихъ странъ—избави меня Богъ отъ такой несправедливости, которая въ то же время была бы съ моей стороны величайшею неблагодарностью. Каждая страна имѣетъ свою особенную кухню и своихъ особенныхъ женщинъ, и тутъ все зависитъ отъ вкуса. Одинъ любитъ жареныхъ курицъ, другой—жареныхъ утокъ; что касается до меня, я люблю жареныхъ курицъ и жареныхъ утокъ и, сверхъ того, еще жареныхъ гусей. Разсматриваемыя съ высоко-идеальной точки зрѣнія, женщины вездѣ имѣютъ нѣкоторое сходство съ мѣстною кухнею. Развѣ британскія красавицы не такъ же здоровы, питательны, солидны, консистенты, безыскусственны

и въ то же время превосходны, какъ старо-англійскія добрыя, простыя кушанья: ростбифъ, жареная баранина, пуддингъ съ зажженнымъ коньякомъ, овощи, вареныя въ водѣ и подаваемыя съ двумя соусами, изъ которыхъ одинъ состоитъ изъ растопленнаго масла? Тутъ не улыбается фрикасе, не обманываетъ вѣтреное vol-au-vent, не вздыхаетъ умное рагу, не шалятъ рѣзво эти, на тысячу манеръ начиненныя, взбитыя, изжаренныя, прошпигованныя, пикантныя, декламаторскія и сентиментальныя кушанья, которыя мы находимъ во французскихъ ресторанахъ и которыя представляютъ поразительное сходство съ прекрасными француженками. Вѣдь замѣчаемъ же мы часто, что у этихъ послѣднихъ главная субстанція блюда тоже считается вещью второстепенною, что само жаркое иногда не такъ важно, какъ соусъ, и что тутъ главное—вкусъ, грація и изящество. Кухня итальянцевъ—желто жирная, страстно пряная, юмористически гарнированная, но при этомъ томительно идеальная—носитъ вполнѣ характеръ итальянскихъ красавицъ. О, какъ иногда томлюсь я по ломбардскимъ стоффато, и цамнетти, по фегателли, тальярини и броколи блаженной Тосканы! Все расплывается въ маслѣ, все лѣниво и нѣжно, все напѣваетъ сладкія мелодіи Россини и плачетъ отъ запаха луковицъ и отъ тоски! Но макароны надо ѣсть пальцами, и тогда они называются: Беатриче!

Слишкомъ часто думаю я объ Италіи, и чаще всего—ночью. Третьяго дня снилось мнѣ, что я въ Италіи, что я пестрый арлекинъ и лѣниво лежу подъ плакучей ивой. Но ниспадающія вѣтви этой ивы были не что иное, какъ макароны, нѣжно спускавшіяся до моихъ губъ; сквозь эту бесѣдку изъ макаронъ, вмѣсто солнечныхъ лучей, проникали струи желтаго масла, и, наконецъ, сверху полился бѣлый дождь изъ натертаго пармезана.

Ахъ, снящимися макаронами нельзя насытиться... Беатриче!

О кухнѣ нѣмецкой ни слова. У нея всевозможныя добродѣтели и только одинъ порокъ; но какой именно—не скажу. Тутъ есть чувствительныя, но нерѣшительныя печенья, влюбленныя яичницы, здоровыя клецки, добросердечныя супы съ ячменемъ, пирожки съ яблочками и саломъ, добродѣтельныя лепешки, квашеная капуста—благо тому, кто можетъ все это переварить!

Что касается кухни голландской, то она отличается отъ нѣмецкой, во-1-хъ, чистотою, во-2-хъ, гастрономичностью.

Въ особенности приготовленіе рыбъ прелестно выше всякаго описанія. Трогательный, задушевный, но въ то же время глубоко чувственный запахъ селерея. Самосознательная наивность и чеснокъ. Достойно порицанія только то, что онѣ носятъ фланелевые панталоны, т. е. не рыбы, а прекрасныя дочери моремъ омываемой Голландіи.

Но въ Лейденѣ, куда я пріѣхалъ, кухня оказалась отвратительною. Гамбургская республика избаловала меня; тамошнюю кухню я долженъ еще разъ похвалить, и при этомъ случаѣ еще разъ воздамъ хвалу прекраснымъ гамбургскимъ дѣвицамъ и дамамъ. О, боги! Какъ въ первыя четыре недѣли томился я тоской по копченой говядинѣ и горлицамъ Гамбурга! Я болѣлъ сердцемъ и желудкомъ. Если-бъ, наконецъ, не влюбилась въ меня хозяйка гостиницы «Красной Коровы», я бы умеръ отъ тоски.

Привѣтъ тебѣ, трактирщица «Красной Коровы»!

Это была приземистая женщина съ очень большимъ круглымъ животомъ и очень маленькою круглою головою. Розовыя щечки, голубые глазки—розы и фіалки. По цѣлымъ часамъ сидѣли мы вмѣстѣ въ саду и пили чай изъ настоящихъ китайскихъ фарфоровыхъ чашекъ. То былъ прекрасный садъ, съ четырехъугольными и трехъугольными грядами, симметрически усыпанный золотымъ пескомъ, киноварью и маленькими блестящими ракушками. Стволы деревьевъ прекрасно разрисованы красной и синей краской. Мѣдныя клѣтки наполнены канарейками. Драгоцѣннѣйшія луковичныя растенія въ раскрашенныхъ стеклянныхъ горшкахъ. Тисовыя деревья, удивительно искусно выстриженныя и изображающія обелиски, пирамиды, вазы и даже звѣрей. Тутъ же стоялъ вырѣзанный изъ тиса зеленый быкъ, который почти ревниво смотрѣлъ на меня, когда я обнималъ ее, милую трактирщицу «Красной Коровы».

Привѣтъ тебѣ, трактирщица «Красной Коровы»!

Когда она, бывало, покроетъ переднюю часть своей головы фризскими золотыми дощечками, защититъ животъ, какъ панцыремъ, платьемъ изъ пестрой шелковой матеріи и обременитъ руки бѣлою волною своихъ брабантскихъ кружевъ, тогда она дѣлалась похожа на баснословную китайскую куклу, точно богиня фарфора. Когда же я при этомъ воодушевлялся и громко цѣловалъ ее въ обѣ щеки, тогда она стояла совершенно фарфорно-неподвижно и вздыхала совершенно фарфорно: «мингеръ!» Всѣ тюльпаны въ саду, казалось, приходили тогда въ умиленіе и тоже вздыхали: «мингеръ!»

Это деликатное обстоятельство доставляло мнѣ и много деликатныхъ кусковъ, потому что каждая такая сцена любви имѣла вліяніе на составъ корзины съ съѣстными припасами, которую посылала мнѣ каждый день на домъ милая трактирщица. Мои товарищи, шесть студентовъ, обѣдавшіе со мною въ моей комнатѣ, могли, судя по тому, какъ была изготовлена телятина или баранина, каждый разъ угадать, въ какой степени любила меня она, госпожа трактирщица «Красной Коровы». Если кушанье было дурно, то мнѣ приходилось смиренно переносить много насмѣшекъ въ такомъ, напримѣръ, родѣ: «Смотрите, какой жалкій видъ у Шнабелевопскаго, какъ желто и морщинисто его лицо, какъ точно съ похмелья смотрятъ его глаза; неудивительно послѣ этого, что наша трактирщица пресытилась имъ и посылаетъ намъ теперь дурное кушанье». Или: «Господи! Шнабелевопскій съ каждымъ днемъ слабѣетъ и худѣетъ; онъ, наконецъ, совсѣмъ потеряетъ расположеніе нашей трактирщицы; и тогда мы постоянно будемъ получать такое же дурное кушанье, какъ сегодня; надо его сильно кормить, чтобы онъ снова получилъ пламенный видъ». И при этомъ они набивали мнѣ ротъ именно самыми дурными кусками и заставляли меня ѣсть необычайно много селерея. Если же невкусныя блюда посылались нѣсколько дней сряду, тогда товарищи осаждали меня самыми серьезными просьбами позаботиться объ улучшеніи кухни, снова воспламенить сердце нашей трактирщицы, усилить мою нѣжность къ ней—словомъ, принести себя въ жертву общему благу. Въ длинныхъ рѣчахъ представляли они мнѣ, какъ благородно, какъ великолѣпно поступаетъ тотъ, кто героически отрекается отъ себя для блага своихъ согражданъ, подобно Регулу, сѣвшему въ бочку, утыканную гвоздями, или Тезею, добровольно отправившемуся въ пещеру Минотавра — и тутъ же цитировали Ливія, Плутарха и т. п. Къ такому соревнованію побуждали они меня и символически, рисуя на стѣнѣ упомянутыя великія дѣянія и дѣлая при этомъ грубые намеки: Минотавръ походилъ у нихъ на красную корову, изображенную на вывѣскѣ трактира, а карѳагенская бочка съ гвоздями—на самоё трактирщицу. Особенно внѣшній видъ превосходной женщины служилъ постоянною цѣлью насмѣшекъ этихъ неблагодарныхъ людей. Они имѣли обыкновеніе фигуру ея или составлять изъ яблоковъ, или скатывать изъ хлѣба. Въ первомъ случаѣ, они брали маленькое яблоко, долженствовавшее изображать ея голову,

клали его на огромное яблоко, представлявшее животъ, а этотъ послѣдній устанавливали на двѣ деревянныя зубочистки, игравшія роль ногъ. Изъ хлѣба они скатывали крошечную куколку, изображавшую мою собственную особу, сажали ее на другую, тоже скатанную изъ хлѣба, но уже большую фигуру, и начинали дѣлать самыя скверныя сравненія. Одинъ, напримѣръ, замѣчалъ, что маленькая фигурка— Аннибалъ, восходящій на Альпы; другой, напротивъ, утверждалъ, что это Марій, сидящій на развалинахъ Карѳагена. Но какъ бы то ни было, а не восходи я по временамъ на Альпы, или не садись иногда на развалины Карѳагена — мои сотрапезники постоянно получали бы скверное кушанье.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Когда жаркое было совершенно дурно, то мы пускались въ богословскіе споры. У большинства образъ мыслей былъ религіозный. Атеистами оказывались только трое изъ насъ, но и они уступали, когда къ дессерту подавался, по крайней мѣрѣ, хорошій сыръ. Самый ревностный деистъ былъ маленькій Самсонъ, и когда онъ спорилъ съ длиннымъ фанъ-Питеромъ, то приходилъ въ сильное негодованіе, бѣгалъ взадъ и впередъ по комнатѣ и безпрестанно кричалъ: «это, клянусь Богомъ, непозволительно!» Длинный фанъ-Питеръ, тощій фризъ, душа котораго была спокойна, какъ вода въ голландскомъ каналѣ, и слова котораго тянулись спокойно, какъ бичевое судно, бралъ свои доводы изъ нѣмецкой философіи, которою въ то время сильно занимались въ Лейденѣ. Онъ смѣялся надъ тѣми умами, которые приписываютъ Богу существованіе отдѣльнаго лица, онъ даже обвинялъ ихъ въ богохульствѣ, такъ какъ они снабжали Бога мудростью, справедливостью, любовью и тому подобными *человѣческими* свойствами, *Ему* отнюдь не подобающими, ибо эти свойства суть въ нѣкоторой степени отрицаніе человѣческихъ слабостей и пороковъ, если принять въ соображеніе, что мы практикуемъ ихъ только какъ противоположность человѣческой глупости, несправедливости и ненависти. Но когда фанъ-Питеръ начиналъ развивать свои собственныя пантеистическія воззрѣнія, тогда противъ него выступалъ толстый фихтеанецъ, нѣкій Дриксенъ изъ Утрехта, и разрушалъ понятіе объ этомъ смутномъ, въ природѣ разлитомъ, слѣдовательно все-таки въ пространствѣ существующемъ Богѣ; по его мнѣнію, богохульно говорить

вообще о существованіи Бога, ибо понятіе «существованія» есть такое, которое предполагаетъ извѣстное пространство, однимъ словомъ, нѣчто субстанціальное. Нельзя говорить: «Онъ есть»; чистѣйшее бытіе нельзя представлять себѣ безъ матеріальнаго ограниченія; чтобы представлять себѣ Бога, надо сдѣлать отвлеченіе отъ всякой субстанціи, надо представлять Его не какъ форму протяженія, а только какъ порядокъ фактовъ. Богъ не есть существующее, Онъ—чистое дѣйствіе, Онъ только принципъ сверхчувственнаго мірового порядка.

Но при этихъ словахъ маленькій Самсонъ всегда приходилъ въ бѣшенство, и еще необузданнѣе бѣгалъ по комнатѣ, и еще громче кричалъ: «О, Боже, Боже! Это ей-Богу непозволительно, о Боже!» Я думаю, что онъ исколотилъ бы толстаго фихтеанца, будь у него не слишкомъ толстыя ручонки. Иногда онъ, дѣйствительно, устремлялся на противника, но тогда толстый схватывалъ маленькаго Самсона за обѣ ручонки, спокойно заставлялъ его стоять неподвижно, совершенно спокойно разъяснялъ ему свою систему, не вынимая при этомъ изо рта трубочки, и пускалъ ему въ лицо свои тонкіе аргументы вмѣстѣ съ толстѣйшимъ табачнымъ дымомъ, такъ что маленькій почти задыхался отъ дыма и гнѣва, и все тише и тише, моля о помощи, бормоталъ: «О, Боже, Боже...»

Несмотря на эти притѣсненія, маленькій Самсонъ оставался, однако, постояннымъ поборникомъ деизма—и, какъ я думаю, по врожденному влеченію. Ибо его предки принадлежали къ избранному народу божьему—народу, который нѣкогда Богъ взыскивалъ Своею особенною любовью и въ которомъ поэтому до сихъ поръ сохранилась нѣкоторая преданность Ему. Евреи всегда самые покорные деисты, и особенно тѣ изъ нихъ, которые, какъ маленькій Самсонъ, родились въ вольномъ городѣ Франкфуртѣ. Въ вопросахъ политическихъ они могутъ доходить до какого угодно республиканскаго обхода мыслей, могутъ даже валяться въ грязи настоящими сан-кюлотами, но чуть дѣло заводится о вопросѣ религіозномъ — они всегда вѣрноподданные слуги Іеговы... . . . . .

. . . . . .

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Съ маленькимъ Самсономъ я былъ въ Лейденѣ въ очень близкихъ сношеніяхъ, и имя его будетъ еще не разъ упо-

мянуто въ этихъ запискахъ. Кромѣ него, я очень часто видѣлся съ другимъ моимъ сотрапезникомъ, молодымъ фанъ-Меленомъ: я могъ по цѣлымъ часамъ смотрѣть на его прекрасное лицо и въ это время думать о его сестрѣ, которую я никогда не видалъ и о которой только зналъ, что она красивѣйшая женщина въ Ватерландѣ. Фанъ-Меленъ былъ тоже очень красивъ, напоминалъ Аполлона, только Аполлона не изъ мрамора, а скорѣе изъ сыра. Это былъ самый совершенный голландецъ, какого я когда-нибудь видѣлъ. Странная смѣсь мужества и флегмы. Разъ, въ кофейнѣ, онъ такъ взбѣсилъ одного ирландца, что тотъ выстрѣлилъ въ него изъ пистолета, но не попалъ и только выбилъ у него изорта глиняную трубку; лицо фанъ-Мелена осталось неподвижно, какъ сыръ, и самымъ равнодушно-спокойнымъ голосомъ онъ сказалъ кельнеру: «Iane nüe piep». Фатально дѣйствовала на меня его улыбка, потому что при этомъ онъ показывалъ цѣлый рядъ маленькихъ бѣлыхъ зубенковъ, похожихъ скорѣе на рыбьи кости. Не нравилось мнѣ тоже и то, что онъ носилъ большія золотыя серьги. Была у него странная привычка — каждый день перестанавливать мебель въ своей квартирѣ, и кто приходилъ къ нему, тотъ заставалъ его ставящимъ или комодъ на мѣсто кровати, или письменный столъ на мѣсто кушетки.

Маленькій Самсонъ представлялъ съ фанъ-Меленомъ въ этомъ отношеніи самую грустную противоположность. Онъ не могъ выносить, чтобы въ его комнатѣ трогали малѣйшую вещь; онъ приходилъ въ явное волненіе, когда тамъ брали въ руки самый ничтожный предметъ — будь то даже свѣчные щипцы. Все должно было лежать такъ, какъ лежало. Это происходило отъ того, что его мебель и прочія вещи, служили ему, на основаніи правилъ мнемоники, вспомогательными средствами для удержанія въ памяти всевозможныхъ историческихъ чиселъ или философскихъ положеній. Когда однажды горничная, въ отсутствіе Самсона, унесла изъ его комнаты старый сундукъ и взяла изъ комода его рубашки и чулки для отдачи ихъ въ стирку, то онъ, вернувшись домой, пришелъ въ совершенное отчаяніе и сталъ утверждать, что теперь совершенно забылъ ассирійскую исторію, и что всѣ его доказательства безсмертія души, которыя онъ съ такимъ трудомъ совершенно систематически раскладывалъ по разнымъ ящикамъ, отданы теперь въ стирку.

Къ оригиналамъ, которыхъ я узналъ въ Лейденѣ, принадлежитъ и мингеръ фанъ-деръ-Писсенъ, родственникъ фанъ-Мелена, который меня и познакомилъ съ нимъ. Онъ былъ профессоръ богословія въ университетѣ, и я слышалъ у него «Пѣснь Пѣсней» Соломона и Откровеніе Іоанна. Фанъ-Писсенъ былъ красивый, цвѣтущій мужчина, лѣтъ тридцати пяти, очень серьезный и важный на каѳедрѣ. Когда же однажды я пришелъ къ нему на домъ и никого не засталъ въ гостиной, то увидѣлъ въ полурастворенную дверь бокового кабинета совсѣмъ удивительное зрѣлище. Этотъ кабинетъ былъ убранъ въ полукитайскомъ, полупомпадурскомъ вкусѣ. На стѣнахъ золотистые коврики изъ блестяще шелковой матеріи, на полу драгоцѣннѣйшій персидскій коверъ; повсюду удивительныя пагоды изъ фарфора, игрушки изъ перламутра, цвѣты, страусовыя перья и драгоцѣнные камни; кресла, обитыя краснымъ бархатомъ, съ золотыми кистями, и между ними одно, особенно высокое кресло, похожее на тронъ, на которомъ сидѣла молодая дѣвочка лѣтъ около трехъ, одѣтая, по старо-франкской модѣ, въ голубое, вышитое серебромъ, атласное платье, и въ одной рукѣ она держала, наподобіе скипетра, пестрое опахало изъ павлиньихъ перьевъ, а въ другой—завядшій лавровый вѣнокъ. Передъ нею же на полу валялись мингеръ фанъ-Писсенъ, его маленькій мавръ, его пудель и его обезьяна. Эти четверо теребили за волосы и кусали другъ друга, между тѣмъ какъ дѣвочка и зеленый попугай, сидѣвшій на жердочкѣ, безпрестанно кричали «браво!» Наконецъ, мингеръ всталъ съ пола, преклонилъ предъ ребенкомъ колѣни, началъ въ серьезной латинской рѣчи прославлять мужество, съ которымъ онъ побѣдилъ своихъ враговъ, послѣ этого малютка возложила ему на голову лавровый вѣнокъ— и «браво! браво!»—закричали дѣвочка, попугай и я, вошедшій въ это время въ комнату.

Мингеръ былъ, казалось, немного пораженъ тѣмъ, что я засталъ его въ такихъ удивительныхъ занятіяхъ. Имъ, какъ мнѣ сказали впослѣдствіи, онъ предавался каждый день; каждый день побѣждалъ онъ арапчонка, пуделя и обезьяну; каждый день возлагался на голову его лавровый вѣнокъ дѣвочкою, которая была не собственная его дочь, а найденышъ изъ амстердамскаго сиротскаго пріюта.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Въ домѣ, въ которомъ я квартировалъ въ Лейденѣ, жилъ

нѣкогда Янъ Стинъ, великій Янъ Стинъ, котораго я считаю такимъ же великимъ, какъ Рафаэль. Какъ религіозный живописецъ, онъ также очень великъ, и это ясно окажется впослѣдствіи, когда религія скорби исчезнетъ, и религія радости сорветъ мрачный покровъ съ розовыхъ кустарниковъ земли, и соловьи запоютъ, наконецъ, ликуя, свою давно затаенную пѣсню восторга.

Но ни одинъ соловей никогда не будетъ пѣть такъ весело и безмятежно, какъ рисовалъ Янъ Стинъ. Никто не понялъ такъ глубоко, какъ онъ, что на землѣ долженъ быть вѣчный большой праздникъ; онъ понялъ, что наша жизнь есть не что иное, какъ ярко цвѣтной поцѣлуй Бога, и зналъ, что Святой Духъ самымъ великолѣпнымъ образомъ проявляется въ свѣтѣ и радостномъ смѣхѣ.

Глаза художника улыбались свѣту, и свѣтъ отражался въ его смѣющихся глазахъ.

И Янъ всегда оставался добрымъ, милымъ ребенкомъ. Разъ одинъ строгій лейденскій старикъ-проповѣдникъ сѣлъ подлѣ него у камина и началъ пространно выговаривать ему за его веселую жизнь, анти-христіанскія веселыя дѣла, любовь къ напиткамъ, безпорядочное хозяйство и завзятое упорство въ такомъ препровожденіи времени. Янъ слушалъ его два часа совершенно спокойно, не выказывалъ малѣйшаго нетерпѣнія и только разъ прервалъ длинную проповѣдь словами: «Да, домине, освѣщеніе было бы такъ гораздо лучше, и я прошу васъ, домине, подвинуть вашъ стулъ немного ближе къ камину, чтобы пламя бросило красный свѣтъ на все ваше лицо, а остальная часть тѣла осталась въ тѣни...»

Домине въ бѣшенствѣ вскочилъ съ мѣста и ушелъ, а Янъ тотчасъ же схватилъ палитру и нарисовалъ строгаго проповѣдника какъ разъ въ томъ видѣ, въ какомъ старикъ, самъ того не подозрѣвая, служилъ ему моделью. Портретъ этотъ превосходенъ и висѣлъ въ моей спальнѣ, въ Лейденѣ.

Послѣ того, какъ я пересмотрѣлъ въ Голландіи столько картинъ Яна Стина, я какъ будто узналъ всю жизнь этого человѣка. Да, я знаю всѣхъ его родныхъ, его жену, его дѣтей, его мать, всѣхъ его дядей, его домашнихъ враговъ и прочихъ приближенныхъ; я знаю ихъ даже въ лицо. Эти лица вѣдь улыбаются намъ изъ всѣхъ его картинъ, и собраніе ихъ могло бы послужить біографіею художника. Однимъ взмахомъ кисти онъ часто объяснялъ мнѣ сокро-

веннѣйшія тайны своей души. Такъ я думаю, что жена часто упрекала его за склонность къ напиткамъ, потому что на картинѣ, изображающей праздникъ бобовъ и Яна за столомъ, въ кругу своего семейства, жена его представлена сидящею съ огромною кружкою вина въ рукахъ и съ глазами, сверкающими какъ у вакханки. Но я убѣжденъ, что добрая женщина никогда не была привязана къ вину, а плутъ-художникъ хотѣлъ насъ убѣдить, что не онъ, а она любила крѣпкіе напитки; поэтому-то онъ тѣмъ веселѣе смѣется изъ картины. Онъ счастливъ: онъ сидитъ въ кругу своихъ; сынокъ его—царь праздника и стоитъ на стулѣ въ коронѣ изъ золотой бумаги: старуха—мать его, съ блаженнѣйшею улыбкою на морщинистомъ лицѣ, держитъ на рукахъ самаго меньшого внука; музыканты играютъ самые безумно веселые танцы; а бережливо разсудительная, экономически ворчливая хозяйка нарисована такъ, что всѣ послѣдующія поколѣнія будутъ подозрѣвать, что она была пьяна.

Какъ часто, сидя въ своей лейденской квартирѣ, я по цѣлымъ часамъ думалъ о домашнихъ сценахъ, которыя здѣсь переживалъ милый Янъ. Иногда мнѣ казалось, что я вижу его живого, какъ сидитъ онъ передъ своимъ мольбертомъ, по временамъ хватаетъ большую кружку съ виномъ, «подумаетъ и при этомъ выпьетъ, потомъ снова выпьетъ, не подумавши». Это былъ не мрачно католическій призракъ, но новѣйшій свѣтлый духъ радости, который уже послѣ смерти посѣщаетъ еще свою мастерскую для того, чтобы рисовать веселыя картины и пить. Только такія привидѣнія будутъ по временамъ являться нашимъ потомкамъ при свѣтѣ дня, когда солнце будетъ глядѣть сквозь блестящія стекла оконъ, и милый часъ обѣда будетъ возвѣщаться съ башни не мрачно глухими колоколами, а ярко ликующими трубными звуками.

Воспоминаніе о Янѣ Стинѣ было, однако, лучшею или, вѣрнѣе, единственною хорошею вещью въ моей лейденской квартирѣ. Безъ этой задушевной прелести я бы не пробылъ тамъ и восьми дней. Внѣшній видъ дома былъ жалкій, бѣдный, угрюмый, совсѣмъ не голландскій. Темный, дряхлый домъ стоялъ у самой воды, и если, бывало, смотришь на него съ другой стороны канала, то онъ казался старою вѣдьмою, любующеюся на себя въ блестящее очарованное зеркало. На крышѣ постоянно стояли два аиста, какъ на всѣхъ голландскихъ крышахъ. Рядомъ со мною квартировала

корова, молоко которой я пилъ по утрамъ, а подъ моимъ окномъ помѣщался курятникъ. Пернатыя сосѣдки мои носили славныя яйца; но такъ какъ прежде появленія этихъ послѣднихъ на свѣтъ, я долженъ былъ каждый разъ выслушивать долгое кудахтанье, точно скучное предисловіе къ яйцамъ, то наслажденіе мое этимъ кушаньемъ было значительно подорвано. Но непріятности моего жилища состояли главнымъ образомъ въ двухъ фатальнѣйшихъ вещахъ: во-первыхъ, въ игрѣ на скрипкѣ, которою терзали мой слухъ днемъ, и во-вторыхъ, въ безпокойствѣ ночномъ, когда моя хозяйка преслѣдовала своего мужа своею странною ревностью.

Тому, кто хотѣлъ бы узнать отношенія моего хозяина къ моей хозяйкѣ, достаточно было бы послушать, когда они вдвоемъ занимались музыкой. Мужъ игралъ на віолончели, а жена—на такъ-называемомъ violon d'amour. Но она никогда не держала темпа, постоянно забѣгала тактомъ впередъ и умѣла извлекать изъ своего инструмента самые визгливые звуки; слушая эту мычавшую віолончель и эту пищавшую скрипку, можно было думать, что слышишь дерущуюся супружескую чету. Случалось часто и такъ, что мужъ уже давно окончилъ свою партію, а жена все еще пилитъ, точно хочетъ, чтобы послѣднее слово осталось за нею. Это была высокая, но очень тощая женщина, вся изъ кожи и костей; со ртомъ, въ которомъ болталось нѣсколько фальшивыхъ зубовъ, короткимъ лбомъ, почти никакимъ подбородкомъ и тѣмъ болѣе длиннымъ носомъ, кончикъ котораго выдавался наподобіе клюва и которымъ она, играя на скрипкѣ, иногда казалось, умѣряла звукъ той или другой струны.

Хозяинъ мой былъ человѣкъ лѣтъ около пятидесяти, съ очень тоненькими ножками, истощеннымъ блѣднымъ лицомъ и совсѣмъ маленькими зелеными глазками, которые онъ постоянно щурилъ, какъ часовой, которому бьетъ въ лицо солнце. По ремеслу онъ былъ бандажистъ, а по религіи—перекрещенецъ. Онъ очень прилежно читалъ Библію. Это чтеніе прокрадывалось и въ его ночные сны, и по утрамъ, за кофе, онъ, щуря глазами, разсказывалъ женѣ, какъ снова сошла на него благодать, какъ святѣйшія лица удостоили его своимъ разговоромъ.... и какъ всѣ ветхозавѣтныя женщины относились къ нему съ самою дружескою и нѣжною внимательностью.

Это послѣднее обстоятельство было моей хозяйкѣ совсѣмъ

не по сердцу, и нерѣдко обнаруживала она ревнивѣйшее неудовольствіе по поводу ночныхъ встрѣчъ своего мужа съ ветхозавѣтными женщинами. «...Это невозможно!—говорила она:—я не могу допустить ночныхъ сношеній съ безнравственными дочерьми стараго Лота, съ мадамъ Юдиѳь, съ царицею Сабы и разными другими барынями въ такомъ же родѣ». Но до послѣднихъ предѣловъ дошло ея бѣшенство, когда, однажды, утромъ мужъ, отъ полноты души выбалтывая свое блаженство, восторженно нарисовалъ картину прекрасной Эсфири, просившей его помочь ей при туалетѣ, такъ какъ она намѣревалась могуществомъ своихъ прелестей склонить царя Агасфера въ пользу добраго дѣла. Напрасно увѣрялъ бѣднякъ, что господинъ Мордохай самъ ввелъ его къ своей красавицѣ-дочери, что она въ это время была уже полуодѣта, что онъ ограничился только расчесываніемъ ея длинныхъ черныхъ волосъ—напрасно! Разозлившаяся женщина била бѣдняка его собственными бандажами, плескала ему въ лицо горячимъ кофе и несомнѣнно убила бы его, если бы онъ не далъ священнѣйшую клятву отказаться отъ всякихъ сношеній съ ветхозавѣтными женщинами и впередъ водить компанію только съ ветхозавѣтными мужчинами.

Послѣдствіемъ этой сцены было то, что мингеръ съ этихъ поръ сталъ боязливо утаивать свое ночное блаженство; только съ этихъ поръ онъ сдѣлался настоящимъ roué, теперь, какъ онъ сознался мнѣ, у него хватило смѣлости даже дѣлать безнравственнѣйшія предложенія нагой Сусаннѣ, въ концѣ концовъ дерзость его дошла до того, что онъ въ грёзахъ проникъ въ гаремъ царя Соломона и пилъ чай съ его тысячью женами.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Несчастная ревность! Она разрушила одинъ изъ прекраснѣйшихъ сновъ моихъ, а можетъ-быть, и жизнь маленькаго Самсона.

Что̀ такое сонъ? Что̀ такое смерть? Пріостановленіе ли жизни, или совершенное прекращеніе ея? Да, для людей, которые знаютъ только прошедшее и будущее и не въ каждую минуту настоящаго могутъ проживать вѣчность, — да, для такихъ людей смерть должна быть ужасна! Когда они теряютъ оба костыля — мѣсто и время, тогда они падаютъ въ вѣчное ничто.

А сонъ? Отчего не боимся мы ложиться въ постель такъ

же, какъ ложиться въ могилу? Разнѣ не страшно, что тѣло будетъ цѣлую ночь неподвижнымъ трупомъ, между тѣмъ какъ духъ будетъ вести самую дѣятельную жизнь — жизнь со всѣми ужасами того раздѣленія, которое мы установили между жизнью и духомъ? Когда въ будущемъ и жизнь, и духъ снова соединятся въ нашемъ сознаніи, тогда, можетъ-быть, не будетъ никакихъ сновъ; или только больные люди, люди съ разрушенной гармоніею, будутъ грезить. Древніе грезили тихо и мало; сильные, потрясающіе сны были у нихъ случайностями и заносились въ историческія книги.

Настоящія сновидѣнія начались только у евреевъ, народа духа, и достигли высшаго расцвѣта у христіанъ. Наши потомки будутъ приходить въ ужасъ, читая, какое призрачное существованіе мы вели, какъ человѣкъ былъ раздвоенъ въ насъ, и только одна половина жила надлежащею жизнью. На наше время будутъ смотрѣть, какъ на длинный болѣзненный періодъ въ исторіи человѣчества.

А между тѣмъ, какіе сладкіе сны могли намъ сниться! Здоровые потомки наши врядъ ли поймутъ это. Мимо насъ проносились и исчезали всѣ прелести жизни, и мы снова находили ихъ во внутренности души нашей; въ душѣ нашей находили себѣ убѣжище благоуханіе растоптанныхъ розъ и задушевная пѣснь спугнутыхъ соловьевъ...

Я знаю все это — и умираю отъ зловѣщихъ тревогъ и страшныхъ наслажденій нашего времени. Когда вечеромъ я раздѣваюсь и ложусь въ постель, и протягиваю ноги, и укрываюсь бѣлымъ одѣяломъ, тогда по временамъ невольная дрожь пробѣгаетъ по моему тѣлу, и кажется мнѣ, что я трупъ и самъ хороню себя. И тутъ я быстро закрываю глаза, чтобы избавиться отъ этой страшной мысли и укрыться въ область сновъ.

То былъ сладкій, милый, лучезарный сонъ. Небо свѣтло-голубое и безоблачное, море зеленое и неподвижное. Необозримо разстилалась равнина моря; и по ней плылъ, украшенный пестрыми флагами, корабль, а на палубѣ сидѣлъ я у ногъ Ядвиги. Тѣ причудливыя пѣсни любви, которыя я самъ писалъ на розовыхъ бумажкахъ, читалъ я ей теперь, привольно вздыхая, а она слушала недовѣрчиво склоненнымъ ухомъ, тоскливо улыбаясь, и по временамъ быстро вырывала листы изъ рукъ моихъ и бросала ихъ въ море. Но прекрасныя русалки, съ ихъ бѣлоснѣжными грудями и руками, каждый разъ выплывали изъ воды и ловили разлетавшіяся пѣсни любви. Перегнувшись черезъ

бортъ, я ясно увидѣлъ глубину дна морского: тамъ сидѣли, какъ въ свѣтской гостиной, прекрасныя русалки, а посреди ихъ стоялъ молодой духъ моря и съ чувствительно одушевленнымъ лицомъ декламировалъ мои любовныя пѣсни. Шумные аплодисменты раздавались по окончаніи каждой строфы; зеленокудрыя красавицы аплодировали такъ страстно, что грудь и шея ихъ покрывались румянцемъ, и съ радостнымъ, но въ то же время полнымъ состраданія вдохновеніемъ онѣ восклицали: «Какія странныя созданія эти люди! Какъ странна ихъ жизнь! Какъ трагична вся судьба ихъ! Они любятъ другъ друга и большею частью не смѣютъ это говорить; а если и смѣютъ, то рѣдко могутъ понять другъ друга! И при этомъ они не живутъ вѣчно, какъ мы: они смертны; самое короткое время дано имъ для отысканія счастья; они должны торопливо ловить его и торопливо прижимать къ сердцу прежде, чѣмъ оно убѣжало: потому-то ихъ любовныя пѣсни такъ нѣжны, такъ глубоки, такъ сладко тоскливы, такъ отчаянно веселы; потому-то въ нихъ такое странное смѣшеніе радости и скорби. Мысль о смерти набрасываетъ меланхолическую тѣнь на блаженнѣйшія минуты ихъ и привѣтно утѣшаетъ ихъ въ несчастіи. Они могутъ плакать. Сколько поэзіи въ такой слезѣ человѣка!»

— Слышишь ли,—сказалъ я Ядвигѣ:—какъ эти подводныя существа разсуждаютъ о насъ? Обнимемся же, другъ мой, чтобы онѣ не только перестали жалѣть о насъ, но даже позавидовали намъ.

Но она, моя возлюбленная, посмотрѣла на меня съ безконечною любовью и не сказала ни слова. Я безмолвно поцѣловалъ ее. Она поблѣднѣла, и холодный трепетъ пробѣжалъ по милому существу. Черезъ нѣсколько минутъ она лежала неподвижною въ моихъ объятіяхъ, какъ бѣлый мраморъ, и я счелъ бы ее мертвою, если-бъ двѣ крупныя струи слезъ не вытекли изъ ея глазъ, и эти слезы залили меня, между тѣмъ какъ я все сильнѣе и сильнѣе обнималъ милое созданіе...

Въ эту минуту я вдругъ услышалъ пронзительный голосъ моей хозяйки и пробудился. Она стояла у моей кровати съ потаеннымъ фонаремъ въ рукѣ и просила меня скорѣе встать и слѣдовать за нею. Никогда я не видѣлъ ее въ такой степени отвратительною. Она была въ рубашкѣ, и тощія груди ея золотились блескомъ луны, проникавшимъ въ окошко; онѣ походили на два высушенныхъ

лимона. Не зная, чего она хочетъ, еще полусонный, я послѣдовалъ за нею въ спальню ея супруга. Бѣднякъ лежалъ съ надвинутымъ на глаза колпакомъ и, казалось, сильно грезилъ. Время отъ времени тѣло его явно вздрагивало подъ одѣяломъ, губы то улыбались отъ какого-то неописаннаго блаженства, то судорожно сжимались, какъ будто для поцѣлуя; онъ хрипѣлъ и лепеталъ: «Фасти! царица Фасти! Ваше величество! Не бойся никакого Агасфера! Возлюбленная Фасти!»

Съ пылающими гнѣвомъ глазами склонилась жена къ спящему супругу, приложила ухо къ его головѣ, какъ будто могла выслушать его мысли и прошептала мнѣ: «Убѣдились ли вы теперь, мингеръ Шнабелевопскій? У него любовная интрига съ царицею Фасти! Безстыдный измѣнникъ! Я уже вчера ночью узнала объ этомъ постыдномъ обстоятельствѣ... Даже язычницу онъ мнѣ предпочитаетъ! Но я женщина и христіанка, и вы увидите, какъ я умѣю отомщать».

Съ этими словами она сорвала одѣяло съ тѣла бѣднаго грѣшника, — онъ лежалъ весь въ поту. Потомъ схватила бандажъ изъ оленьей кожи и начала нещадно колотить имъ по тощимъ членамъ бѣднаго грѣшника. Онъ, пробужденный такимъ непріятнымъ образомъ отъ своего библейскаго сна, сталъ кричать такъ громко, какъ будто столица Суза погибла отъ огня, а Голландія—отъ воды, и криками своими разбудилъ всѣхъ сосѣдей.

На другой день весь Лейденъ говорилъ, что мой хозяинъ кричалъ такъ потому, что засталъ меня ночью въ сообществѣ своей супруги. Эту послѣднюю видѣли полунагою въ окошкѣ, а наша горничная, злившаяся на меня и спрошенная трактирщицею «Красной Коровы», разсказала ей, что она сама видѣла, какъ мифрау ходила ночью съ визитомъ въ мою спальную.

Я не могу безъ сильной горести вспомнить объ этомъ происшествіи. Какія ужасныя послѣдствія!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Если бы трактирщица «Красной Коровы» была итальянка, она, можетъ-быть, отравила бы мое кушанье; но такъ какъ она была голландка, то стала посылать мнѣ очень скверное кушанье. Уже на слѣдующее утро мы испытали послѣдствія ея женскаго гнѣва. Первое блюдо было: никакого супа. Это было ужасно, особенно для такого благо-

воспитаннаго человѣка, какъ я, который съ дѣтства привыкъ ѣсть супъ ежедневно, который до сихъ поръ не можетъ представить себѣ страну, гдѣ бы утромъ не восходило солнце, а въ полдень не подавался супъ. Второе блюдо было говядина, такая сухая и жесткая, какъ корова Мирона. Третье блюдо треска, пахнувшая изъ пеи, какъ человѣкъ. Въ-четвертыхъ, появилась большая курица, которая не только не желала утолить нашъ голодъ, но была такъ суха и истощена, что, казалось, сама голодала, такъ что мы почти изъ состраданія не могли ее ѣсть.

— Ну, маленькій Самсонъ, — вскричалъ толстый Дриксонъ: — ты и теперь вѣришь въ высшее правосудіе? Это, по-твоему, правосудіе? Госпожа бандажистиха посѣщаетъ Шнабелевопскаго темною ночью, а мы за это должны скверно ѣсть свѣтлымъ днемъ!

— О, Боже, Боже! — простоналъ маленькій, весьма разсерженный такими атеистическими выходками, а можетъ-быть — и сквернымъ обѣдомъ. Гнѣвъ его усилился, когда и длинный фанъ-Питеръ сталъ отпускать остроты противъ антропоморфистовъ и хвалить египтянъ, которые чтили быковъ и луковицы, потому что первые, когда они изжарены, а вторыя, когда начинены, имѣютъ божественный вкусъ.

Эти насмѣшки все болѣе и болѣе усиливали неудовольствіе маленькаго Самсона, и онъ слѣдующимъ образомъ заключилъ свою апологію деизма: «Что солнце для цвѣтовъ, то Богъ для людей. Когда лучи небеснаго свѣтила касаются цвѣтовъ — цвѣты весело поднимаются и открываютъ свои чашечки, и развертываютъ самыя яркія украшенія свои. Ночью, когда ихъ солнце далеко, они стоятъ печально, съ закрытыми чашечками, и спятъ, или грезятъ о прошедшихъ золотыхъ поцѣлуяхъ лучей. Тѣ цвѣты, которые постоянно стоятъ въ тѣни, теряютъ краски и ростъ, блѣднѣютъ и вянутъ въ безотрадной тоскѣ, не вѣдая счастья. Тѣ же, которые растутъ въ совершенной темнотѣ, въ старыхъ погребахъ замковъ, подъ развалинами монастырей, становятся отвратительными и ядовитыми, пресмыкаются по полу, какъ змѣи, и уже запахъ ихъ губителенъ, злостно ошеломляющъ, смертеленъ».

— О, тебѣ не зачѣмъ развивать дальше твои библейскія притчи! — вскричалъ толстый Дриксенъ, вливая себѣ въ пасть большой стаканъ можжевеловой водки.—Ты, маленькій Самсонъ, набожный цвѣтокъ, который подъ солнечнымъ

сіяніемъ Бога такъ жадно впиваетъ въ себя священные лучи добродѣтели и любви, что твоя душа цвѣтетъ, какъ радуга, между тѣмъ какъ наша, отвратившаяся отъ Бога, отвратительная и безцвѣтная, вянетъ, если не распространяетъ заразительнаго запаха...

— Я видѣлъ однажды во Франкфуртѣ,—сказалъ маленькій Самсонъ:—часы, которые не вѣрили ни въ какихъ часовщиковъ; они были томпаковые и шли очень дурно...

— Такъ я тебѣ, по крайней мѣрѣ, покажу, что такіе часы могутъ, по крайней мѣрѣ, бить хорошо, — возразилъ Дриксенъ, затѣмъ принялъ спокойный видъ и больше уже не приставалъ къ маленькому.

Такъ какъ этотъ послѣдній, несмотря на свои слабыя ручонки, отлично фехтовалъ, то было рѣшено, что оба будутъ драться въ тотъ же день. Они напали другъ на друга съ большимъ озлобленіемъ. Черные глаза маленькаго Самсона широко раскрылись и горѣли, что представляло еще болѣе разительную противоположность съ его ручонками, очень жалостливо выступавшими изъ засученныхъ рукавовъ рубашки. Съ каждымъ ударомъ онъ нападалъ все стремительнѣе—вѣдь онъ бился за Іегову, Царя Царей... Но, несмотря на это, на шестомъ выпадѣ онъ получилъ рану въ легкія.

«О, Господи!..»—простоналъ онъ и упалъ на землю.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Эта сцена страшно потрясла меня. Но весь тревожный рой моихъ впечатлѣній обратился противъ женщины, бывшей посредственною причиною этого несчастія. Съ сердцемъ, полнымъ гнѣва и скорби, я кинулся въ гостиницу «Красной Коровы».

«Чудовище! Зачѣмъ ты не прислала супу?» — съ такими словами обратился я къ поблѣднѣвшей хозяйкѣ, вбѣжавъ въ кухню. Фарфоръ на каминѣ задрожалъ отъ звука моего голоса. Я былъ страшенъ, какъ можетъ быть страшенъ человѣкъ, когда онъ не ѣлъ супу, и лучшій другъ его получилъ рану въ легкія.

«Чудовище! Зачѣмъ ты не прислала супу?» Эти слова повторилъ я, между тѣмъ какъ сознававшая свою вину женщина стояла передо мною, неподвижная и нѣмая. Наконецъ, однако, слезы брызнули изъ ея глазъ, точно изъ открытыхъ шлюзовъ; онѣ залили все лицо ея и потекли даже въ каналъ груди. Но это зрѣлище не смягчило моего

гнѣва, и съ усиленною горечью я заговорилъ: «О, женщины! я знаю, что вы умѣете плакать; но слезы—не супъ. Вы созданы на нашу погибель. Каждый взглядъ вашъ — ложь и каждое дыханіе—обманъ. Кто первый попробовалъ яблоко грѣха? Гуси спасли Капитолій, но женщина погубила Трою. О, Троя, Троя, священный градъ Пріама, ты пала чрезъ женщину! Кто ввергъ въ погибель Марка Антонія? По чьему наущенію былъ убитъ Маркъ Туллій Цицеронъ? Кто потребовалъ голову Іоанна Крестителя? Кто былъ причиною изуродованія Абелярда?—Женщина! Исторія полна примѣрами того, какъ вы губили насъ. Всѣ ваши дѣла — глупость, и всѣ ваши помыслы — неблагодарность. Мы даемъ вамъ высочайшее, священнѣйшее пламя сердца — нашу любовь, а вы что даете намъ въ замѣнъ? Говядину, скверную говядину, еще сквернѣйшую курятину... Чудовище! Зачѣмъ ты не прислала супу?»

Напрасно мифрау лепетала цѣлый рядъ извиненій и заклинала меня всѣмъ блаженствомъ нашей прошедшей любви—простить ей на этотъ разъ. Она обѣщала мнѣ съ этихъ поръ посылать еще лучшее кушанье, чѣмъ прежде, и отдавать его все-таки только по шести гульденовъ за обѣдъ, тогда какъ хозяинъ сосѣдняго трактира беретъ за простое кушанье по восьми гульденовъ. Она зашла, наконецъ, такъ далеко, что дала слово прислать на слѣдующій день пастетъ изъ устрицъ; въ мягкомъ тонѣ ея голоса начали даже благоухать трюфели. Но я оставался непреклоненъ; я рѣшился навѣки покончить съ нею и вышелъ изъ кухни съ трагическими словами: «Прощай! Въ этой жизни мы уже не будемъ ѣсть вмѣстѣ».

Уходя, я услышалъ позади себя паденіе чего-то на полъ. Былъ ли то кухонный горшокъ или сама мифрау? Я не далъ себѣ труда обернуться и пошелъ прямо къ сосѣднему трактирщику, чтобы заказать къ слѣдующему дню шесть обѣдовъ.

Послѣ этого важнѣйшаго дѣла я поспѣшилъ въ квартиру маленькаго Самсона, котораго засталъ въ очень плохомъ положеніи. Онъ лежалъ въ большой старофранкской кровати безъ занавѣсокъ, но съ четырьмя деревянными подъ мраморъ колонами вокругъ, которыя поддерживали богато вызолоченный балдахинъ. Лицо маленькаго было изнеможенно блѣдно, а во взглядѣ, который онъ бросилъ на меня, лежало столько тоски, доброты и страданія, что я былъ потрясенъ до глубины души. Докторъ только-что ушелъ, объявивъ рану

его опасною. Фанъ-Меленъ, оставшійся у него на ночь, сидѣлъ передъ постелью и читалъ больному изъ Библіи.

— Шнабелевопскій,—простоналъ маленькій:—хорошо, что ты пришелъ. Ты можешь тоже слушать, и это принесетъ тебѣ пользу. Это чудная книга. Мои предки носили ее съ собою по всему свѣту и выносили ради нея много горя и несчастія, и позора, и ненависти, даже часто претерпѣвали за нее смерть. Каждая страница въ ней стоила слезъ и крови, она—написанная отчизна дѣтей божьихъ; она—священное наслѣдіе Іеговы...

— Не говори слишкомъ много,—замѣтилъ фанъ-Меленъ:—тебѣ вредно говорить... А ты, Шнабелевопскій,—шепнулъ онъ мнѣ на ухо:—извини, если я нагоню на тебя скуку; маленькій непремѣнно хочетъ, чтобъ я ему читалъ исторію его тезки, Самсона. Мы на четырнадцатой главѣ: слушай:

«Самсонъ пошелъ въ Фимнафу и увидѣлъ тамъ женщину изъ дочерей филистимлянскихъ...»

— Нѣтъ,—перебилъ маленькій, не раскрывая глазъ:—мы уже на шестнадцатой главѣ. Я точно переживаю все, что ты читаешь, точно слышу блеянье овецъ, пасущихся на берегу Іордана, точно самъ зажегъ хвосты лисицъ и пустилъ ихъ по полямъ филистимлянскимъ, точно самъ побиваю ослиною челюстью тысячу филистимлянъ. О, филистимляне! Они угнетали насъ, ругались надъ нами, заставляли насъ, какъ свиней, платить подати и изъ танцовальной залы выбросили меня на Конную площадь, и въ Бокенгеймѣ топтали ногами... выкинули, ногами топтали, на площадь... О, Господи, это непозволительно!..

— У него лихорадка и онъ бредитъ,—тихо замѣтилъ фанъ-Меленъ и сталъ читать шестнадцатую главу:

«Пришелъ однажды Самсонъ въ Газу, и увидѣлъ тамъ блудницу, и остался у нея.

«Жителямъ Газы сказали:—Самсонъ пришелъ сюда,—и ходили кругомъ, и подстерегали его всю ночь въ воротахъ города, и таились всю ночь, говоря:—До свѣта утренняго подождемъ и убьемъ его.

«А Самсонъ спалъ до полуночи, въ полночь же вставъ, схватилъ двери городскихъ воротъ съ обоими косяками, поднялъ ихъ вмѣстѣ съ запоромъ, положилъ на плечи свои и отнесъ ихъ на вершину горы, которая на пути къ Хеврону.

«Послѣ того полюбилъ онъ одну женщину, жившую на долинѣ Сорекъ; имя ей Далила.

«Къ ней пришли властители филистимскіе и говорятъ ей:—Уговори его и вывѣдай, въ чемъ великая сила его, и какъ намъ одолѣть его, чтобы связать его и усмирить его, а мы дадимъ тебѣ за то каждый тысячу сто серебряныхъ монетъ.

«И сказала Далила Самсону:—Скажи мнѣ, въ чемъ великая сила твоя, и чѣмъ связать тебя, чтобы усмирить тебя?

«Самсонъ сказалъ ей:—Если свяжутъ меня семью сырыми тетивами, которыя не засушены, то я сдѣлаюсь безсиленъ и буду, какъ и прочіе люди.

«И принесли ей властители филистимскіе семь сырыхъ тетивъ, которыя не засохли, и она связала его ими.

«Между тѣмъ, одинъ скрытно сидѣлъ у ней въ спальнѣ, и она сказала ему:—Самсонъ, филистимляне идутъ на тебя!—Онъ разорвалъ тетивы, какъ разрываютъ нитку изъ пакли, когда пережжетъ ее огонь. И не узнана сила его.

— О, глупые филистимляне!—воскликнулъ маленькій и самодовольно улыбнулся:—они, вѣдь, и меня хотѣли посадить на гауптвахту...

Фанъ-Меленъ же читалъ дальше:

«И сказала Далила Самсону:—Вотъ, ты обманулъ меня и говорилъ мнѣ ложь. Скажи же теперь мнѣ, чѣмъ связать тебя?

«Онъ отвѣчалъ ей:—Если свяжутъ меня новыми веревками, которыя не были въ дѣлѣ, то я сдѣлаюсь безсиленъ и буду, какъ прочіе люди.

«Далила взяла новыя веревки, и связала его, и сказала ему:—Самсонъ! филистимляне идутъ на тебя!—(между тѣмъ одинъ скрытно сидѣлъ въ спальнѣ). И сорвалъ онъ ихъ съ рукъ своихъ, какъ нитки.

— О, глупые филистимляне!—воскликнулъ маленькій въ постели.

«И сказала Далила Самсону:—Все ты обманываешь меня и говоришь мнѣ ложь. Скажи мнѣ, чѣмъ бы связать тебя? Онъ отвѣчалъ ей:—Если ты вотчешь семь косъ головы моей въ ткань и прибьешь ее гвоздемъ къ ткальной колодѣ.

«И сказала она ему:—Филистимляне идутъ на тебя, Самсонъ!—Онъ пробудился отъ сна своего и выдернулъ ткальную колоду вмѣстѣ съ тканью.

Маленькій засмѣялся: «Это было въ Эшенгеймерской улицѣ».

Фанъ-Меленъ же продолжалъ:

«И сказала она ему:—Какъ же ты говоришь: «люблю тебя», а сердце твое не со мною? Вотъ ты трижды обманулъ меня—и не сказалъ мнѣ, въ чемъ великая сила твоя.

«И какъ она своими словами тяготила его всякій день и мучила его, то душѣ его стало тяжело до смерти.

«И онъ открылъ ей все сердце свое, и сказалъ ей:—Бритва не касалась головы моей, ибо я назорей Божій отъ чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступитъ отъ меня сила моя, я сдѣлаюсь слабъ, и буду, какъ прочіе люди.

— Этакая глупость!—простоналъ маленькій.

Фанъ-Меленъ читалъ дальше:

«Далила, видя, что онъ открылъ ей все сердце свое, послала и звала властителей филистимскихъ, сказавъ имъ:—Идите теперь, онъ открылъ мнѣ все сердце свое.—И пришли къ ней властители филистимскіе, и принесли серебро въ рукахъ своихъ.

«И усыпила она его на колѣняхъ своихъ, и призвала человѣка, и велѣла ему остричь семь косъ головы его. И началъ онъ ослабѣвать, и отступила отъ него сила его.

«Она сказала:—Филистимляне идутъ на тебя, Самсонъ!—Онъ пробудился отъ сна своего и сказалъ:—Пойду, какъ и прежде, и освобожусь,—а не зналъ, что Господь отступилъ отъ него.

«Филистимляне же взяли его и выкололи ему глаза, привели его въ Газу и оковали его двумя мѣдными цѣпями, и онъ мололъ въ домѣ узниковъ.

— О, Господи, Господи!—не переставалъ жаловаться и плакать маленькій.

— Лежи тихо!—сказалъ фанъ-Меленъ, и читалъ дальше:

«Между тѣмъ, волосы на головѣ его начали расти, гдѣ они были острижены.

«Властители же филистимскіе собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, богу своему, и повеселиться, и сказали:—Богъ нашъ предалъ Самсона, врага нашего, въ руки наши.

«Также и народъ, видя его, прославлялъ бога своего, говоря:—Богъ нашъ предалъ въ руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побилъ многихъ изъ насъ.

«И когда развеселилось сердце ихъ, сказали:—Позовите Самсона, пусть онъ позабавитъ насъ.—И призвали Самсона изъ дома узниковъ, и онъ забавлялъ ихъ, и они поставили его между столбами.

«И сказалъ Самсонъ отроку, который водилъ его за руку:—Подведи меня, чтобъ ощупать мнѣ столбы, на которыхъ утвержденъ домъ, и прислониться къ нимъ.

«Домъ же былъ полонъ мужчинъ и женщинъ; тамъ были всѣ властители филистимскіе, и на кровлѣ было до трехъ тысячъ мужчинъ и женщинъ, смотрѣвшихъ на забавлявшаго ихъ Самсона.

«И воззвалъ Самсонъ къ Господу и сказалъ:—Господи Боже! Вспомни меня и укрѣпи только теперь, о Боже, чтобы мнѣ въ одинъ разъ отомстить филистимлянамъ за два глаза моихъ.

«И сдвинулъ Самсонъ съ мѣста два среднихъ столба, на которыхъ утвержденъ былъ домъ, упершись въ нихъ—въ одинъ правою рукою своею, а въ другой лѣвою.

«И сказалъ Самсонъ:—Умри душа моя съ филистимлянами!—И уперся всею силою, и обрушился домъ на властителей и на весь народъ, бывшій въ немъ. И было умершихъ, которыхъ Самсонъ умертвилъ при смерти своей, болѣе, чѣмъ умертвилъ онъ при своей жизни...»

При этихъ словахъ маленькій Самсонъ вдохновенно и широко раскрылъ глаза, схватился тощими ручонками за колонны своей кровати и сталъ трясти ихъ, гнѣвно восклицая: «Да умретъ душа моя съ филистимлянами!» Но крѣпкія колонны остались неподвижны; маленькій, въ изнеможеніи и съ печальною улыбкой, упалъ на подушки, и изъ раны его, повязка которой спала, потекла красная струя крови...

Примѣчанія

къ 2-му тому.

Къ стр. 5. Лютеція—римское названіе Парижа.

Къ стр. 11. Слова: «fiat justitia, pereat mundus!»—древне-римское изреченіе, означающее: «да совершится правосудіе, хотя бы погибъ міръ».

Къ стр. 14. Князь Пюклеръ-Мюскау, авторъ книги «Письма умершаго» полное заглавіе ея—«Отрывочный дневникъ путешествія по Англіи, Уэльсу, Ирландіи и Франціи, писанный въ 1828 и 1829 г.».

Къ стр. 15. *Прокрустово ложе...* Прокрустъ (греческое слово, означающее «вытягиватель»)—прозвище, данное разбойнику Дамасту, который, по легендѣ, относящейся къ миѳическимъ временамъ Греціи, клалъ всѣхъ, попадавшихся въ его руки, на одну изъ двухъ, особо для этого у него стоявшихъ кроватей,—на очень короткую или на очень длинную — и, сообразно росту своей жертвы относительно длины кровати, укорачивалъ посредствомъ отсѣченія, или удлинялъ посредствомъ вытягиванія ихъ тѣла.

Къ стр. 17. *Тьеръ снова поставилъ насъ, какъ народъ, на ноги...* Другими словами—грозившая извнѣ опасность заставила всю Германію сплотиться для сопротивленія французскимъ замысламъ.

Къ стр. 19. Анахарзисъ — скиѳъ изъ царственнаго рода, предпринимавшій ради любознательности отдаленныя путешествія въ разныя страны.—Сандомиръ—городокъ радомской губерніи; Сандомихомъ же Гейне называетъ Берлинъ, дѣлая въ 1-й части слова каламбуръ съ нѣмецкимъ словомъ Sand (песокъ) на томъ основаніи, что Берлинъ построенъ въ песчаной мѣстности, а вторую часть (михъ) измѣняя потому, что въ Берлинѣ простой народъ вмѣсто *mir* говоритъ *mich*.

Къ стр. 20. Леди Стенгопъ, послѣ шумной жизни въ Англіи, переселилась въ Сирію и тамъ пріобрѣла огромный авторитетъ между туземцами; ум. въ 1839 г.—*Пока еще не поздно* и т. д. Съ 1840 до 1842 г. между англичанами и китайцами происходила война, окончившаяся пораженіемъ китайцевъ; богдыханъ въ своихъ манифестахъ называлъ англичанъ «варварами съ рыжей щетиной».—Симургъ—въ персидской миѳологіи громадная птица, живущая на горѣ Кафъ (Кавказъ); онъ въ продолженіе 70 тыс. лѣтъ былъ великимъ визиремъ до-

адамовскихъ царей Соломоновъ, потомъ удалился въ свое гнѣздо, но, пробывъ тамъ нѣсколько времени, снова сдѣлался слугою Соломона, помогаетъ ему совѣтами и охраняетъ его голову своими блестящими перьями. Здѣсь подъ птицею Симургомъ подразумѣвается Меттернихъ.—*Бѣлые кафтаны и красные штаны*—форма высшихъ военныхъ чиновъ въ Австріи.—Іоганнисбергъ—имѣніе Меттерниха на Рейнѣ.

Къ стр. 24. Mât de cocagne — мачта, устраиваемая на общественныхъ гуляньяхъ, на которую взбираются, чтобы получить лежащій на ея верхушкѣ призъ.—Графиня Жанлисъ—авторъ многихъ популярно-философскихъ и беллетристическихъ сочиненій. —*Лафайетъ, хотѣвшій сдѣлать изъ меня лучшую республику;* Людовикъ Филиппъ былъ поставленъ на царство, благодаря преимущественно содѣйствію Лафайета, который составилъ и программу будущаго управленія государствомъ; по этой программѣ королевская власть должна была окружить себя республиканскими учрежденіями.

Къ стр. 26. *Кто назначенъ министромъ народнаго просвѣщенія.* Это былъ Кузенъ.

Къ стр. 28. *Дотаціонный вопросъ.* Здѣсь рѣчь идетъ о такъ-называемой дотаціи (деньги на содержаніе особъ царствующей фамиліи) для герцога Немурскаго, второго сына Людовика Филиппа, по случаю только-что состоявшейся женитьбы его.

Къ стр. 31. Бабефъ—одинъ изъ самыхъ яростныхъ якобинцевъ во время первой революціи. — *Во главѣ... станутъ кожевникъ и колбасникъ.* Намекъ на комедію Аристофана «Всадники», гдѣ вліятельнѣйшими въ народѣ лицами являются кожевникъ и колбасникъ.

Къ стр. 33. Вильямъ Питтъ (младшій) — знаменитый государственный дѣятель, стоявшій во главѣ противореволюціоннаго движенія. — Кобургъ — герцогъ саксенъ-кобургскій, командовавшій австрійскою арміей въ войнѣ съ французскими революціонными отрядами.

Къ стр. 34. *Одинъ страшный священникъ...* Это — знаменитый аббатъ Ламнэ, создатель демократическаго католицизма, авторъ «Paroles d'un Croyant» и другихъ сочиненій, имѣвшихъ большое вліяніе въ соціалистическомъ движеніи тридцатыхъ годовъ.

Къ стр. 35. Фенрисъ — въ германской миѳологіи волкъ, который при погибели міра проглатываетъ бога боговъ. Одина, Гела — богини смерти и подземной тьмы.

Къ стр. 37. *Какъ сдѣлалъ недавно Бальзакъ.* Рѣчь идетъ о его драмѣ «Vautrin».—«Римлянами» называютъ въ Парижѣ клакеровъ.

Къ стр. 39. *На подмосткахъ Palais Bourbon и Люксамбурга.* Въ Palais Bourbon происходили засѣданія палаты депутатовъ; въ Люксамбургѣ—засѣданія палаты перовъ.

Къ стр. 41. *Клеопатрѣ, которую я когда-то назвалъ* и т. д. Это въ статьѣ «Женщины и дѣвушки Шекспира» (будетъ напечатана въ одномъ изъ послѣдующихъ т. настоящаго изданія). — Изображеніе Бальзака—въ его романѣ «La femme de trente ans». — Зандъ и Сандо пишутся по-французски одинаково съ буквы *S* (Sand, Sandeau)—только выговариваются различно.—Убійца писателя Коцебу — Карлъ Зандъ, іенскій студентъ; убійство совершено въ Мангеймѣ, въ мартѣ 1819 года.

Къ стр. 44. Пьеръ Леру—философъ соціалистическаго направленія, пользовавшійся въ ту пору большимъ авторитетомъ.—*Безымянное насѣкомое хвастается...* Это композиторъ Дессауэръ, о которомъ говорится подробно въ письмѣ XIV 2-й части «Люціеіи».

Къ стр. 47. Весною 1840 г. въ Алеппо оказался убитымъ старый

капуцинъ; такъ какъ виновнаго найти не могли, то приписали это преступленіе евреямъ, которымъ будто бы понадобилась кровь этого человѣка для ихъ пасхальнаго празднества;—послѣдствіемъ этого были опустошенія и убійства, произведенныя въ еврейскомъ кварталѣ Алеппо по приказанію Ибрагима-паши.

Къ стр. 50. Кехенеянинъ — греческое слово, значащее: зѣвающій, зѣвака.—Бывшій редакторъ газеты *National*—Тьеръ, основавшій эту газету.

Къ стр. 54. Раввины Самаи и Гиллель—главы двухъ религіозныхъ школъ въ Іерусалимѣ, враждовавшихъ между собой (въ 1-мъ ст. до Р. Х.).

Къ стр. 56. Douairières—вдовы знатныхъ лицъ.—Баронъ, «играющій въ благородномъ предмѣстьи (т. е. С.-Жерменскомъ, гдѣ живетъ парижская аристократія) роль «gentilhomme catholique» — Экштейнъ, перешедшій изъ еврейства въ католичество и издававшій журналъ «Le catholique». — *Мы знаемъ эту тактику*... и т. д. Когда литературная партія, извѣстная подъ названіемъ «Молодой Германіи», подверглась всяческимъ преслѣдованіямъ, то въ числѣ обвиненій выставляли, что члены ея почти всѣ евреи, тогда какъ на самомъ дѣлѣ еврея тамъ не было ни одного.

Къ стр. 57. «Батюшка Янъ»—ярый «нѣмечникъ» (въ первыхъ десятилѣтіяхъ XIX в.), получилъ прозвище «батюшки» (Vater) отъ своихъ послѣдователей—суворѣныхъ защитниковъ нѣмецкой старины.—«Іерусалимскій пилигримъ» — Шатобріанъ, совершившій путешествіе на востокъ и описавшій его.

Къ стр. 58. *Государство будто бы было должно ея покойному отцу*. Отецъ г-жи Сталь—Неккеръ, министръ финансовъ при Людовикѣ XVI.—«Коринной» г-жа Сталь названа здѣсь, какъ авторъ романа подъ этимъ заглавіемъ. — «Point d'argent, point de suisses!» (нѣтъ денегъ, нѣтъ и швейцарцевъ!)—поговорка, происхожденіе которой объясняется тѣмъ, что швейцарцы искони нанимались за деньги на службу въ войска разныхъ государствъ.

Къ стр. 59. *Имѣетъ право обращаться съ Наполеономъ, какъ съ равнымъ себѣ*. Въ своихъ «Замогильныхъ мемуарахъ» Шатобріанъ безгранично кичится своими подвигами и вліяніемъ на все великое, происходившее въ Европѣ въ его время. — Бальи—астрономъ, предсѣдатель перваго Національнаго Собранія, потомъ мэръ Парижа; казненъ въ 1793 г.

Къ стр. 64. *Отвергнувшимъ его, какъ басню, Павломъ*. Это въ посланіяхъ апостола къ коринѳянамъ и Титу.

Къ стр. 65. Повѣшенный предокъ патріарха—константинопольскій патріархъ Григорій, казненный такимъ образомъ въ 1821 г.—Доунинъ-стритъ — лондонская улица, гдѣ помѣщаются важнѣйшія правительственныя учрежденія.

Къ стр. 73. Рельштабъ — выдающійся въ то время музыкальный рецензентъ. — Гудсонъ Лоу — губернаторъ на островѣ Св. Елены во время пребыванія тамъ въ плѣну Наполеона.

Къ стр. 76. Шарантонъ—городокъ около Парижа, съ знаменитымъ домомъ умалишенныхъ.—Картушъ—знаменитый воръ и разбойникъ.

Къ стр. 78. *Принявъ участіе въ коалиціи*. Это—коалиція противъ министерства Моле, которое вслѣдствіе оппозиціи всѣхъ партій должно было выйти въ отставку.

Къ стр. 80. *Недовольныя кости іюльскихъ героевъ выйдутъ изъ нихъ*. Въ 1840 г. тѣла павшихъ въ іюльскіе дни 1830 г. были выкопаны изъ могилъ и съ большимъ торжествомъ снова похоронены на

Бастильской площади. — Возмущеніе въ Сиріи — возстаніе друзовъ и маронитовъ противъ паши.

Къ стр. 84. «*Prix Monthyon*». Филантропъ Монтіонъ учредилъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія премію за добродѣтельные поступки и за такія сочиненія, которыя содѣйствуютъ развитію и укрѣпленію доброй нравственности въ обществѣ. — «Кавалеры» и «пуританскія стриженыя головы» — наименованія двухъ враждебныхъ партій во время англійскихъ междоусобныхъ войнъ 1642—1649 г. Гизо былъ протестантъ.

Къ стр. 85. Въ улицѣ Threadneedle много торговыхъ заведеній.— «Кантъ»—англійское лицемѣріе, возмущеніе противъ всякихъ нарушеній условной и показной нравственности.

Къ стр. 87. *Боятся ли французы новыхъ союзниковъ?* Это — державы, подписавшія договоръ 15-го іюля.—Три іюльскихъ дня, о которыхъ тутъ упоминается—іюльскіе дни 1830 г.

Къ стр. 88. «Кокскомбъ» буквально значитъ по-англійски пѣтушиный гребень; въ переносномъ смыслѣ—дуракъ, шутъ. — О Доунинъ-стритѣ см. примѣч. къ стр. 65.—На бульварѣ des Capucines помѣщалось министерство иностранныхъ дѣлъ.

Къ стр. 90. Высадка принца Людовика (Людовика Наполеона)—въ Вимерё, около Булони, 5-го августа 1840 г.

Къ стр. 91. Gentry—люди состоятельные и родовитые, но не принадлежащіе собственно къ дворянскому сословію. High nobility — высшее сословіе. Mob—чернь.

Къ стр. 95. Генрихъ V—графъ Шамборъ (см. выше).—Кадудаль—одинъ изъ предводителей возстанія шуановъ—бретонскихъ крестьянъ, принявшихъ сторону короля и роялистской партіи.—Шаретъ—тоже.

Къ стр. 97. Книга Баруха — одна изъ апокрифическихъ книгъ Библіи.

Къ стр. 98. О Прокрустѣ см. примѣч. къ стр. 15. Неизвѣстно, почему Гейне называетъ его «царемъ». — Процессъ г-жи Лафаржъ, урожденной Капелль, обвинявшейся въ отравленіи мужа, пріобрѣлъ знаменитость во всей Европѣ.—Распаль—врачъ и естествоиспытатель.

Къ стр. 100. *Громъ бейрутскихъ пушекъ.* 14-го сентября 1840 г. англійскій флотъ, вмѣстѣ съ австрійской и турецкой эскадрой, началъ бомбардировку Бейрута.

Къ стр. 102. *Вчера вечеромъ на биржѣ Тортони.* Тортони — знаменитая въ то время кофейня.

Къ стр. 103. *Въ короля стрѣляютъ.* Рѣчь идетъ о покушеніи нѣкоего Дармеса на короля, 15-го октября 1840 г.

Къ стр. 110 и слѣд. — Штаберле — обычное дѣйствующее лицо въ нѣмецкомъ народномъ фарсѣ; его профессія — зонтичный мастеръ. Бюргеръ Крети и Бюргеръ Плети—тоже дѣйствующія лица, знакомыя Штаберле.

Къ стр. 114. *Ламартинъ предсказываетъ ей повтореніе 10-го августа.* 10-го августа 1792 г. революціонная толпа взяла приступомъ Тюильрійскій дворецъ.

Къ стр. 115. Мадмуазель Гейнефеттеръ — извѣстная въ то время оперная пѣвица.—*Орфила снова блѣетъ... положенный на музыку ядъ для крысъ.* Объ Орфилѣ говорилось выше; о ядѣ для крысъ упомянуто потому, что Орфила былъ токсикологъ (изслѣдователь ядовъ).

Къ стр. 116. *Бабефская республика.* О Бабефѣ см. примѣч. къ стр. 31.

Къ стр. 121. Джемсъ Уаттъ—усовершенствователь паровыхъ машинъ.

Къ стр. 128. Малапартусъ—въ народномъ эпосѣ о «Рейнеке-Лисѣ» называется замокъ Рейнекс.

Къ стр. 132. «Ultima ratio regis» — надпись на пушкахъ значитъ по-латыни: «послѣдній доводъ государей». Говорятъ, что это слова Людовика XIV.

Къ стр. 133. Вольтовъ столбъ — электрическая батарея, изобрѣтенная физикомъ Вольта, прикосновеніе къ концамъ которой вызываетъ сильное вздрагиваніе.

Къ стр. 134. Валгалла—въ скандинавской миѳологіи залъ бога Одина, гдѣ живутъ послѣ смерти павшіе въ битвѣ герои. По представленію о ней Людвигъ I баварскій построилъ около Регенсбурга зданіе, которое назвалъ Валгаллой и въ которомъ выставлены бюсты замѣчательныхъ нѣмецкихъ дѣятелей во всѣхъ сферахъ. — *Королевско-баварскимъ лапидарнымъ стилемъ.* Насмѣшка надъ манерою писанія короля Людовика I-го баварскаго, строителя Валгаллы.

Къ стр. 137. «Другъ Бетговена» — Антонъ Шиндлеръ, постоянный компаньонъ композитора и авторъ его біографіи и сочиненія «Бетговенъ въ Парижѣ».

Къ стр. 139. Трешкоутъ — голландское судно; квиспельдорхенъ — правильно квиспедуръ—голландская плевательница.

Къ стр. 142. *Но Гуэнъ ревнивъ.* О Гуэне говорится выше.

Къ стр. 143. Умышленное оскорбленіе короля—фабрикація подложныхъ писемъ, о которыхъ говорится въ письмѣ XXXI.

Къ стр. 144. М-мъ де-Сентъ Эльмъ, писательница и искательница приключеній, была авторомъ части этихъ подложныхъ писемъ. Почему она названа здѣсь Contemporaine и «вдова великой арміи» — не знаемъ.—Ларошъ-Жакленъ (маркизъ, а не баронъ), членъ палаты депутатовъ въ это время.

Къ стр. 146. Геренъ, Тиксенъ и Эйхгорнъ — знаменитые профессора геттингенскаго университета; первый—исторіи, второй—восточной филологіи, третій — государственнаго права. — Вендская улица—въ Геттингенѣ, мѣсто сборища студентовъ. — Institut Royal (теперь Institut de France) — общее названіе всѣхъ пяти французскихъ академій. — Secrétaire perpétuel (буквально—вѣчный секретарь)—то же, что у насъ «непремѣнный секретарь».

Къ стр. 147. Эолъ — греческій богъ вѣтра. Дафнисъ — сынъ бога Меркурія и одной нимфы, музыкантъ, считался изобрѣтателемъ буколической (пастушеской) поэзіи. — Code Napoléon—французскій сводъ законовъ, составленный въ 1804 г. и дѣйствующій понынѣ.

Къ стр. 149. *Когда я... писалъ о царѣ британскихъ поэтовъ,* — въ статьѣ «Женщины и дѣвушки Шекспира».—Воинственное министерство 1-го марта—министерство Тьера.—Пѣсня Бекера—знаменитая въ Германіи рейнская пѣсня «Sie sollen ihn nicht haben», слова которой Бекеръ сочинилъ въ 1840 г., когда французы замышляли завладѣть лѣвымъ берегомъ Рейна, и которая до сихъ поръ распѣвается германскими патріотами.

Къ стр. 150. О'Коннель — ирландскій агитаторъ, особенно дѣйствовавшій въ пользу эмансипаціи католиковъ. — Объ эмансипаціи католиковъ см. въ 1 т. настоящаго изданія «Отрывочныя замѣтки объ Англіи». — Приведенные здѣсь нѣмецкіе стихи — Гёте; они значатъ: «Если и трещитъ, то все-таки не разобьется, если и разобьется, то не съ тобою вмѣстѣ».—Игнатъ Гуровскій, польскій графъ, въ 1841 г. увезъ испанскую инфанту Изабеллу и обвѣнчался съ нею. Его братъ—Адамъ Гуровскій, публицистъ, одинъ изъ первыхъ, провозгласившихъ

панславистическую миссію русскаго народа, одно время находился при дворѣ Николая I.

Къ стр. 152. Дюфоръ—министръ общественныхъ сооруженій, бывшій большею частью на сторонѣ оппозиціи. Пасси — министръ торговли, державшійся умѣренно-либеральнаго направленія.

Къ стр. 155. Bureau des décés — контора для дѣлъ о внезапныхъ смертныхъ случаяхъ.

Къ стр. 164. Восемнадцатаго брюмера (9-го ноября) 1799 г. Бонапартъ низвергнулъ директорію.—Дюпати—редакторъ газеты «Journal du peuple», былъ приговоренъ къ пятилѣтнему тюремному заключенію по обвиненію въ нравственномъ соучастіи въ покушеніи на жизнь герцога Омальскаго.

Къ стр. 167. Pereat!—латинское восклицаніе, значитъ «да погибнетъ!»—Барбесъ былъ вмѣстѣ съ Бланки главою заговора, который былъ приведенъ въ исполненіе въ маѣ 1838, но окончился пожизненнымъ тюремнымъ заключеніемъ обоихъ предводителей; свобода была возвращена имъ уже при Наполеонѣ III. — Линъ—губернаторъ Кантона, бывшій виновникомъ войны Китая съ Англіею (изъ-за ввоза опіума) въ 1839 г.—Кишенъ—императорскій комиссаръ, руководившій переговорами о мирѣ, окончившими эту войну.

Къ стр. 168. Красноволосыми варварами, собственно «варварами съ рыжей щетиной», китайскій богдыханъ называлъ англичанъ въ своихъ манифестахъ во время войны съ ними въ 1840—1842 г.

Къ стр. 170. *Французскій балетъ отзывается почти галликанскою церковью, если даже не янсенизмомъ.* Галликанскою называется католическая церковь собственно Франціи. Янсенизмъ (отъ Корнелія Янсена)—особое направленіе католической церкви, выражавшееся въ настоятельномъ стремленіи къ улучшенію нравственности въ виду той крайней испорченности, которую находили въ ней янсенисты.

Къ стр. 171. Вестрисъ—знаменитый танцоръ (ум. 1808 г.).

Къ стр. 173. Blague—праздная болтовня. — Роберъ-Макеръ — имя мошенника въ романѣ Рабу «L'auberge des Adrets», сдѣлавшееся нарицательнымъ для обозначенія личностей этого рода.

Къ стр. 177. Источникъ Аретузы—на островѣ Ортиджіа около Спракузъ.

Къ стр. 178. «Темповеръ-Бергъ» Гейне поставилъ ошибочно. Это—Крейцбергъ, гора между Берлиномъ и Темпельгофомъ. — Пилье —директоръ парижской Большой Оперы.

Къ стр. 179. Сведенборгъ — богословъ и духовидецъ XVIII ст.—Филадельфія—знаменитый фокусникъ XVIII ст.—Книга Гейне «Allemagne» — переводъ его сочиненія «Къ исторіи религіи и философіи въ Германіи».

Къ стр. 180. Рошфуко, собственно герцогъ Ларошфуко (ум. 1792 г.), будучи выборнымъ города Парижа въ собраніи Генеральныхъ Штатовъ, стоялъ на сторонѣ третьяго сословія, усердно работалъ въ вопросахъ объ уничтоженіи торговли неграми, уничтоженіи монастырей и церковныхъ имуществъ и введеніи свободы печати.—Аржансонъ—адъютантъ Лафайета, ревностный противникъ реакціи.—Кондильякъ—философъ XVIII в., основатель сенсуализма.—Кабанисъ— (ум. 1808 г.) философъ матеріалистической школы.

Къ стр. 185. *Было предвѣстникомъ несчастья.* 13-го іюля 1842 г. герцогъ Орлеанскій, наслѣдникъ престола, выпрыгнулъ изъ коляски, которую понесли лошади, такъ несчастливо, что чрезъ нѣсколько часовъ умеръ.

Къ стр. 186. Лафиттъ—съ 1830 по 1831 г. министръ, скоро послѣ того сдѣлавшійся однимъ изъ ревностнѣйшихъ дѣятелей оппозиціи.

Къ стр. 187. Тераменъ, въ трагедіи Расина «Федра», этими словами начинаетъ свой разсказъ о смерти царскаго сына Ипполита, случившейся также оттого, что его понесли лошади.

Къ стр. 190. Модель слона была поставлена Наполеономъ, который хотѣлъ соорудить здѣсь большой фонтанъ въ видѣ этой фигуры.— Предмѣстья С. Антуанъ и С. Марсо—кварталы рабочихъ.

Къ стр. 198. *Веллингтонъ... въ свою должность оберъ-палача.* Въ 1841 г. Веллингтонъ снова вступилъ въ министерство. — Наказаніе «девятихвостой кошкой» существовало въ англійскомъ сухопутномъ войскѣ до 1868 г.; во флотѣ существуетъ и теперь.

Къ стр. 199. Чартисты (отъ charter, хартія) — члены радикальной партіи, изложившіе свои политическіе и соціальные планы въ «народной хартіи».

Къ стр. 201. Министерство 1-го марта—министерство Тьера, державшееся до конца октября того же года.

Къ стр. 203. *Оставшуюся въ живыхъ субботнюю компанію*, т. е. компанію, состоящую изъ евреевъ (празднующихъ субботу). — Rive gauche—лѣвый берегъ Сены, по которому проходитъ та желѣзная дорога, гдѣ случилось несчастіе.

Къ стр. 204. О m-lle Гейнефеттеръ см. стр. 115; убійство въ ея кабинетѣ совершено было однимъ изъ ея прежнихъ любовниковъ надъ счастливымъ соперникомъ.—О событіяхъ въ Китаѣ говорилось выше.— Братъ солнца—одинъ изъ титуловъ китайскаго императора.—*Вознаграждаютъ за издержки печатанія и нѣмецкихъ трибуновъ.*—Намекъ на Венедея, писателя и одного изъ главныхъ вожаковъ либеральной партіи. Гейне подозрѣвалъ въ немъ автора одной обидной для него статьи въ англійской газетѣ, вслѣдствіе чего между ними, бывшими до тѣхъ поръ въ дружбѣ, произошелъ разрывъ.

Къ стр. 205. *Трагедіи... во Франціи, Германіи и Гаити.* Во Франціи—катастрофа на версальской желѣзной дорогѣ, въ Германіи— огромный пожаръ, истребившій значительную часть Гамбурга, въ Гаити—страшное землетрясеніе.

Къ стр. 206. *Черная свобода печати.* Во время первой революціи негры на островѣ Гаити возстали противъ бѣлыхъ плантаторовъ и подъ предводительствомъ генерала Туссенъ-Лувертюра (тоже негра) основали свою собственную республику. — *Я отнюдь не имѣлъ въ виду набросить тѣнь...* См. примѣчаніе къ стр. 204 (о Венедеѣ).

Къ стр. 208. Анфантенъ (1796—1864) — глава сенъ-симонистовъ. Ему Гейне посвятилъ французскій переводъ своей книги «О Германіи» (De l'Allemagne).

Къ стр. 209. *Столько же управляетъ, сколько царствуетъ.* Эти слова имѣютъ въ виду старое изреченіе французской политики: «le roi règne, mais ne gouverne pas» (король царствуетъ, но не управляетъ).

Къ стр. 210. *Призрѣнцамъ Генриха V*— т. е. графа Шамбора.

Къ стр. 216. Нѣмецкіе стихи «Matte Fliegen!» и т. д. значатъ: «Дрянныя мухи! Какъ онѣ неистовствуютъ! Какъ онѣ, нахально жужжа, капаютъ своимъ маленькимъ мушинымъ дерьмомъ на носы тирановъ!»—Стихи эти Гейне приписалъ Гёте ошибочно.

Къ стр. 218. Корефъ—нѣмецкій врачъ въ Парижѣ.

Къ стр. 220. Дѣйствительное названіе оперы Дитча не «Летучій Голландецъ», а «Корабль-Призракъ» («Le vaisseau fantôme»). Либретто написали Фуша и Ривуаль, воспользовавшись сценаріемъ

Р. Вагнера, который, въ свою очередь, воспользовался Гейневскимъ изложеніемъ легенды (объ этомъ говорится въ «Запискахъ Шнабелевопскаго», стр. 543 этого тома и примѣч. къ ней).

Къ стр. 222. *Старый дессауэръ, который въ семилѣтнюю войну такъ прославился* и т. д. «Старымъ дессауэромъ» называли одного изъ героевъ семилѣтней войны, принца Леопольда Дессаускаго; по его имени былъ названъ маршъ, которымъ онъ былъ встрѣченъ при своемъ вступленіи въ Парижъ и который затѣмъ остался самымъ популярнымъ въ Германіи.

Къ стр. 227. Receveurs généraux—главные сборщики податей.

Къ стр. 228. Въ Тулонъ и Брестъ ссылали на галеры.

Къ стр. 229. Pontifex maximus — у древнихъ римлянъ верховный жрецъ.—Перейра, банкиръ, одинъ изъ первыхъ строителей желѣзныхъ дорогъ во Франціи; впослѣдствіи основатель Crédit mobilier.

Къ стр. 232. *Крети и Плети биржи.* См. примѣч. къ стр. 110.

Къ стр. 233. Назенштернъ—франкфуртскій еврей-купецъ.—«Въ натурѣ»—потому что копія съ него тотъ Назенштернъ, котораго Гейне вывелъ въ разсказѣ «Бахарахскій раввинъ». — Дрекваль и Менкедаммъ—улицы въ Гамбургѣ.

Къ стр. 235. Орта — у янычаръ названіе отдѣльныхъ отрядовъ, на которые распадалось ихъ войско.

Къ стр. 236. *29-го октября, т. е. профессоръ.* Въ этотъ день Гизо сдѣлался министромъ. — Вальполь—государственный дѣятель (ум. въ 1745 г.), для обезпеченія себѣ большинства голосовъ въ парламентѣ, ввелъ систему подкуповъ въ очень значительной степени.

Къ стр. 237. *«Въ который порокъ сломился бы...»* Стихотвореніе Шиллера «Тѣни Шекспира».

Къ стр. 239. Бланки—соціалистъ демагогъ, игравшій видную роль и въ коммунѣ 1871 г.—Питтъ (Вильямъ, младшій), знаменитый государственный мужъ Англіи; былъ главнымъ дѣятелемъ контръ-революціонной политики. — С. Пелажи — тюрьма въ Парижѣ. — Mont Saint Michel—мѣсто въ Нормандіи, куда ссылались политическіе преступники.

Къ стр. 240. Заявленіе Гейне въ «Allg. Zeit.» 13-го мая 1848 г. касательно его пенсіи приведено въ его біографіи.

Къ стр. 243. Марксъ (Карлъ)—извѣстный соціалистъ.

Къ стр. 245. Годой — любимецъ короля Карла IV и особенно его жены Маріи Луизы (а не Фердинанда VII и его жены, какъ у Гейне); королева, отнявъ у мужа всякое управленіе дѣлами, сдѣлала Годоя неограниченнымъ правителемъ Испаніи. Титулъ «князя мира» (prince de la paix) онъ получилъ за заключеніе мира съ Франціею. Въ 1808 г. ненависть къ нему народа дошла до того, что онъ долженъ былъ бѣжать, поселился во Франціи и тамъ жилъ скудною пенсіею Людовика Филиппа.—*Нѣмецкій ученый изъ Геттингена*—Клиндвортъ.—*Положеніе другого земляка моего...* Это—Вейль, редакторъ двухъ газетъ въ Штутгардѣ.

Къ стр. 246. Полковникъ Густавсонъ—жившій подъ этимъ именемъ въ Парижѣ, низложенный король шведскій Густавъ IV Адольфъ. — О баронѣ Экштейнѣ см. выше.—Капфигъ—публицистъ и историкъ ультрамонтаннаго направленія. — *Къ печенымъ шалетовымъ пулькамъ.* Шалетъ—еврейское кушанье.

Къ стр. 252. *До тѣхъ столбцовъ, «которые исполосованы, какъ спина зебра».* Послѣднія слова (въ ковычкахъ) — изъ стихотворенія Гейне «Къ Гервегу». Столбы — обозначающіе границу государства; «исполосованіе»—рисунокъ ихъ.

Къ стр. 253. «Рыцарственный принцъ»—герцогъ Орлеанскій, сынъ Людовика Филиппа.— Великій исторіографъ»—Тьеръ.

Къ стр. 254. О Масманѣ — см. 1-й т. нашего изданія стр. 586 и 587 и примѣчанія къ нимъ.

Къ стр. 259. Парни — эротическій французскій поэтъ конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія. — Слово lorette значитъ то же, что гризетка.

Къ стр. 262. Внукъ Карла X—графъ Шамборъ.

Къ стр. 263. *Крикнетъ свое «ребята сюда!»* Это въ прежнее время крикъ студентовъ, когда ночью на нихъ нападали не-студенты.

Къ стр. 266. Юнгъ-Стиллингъ, другъ Гёте въ молодости, писатель въ мистически-піетистскомъ направленіи, былъ одно время портнымъ.

Къ стр. 267. О Яковѣ Бёме см. въ ст. «Романтическая Школа» (3-й т. нашего изданія).—Крейцеръ—профессоръ филологіи въ Гейдельбергѣ, авторъ сочиненія «Символика и миѳологія древнихъ народовъ».—Зонненштейнъ — мѣстечко въ Саксонской Швейцаріи, съ домомъ умалишенныхъ.

Къ стр. 268. «Er zählt die Haüpter» и т. д.,—т. е. «Онъ считаетъ головы своихъ милыхъ—и ни одна дорогая голова не отсутствуетъ».—Балланшъ—философъ въ мистическо-соціалистическомъ духѣ. — Г-жа Рекамье — парижская аристократка, салонъ которой былъ сборнымъ пунктомъ интеллигенціи высшаго свѣта.

Къ стр. 270. Жители Беотіи и Абдеры славились своею умственною ограниченностью.

Къ стр. 272. «Доктрина новой нравственности»—общеніе женъ.

Къ стр. 274. «Набожный человѣкъ, обезсмертенный Мольеромъ» — т. е. Тартюфъ.

Къ стр. 276. Краузе (ум. 1832 г.) — основатель такъ-называемаго панентеизма, который онъ опредѣлилъ, какъ высшее соединеніе Гегелевско-Шеллинговскаго абсолютизма съ Канто-Фихтевскимъ субъективизмомъ.

Къ стр. 282. Поръ-Рояль—монастырь близъ Парижа, бывшій главнымъ мѣстопребываніемъ янсенистовъ.

Къ стр. 287. Ius talionis—законъ возмездія.

Къ стр. 288. Souffre-douleurs — почти то же, что «козелъ очищенія».—Pompes funèbres—обстановка погребальныхъ церемоній. — Castrum doloris—помостки у древнихъ римлянъ, гдѣ выставлялись трупы.—Гофратъ Бауэръ—геттингенскій профессоръ уголовнаго права; о немъ, какъ о «Ликургѣ Гановера», см. 1-й т. нашего изданія, стр. 117.

Къ стр. 297. «Историческая школа» возникла въ началѣ нашего столѣтія, какъ противодѣйствіе раціоналистическому духу вѣка предъидущаго, и заявила себя преимущественно въ области законовѣдѣнія; ея главными представителями въ Германіи были знаменитый Савиньи и Эйхгорнъ.

Къ стр. 298. «J'ai failli attendre!» (мнѣ чуть-чуть не пришлось подождать!)—слова Людовика XIV.

Къ стр. 302. Мизраимъ — Египетъ. — Мартинъ (ум. 1854 года) — знаменитый англійскій живописецъ.

Къ стр. 303. О Людвигѣ Тикѣ, главномъ дѣятелѣ нѣмецкой романтической школы, подробно говорится въ сочиненіи Гейне «Романтическая Школа».

Къ стр. 304. Идами марта въ древне-римскомъ календарѣ называлось 15-е число марта, мая, іюня и октября и 13-е остальныхъ мѣсяцевъ.

Къ стр. **305.** Степень доктора музыки Листъ получилъ отъ кенигсбергскаго университета; «докторъ философіи» прибавлено здѣсь для краснаго словца.—Гамельнскій истребитель крысъ—сказочный музыкантъ, истребившій своею игрою всѣхъ крысъ, наводнившихъ городъ Гамельнъ. — Амфіонъ (греч. миѳол.), при постройкѣ города Ѳивъ, своею игрой на лирѣ заставлялъ скалы сходить со своихъ мѣстъ и складываться вмѣстѣ. О кельнскомъ соборѣ упоминается здѣсь потому, что Листъ давалъ концертъ для содѣйствія сооруженію его.—Венгерская почетная сабля—та, которую пештское Музыкальное Общество поднесло Листу; принадлежала нѣкогда Стефану Баторію.

Къ стр. **306.** «Абдериты на рѣкѣ Шпре» — берлинцы. Жители древней Абдеры (въ древней Греціи) славились своею умственною ограниченностью.—Гервегъ—поэтъ ультрарадикальнаго направленія.

Къ стр. **307.** Кантариды—шпанскія мушки.—Bona dea (т. е. добрая богиня) — римская богиня земного плодородія; на празднества въ честь ея собирались только женщины, мужчинамъ входъ былъ строго воспрещенъ.—Комперы—помощники фокусниковъ изъ среды публики.

Къ стр. **309.** Аріадна (въ греческой миѳологіи), дочь царя критскаго, Миноса, съ помощью клубка нитокъ помогла Тезею, послѣ убіенія имъ чудовища Минотавра, выбраться изъ лабиринта.

Къ стр. **310.** Порція — въ «Венеціанскомъ купцѣ» Шекспира. — Гоцци—итальянскій драматургъ конца XVIII в., авторъ многихъ народныхъ сказокъ въ драматической формѣ.

Къ стр. **312.** «Прародительница» — драма со всякими «ужасами», Грильпарцера.—Jettatore—по народному итальянскому повѣрью человѣкъ, обладающій способностью «сглазить» всякаго, на кого онъ взглянетъ.

Къ стр. **314.** Участь Прозерпины состояла въ томъ, что Зевсъ позволялъ ей проводить на землѣ двѣ трети года; остальную треть она должна была оставаться въ аду, у своего мужа Плутона.

Къ стр. **315.** Макіавелли—знаменитый итальянскій политикъ и историкъ (XV ст.), авторъ сочиненія «Государь» (Il principe), породившаго понятіе «макіавелизма», какъ хитрой, но безнравственной политики. Оттого Гейне и замѣнилъ здѣсь фамилію Мейербера фамиліею Макіавелли.—Латинскія слова «ingrata patria» и т. д. значатъ: «неблагодарное отечество, и кости мои не достанутся тебѣ».

Къ стр. **316.** Imbroglio (итальянск.)—путаница.

Къ стр. **317.** «Злато есть одна химера» стихъ изъ хора оперы «Робертъ Дьяволъ», либретто которой написано Скрибомъ. — Morbidezza—болѣзненная мягкость, вялость.

Къ стр. **318.** *Ко мнѣ приближалось... болѣе тяжкое испытаніе.* Въ 1848 г. Гейне заболѣлъ и уже до смерти (1856 г.) не вставалъ съ постели.

Къ стр. **319.** Укермаркъ—Вестфалія.—«Maidenhoud is in her voice», т. е. «въ ея голосѣ есть дѣвственность». — Old spinsters — старыя дѣвы. — Ричардсонъ—авторъ знаменитыхъ въ свое время (XVIII в.) сентиментально-нравоучительныхъ романовъ «Памела», «Клариса Гарлоу» и др.—Linde—по-нѣмецки липа.

Къ стр. **320.** Слова, которыя Гейне приписалъ «старику Паулету» (въ «Маріи Стюартъ» Шиллера) — на самомъ дѣлѣ слова Натана въ «Натанѣ Мудромъ» Лессинга.

Къ стр. **323.** По *этнографическому методу Лепорелло* и т. д. Извѣстная арія Лепорелло въ «Донъ-Жуанѣ» Моцарта, гдѣ онъ исчисляетъ любовныя побѣды своего барина: «mille e tre!» (тысяча три).

Къ стр. **324.** Romantique défroqué — романтикъ, сбросившій свою

рясу.—*Тоска по голубому цвѣтку.* Романтикъ Новалисъ въ одномъ изъ своихъ романовъ выставилъ «голубой цвѣтокъ» символомъ романтической мечтательной грусти.—*Запѣлъ пѣсню...* Рѣчь идетъ о поэмѣ Гейне «Атта-Тролль».

Къ стр. 325. Гриммъ—знаменитый философъ-атеистъ XVIII в., сотрудникъ «Энциклопедіи». — *Будущій медвѣдь Эрмитажа.* Руссо нѣкоторое время жилъ одиноко въ Эрмитажѣ—загородномъ домикѣ въ лѣсу Монморанси. — Тереза Левассеръ жила съ Руссо въ гражданскомъ бракѣ.

Къ стр. 328. Рустанъ—мамелюкъ Наполеона, который привезъ его изъ Египта.—*Султанъ матеріи*—Наполеонъ.

Къ стр. 329. *Арлекинъ*—одинъ изъ сортовъ мороженаго.

Къ стр. 332. *Гастрономическій аскетизмъ или спиритуализмъ жареной курятины.* О гастрономическихъ наклонностяхъ Шлегеля и его пристрастіи къ жареным цыплятамъ Гейне говоритъ въ «Романтической Школѣ».

Къ стр. 333. *Одинъ нѣмецкій баронъ*—фонъ-Экштейнъ; о немъ см. выше. — *Авраама, сына Таерова* — ошибка Гейне. Слѣдуетъ *Тераова.* — *Упнекаты*, испорченное Упанишадъ — древнѣйшія космогоническія сочиненія индійцевъ. — *Король Сабала и король Висмамитра.* См. 1-й т. примѣч. къ стр. 388. — *Снорріевская Эдда* — такъ-называемая «младшая Эдда» (памятникъ скандинавской народной поэзіи), сочиненная или составленная Снорре Стурлезономъ (13-е ст.). — Мането — жрецъ въ Геліополисѣ въ 2 ст. до Р. Х. и авторъ исторіи Египта; Берозъ — вавилонскій астрологъ въ 3 ст. до Р. Х.; Санхуніатонъ—предполагаемый авторъ исторіи Финикіи и Египта (въ 1250 г. до Р. Х.).

Къ стр. 334. *Я родился въ послѣднемъ году прошлаго столѣтія.* Теперь доказано, что Гейне родился въ 1797 г. (См. біографію).

Къ стр. 336. *Вѣрный Эккартъ... къ Венериной Горѣ.* Объ этомъ въ статьѣ «Стихійные духи».

Къ стр. 338. Арналь и слѣд. имена—извѣстные актеры.—Морга—(Morgue)—зданіе, гдѣ выставляются найденные трупы.—*Люксамбургскій некрополь.* Въ люксамбургскомъ дворцѣ во время первой имперіи засѣдалъ сенатъ; впослѣдствіи—палата перовъ.

Къ стр. 339. *Дендерскій зодіакъ*—см. 1-й т. стр. 180 и примѣч. — Grande Chaumière — знаменитый канканный танцъ-классъ, содержателемъ котораго былъ упоминаемый здѣсь же Лагиръ. — Quartier Latin — кварталъ, гдѣ живутъ преимущественно студенты и гризетки.—*Розьера* (rosière) — молодая деревенская дѣвушка, получающая отъ своего общества розу въ награду за примѣрное поведеніе. — С. Жюстъ—знаменитый дѣятель французской революціи.

Къ стр. 340. *За исключеніемъ genre ennuyeux я, вмѣстѣ съ Вольтеромъ* и т. д. Гейне дѣлаетъ здѣсь обычную у многихъ ошибку: стихъ Tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux (всѣ роды поэзіи хороши, кромѣ скучнаго) принадлежитъ не Вольтеру, а Буало.

Къ стр. 346. *Книга, озаглавленная «Гарантіи Общества».*—Дѣйствительное заглавіе этой книги—«Гарантіи гармоніи и свободы».

Къ стр. 355. *На которой стоитъ дядя Томъ*—герой появившагося какъ разъ въ то время романа Бичеръ-Стоу «Хижина дяди Тома».

Къ стр. 362. Моше Рабену—еврейскій переводъ предшествующихъ словъ: «О, Моисей, нашъ учитель!»

Къ стр. 365. Ogre de Rome—римскій людоѣдъ.

Къ стр. 370. Академія Аркадцевъ — была основана въ Римѣ въ

1690 г. съ цѣлью содѣйствовать развитію поэзіи въ идиллически-пасторальномъ духѣ.—Нѣмецкіе стихи «Es ist» и т. д. значатъ: «Нѣтъ такого маленькаго попика, которому не хотѣлось бы быть маленькимъ папой».

Къ **стр. 371.** *Гёте самодовольно поетъ.* Это въ «Эпиграммахъ изъ Венеціи».

Къ **стр. 377.** Фрундсбергъ — знаменитый начальникъ нѣмецкихъ ландскнехтовъ въ концѣ XVI ст.

Къ **стр. 407.** Брюсъ — шотландскій путешественникъ въ сѣверную Африку и Сирію.—Гассельквистъ—тоже путешественникъ по Малой Азіи, Египту и Палестинѣ.

Къ **стр. 411.** Филонъ — еврейскій ученый въ царствованіе Калигулы, жилъ въ Александріи.

Къ **стр. 413.** *Обрядъ памятнаго ремня.* «Памятными ремнями» у евреевъ привязываются ко лбу и лѣвой рукѣ для утренней молитвы маленькія коробочки со вложенными въ нихъ пергаментными полосками, на которыхъ написаны библейскія изреченія. Этимъ указывается, что человѣкъ долженъ обращать къ Богу свои мысли и свое сердце (лѣвая рука около сердца).

Къ **стр. 418.** «Шведскій соловей»—знаменитая пѣвица Женни Линдъ.

Къ **стр. 419.** Теофиль былъ сенешалемъ (намѣстникомъ) епископа не адамасскаго въ Сициліи, какъ пишетъ Гейне, а аденскаго (Адена) въ Киликіи.—Сборникъ Моммерке—«Théâtre français au moyen âge, publié par L. Mommerqué et F. Michel».

Къ **стр. 443.** Астарта—финикійская богиня, сперва войны и смерти, потомъ зачатія и плодородія.—Соломонъ Мудрый о ней—въ Кн. Царей, 23, 73.

Къ **стр. 444.** Окенъ (1779—1851) одинъ изъ самыхъ выдающихся дѣятелей въ области натуръ-философіи.

Къ **стр. 445.** Папа, о которомъ здѣсь упоминается—Левъ X.

Къ **стр. 452.** Бодинусъ—французскій ученый конца XVI ст., передѣлавшій такимъ образомъ на латинскій ладъ свое настоящее имя—Жанъ Боденъ.

Къ **стр. 463.** Дафна — (въ греческой миѳологіи) нимфа, которую любилъ и преслѣдовалъ богъ Аполлонъ.

Къ **стр. 468.** Шубартъ — поэтъ періода «бури и натиска»; приведенные здѣсь стихи изъ его пѣсни «Kaplied», написанной по поводу вербовокъ нѣмцевъ въ голландско-остъиндскую кампанію.

Къ **стр. 473.** Гельти—авторъ многихъ элегій, пѣсенъ и одъ въ началѣ XVIII ст.

Къ **стр. 474.** *Когда я стоялъ передъ портретомъ фальшивого человѣка...* Это знаменитый Талейранъ, служившій сначала Наполеону, потомъ Бурбонамъ и, наконецъ, іюльской монархіи; одно время онъ былъ посланникомъ въ Лондонѣ, къ чему и относятся слова: сваренное зелье въ Лондонѣ.—Parisienne—гимнъ поэта Казимира Делавиня въ честь іюльской революціи.—Марсельскій гимнъ—извѣстная «Марсельеза».—Carmagnole—гимнъ, сочиненный во время первой французской революціи, съ припѣвомъ «dansons la carmagnole» (карманьола—савойскій танецъ съ пѣніемъ). — Развѣнчанный императоръ — Педро I, императоръ бразильскій, отрекшійся отъ престола и переѣхавшій во Францію.

Къ **стр. 475.** *Гдѣ былъ казненъ его отецъ*—герцогъ Орлеанскій, Филиппъ Эгалитэ.—Нѣмецкіе стихи значатъ: «Стоитъ въ долинѣ сосна, внизу широка, вверху узка».

Къ стр. 476. *Бюргерова Леонора.* Рѣчь идетъ о знаменитой балладѣ Бюргера: «Леонора» (переведенной Жуковскимъ подъ заглавіемъ: «Людмила» и потомъ передѣланной въ «Свѣтлану»).—Вольтеровъ другъ—король Фридрихъ Великій.

Къ стр. 478. Эвридика — нимфа, жена миѳическаго пѣвца Орфея, имѣвшаго даръ своими пѣснями дѣйствовать даже на неодушевленныя существа. Этими же пѣснями онъ такъ тронулъ царицу ада. Прозерпину, что она позволила ему взять оттуда снова въ среду живыхъ его умершую жену Эвридику. Но у Гейне здѣсь ошибка. Не Эвридика, а Орфей оглянулся назадъ, выходя изъ ада, и такъ какъ онъ этимъ нарушилъ поставленное Прозерпиною условіе, то Эвридикѣ пришлось опять вернуться въ преисподнюю. — Фуксы—молодые студенты первыхъ курсовъ.—Камиль Дюмуленъ—одинъ изъ самыхъ выдающихся дѣятелей первой французской революціи; казненъ Робеспьеромъ за противодѣйствіе неистовствамъ террористовъ.

Къ стр. 479. Жиронда—умѣренная республиканская партія въ первую революцію.—Бурдонъ де-Луазъ (собственно de l'Oise)—членъ Конвента и Совѣта пятисотъ.

Къ стр. 480. *Они создали бельгійское возмущеніе...* и т. д.—Рѣчь идетъ о возмущеніи въ августѣ и сентябрѣ 1830 г., послѣдствіемъ котораго было объявленіе независимости Бельгіи. Однимъ изъ вліятельныхъ членовъ временного правительства былъ Поттеръ, а такъ какъ существовалъ (въ XVII ст.) еще одинъ Поттеръ, знаменитый голландскій живописецъ, славившійся изображеніемъ животныхъ, то острота насчетъ «животнаго пейзажа» объясняется одинаковостью фамилій этихъ обоихъ дѣятелей.

Къ стр. 481. Карлисты — приверженцы изгнаннаго въ 1830 г. короля Карла X.

Къ стр. 482. Ордонансы—указы Карла X, вызвавшіе взрывъ іюльской революціи.

Къ стр. 483. Бастонада—битье по пяткамъ палками или кожаными ремнями; употребляющееся въ Турціи наказаніе.

Къ стр. 486. Селямъ—въ турецкихъ гаремахъ символическій языкъ посредствомъ цвѣтовъ, плодовъ и т. п.

Къ стр. 488. The modesty of nature (скромность природы) — слова Гамлета комедьянтамъ.

Къ стр. 498. *Козырять ли ей своимъ керомъ?* Острота, основанная на томъ, что слово coeur значитъ и сердце, и черви (въ картахъ).—*Сравнивалъ ея глаза съ глазами друга.* О комъ здѣсь идетъ рѣчь — неизвѣстно. Вѣроятно, о комъ-нибудь изъ друзей Гейне во время его поѣздки въ Польшу, о которомъ онъ говоритъ въ своей статьѣ о Польшѣ, такъ какъ этотъ другъ «убитъ при Прагѣ»—предмѣстьѣ Варшавы.

Къ стр. 501. Un plagiat infâme d'un crime étranger—гнусный плагіатъ чужеземнаго преступленія.

Къ стр. 502. J'ai voté la mort sans phrase - я подалъ безъ фразъ голосъ за смерть.—*Старый Вето.* «Вето» было насмѣшливое прозвище, данное революціонерами Людовику XVI, имѣя въ виду его королевское право налагать veto («запрещаю»).

Къ стр. 503. Эджеворть—духовникъ Людовика XVI, напутствовавшій его на эшафотѣ; приписываемыя ему слова «fils de St. Louis» и т. д. значатъ: «сынъ св. Людовика, вознесись на небо!»—Корвизаръ—лейбъ-медикъ Наполеона I.

Къ стр. 504. «*Чудесный ребенокъ*» (собственно «дитя чуда», enfant

du miracle)—прозвище, данное легитимистами внуку Карла X, графу Шамбору, котораго они считали претендентомъ на французскій престолъ съ именемъ Генриха V.

Къ стр. 505. «Do you not think» и т. д.—«Не правда ли, м. г., что гильотина есть великое изобрѣтеніе?»

Къ стр. 506. *Слышу чудный языкъ Тосканы въ римскихъ устахъ.* Есть итальянская поговорка «lingua toscana in bocca romana» (тосканское нарѣчіе въ римскихъ устахъ), для обозначенія самаго правильнаго и благозвучнаго итальянскаго языка.

Къ стр. 508. *Мое давнишнее пророчество* и т. д. Это въ статьѣ о книгѣ Менцеля «Нѣмецкая Литература».

Къ стр. 512. Давидъ—(1748—1825), глава классической школы живописи во Франціи. Его учитель — упоминаемый нѣсколькими строками выше Віенъ. — Ванлоистъ—послѣдователь школы Ванлоо, знаменитой голландской семьи живописцевъ.

Къ стр. 513. Codex palimpsestus, то же, что палимпсестъ—древняя рукопись на пергаментѣ, буквы которой стерты или закрашены для того, чтобы на ихъ мѣстѣ можно было написать новыя слова. — *Напоминали мнѣ моихъ зареінскихъ друзей.* Эти «друзья» — послѣдователи и ученики знаменитаго нѣмецкаго живописца Корнеліуса, считавшіе своею необходимою принадлежностью очень длинные волосы.

Къ стр. 515. *Искусство подъ буржуазно-королевскимъ зонтикомъ было бы защищено въ истинномъ значеніи слова*—намекъ на обыкновеніе Людовика Филиппа, «буржуа-короля», всегда ходить съ зонтикомъ.

Къ стр. 516. Большой слонъ — фонтанъ, который хотѣлъ въ этой формѣ воздвигнуть Наполеонъ и модель котораго стояла на площади до конца тридцатыхъ годовъ. — Страшное событіе 21-го января (1793 г.) — казнь Людовика XVI.—Forts détachés — отдѣльныя крѣпостныя укрѣпленія.

Къ стр. 517. *Ящикъ Пандоры.* Пандора, по греческой миѳологіи—первая созданная на землѣ женщина, которую боги надѣлили, сверхъ всѣхъ прелестей, ящикомъ, изъ котораго, когда онъ открылся, разсыпались по всей землѣ всѣ человѣческія бѣдствія.—Poignées de main—рукопожатія.

Къ стр. 518. Уродливое изображеніе груши — одна изъ карикатуръ на Людовика Филиппа, въ виду грушеобразной формы его головы.

Къ стр. 522. *Съ 28-го іюня прошедшаго года мой монархизмъ отчасти охладѣлъ.* Вслѣдствіе возстанія 6-го іюня 1832 г. Парижъ былъ объявленъ въ осадномъ положеніи, которое, однако, было снято 29-го числа того же мѣсяца; были приняты въ это время и другія крупныя мѣры со стороны правительства. «Дополненіе», въ которомъ находятся эти слова, писано въ 1833 г.

Къ стр. 523. Думаютъ, что, описывая отца Шнабелевопскаго, Гейне имѣлъ отчасти въ виду своего собственнаго; есть нѣсколько чертъ дѣйствительно схожихъ.

Къ стр. 528. Броуніанцы - послѣдователи шотландца Броуна (въ концѣ XVIII ст.), основателя особой методы лѣченія. — Упоминая о Іоганнѣ Фаустѣ, Гейне ошибочно (какъ это дѣлали многіе) смѣшиваетъ этого знаменитаго чернокнижника (каковымъ онъ, по крайней мѣрѣ, считался) съ Іоганномъ Фаустомъ, товарищемъ Гуттенберга по изобрѣтенію книгопечатанія.

Къ стр. 529. Прекрасная Маріанна—содержательница загороднаго

трактира, пользовавшагося большою популярностью.—О Маррѣ, прекрасномъ трактирщикѣ и скверномъ поэтѣ, Гейне забавно упоминаетъ въ «Книгѣ «Le Grand» (см. 1-й т. нашего изданія «Путевыя картины»).

Къ **стр. 533**. Датскую пѣсню о Фонведѣ Гейне заимствовалъ, сдѣлавъ въ ней незначительныя измѣненія и сокращенія (пересказомъ въ прозѣ) изъ сборника древне-датскихъ пѣсенъ и сказокъ, переведеннаго на нѣмецкій языкъ Вильгельмомъ Гриммомъ.

Къ **стр. 543**. Слова Гейне, что онъ видѣлъ «Летучаго Голландца» на амстердамской сценѣ, оказались вымысломъ.—Пересказъ его этой сказки есть совершенно самостоятельная, поэтическая переработка сюжета. Въ такомъ видѣ, почти безъ всякаго измѣненія, она перешла въ извѣстную оперу Вагнера. (Любопытныя объ этомъ подробности во введеніи къ 4-му тому Эльстеровскаго изданія сочиненій Гейне).

Къ **стр. 562**. Корова Мирона — знаменитое произведеніе ваятеля Мирона, жившаго въ Аѳинахъ около 400 г. до Р. Х.

Оглавленіе

II ТОМА.

стр.

Статьи смѣшаннаго содержанія.

Лютеція. Переводъ *П. И. Вейнберга*. 5
Признанія. (1854 г.). Переводъ *О. А. Рохмановой*. . . 322
Боги въ изгнаніи. Переводъ *П. И. Вейнберга*. 376
Богиня Діана. Переводъ ****. 396
Памяти Людвига Маркуса. Переводъ *О. А. Рохмановой*. 405
Докторъ Фаустъ. Переводъ *П. И. Вейнберга*. 418

Салонъ.

Предисловіе къ 1-й части. 461
Французскіе живописцы. Переводъ *П. И. Вейнберга*. . 470
Изъ записокъ господина фонъ-Шнабелевопскаго. Переводъ *П. И. Вейнберга*. 523
Примѣчанія къ II тому. 569